

И. И. Петрункевич

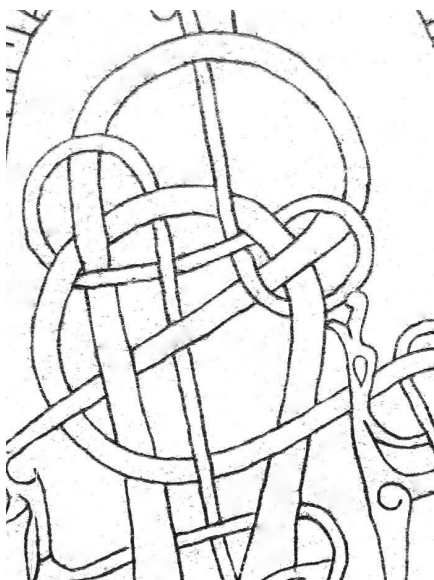
Из записок общественного деятеля

материалы по истории позднеимперской России
том 20

издательство Упыря Лихого
2025

Наше издательство названо именем **Упыря Лихого** (Эпир Неробкий, Öpir Ofeigr), первого русского переписчика книг, имя которого мы знаем.

Соратник нормано-русских князей, священник, переписчик книг и рунорезец, Упырь Лихой своим примером напоминает нам о том, как важно без робости распространять знания и красоту среди варварства и тьмы.



орнамент на камне U-104 в Уппланде, созданном Упырем Лихим

Иван Ильич Петрункевич

Из записок общественного деятеля

Издательство Упыря Лихого

2025

Настоящая книга повторяет оригинальное издание 1934 года, Берлин, составлявшее XXI том сборника «Архив русской революции», издававшегося под редакцией И.В.Гессена.

Книга была издана под редакцией А.А.Кизеветтера; главы I-XIX автор успел закончить полностью, а главы XX-XXI воспроизведены по незаконченным фрагментам.

Оглавление

Глава I. Черниговское губернское земское собрание — Село Блиска — Население — Экономическое положение — Специальное размежевание — Быт — Немецкие колонии	1
Глава II. Постройка Курско-Киевской железной дороги — Земские выборы на второе трехлетие — Я избран уездным и губернским гласным — Первое выступление в Черниговском губернском собрании — А.Ф.Линдфорс	36
Глава III. 1868-69 г.г. — Моя болезнь и отъезд за границу — Н.Н. Ге — П.П. Забелло — Введение мирового суда в Черниговской губернии — Я избран участковым мировым судьей — Возвращение из заграницы — Деятельность мирового суда с 1869 по 1879 год	62
Глава IV. Земство — Трехлетие 1868-71 г. и первые результаты — 1871 г. Новые выборы, наше поражение — Застой — Смерть М.А.Имшенецкого. — 1874 г. Выборы; мы снова у дел — Переселенческий вопрос в губернском земстве — Новый бюджет и его кассация — А.А.Русов — Развитие революционного движения и его проявления	96
Глава V. Убийство шефа жандармов генерала Мезенцева — Совещание с Линдфорсом о мерах легального сопротивления — Киевское совещание — Юбилей Основьяненка в Харькове. — Мое выступление — Е.С.Гордеенко — Совещание 3 декабря 1878 г. в Киеве с террористами — Петербург: В.А. Полетика, Н.К.Михайловский и Е.И.Утин — Призыв правительства к обществу о содействии ему — Черниговское губернское земское собрание и ответ на призыв — Брошюра «Ближайшие задачи земства» — Первый съезд земства в Москве. — Покушение Соловьева	127
Глава VI. Арест и ссылка — Москва — Кострома — Поселение в Варнавине — Общество — Приезд А.С.Паниной — Приезд	

Савича и брата — Мошинский — Павлюк — Ловля Гартмана
— Увольнение исправника — Разрешение избрать
местожительство: Ярославль, Владимир или Смоленск —
Покидаю Варнавин..... 154

Глава VII. Смоленск — Безобразов — Кн. Друцкой —
«Смоленский Вестник» — Полковник Есипов — Убийство
императора Александра II — Возвращение Анастасии
Сергеевны из-за границы — Губернатор Тамара — Подложные
письма — Отъезд А.С. в Одессу. — Возвращение ее и отъезд в
Петербург — Отобрание дочери — Гр. П.П. Шувалов —
Контроль переписки — Переезд в Тверь..... 190

Глава VIII. Тверь — Губернатор Сомов — Семья Бакуниных —
Павел Александрович Бакунин — Страницы из семейной
хроники: мой брат Михаил Ильич 235

Глава IX. Кружок Бакуниных я моего брата — В.И.Покровский
— М.П. Литвинов — Прибытие из Сибири и других мест
восточной России ссыльных, которым было предоставлено
выбрать место жительства: В.В.Лесевич, А.И.Эртель,
Г.А.Мачтет, М.В.Девель, Б.Ф.Недзялковский, В.И.Яковенко и
другие — Приезд в Тверь американца Джорджа Кеннана 267

Глава X. Тверское дворянство и освобождение крестьян —
А.М.Унковский — Алексей Александрович Бакунин и мировые
посредники в Петропавловской крепости — Основные
элементы земства: дворянство и крестьянство — Состав
тверской губернской земской управы в 1883-85 гг.: Корсаков,
Апостолов — 1885 г. Выборы губернской земской управы:
С.Д.Квашнин-Самарин 293

Глава XI. Тверь — Освобождение, конец ссылки — Поездка в
Крым — Крымские впечатления — Посещение С.И.Мальцева
— Севастополь — Плиска — Земские выборы. Я снова избран
гласным — Новые люди и новые течения — Вызов в Чернигов
— Губернатор Анастасьев и генерал-губернатор Дрентельн —

Высылка из пределов Киевского генерал-губернаторства — Я покидаю свой дом и Плиску навсегда 328

Глава XII. Мы окончательно устраиваемся в Твери — Цензовая земля — Губернатор П.Д.Ахлестышев — Кахановская комиссия. — Гр. Д.А.Толстой и Пазухин — Земская реформа 1890 года — Упразднение мировых судей — Земские начальники 360

Глава XIII. Переселение в Москву — Московские знакомства — Избрание меня в Торжке уездным и губернским земским гласным — Ф.И. Родичев — Его избрание председателем губернской земской управы и неутверждение министром — Назначается Штюмер — Штюмер и Гурлянд — Голод 1891-92 г. — Московский комитет грамотности — Гонение евреев в Москве — Смерть Александра III-го..... 386

Глава XIV. Император Николай II — «Бессмысленные мечтания» — «Ходынка» — Неудачная попытка проникнуть в московскую думу — Неудавшаяся попытка основать с Герценштейном и Иоллосом новую демократическую газету — Покупка тверского имения «Машук» 420

Глава XV. Переселение в Машук (Новоторжский у. Тверской губ.) — Первые впечатления — Пьянство — Духовенство и винная монополия — Прогрессирующее исчезновение местного дворянства — Возрождение женских кустарных промыслов — Земские школы и учительский персонал — Революционная провокация — Потребительное общество — Учреждение кредитного товарищества — «Кающийся дворянин»..... 443

Глава XVI. Политическое наследство, полученное императором Николаем II — Самодержавный Олимп — Горемыкин и Витте — Убийство министров Боголепова и Сипягина — Витте и ограничения бюджетных прав земства — Комитеты о сельскохозяйственной промышленности — Издание заграницей свободного печатного органа «Освобождение» — Поездка в

Шварцвальд и организация «Союза Освобождения» — Ревизия
тверского и московского земств — Японская война — Разгром
тверского губернского земства и замена Новоторжского
уездного правительственной комиссией — Высылка тверских и
новоторжских земских гласных из пределов губернии — Мы с
А.С. покидаем Машук — Убийство министра внутренних дел
Плеве — Назначение министром внутренних дел кн.
Святополк-Мирского — Телеграмма, призывающая меня в
Петербург — Возвращение в Петербург 474

Глава XVII. Возвращение из Парижа в Петербург —
А.А.Лопухин, директор департамента полиции — Кн.
Святополк-Мирский, министр внутренних дел — С.Ю.Витте,
председатель комитета министров — Съезд земцев в Москве у
Ю.А.Новосильцева — Д.Н.Шипов — Переговоры с кн. Мирским
делегации съезда: Д.Н.Шипова, кн. Львова и И.И.Петрункевича
— Земский съезд в Петербурге, 6–9 ноября 1904 года — Передача
той же делегацией кн. Мирскому постановлений съезда —
Возвращение после ссылки в Машук — Указ 12-го декабря —
Крещенский салют — 9 января 1905 года — Отставка кн.
Мирского и назначение Булыгина министром внутренних дел —
Убийство вел. кн. Сергея Александровича — Мукденская
катастрофа 15–20 февраля — Опубликование 18 февраля трех
противоречивых актов: манифеста, указа Сената и рескрипта
Булыгину — Земские съезды в Москве и московская
администрация..... 517

Глава XVIII. Подозрительные демонстрации рабочих в Машуке
и крестьян в Премухине у Бакуниных — Земский съезд 23-24
апреля в Москве — Петергофский прием земских деятелей 6-го
июня — Речь кн. С.Н.Трубецкого — Ответ царя — Кн.
С.Н.Трубецкой и газета «Московский Еженедельник» —
Кончина кн. С.Н.Трубецкого и всенародные похороны его —
Петербургский прием Курской и Орловской дворянских
депутаций — Земский съезд 6-8 июля в Москве —
Петергофские совещания правительства по поводу
Булыгинской конституции — Расследование о земских съездах

сенатора Постовского и прокурора Камышанского —
Опубликование 6 августа учреждения Государственной Думы
(Булыгинской) — Земский съезд 12-14 сентября —
Врублевский и А.И. Гучков — Проект русской конституции
напечатан в «Русских Ведомостях» 549

Глава XIX. Образование конституционно-демократической
партии — Признаки революционного настроения в очередном
Новоторжском земском собрании — Всеобщая забастовка. —
Манифест 17 октября 1905 г. — Слухи о погромах «Черной
Сотни» — Тверской погром — Отъезд в Петербург 582

Глава XX. Наш переезд в Петербург после Манифеста —
Значение Манифеста 17 октября — Волнение крестьян —
Японская война — С.Ю.Витте — Его карьера — Революция в
России — История Манифеста 17 октября 1905 г. —
Неисполнение 3-го пункта Манифеста — Полная неудача
образования мнимого «конституционного» министерства —
Беседа с Витте 610

Глава XXI. Манифест 17 октября не внес перемен в
государственное управление — Борьба продолжается —
Митинги — Нарушение свободы собраний — Разговор с
П.Н.Дурново о предполагаемом съезде партии к.д. — Разговор
с Витте по поводу возвращения П.Б.Струве в Россию —
Образование «делового» министерства из высокопоставленных
чиновников — Независимость четырех министров от
Государственной Думы — «Черная сотня» — Арест Совета
рабочих депутатов — Восстание в Москве — Увольнение
либеральных министров — Земельный законопроект Кутлера
— Отношение Витте к аграрному вопросу — Особая
законодательная комиссия — Манифест о преобразовании
Государственного Совета и Государственной Думы — Левые
объявляют бойкот Думе — Партия к.д. против бойкота —
Значение 7-ой статьи, внесенной Щегловитовым в положение о
Государственной Думе. — Исключение из среды дворян

С.А.Муромцева, В.Д.Набокова, кн. Петра Дм. Долгорукова и
других происками реакционеров дворянских собраний..... 646

Глава I

Черниговское губернское земское собрание — Село Блиска — Население — Экономическое положение — Специальное размежевание — Быт — Немецкие колонии

В 1865 году в Черниговской губернии были введены земские учреждения. Будучи еще очень молодым человеком, студентом Санкт-Петербургского университета, я случайно находился тогда в Чернигове, где служил в это время мой отец, и с нетерпением ждал открытия губернского земского собрания, чтобы своими глазами видеть начало «местного парламента».

Торжественное открытие первого земского собрания происходило, если не ошибаюсь, в августе месяце в доме дворянства, незадолго перед тем законченном постройкой, в большой, неудобной, некрасивой в два света зале, имевшей единственное украшение — огромный во весь рост портрет императора Александра II, поставленный прямо против входа в залу.

К назначенному часу зала наполнилась гласными и публикой, для которой была отведена целая треть залы, отгороженная легкой деревянной решеткой. Места было так много, что публика проходила без билетов, совершенно свободно.

За огромным столом «покоем», покрытым зеленым суконным ковром, расположилось около 80 гласных, съехавшихся со всей губернии и представлявших, так сказать, цвет дворянства. Кроме дворянства виднелось только пять крестьян, приютившихся на конце правого крыла «покоя», считая от председателя. Все присутствовавшие, и гласные, и публика, были, видимо, взволнованы новизной дела и торжественностью момента.

Собрание было открыто губернатором князем С.П.Голицыным, явившимся в парадном камергерском мундире. Губернатор произнес речь, но, к сожалению, едва ли кто-нибудь из публики ее расслышал, вследствие чрезвычайно неудачной

акустики залы. После губернатора говорил председатель собрания, губернский предводитель (впоследствии министр внутренних дел) И.Н.Дурново, выразивший уверенность, что «дворянство» выполнит свой долг перед царем и отечеством. Крестьян-гласных они игнорировали.

Формальная часть открытия заседания была этим закончена и собрание приступило к своим занятиям.

Это событие произвело на меня огромное впечатление. В первый раз я был в большом публичном собрании, где, кроме гласных, было много публики. Мое воображение далеко вышло за пределы и этой залы и этого момента и рисовало мне картины будущего, которое мне казалось таким близким... С неослабевающим вниманием я следил с самого начала заседания до конца за всем происходившим. Все было для меня ново и все интересно: порядок заседания, присяга, выбор комиссий, секретаря, заявления гласных, их внешность, их речи и манера держать себя. Интересовался, по-видимому, всем этим не я один, но и публика и сами гласные, державшие себя очень торжественно и прилично случаю. Хотя по своему составу собрание было почти сплошь дворянское, но оно совершенно не походило на «дворянские собрания», многолюдные, шумные, беспорядочные, не смотря на мундиры присутствующих, не только современные дворянские, но и «времен Очаковских и покоренья Крыма», из которых выглядывали еще не вымершие Чичиковы, Маниловы, Собакевичи и Ноздревы. Там не обсуждают, а выкрикивают имена и баллотируют за уездными и за губернским столами. В земском собрании и публика совсем иная. Отсутствовало множество мамаш и еще более невест, которых «вывозили в свет». Словом, никакого сходства между старым дворянским собранием и собранием земским, в котором все шло в большом порядке и все вопросы решались после обсуждения, иногда переходившего в горячие прения.

До некоторой степени я был подготовлен к тому, что теперь происходило перед моими глазами, так как очень рано стал интересоваться политическими и общественными вопросами. Еще будучи в специальном классе в Киевском кадетском корпусе, я находился под сильным влиянием Герцена, читал и перечитывал книжки «Полярной Звезды» и номера «Колокола», которые получал и давал мне читать у себя на дому мой учитель Михаил Алексеевич Домонтович, в то время бывший молодым капитаном Генерального Штаба и преподавателем тактики и военной истории, которые я проходил под его руководством. Впоследствии он был одним из губернаторов в Болгарии после войны с Турцией в 1877-78 г.г., а позднее, членом Военного Совета и полным генералом. Домонтович, кажется, был не только почитателем Герцена, но и его корреспондентом, также, как и его приятель М.И.Драгомиров, впоследствии известный генерал. Об этом, конечно, Домонтович мне никогда не говорил, но я догадывался, что он состоит в переписке с Герценом, заключая об этом по многим признакам. Свое преклонение перед Герценом он внушил и мне. Но он сделал не только это, а гораздо больше, так как он был страстный приверженец идеи освобождения крестьян и непримиримый враг крепостного права. В этой области у него был в Петербурге корреспондент в лице его родственника и приятеля Константина Ивановича Домонтовича, в то время, кажется, занимавшего место в Редакционных Комиссиях, вырабатывавших Положение об освобождении крестьян. Впоследствии К.И.Домонтович был директором департамента в Министерстве финансов, а потом — сенатором. Благодаря хорошей осведомленности в крестьянском вопросе, мой учитель посвящал меня во все детали этого вопроса, возбуждая во мне интерес и более или менее ясное понимание этого величайшего из зол, через которое прошла Россия.

Я должен сказать при этом, что мой учитель и друг знал меня издавна, так как его собственная семья была близко знакома с нашей, живя верстах в 60-70 от Плиски, в селе Кудровке, Сосницкого уезда Черниговской губернии. Его отец, мать, две сестры и два брата нередко бывали в Плиске у моих родителей, точно также, как и мои родители бывали у них в Кудровке. Для нас с братом вопрос освобождения крестьян от крепостного состояния был не теоретическим рассуждением, а живой действительностью, в которой мы выросли, и мы своими глазами видели то, что осуждали. Статьи Герцена падали на достаточно подготовленную почву, и его идеи остались для меня дорогими на всю жизнь. Мало того: они определили мое направление в вопросах политических и социальных. С тех пор прошло уже более 60 лет, но и до сих пор я считаю Герцена моим руководителем, научившим меня не только следовать за ним, но и различать у него то, что составляет незыблемую основу человеческой жизни, от того, что имеет характер гипотетический и зависит от времени, места и обстоятельств.

В настоящее время духовные преемники первого русского большевика, Нечаева, постоянно ссылаются на Герцена, прикидываются его последователями или ссылаются на его слова, якобы близкие к идеям коммунистического каннибальства. Но только глупец поверить этому. Герцен был не только политический мыслитель и деятель, не только социальный реформатор, но и великий русский патриот и гуманист. На его руках не было ни одной капли крови; на его совести — ни одного преступления против родины, которую он страстно любил и с которой вместе страдал; он был истинный гражданин своего отечества — России, никогда не изменявший ей ради Интернационала, Маркса или Ленина. Он презирал Нечаева и, если бы был жив, еще более презирал бы его эпигонов.

В Черниговском губернском земском собрании, с которого я начал свои воспоминания, было всего 5 гласных от сельских обществ, причем ни одного из среды бывших крепостных крестьян. Представлено было исключительно сословие малороссийских казаков, никогда не бывших крепостными, притом сословие гораздо более обеспеченное в экономическом отношении. Крестьяне, только что освободившиеся от крепостного состояния, еще не имели достаточного влияния на избирательных съездах, чтобы быть избранными. Это должно было исправить время. Тем не менее, эта маленькая группа подлинных представителей народной массы привлекала мое внимание и возбуждала желание познакомиться с ней. На этой почве со мною произошел маленький инцидент, значительно помогший выполнению моей задачи. Во время одного из перерывов, когда большинство гласных уходило в буфет, а небольшая часть избранных отправлялась в кабинет председателя, расположенный рядом с залой, маленькая кучка крестьянских гласных обыкновенно оставалась в зале, держась вместе очень скромно. Во время одного из таких перерывов я решился познакомиться с ними и отправился к ним за решетку. По-видимому, крестьяне были рады поделиться своими впечатлениями с публикой и потому встретили меня очень приветливо. Убедившись в их готовности делиться со мною своими соображениями, я стал всякий раз в перерыве заходить к ним и даже давать им некоторые советы и исправлять их письменные заявления, которые они предполагали делать. Однако мои беседы, по-видимому, не нравились некоторым гласным, обратившим на это внимание председателя И.Н.Дурново. Во время одного из таких собеседований с крестьянами, Дурново, в сопровождении некоторых гласных, вышел из своего кабинета, прямо направился ко мне и потребовал, чтобы я вышел за

решетку, так как публике «не там отведено место, где я нахожусь». Это было сделано так грубо по отношению не только ко мне, но и к моим собеседникам-гласным, что вызвало общее внимание, так как крестьяне, возбужденные этой грубостью председателя и некоторых гласных, пошли за мной и мы продолжали беседу. На эту выходку прекрасно ответил один из самых почтенных и влиятельных гласных, старик .В.Тарновский, бывший член Редакционных Комиссий и сторонник реформы: он демонстративно подошел к моим собеседникам и ко мне, познакомился со мною, протянул мне руку и отрекомендовался борзенским гласным. Кажется многие, а в том числе и Дурново, поняли всю глупость своего поступка и более не мешали мне ходить за решетку, тем более, что во время перерывов очень многие из публики ходили за решетку, чтобы беседовать с гласными, а гласные ходили на места для публики, чтобы беседовать со своими знакомыми.

Из пяти крестьянских гласных только трое выделялись своими индивидуальными особенностями и потому очень отчетливо сохранились в моей памяти. Гласный от нашего Борзенского уезда, Гужовский, представлял очень несимпатичный тип с необыкновенно гибкой спиной, мягким, тихим и вкрадчивым голосом. Очень умный, еще более хитрый, всегда чрезмерно почтительный, молчаливый и всегда около тех, кто мог быть ему полезен. Он сразу был намечен, как член губернской земской управы «от крестьян», в качестве дани духу времени. Он и был избран, приставлен к казначейской части и переизбирался несколько трехлетий подряд.

Другой представитель крестьянства — Мохна, от конопского земства, избранный членом уездной земской управы. Это был человек умный, скромный, без малейшего подобострастия, чрезвычайно симпатичный и умеющий держать себя с большим тактом и достоинством. Таким я знал его и позднее,

когда во второе трехлетие сам стал гласным и когда мы шли с ним всегда рука об руку.

Наконец, третий гласный от крестьян — Осьмак, кажется, волостной писарь Гоголевской волости, Остерского уезда. Его положение в волости наложило на него свою печать особой развязности и самоуверенности. Он был грубоват, имел очень громкий и какой-то нечленораздельный голос и обнаруживал полную независимость. Благодаря всем этим свойствам своего характера, он сразу сделался лидером этой группы, и не раз причинял беспокойство председателю собрания. Осьмак был гласным только первое трехлетие. Во второе, когда я был гласным, его уже не было, тогда как Гужовский и Мохна, неизменный член конотопской уездной управы, переизбирались много раз.

Само собой разумеется, что в первом собрании земства не могло быть никакого разделения на партии; это было делом будущего, когда на очередь стали сами собой вопросы, в которых сказалось различие интересов хозяйственных, сословных и политических. Тогда же, т.е. в 1865 г. обнаруживалось различие лишь социального положения гласных, переживших великое потрясение веками существовавшего социального и политического государственного строя. Вчерашние рабовладельцы и рабы, освобожденные от крепостной зависимости, сошлись, как равные граждане для разрешения местных хозяйственных и культурных задач. Однако, достаточно было взглянуть на это собрание, чтобы сразу заметить, что это равноправие присутствовавших земских гласных было весьма относительно: на 90 губернских гласных, посланных от 15 уездов, только 5 были представителями казачьего сословия и не было ни одного представителя от бывших крепостных, а 85 представляли интересы дворянства и председательствовал в губернском земском собрании губернский предводитель дворян-

ства. В уездном земстве, хотя численное отношение дворянства и крестьянства далеко не соответствовало равенству представительства сословий, но все же неравенство не так бросалось в глаза, как в губернском собрании, требовавшем к тому же крупного расхода на проезд и проживание в губернском городе, отстоявшем от многих уездов на сотни верст.

В первое губернское земское собрание дворянство послало, можно сказать, цвет своего сословия, представителей богатства и образования. Тут были — Талаган, Тарковский, Неплюев, кн. Голицын, Белозерский, Милорадович, Рачинский и много других, составлявших группу кандидатов, готовых взять дело управления губернией в свои руки, как бы в виде компенсации за освобождение крестьян от крепостного состояния. И, действительно, первая губернская земская управа была образована в составе председателя, помещика Нежинского уезда К.Э.Троцины, образованного юриста, человека твердого, независимого по своим средствам и по характеру и сочувствовавшего реформам. Число членов управы было установлено шесть и в члены избраны — В.Тарновский, кн. П.П.Голицын, К.И.Белозерский и Кобеляцкий, все четверо богатые помещики, затем А.П.Карпинский, сын священника и врач по образованию, горячий сторонник реформ и деятельный работник, шестой был крестьянин, из сословия малороссийских казаков, вышеупомянутый Гужовский. В таком составе губернская управа просуществовала недолго. Член управы Тарновский скончался в первом же году. Кн. Голицын, Белозерский и Кобеляцкий очень скоро разочаровались в своем новом положении и вышли в отставку. Отказался от должности председателя и Троцина, но он не покинул земства и в качестве губернского гласного принимал деятельное участие в работах земства в течение продолжительного времени, если память мне не изменяет, вплоть до своей смерти. Его место в качестве

председателя управы занял А.П.Карпинский до конца первого трехлетия, а затем и второго трехлетия, на которое был избран огромным большинством, благодаря быстро приобретенному авторитету в земской среде.

Земская реформа стояла в ряду великих реформ — крестьянской и судебной — и, не смотря на все свои недостатки, сыграла в русской жизни огромную, роль культурную, политическую и хозяйственную.

Приступая к земской реформе, правительство сознавало ее необходимость с одной стороны, с другой же боялось создать в ряду государственных учреждений бюрократического характера, составлявших многовековую основу всероссийской державы, новые учреждения, самоуправляющиеся и в известных пределах независимые от бюрократии, т.е. боялось создать некоторое двоевластие, недопустимое с точки зрения самодержавия. Чтобы избежать такой опасности, творцы земской реформы признали прежде всего земство учреждением не государственным, а частным, в роде частных обществ, пользующихся известными правами в пределах, установленных правительством и им контролируемых. Само собой разумеется, что такая функция создала положение, которое противоречило самой идее местного самоуправления и неизбежно обрекало земство на упорную борьбу с бюрократией в защиту самоуправления. Такая борьба завязалась почти с самого открытия земских учреждений, как только истинный смысл требований власти стал определяться более ясно и когда влиятельные гласные первого трехлетия стали проявлять свои реакционные наклонности в качестве опоры трона и интересов дворянства. Поэтому со второго трехлетия состав гласных стал изменяться сообразно общественным и отчасти политическим воззрениям избираемых лиц.

Занятия первого собрания имели исключительно распорядительный характер; распределялись функции и границы между губернским и уездными земствами, составлялись инструкции губернской земской управе, утверждался бюджет первого года земской деятельности. Все это была работа очень важная и необходимая, но для публики мало интересная. Исключения представляли выборы губернской земской управы, от которой зависело первое направление земской деятельности и установление правильных и независимых отношений к местной и центральной администрации, нерасположение которой к земству было уже общеизвестно.

Весною 1867 г. я поселился в селе Плиске, Борзенского уезда, в небольшом имении, переданном мне моей матерью дарственным актом. В этом гнезде до 1860 года жили мои родители; здесь прошло и наше детство, здесь родился я в 1843 г., а в 1845 г. и мой младший брат Михаил Ильич, с которым я был связан самой горячей дружбой с детства и до самой его смерти в 1912 году; здесь родилась вторая моя сестра в 1841 году. В 1860 году мой отец был избран дворянством на должность председателя черниговской уголовной палаты и должен был переехать с матерью на жительство в Чернигов. Имение было сдано в аренду какому-то венгерцу, а дом заколочен и оказался до того запущенным, что представлял мало удобств для жизни.

Имение это было мне уступлено в виду моего настойчивого желания остаться в деревне и посвятить себя общественной деятельности, для которой, как я тогда не сомневался, открыли широкое поле реформы — крестьянская, земская и судебная. Мой отец выражал желание, чтобы я, следуя обычаю предков, начал свою жизненную карьеру государственной службой, но я

решительно этому воспротивился, находя, что времена изменились, что гос. служба лишает меня необходимой свободы для осуществления моих общественных и политических планов. Отец согласился со мною, мать, более приверженная к старине, немного пожалела о моем решении, но в конце концов вопрос о моей карьере был покончен полным согласием.

Не могу сказать, чтобы мои планы были очень определенны и ясны, но я знал, что, поселяясь в деревне, среди населения, в среде которого я родился и вырос и трудную жизнь которого видел и всем сердцем чувствовал, я должен посвятить свою жизнь интересам народа, его нуждам, как материальным, так и духовным, гражданским, общечеловеческим; я знал, что это требует долгой и упорной борьбы с условиями его существования — невежеством, бедностью, беззащитностью и с произволом власти. Знал также, что для этого я прежде всего должен ближе стать к населению, лучше узнать его интересы и достигнуть его доверия.

С того времени, как я принял это решение, прошло уже более полувека, и я могу сказать, что никогда и ни при каких условиях не изменял ему и не жалел о нем. Пусть я во многом ошибался, но линия моей жизни всегда оставалась прямой, без зигзагов, без кривых уклонений в какую-либо сторону. На этом длинном пути мне пришлось пережить немало поражений: быть высланным из своего дома и в течение 25 лет был лишенным права вернуться домой; в течение 7 лет был интернированным в определенном месте жительства под гласным надзором полиции; наконец, просидеть три месяца в одиночном тюремном заключении и утратить политические права. Но на этом же пути, вместе со всей Россией, я праздновал учреждение первой Государственной Думы — Всероссийского Парламента — и, в качестве ее члена, имел счастье первым взойти на ее трибуну, чтобы требовать амнистии для всех пострадавших

в борьбе против самодержавия. Одно это вполне вознаградило меня за все мои неудачи, и я не имею никаких оснований раскаиваться в принятом решении.

Село Плиска — центральный пункт Борзенского уезда Черниговской губернии. Если провести крестообразно две линии с севера на юг и с востока на запад по самой середине уезда, то оно окажется в точке пересечения этих линий, имея по 30 верст на север и юг, и по 15 верст на восток и запад. Наш уезд находится в области, тяготеющей к Киеву, от которого Плиска отстоит в 150 верстах. В конце пятидесятих и начале шестидесятых годов XIX столетия весь наш уезд представлял частицу того захолустья, которое тянулось во все концы России и не делало исключения для самой «матери городов русских», пребывавшей в великом запустении, несмотря на то, что в ней было немало учебных заведений: университет, две гимназии, кадетский корпус, женский институт, духовная академия. Было и Отделение Государственного Банка, но не было ни промышленности, ни сколько-нибудь значительной торговли, оживлявшейся только в феврале месяце во время ярмарки, известной под именем «контрактов», которая играла роль сельскохозяйственной биржи и потеряла всякое значение после польского восстания в 1863 году.

Улицы города были пустынные, с бесконечными заборами. Почти все крупные здания были заняты разными государственными учреждениями. Вместе с торговлей и промышленностью отсутствовала и общественная жизнь. Вина этой запущенности и мертвенности самого красивого города России, где природа предлагала человеку все свои богатства, которыми он, казалось, пренебрегал всецело, должна быть отнесена на счет нашего правительства, которое в желании сохранить самодер-

жавие, блокировало свою собственную страну от проникновения в нее западных идей и западных общественных и государственных порядков. Крымская война, проигранная Россией в борьбе с четырьмя западными державами, как известно, была большим выигрышем в отношении внутреннего положения России: прежде всего она похоронила императора Николая I, доведшего идею самодержавия до той высшей точки, на которой оно уже не могло удержаться при малейшем внешнем поражении, а со смертью императора пало и крепостное право, Россия была вынуждена открыть все свои двери в западную Европу. Как только Киев соединился железной дорогой с Одессой, Москвой и западной границей, он стал расти, как росли русские богатыри — не по дням, а по часам. За Киевом оживилась и вся тянувшая к нему область; но деревенская жизнь не поспевала за городской, и я, живя тогда в деревне, поневоле начинаю свои воспоминания с того времени, когда жизнь еще не пропускала никаких новшеств, дабы не нарушался покой страны.

Село Плиска представляло в шестидесятых годах одно из самых типичных поселений не только Борзенского уезда, но и всей южной половины Черниговской губернии, а следовательно и северной половины Полтавской губернии. Когда, в первой половине семидесятых годов, было задумано черниговским губернским земством статистическое исследование Черниговской губернии, то на основании предварительных изысканий, было избрано, как типичное — село Плиска, где и был произведен опыт однодневного подворного описания вновь образованным статистическим отделом губернской управы и несколькими приглашенными земцами, предварительно, в теч-

ние двух дней производившими опыт подворной переписи по выработанной программе.

Это исследование легло в основу всей дальнейшей работы черниговской статистики и выполнено руководителями ее А.А.Русовым, П.П.Червинским и В.Е.Варзаром с блестящим успехом.

В виду этого, мне кажется, говоря о Плиске, я буду по существу говорить о всем нашем уезде и даже далеко переступая его границы.

Как все малорусские поселения, Плиска совершенно не похожа на великорусские деревни, как крупные, так и мелкие. Село, — как раз среднего размера — состояло из 500 дворов с 3500 жителями, в числе которых имелось три помещичьих двора, остальные — дворы казаков и, в значительно меньшем числе, бывших крепостных и несколько дворов, принадлежащих людям прочих сословий — духовенству и другим. Все село раскинуто на довольно большом пространстве, имеет несколько улиц, носящих названия по фамилиям не помещиков, а старых казачьих гнезд, составлявших новые «кутки»: Гаценковка, Дьяченковка, Ильяшенковка и т.д., очевидно старинных семейств казачества, постепенно разросшихся и своими семьями занявших части земли, принадлежавшие их родоначальнику.

Продукт более позднего на Украине образования — помещик — не стер воспоминаний старины, не знавшей крепостного права и сохранившей старые имена¹. Малоросс прежде

1 Как известно, закрепощение посполитых последовало по указу Императрицы Екатерины II в 1783 г., когда были запрещены переходы крестьян от одного владельца к другому и на казац-

всего индивидуалист. Он со всех сторон огораживает свой двор, свою «крепость», правда слабо укрепленную внешним образом, но внутренне, в его чувстве и сознании — неприступную. Никакими мерами соблазна или кары нельзя малоросса превратить в коммуниста. Он решительно не признает общины и не допускает ни малейшего вмешательства в его хозяйственные дела, но признает «громаду», т.е. собрание «громадян», как совет граждан по всем общественным вопросам, не касающимся его личных и хозяйственных дел. Этот дух индивидуальной собственности малоросса был принят во внимание и «Положением о крестьянах малороссийских губерний», получивших надел в индивидуальную собственность, а не в общинную. Весьма странно, однако, что под малороссийскими губерниями в Положении 1861 г. разумелись не все безусловно малороссийские губернии, как Киевская, Подольская, Волынская, Екатеринославская и другие, населенные исключительно малороссами, а только три; Черниговская, Полтавская и Харьковская.

Само собою разумеется, что казачество вообще гораздо зажиточнее бывших крепостных, но подворная перепись обнаружила, что и среди казачьего сословия происходит очень сильная дифференциация богатства и бедности. Наряду с немногими очень богатыми семьями среди казачества уже в середине семидесятых годов прошлого столетия были семьи очень бедные, мечтавшие о переселении в Черноморье, так как патриархальный быт все более уступал напору новых экономических условий. Среди казачества оказались семьи, обла-

кую старшину были распространены права русского дворянства.

давшие сотнями десятин, а многие десятками десятин; но были и такие, которых земля уже не могла прокормить.

Надел земли, отведенный по Положению бывшим крепостным села Плиски, не превышал 2 1/2 десятин на ревизскую душу, т. е. от 4 1/2 до 6-7 десятин на семью. В этом отношении Плиска избежала участи тех поселений, где надел был меньше, или где крестьяне предпочли получить дарственный надел — четвертной или нищенский, сиротский надел, как его называли. При условии интенсивного хозяйства и хорошо организованного сбыта, конечно, семья могла бы прожить и на 6-7 десятинах, как это я видел во Франции, около Виши, где на маленькой ферме, арендующей 6 гектаров, содержалось 6 великолепных шаролежской породы коров и молоко сбывалось в соседнем курорте. Но такой земельный надел, даже в Малороссии, с ее глубоким черноземом, не гарантирует крестьянину более 120 пудов ржи и 80 пудов ярового, когда он должен был содержать семью из пяти душ, прокормить, одеть и обуть ее; когда он должен был заплатить все повинности, лежащие на нем, и прежде всего выкупную ссуду. Недостаточный надел крестьянина, только что освободившегося от крепостной зависимости, ставил его в экономическую зависимость либо от бывшего помещика, либо от купца, купившего у последнего землю, либо от многоземельного казака, словом, ставил его в полную зависимость от соседнего землевладельца, который предписывал свои условия, в уверенности, что земледелец вынужден принять всякие условия, так как поблизости не было ни фабрик, ни заводов, ни других каких либо занятий, а далеко не уйдешь, потому что о железных дорогах он и мечтать не мог, не имея о них никакого представления. Притом, он не обладал никакими другими знаниями, кроме первобытного способа земледельческого хозяйства. Такое положение сразу дало себя чувствовать, ибо понизило обеспеченность, бывшую в кре-

постном состоянии, и до известной степени оправдало мнение, что освобождение крестьян не улучшило быта крестьянства, а ухудшило. По привычке, такое парадоксальное мнение продолжало повторяться и тогда, когда развитие промышленности и распространение сети железных дорог несомненно подняло экономическое положение всей страны, а вместе с тем и крестьянства. Тем не менее, недостаточный надел землею крестьян при их освобождении в тех местах, где еще долго земледелие должно было составлять главную отрасль промышленности, был огромной государственной и хозяйственной ошибкой, имевшей те роковые последствия, которые встали перед страной в виде аграрного вопроса и его решения революционным путем.

Известно, что, приступая к освобождению крестьян, и император Александр II и его ближайшие советники имели в виду только личное освобождение, без всякого земельного надела, и, только после продолжительной борьбы мнений, правительство согласилось на предоставление крестьянину надела, обеспечивающего государству исправное отбывание крестьянством государственных повинностей². Обеспечивалось государство исправной уплатой податей главным податным сословием, но

- 2 В рескрипте на имя Назимова первоначальная правительственная программа освобождения крестьян была формулирована так: немедленное безвозмездное личное освобождение, предоставление освобождённым крестьянам права выкупить в собственность усадьбы и предоставление им в пользование за известные повинности полевого надела впредь до выкупа ими усадеб. Только впоследствии, под напором губернских комитетов нечернозёмной полосы, правительство включило в программу реформы и выкуп крестьянами в собственность полевых наделов, с согласия помещиков.

предоставление двадцати миллионному сословию существования, соответствующего положению человека свободного, в виду не имелось. Император Александр II предвидел возможность революции, советуя дворянству провести освобождение сверху, чтобы предупредить проведение его снизу, но он не предвидел, что недостаточное наделение землею людей, для которых земледелие есть единственный и необходимый источник существования, неизбежно приведет к революции, рано или поздно. В таком именно положении находилась вся черноморская Россия и особенно густонаселенная Малороссия, где надел был слишком мал, где он не подлежал никаким переделам и где оказалось много крестьян с нищенским наделом.

Для полноты картины мне остается сказать еще несколько слов и об экономическом положении «господствующего класса», попросту говоря, — помещиков, большинство которых в Черниговской и Полтавской губерниях держалось в деле освобождения крестьян реакционных взглядов и поэтому им подобало затем смиренно нести последствия своей несправедливости и непредусмотрительности. Что касается Борзенского уезда, то в нем находились имения двух малороссийских магнатов — Галагана и Тарновского, оба они примыкали к тем членам Редакционных Комиссий, которые принадлежали к либеральному лагерю. Галаган имел в Борзенском уезде одно из своих второстепенных имений и жил не здесь, а в соседнем Прилукском уезде Полтавской губернии. Имение же Тарновского, в котором он жил и где был расположен и его большой сахарный завод, занимало более 5 тысяч десятин в лучшей и плодороднейшей части Борзенского уезда. Далеко не столь обширные, но все же крупные имения принадлежали 4 или 5 владельцам, все же остальные в среднем не превышали 400 десятин, причем большинство было ниже и этой средней величины. Для наших магнатов освобождение крестьян только

слегка уменьшило их доходы, но так как, вместе с тем, уменьшило и расходы, то возможно, что их баланс даже сделался прочнее. Все владельцы выше среднего, приблизившись к типу средних, несколько пострадали, но не столько в финансовом отношении, сколько в смысле необходимости сделать свою жизнь более скромной, более расчетливой. Все остальные очутились в весьма затруднительном положении, так как совершенно отказаться от старых привычек и изменить условия жизни у них не хватало ни воли, ни умения. Для многих же создалось катастрофическое положение, особенно для владельцев имений, заложенных в казне или очень обремененных частными долгами. Казенные долги удерживались при выдаче выкупных свидетельств; частные приходилось погашать продажей выкупных свидетельств и терять на курсе часть капитала. Однако, за наделом крестьян, во владении у дворян оставалось во всей России 100 миллионов десятин. К сожалению, у меня нет под рукою сведений, сколько осталось земли у дворянства Борзенского уезда и всей губернии, и я не могу привести точной величины местного среднего дворянского владения, но полагаю, что во всяком случае, как сказано выше, оно не превышало 400 десятин. До некоторой степени это подтверждается размером ценза, установленного для участия в выборах дворянских и земских с правом самостоятельного голоса. Для Борзенского уезда был установлен ценз в 200 десятин. Исходя из этих двух величин, мы можем выяснить положение двух владельцев: среднего имения и владельца, только сохранившего право самостоятельного голоса на выборах. В имении в 400 десятин под пашнею может быть не более 300 десятин, т.е. по 100 десятин в поле. В первые годы после освобождения крестьян, самым выгодным способом хозяйства было полное, с третьей копны или исполу. При урожае в 50-60 пудов ржи и 40 пудов овса, землевладелец мог получить от 3-х до 4-х

тысяч пудов ржи и до 2-х тысяч ярового. Это был почти чистый доход, так как расход на молотьбу был незначителен, а семена давал испошник. Как же был велик доход в переводе на деньги? До постройки Курско-Киевской дороги, сбыт зерна был чрезвычайно затруднительным, так как на месте все население было обеспечено местным хлебом в избытке, а рынка для вывоза не было. В 1866 г. рожь можно было продать по 5-6 коп. за пуд, а овес по 40 коп. за четверть, т. е. за 6 пудов. При таких ценах весь доход определялся: рожь: $4000 \times 0.06 \text{ р.} = 240 \text{ р.}$, овес, $2000:6 \times 0.40 \text{ р.} = 133 \text{ р.}$ И так, зерновое хозяйство могло дать около 400 рублей дохода, или в среднем по 1 рубль с десятины. Я знал весьма практического хозяина, у которого при запашке в 400 десятин, гумно было уставлено большим количеством скирд, но он находил убыточным как молотить так и хранить сыромолотным зерном (ни овинов, ни зерносушилок в Малороссии не знали), ибо в том и в другом виде зерно поедали мыши и скирды стояли по несколько лет не молоченными. Другими словами, этот хозяин получал от зернового хозяйства доход лишь в том количестве, какое потреблялось в своем собственном хозяйстве. И если тем не менее земля сдавалась в обработку, то лишь из опасения возбуждения аграрных преступлений, в виду нужды крестьян, получивших в этом имении нищенский, т. е. «четвертной» надел и оставшихся без полевой земли.

Можно ли обвинять дворян-землевладельцев в том, что они не сумели перейти к более культурным способам земледелия, тем более, что они получили при освобождении крестьян очень значительный капитал, который мог бы стать оборотным средством для ведения более интенсивного хозяйства? Бесспорно, капитал этот был съеден, но в значительной части потому, что для интенсивного хозяйства требуются соответственные экономические условия и основательная научная

подготовка, без которой никакое улучшение в производстве невозможно ни в сельском хозяйстве, ни в каком-либо другом промышленном деле. А много ли было в России в это время сельских хозяев, получивших основательное научное образование? В 1891 году, во время голода в Поволжье и в центральных черноземных губерниях России, я имел случай беседовать с известным профессором Петровской земледельческой Академии, покойным Иваном Александровичем Стебутом. Он имел собственное имение, если не ошибаюсь, в Ефремовском уезде Тульской губернии, сильно пострадавшей от неурожая. В виду этого я поинтересовался узнать об урожае в его имении. И.А.Стебут отвечал мне, что урожай зависит не только от причин метеорологических, но и от техники и что поэтому у него в имении урожай и теперь не ниже среднего. При этом он разъяснил, что под техникой он понимает всю сложность организации земледельческого хозяйства в зависимости от всех условий, в которых оно находится, как чисто технических, так и экономических.

Какими же знаниями располагало землевладельческое сословие, когда оно перешло от крепостного, дарового труда к вольнонаемному? Исключительно земледельческая Россия не имела ни одной высшей агрономической школы, за исключением Горыгорецкого Института в Могилевской губернии, для нужд северо-западного края и подготовки управляющих для крупных имений. Петровская сельскохозяйственная Академия, созданная для такой же цели, учреждена была после освобождения крестьян. Петербургский Лесной Институт имел целью удовлетворять интересы министерства государственных имуществ. Никаких показательных станций не существовало и сельскохозяйственная наука, при крепостном хозяйстве, считалась никому ненужным баловством. Только в очень немногих крупных имениях можно было встретить специалистов управ-

ляющих, в большинстве случаев немцев или англичан, главным образом там, где было какое-либо промышленное предприятие — сахарный или винокуренный, либо конный завод. Во всех остальных случаях, научное знание заменялось «опытностью», которая котиновалась во много раз выше науки, хотя признаки опытности были совершенно неуловимы. При таких условиях было трудно ожидать какого-либо прогресса от сельского хозяйства, которое не располагало ни научными знаниями для увеличения производства, ни рынком для сбыта своих продуктов.

Не только в нашем Борзенском уезде, но и во всех других уездах Черниговской и Полтавской губерний существовало еще одно условие, составлявшее чрезвычайно важное препятствие к переходу дворянских имений к более рациональному хозяйству. Препятствие это заключалось в необыкновенно дробной чересполосности имений. Планы малороссийских имений представляли такую мозаику, которая исключала всякую возможность перехода от трехполья к какой-либо другой системе, так как земли: помещичьи, крестьянские наделные, казачьи и всяких других сословий были перемешаны самым причудливым образом. Очевидно, исторический процесс образования таких владений был очень длительный и владение собиралось по кусочкам. Совершенно невозможно было сохранить такие имения в целостности и вести на них самостоятельное хозяйство. Это положение дало дворянству двух губерний основание хлопотать о производстве специального размежевания всех чересполосных имений. Такое желание, само по себе, было совершенно естественно и справедливо, конечно, под условием охраны интересов владений других сословий и лиц. Возможно было допустить полюбовное соглашение, а при отсутствии такого — арбитраж смешанной правительственной и общественной комиссии, устанавливающей

справедливые компенсации при неизбежных обменах участков. Но правительство, удовлетворяя желания дворянства, передало всю эту сложную и щекотливую задачу фактически в руки дворянства, совершенно устранив надзор правительства и признав размежевание обязательным во всех чересполосных имениях. Получив такое право, дворянство использовало его, не считаясь с интересами лиц других сословий. В каждом уезде были организованы межевые комиссии в составе председателя и двух депутатов, избираемых дворянством, двух депутатов от казачьего сословия и одного межевого офицера, заведующего технической частью. Таким образом, в комиссии, через которую проходили все соглашения и планы размежевания, большинство голосов предоставлено было дворянству, наиболее, если не исключительно, заинтересованному в размежевании; даже в том случае, когда межевой чин был против мнения дворянской части комиссии, этому мнению все же было обеспечено торжество перевесом голоса председателя.

Для производства межевания был установлен особый межевой сбор в размере 3 копеек с десятины земель, подлежащих размежеванию, и 1 1/2 копеек для неподлежащих размежеванию.

Хотя земля, принадлежащая казакам и поступившая в надел крестьянам, также сводилась в крупные участки, но нарезывалась в трех полях, чем закреплялось трехполье и затруднялся в будущем переход к другой системе хозяйства, т.е. к фермерству. Благодаря этому, казаки и крестьяне утратили обычное право пользования пастбищем для своего скота на паровом поле помещичьей земли, тогда как до размежевания, при чересполосном владении, севооборот помещичьего хозяйства был тесно связан с трехпольной системой хозяйства всего населения, и помещик не мог воспрепятствовать пользоваться своим паром. Такая утрата своего обычного права очень стесняла

крестьянское хозяйство в пользовании пастбищем и гарантировала в тоже время помещику высокую арендную плату за такое пользование, что немедленно показало всю невыгоду размежевания для мелких собственников. С каждым годом плата за наем пастбища на паровом поле поднималась все выше и составила важную статью дохода помещичьего хозяйства.

Но, если закон был составлен неудовлетворительно и слишком односторонне, то исполнение его превзошло своим безобразием все, что можно было заранее ожидать. Избранные в уездную комиссию председатель и члены от дворянства немедленно назначали размежевание своих собственных имений и оставались в своих должностях, пока размежевание их имений не заканчивалось; после чего подавали в отставку. На их место выбирались новые лица, следовавшие той же системе и так продолжалось дело в течение нескольких лет. Апелляционная инстанция, черниговская губернская Межевая Палата, в составе председателя и членов избранных по шаблону уездных комиссий, покровительствовала такому порядку вещей, так как во главе ее стал помещик Валерий Осипович Подвысоцкий, руководитель реакционной дворянской партии во время освобождения крестьян. Свое собственное имение в с. Максимовне, Борзенского уезда, он так размежевал, что мы могли на губернском дворянском собрании 1875 г. демонстрировать план его отрубного владения как неопровержимый образец тех злоупотреблений, которые существовали в межевых учреждениях.

Кажется, то была первая попытка раскрыть и прекратить эти позорные, ничем не прикрытые злоупотребления, явно нарушавшие интересы всех мелких земельных собственников. Мы не очень рассчитывали на успех в собрании, располагавшем тремя сотнями голосов, причем на стороне наших противников были наиболее влиятельные люди и, в том числе, заме-

нивший вышедшего в отставку Подвысоцкого, богатый и умный помещик Мглинского уезда, И.Г.Есиментовский. Но мы не унывали и выступили с речами против всей межевой администрации. Начал атаку я, за мною выступил Александр Федорович Линдфорс, а за ним Александр Павлович Карпинский. Нас встретили шумом и шарканьем ног. Но мы не сдавались, не смотря на беспрестанные перерывы, и тем решительнее наступали, что почувствовали, что нас поддерживает гораздо больше лиц, чем мы ожидали. Когда, наконец, предложение осудить сложившиеся порядки и произвести их расследование было поставлено на голоса, за него было подано 125 голосов, против 175 (приблизительно). Предложение было отвергнуто, но председатель Палаты, Есиментовский, подал немедленно в отставку. Кажется, его убедили взять свою отставку обратно, но удар был нанесен достаточно сильный, чтобы подорвать бесповоротно сложившиеся порядки.

Дальнейшие события показали, что никакими мерами землеустройства, ни даже округлением дворянских имений за счет других сословий, поддержать «дворянское» землевладение невозможно, так как оно было построено на рабовладении и крепостном труде. Вместе с уничтожением этих условий, оно было осуждено на разрушение. Его историческая роль была уже сыграна, когда дворянство перестало быть единственным образованным сословием; роль дворян, как привилегированных представителей земледелия делается невозможной, когда земледельческая промышленность становится элементом мирового обмена, когда она начинает занимать первое место в экспорте и когда поэтому ее производство должно подняться на высоту современных научных знаний и торгового опыта.

Воспоминания мои о том моменте, который переживало наше захолустье непосредственно после освобождения крестьян, были бы неполны, если бы я прошел мимо всего, что относится к духовной жизни народа, о которой можно, конечно, судить лишь по внешним ее проявлениям.

Крепостное право разделило русских людей на две части: на дворянство и «народ», на белую и черную кость, т.е. якобы провело границу не только по правовому признаку, но и по признаку самой породы людей. Этот взгляд создал глубокую пропасть между верхним незначительным меньшинством и громадной народной массой, хранившей в своей душе все свойства, выразителями которых были великие святые и юродивые, великие мыслители и поэты, великие писатели и художники, общественные деятели и государственные люди. К ним принадлежали: Сергей Радонежский, Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, митрополит Филипп, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Достоевский, Ломоносов, Ключевский, Петр Великий, Сперанский и т.д. Вся творческая мысль, двигавшая нашу страну по пути прогресса, там, в этой народной гуще, бессознательно черпала все свое содержание, о могуществе которого сам источник его и не подозревал, и не претендовал на знание, инстинктивно чувствуя, что оно принадлежит не индивиду, а этому колоссальному коллективу, имя которому — народ, или «мир», как он выражался.

Государство, черпавшее из этого беспредельного источника весь свой разум и свою силу, мало заботилось об его охране, об его счастье, даже просто об его жизни. В глазах государства эта народная масса была только рабочей силой и податным состоянием, удовлетворявшим государственные потребности, не более того. Даже при освобождении крестьян

и наделении их землею, размер надела определялся обеспечением уплаты податей. Русский народ знал государство только с его отрицательной стороны, и как поэтому печальны были плоды этого неведения! Мы все знаем и помним, какие повинности отбывал народ в дореформенное время и как постепенно только земские учреждения начали пытаться уравнивать эти повинности, переводя их на деньги и распространяя их на все сословия. Исключение представляет только самая тяжкая из всех повинностей — военно-рекрутская; она была распространена только в 1874 году на все сословия, но со многими ограничениями в пользу образованности. Постоянная, подворная, дорожная и все подобные повинности ложились всею тяжестью на податные сословия, так как сословия неподатные были от них освобождены. Что же государство давало взамен этого бремени, требованием которого оно не стеснялось?

Порядок и спокойствие, судебную защиту, охрану собственности? Кому же неизвестно, что порядок и спокойствие достигались таким произволом власти, что к нему относились, как к горшему бедствию? Судебную защиту? Но кто же не знает, что дела решались не по закону, а за взятку? То бюрократическое самодержавие, в котором олицетворялась государственная власть, воистину было врагом и народа и государства.

Народ, в узком смысле этого слова, т.е. все податные сословия, был почти поголовно безграмотен: почти никакая литература в его среду не проникала, а правительство зорко следило, чтобы не проникало особенно то, что будило мысль и раздвигало народный кругозор. Самодержавие понимало, что только круглое невежество или личная выгода могли быть его опорой, и оно поддерживало невежество народа так же, как допускало заведомо произвол и взяточничество чиновников. На весь уезд полагалось одно уездное училище, специально для горожан. При некоторых волостях государственных кре-

стьян содержались школы для подготовки волостных писарей и т.п. должностных лиц по управлению государственных имуществ. Забота же об образовании помещичьих крестьян возлагалась на их владельцев, но я не знаю ни одной такой школы в нашем уезде. Вообще же забота об образовании была возложена на духовенство, которое было так обременено церковными требами и своими личными делами, и так мало было заинтересовано в просвещении народа, что школы, если где-нибудь и существовали, то только на бумаге, и я знаю, что в нашем уезде действовала фактически только одна церковная школа в с. Николаевке. Когда я поселился в 1867 г. у себя в Плиске и убедился в полном отсутствии школ в нашем уезде, я решился сделать опыт и устроил в своей усадьбе в отдельном удобном флигеле, где было место для двух классов и для квартиры учителя, школу, для которой пригласил в качестве преподавателя молодого человека, прекрасно окончившего духовную семинарию в Чернигове, но не могшего принять священства в виду больной ноги и необходимости пользоваться костылями. Это был очень умный, добрый, честный и отлично подготовленный для учительства человек, по фамилии Слесаревский. Мы с ним открыли школу, не справляясь ни с каким начальством, естественно полагая, что если в уезде нет школ, то не может быть и школьного начальства. Однако, я ошибся. Спустя месяц или два после открытия школы, которую уже посещало более тридцати мальчиков, ко мне явился становой пристав и предъявил бумагу местного училищного совета (таковой оказался) с требованием объяснений, на каком основании я открыл у себя школу, не испросив разрешения от совета на ее устройство и пригласил учителя, не имевшего права на преподавание, в виду чего мне предлагалось, под угрозой привлечения меня и учителя к суду, немедленно закрыть школу. Угроза судом для меня не представляла никакой опасности, но бедный мой

учитель мог серьезно пострадать, так как дальнейшая его учительская карьера была всецело в руках училищного совета. Принимая это во внимание, ничего другого не оставалось, как закрыть школу.

Уже с самого начала шестидесятых годов, народная школа и грамотность считались опасными источниками «умствования» в среде недостаточно образованной. В Киеве на этом основании были закрыты организованные там воскресные школы грамотности и эта мера была распространена на все местности России. Все мы, с первых шагов на общественном поприще, чувствовали, что народная школа есть учреждение гонимое и что она станет тем пунктом, на котором общественность и правительство будут непримиримы. Тем не менее, в нашем уезде, почти в каждом селе встречались люди грамотные и даже хорошо грамотные, особенно среди казаков, но бывали и среди крестьян. Одни из них прошли уездные училища, другие — школу государственных имуществ, третьи учились у местного дьячка или пономаря, наконец, четвертые, большей частью из крестьян-дворовых, обучались кем-либо из семьи помещика или из служащих в имении. Но все же это были отдельные случаи, масса же народная оставалась неграмотной и предания, по-старинному, хранила в своей памяти, а все новое узнавала устной передачей.

Сколько недоразумений происходило на этой почве, сколько было пережито таких непоправимых событий, как бунт крестьян в с. Бездне, Казанской губернии, как «бунт» в нашей губернии в с. Жукотках, в имении И.Н.Дурново, или в имении Гореславского в с. Шаповаловке при освобождении крестьян! Неграмотные, верящие какому-нибудь проходимцу на слово, крестьяне поднимались и расплачивались за свое неведение смертью, каторжною работою или безпощадной «секуцией»!

Правительство издавна усвоило взгляд на грамотность народа как на опасность для спокойствия и целостности государства. Что же удивительного, что спустя полвека в русском народе не оказалось чувства патриотизма, сознания единства народа русского, единства русского государства; что своей родиной народ считал свое село и в лучшем случае — губернию; что все прошлое великого народа, вся его история осталась для него книгой, запечатанной семью печатями. И государство русское, строившееся неизмеримыми жертвами в течение десяти веков, развалилось как карточный домик, развалилось не от вражеского удара, а от собственного безумия, от самоистребления людей и всех ценностей материальных и моральных, накопленных сорока поколениями предков, трудом их и лишениями.

Чтобы народ знал, ценил и любил свое отечество, нужно, чтобы он знал свое прошлое, свою славу и свои несчастья; нужно, чтобы он знал свое отечество, не странствуя по тюрьмам и пересыльным этапам, а живым образом, участвуя в делах своего отечества, в делах государственных, как и в местных; нужно, чтобы народ привык не отделять себя от отечества и чтобы каждый чувствовал свою великую ответственность за общее благополучие.

Тогда и Россия проявила бы не меньше Бельгии и Франции патриотизма в борьбе с немцами и не опозорила бы себя Брест литовским миром и изменой.

Украинский народ имеет свои особенности, свой, очень близкий к великорусскому, но особый язык, свой национальный характер, свой тип, свою особую историю, так как он несколько веков жил отдельной государственной жизнью. Этот народ не был побежден оружием своего северного собрата, но оба брата соединились добровольно, как равный с равным, ради самозащиты от внешних врагов. При таких условиях

сохранение национальных особенностей обеих частей России не могло ни удивлять, ни тем менее возбуждать подозрения и преследования проявлений их. Но русско-немецкое правительство, не чувствующее прочности своих собственных корней, держалось политики нивелировки по одному заранее установленному образцу, и все другое признавало требующим подавления и уничтожения. На этой почве и выросло украинофильство, постепенно, с помощью немецких и австрийских старателей превращенное в сепаративное движение или «самостийность» Украины. Но об этом я буду говорить позднее: теперь ограничусь тем, что было до конца шестидесятых годов.

Смерть крупного народного поэта Т.Г.Шевченко, последовавшая почти одновременно с объявлением манифеста 19 февраля 1861 г., и перевезение его тела для погребения в Киевскую губернию вызвали значительное, чисто культурное, без малейшей политической примеси, движение во всей Украине, но, кажется, исключительно в интеллигентских кругах и среди учащейся молодежи. Освобождение крестьян было фактом такой огромной важности, что весь интерес страны был обращен к нему, и смерть самого крупного поэта и патриота Украины не была встречена так, как надлежало бы по ее культурному значению. Как раз в это время я был в Чернигове, покинув кадетский корпус, и помню перевезение тела Шевченка через Чернигов. Гроб везли на почтовых и сопровождали его, если не ошибаюсь, А.М.Лазаревский и П.Чубинский, которых я встретил у И.П.Дорошенка, учителя математики в Черниговской гимназии, убежденного украинофила. Чернигов, один из старейших городов левобережной Украины, проявил очень слабый интерес к этому событию. Впрочем, возможно, что его и не допустила бы до большего полиция, как все опасались крестьянских беспорядков, хотя никакие признаки их не предвещали.

Память Шевченка к нашему Борзенскому уезду имела особое отношение. Благодаря своему старому товарищу, Пантелеймону Александровичу Кулишу, пострадавшему с ним и с профессором Костомаровым по делу об организации ими Кирилло-Мефодиевского братства, Шевченко сблизился с семейством Белозерских и гасивал на хуторе Николая Даниловича Белозерского подолгу. На одной из Белозерских, Александре Михайловне, Кулиш женился и устроил свой хутор около села Оленовки, где по временам и проживал, и где однажды, я посетил его. Быть может таким путем, украинофильство появилось (впервые?) на почве Борзенского уезда, где долго сохранилась память о Шевченке и откуда вышли его первые деятели: П.А.Кулиш и брат его жены Василий Михайлович Белозерский, издатель первого украинского журнала «Основа». Однако, своим развитием украинофильство обязано кружку известных профессоров Киевского университета: Михаилу Петровичу Драгоманову и Владимиру Бонифатиевичу Антоновичу, из которых первый был вынужден покинуть Россию по доносу помощника попечителя Киевского учебного округа Юзефовича, и продолжал свою работу за границей без всякой помехи. Я могу утверждать с полным убеждением, что между их украинофильством и сепаратизмом не было ничего общего, и преследование украинофильства было одной из главных причин перехода его к идее об отделении Украины и превращении ее в самостоятельное государство. Эта идея — плод позднейшего времени, о котором я надеюсь поговорить в одной из последних глав моих воспоминаний. Теперь же я могу сказать, что из всех украинофилов шестидесятых и семидесятых годов только один изменил своей стране, исходатайствовав себе увольнение из русского подданства и приняв подданство австрийское, и это был — Пантелеймон Алексан-

дрович Кулиш... Но творцом «самостийности» Украины был русский централизм, грубый и нелепый.

В число гонимых попала и малорусская народная песня, в которой так прекрасно отражалась вся поэзия, вся душа малорусского народа и вся музыкальность его природы. В шестидесятых и семидесятых годах народная песня еще сохранилась и не была вытесняема продуктом фабричного и городского творчества, со всей его грубостью и пошлостью. Мало по малу она оттеснялась в глухие хутора, куда новейшая культура еще не проникла, тогда как она стала быстро проникать в такие бойкие села, как Плиска, с ее железнодорожной станцией и наплывом всевозможных представителей промышленности и торговли. Усердными гонителями народной песни явились только что испеченные «Маковские»³ полицейские урядники, созданные для поддержания в деревне тишины и порядка. Эти новые представители центральной власти с необыкновенным рвением принялись разгонять распевавшие до глубокой ночи деревенские хоры, собиравшиеся по вечерам где-нибудь на улице, где лежало какое-нибудь бревно и можно было сидеть. Не знаю, причиняло ли это пение беспокойство министру Макову, опасавшемуся украинофильской пропаганды, или мешало спать самому уряднику, но я, в качестве мирового судьи, в своем участке неуклонно оставлял без последствий протоколы урядников о привлечении певиц и певцов к ответственности за «нарушение тишины» задумчивой украинской ночи прелестной народной песнью.

В это самое время, когда центральное правительство так подозрительно относилось к украинофильству, оно оказывало

3 Маков — министр внутренних дел 1878–1880 гг. При нём реформирована уездная полиция и введён институт урядников.

всякое покровительство немецким колонистам, всячески охраняя их самостоятельность, язык, культуру и даже особое управление. Наш Борзенский уезд, кажется, был северным пределом распространения поселений немецких колонистов, переселившихся в Россию из Германии в конце XVIII-го или, вернее, в начале XIX века на юг России, в губернии Таврическую, Екатеринославскую, Херсонскую, в Кубанскую область и в Заволжье, где они получили обширные наделы превосходной земли и зажили припеваючи, получив свое особое управление с сохранением даже языка, и освобождение от всех налогов и повинностей. Каким-то непонятным образом, из Новороссии перескочив Полтавскую губернию, немцам отвели такие же обширные наделы в Борзенском уезде, на которых устроилось шесть колоний, из коих две — Большой и Малый Вердер — были католические, а четыре протестантские и в одной из них, Кальчиновке, поместилось общее управление для всех шести колоний. Если степи Новороссии в начале XIX века были слабо заселены и правительство спешило их заселить, чтобы стоять твердой ногой против Турок и Крымских татар, то это еще можно понять; но ради чего были устроены колонии в Борзенском уезде, Черниговской губернии, среди сравнительно густого населения, будущее которого вовсе не было обеспечено землею, — это трудно объяснить. Остается думать, что правительство предполагало дать нечто в роде показательного земледельческого хозяйства, стоявшего в Германии, конечно, выше малороссийского. Если так, то надежды эти совершенно не оправдались, так как правительство сделало все, чтобы изолировать колонистов от местного населения. Поэтому борзенские колонии оказались каким-то посторонним телом, внедренным в чуждый им край, с которым у них не было никакой гражданской и общественной связи. Третье или четвертое поколение колонистов, живя на новой родине, не

усвоило ее языка и не принимало в ее делах никакого участия. Их хозяйство остановилось на той ступени, на какой оно было в Германии в момент переселения, равно как и их понятия и нравы. Мне пришлось иметь с ними часто сношения, так как все колонии находились в моем судебном-мировом участке, и всякий раз я поражался тупостью этих людей, предназначенных быть культуртрегерами в стране, стоявшей выше их по своим природным способностям. Изоляция сделала то, что они потеряли свою старую родину и не приобрели новой. Если бы они теперь вернулись на свое старое пепелище, они погибли бы, не имея сил справиться с новыми требованиями жизни. Когда было введено земство и они получили окладные листы на уплату земского сбора, они отказывались платить, на том основании, что им обещано освобождение от всяких повинностей. Сенат заставил их платить. Когда же в 1874 году была введена всеобщая воинская повинность, нежелающим отбывать ее было предоставлено эмигрировать. Нашлись молодые люди, которые предпочли эмиграцию и выехали в Америку, и это не только в изолированных борзенских колониях, но и в колониях новороссийских, богатых и цветущих, но оставшихся чуждыми России и не спаявшихся с местным населением.

Глава II

Постройка Курско-Киевской железной дороги — Земские выборы на второе трехлетие — Я избран уездным и губернским гласным — Первое выступление в Черниговском губернском собрании — А.Ф.Линдфорс

До постройки Курско-Киевской железной дороги левобережная Украина, вплоть до Черного моря, не имела никаких путей сообщения в европейском и культурном смысле этого понятия. В Крымскую войну везли на лошадях и на волах со всех концов России в Симферополь и Севастополь все снаряжение армии, перевозили раненых и гнали гурты волов для продовольствия армии, ибо других способов передвижения не было. И если войну вели таким упрощенным способом, то само собою разумеется, что население в своем обиходе пользовалось таким же сообщением: чумаки летом ездили в Крым за солью и на Дон за рыбой, доезжали и до Астрахани; простонародье ходило пешком, а помещики ездили в экипажах на богомолье в Киев или в Воронеж. Дальше соседей не ездили; даже на дворянские выборы в Чернигов ездили только в летнее время. Прочее население сидело дома, и нередко можно было встретить бабу, а иногда и мужика, которые не отлучались из своего села дальше ближайших сел и хуторов: не было в том никакой нужды. Впрочем, в виде исключения, посещали ближайшие ярмарки, имевшие чисто сельскохозяйственный характер.

Все это было в порядке вещей до Крымской войны, когда военное могущество России стояло, казалось, на недостижимой высоте, а в благосостоянии населения никто не сомневался. Но, когда само правительство убедилось в призрачности своей военной мощи, оно почувствовало, что его опора — крепостное право — грозит экономическим, финансовым и даже,

может быть, политическим крахом. Словом, стало всем ясно, что Россия должна сбросить свои ветхие одежды и надеть новые, более современные. Под давлением необходимости было приступлено к реформам и к постройке железных дорог Санкт-Петербургско-Варшавской и Киево-Одесской — для соединения России с Западной Европой.

В 1867 г. было приступлено к соединению Киева с Москвой через Курск и к постройке Курско-Киевской дороги — первой железной дороги в левобережной Украине. Это было для пяти южных уездов Черниговской губернии и для северных уездов Полтавской событием огромной важности, полным переворотом в экономическом положении плодородного, но совершенно заброшенного и забытого края. Дорога проходила через уезды: Остерский, Козелецкий, Не-жинский, Борзенский и Конотопский Черниговской губернии. Далее она пересекала северные уезды Курской губернии, а затем через Орловскую и Тульскую губернии до Москвы,

Уже в 1868 г. осенью железная дорога была открыта для движения на всём протяжении, за исключением моста через Днепр в Киеве, строившегося, если не ошибаюсь, в течение четырех лет.

Я помню прекрасный августовский вечер, когда все население нашего села, от старого до малого, вышло к строящейся линии железной дороги, чтобы встретить первый поезд, который должен был дойти от Киева к станции «Плиски» с разного рода балластом: рельсами, цементом и т.д. Много крестьянской молодежи было верхом, готовясь поскакать вперед на встречу поезда, как только он покажется на горизонте. А горизонт в степи широк, вид открывается на много верст. Толпа была полна любопытства и видимо взволнована, так как тяга поезда локомотивом представлялась ей непонятной. В ожидании шли разговоры, расспросы, выражались опасения, что зимой дорогу

занесет снегом и т. п. Начало темнеть, когда вдали, почти на горизонте, показались три огня. Толпа заволновалась, огни все приближались, слышался шум идущего поезда, молодежь поскакала вперед, поезд подходил и когда его голова — локомотив поравнялся с толпой, единодушный крик «ура!» вырвался из груди тысячной толпы и продолжался, пока поезд не остановился у семафора, на котором горел красный огонь. Толпа смотрела с интересом на пыхтевший локомотив и на длинную цепь вагонов, нагруженных всяким материалом. Многие крестились. Что думала толпа в эту минуту, я, конечно, не знаю. Мне кажется, что не столько ее сознание, сколько ее чувство говорило ей, что произошло нечто очень важное, но что именно, — она не могла себе объяснить. А между тем, произошло действительно нечто важное: открылась новая жизнь, новый круг понятий, отношений и потребностей. Патриархальный быт со всею его красотой и ветхостью отходил в вечность, уступая место новым формам жизни, содержание которых было неведомо и загадочно. Бесспорно, поворот совершался в сторону европеизации, к капиталистическим формам производства, к фабрике, к заводу, к замене машиною домашнего изделия. Прялка и ткацкий станок не будут больше иметь места в крестьянской избе.

Достаточно было только приступить к постройке железной дороги в 1867 году, чтобы произвести переворот в положении местного сельского хозяйства и поднять цены зерновых хлебов чуть ли не в 8 или в 10 раз. По всей строящейся линии железной дороги появилось множество привезенного из Восточной России народа: землекопов, плотников, каменщиков, печников и я должен сказать, что сожителство пришлого с местным населением было очень мирным, так как пришлые рабочие, крестьяне Владимирской, Калужской, Тульской и других губерний, — были всю неделю заняты работой с раннего утра

до позднего вечера. В то время восьмичасовой рабочий день, кажется, еще не был знаком ни рабочим, ни даже инженерам.

День начинался и оканчивался по солнцу. Вся эта громадная толпа рабочих, накануне праздничных и воскресных дней, появлялась на берегу большого пруда, разделяющего село Плиску на две части, и с невообразимым шумом и криком вваливалась в пруд, вода которого не отличалась прозрачностью, а дно было покрыто глубоким илом. Тем не менее, это купанье, на половину в грязи, видимо, доставляло величайшее наслаждение после тяжелой шестидневной работы под палящими лучами южного солнца, на нашем черном и пыльном черноземе.

Наехали и служащие со строителем нашего участка инженером Константином Яковлевичем Михайловским во главе и его помощником, студентом последнего курса Института Путей Сообщения, Аркадием Аркадиевичем Заворовым, одним из самых милых юношей, которых я встречал в жизни, и с которым я очень скоро близко подружился. Все свое свободное время он проводил у меня и стал для меня совсем своим человеком, как бы членом семьи. И в самом деле, это был прямой, честный, умный и добросовестный работник, относившийся к рабочим необыкновенно сердечно, внимательно и справедливо.

Его шеф К.Я.Михайловский очень полагался на своего помощника и доверял ему. Жил он в с. Великой Загоровке, верстах в 8-ми от ст. Плиски строящейся дороги, так как ближе не мог найти помещения для себя и семьи, по-видимому, привыкшей к удобствам жизни богатых людей. Это обстоятельство налагало на Заворова много забот, тем более, что строительный участок — от ст. Крут до ст. Бахмач — заключал, если не ошибаюсь, 44 версты, пространство, требовавшее много времени для частого объезда. Вместе с этими двумя инженерами наехал огромный штат всяких служащих и под-

рядчиков, а вместе с тем появилась в обороте масса денег: все покупалось, все продавалось, за все платили много больше, чем это стоило раньше, все больше развивались жадность, стремление воспользоваться минутой и желание «урвать». Цена даже на землю сразу поднялась до чрезвычайной степени по отчуждению под железную дорогу и в исключительных случаях дошла до 500 руб. за десятину, тогда как в 1861 г., т. е. семь лет раньше, наделная стоимость была установлена в нашей местности в 42 р. 50 к. Строители возмущались такой ценой, хотя, в сущности, они сами и создали эту жадность, сдавая работу с подряда, переходящего из рук в руки, и зарабатывая рубль на рубль, если не более. В числе разных подрядчиков, прибывших вместе с строителями, был наиболее преуспевающий крестьянин — Журавлев. Он жил барином, пользовался неограниченным кредитом и в конце концов, как было слышно, совершенно разорился, что и не удивительно, так как вокруг всего этого крупного дела господствовала самая нездоровая атмосфера наживы, которой все было заражено, и эта болезнь безостановочно росла и в ширь и в глубину.

Строитель нашего участка К.Я.Михайловский, человек умный и, как известно, очень сведущий инженер, держал себя с большим достоинством и тактом, и за все время строительства не было ни одного случая, который говорил бы противное. Я довольно часто с ним встречался и мы нередко затрагивали вопрос о значении железной дороги для нашего края. К моему удивлению, он решительно отрицал экономическое значение той самой дороги, которую строил, и уверял, что она имеет только стратегическое значение, так как по этой дороге нечего возить, разве только богомольцев. Он не сомневался, что в финансовом отношении дорога будет убыточна и, будучи гарантированной правительством, будет поглощать гарантию полностью. Однако его пессимизм безусловно не оправдался: с

первого же года дорога стала приносить доход, превышающий гарантию. ее станции были завалены зерном, которое негде было сохранять, так как построенные платформы оказались совершенно недостаточными. Зерно, в мешках, складывалось на запасных или старых шпалах, кое-как прикрывалось брезентом и прорастало или гнило под осенними дождями, или становилось добычей свиней, гусей и уток не только из близ лежащих сел и хуторов, но также принадлежащих станционным служащим, начиная с начальников станций и кончая стрелочниками, пользовавшимися этим способом выкармливать свиней и птицу для своего потребления и для продажи.

В отношении сохранения зерна Курско-Киевская железная дорога не проявила никакого внимания не только к интересам населения, но и к своим собственным. Постройка дороги дала своим, предпринимателям огромные барыши, которыми они были вполне удовлетворены, тем более, что, окончив эту дорогу, они получили новую концессию — на постройку Рязанской дороги и перекочевали туда. Курско-Киевская дорога, имеющая, если не ошибаюсь, 444 версты, проходит на всём своем протяжении по плодородной равнине, занятой земледелием, которое доставляло главный продукт транспорта и требовало по своей громоздкости удобных и надежных помещений, вместо которых предоставлялись отправителям настилы из гнилых шпал под открытым небом, и не было устроено ни одного, хотя бы показательного, элеватора.

Направление железнодорожной линии также не принимало во внимание интересов населения. Так, г. Курск оставлен в стороне и потребовал особой ветки для соединения с магистралью Киев-Москва. Может быть, хотели обойти подъем на гору, на которой стоит Курск; но постройка железнодорожной ветки опровергает этот довод. Впрочем, трудно в таких случаях что либо придумывать для оправдания фактов, быющих в глаза

своей нелепостью. Как, например, объяснить разумно, что город Нежин, крупный город Черниговской губернии, обойден на четыре версты, хотя не было никаких препятствий для приближения дороги к городу? Знающие утверждали, что город был наказан, так как не согласился уступить бесплатно земельную площадь под станцию 2-го класса. Также осталось в стороне местечко Носовка с 14-ти тысячным населением, подход к которому не требовал никаких особых сооружений; так обойдены и некоторые крупные поселения в Курской губернии. Когда я поднимал этот вопрос в беседах с инженерами, мне возражали, что такие магистрали должны быть такими же прямыми, как Николаевская железная дорога. Мне всегда, однако, такой аргумент казался искусственным, весьма верным для пустынь Америки, по которым проводились дороги, но совершенно неподходящим для таких старых поселений, как русские города. Возможно допустить исключение для Петербурга и Москвы, но проводить дорогу по болотам и дебрям Тверской и Новгородской губернии и жертвовать старыми торговыми центрами, — как Торжок, Боровичи, Новгород Великий — по меньшей мере спорно.

С тех пор, как проведена Курско-Киевская дорога, прошло много времени и наш, когда-то захолустный уезд теперь изрезан железными дорогами по всем направлениям. После проведения Курско-Киевской ж. д., в семидесятых годах, была проведена Либаво-Роменская, затем позднее — Одесса-Бахмач, почти прямая линия, соединяющая Черное море с Балтийским. Таким образом, наш уезд теперь соединен с морями Черным и Балтийским, с океанами Тихим и Атлантическим и со всею Западной Европой; кроме того, местной дорогой он соединен и со своим губернским городом.

Жизнь в своем имении — в Плиске — в течение 1867 года дала мне возможность ближе стать и к местному населению, с которым у меня не было никаких неприятных счетов или даже неприятных воспоминаний. Имение перешло в мои руки через шесть лет после освобождения крестьян. Я начал с того, что формально отказался от пятой части выкупной ссуды, которую я должен был получать от крестьян и таким образом уничтожил все отношения, связанные с крестьянскими обязательствами.

Несмотря на то, что по своему происхождению я принадлежал к местному дворянству, я в данный момент менее всего был связан с дворянской средой, хотя именно с нею мне предстояло либо действовать вместе, либо вступить с нею в борьбу, если обстоятельства того потребуют. Старый порядок оставил и в нашем уезде своих представителей, не желавших примириться с новым положением вещей, но бессильных открыто противодействовать ему. Это были, так сказать, обреченные и потому безвредные люди. Мне было даже жалко их, так как между ними были и честные, и добрые, и умные. Они были люди своего века и решительно не понимали духа и требований века наступившего. К одному из таких «зубров», как потом их называли, пришли дворовые, чтобы объяснить, что ждать истечения двухлетнего срока, назначенного по «Положению», они не желают и предупреждают, что покинут свою службу. Старый помещик этого не ожидал и не знал, что ему сказать на такое заявление: он уставился глазами в ближайшего из своих старых слуг и вдруг неожиданно плюнул ему в лицо, а затем повернулся и вышел. А между тем с прислугой, и вообще со своими крестьянами он был скорее добр и отнюдь не жесток. Он принадлежал к группе помещиков «обреченных».

Другая группа состояла из людей разнообразного возраста и положения, уже занявшая разные места на службе земской или коронной, родственная первой группе, связанная с нею материальными или духовными интересами, но понимавшая, что для личного успеха надо занять прочное положение среди нарождающихся условий нового порядка. Эти люди, обладая умом и ловкостью, настойчиво добивались сохранить и при новых условиях командующее положение своего сословия.

Наконец, самая малая группа состояла из людей, которые впоследствии получили название «людей шестидесятых годов». Они горячо были преданы идее обновления России на почве реформ крестьянской, земской и судебной. Они видели и признавали все недостатки реформ, — их явную неискренность, опасение дать более того, что безусловно необходимо и неизбежно, их незаконность и непоследовательность, но признавали, что общество получило благодаря этим реформам точку опоры и почву для общественно-полезной работы, которая сама по себе, неизбежно должна раздвинуть рамки, установленные правительством, и подготовить страну к самому широкому самоуправлению.

Во главе этой группы в нашем уезде стоял Михаил Андреевич Имшенецкий и к ней первоначально принадлежали три брата Волк-Карачевские, Никодим, Григорий, и Василий Никодимовичи, Василий Васильевич Тарновский, сын того Тарновского, о котором я говорил в первой главе, Василий Алексеевич Савич и я. Старшим из нас был Никодим Никодимович Волк-Карачевский, младшим был я. Нас было очень мало, но это нас не смущало, так как наша программа выходила за пределы уезда и планы наши обнимали всю Россию. Мы не сомневались, что скоро найдем сторонников, как в других уездах своей губернии, так и в других губерниях.

Основная программа наша заключалась в том, чтобы земские учреждения превратить в школу самоуправления и этим способом подготовить страну к конституционному государственному устройству. Мы полагали, что этот путь неизбежен и необходим и что в основе такого самоуправления должна стоять демократия, без всякого деления на сословия, классы и какие-либо религиозные или национальные подразделения. Конечно, можно сказать, что это были мечты ни на чём не основанные, но не надо забывать, что это было время великих реформ, когда не только молодежь, а также и люди почтенного возраста помолодели и строили планы для будущей России.

Мы мечтали о конституционном строе российского государства и при этом достаточно хорошо знали свой народ, знали уровень его понятий, знали, как мало он подготовлен к самоуправлению, будучи почти поголовно безграмотным (1867). Но мы вовсе не мечтали о революции при данных условиях, когда в лучшем случае Россия могла променять традиционное самодержавие на «просвещенный деспотизм» и надолго затянуть эту форму государственного управления, при которой даже славянофильская идея: «народу — мнение, царю — власть» считалась бы почти революционной. Всякий насильственный переворот нам тогда представлялся идущим мимо цели, так как такой переворот возможен и даже необходим лишь в том случае, когда народная масса поднялась до сознания, что может быть не объектом, а субъектом государственного управления. Мы надеялись, что этого может достигнуть такой умный и быстро усваивающий новые идеи народ, пройдя через школу местного самоуправления, если оно будет распространено на волостное управление, и если круг его действий будет расширен и освобожден от устаревших вмешательств администрации и подчинен контролю специальной власти.

Само собою разумеется, что реформе самоуправления должно было предшествовать уничтожение всех привилегий, полное уравнивание всех граждан в гражданских и политических правах и уничтожение сословий, разъединяющих граждан.

Такова была программа, с которой мы приступили к нашей земской и общественной деятельности.

План этот был обсужден и принят М.А.Имшенецким и мною, во время моего пребывания у него на хуторе «Маиорщина», где я гостил около двух недель летом 1866 года. М.А. Имшенецкий был четырьмя-пятью годами старше меня, прошел кадетский корпус, был очень недолго офицером, но скоро по болезни вышел в отставку и поселился на своем хуторе. Я не помню, где и как мы с ним познакомились, но мы очень скоро сошлись во взглядах.

До сих пор я с большим удовольствием вспоминаю милый хутор Имшенецкого. Среди прелестных лугов, вблизи впадения р. Сейма в р. Десну, с множеством «завоей», покрытых кувшинками и другими водяными растениями, и колоссальных дубов, разбросанных по лугам, на небольшом пригорке стоял необыкновенно уютный небольшой дом, содержимый в большом порядке, с портретами в гостиной отца и красавицы-матери хозяина. Таких гигантских дубов, какие были разбросаны по всем его лугам, я раньше никогда не видел, размер их можно представить себе, если я скажу, что в дупле одного из них был поставлен стол и две скамьи, сидя на которых друг против друга, мы по утрам пили кофе и беседовали. Дупло начиналось прямо от земли, а на высоте человеческого роста окружность дуба имела 13 аршин, ветви же его достигали 17 аршин, занимая ими площадь более 10 сажень в диаметре.

Михаил Андреевич едва ли интересовался своим хозяйством, состоявшим главным образом из лугов и, если не ошибаюсь, из свиноводства. Я видел множество свиней, бродив-

ших среди лугов, с кольцами в носу, мешавшими им рыть и портить луга, и ограничивавшихся желудями. Но интересуясь мало собственным хозяйством, Имшенецкий был весь поглощен решением вопроса — что делать среди тьмы, окружавшей всю страну, не ведающую, куда и к чему она идет и в чём ее пути. Вот эта обширная тема была предметом наших бесед в течение всего моего пребывания у него. Его пытливый ум и чуткая душа были полны тревоги по поводу только что раздавленного, но не разрешенного польского вопроса, каракозовского покушения и земства, не проявлявшего ни малейшей жизненности, и возбуждавшего множество сомнений в своей дееспособности. По своему характеру он был очень склонен к дисциплине и не мог мириться с неопределенностью; везде и во всём он искал планомерности. Но более всего его беспокоило невежество народной массы, и народную школу он считал коренным условием общественной деятельности. Под впечатлением этих бесед, в следующем 1867 г., когда я окончательно поселился в Плиске, я сделал первую неудачную попытку устройства народной школы, закрытой по требованию училищного совета, и в том же году выстроил школу на принадлежавшем мне участке земли у самой церкви села, с целью передать ее земству и положить начало земскому школьному строительству в нашем уезде. В устройстве этой школы мне много помогал Имшенецкий, собрав часть необходимых средств для ее постройки. Избранный в 1867 г. в уездные предводители дворянства и заняв председательское место в училищном совете, он дал огромный толчок школьному делу в уезде. Он вошел в сношения с бароном Корфом, выступившим в Александровском уезде Екатеринославской губернии с организацией школьного образования и, по просьбе Имшенецкого, приславшим в Борзну двух учителей в качестве инструкторов, достаточно подготовленных к этому делу. Михаил

Андреевич, с помощью этих учителей, устроил временное образцовое преподавание по методу Корфа, которым заинтересовалось немало лиц, а осенью, когда школа в Плиске была готова, один из этих инструкторов, Н.Н.Кулябка, был определен учителем в этой школе, которая должна была служить образцом для устройства следующих. Конечно, и эта «образцовая» школа очень скоро должна была уступить свою роль более поздним, но все же. ее значение первой и руководящей школы осталось непререкаемым: она открыла путь, по которому пошло школьное дело в Борзенском уезде, и путь этот главным образом заключался в том, что земство брало целиком на себя все устройство и дальнейшее содержание школ.

В наши с Имшенецким планы были посвящены вышеназванные наши приятели: Савич, все три брата Волк-Карачевские и Тарновский. Последний менее других принимал участия в нашей деятельности. Круг его знакомых не внушал нам особенных симпатий, и мы не желали ставить В.В.Тарновского в не совсем удобное положение, возлагая на него поручения, которые могли стеснить его в его кругу. Тем не менее мы ничего не скрывали от него, т. е. он пользовался нашим полным уважением и доверием. Что же касается остальных наших товарищей, то как Савич, так и все три брата Волк-Карачевские разделяли наши планы всецело и всегда были готовы взять на себя любое поручение, тем более что они никогда не преследовали личных целей, а только общественные,

Как я уже сказал, в 1867 году на дворянских выборах М.А.Имшенецкий был избран уездным предводителем, что в значительной мере ослабило наших противников, которые теряли в выбывшем предводителе естественное звено, объединявшее все старое поколение, потерпевшее крушение в освобождении крестьян. Старый предводитель, занимавший бес-

сменно свое место не менее 25 лет, — Константин Алексеевич Гамалей, отставной гусар, худенький, маленький и необыкновенно живой старичок, с огромной взъерошенной почти белой шевелюрой, бакенбардами и усами, как изображались на портретах лихие военные люди, был добрый, но очень ограниченный человек. Для нового времени он уже не годился, и это понимали более благоразумные представители доброго старого времени, но они не находили в своей среде ни желающего, ни умеющего приспособиться к новому положению человека и, поэтому предпочли поддержать мягкого и любезного М.А.Имшенецкого. Последний был избран блистательно головами как стариков, так и молодых. Я не участвовал в выборах — мне не вышли года — но после выборов принял участие в обеде, данном новому предводителю и произнес речь, чрезвычайно возбудившую бывшего предводителя Гамалея, пришедшего в азарт и кричавшего: «на бочонок пороху, на бочонок пороху!». Расходившегося старика с трудом успокоили и вызов на дуэль не состоялся. Но это случайное обстоятельство отразилось на моих выборах в земские гласные: я был вынужден поставить свою кандидатуру не на съезде крупных землевладельцев, которые собирались меня забаллотировать, а на съезде крестьянских обществ, чему я был очень рад.

Выбор Имшенецкого предводителем дал нам возможность, заранее не ожидая выборов в земское собрание, предстоявшее в следующем 1868 году, ближе знакомиться с делом, которое нас ожидало впереди. Я не помню, кто именно был в течение первого земского трехлетия в составе земской управы в нашем уезде, но сколько я помню, первым председателем управы был отставной майор Довгелло, во всяком случае этот состав совершенно не соответствовал той задаче, которая на него была возложена законом, не говоря уже об ожиданиях, которые возлагались на земство более прогрессивными обще-

ственными элементами. Управа просто не знала, как взяться за дело, а потому ничего не делала. В уезде не было ни одной школы, хотя на бумаге их имелось: несколько церковных и несколько содержимых министерством государственных имуществ; но управа не считала нужным торопиться с этим делом. В уезде было также полное отсутствие врачебной помощи: управа пригласила одного врача на жалованье в 100 р. в месяц, предоставила ему устроиться, где он сочтет более удобным, и возложила на него обязанность оказывать врачебную помощь населению способом, каким он признает наиболее целесообразным. Никакого общего плана ни по школьному, ни по медицинскому вопросу не было выработано. Конечно, это была не легкая задача и решить сразу ее было нельзя, но не было, ничего предпринято в этом направлении, и население по-прежнему обращалось, в случае болезни, не к этому единственному врачу, а к местной сердобольной помещице или к фельдшеру, состоявшему при враче и игравшему роль гораздо более значительную, чем его патрон, не оказывавший большой любезности тем пациентам, которые забывали о «благодарности». Фельдшер же был простой, свой брат, да и меньше требовал.

Сколько мне помнится, за исключением назначения этого одного врача на уезд, земская управа ничего другого не выдумала и не проявила никакой особенно полезной деятельности, да и вообще первое трехлетие земских учреждений в Черниговской губернии могло бы дать правительству право упрекнуть земство в равнодушии к общественным интересам и бездеятельности. Но разве самодеятельность народа приобретает так скоро и такой легкой ценой?

Наступил 1868 год, для меня особенно значительный и памятный. С этого времени я считаю начало своей общественной деятельности, когда я был избран на крестьянском избира-

тельном собрании земским уездным гласным, затем земским собранием был избран губернским гласным, и в одном из заседаний губернского земства произнес свою первую речь. Выборы происходили в конце лета 1868 г., и вся наша группа прошла в гласные блистательно, почти без всякого противодействия. Состав гласных от крестьян был также очень удовлетворительный. Избранными оказались люди хорошо грамотные, умные и пользующиеся большим авторитетом в своей крестьянской среде, а некоторые отличались независимостью характера и умением себя держать с большим достоинством. Благодаря таким выборам, состав уездной земской управы был совершенно изменен. Председателем управы был избран Имшенецкий, а одним из двух членов — Никодим Волк-Карачевский, — бывший мировой посредник первого призыва, пользовавшийся большим уважением всего крестьянства.

Избранный в 1868 г. в число губернских гласных Черниговской губернии, я отправился в Чернигов вместе с моими тремя товарищами: Имшенецким, Савичем и Григорием Волк-Карачевским. Пятый губернский гласный нашего уезда, казак Гужовский, как член губернской земской управы, избранный в первое трехлетие, уже находился в Чернигове, да и вообще он держался особо: не с нами, но и не против нас. Он лавировал между Сциллой и Харибдой с большим искусством.

Имшенецкий был гласным уже в первое трехлетие, Волк-Карачевский, не помню, кажется, был вместе с Имшенецким; Савич же и я были новичками: нас никто не знал и мы никого не знали. Имшенецкий познакомил нас с председателем губернской земской управы, А.П.Карпинским, и еще с некоторыми гласными, но с кем я решительно не помню.

Естественно, что попав в собрание, в котором мы никого почти не знали, а сверх того сами были очень мало подготов-

лены к активным выступлениям, мы решили без нужды не выступать и прежде всего присмотреться к составу собрания.

Председательствовал губернский предводитель И.Н.Дурново. Я его знал по маленькому столкновению в 1865 г. в первом земском собрании. С тех пор я его не встречал, но о нём так много ходило сплетен в Чернигове, и он так явно афишировал и свое богатство и свое личное положение, что его биографию знали даже те, кто вовсе не интересовался ею. В какой степени эта неписанная и ходячая биография была верна, я не знаю и речательства за нее на себя не беру, но по рассказам того времени отец губернского предводителя был управляющим одного из богатейших помещиков Черниговской губернии, Неплюева, сына или внука бывшего устроителя Оренбургского края, где в память его существовал до последнего времени Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. Управляя делами богача, Дурново-отец имел собственное имение в с. Жукотке Черниговской губернии, где был устроен сахарный завод. Там старик и жил на покое. Его состояние все же не было достаточно велико, чтобы поддерживать широкую жизнь не только старшего сына, черниговского уездного предводителя, но и другого сына, офицера пехотного полка, очень скромного молодого человека, которого я встречал в Чернигове, будучи еще в последнем классе черниговской гимназии. Дурново-отец был человек довольно крутого нрава, и я помню, что в 1861 году, очень скоро после объявления Манифеста 19 Февраля, у него в имении произошел крестьянский бунт, были вызваны для усмирения войска, выезжал губернатор, кн. Голицын, и много крестьян было подвергнуто жестокому телесному наказанию. Убитых однако не было. Это Жукотское возмущение было долго предметом разговоров в Чернигове. Скоро после этого старик Дурново умер и состояние перешло в руки И.Н.Дурново, который пользовался не-

ограниченным доверием наиболее реакционных элементов местного дворянства. Однако, состояние, уже значительно расстроенное отцом, а затем и реформой, уничтожившей даровой труд крестьян, не выдержало широкой жизни своего владельца и И.Н.Дурново стал чувствовать недостаток в средствах, а потому начал подумывать о переходе с кресла предводителя на кресло губернатора. С ловкостью крупного интригана, он старался угодить влиятельным дворянам и в тоже время обратить на себя внимание министра внутренних дел. Он вел эту двойную игру с большим искусством. Его личный секретарь и в то же время секретарь дворянства, А.И.Калиновский, очень неглупый человек, но большой болтун, был поклонником своего патрона и, бывая часто в доме моего отца, рассказывал об успехах Дурново в Петербурге, о разных эпизодах его жизни в столице и разбалтывал планы патрона, мечтавшего о широкой административной деятельности. В конце концов, Дурново добился своей цели и был назначен губернатором в Екатеринослав, откуда перешел в товарищи министра внутренних дел, а затем стал и министром. Такова была карьера человека, начавшего с чина «провинциального секретаря», никогда не отличавшегося ни знанием дела, ни образованием, ни умом, достигшего первенствующего положения на лестнице русской бюрократии. Гр. С.Ю.Витте, в своих «Воспоминаниях», так характеризует своего «друга» И.Н.Дурново: «Будучи министром внутренних дел, Дурново занимался перлюстрацией писем членов императорской фамилии и даже вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая узнала об этом и пожаловалась императору Николаю II, требуя отставки слишком любопытного министра. Ему пришлось уйти и променять положение всемогущего министра внутренних дел на ничтожное кресло председателя комитета министров». Гр. Витте

уверяет, что все министры внутренних дел занимались такой перлюстрацией.

В 1868 году Дурново был только главой реакционной группы, самым видным и образованным членом которой состоял бывший профессор московского университета — Константин Александрович Рачинский, еще довольно молодой человек, родной брат известного профессора того же университета Сергея Александровича Рачинского, учредителя Татьевской школы в Смоленской губернии. К.А.Рачинский был женат на госпоже Фроловой, дочери переводчика «Космоса» А.Гумбольдта и богатого конотопского помещика, имевшего имение в с. Рубанке. Рядом с ним стоял его соратник по Конотопскому уезду П.В.Псел, очень неглупый, злобный и боевой, известный хозяин-табаковод, с лицом чрезвычайно отталкивающим; затем умный и очень сдержанный гласный Мглинского уезда И.Г. Есимонтовский, а также суражский предводитель дворянства Ис-крицкий и многие другие, и в том числе будущий преемник Дурново по должности губернского предводителя — Николай Иванович Неплюев, человек чрезвычайно ограниченный, покорный слуга правительства, пользующийся его полным доверием. В 1877 г., когда происходил известный процесс 193-х, в котором многие обвиняемые были арестованы в Черниговской губернии, Неплюев был приглашен в состав Судебной Палаты в качестве губернского предводителя. И мне кажется, что по его внушению, один из свидетелей, священник Борзенского уезда, очень почтенный и любимый паствою человек, за показание данное на суде в пользу подсудимого, — бывшего учителя, был немедленно по возвращении из Петербурга вызван архиереем в Чернигов, лишен своего места и назначен в один из самых глухих и бедных приходов Мглинского или Суражского уезда.

На первый взгляд было трудно угадать, кто из всего состава собрания держится консервативных или либеральных идей. Только председатель управы А.П.Карпинский и А.Ф.Линдфорс явно обнаруживали свою несолидарность с реакционерами.

Так прошло несколько дней, пока председатель собрания, Дурново, не внес своего заявления с требованием внесения земством в кассу Черниговского дворянства капитала, принадлежащего дворянству в несколько тысяч рублей (точно цифры не помню), якобы принятого земством от упраздненного Приказа Общественного Призрения за счет земства. Из заявления предводителя дворянства было видно, что раньше в Черниговском Приказе Общественного Призрения хранились капиталы и разные бумаги и документы, принадлежавшие Черниговскому дворянству, но что после упразднения Приказа один из капиталов дворянства был, будто, передан земству, которое теперь и должно возвратить его дворянству. По поводу этого требования, председатель управы, А.П.Карпинский, заявил в самых категорических выражениях, что никогда дворянский капитал земству не передавался, поэтому нет никаких оснований для земства, учреждения не дворянского, а всесословного, брать на себя ответственность за утраченный дворянством капитал. Казалось, дело было очень просто и ясно, но Дурново настаивал, что земство обязано удовлетворить его требование, так как все капиталы, бывшие на сохранении в Приказе Общественного Призрения, были переданы земству, и если управа не озаботилась передачей одного из капиталов дворянства, хранившихся в Приказе, то на земстве лежит обязанность исправить упущение земской управы.

Нелепость такого требования была, конечно, очевидна и для самого Дурново, но он не сомневался, что требование его будет удовлетворено, так как три четверти гласных были его

сторонниками, и он был уверен, что они не станут действовать ни против интересов дворянства, ни против него лично, тем более, что решение собрания будет окончательным, так как, без полномочий собрания, управа не может переносить дело в высшую инстанцию; а губернатор не станет опротестовывать постановление, ибо формально оно не нарушает никакого закона.

Однако, в соображениях председателя не были приняты во внимание возможные случайности, а его требование, тон его речи и самоуверенность, с которой он обращался к собранию, глубоко меня возмутили, и я, не долго думая, потребовал слова, в первый раз выступая в большом собрании. Возмущение придало мне энергии. Мою речь слушали сначала с любопытством, улыбаясь смелости молодого оратора; но очень скоро любопытство перешло в негодование, которое только возбуждало меня, и когда я закончил категорическим предложением отвергнуть требование предводителя, желавшего переложить свою ответственность перед дворянством на земство, в собрании поднялась буря аплодисментов, конечно, не по моему адресу, а по адресу Дурново, которому была устроена овация. Дурново почувствовал необходимость ответить мне. Он говорил красиво, уверенно, рассчитывая на симпатии большинства и притом зычным голосом, наполнявшим всю залу. Когда он окончил, ему была устроена новая овация, сопровождавшаяся аплодисментами и всяческими восклицаниями. Но мне не хотелось сдать своей позиции, и я потребовал вновь слово. Дурново любезно удовлетворил мою просьбу, но едва я раскрыл рот, как гром аплодисментов не дал мне говорить. Я выждал, и когда они прекратились, начал говорить, но аплодисменты снова заставили меня замолчать. Было ясно, что возражать мне не дадут. Я сел, а Дурново

поставил на голоса свое требование, которое и было принято настолько ясным большинством, что голосов не считали.

Но я решил не сдаваться. По принятому еще в первое трехлетие правилу, всякое постановление могло быть подвергнуто пересмотру при чтении протокола, в котором оно записано. Я решил воспользоваться этим правилом и выступить на следующий день с требованием пересмотра. Чуть ли не всю ночь я не спал, волнуясь и тщательно обдумывая речь, которая должна была быть более деловита, чем та импровизация, с которой я выступил.

Как только протокол был прочитан, я, сославшись на свое право, попросил разрешение представить свои возражения. Дурново с прежней любезностью признал, мое право и предоставил мне слово. На этот раз моя речь была более обдумана, и я не раздражал противников, а старался убедить их, в заключение же потребовал закрытого голосования, т.к. дело шло о крупной ассигновке в пользу дворянства, а не на нужды земства, и притом по требованию председателя собрания, что конечно стесняло голосующих. Это предложение было принято собранием, что могло уже служить дурной приметой для моего сильного противника. И действительно, к полному изумлению самого собрания, большинство высказалось за отмену вчерашнего постановления и за отказ в требовании Дурново. На этот раз небольшая группа гласных аплодировала мне, а все остальные имели очень смущенный вид.

Этот небольшой факт имел, мне кажется, существенное влияние на группировку гласных в Черниговском земском собрании, которое выделило из своей среды особую группу, согласившуюся объединиться и включившую в программу своей деятельности некоторые основные задачи, имевшие в виду не только местные, но и государственные интересы; не только достижение действительного местного самоуправления

взамен того псевдосамоуправления, которое имелось в виде Земского Положения, но и достижение конституционного строя Российского Государства.

Лично же меня мое выступление наградило дружбой Александра Федоровича Линдфорса, близость с которым прекратилась у меня лишь с его смертью.

А.Ф.Линдфорс был одним из самых образованных русских людей своего времени, в Черниговском же собрании, вне всякого сомнения, он был головою выше всех гласных, не только по своему образованию, ораторскому таланту и ясности ума, но и по своему характеру; никогда, ни при каких условиях, он не отступал от своих моральных принципов.

В его жилах текла самая разнообразная кровь. Его отец шведского происхождения, мать — французского, урожденная Жерве; бабка по матери — чисто русская, Писемская, дворянка Костромской губернии. В детстве он был помещен в старый дворянский пансион при московском университете, через который прошло немало очень замечательных русских людей. Он был уже в четвертом классе, когда, во время коронации императора Александра II, дворянский пансион удостоился довольно оригинальной чести: несколько лучших его учеников были из гимназии переведены в пажеский корпус. В числе переведенных оказался и А.Ф.Линдфорс. Он был сделан камерпажом, кажется, императрицы Марии Александровны и выпущен в один из гвардейских полков, где быстро получил чин капитана. Но в его душе уже совершался перелом: он чувствовал пустоту жизни гвардейского офицера и потребность более серьезных задач. Сознав это, он немедленно вышел в отставку и поступил студентом в киевский университет, который и окончил по юридическому факультету. Его манила деятельность по устройству быта только что освобожденного от крепостной зависимости крестьянства, и он получил место

мирового посредника в Каменец-Подольской губ. Здесь он столкнулся с знаменитым хирургом и попечителем киевского учебного округа, Н.И.Пироговым, уже переселившимся в свое имение «Вишню». Между крестьянами и бывшим их владельцем, (правильнее говоря, — супругою бывшего владельца, фактически управлявшей всеми делами своего мужа) произошло столкновение, разрешенное Линдфорсом в пользу крестьян. Пирогов, недовольный решением Линдфорса, обратился с жалобой непосредственно к генерал-губернатору Безаку, который вызвал Линдфорса и предложил ему место мирового же посредника, но в другом месте. Линдфорс отказался и подал в отставку. Поселившись в своем собственном имении, Алешне, Городницкого уезда, Черниговской губернии, он решил принять участие в земстве в качестве гласного, а средства к жизни зарабатывать трудом присяжного поверенного. Его имение, расположенное в местности близкой к Днепру, имело малоплодородную, песчаную почву, требующую больших затрат, чтобы приносить доход. Я посещал его, когда он жил в своей Алешне и своими собственными руками исполнял самую черную хозяйственную работу, которой он отдавался по нужде, не будучи ни предшественником, ни последователем Толстого. Его дисциплинированный ум был чужд всяких крайностей и всего показного. Он сам задавал корм своим лошадям и коровам и убирал их, не делая из этого цели жизни, находя ее в более высоких и важных задачах человека, а просто делал все, что было нужно, когда обстоятельства того требовали. Из его жизни я приведу один случай, который может дать понятие о его характере. Возвращаясь из Петербурга, куда ездил по своим делам, через Москву, он заехал к своему товарищу по пажескому корпусу, сохранившему приятельские отношения с ним, генералу А.А.Козлову, бывшему в это время обер-полицеймейстером Москвы. За обедом генералу подали теле-

грамму, которую он, прочитав, передал Линдфорсу. Телеграмма была от шефа жандармов и требовала ареста Линдфорса при проезде его через Москву и препровождения его в Петербург. На вопрос генерала, что случилось? Линдфорс отвечал, что решительно не знает, так как он не дал никакого повода для этого. Генерал не сомневался в безусловной правдивости своего товарища и потому сказал: поезжай к себе сегодня же, а я сообщу шефу, что ты уже проехал, и в Москве тебя нет. Приехав домой, Линдфорс узнал, что в его отсутствие у него был произведен жандармский обыск и что взяты некоторые бумаги, не имевшие, впрочем, никакого значения, но, в виду произведенного обыска, он решил не ждать его повторения и идти на встречу событиям. Для этого он отправился в Чернигов и явился к местному жандармскому полковнику.

— Вы сделали у меня обыск и выемку. Я явился к вам, чтобы узнать, что вам угодно от меня.

— Да, мы сделали у вас обыск, потому что получили сообщение, что у вас в имении скрывается лицо, обвиняемое в государственном преступлении и разыскиваемое нами. Мы его не нашли, но оно скрывалось у вас.

— Вы совершенно правы. Ко мне явился человек и сказал, что его разыскивают, что его жизни угрожает опасность и что он просит дать ему на время убежище, чтобы дать ему возможность спастись. Скажите, полковник, если бы к вам явился с такой просьбой человек, вы отказали бы ему? Я считал себя не вправе не протянуть руки утопающему и не спрашивал, каких он держится убеждений; я спросил его, сколько времени ему нужно? Он отвечал, что около месяца. Я согласился и дал ему приют, но раньше чем истек месячный срок, он покинул меня.

— Почему вы не донесли мне после того, как он покинул вас?

— Потому, что это было бы предательством.

Полковник не ожидал, по-видимому, такого ответа и заявил Линдфору, что он понимает его поступок, но должен взять от него подписку о невыезде. Этим дело и кончилось, так как никаких дальнейших последствий оно не имело.

Однако, судьба Александра Федоровича была ужасна. В его семье существовала наследственность душевной болезни в возрасте от сорока до пятидесяти лет. В его имении проживал его родной дядя, полковник генерального штаба, Жерве, брат матери Линдфорса, душевно больной, всегда погруженный в чтение английских, французских, немецких и русских газет и находящийся под опекой своего племянника. Для бедного Александра Федоровича это было *memento mori*, то единственное, чего он не мог победить ни силою своего ума, ни силою характера.

Глава III

1868-69 г.г. — Моя болезнь и отъезд за границу — Н.Н. Ге — П.П. Забелло — Введение мирового суда в Черниговской губернии — Я избран участковым мировым судьей — Возвращение из заграницы — Деятельность мирового суда с 1869 по 1879 год

К моему крайнему прискорбию осенью 1868 г. я начал хворать и чувствовать большой упадок сил. Это побудило меня обратиться к знаменитому в то время киевскому профессору, Вас.Тим.Покровскому, за советом. Исследовав меня, он заявил, что не видит никакой непосредственной опасности, но мое состояние представляет благоприятную почву для серьезных заболеваний, почему он советовал провести зиму на юге, например в Сицилии. Не долго размышляя, я собрался очень быстро и в начале октября отправился за границу через Варшаву и пограничную Границу, направляясь прямо в Вену.

Описывать мое пребывание заграницей я не буду, так как оно имело в виду только поправление моего здоровья. А может ли быть что-либо скучнее такой задачи, да еще в 25 лет! При этом, я был совершенно не подготовлен для заграничного приятного путешествия, которое могло бы показать мне всю высоту европейской культуры.

Вена была первым европейским городом на моем пути, и бегая по ней от утра до вечера, я забыл и об усталости, и о болезни. Улицы, толпа, музеи, кафе с концертами Штрауса, церкви, дворцы и парламент, в котором заседаний в это время не было, — все было для меня ново, интересно и привлекательно. За Веной следовал Мюнхен, немецкие Афины, который уже не произвел на меня такого впечатления, и я направился через Инсбрук и Бреннер в Венецию. Дорога была очаровательна, и я в первый раз увидел Альпы, величие которых до

сих пор не изгладилось из моей памяти, а красота гор с тех пор всегда производит на меня сильное впечатление.

Не легко мне определить впечатление, оставшееся у меня от Венеции. Можно ли сомневаться в красоте этого чуда искусства, единственного в мире города, в котором дома поднимаются прямо из воды и вместо улиц — каналы? Это какая-то очаровательная иллюстрация к волшебной сказке, в которой все как будто не реальность, а изображение. Пробыв тут несколько дней, я научился с планом в руке ходить по Венеции, не прибегая к гондоле. И здесь, среди этой сказки, я вдруг столкнулся с самой подлинной российской реальностью: в отеле Даниэли, где я жил, я встретил черноземного, тамбовского или тульского помещика, покинувшего Россию после манифеста 19 февраля и считавшего, что в России для истинного дворянина нет более места после «революции, произведенной сверху». Этот чудака отказался от России, но не отказался от русских щей и гречневой каши, получая для этого продукты из России. Он обрадовался появлению русского, познакомился со мною и пригласил к себе «на щи и кашу», которыми утешал свой утробный патриотизм. К сожалению, я забыл фамилию этого чудака и не знаю, вступил ли он в какой-нибудь договор с своим отечеством, где он оставался владельцем крупного имения, или, не примиренный, умер на чужбине?

Из Венеции, через Болонью, я приехал во Флоренцию и остановился там, имея в виду только осмотреть ее памятники средних веков. Но здесь я случайно встретил Тимофея Николаевича Повало-Швейковского, только что женившегося на дочери Н.А.Бакунина, и вместе с женою и ее сестрою, Варварой Николаевной Бакуниной, путешествующих по Италии. От них я узнал, что во Флоренции имеют постоянное местопребывание художник Н.Н.Ге и скульптор П.П.Забелло. Ни того, ни другого я не знал лично, но Н.Н.Ге знал по его картине «Тай-

ная Вечеря», которая была на выставке в Петербурге. Швейковские предложили мне познакомиться с Ге, пользовавшимся уже крупной известностью в России, и мы вместе отправились к нему. Н.Н.Ге и его супруга приняли меня очень радушно и с первого же знакомства выяснилось, что Анна Петровна Ге — дочь моего ближайшего соседа, Петра Ивановича Забелло, хутор которого всего в четырех верстах от Плиски. Далее выяснилось, что и Ге и П.П.Забелло, родной брат Анны Петровны Ге, живущий также во Флоренции, учились в той же Киевской 1-й гимназии и в том же пансионе, где и я учился, но только позднее их, и что я видел в зале пансиона на стене их прекрасные; рисунки. Словом, с первого дня знакомства с Ге, мы уже были «свои» люди и мне оставалось побывать еще у Пармена Петровича Забелло, чтобы чувствовать себя за границей почти как у себя дома. Пармен Петрович жил за стеною Флоренции, у Porta S. Gallo, т.е. вне города, хотя стена, отделявшая старый город от предместья, была лишь памятником старины — не более. Забелло я не застал дома, но мне указали его студию, расположенную вблизи, где я и нашел его за работой: он лепил Джульетту на балконе. Он также радушно принял меня (я явился с карточкой Ге), но в манере Ге и Забелло было все различно до противоположности. Поскольку первый отличался экспансивностью, постольку второй — сдержанностью.

Это новое знакомство изменило все мои планы, и я решил остаться на зиму во Флоренции, где все было так привлекательно, что мне не хотелось покинуть ее. В виду этого, я переселился из гостиницы в маленькую квартиру из двух комнат, составлявших весь третий этаж четырехэтажного дома в три окна, на Piazzai s. Maria Novella, указанную мне Н.Н.Ге. И место, и квартира, где я мог чувствовать себя совершенно независимым, вполне меня удовлетворяли. Я был в двух шагах

от самого центра города и в то же время от городского сада «Кашиньи» и от реки Арно с ее набережной, откуда было видно, так много прелестных мест, окружающих Флоренцию. В 1868 и 9-м годах Флоренция была еще столицей Италии и здесь было местопребывание короля Виктора Эммануила, которого можно было почти ежедневно встречать на Lung'Arno, где он проезжал в ряду множества других экипажей, как простой гражданин, что, по-видимому, чрезвычайно нравилось флорентинцам. Его приветствовали, снимая шляпу, он, с своей стороны, отвечал тем же, не внося ничего нарушающего общий порядок.

Из Флоренции я два раза ездил в Рим и один раз в Неаполь. В Риме еще царствовал Папа и его Область была единственным государством, въезд в которое сопровождался требованием паспорта и довольно сложным таможенным осмотром книг и бумаг, если они находились в вещах; личного осмотра, впрочем, не делалось. Книги же и бумаги на границе отбирались вместе с паспортом и возвращались на другой день. Я дал свой адрес — *Ria a delia Minerva, Hotel Minerva*, около Пантеона. Все взятое у меня было действительно на следующий день мне доставлено.

«Вечный Город» произвел на меня совершенно исключительное впечатление, какого я не испытывал ни в Париже, ни в Лондоне. О Берлине и говорить нечего. Такое же впечатление я снова пережил, посетив Рим вторично в 1895 году. Это не город, а Храм, посвященный вечности и бессмертию, о которых напоминает каждый шаг, каждый вершок этой земли. В первый раз я приехал в Рим на карнавал, который справляли одни иностранцы, большею частью англичане и американцы, а открывали власти торжественным проездом по Корсо кардиналов в красных сутанах. Затем появлялись переодетые фигуры (маски запрещались в это время из-за каких-то опасений) и

начиналась затем забава с тушением свечей и бросанием confetti. Корсо по всей своей длине набито было битком и все балконы украшены материями и коврами и тоже наполнены публикой. В конце концов, мне показалось все это довольно скучным.

Второй раз я приехал весной, когда стояла очаровательная погода и когда можно было осмотреть город без всякой помехи. О нем нельзя говорить в нескольких словах, а говорить все то, что можно было бы сказать, не входит в мою задачу. Поэтому я ограничусь тем, что относилось к событиям дня. Быть в Риме и не видеть Папы, как известно, непозволительно, а мне удалось видеть Папу Пия IX-го два раза. Первый раз я видел его во всем блеске папского величия, когда его внесли в собор св. Петра на носилках под роскошным балдахином, окруженного кардиналами, между двух рядов вооруженной папской стражи. Это было зрелище, от которого св. Петр бежал бы в ужасе, если бы ожил и увидел наследника своего престола в таком виде. Другой раз я видел Папу в иной, более простой обстановке на кладбище Сан-Лоренцо, где он осматривал усыпальницу, которую он устраивал для себя при жизни.

Он спускался вниз по мраморной лестнице в сопровождении трех кардиналов, благословляя наложением рук на головы женщин и детей, стоявших на ступенях лестницы. Это был толстый старик с потухшими глазами. Рядом с ним шел кардинал и министр Антонелли с очень выразительным лицом. Папу ждала внизу лестницы парадная четырехместная карета, запряженная цугом в три пары лошадей с двумя форейторами и двумя лакеями на запятках. Вся сбруя блистала папскими гербами, а кучер, форейторы и лакеи были одеты в толковые камзолы, белые чулки и треугольные шляпы. Я попал на это зрелище, благодаря извозчику, предложившему проехать на кладбище, куда должен был приехать Папа.

Не смотря на все это великолепие, политическая атмосфера Рима была пропитана электричеством и приближение бури уже чувствовалось не только в Риме, но и во Флоренции, которая зорко следила за положением дел и готовилась занять Рим, столицу Италии.

Но прежде чем вернуться во Флоренцию, я проехал в Неаполь, где пробыл дней десять. Что нового можно сказать о красоте Неаполя, его окрестностей, ближних и дальних, Неаполитанского залива? Конечно, я обегал весь Неаполь, его улицы, его музеи и театр, Сольфатаро и прочее, побывал на Везувии, стоял над самым его кратером, который позднее совершенно изменил свою форму после извержения 1872 года; осмотрел Помпею, откуда прошел пешком в Сорренто; побывал на Капри и в его гроте, посетил пещеру Сивиллы, переправившись на спине проводника через воду, которая была в пещере, и вернулся во Флоренцию, нагруженный впечатлениями выше всякой меры.

Во Флоренции я чувствовал себя, как у себя дома, гулял, вечер проводил более всего в читальне Viesseux, где были книги и журналы, где была такая тишина и так удобно было читать. Обедать я ходил в маленький ресторан, чаще же всего вовсе не обедал, а отправлялся в народную кухню около собора, где на громадном очаге на вертеле жарили всякую всячину на глазах у голодного клиента, сидевшего перед кухней за столиком, на котором бумага исполняла обязанность салфетки. Увы! в 1895 г. я искал эту кухню и убедился, что все эти места подверглись полному переустройству, и на месте таких очагов и подвальных, где мы с Забеллой бывало проводили вечера, беседуя за *fiasco di Chianti* и сыром «стракино-ди-Милано», возвышались новые огромные дома с магазинами. С Забеллой мы сошлись довольно близко. Окончив всю работу в студии, он считал себя свободным и не очень был склонен проводить

это время в своей семье. Его отец Петр Иванович Забелло, мой сосед, по имению, был скуп и решительно не признавал искусство вообще, а скульптуру в особенности за занятие достойное дворянина. «Пармен, говаривал он, лепит коники, свистульки, что продаются у нас в Ивангороде на ярмарках мальчишками». Так он понимал занятие своего сына, которому скульптура давала очень небольшой заработок. Но быть может из-за этого обстоятельства, а может быть и по свойству характера привычки богемы остались у Забеллы во всей своей неизменности. Его квартира была почти пуста, имелось только то, что составляло крайнюю необходимость — кровати, столы, табуреты и ничего больше. А между тем, Пармен Петрович вовсе не был скуп и любил свою семью; он просто не чувствовал некоторых потребностей и не понимал их. Сколько раз я своими глазами видел, как он был ласков с уличными детьми, и у него всегда были медные soldi в кармане, которые он им раздавал.

Нередко я приглашал его прокататься верхом, например, в Fiesole, куда в то время еще не ходил трамвай. Он охотно ездил со мною и хорошо ездил. Взамен того, он приглашал меня в кабачки, где собирались его знакомые рабочие и где при свете висячей лампы в темном, без окна, кабачке велись беседы на политические темы, причем он был переводчиком для меня.

Мне помнится, что Н.Н.Ге писал в это время картину «Моление о чаше», Христос в Гефсиманском саду. Картина эта не производила большого впечатления и действительно была не из лучших его произведений. Уже в этой картине лицо Христа имело сходство с лицом самого Н.Н.Ге. В его мастерской я видел прекрасный портрет, им исполненный, А.И. Герцена, впоследствии купленный Третьяковым для его знаменитой галереи. В это время Ге очень увлекался Герценом, часто говорил о нём и все написанное им перечитывал. Тогда он был поклонником революции... Где? в Италии? в России? Я думаю,

он сам этого не знал, но очень хотел участвовать в тайном обществе, которое, как он предполагал, существовало во главе с М.А. Бакуниным. И Ге был очень огорчен и даже обижен, что его никто не звал в такое общество. Этот эпизод его жизни я знаю со слов младшего брата Михаила Александровича, Павла Александровича Бакунина. Н.Н.Ге был человек чрезвычайно увлекающийся и будучи неудержимо экспансивным, он очень ярко демонстрировал каждое новое свое увлечение. В начале семидесятых годов он переселился из Флоренции сперва в Петербург, а потом, по случаю смерти отца Анны Петровны Ге и раздела ее с братьями, части которых выкупил Николай Николаевич, он переехал на хутор по соседству с моим имением и увлекся сельским хозяйством. Он не покидал своей художественной работы, но хозяйственные заботы отнимали у него немало времени и даже заставили его писать портреты, которые едва ли представляли для него интерес художественный. В это время мы с Н.Н.Ге видались очень часто.

В одно из посещений Плиски я познакомил Ге с профессором философии киевского университета А.А.Козловым, гостившим у меня несколько дней. Николай Николаевич сразу увлекся философией Козлова, последователя немецкого философа Гартмана и его философии бессознательного. Когда Козлов развивал свои идеи, а он был большой диалектик, Николай Николаевич приходил в восторг и не мог удержать своих экспансивных чувств: «браво, Сократ, браво, Сократ!» кричал он. Его увлекала диалектика Козлова, а не идеи, которые тот защищал, так как весь строй идей Николая Николаевича мало соприкасался с философией Козлова и Гартмана. Но увлечение Козловым и его философией прошло очень скоро; встречи с Козловым были редки, и Сократ был скоро забыт. В художественном творчестве Ге произошел какой-то перерыв. Он писал портреты ради заработка и несколько раз брался за

картину, которая ему не удалась, — Екатерина у гроба Елизаветы. Эта область тем не была той областью, в которой его вдохновение черпало свои сюжеты. Деревенские впечатления также не оставляли в его душе значительных следов. Его художественная природа требовала иных впечатлений, и не хозяйственных забот, и не участия в земской работе, посвященных житейским будням, у которых есть своя трагедия, но глубоко скрытая, без блеска, без аплодисментов, без поклонников и поклонниц, всего того, что так возбуждает воображение и сопровождает успех. Заключительный аккорд его художественного творчества нашел свой источник в религиозном и моральном учении гр. Льва Николаевича Толстого, увлечение которым побуждало Ге к подражанию жизни Толстого, но, как всякое подражание, лишенное самостоятельного содержания, получило искусственный, даже несколько карикатурный характер. Толстой носил блузу, Ге блузу снял и появлялся в рубашке, окруженный поклонницами, которым проповедовал учение Толстого в своей редакции...

Со времени моей ссылки мы с Ге не встречались. Уже в 1877 г. мы с ним немножко разошлись, так как он очень не одобрял моей попытки провести в земстве прогрессивный налог на землю, и в горячности спора в земском собрании, гласным которого он состоял, он уверял, что я провожу в земстве социализм, и не хотел мне простить настойчивость, с которой я отстаивал свой проект, принятый земским собранием, но отмененный Сенатом, признавшим его незаконным. Однако, мы и после этого все-таки сохранили старые отношения вплоть до моего ареста. Но его обращение к толстовству, несомненно, нарушило бы близость наших отношений, если бы я в это время мог вернуться на родину.

В 1886 году я вернулся из ссылки в Плиску, но подвергся вторичной высылке, и в течение того краткого времени, кото-

рое мне администрация там позволила остаться, перед самым моим отъездом я встретился на вокзале с супругой Николая Николаевича, Анной Петровной, умной и почтенной женщиной. Мы встретились как старые друзья и, в ожидании поезда, она попросила меня зайти с нею в дамскую комнату, чтобы побеседовать по-старому, дружески. Она очень постарела со времени нашего последнего свидания, была очень взволнована и стала рассказывать свою горькую жизнь с тех пор, как Николай Николаевич стал проповедником толстовства. На ее долю выпало переносить все эксцентричности Николая Николаевича во всех мелочах жизни, что в ее преклонные годы и болезни было невыносимо тяжело.

Мне было искренно жаль эту бедную старушку, у которой неудержимо текли слезы из глаз. Она привыкла быть главою семьи, в которой теперь, по ее словам, она была последним человеком, лишенным и любви, и забот. Поезд пришел, мы расстались. В настоящее время и Анна Петровна, и Николай Николаевич оба — покойники. Но нельзя не вспомнить, как была поверхностная любовь, которую проповедывал «дедушка» Николай Николаевич своим поклонницам, лишая в это самое время старую и больную жену не только любви, но и простой помощи.

Что касается другого нашего флорентинского приятеля, Пар-мена Петровича Забелло, то его ум и характер, как и вся его природа, были почти полной противоположностью Н.Н.Ге. Мне всегда казалось, что он умнее Николая Николаевича, но по-своему художественному таланту не может идти ни в какое с ним сравнение. Полный скептик и материалист (не в вульгарном смысле), он отрицал все, что составляет душу искусства, ее смысл и красоту, что говорит непосредственно нашему разуму и сердцу и без чего все мертво. Как скульптор, он любил тело, но гений художника вдыхает и в мертвый камень

жизнь, которую мы чувствуем и в Аполлоне, и в Венере Милосской, и в полотне картины, и в Реймском соборе. Забелло был атеист и к Богу относился как к своему личному врагу, поэтому в словах дух, душа он видел атрибут своего врага. Он был сохранившийся во всей неприкосновенности тип нигилиста, каким его нарисовал Тургенев. Вот этот нигилизм побеждал в нём художника и еще более умалял его небольшой талант.

После многих лет, в течение которых мы с Забеллой не встречались, в 1907 г. мы снова случайно встретились в Лозанне, где хоронили нашего друга и моего товарища по первой Государственной Думе, Муханова. П.П.Забелло очень постарел, но был все тот же противник Бога и души, о которой моя жена в разговоре имела неосторожность упомянуть, вовсе не касаясь ее бессмертия и других свойств, по словам Забелло, «выдуманных человеческой глупостью». Забелло с прежней яростью набросился на эту тему и долго порицал человеческое неразумие. Впрочем, это не мешало мне с ним быть по-прежнему в добродушных отношениях, сложившихся в раннюю пору нашей жизни.

Приближалась весна 1869 года, и я должен был собираться в обратный путь. Однако, мне хотелось воспользоваться пребыванием за границей, чтобы заглянуть в Париж. Из Флоренции я выехал в разгар итальянской весны на Пизу и Ливорно, отсюда через Специю в Геную, причем от Специи до Киавери железная дорога только строилась, поэтому пришлось взять извозчика, и я с наслаждением проехал по шоссейной дороге, которая подымалась все выше и выше над морем и была изумительно красива. От Киавери опять по железной дороге до Генуи. Тут красота места скрывается и пропадает, благодаря множеству туннелей. В Генуе пришлось быть не долго; уж очень я запаздывал, поэтому я направился на Турин

через Mt. Cenis (еще не было туннеля), перевалил через гору и даже частью прошел пешком по колени в снегу, так как локомотив испортился и надо было ждать другого. В Шамбри пришлось остаться; поезд в Париж ушел, не подождав нас. Описывать Париж, конечно, я не буду, ибо кто из русских, побывав за границей, не знает Парижа? А для незнающих нужно переписать весь Бэдекер, от чего я воздерживаюсь. Скажу только, что мне удалось попасть в Палату депутатов и просидеть там целое заседание. Надо при этом вспомнить, что это было во время империи Наполеона III-го и вся оппозиция была представлена знаменитыми пятью: Jules Favre, Jules Simon, Pelletan, Glais-izoin и Emile Olivier, из коих последний в том же году перешел на сторону ставшей «либеральной» (?) империи и сделался руководителем правительства при Наполеоне. Мне удалось слышать двух ораторов из этих пяти: J. Favre'a и Pelletan, Манера всех говоривших мне показалась очень искусственной, слишком одобренной декламацией, но я заметил, что как французы, так и особенно итальянцы всегда декламируют больше или меньше, что сначала представляется нам странным, но, посещая их театры, мы скоро привыкаем к такой манере и даже находим ее очень экспрессивной.

Мне все еще хотелось многое посмотреть в этом великолепном мировом центре, как вдруг я получил от Имшенецкого телеграмму, настойчиво зовущую меня вернуться домой: я был избран участковыми мировым судьей. Я выехал в Петербург немедленно.

По возвращении из заграницы в мае 1869 г, я нашел съезд мировых судей уже организованным. В состав судей было избрано 14 или 15 лиц, из коих четверо в качестве участковых мировых судей; остальные были избраны почетными судьями

и один из них — Н.Г. Борсук, председателем съезда. Самым интересным и, прямо скажу, — важным, был при выборах тот факт, что в числе почетных судей были единогласно, закрытой баллотировкой избраны двое гласных от крестьян: волостной старшина Хороше-Озёрской волости, Кононевич, и, если не ошибаюсь, Иченский волостной старшина, Омельченко, оба пользовавшиеся несомненным и вполне заслуженным доверием среди казаков и крестьян, умные и добросовестные люди. Это избрание произвело наилучшее впечатление среди всего населения без различия, классов, так как придало новому суду характер бессловный и демократический. Сенат, в виду закона, предоставляющего земству избирать в судьи лиц, не имеющих требуемого ценза, под условием единогласного избрания закрытым голосованием, беспрекословно утвердил обоих судей.

Уезд был разделен на 4 участка — один городской и три уездных. Городской участок был предоставлен Федору Семеновичу Рындовскому, долгое время бывшему уездным врачом и знавшему каждого городского обывателя в лицо. Он был мало знаком с юриспруденцией, но несомненно был умный и способный человек, пользовавшийся среди горожан авторитетом. Единственной его слабостью была любовь рассказывать скабрёзные анекдоты в совещательной комнате, несмотря на то, что он был человек пожилой и весьма богомольный. Он же был избран в должность «непременного члена съезда», т.е. заведующим канцелярией, так как его участок был небольшой и, даже с таким назначением, не соответствовал размеру труда других участковых судей. Второй участок был предоставлен мне. Третий — Василию Николаевичу Волку-Карачевскому, по образованию врачу, молодому, очень умному и прекрасному человеку. Наконец, 4-й участок был поручен Виктору Михайловичу Белозерскому, бывшему до этого судебным следовате-

лем, человеку умному и даже весьма остроумному, но несколько обленившемуся и усвоившему привычки дореформенного суда, однако, за исключением взяточничества, в котором его никто ни раньше, ни позже никогда не упрекал.

Всем четырем судьям было назначено минимальное жалование, установленное законом — 125 р. в месяц. Конечно, в 1869 году 125 р. значили не то, что двадцать или тридцать лет позднее, но все же они не могли никого особенно соблазнять, и по существу были очень недостаточны, так как на эти деньги нужно было иметь помещение и маленькую канцелярию с письмоводителем, писцом и рассыльным, а сверх того немалый расход требовался и на канцелярские надобности, так что в общем судья получал не более 50 руб. в месяц за свой труд, ответственный и не малый; например, в моем участке в первый же год было свыше 1200 дел, по коим нередко приходилось выезжать на место для осмотра и т.п. Тем не менее, за двадцать пять лет существования мирового суда в провинции не было слышно ни о растратах, ни о взяточничестве. Мировой суд с величайшим достоинством сыграл свою роль, дав населению образец близкого, справедливого и бескорыстного суда. Если на этой плодородной и чистой почве развивалась и сорная трава в виде сутяжничества, то оно всецело должно быть отнесено к частной и подпольной адвокатуры, вторгавшейся в суд, как корыстный промысел, с которым приходилось вести упорную войну.

В председатели съезда был избран, как я сказал, Н.Г.Борсук, очень образованный и сведущий юрист, к сожалению, оставшийся у нас не долго. К концу года он перешел в присяжную адвокатуру и выехал в Полтаву. Тем не менее, он сумел дать направление деятельности съезда, и когда, после его отъезда, на должность председателя был избран я, мне оставалось идти по пути, указанному моим предместником.

Место председателя я занимал 9 лет, вплоть до того дня, когда был арестован и сослан на жительство в восточную Россию, т.е. до 26 апреля 1879 года. Съезд был организован также чрезвычайно скромно. Председатель не получал никаких прибавок к жалованию, а непременный член в качестве мирового судьи городского участка пользовался лишь даровой камерой съезда; канцелярия состояла из четырех лиц: секретаря с жалованием в 600 р., его помощника — 300 р., писца — 180 р. и рассыльного — 120 р. Сверх того при съезде состоял судебный пристав с жалованьем в 600 р.; на его обязанности было исполнение судебных решений, за что он получал особое; вознаграждение; по таксе, установленной законом. Таким образом весь состав мирового суда обходился земству 7200 р. и, сверх того, земство предоставляло съезду свое помещение, в котором заседало земское собрание, а также помещение для канцелярии съезда.

Вообще; нельзя не признать, что правительство, вводя новые судебные учреждения, очень мало принимало в расчет, что новый суд наследует старому, репутация и традиции которого были опозорены неправосудием и взяточничеством, требовавшими полного искоренения. Прежде всего, конечно, нужны были новые люди, проникнутые; сознанием своего долга, но удержать их на этом месте можно было, не требуя от них героического самопожертвования, обеспечив им безбедное существование, соответствующее: их профессии, требующей знания, тяжелого труда и большой ответственности. Даже в шестидесятых годах такое жалованье, какое было назначено члену окружного суда — 2200 р., товарищу председателя — 3500 р. и председателю окружного суда — 4500 р., не представляло достаточного вознаграждения и, если в самом начале места в суде были замещены не только хорошими юристами, но и хорошими судьями, то уже очень скоро началось бегство

из суда: кто поталантливее — в присяжную адвокатуру, кто рассчитывал на карьеру — в прокуратуру, а кому ворожила бабушка — тот бежал в центральные учреждения министерства юстиции. По-видимому, это бегство побудило гр. Палена, министра юстиции, в нарушение закона, не допускавшего никаких наград для судей, вернуться к старой системе чинопроизводства и награждения орденами, чинами и переводами на высшие должности. Однако, этот способ удержания судей на своих местах не достиг своей цели, но уничтожил в судьях чувство независимости и возбудил чувство искательства, т.е. возвратил суд к старому, всеми осужденному порядку.

В моей личной практике я помню один случай, возникший в нашей судейской среде. Городской мировой судья, Рындовский, обратился ко мне с просьбой представить его к чину действительного статского советника, на который, по его мнению, он имел право своей долголетней службой. Я напомнил ему о законе, воспреещающем награждение судей чинами. Он настаивал, заявляя, что именно надежда получить чин, с которым связано дворянское достоинство, побудила его на старости лет принять место V-го класса, из которого переход в IV-й так естествен. Я категорически отказался идти по тому пути, на который он меня толкал, и этого он никогда не мог простить мне. Но я вполне понимаю Ф.С.Рындовского, составившегося на государственной службе и по личному опыту не сомневавшегося, что стремление составителей Учреждения судебных установлений 1864 г. отменить чины, ордена и разные награды неосуществимо, так как русская государственная служба только этим и держится, а не чувством долга. «Действительные статские советники», украшенные звездами и лентами, и просто статские советники были не мало шокированы, состоя под начальством «коллежских секретарей» и прочей

«мелюзги», не имевшей ни чинов, ни орденских отличий, но занимавшей должности председателей суда.

И действительно, уже в начале семидесятых годов, граф Пален, министр юстиции, «понял ошибку» Судебных учреждений и стал «награждать» судей: повышением по службе, чинами «за выслугу лет», орденами в соответственные праздники или в соответствии с занимаемым местом. И мой товарищ, старик Рындовский, естественно рассуждал: если награждение допускается для одних, почему же и он, старый служака, имеющий «пряжку» за XL лет беспорочной службы, будет исключением и откажется от дворянского звания, быть может, мечты всей его жизни? Мне было жаль старика, я понимал, что нравы, в которых он вырос, находятся в противоречии с законом и что он поймет мой отказ, как личное к нему недоброжелательство. Но разве нравы можно изменить, подчиняясь или потворствуя им? Следовать по стопам представителя русского правосудия — гр. Палена — я не мог.

В ряду судебных учреждений, заменивших старый суд, мировой суд занимает особое место, как своей организацией, так и своей юрисдикцией, и мне кажется, что различие между общими судебными учреждениями и мировым судом (деревенским) гораздо более глубокое, чем может казаться, так как, прежде всего, мировой суд составляет неотделимую часть местного самоуправления, его особый орган, выполняющий не только судебную, но и просветительную функцию, не укладывающуюся в формальные, лишенные гибкости предписания и формы. На мировом суде лежит задача практически, на живых примерах и случаях, раскрыть весь смысл правового начала и показать населению, что право есть осуществление в человеческом обществе и в пределах человеческих сил, тех моральных истин, которые приняты христианской культурой, гражданственностью и цивилизацией всего мира. Поэтому, совершенно

недопустимо в судебно-мировом разбирательстве сохранение той статьи закона, которая возлагает на истца представление всех доказательств и воспрещает судье собирать по своему усмотрению всякие другие доказательства, которые полезны и необходимы для справедливого решения дела. Это справедливо в окружном суде, где процесс имеет совершенно иной, формальный характер и где только строгие юридические формы обеспечивают твёрдость правового порядка,

Нет сомнения, что малейшее злоупотребление судьи в этом случае вызовет осуждение народного мнения и переизбрание судьи каждое трехлетие гарантирует в достаточной мере от повторения таких злоупотреблений.

Возложение на судью забот о возможной полноте данных для постановления не формально правильного, а по существу справедливого решения может иметь еще одно важное последствие: если не полное устранение частной адвокатуры, особенно подпольной, то сведение ее до такой ничтожной роли, что она не будет ни мешать право судию, ни возбуждать множества совершенно безнадежных дел, ни переносить их в апелляционную и кассационную инстанцию. Огромное количество кассационных жалоб Сенатом оставлялось без последствий и до такой степени загружало его своею массой, что в конце концов это привело к передаче их в совершенно не компетентное учреждение, не представляющее никаких гарантий сколько-нибудь правильного толкования закона (губернские по земским и городским делам присутствие). А между тем не подлежит сомнению, что этот потоп кассационных жалоб возник не в интересах справедливости, а в интересах частных поверенных.

В начале нашей судейской деятельности нам пришлось столкнуться с аналогичным смещением личных интересов другого судебного органа, нотариата, взявшего на себя якобы

обеспечение правовых интересов местного населения. Факты обнаружили, что в населении широко был развит кредит «на слово», т.е. без письменного обязательства, составление которого представляло много трудностей при чуть ли не поголовной безграмотности деревенского населения, когда ни кредитор, ни должник не могли ни написать, ни прочесть расписки. В таких случаях взыскание долга обыкновенно присуждалось на основании личного признания должника и заканчивалось мировой сделкой, так как самое взыскание возникало не по причине непризнания долга, а по невозможности в данную минуту заплатить. Однако, такие признания становились все реже и реже, и стали заменяться возражением: «покажи документ!» Было ясно, что должник уже усвоил новую мысль о возможности не платить долга, если он не обеспечен письменным актом, и что такой отказ освобождает его от долга без всяких невыгодных последствий. Мне приходилось не раз наблюдать недоумение и неподдельное удивление, когда несомненный должник возражал своему кредитору на требование уплаты:

— Покажи документ!

— Какой документ? А Бога ты забыл? А присягал, что заплатишь в срок, разве не ты?

— Говорят тебе, покажи документ! — категорически твердил должник на все усовещания кредитора.

Положение судьи было довольно тягостное, ибо долг не подлежал никакому сомнению, а закон точен: всякий кредит требует письменного акта и не может быть доказываем свидетельскими показаниями. Попытки судьи убедить должника, предоставить ему мост для отступления и мирного разрешения спора обыкновенно не имели никакого успеха. Существовал обычай, очевидно очень распространенный и когда-то твердый, но на обычай судья мог опереться лишь в том случае,

когда он не противоречил закону, а закон был против него. К счастью, в X томе законов гражданских сохранился для Черниговской и Полтавской губерний остаток Магдебургского права, в силу которого допускались словесные займы, но не свыше двенадцати рублей. Такое исключение давало право доказывать заем свидетельскими показаниями. Конечно, такое право относилось лишь к долгам, не превышавшим 12 руб. —, но мы толковали его в том смысле, что кредитор не мог претендовать на присуждение большей суммы, чем 12 р. Нередко, однако, такой способ приводил должника к раскаянию, и прежде чем допрашивать свидетелей, он признавал долг полностью, иногда же такое признание следовало за показанием свидетелей и давало право судье применить к решению собственное признание должника. Чаще же всего такие дела заканчивались миром, имеющим уже неоспоримую силу. Тем не менее доверие к словесному договору было окончательно убито и заменено нотариальной распиской. Вот этот нотариальный договор и был настоящей причиной падения личного доверия, имевшего такой эпидемический характер. Нотариусы, получавшие доходы от всех сделок, всеми путями с своей стороны распространяли среди населения мысль, что только нотариальный договор имеет силу, а для неграмотных он не может быть заменен никакой домашней распиской. Таким образом, идея формального права была искусственно направлена против идеи чести, против моральной обязанности и правды, и потому сослужила плохую службу народу, утратившему, благодаря этому, один из важнейших устоев своего морального быта, сложившегося давно и, казалось, достаточно прочного. Конечно, этот частный случай не исчерпывает всего вопроса о задачах мирового суда (я говорю о судье, работающем в деревне, а не в городах), но этот пример показывает, как опасен чисто формальный способ

действий там, где он ломает жизнь, а не творит новую и не укрепляет то старое, что заслуживает всяческой поддержки.

Не медля ни одного дня после организации съезда мировых судей, все трое судей разъехались по своим участкам и открыли свои камеры. Моя камера помещалась во флигеле моей усадьбы, где была большая комната, разгороженная решеткой, отделяющей публику от судейского стола. Это помещение было всегда открыто для обращающихся либо лично к судье, либо для справки в канцелярии, находившейся в соседней комнате, где занимался письмоводитель. Но в объявлении, выставленном мною в камере, я сообщал, что обращающихся к судье по всем делам, как с письменными заявлениями, так и с устными, я принимаю во всякое время, не назначая никаких ни дней, ни часов, так как мой участок охватывал большое пространство, занимая целую треть уезда, который не имел никаких искусственных и усовершенствованных путей сообщения. Я знаю, что эта доступность судьи во всякое время была принята населением очень хорошо. С первых же дней своего существования мировой суд пользовался среди населения большим уважением, и за десять лет моей судейской деятельности не было ни одного случая хотя бы малейшего нарушения порядка в моей судейской камере, хотя бывало иногда чрезмерное переполнение камеры, причем никакой даже сельской стражи или урядника, если он не являлся в качестве обвинителя по уполномочию полиции, никогда не было. Никогда не нарушались ни тишина, ни порядок.

Случался общий смех, и мне самому было трудно не смеяться, но грубых выходок или взаимных оскорблений не было никогда. Вообще; я должен заметить, что малороссы гораздо сдержаннее великороссов и поддерживать порядок среди них гораздо легче, чем среди их северных собратий. Насколько мировой суд пользовался у нас популярностью, можно судить

по тому факту, что крестьяне решительно не желали обращаться к волостному суду и заваливали нас своими жалобами и исками. Для этого в жалобах преувеличивали свои обиды, а в исках цену объявляли в 101 р., когда действительно взыскание было меньше 100 рублей. Мне кажется, что с точки зрения интересов населения и правосудия было бы вполне целесообразно или совершенно изменить устройство волостного суда, или предоставить жалобщику и истцу обращаться к тому или другому суду по желанию. Принуждать же насильственно обращаться к суду, не пользовавшемуся никаким авторитетом, значило лишать огромную массу населения всякого правосудия, так как всем было известно, что волостные судьи в большом числе спаивались, ибо ни одно дело не решалось без угощения водкой. Комиссия сенатора Любошинского, объезжавшая разные места России и, между прочим, побывавшая и в Малороссии, пришла к заключению, что среди крестьян крепко держится обычное право, составляющее основу национального права, что волостные суды применяют в своих решениях именно обычное право, совершенно несоответствующее нашему кодексу гражданского права и что ломать обычное право нет никакого основания, так как это значило бы насильственно навязывать населению чуждые ему правовые нормы. Действительность же была далека от всех подобных соображений: даже такие институты, как наследственное право, наиболее устойчивое из всех обычаев, подчинялись изменению нравов вместе с переменою всех условий крестьянской жизни во второй половине XIX века. В настоящее время всякий сословный или классовый суд есть безусловный анахронизм и пережиток старины, отошедшей в вечность.

Но если принять заключение комиссии сенатора Любошинского о прочности обычного права в народе достоверным фактом, то было бы правильным не поддерживать сохра-

нения волостного суда, а кодифицировать обычное право или предоставить мировому суду по требованию обеих или одной стороны разрешать дело по обычному праву и ни в каком случае не сохранять волостного суда, в котором господствует над всеми правами водка.

В составе дел, поступавших ко мне в течение всего времени судейства, уголовных дел было не более одной пятой, причем таких дел, как кража, было сравнительно очень немного; моему разбирательству подлежали кражи, выходявшие из компетенции волостного суда, но не подлежащие компетенции суда окружного. Все же другие проступки распределялись довольно равномерно по категориям Устава о наказаниях. Большое количество оправдательных приговоров представляла категория неисполнения законных требований полиции, и не потому, чтобы я имел предубеждения, но потому что полиция имела слабость считать всякое свое требование законным и подлежащим исполнению, вроде, например, запрещения хорошего пения по вечерам и т. п., о чем я уже раньше упоминал.

Из всех мелких правонарушений и проступков, подлежавших ведению мирового суда, выделялись проступки против личности, — насилия, побои и оскорбления, так как именно в этой области сказывается характер населения и степень его морального сознания. Из них я приведу два дела: оба относятся к разряду личных оскорблений, в которых были замешаны сословные столкновения. В одном деле известный малорусский писатель, украинофил и демократ, подал мне жалобу на сторожа «панского» огорода, не усмотревшего, как деревенские мальчишки оборвали и унесли дыни и арбузы и крайне грубо отнесшегося к жене жалобщика, сделавшей ему выговор. На суде я долго не мог добиться, в чём же заключалась нанесенная сторожем обида. Сторож заявил, что «барыня» стала его ругать, а как ругать, не мог сказать; а жалобщик утверждал, что

на замечание его жены сторож стал кричать и говорить грубо-сти. В конце концов выяснилось, что обе стороны кричали, но сторож стал «тыкать, т.е. перешел с вы на ты.

— Значит, вы считаете слово «ты» в устах служащего или рабочего оскорбительным?, спросил я жалобщика. — «Да, отвечал он, сторож не имел права говорить моей жене ты».

— Но ведь вы здесь, на суде, все время говорите; сторожу ты, когда он говорит вам — вы. Очевидно, вы не признаете это оскорбительным?

Демократ уставился на меня глазами и злобно произнес: «я прекращаю дело и больше никогда не буду искать защиты в мировом суде». С этими словами он вышел из камеры.

Другой случай обратный. Еврей жаловался на «генерала» (не военного, а штатского) за оскорбление действием. Еврей, проживающий в с. Николаевке встретил на улице помещика, имевшего имение в этом селе, но лишь по временам приезжавшего из Петербурга, отдохнуть от своих трудов, и хотя знал «генерала», но, поравнявшись с ним, не снял шапки. «Генерал» своей палкой сбросил с его головы шапку и сказал, что он, еврей, обязан при встрече шапку снимать. Еврей требует наказать «генерала» за обиду действием.

Скажу несколько слов об этом «генерале», с которым я был лично знаком и даже вместе обедал за одним столом в 1867 г., когда бывший предводитель требовал меня «на бочку с порохом», о чем я рассказал раньше. Генерал, Антон Андреевич Глушановский, принадлежал к крайней правой и нашего уезда. До своего генеральства он был учителем гимназии и женился не на слишком молодой и не слишком красивой сестре Писарева, знаменитого в свое время взяточника и все-мощного правителя канцелярии Киевского генерал-губернатора Бибикова. Свою супругу он отвез в свое маленькое имение в с. Николаевке, для заведования хозяйством, а сам

превратился сначала в директора гимназии, затем перешел на службу в Петербург в цензурный Комитет цензором и сделался генералом. Таков скелет его биографии.

Спустя три-четыре дня по поступлении ко мне жалобы, генерал нанес мне визит, «как доброму соседу», и после довольно разнообразных вопросов, которых касалась наша беседа, он поинтересовался узнать, поступила ли ко мне жалоба еврея. Я отвечал утвердительно и сказал, что ее рассмотрение пойдет в очередь, о чем я уведомя его повесткой. — «А если я уеду в Петербург и меня дома не будет?» спросил он.

— Я пошлю повестку в Петербург по месту вашего служения.

— А если я все-таки не приеду по вызову?

— Я пошлю вам копию заочного приговора.

— А к чему вы меня приговорите? — спросил он с тонкой улыбкой.

— Это трудно сказать, пока я не разобрал дела и не взвесил всех его сторон. Если я признаю вас виновным и ваш поступок не вызванным поведением обиженного, то я приговорю вас к аресту, срок которого целиком зависит от обстоятельств дела.

— Неужто вы, батенька, так и приговорите меня, заслуженного дворянина, из-за этого жида?

— Я буду только исполнять мой долг судьи и ничего больше.

Генерал был очень подавлен результатом своего визита и уехал далеко не таким веселым, каким появился приветствовать своего «добротого соседа».

Уголовные дела имели свою очередь, а гражданские — свою, поэтому первые двигались скорее, чем вторые, и дело генерала было назначено довольно скоро, недели через две. В

назначенный день утром, до начала разбирательства, когда я еще оставался у себя в доме, в мой кабинет вошел человек средних лет и отрекомендовался ректором киевского университета, Николаем Карловичем Ренненкампом, профессором энциклопедии права. Он сказал мне, что узнал о разбирательстве дела «Генерала» (он назвал его по фамилии), с которым лично знаком, что дело это его очень заинтересовало как юриста, и как соседа по уезду, уроженца Сосницкого уезда, и он решил поехать ко мне посмотреть, как действует мировой суд. Все это было сказано в самом любезном тоне, хотя я знал, что Ренненкамф держался весьма реакционных воззрений и едва ли особенно сочувствовал мировому суду, тем более, что он мог узнать о времени разбирательства только от «Генерала», обратившегося к нему за защитой. Я с такою же любезностью объяснил, что разбирательство назначено в таком-то часу, но в виду расстояний оно зависит от прибытия сторон и свидетелей. Затем, после непродолжительной беседы, я пригласил его в мою камеру, если ему угодно, так как я собирался там разбирать дела. Но Ренненкамф заявил, что к назначенному часу он придет. Едва я появился в камере, как ко мне подошел посланец «генерала» и представил заявление о прекращении дела, подписанное генералом и евреем. Ренненкамф, так интересовавшийся посмотреть, как мировые судьи разбирают дела, в камеру так и не пришел.

Приведу еще довольно характерный пример из разряда полицейских обвинений.

Ко мне в камеру привели содержавшегося под стражей в борзенской тюрьме довольно пожилого отставного солдата. К моему удивлению, мера пресечения уклонению от суда совершенно не соответствовала проступку — а именно: «нарушению тишины на улице перед домом станового пристава и убийству собаки, принадлежащей приставу». При разборе выяснилось,

что обвиняемый — поляк, сданный в рекруты в одной из польских губерний, был зачислен солдатом в полк, расположенный в восточной Сибири, где и отбыл весь многолетний срок службы. Получив отставку, уже почти стариком, он решил вернуться на родину, но так как у него не было средств, а о железной дороге через Сибирь тогда еще никто и не мечтал, солдат решил совершить это путешествие пешком, рассчитывая на Божью помощь и на помощь добрых людей. Он прошел благополучно все пространство от Восточной Сибири до села Шаповаловки, в Борзенском уезде, т.е. много тысяч верст, по старому тракту, ведущему из Сибири через Москву в Киев, до которого ему оставалось еще немного более 150 верст. Здесь, при проходе его широкою почтовою дорогою, на него бросилась собака, он ударил ее своим костылем с железным наконечником и пробил ей голову. Оказалось, что это случилось перед квартирою пристава. Солдата арестовали. Пристав потребовал паспорт, при рассмотрении которого он заметил приписку, не оговоренную в паспорте, а потому заподозрил подложность документа, тем более, что выговор солдата был явно не русский. На этом основании солдата препроводили в г. Борзну, в полицейское Управление, где отобранный паспорт для разъяснения отправили в Сибирь по месту расположения полка, а солдата, подозреваемого в подлоге паспорта, посадили в тюрьму. Прошло несколько месяцев, прежде чем паспорт вернулся из Восточной Сибири с разъяснением, что документ подлинный и что в нём нет никакой приписки, а так как солдат был зачислен в рекруты в польской губернии, то дата была двойная, по старому стилю и по-новому, принятому в Польше. Однако, вероятно, для сохранения престижа власти, полиция солдата не освободила из тюрьмы, а привлекла к ответственности за шум и убийство собаки, для чего и отправила к мировому судье за 15 верст, притом под стражей, еще раз перепугав

бедного старика, не знавшего, что его ожидает. Когда я объявил ему, что он свободен и может идти, куда ему угодно, он так мало этого ожидал, что опустился на колени и поклонился мне в ноги, пожелав мне чин генерала-лейтенанта. Вероятно, он думал, что это был предел человеческого счастья.

Я уже сказал, что наш мировой съезд, апелляционный орган мирового суда, состоял из 14 или 15 судей, из которых 10 или 11 судей были почетными, но не по имени только, а действительными судьями, принимавшими деятельное участие в рассмотрении и решении дел. Съезд собирался один раз в месяц, обыкновенно на три дня, иногда на четыре, в случае накопления дел; почти никогда не разделялся на отделения, хотя такие редкие случаи были, и дела разбирались обыкновенно 8-10-ю судьями; бывали же случаи, когда съезд был в полном составе. Почти всегда разбирательство происходило при переполненном зале, и я могу утверждать, что за десять лет ни разу порядок не нарушался, и поддерживался полным уважением публики к суду.

Только однажды можно было ожидать нарушения порядка. К разбирательству одного гражданского дела явился частный поверенный, молодой человек, сын убитого своими крестьянами полтавского помещика; он пользовался широкой известностью бретера и скандалиста. Когда очередь дошла до дела, в котором он был поверенным, он вошел за решетку в пальто и калошах, всей своей манерой показывая пренебрежение к суду. В качестве председателя съезда я обратился к нему с предложением выйти в переднюю и снять свое пальто и калоши. В ответ на это он, молча и нагло глядя на меня, не двинулся с места. В публике, не привыкшей к таким сценам, произошло движение. Тогда я обратился к ней с просьбой не нарушать порядка, ибо я не приступлю к разбирательству, пока поверенный не исполнит моего требования. Этот молодой и

красивый нахал, после минутного колебания, вышел и вернулся без пальто и калош. Разбирательство продолжалось в полном спокойствии. Во время перерыва молодой человек подошел ко мне и очень вежливо извинился в своем поступке, и мы пожали друг другу руки.

В течение первого трехлетия 1869-71 г.г. в виду того, что все члены съезда были очень неопытны в делах, которые им приходилось разбирать, заседания обыкновенно начинались в 11 часов, и продолжались до полуночи; для обеда делался перерыв. Большинство судей обыкновенно обедали вместе и, пользуясь этим случаем, обсуждали разные вопросы, вызвавшие недоумение у кого-нибудь из нас. Иногда происходили жаркие споры, но это было своеобразное пополнение нашего опыта и поддерживало наши личные дружеские отношения.

Из дел, разбиравшихся в нашем мировом суде, т.е. у судьи, а потом и на съезде, мне особенно памятно одно дело большой важности, имевшее своим последствием изменение закона и правил отчуждения земель, отходящих под постройку железных дорог. Это было дело о нарушении строителями Либаво-Роменской железной дороги владения землею, отчуждаемой для дороги, или говоря проще, это было дело о нарушении правил, установленных законом, при отчуждении земли у ее владельцев для нужд дороги.

Несмотря на существование в законе правил отчуждения земли, железные дороги во время постройки не справлялись с ними, а считали, что раз дорога трассирована и утверждена, она может строиться без всяких соглашений с владельцами. Так же на этот вопрос смотрели и владельцы. Всем известно, что законы Российской империи существовали вовсе не для того, чтобы их точно исполнять и тем более, когда дело шло о предприятиях характера государственного. Строители давно усвоили такой взгляд и в данном случае следовали ему, и нет

сомнения, что спор не возник бы вовсе, если бы агент дороги по отчуждению земель не поссорился со своими патронами, строителями дороги. Не поладив с ними, агент по отчуждению, Протопопов, объехал всех владельцев, по земле которых пролегла дорога, и разъяснил им, что по закону строители обязаны до отчуждения войти в соглашение с владельцами, а буде такого соглашения не последует, то спор должен быть рассмотрен особой оценочной комиссией, которая устанавливает цену отходящей земли, по уплате которой земля становится собственностью дороги. Поэтому, все сооружения, которые уже сделаны или делаются на земле, об отчуждении которой еще не сделано соглашений, представляют бесспорное нарушение владения и так как законный срок для иска еще не истек, то владельцы могут получить гораздо более высокое вознаграждение, для чего Протопопов предложил свои услуги. Само собою разумеется, все владельцы выдали Протопопову доверенности, и Протопопов предъявил иск. Дорога проходила в моем участке, но в это время меня заменял почетный мировой судья Г.Н.Волк-Карачевский, который и признал все иски Протопопова правильными и подлежащими удовлетворению. А это значило полное прекращение начатых работ по постройке дороги. Строители спохватились и перенесли дело в съезд. В виду большой важности дела, рассмотрение его было назначено вне очереди, в ближайшем очередном съезде, на котором я председательствовал.

В назначенный для разбора исков Протопопова день, утром ко мне на квартиру приехал местный исправник и предъявил телеграмму к нему губернатора, предписывавшего, в случае утверждения съездом решения мирового судьи, не допускать мерами полиции исполнения решения. Я, с своей стороны, предупредил исправника, что он обязан подчиниться закону, а не незаконному распоряжению губернатора и, что в

случае если полиция окажет противодействие судебному приставу, я обращусь к помощи военной власти. После этого разговора, опасаясь, что мировой суд может быть скомпрометирован, если окажется бессильным привести свое решение в исполнение, я отправился к полковому командиру квартировавшего в Бор-зенском уезде Галицкого 20-го полка полковнику Цвечинскому, с которым был раньше знаком. Полковник Цвечинский, по происхождению поляк, очень умный и выдающийся человек, окончивший две академии, — военную и инженерную, — принял меня, как всегда, очень любезно, и, когда я изложил ему все дело и просил сказать мне совершенно откровенно, как он поступит в случае, если я обращусь к нему за военной помощью, Цвечинский попросил меня показать ему закон, возлагающий на него, как на представителя военной власти, исполнение моего требования. Я показал ему закон, печатаемый в каждом исполнительном листе. Прочитав его, Цвечинский мне заявил, что его обязанность исполнять закон и его требования, а потому я могу на него рассчитывать. После этого, успокоенный, я отправился в съезд и открыл заседание. В качестве ответчика явился московский присяжный поверенный, Андреев, считавший вероятно, что для провинциального суда нет большего авторитета, как передовица Каткова в «Московских Ведомостях», а потому, прежде чем я дал ему слово для объяснения, он попросил меня принять № «Московских Ведомостей» со статьей Каткова. Я отклонил его просьбу, сказав, что мы будем руководствоваться доказательствами, которые он в свое время представит; до мнения же газеты суду нет никакого дела. Первым из Протопоповских исков стояло на очереди дело об удалении сооружаемого через болото деревянного моста. Дело очень несложное; иск был основан на исполнении закона, нарушенного ответчиком, и соображения судьи были совершенно правильны. В двух словах, таково

было первое решение, вынесенное съездом. Затем, назначается следующее, совершенно аналогичное дело. Стороны, истец и ответчик, обращаются к суду с просьбой предоставить им 5 минут для переговоров. Через пять минут обе стороны заявляют, что все возбужденные истцом иски они прекращают миром. Дела прекращены.

Не знаю, много ли выиграли доверители Протопопова, но несомненно последний был в большом выигрыше. Спустя же некоторое время появилась в законодательном порядке «новелла», изменившая правила, соблюдаемые при отчуждении земель, а именно: земли, предназначенные к отчуждению, поступают немедленно в распоряжение строителей дороги, но предварительно полиция производит каждому участку подробную опись и представляет ее в оценочную комиссию.

Многих во время разбирательства этого процесса и после его прекращения очень интересовал вопрос: мог ли полковник Цвезинский исполнить свое обещание и стать на защиту авторитета суда против авторитета полиции и губернатора? Многие полагали, что достаточно было бы губернатору телеграфировать министру внутренних дел, чтобы военный министр остановил порыв полкового командира. Я, напротив, рассчитывал, что военный министр, которым был тогда граф Дмитрий Алексеевич Милютин, отлично понимавший все значение губернаторского произвола, не поддержал бы его. Только это соображение и побудило меня обратиться к командиру полка.

В 1872 году наступало второе трехлетие мирового суда в нашей губернии. Я был переизбран единогласно; состав суда несколько изменился, вследствие изменения происшедшего в предыдущем 1871 г. в составе уездного земства. В число участковых судей попал межевой инженер Владимир Петрович Бок, бывший член уездной межевой комиссии и руководитель

земских выборов в 1871 году, когда вся наша группа была забаллотирована, о чем я расскажу позднее.

Этот Бок вооружился настольной книгой для мировых судей Неклюдова, выучил ее наизусть и хозяйничал бы в мировом съезде так, как хозяйничал в земской управе, если бы в течение предыдущих трех лет не создались очень твердые традиции и привычки не только в среде мировых судей, но и в публике, которая научилась предъявлять к суду определенные требования. Против них тому или другому из судей, в одиночку, было трудно идти, и Бок, будучи совершенно чужд интересам местного населения, старался подделаться под прежний тон, тем более, что он не мог не понимать, что его успех был случайный, благодаря ловко проведенной интриге, не повторимой два раза подряд. С его наследственной цепкостью, раз пролезши в состав мирового съезда, он крепко держался за новое свое положение до самой своей смерти.

Съезд зорко следил за деятельностью судей, охраняя достоинство и авторитет суда. Но за десять лет моего пребывания судьей, только один раз съезд поставил на вид одному из своих товарищей — Д. бестактность его поступка, заключавшегося в том, что он купил у одной крестьянки лесной материал, который раньше присудил ей в споре с другим крестьянином. Дело было тщательно расследовано и ничего компрометирующего, кроме бестактности, в поступке не было усмотрено.

По делам уголовным, а также и по некоторым гражданским, в съезде участвовал товарищ прокурора и давал свое заключение. Формально против этого трудно возражать, но фактически это не только не придавало веса судебному разбирательству, а скорее ослабляло впечатление, так как заключения превратились в пустую формальность. Не говоря уже о том, что товарищ прокурора никогда не изучал дела, а только слушал его во время разбирательства, самый состав товарищей

прокурора в провинциальных маленьких судах, в большинстве случаев, состоял в то время, о котором я говорю, из совсем зеленой молодежи, только что покинувшей школьную скамью привилегированного заведения, а потому не мог иметь никакого авторитета в глазах, как съезда, так и лиц, по делам которых он давал заключение. В нашем съезде обыкновенно давал заключение очень молодой и добросовестный юноша, окончивший курс Александровского Лицея; если же он отсутствовал, то его заменял такой же молодой, такой же добросовестный юноша, только что окончивший курс училища Правоведения. Ради достоинства суда заключения этих молодых людей выслушивались, но я не помню ни одного случая, когда речь товарища прокурора была бы действительно юридической консультацией. Быть может, введение новых судебных учреждений сразу во многих губерниях потребовало слишком большого числа опытных товарищей прокурора, каковых в распоряжении министерства юстиции не оказалось, но во всяком случае я говорю о фактическом положении, невыгодном для нового суда, так как прокуратура училась процессуальным формам вместе с такими же неопытными судьями.

Лет через шесть после введения мирового суда в нашей губернии, кажется в 1875 году, по распоряжению министерства юстиции, на прокурора Харьковской Судебной Палаты, Писарева, была возложена обязанность ревизии деятельности мирового суда в Черниговской губернии. Ревизия эта производилась г. Писаревым, прокурором Харьковского окружного суда Н.И.Мечниковым, прокурором Нежинского окружного суда Роговичем и несколькими товарищами прокурора. После окончания ревизии нашего Борзенского уезда гг. Писарев и Мечников были у меня в деревне и заявили, что они вполне удовлетворены состоянием мирового суда, как в нашем уезде, так и в других, где ревизия уже была произведена.

Глава IV

Земство — Трехлетие 1868-71 г. и первые результаты — 1871 г. Новые выборы, наше поражение — Застой — Смерть М.А.Имшенецкого. — 1874 г. Выборы; мы снова у дел — Переселенческий вопрос в губернском земстве — Новый бюджет и его кассация — А.А.Русов — Развитие революционного движения и его проявления

Валуевская комиссия, из рук которой вышла одна из важнейших реформ императора Александра II-го, — земские учреждения, — хотя и утверждала в своей записке, сопровождавшей «Положение о земских учреждениях 1-го Января 1864 года», что ее задачей было «по возможности полное и последовательное начало местного самоуправления», но, в действительности, она считала своей еще более важной задачей — положить пределы «несбыточным ожиданиям и свободным стремлениям разных сословий».

Последствием такого противоречия двух задач и попытки их согласования и явилось Земское Положение 1 Января 1864 г., предоставляющее самому населению, с одной стороны, заведование и самостоятельное распоряжение хозяйственными делами уезда и губернии, «как частное хозяйство предоставляется распоряжению частного лица, а хозяйство общественное — распоряжению общества», но, с другой стороны, запрещается вмешиваться в дела, принадлежащие кругу действий правительственных, сословных и общественных властей и учреждений».

Еще в раннюю эпоху земской деятельности, один из самых опытных и разумных общественных и земских деятелей Алексей Адрианович Головачев, с которым мне пришлось вместе работать в Тверском земстве, в своем замечательном

труде, — «Десять лет реформ», — указал на то, что земские учреждения не соответствуют понятию самоуправления, как потому, что они не обнимают всего населения, так и по кругу действий, и «представляются только особыми органами центрального управления для заведования известной отраслью хозяйства, распорядиться которою самостоятельно они не могут; земство не имеет исполнительной власти и в круге своих действий, закон ограничивает его права, указывая предметы обложения и устанавливая высшие пределы для некоторых предметов». Позднее, как известно, Витте, отъявленный враг земских учреждений, провел закон, определявший предел обложения и повышения земского бюджета, чтобы еще теснее сузить пределы прав земства.

Не признавал за Земским Положением значения и роли самоуправления и Владимир Павлович Безобразов, очень сведущий и образованный экономист, публицист и сенатор, полагавший, что за таким псевдосамоуправлением можно признать лишь «местные общественные вольности, могущие развиваться в такие органы», так как они «не введены в общую систему государственного управления», и не имеют «никаких органических связей с нею». При Александре III-м, в 1890 году, такая связь была установлена и еще резче подчеркнуто, что самодержавие и бюрократия смотрят на земство, не как на самоуправление, а как на орган центрального управления, так как были еще более урезаны те общественные вольности, о которых говорил В.П.Безобразов.

Несмотря на совершенную бесспорность теоретических соображений, как Головачева, так и Безобразова, фактически русское общество относилось к земству, как к самоуправлению, ограниченному, стесненному в своей деятельности, гонимому правительством и не возбуждавшему симпатий верховной власти, но тем не менее, как к зерну, из которого

надо вырастить самоуправление, и не только местное, но и государственное, и в этом процессе воспитать в стране умение и привычку самоуправляться, а не быть объектом управления. Большинство, конечно, не шло так далеко, так как большинство людей не склонно далеко смотреть вперед, но фактически, шаг за шагом, оно усваивало привычки самоуправления и потребность заменить им систему бюрократического управления. И мне кажется, что факты подтверждают это, особенно, если принять во внимание реформу 1890 года, отбросившую земство далеко назад и поставившую ему целый ряд новых затруднений.

В Борзенском уезде Черниговской губернии, как я уже сказал раньше, выборы 1868 г. дали очень удачный состав гласных, имевших в своей среде представителей всех сословий и оттенков мнений, но с явным преобладанием общего убеждения, что на земстве лежит задача строительства новой бессловной, демократической и просвещенной России. Самой крупной и однородной группой оказалось крестьянство (т.е. казаки и крестьяне), составлявшее половину собрания, затем группа семи самостоятельных цензовиков, поддерживаемых крестьянством, наконец, горожане, среди них один еврей, несколько мелких землевладельцев и один священник. Всех гласных было, кажется, 30.

Самым важным был единогласно проведенный вопрос народного просвещения и устройства школ; за исключением школы в с. Плиске, устроенной мною и моими друзьями в 1867 году и переданной земству в полную собственность, в уезде не было ни одной земской школы; школы церковные существовали только на бумаге, а школы бывшие министерства государственных имуществ, при введении земства, закрылись сами

собой. При скудости земских средств, при полном отсутствии подготовленного учительского персонала, при равнодушии самого населения к просвещению, — задача казалась безмерно трудной. Но, благодаря единодушию земского собрания и неутомимой деятельности в этом направлении председателя управы М.А.Имшенецкого и члена управы Н.Н.Волк-Карачевского, в несколько лет Борзенский уезд по числу школ и по их благоустройству занял первое место среди всех 15 уездов губернии, притом уездов, располагавших гораздо большими средствами. В устройстве школ самым трудным вопросом было найти подходящих учителей. Поэтому, мы не могли не обратить внимания на зарождавшееся народническое движение, ставившее просвещение народа также на первый план. Мы не сомневались, что только глубоко преданные этой идее люди могут совершить великий подвиг, служа не своим материальным интересам, а духовным интересам народа. И мы направили наши розыски в эту сторону, но и тут мы делали подбор лиц, подходящих для учительства, не придавая народническому ярлыку решающего значения. До 1874 года, когда было издано новое Положение о народных училищах, утверждение учительского персонала зависело от училищного совета, в котором инспектор народных училищ не занимал еще господствующего положения. Учителя утверждались беспрепятственно председателем училищного совета. Таким образом, школы постепенно стали заполняться учителями не только добросовестно, но страстно исполнявшими свою трудную задачу, не только обучая детей, но и распространяя среди взрослого населения сознание всей важности образования. Именно это последнее обстоятельство привлекло внимание жандармерии и летом 1874 г. был произведен, главным образом в Борзенском, Конотопском и Нежинском уездах, настоящий учительский погром, так как большое число учителей

было арестовано и заключено в Петропавловскую крепость и создан политический процесс, известный под именем процесса 193-х. Я был вызван в качестве свидетеля на этом процессе вследствие ссылки на меня некоторых подсудимых, бывших наших учителей, и допрашивался 13-го ноября 1877 года в заседании судебной палаты в Петербурге. Я хорошо помню этот день, т.к. это было канун того дня, когда Мышкин давал объяснения, закончившиеся потрясающей сценой. Вход в залу допускался только по билетам. Получить билет я не смог, как не смог получить его и Савич, мой приятель и товарищ по земству, приехавший вместе со мною, чтобы присутствовать на суде. Я был допущен в суд только в день моего допроса и в его ожидании сидел в обществе жандармского офицера, ни на минуту меня не покидавшего. На суде я мог видеть некоторых из подсудимых, но разговаривать с ними не мог, так как они занимали места, окруженные рядом военной стражи. Вид подсудимых был тяжелый после 3 лет заключения в крепости, в которой некоторые скончались, не дожив до суда. Так погиб учитель нашей школы в Плиске, совсем молодой, горячий, пылкий, истинный подвижник, Трезвинский, не выдержавший долгого заключения и умерший от чахотки. Он был подлинный мирный народник. На суде в качестве подсудимого должен был присутствовать бывший учитель народной школы, Франжоли, но в тот день, когда я допрашивался, его не было, по крайней мере я не видел его среди подсудимых, а может быть не узнал его после заключения. Франжоли был самый умный, наиболее сдержанный и выдающийся человек среди всех наших учителей. Он был студентом Технологического Института, когда решил «идти в народ». Он понимал, что его заподозрят, если он явится претендентом на место учителя с аттестатом Технологического Института, поэтому, подавая мне, как председателю училищного совета, прошение о предоставлении

ему места в одной из школ, он представил метрическое свидетельство, но тут же не скрыл от меня, что он технолог. Он занял место учителя в с. Фастовцах, в 12 верстах от Плиски, и каждую субботу вечером приходил ко мне пешком, а на следующий день к вечеру, в воскресенье, возвращался в свою школу. Я очень уважал и любил его. Он сам был полон любви к людям. Он очень хлопотал об образовании женщин, утверждая, что каждая мать скорее всех учителей сделает своих детей грамотными. После его неожиданного ареста в с. Фастовцах произошло среди населения возбуждение и горячие головы предлагали идти отбивать своего учителя из рук жандармов. На процессе 193 он был приговорен к ссылке, кажется, в северные губернии, Архангельскую или Вологодскую; хотя ни одно из обвинений, выдвинутых против него, не было подтверждено. Из ссылки он бежал в Швейцарию, где скоро умер. Таких погибших, как Трезвинский и Франжоли, было много, и имена этих жертв будут неизгладимым укором тому режиму, который требовал жертв ради собственного существования.

Устраивая народные школы, М.А.Имшенецкий положил основание публичной библиотеке при земской управе. Он организовал выписку книг, вошел в сношения с издателями и книжными магазинами, а также с издателями газет и журналов. В г. Борзне не существовало ничего похожего на такое культурное учреждение, поэтому земская публичная библиотека сразу завоевала себе симпатии общества и с того времени в земском бюджете появилась ежегодная ассигновка на это важное культурное дело.

После погрома 1874 г. положение народных школ стало еще более трудным: администрация, полиция, и учебное ведомство видели в них опасное гнездо заразы, требующей искоренения. Таким образом, вместо педагогической помощи

школьная инспекция превратилась в школьную полицию, и сама стала язвой, разлагавшей школу. Народная школа не могла дать, не имея якобы права на это, своему ученику более того, что было означено в программе, утвержденной министром, и всякое увеличение знания считалось преступлением. Мне пришлось вступить в пререкание с инспекцией, находившей, что преподавание четырех первых действий арифметики с именованными числами по утвержденной программе не разрешается. Переход от трехгодичной школы к четырехгодичной потребовал длительной, многолетней борьбы земств с дирекцией народных училищ. А переход к пятигодичной школе в Новоторжском уезде, Тверской губернии вызвал целое следствие для выяснения такого преступления. И это спустя сорок лет после введения земских учреждений.

В период второго трехлетия действия земских учреждений школьный вопрос еще не стоял так остро, как он стал после учительского погрома 1874 года, и Имшенецкий находил преподавателей для школ, хотя не специалистов, которых тогда еще не было, но все же людей способных вести обучение. Таким образом, к концу трехлетия, школьное дело было поставлено на рельсы и могло постепенно развиваться.

Второй вопрос, — врачебной помощи населению, — точно также достался второму составу управы в самом плачевном виде; один врач на весь уезд, нечто в роде прежнего уездного врача, но только не обязанного производить судебные вскрытия и, вообще, не имевшего никакой установленной работы. В виду этого, в первом же заседании возник вопрос об организации врачебной части, не имевшей до того времени ни примеров, ни прецедентов. После продолжительных дебатов было принято, сколько помню, учреждение трех или четырех участков с врачом в центре, при нём фельдшер и кроме того несколько, — сколько не помню, — фельдшерских пунктов. Врач

обязан был выезжать в своем участке по требованию больных, и в случаях эпидемий, а, в случае надобности, командировать вместо себя фельдшера. Сверх того, он был обязан в определенные сроки выезжать в фельдшерские участки и проверять деятельность фельдшеров. Эта разъездная система очень скоро оказалась неудобной и земство много лет одну систему сменяло на другую, пока не выработало план, признанный всеми земствами за лучший, не имеющий себе равного в западной Европе, и совершенствуемый лишь уменьшением территории каждого врачебного участка и устройством при нём хотя бы небольшой больницы или «приемного покоя», и сверх того, полным упразднением фельдшеризма, т.е. самостоятельных фельдшерских пунктов. Это — система стационарной медицинской помощи. ее недостаток — крупный расход, но он неизбежен, ибо помощь в другом виде оказалась почти совершенно бесплодной.

В течение этого же трехлетия был поставлен вопрос о переложении подводной повинности, всей своей тяжестью лежавшей на крестьянстве, — в денежную, распространяющуюся таким образом на все виды облагаемого земством имущества и на все сословия в равной мере. Вместе с тем был разрешен вопрос о натуральной повинности вообще, и все ее виды переведены в денежную повинность. Это была одна из самых крупных и справедливых реформ земского хозяйства, ибо эти натуральные повинности причиняли населению немало хлопот и притеснений со стороны администрации и полиции.

Таким образом, поскольку память мне не изменяет, в течение второго трехлетия были проведены четыре важные меры:

1. Введен мировой суд.
2. Положено основание учреждению народных школ и учреждена земская публичная библиотека.

3. Принята система даровой врачебной помощи населению.

4. Натуральные повинности переведены в денежные и распространены на все сословия без исключения.

Земское собрание могло считать свою задачу блестяще выполненною, и не придавало никакого значения слухам, ходившим по уезду, об энергической агитации, которую вели некоторые лица, с межевым инженером Боком во главе, главным образом против управы, среди мелких землевладельцев, не имевших самостоятельных цензов и участвовавших в первом избирательном съезде через уполномоченных, число которых зависело от количества земли, принадлежавшей всем членам съезда, разделенной на меру одного ценза. Все было пущено в ход, чтобы собрать как можно больше мелких землевладельцев, были даны им всевозможные обещания и агитация имела полный успех. На первом избирательном съезде все мы шестеро, кроме Савича, были забаллотированы. Имшенецкий, Тарновский, все три брата Волк-Карачевские и я были забаллотированы приблизительно 42 голосами против 40. Савич получил 42 избирательных голоса против 40 неизбирательных и был избран, но в виду того, что мы оказались забаллотированными, отказался принять избрание.

Можно сказать, что земское собрание было обезглавлено, так как все лица, возбуждавшие вопросы, руководившие обсуждением и решением их, были забаллотированы. Земское дело перешло в руки межевого инженера Бока, руководившего размежеванием в Борзенском уезде и ответственного за все злоупотребления этого предприятия. Уже раньше я сказал о нём несколько слов и для полноты его портрета добавлю, что он не был местным жителем, но купил себе десять десятин земли, т.е. пространство, составляющее одну двадцатую часть самостоятельного ценза, дающую право участия в выборах

уполномоченных, в первом избирательном съезде. Эти десять десятин он вымежевал себе у самого города, чтобы там устроить фруктовый сад и сделать для себя доходную статью. Таким образом, в своих личных интересах он, руководивший межеванием по назначению правительства, в качестве его представителя, вымежевал себе участок земли в таком месте, которое по своему положению было во много раз ценнее земли, купленной им. Мне кажется, что этот факт достаточно рисует моральные воззрения новоявленного руководителя уездного земства.

Земское дело было в то время еще так ново, что своеобразная демагогия того времени достигла своей цели тем вернее, что в составе первого избирательного съезда были не только уполномоченные мелких цензов, но и обладатели цензов самостоятельных, в свое время межевавших свои имения с помощью того же Бока.

Печальнее всего была забаллотировка Имшенецкого, председателя уездной управы, бывшего фактическим руководителем всех земских предприятий и творцом разных планов на будущее. Вынужденное удаление от дел произвело на Михаила Андреевича удручающее впечатление. Он уже был болен туберкулезом, моральный же удар сильно отразился на состоянии его здоровья. Мы, его друзья, были очень этим обеспокоены и настаивали на его отъезде в Италию, предполагая, что не только мягкий итальянский климат, но и удаление от ежедневных впечатлений и огорчений на родине могут быть для него только полезны. По нашему общему настоянию, он решил уехать в Италию и в ту же осень, в 1871 г., уехал в Венецию, где постоянно жил один из его старых приятелей, Иван Иванович Белозерский, женатый на венецианке. Я не думал, что он останется в Венеции долго и полагал, что он переберется куда-нибудь в более подходящий для туберкулезного больного климат, чем венецианский. Но Имшенецкий

остался в Венеции до конца лета 1874 г. В Венеции он провел более двух лет и вернулся на родину в таком состоянии, которое не оставляло ни в нём, ни у нас, его друзей, никакой надежды. Во время его пребывания в Венеции мы с ним переписывались, но он упорно не отвечал на вопросы о своем здоровье; поэтому наша встреча, когда он вернулся домой, произвела на меня потрясающее впечатление. Он почти уже не мог ходить и его пришлось возить в кресле; очень скоро он не мог и лежать, и почти не оставлял кресла. Он не мог уже поехать на свой хутор и устроился в г. Борзне вместе со своими двумя сестрами, а я почти ежедневно навещал его и ездил к нему из Плиски. Сознавая, что конец жизни близок, он поверял мне все свои мысли, желания и распоряжения на случай смерти и просил меня и Н.Н.Волк-Карачевского быть его душеприказчиками в виду того, что его сестры слишком юны, «чтобы устраивать свои дела». А между тем, его младшая сестра приехала из института в последней степени чахотки. Всю осень и первую половину зимы Михаил Андреевич, тяжело страдая, жил в ожидании смерти и умирал в полном сознании до последнего дня. Он скончался на руках Н.Н.Волк-Карачевского и моих — в феврале 1875 г. Он выразил желание быть погребенным в своем деревенском церковном приходе в с. Ядутах, от которого его хутор находился верстах в четырех.

В серый, туманный, холодный день несколько друзей сопровождали его гроб из Борзны в с. Ядuty, в 15 верстах от города. Скромнее и печальнее этих похорон трудно что либо себе представить. Не вполне растаявший снег, грязная дорога, гроб на простых деревенских дровнях, запряженных тройкой лошадей, двое-трое простых саней, следующих сзади: вот похоронная процессия, везущая человека, о котором можно с полной правдой сказать: «положил душу за други своя». Так хоронили мы этого беззаветно преданного своему народу

человека, которого народ так мало знал и еще меньше понимал. Это была первая и самая тяжелая утрата нашего маленького кружка, из которого в настоящее время остался я один, чтобы занести их имена в свою летопись и сохранить их для потомства...

В том же 1871 году, когда мы были забаллотированы, в конце лета происходило земское собрание нового состава. Его главою и руководителем, как и следовало ожидать, был В.П.Бок. Председателем управы был избран П.И.Довгелло, отставной майор, человек не злой, но глупый, менее всего понимавший дело, которое ему нужно было вести. Для Бока это был самый подходящий председатель, он мог делать с ним все, что угодно. Само собою разумеется, что первое время все шло по инерции: не только поддерживались уже устроенные школы, но и учреждались новые; не только поддерживалась принятая медицинская организация, но и продолжала развиваться. Кроме Бока, в составе гласных оказалось несколько благоразумных лиц, которые находили нужным поддерживать то, что уже есть, и ничего не разрушать, и дело пошло «ни шатко ни валко», само собою, в силу естественной эволюции.

В следующем 1872 году собрание должно было произвести выборы мировых судей, и именно выборы показали, что хотя руководитель собрания был избран участковым судьей, но в самом собрании уже не существовало агрессивного настроения, так как я был переизбран в судьи единогласно, а Савич огромным большинством голосов, что не могло доставить удовольствия Боку, тем более, что и все остальные почетные судьи были переизбраны вновь, а это означало, что мировой суд не попадет в руки межевого деятеля и останется на прежней высоте, благодаря настойчивому требованию гласных от сельских обществ.

Не принимая непосредственного участия в земских делах, я не переставал следить за их ходом, как в уезде, так и в губернии, тем более, что изменение состава губернских гласных от Борзенского уезда не могло не оказать влияния и на ход дел в губернском земстве. Мне помнится, что именно в это время произошла и большая перемена в составе губернской управы, председателем которой был избран Александр Иванович Ханенко, человек, пользовавшийся репутацией очень образованного, безупречно честного, неглупого, богатого барина, но менее всего способного нести то бремя, которое требовалось в данный момент. Несмотря на все личные достоинства А.И.Ханенки, он не был тем человеком, который требовался для того, чтобы проводить в земстве не дворянскую, а земскую, т.е. демократическую политику и вести борьбу, как с местной администрацией, так и с политикой правительства, как с губернатором Панчулидзевым, сменившим добродушного и честного кн. Голицына, так и с министром Валуевым и гр. Д.А.Толстым, душившим всякое проявление свободы и просвещения.

И действительно, в течение третьего трехлетия 1871-74 г., как борзенское уездное, так и черниговское губернское собрания оставались пассивными исполнителями текущих дел.

В 1874 году произошли выборы на четвертое трехлетие и, за исключением скончавшегося М.А.Имшенецкого, вся наша группа на первом избирательном съезде прошла беспрепятственно, и земское собрание снова было в наших руках, причем в должности М.А.Имшенецкого, как уездного предводителя, уже раньше⁴ сменил его В.Тарновский, член нашей группы.

4 Сословные выборы не совпадали с земскими.

Этот год особенно памятен одной из великих реформ, имеющей национальное и демократическое значение — введением всеобщей воинской повинности. Все сословия, и в том числе дворянство, обязаны были отбывать воинскую повинность на общих для всех основаниях. Сохранились лишь некоторые привилегии, но не сословий, а образования и семейного положения, равные для всех сословий. Можно надеяться, что и эти привилегии, особенно по образованию, имеют временный характер, составляя недостаток закона, но все же эта реформа поистине заслуживает наименования великой и должна быть отмеченной в воспоминаниях каждого общественного деятеля.

Наше появление в губернском собрании было приветствовано очень дружески и первой задачей нашей было восстановление старой губернской управы с Карпинским во главе. Состав собрания не слишком этому благоприятствовал. Всех гласных было в наличности 77, из коих 33 были на нашей стороне и 44 против нас. Но эти 44 не составляли единой группы: было две группы, из коих одна, поддерживавшая А.И. Ханенку и одобрявшая направление его деятельности, состояла из 15 гласных; другая, более боевая, более реакционная, желавшая более решительной поддержки правительства, — состояла из 29 гласных и предпочитала избрание Суражского предводителя дворянства — Искрицкого.

Таким образом, наша победа была возможна лишь с помощью старой методы: *divide et impera*. После обстоятельного обсуждения такого плана, было принято решение сделать попытку поставить группы Ханенки и Искрицкого — одну против другой. Исполнение плана было поручено мне и К.Е.Троцыне, одному из самых уважаемых гласных; оно не требовало особенной ловкости в виду того, что по установившемуся обычаю баллотировка происходила после подачи

записок с именами кандидатов. Записки поданы были с тремя именами: Карпинский 33 голоса, Искрицкий 29, Ханенко 15. По числу поданных голосов первому надо было баллотироваться Карпинскому, но он заявил, что знает, что большинство собрания против него, а потому отказывается от своей кандидатуры. Искрицкий предложил было баллотироваться Ханенке, как председателю управы, первым, но Ханенко возразил, что он получил меньше записок и не будет баллотироваться раньше Искрицкого. Баллотировка началась с Искрицкого, получившего ровно 28 шаров избирательных и все остальные — против. Надо было видеть бешенство правых. Они вышли из себя и когда сторонники Ханенка, уверенные, что голоса Карпинского будут за него, предложили баллотировать своего кандидата, вся правая стала кричать: просим Карпинского! Крик был так настойчив, что не оставалось никакого сомнения, что теперь только один кандидат имеет шансы быть выбранным — Карпинский. Само собою разумеется, что мы поддерживали своего кандидата и Карпинский был избран громадным большинством. После этого таким же большинством были избраны и члены управы. Наше торжество было полное. Но когда баллотировка подходила уже к концу, некоторые из правых поняли, что они сделали величайшую глупость, исправить которую было уже невозможно. Стали обвинять Троцыну и меня в маккиавелизме, хотя мы не нарушали никакого обещания. Карпинский не мог допустить свою баллотировку, имея за себя меньшинство голосов, но, как только нам было предложено 29 голосов справа, вопрос избрания нашего кандидата не возбуждал более никакого сомнения, и мы имели полное моральное право воспользоваться новой комбинацией голосов.

Уже к концу собрания настроение правых совершенно упало и один из них мне лично сказал: «какую глупость мы сделали, мы сами себя одурачили!»

Губернская управа таким образом была восстановлена в полном и однородном составе, и мы чувствовали себя победителями.

У меня нет под руками материалов, по которым я мог бы восстановить всю нашу деятельность, правильнее говоря, всю нашу борьбу с правительством и администрацией, совавшей нам на каждом шагу палки в колеса. Но я и не буду пытаться входить в подробности, а отмечу наиболее важные или интересные моменты и случаи этой печальной, в сущности, истории, в которой каждая страница отмечена тем или другим насилием или беззаконием безответственной власти и бессилием земства.

Уже в начале семидесятых годов началось заметное стремление среди наших черниговских крестьян к переселению в Сибирь и на Кубань, в Ейский уезд. Население начало распродавать свое имущество, свои избы и хозяйственные постройки, свой скот и всякий скарб, чем пользовались местные спекулянты, скупавшие и земли, и постройки, и всякую утварь за бесценок. В конце концов переселенцы совершенно разорились, так как уезжали с ничтожным запасом средств для устройства на новом месте. Еще хуже было с переселенцами в Сибирь. Правительство, как всегда, не вникало в сущность вопроса, не изучало его и не помогало крестьянам ни оставаться на своем старом пепелище, ни найти новое. Оно всеми мерами старалось помешать переселенческому движению, находя в этом поддержку во влиятельных помещичьих кругах, опасавшихся остаться без рабочих рук. Позднее оно было вынуждено изменить свою политику, так как запретительные меры не могли остановить переселенцев; для них открылась еще одна обширная область, слух о богатстве которой быстро распространился в населении, — Туркестан. Но в середине семидесятых годов, правительство было решительно против

какой бы то ни было организации этого нового движения, а между тем организация была необходима, чтобы предотвратить разоренье массы населения. Кажется в 1875 г., т.е. когда у дел стояла снова управа с Карпинским во главе, я поднял вопрос о переселенцах в губернском земском собрании. Председатель Неплюев, человек совершенно ограниченный и рабски следовавший за указаниями губернаторов, не справившись, как смотрит на этот вопрос губернатор, допустил его обсуждение. Но на следующий день, получив соответственное указание губернатора и правых гласных, он снял вопрос о переселенцах с порядка дня и объявил, что дальнейшего обсуждения его он не допустит. Мы долго старались убедить его, что это вопрос не политический, а экономический, притом очень важный, так как его последствия могут быть крайне: печальны и для большого числа крестьян, что организация есть только упорядочение того, что уже фактически существует, и что задержать уже нельзя, — все было напрасно, он упорно стоял на своем, и его плешиная голова все более краснела и покрывалась потом, но он очевидно был связан обещанием и не уступал. Тогда я заявил, что не хочу и не могу подчиняться незаконному и явно опасному для населения распоряжению председателя, злоупотребляющего своею властью, а потому слагаю с себя звание гласного и ухожу из собрания, возлагая на председателя всю ответственность за последствия его действий. За мною встало еще несколько гласных, они тоже заявили, что уходят из собрания. В собрании не осталось кворума. Неплюев стал выжидать. Разослали во все стороны телеграммы, призывая отсутствующих гласных прибыть немедленно. Однако, кворума не собрали, и собрание пришлось закрыть.

Я не считал, говоря вообще, такой способ борьбы с произволом желательным, но в борьбе приходилось выбирать тот способ, который был возможен в условиях земского само-

управления, где средства борьбы с председательским произволом были так ограничены, что именно к этому способу, т.е. «срыванию собрания» приходилось прибегать, когда ничего другого не оставалось делать, когда председательская власть опиралась на насилие, ничем не оправдываемое. К сожалению, председатели земских собраний, — предводители дворянства — всегда и, кажется, повсеместно находились в постоянном контакте с губернаторами, которые и распоряжались фактически в земском собрании, как у себя в канцелярии. Как в Чернигове, так и впоследствии в Твери, такое явление сделалось нормальным и бороться с ним парламентскими способами было почти невозможно.

Если не ошибаюсь, в 1875 г. было приступлено к организации при губернской земской управе статистического бюро для исследования Черниговской губернии в экономическом отношении и установления прочной базы для возможно справедливого обложения и распределения налогов, как земских, так и государственных. В первую же очередь вошло исследование Борзенского и Черниговского уездов.

Когда описание Борзенского уезда было закончено и отпечатано, мне казалось удобным немедленно использовать этот превосходный труд, отличавшийся чрезвычайной продуманностью плана и точностью его выполнения, и положить его в основу земского обложения, как первый опыт практического разрешения весьма трудной и сложной задачи.

Черниговская статистика прежде всего отказалась от мысли выполнить задачу кадастра, т.е. дать точный и полный материал для каждого владения. Такая задача, при огромном количестве очень мелких владельцев, была невыполнима при данных условиях и требовала неизмеримо более времени и средств. Решение остановилось на «даче», для точной границы которой был план только что законченного специального

размежевания, включившего в дачу все земли внутри границы земель, причисленных к одному селению, каковых в Борзенском уезде насчитывалось, если память мне не изменяет, 60. Статистический материал давал возможность определить в каждой такой «даче» количество земли по категориям: пахотная, луг, лес и т. д. и установить доход десятины каждой категории; по этим данным было уже не трудно определить среднюю доходность средней десятины в данной «даче». Таким образом, определилось 60 категорий доходности «дач»: от 10 рублей с копейками до 2 руб. с десятины удобной земли, при очень постепенном понижении, таблица которого была отпечатана и распространена. Бесспорно, средняя величина состава каждого владения не соответствовала средней величине всей «дачи», равно как и средняя величина доходности отдельного владения не соответствовала средней доходности «дачи», но такая оценка давала гораздо более гарантий относительной правильности оценки, чем всякая другая, за исключением кадастра.

Работая над этим вопросом вместе с одним из авторов статистического описания Черниговской губернии, моим другом Александром Александровичем Русовым, мы не ограничились установлением только средних норм для обложения земли. Мы пошли дальше, исходя из той мысли, что размер владения, т.е. количество земли, изменяет и налогообеспособность плательщика; что если величина земельного владения может оплатить только труд владельца и его семьи и не оставляет ему никакого избытка, то и налогообеспособность такого участка равна нулю. Поэтому, должен быть установлен минимум, не облагаемый налогом и пополняемый установлением прогрессивного увеличения налога вместе с увеличением владения и сообразно с его доходностью.

Подробно изложенный план такого обложения вместе с детально разработанной таблицей и отпечатанный в виде брошюры был внесен мною в 1877 году в уездное земское собрание. Для рассмотрения плана собрание пригласило в качестве эксперта А.А.Русова, с которым вместе мы и защищали свое предложение.

Земское собрание отнеслось к нашему проекту с большим интересом и вниманием, и первую часть его приняло единогласно, утвердив оценку по «дачам». Что же касается второй части проекта, т.е. прогрессивности обложения и необлагаемого налогом минимума, то для некоторых гласных это показалось совершенно неприемлемым новшеством. Во главе оппозиции и ее оратором, к моему полному удивлению, выступил мой приятель и сосед Н.Н.Ге, очень горячо ставший доказывать, что мы проповедуем социалистические стремления, которые противоречат и закону, и интересам общества. Я был удивлен таким выступлением Н.Н.Ге, потому что считал его практическим народником, так как он очень ярко и настойчиво всегда подчеркивал свое народолюбие. Дебаты приняли поэтому несколько горячий характер, и мне потом всегда казалось, что отношения ко мне Николая Николаевича, после этого столкновения мнений, несколько поколебались и изменились. Однако, несмотря на горячие споры, и вторая часть нашего доклада была принята, и собрание поручило управе привести ее в исполнение. На основании этого решения оценка и раскладка по Борзенскому уезду были приняты согласно предложенной мною и Русовым схеме. Тем не менее, осуществлена она не была, так как была опротестована губернатором и передана на обсуждение губернского земского собрания, которое, однако, ее утвердило, но по новому протесту губернатора дело было перенесено в Сенат. Этот хранитель законности, продержав смету и протест губернатора целый год, касси-

ровал ее и оставил уезд без бюджета. А между тем, это постановление земства было несомненно большим шагом вперед, как в оценке земель, так и в установлении необлагаемого минимума и прогрессивности налога. Эта кассация была определенным подтверждением того, что такое земство не было еще самоуправлением, так как оно было лишено права всякого усовершенствования своего хозяйства.

Вспоминая нашу совместную работу с Александром Александровичем Русовым, я не могу не остановиться и не упомянуть его с чувством глубокого уважения, особенно теперь, когда он скончался. Если бы меня просили назвать, не обдумывая, имя самого доброго, бескорыстного и трудолюбивого человека, я назвала бы А.А.Русова, в котором соединялись эти черты в самом активном сочетании. Живой ум, много знаний, бесконечная доброта и гуманность, талантливость и необыкновенная трудоспособность — все это соединялось вполне гармонически и цельно в этом прекрасном человеке и неустанном работнике.

Когда мы с ним обрабатывали наш проект земского обложения, Александр Александрович жил со своей семьей на хуторе, купленном им близ города Берзны и представлявшем запущенный, полуразрушенный «выселок», торчавший как-то бесприютно и безнадежно. Его семья состояла тогда из супруги Софьи Федоровны, родной сестры А.Ф.Линдфорса, и маленького, лет трех или даже меньше, сына. Кроме того с ним жил некто Макаев, исполнявший разные хозяйственные работы. Все они, в качестве чистых народников, «сидели» на земле, именно «сидели на земле», так как их работа была никому не нужна, и менее всего им самим. Мне казалось тогда, что Александр Александрович это понимал и чувствовал, так как ясно видел всю бесцельность и полную ненужность такого «сиденья», но уступал своей жене, настойчивой, чрезвычайно после-

довательной, энергичной и увлекающейся женщине, которая в качестве народниц должна «сидеть» на земле, как сидит народ, и делать то, что делает народ. А народ, с своей стороны, задавал себе вопрос: для чего это делают господа, когда это им совсем не нужно? И в самом деле: научить мужика хозяйству и земледелию эти бедные народники не могли, так как они во много раз хуже хозяйничали и обрабатывали землю, чем сами крестьяне. Другое дело, если бы они знали усовершенствованные способы земледелия и могли научить крестьян более совершенным приемам, — это было бы и понятно и полезно. Страдать вместе с народом? Каждый крестьянин отнесется к такой искусственной жертве отрицательно и даже пренебрежительно, ибо вынужденное страдание, лишенное выхода, и страдание добровольное, с возможностью в любой момент прекратить его — две разные категории страданий.

Хотя хутор Русовых был около 20 верст от меня, но я не раз ездил к ним верхом и наблюдал жизнь людей самых лучших, самых правдивых, никого не обманывавших, веривших в полезность своей жертвы, — и всякий раз уезжал от них в глубоком раздумье так как не мог усвоить смысла этой жертвы, ненужной бутафории, неестественности положения людей, принимавших иллюзию за действительную жизнь.

Когда я был арестован и отправлен в ссылку, до меня дошел слух, что Русовы продали свой хутор и Александр Александрович вернулся в Чернигов в качестве заведующего статистическим бюро. Я искренно порадовался и за него, и за его семью, и за черниговское земство, вернувшее себе такого незаменимого работника.

В то время, когда мы вели в земстве свою легальную и мирную борьбу с возмутительным произволом правительственного режима, мы ставили себе целью победить его, хотя не быстро, но бесповоротно, постепенно организуя и подготавливая народ к принятию власти в свои руки, теперь еще бессильные, и суметь удержать ее. Мы хотели создать действительное самоуправление, как местное, так и государственное, сохраняя их единство.

Величайшая трудность и сложность нашей задачи заключалась в том, что одновременно с нашей работой естественно возникали другие течения, более нетерпеливые, менее продуманные, вроде Чигиринских «Золотых Грамот»⁵, или открыто революционных выступлений и террористических актов. Такие действия имели неизменное следствие — жестокие репрессии со стороны правительства или совершенно безумные законодательные меры, все более усиливавшие власть жандармерии и освобождавшие ее от всякой ответственности, как юридической, так и моральной. Правительство мало-помалу утрачивало всякое чувство единства со своей страной и все более видело в ней только враждебный лагерь и ничего другого. Духовные процессы, происходившие во всех слоях русского народа, свидетельствовавшие о жизненности его, как: требования свободы, новых условий жизни, желание стать гражданином своего отечества, а не оставаться только обывателем, посильным исполнителем чужих велений, — все это в глазах прави-

5 «Золотые грамоты» — поддельные царские манифесты о всеобщем переделе земли, распространявшиеся революционерами.

тельства было только преступление и заслуживало только наказания.

Все привычки правительства, как и его взгляды делали его неспособным считаться с естественной эволюцией идей, пережитых всеми народами Европы, опередившими Россию своей культурой, своим политическим и общественным развитием. История Европы дает обширный материал примеров, которыми могло бы пользоваться русское правительство, если бы оно более вдумчиво относилось к фактам, представлявшим опасность для спокойного развития страны и даже для существования самого правительства. Но оно было преисполнено уверенности в силе своей администрации и жандармерии, и в полном невежестве народной массы, которая якобы еще долго будет чужда идеям права, свободы, равенства и парламентского аппарата «словесной болтовни» и либеральных фраз. Поэтому русская внутренняя политика заключалась не в успокоении и не в постепенных уступках духу времени, а в репрессиях и возбуждении ими крайнего революционного действия, которое и росло из года в год, не останавливаясь даже во время Сербской борьбы 1876 г. и Балканской войны 1877-78 г.г.

Для того, чтобы не быть голословным, я воспользуюсь календарем Бурцева и приведу все, как крупные, так и мелкие факты, обнаруженные и преследовавшийся правительством, судом или администрацией. Конечно, далеко не все факты были открыты, и революционная пропаганда была значительно шире, но для моей цели достаточно и того, что зарегистрировано г. Бурцевым в его календаре.

Я начинаю с покушения Каракозова на жизнь императора Александра II, т. е. с 1866 г. и довожу до конца 1878 года.

1866 г. апр. 4. Покушение Каракозова, (казнь — сент. 3).

- 1866 г. апр. 25. Арест Лаврова в СПб. (ссылка в Вологод. губ. 1867) окт. 4. Приговор участникам Каракозовского дела.
- 1867 г. июнь 2. Суд над полковником Соколовым за его книгу (15 лет крепости).
- 1868 г. сент. 1. Выход в Женеве журнала «Народное Дело» № 1-й.
- 1869 г. март 15. Студенческие волнения в СПб. Университете, Медицинской Академии и Технологическом институте
- 1869 г. ноябр. 21. Убийство Нечаевым студента Иванова в Москве.
- 1870 г. февр. 25. Бегство Лаврова из Кадникова за границу.
- 1871 г. июль 1. Процесс Нечаевцев.
- 1872 г. апр. 17. Волнения в Харькове. 3 дня город в руках толпы, ноябр. 12. Побег Соколова из тюрьмы.
- 1872 г. ноябр. 12. Побег Соколова из тюрьмы.
- 1873 г. янв. 8. Дело Нечаева в Московском окружном суде.
- 1873 г. авг. 1. Выход журнала Лаврова «Вперед» в Цюрихе.
- 1874 г. окт. 17. Беспорядки в СПб. Медицинской Академии (по поводу проф. Циона).
- 1875 г. май 5. Объявление приговора Долгушинцам на Конной пл. (5 чел.)
- 1875 г. июнь 17. Дело Дьякова и других в СПб. (пропаганда в войсках).

- 1875 г. июль 7. Вооруженное сопротивление Мышкина (попытка освободить Чернышевского).
- 1875 г. авг. 12. Вооруженное сопротивление Цицианова в Москве.
- 1875 г. сент. 11. Процесс Донецкого в СПб. (распространение революционных листов)
- 1875 г. окт. 3. Богомолов зарезался в доме предварительного заключения
- 1875 г. дек. 1. Выход за границу № 1 журн. «Набат» (Ткачева и Турского).
- 1876 г. май 26. Дело рабочих Осипова и Абросимова в СПб. (пропаганда среди рабочих).
- 1876 г. июнь 10. Покушение Дейча на жизнь предателя Гориновича.
- 1876 г. сент. 5. Убийство шпиона Тавлеева в Одессе.
- 1876 г. сент. 21. Дело Горбачева.
- 1876 г. сент. 22. Дело Бутовской в СПб. (распространение среди рабочих революционных листов).
- 1876 г. окт. 19. Дело студента Семеновского в СПб. и друг. в Особом Присутствии Сената.
- 1876 г. дек. 4. Процесс таксатора Альбова в СПб. (пропаганда среди крестьян).
- 1876 г. дек. 6. Демонстрация «Землевольтцев» на Казанской площади (речь Плеханова).
- 1877 г. февр. 21. Процесс 50-ти. Пропаганда среди рабочих и крестьян (речи Алексева и Бардиной).

-
- 1877 г. март 7. Дело о демонстрации на Казанской площади.
- 1877 г. июнь 6. Дело Ионова и Павлова в СПб. о пропаганде (каторга).
- 1877 г. июль 13. Телесное наказание Боголюбова в доме предварительного заключения (Трепов).
- 1878 г. янв. 23. Приговор по делу 193-х.
- 1878 г. янв. 24. Выстрел Засулич в Трепова.
- 1878 г. янв. 30. Вооруженное сопротивление в Одессе Ковальского, Войташевского и др.
- 1878 г. февр. 1. Убийство шпиона Никонова в Ростове.
- 1878 г. февр. 24. Демонстрация на похоронах Подлевского.
- 1878 г. март 6. Первый процесс Фомина в Одессе (оправдан).
- 1878 г. март 28. Вооруженное сопротивление при аресте братьев Избицких в Киеве.
- 1878 г. март 31. Суд и оправдательный приговор Веры Засулич.
- 1878 г. апр. 2. Беспорядки в Киевском университете и массовая высылка. Демонстрация на похоронах Сидорацкого (дело Засулич).
- 1878 г. апр. 16. Бегство из-под стражи Преснякова в СПб.
- 1878 г. май 1. Процесс Кибальчича.
- 1878 г. май 25. Убийство жандармского офицера бар. Гейкинга в Киеве.
- 1878 г. май 27. Бегство Стефановича, Дейча и Боха-

- новского из Киевской тюрьмы.
- 1878 г. июль 1. Вооруженная попытка освобождения Войнаральского (процесс 193-х).
- 1878 г. июль 20. Дело Ковальского, Виташевского и др. в Одессе.
- 1878 г. июль 24. Беспорядки по поводу этого процесса в Одессе.
- 1878 г. авг. 2. Ковальский расстрелян в Одессе.
- 1878 г. авг. 4. Убийство шефа жандармов Мезенцева.
- 1878 г. авг. 5. Первые аресты польских социалистов в Польше.
- 1878 г. авг. 29. Побег из тюрьмы в Киеве Избицкого и Беверлея.
- 1878 г. окт. 14. Вооруженное сопротивление Каленкиной и Малиновской в СПб.
- 1878 г. окт. 15. Арест Аболешева, Сабурова, Михайлова и других «землевольцев».
- 1878 г. окт. 20. Вторая попытка освободить из тюрьмы Фомина в Харькове.
- 1878 г. нояб. 1. Выход № 1 журнала «Земля и Воля».
- 1878 г. нояб. 29. Забастовка на бумагопрядильной фабрике.
- 1878 г. дек. 16. Вооруженное сопротивление офицера Дубровина в Старой Руссе.
- 1878 г. дек. 23. Общее собрание «Северно-Русского Рабочего Союза» в СПб.
- 1878 г. дек. 30. То же, второе собрание.

Пробегаая этот длинный реестр революционной работы, мы видим, что со времени Каракозовского покушения, в тече-

ние первых девяти лет, революционное движение было очень слабо, и, конечно не потому, что казнь Каракозова и каторга его соучастникам устроили бы кого-нибудь. Как всякая мысль, так и всякое течение требуют времени для своего развития и многих других условий. С 1875 г. мы уже можем отметить большой шаг вперед и большое разнообразие борьбы: пропаганда в войсках, среди рабочих, среди крестьян, среди молодежи высших учебных заведений; вооруженные сопротивления, террористические акты, пользование судом, как революционной кафедрой; выступления на улицах и площадях, наконец, организация Союза рабочих и заграничных печатных органов. И если пересмотреть внимательнее все зарегистрированные случаи, то нельзя не прийти к заключению, что, за исключением двух-трех, все остальные «преступления» в любой европейской стране квалифицировались бы как проступки, подлежащие юрисдикции мирового суда. Бесспорно подлое преступление Нечаева было осуждено судом присяжных, а преступление Веры Засулич такими же присяжными было оправдано, так как оно было совершенно под влиянием не менее гнусного преступления генерала Трепова, приказавшего высечь заключенного в тюрьме за то, что тот не снял перед ним шапки. В любой стране присяжные также ответили бы оправданием.

Какими мерами самодержавное правительство отвечало на революционное движение? Смертными казнями, долгосрочной каторгой, многолетним заключением в тюрьме, ссылкой в Сибирь по суду и без суда, административным порядком, ссылкой людей даже признанных судом невинными. Но, кроме этих мер личного возмездия за совершенные или за подозреваемые за ними действия, правительство принимало и общие меры, имевшие характер предупреждения преступлений или

раскрытия их. Я приведу все общие меры, принятые правительством за тот же срок.

- 1866 г. май 13. Последовал рескрипт на имя председателя Государственного Совета, кн. Гагарина, о борьбе с революционным и либеральным движением.
- 1866 г. авг. 21. Последовало ограничение приема в высшие учебные заведения лиц польского происхождения.
- 1871 г. май 16. Возложено на жандармерию производство следствий по политическим преступлениям и предоставлено министру внутренних дел по соглашению с шефом жандармов решать эти дела административным порядком.
- 1872 г. июль 2. Издание закона об особом судопроизводстве по политическим преступлениям.
- 1877 г. окт. 29. Издание закона о действии военных команд при подавлении народных движений.
- 1878 г. май 9. Изъятие преступлений против должностных лиц из суда присяжных и передача их Судебной Палате, Правительствующему Сенату и Верховному Уголовному Суду.
- 1878 г. июнь 9. Введены повсеместно полицейские урядники для надзора за населением в деревнях.

1878 г. авг. 20. Призыв правительства (Москва, МВД) к обществу за содействием ему в борьбе с революционным движением.

И так, только после двенадцатилетней борьбы с так называемой «крамолой» и только после убийства шефа жандармов, т.е. власти руководящей борьбой, в руках которой был сосредоточен весь аппарат системы и с помощью которой надеялись раздавить растущий революционный дух, чувствуется колебание власти и делается попытка привлечь к борьбе общественные силы. Этот призыв появился в «Правительственном Вестнике», которого у меня нет под руками, и я не могу, к сожалению, привести его полностью, чтобы показать всю растерянность правительства и неспособность понять и дать настоящую цену последнему событию, как звену длинной цепи, оборвать которую не умело ни это правительство, ни его преемники.

Обращаясь с призывом к обществу, на какую помощь рассчитывало правительство? Какие меры обещало оно с своей стороны, ссылаясь на которые каждый член общества мог бы обратиться к террористам со словами убеждения прекратить борьбу преступную по своим средствам, бесплодную по результатам, опасную для самого существования нашей родины? Борьбаться теми средствами, какими борется власть — виселицей, каторгой и ссылкой? Или теми же средствами, к каким прибегают агенты власти — шпионством, доносом, предательством? Властью правительства общество не располагает, а если бы и располагало, то, конечно, избрало бы другие средства борьбы. Борьбаться рука об руку с агентами власти — общество не может и не будет, пока оно остается обществом и сохраняет свое человеческое достоинство.

Чем кончился этот призыв к обществу, мы увидим в следующей главе.

Глава V

Убийство шефа жандармов генерала Мезенцева — Совещание с Линдфорсом о мерах легального сопротивления — Киевское совещание — Юбилей Основьяненка в Харькове. — Мое выступление — Е.С.Гордеенко — Совещание 3 декабря 1878 г. в Киеве с террористами — Петербург: В.А. Полетика, Н.К.Михайловский и Е.И.Утин — Призыв правительства к обществу о содействии ему — Черниговское губернское земское собрание и ответ на призыв — Брошюра «Ближайшие задачи земства» — Первый съезд земства в Москве. — Покушение Соловьева

4-го августа 1878 года я получил у себя в деревне из Петербурга от А.Ф.Линдфорса телеграмму приблизительно такого содержания: «сегодня убит шеф жандармов, генерал Мезенцов».

Это было время усиленной деятельности террористов. Положение шефа жандармов, фактического руководителя внутренней политики и той борьбы, которую правительство вело с революционным движением, ставило это лицо особо от всех других правительственных лиц, и поэтому его убийство было фактом исключительной важности и исключительного успеха террористов.

Для меня было очевидным, что борьба государственной власти и революционного движения вступает в новый фазис и что она может принять такой беспощадный характер, который станет опасностью не только для старого режима, утратившего всякий смысл, так как он не умел и не хотел приспособиться к требованиям нового времени, к естественной эволюции страны, к росту сознания народа, но и к нараставшему в течение двух веков сближению с западно-европейской культурой и цивилизацией.

Со смертью Петра Великого чисто русская династия Романовых прекратилась и Россия получила династию псевдо-Романовых немецкого происхождения, охранявшую самодержавие с немецким упорством и систематичностью, рассчитывавшую на глубокое невежество закрепощенной народной массы и незначительность тонкого слоя культурного класса, благосостояние которого всецело было связано с незыблемостью самодержавной власти. Либеральное баловство Екатерины II-ой, захватившей престол убийством своего полоумного мужа, было не более как подкуп дутыми векселями, уплата по которым производилась перепиской с Вольтером, Дидро, Гриммом и другими корифеями европейского общественного мнения. Что же касается России, то, как известно, Екатерина собственноручно написала обширный «Наказ» для составления Уложения и предоставила «сословиям» заняться им, для чего была собрана в Москве знаменитая комиссия, которую Екатерина затем, за ненадобностью, упразднила. Весь этот запас либерализма, предназначенный как на zahraniчный рынок, так и для домашнего употребления, не помешал Екатерине жестоко расправиться с Новиковым и Радищевым, когда они заразились идеями, которыми она восхищалась в своих zahraniчных письмах и которые провозгласила в своем Наказе, — и дарить, как вещи, сотни тысяч русских крестьян своим многочисленным любовникам и убийцам своего мужа.

Её сын, также задушенный за свой безумный произвол, в течение своего четырехлетнего царствования раздарил русских крестьян своим любимцам еще больше, чем его мать за все свое 34-летнее царствование.

Её внуку, императору Николаю I-му, пришлось брать свой престол с боя после вооруженного восстания Декабристов, поставивших на своем знамени требование конституции и освобождение крестьян от крепостной зависимости. Сев на

завоеванный престол, Николай I к концу своего царствования думал, что своим железным кулаком он поднял Россию на высоту могущества, на которой она никогда еще не стояла, но умирая должен был признать, что «сдает своему сыну команду не в том порядке, в каком хотел». Крымская война раскрыла весь процесс разложения и гниения русского самодержавия, построенного на крепостном праве и невежестве народа, и заставила Александра II-го откровенно предостеречь московское дворянство, что лучше освободить крестьян сверху, чем ждать, когда оно освободит себя снизу. Самодержец освободил крестьян от крепостной зависимости, а затем настала очередь освободить Россию от самодержца. Такова логика истории. Было ясно, что если самодержавие не сделает этого сверху, то оно будет свергнуто снизу, и революционное движение, начавшееся с воцарения императора Александра II-го, — есть только развитие процесса, который мог быть остановлен не смертными казнями, не каторгой, не скорпионами, которыми располагает власть, а освобождением страны от самодержавия. Предполагало ли правительство, обращаясь к обществу с призывом помочь ему в борьбе с революцией, совершить второе и последнее освобождение? Очевидно, нет. Оно рассчитывало привлечь своих «даровых сто тысяч полицеймейстеров» к борьбе с террористами старыми способами для защиты самодержавия и своих собственных интересов, тесно связанных с тем государственным порядком, которому может грозить крушение. Нам предстоит выбор между зачислением себя в армию полицеймейстеров, либо защищать свободу, как против самодержавия, так и против террора.

Приблизительно в таком порядке я излагал свои мысли А.Ф.Линдфорсу, когда он, возвратясь из Петербурга, приехал ко мне в Плиску, чтобы побеседовать на ту же тему и выяснить вопрос, — как и что земство должно отвечать правительству на

его призыв, правда, не прямо обращенный к нему (земству), а к обществу вообще, в котором земство, однако, представляет единственную часть достаточно организованную и способную к какому-либо действию.

Борьба красного и белого террора представляла зрелище в высшей степени тяжелое не только в моральном, но и в политическом смысле, и мы были бы готовы принести всякие жертвы, чтобы заменить этот ужасный вид борьбы более человеческим способом; но мы знали, что никакими уступками правительство не будет удовлетворено и, чувствуя это, мы сами, и Линдфорс и я, давали убежище и скрывали «нелегальных», спасая их жизнь или свободу, и не спрашивая, террористы ли они или не террористы. Правительство обладало всей властью, чтобы прекратить террор в самом его зарождении. Если оно не считало возможным идти на встречу духу времени, то и весь *odium* оно должно было принять на себя. Мы не сомневались, что наши товарищи и единомышленники в губернском земстве думают так же, как и мы. Но, что думают широкие круги общества? Для того, чтобы расширить круг наших сведений, мы — Линдфорс и я — решили поехать в Киев и обратиться к руководителям украинофилов с просьбой устроить совещание по этому вопросу, пригласив тех лиц, которые могут быть полезны в данном случае.

Наша просьба была встречена очень дружественно и собрание состоялось в квартире Г.Г.Цветковского, где присутствовали наиболее влиятельные украинофилы, в том числе: проф. В.Б.Антонович, П.И.Житецкий, А.А.Русов, В.Л.Беренштам, А.А.Волькенштейн, И.А. Житецкий, представитель польской группы г. Длусский и много других лиц.

Все присутствовавшие не только согласились с нашей точкой зрения, но и приняли наше предложение образовать группу, которая примет на себя активное участие в распро-

странении нашей точки зрения и с этой целью сделает попытку устроить совещание Линдфорса и мое с террористами для обсуждения возбужденного нами вопроса. Тут же возник вопрос об участии черниговских земцев в посмертном юбилее украинского писателя Квитки-Основьяненко в Харькове, который предполагался, кажется, в последних числах ноября месяца.

Приняв такое решение, мы немедленно вступили в сношение с распорядителями харьковского юбилея, который должен был состоять из торжественного заседания в харьковском университете, с речью известного филолога и слависта, профессора Потевни, и банкета, на котором будут произнесены речи, посвященные не только памяти юбиляра, но и политическому состоянию России.

Этой программе очень сочувствовали, как ректор университета, профессор Цехановецкий, мой хороший знакомый, так и профессор Сокольский, участник юбилейной комиссии. Относительно речей были намечены только лица, которые должны произнести речи, но содержание речей было предоставлено усмотрению ораторов.

Сколько я могу припомнить, юбилей совпал с днем проезда через Харьков императора Александра II, возвращавшегося из Крыма в Петербург. Харьковскому начальству было не до юбилея писателя, давно умершего, но, говоря вообще, язык украинский уже сам по себе не пользовался покровительством власти и вызывал подозрения в сепаратизме. Конечно, трудно выдумать более нелепое подозрение, но, к сожалению, оно сослужило во взаимных отношениях Украины и Великороссии плохую службу и создало борьбу бессмысленную и нелепую.

Как и ожидали, юбилей Квитки-Основьяненка привлёк массу публики, не только местной, жителей г. Харькова, но и разных губерний. Речь знаменитого профессора-филолога

произвела большое впечатление и подготовила интерес к банкету, который состоялся вечером в доме Филонова. Все места были заняты и две расположенные рядом залы были битком набиты. В числе участников банкета были и некоторые лица из местной администрации. Киевлян было довольно много, так как Киев был центром украинофильства. Из черниговских делегатов, сколько я помню, были: А.Ф.Линдфорс, А.А.Русов, В.А.Савич и я. После нескольких речей, посвященных памяти покойного писателя и украинского патриота, слово было предоставлено мне, и моя речь была посвящена чисто политической теме. Я говорил о состоянии России в данный момент и прямо начал с факта убийства шефа жандармов, генерала Мезенцова. Несправедливо было бы думать, говорил я, что образованное общество остается равнодушным к происходящим террористическим актам. Общество одинаково против террора, идет ли он снизу или сверху, ибо оно знает, что таким путем дойти до свободы и конституции так же невозможно, как невозможно этим путем достигнуть спокойствия и порядка в стране. Террор одинаково свидетельствует как о слабости правительства, так и о слабости общества. Убийство генерала Мезенцова есть новое напоминание о том, что невозможно долее поддерживать двусмысленное положение, занятое обществом в борьбе, которую ведут террористы с государственной властью. Я утверждал, что наступает момент когда общество обязано высказаться прямо и откровенно, что, не одобряя террористических убийств революционеров, оно также не одобряет и правительство, которое отказывается понять, что система государственного порядка, которую оно упорно защищает, не соответствует ни достоинству русского народа, ни интересам великого государства; что правительство обязано приступить к коренной реформе государственного режима и сделать все, от него зависящее, чтобы прекратить

террор мирным путем, а не путем казней. Общество, закончил я, одинаково против убийства из-за угла и против виселицы.

Я был выслушан с напряженным вниманием и только в одном месте был прерван профессором Володимировым, крикнувшим: «Это призыв к революции!» Этот крик был покрыт всеобщим шиканьем; и когда я кончил свою речь, изложенную выше вкратце, вся зала поднялась с мест, долго рукоплескала, многие подходили, чтобы пожать мне руку, среди них были и офицеры, и все повторяли: «давно было пора это сказать!»

Первая часть нашей задачи была выполнена: мы убедились, что масса образованного общества на нашей стороне. В виду этого, на нашем частном совещании было решено, что мне следует повидаться с Егором Степановичем Гордеенко, пользовавшимся в Харькове большим уважением и авторитетом. Утром на следующий день я был у Е.С.Гордеенко. Вместе со мною отправился мой друг В.А.Савич, давно знакомый с Гордеенко и предложивший познакомить меня с ним. Наружность Гордеенко располагала в его пользу. Это был старик с совершенно белой головой, покрытой седыми кудрями. Выражение его лица и глаз, а также спокойная манера и точная речь внушали доверие. Он занимал долго место городского головы, но оставался ли он в этой должности в момент моего посещения — не помню. Я изложил ему цель нашего посещения, — желание узнать, предполагает ли он, как гласный харьковского губернского земства дать какой-либо ответ на обращение правительства к обществу, и если да, то в каком смысле, так как ответ всероссийского земства много выиграл бы в своем значении, будучи, если не по форме, то по духу более или менее одинаковым. При этом я изложил свою личную точку зрения по этому вопросу и сослался на свою речь на юбилейном банкете. Он выслушал меня очень внимательно, заметив

при этом, что раньше не обсуждал этого вопроса; в общем признает, что ответ должен быть дан во всяком случае, так как полагает, что земство не может не отвечать правительству, когда оно обращается к нему, но он не может в эту минуту дать мне никакого определенного ответа, считая необходимым тщательно обдумать вопрос и только после этого принять определенное решение.

С своей стороны, я считал свою задачу исполненной, и мы простились. Как известно, харьковское земство отвечало раньше всех других и его ответ не произвел особенного впечатления, но для Гордеенко, кажется, имел неприятные последствия.

Этим закончилась наша миссия в Харькове, и мы считали ее довольно удачной, так как получили доказательство, что в широких общественных кругах мы нашли несомненное неодобрение правительственной внутренней политики и готовность поддержать открытое выражение неодобрения её, хотя и не в такой определенной форме, в какой мы бы желали и в какой говорили в своих собраниях.

Теперь нам предстояло совещание с террористами, задуманное исключительно нами двумя — Линдфорсом и мною. Мы не считали возможным посвящать в это предприятие никого другого, полагая, что оно заключало в себе двоякую опасность: в случае если оно будет известно многим, его тайна может быть раскрыта раньше, чем оно состоится и это помешает его осуществлению, а кроме того, многие могли бы пострадать невольно. Поэтому мы с Линдфорсом решили не сообщать до совещания никому, даже самым близким нам людям, ни о проекте совещания, и ни о его времени. С другой стороны, террористы поставили нам условие, что никто не будет знать их фамилий.

Устройство собрания взял на себя Вильям Людвигович Берен-штам, известный киевский украинофил. Беря на себя устройство такого совещания в своей квартире на Бибиковском бульваре, он рисковал своей головой, так как Киев в это время был на военном положении; его генерал-губернатор, Чертков, был одним из вешателей, и, накрыв такое собрание террористов, он раскрыл бы вместе с тем и их связь с общественными группами. Жатва была бы обильная и беспримерная, так как главари южных террористов явились на совещание почти полностью. Тем не менее, жестокость киевских властей соответствовала их небрежности, и наше совещание состоялось в назначенный день и продолжалось с 8 ч. вечера за полночь. Никаких точных сведений о нем у жандармерии не было ни тотчас после собрания, ни даже спустя долгое время, хотя многие из его участников были повешены в Киеве и в Одессе весною следующего 1879 г.

Совещание происходило 3-го декабря 1878 года. Со стороны террористов было довольно много лиц и между ними были, как мы позднее узнали, — Осинский, Антонов, Ковалевская, Людмила Волькенштейн и много других. Из числа названных — первые двое впоследствии были повешены, а две последние погибли в Сибири.

Обмен мнений происходил исключительно между террористами с одной стороны и Линдфорсом и мною, с другой. Вопрос, поставленный с нашей стороны, заключался в том, — согласны ли террористы временно приостановить всякие террористические акты, чтобы дать нам, земцам, время и возможность поднять в широких общественных кругах и прежде всего в земских собраниях открытый протест против правительственной внутренней политики и предъявить требование коренных реформ в смысле конституции, гарантирующей народу участие в управлении страной, свободу и непри-

косновенность прав личности? После долгих горячих дебатов мы не пришли к определенным решениям или обещаниям, но все же разошлись под впечатлением, что наше предложение имело некоторый психологический успех, и что, если нам удастся сдвинуть общественное мнение с мертвой точки равнодушия, то террористы поймут необходимость приостановить свою активную деятельность. Мы убедились также и в том, что если бы правительство проявило хотя сколько-нибудь готовность сговориться со страной, террор потерял бы под собою почву. Мы убедились также и в том, что если правительство не пойдет на уступки, то террористы скорее пожертвуют своею жизнью, чем сделают малейшую уступку власти, ненависть к которой была у них беспредельна.

Так окончилось это совещание, происходившее в самом центре жандармского сыска, оставшееся никому неизвестным до опубликования сведений о нем известным американским исследователем русского революционного движения в 70-х и 80-х годах XIX-го века, — Джорджем Кеннаном, — с которым я имел случай познакомиться во время посещения им Твери. Такие же сведения еще позднее сообщил в особой брошюре раскаявшийся террорист Лев Тихомиров, участник Липецкого съезда и царевубийства 1-го марта, ставший затем сотрудником Каткова, потом Грингмута и, наконец, редактором «Московских Ведомостей», органа крайних реакционеров.

В моей личной жизни это совещание связано с событием, оставившим в ней глубокий след. Один из младоукраинофилов, — И.А. Житецкий, — осведомленный о предстоящем совещании, предложил гр. Анастасии Сергеевне Паниной, дочери которой он давал уроки, провести ее на совещание, где она может услышать мнения конституционалистов по чрезвычайно важному вопросу. А.С. приняла это предложение и была случайной и неведомой свидетельницей всего происходивше-

го, не принимая участия в прениях. По окончании совещания, по ее приглашению, некоторые из участников согласились сойтись в ее квартире на следующий день. Мы познакомились, — и в ее уме и сердце я обрел источник энергии, любви и жертвенности, ставший руководящей основой нашей общей жизни. Спустя 3 года, 16 августа 1882 года, в Смоленске, где я был в ссылке, мы с ней были обвенчаны.

Не помню, по какой причине черниговское губернское земское собрание, на котором я с Линдфорсом должны были выступить по поводу ответа правительству, было перенесено на январь 1879 года. Благодаря этому обстоятельству, инициатива ответа выпала из рук черниговского земства. Для нас это был вопрос не формального приоритета, а содержания ответа и его тона, который мог своим диссонансом с нашим испортить всю музыку, ослабить впечатление и действие нашего протеста.

Между тем мы решили использовать промежуток времени между совещанием с террористами 3-го декабря и губернским земским собранием и привлечь к выступлению московское и тверское земство, а также повременную столичную печать. Сверх того, в Москве мы с Линдфорсом хотели устроить съезд земцев и, вообще, общественных деятелей. К сожалению, Линдфорс был задержан своими личными делами, и мы условились съехаться в Москве, а до того я должен был подготовить почву в Москве и вести все переговоры в Петербурге. Туда же выехала и Анастасия Сергеевна, чтобы помочь мне выполнить мою довольно сложную задачу в Петербурге. Она увлеклась нашим предприятием после совещания с террористами, свидетельницей которого она была, и предложила свою квартиру в Киеве для совещаний, если они потребуются, и, наконец, свою помощь в переговорах с журналистами. Она

решительно примкнула к нашим планам и была готова оказывать нам всякое содействие.

Московское земство, руководимое в то время председателем губернской земской управы Наумовым, не проявило никакого желания сойти с почвы, отмежеванной земству «Положением о земских учреждениях». Наумов полагал, что земство должно строго держаться формальных прав, ему дарованных, и не пытаться расширять их средствами, которых нельзя признать легальными. Словом, в московском земстве мы не встретили сочувствия. Поэтому мы сделали попытку найти поддержку нашим планам в широких общественных сферах и в том числе в университетских. Это привело нас к знакомству с профессором Максимом Максимовичем Ковалевским и Виктором Александровичем Гольцевым. Оба они отнеслись к нам с полным сочувствием и взяли на себя устройство в Москве помещения для съезда. После обсуждения подробностей этого дела и ввиду нашего намерения созвать земцев, не только ближайших к Москве губерний, но и более отдаленных, было решено, что съезд соберется во второй половине марта.

Окончив свою задачу в Москве, мы отправились в Петербург, где и пробыли конец декабря 1878 и начало января 1879 года; оставаться дольше я не мог, будучи связан сроком открытия черниговского губернского земского собрания. Мне казалось достаточным для моей цели обратиться в редакции трех журналов в Петербурге: в «Вестник Европы», в «Отечественные Записки» и в газету «Молву», издававшуюся в то время В.А.Полетикой, газета которого была довольно распространена и отзывчива на всевозможные вопросы, волнующие общество.

Начали мы свое паломничество с «Молвы», прося назначить нам час, когда мы могли бы иметь беседу с редактором газеты. Очень скоро мы получили приглашение, быстроту

которого я имел основание приписать имени моей спутницы, так как мое имя ничего не могло говорить редактору большой петербургской газеты. Мы были приняты г. Полетикой чрезвычайно любезно; он встретил нас за две комнаты до своего кабинета, куда он сам проводил, причем меня несколько удивило то обстоятельство, что три двери, через которые мы проходили, он последовательно запирает на замок. Он, очевидно, предвидел, что беседа будет иметь весьма серьезный характер и не должна быть нарушена, ни появлением неожиданного лица, ни подслушана. Когда мы уселись в креслах его кабинета, я изложил ему сущность нашего желания, указал на невыносимость все усиливающейся террористической борьбы революционеров и правительства, на невозможность ни для общества, ни для печати оставаться равнодушными зрителями происходящего поединка и настаивал на необходимости вмешательства общественных элементов в эту борьбу, т.е. земства и печати, представляющих единственные организованные силы, пренебрегать которыми никакое правительство, при настоящих условиях, не может. Вот почему, закончил я, мы обращаемся к вам, как к руководителю очень влиятельной газеты, с просьбой поддержать общество в предстоящей борьбе.

Г. Полетика слушал меня внимательно и, когда я кончил свою речь, он выразил нам полное сочувствие, признавал всю опасность террора для страны, но в тоже время говорил о трудном положении печати и после многих соображений pro и contra, он самым неожиданным образом предложил нам принять участие в издательстве «Молвы». Само собою разумеется, что ничего подобного мы не могли ожидать, так как мы жили в 1500 верстах от Петербурга и не могли принимать личного участия в газете, посвящая себя деятельности совершенно другого рода. Эти соображения я изложил ему. Как только для

нас стало ясным, что г. Полетика хочет с нашей материальной помощью поправить дела своей газеты, мы поняли, что эта последняя забота почтенного издателя поглотит собой все другие интересы и цели и что всякий риск не соответствует его планам. Надежда на «Молву», таким образом, оказался несостоятельной.

Еще более любезен был Е.И.Утин, который принял меня по поручению редакции «Вестника Европы», и пригласил к обеду, во время которого происходила и беседа, составлявшая цель нашего свидания. Беседа эта была так же бесплодна, как и предыдущая с г. Полетикой, но все же она была гораздо более интересной, так как Е.И. Утин был живой собеседник, и его рассказы о петербургских течениях и событиях были для меня, провинциала, очень интересны.

Оставалась надежда на Н.К.Михайловского, ответившего на просьбу принять нас выражением желания провести вечер у А.С. в Европейской гостинице, где она жила. Нечего говорить, что мы провели очень оживленный вечер; беседа с таким умным и блестящим публицистом, каким был Николай Константинович, не могла не быть интересной. Наша петербургская встреча имела целью выяснить — может ли левое крыло нашей повременной печати, вообще, и, в частности, «Отечественные Записки», и особенно сам Николай Константинович поддержать земство в его предполагаемой борьбе с террором, как снизу, так и сверху, в том случае, если земство открыто и решительно выступит против террора и за конституцию?

После долгих обсуждений поставленного вопроса, после моих заявлений, что земство одинаково стоит против правительственного и революционного террора, считая такой способ борьбы опасным для государства и для народа; после того, когда я заявил, что мы стоим за самую демократическую конституцию, исключаящую всякое неравенство, уничтожаю-

щую всякие сословия — Николай Константинович поставил мне вопрос прямо: могу ли я принять на себя обязательство, что вся земля будет передана крестьянам?

На это я отвечал, что я могу способствовать этому всеми силами, но конечный результат не в моей власти, а во власти того конституционного собрания, которое одно может решить этот вопрос.

— «В таком случае,» возразил мне Николай Константинович, «народу наплевать на вашу помещичью конституцию. Когда народ возьмет власть в свои руки, он сам напишет свою конституцию, какой вы ему не дадите.»

По поводу этой беседы с Н.К.Михайловским я должен сказать несколько слов в защиту точности моей передачи его слов, заподозренной одним рецензентом, решительно не допускавшим даже возможности слов, вложенных мною в уста знаменитого публициста, к которому я всегда относился с полным уважением и, конечно, не позволил бы себе исказить его мысль в вопросе такой важности.

Лет 12 тому назад, вдова В.А.Гольцева, известного писателя и редактора журнала «Русская Мысль», Наталья Алексеевна Гольцева, в память своего мужа издала сборник, в котором, по ее просьбе, я написал воспоминания о моей попытке привлечь некоторые журналы и газеты к поддержке земских выступлений в пользу замены самодержавия конституцией. В числе лиц, к которым я обращался, был, как выше сказано, и Н.К.Михайловский, беседу с которым я изложил в кратких, но по существу совершенно точных словах. В своей статье я только смягчил одно выражение: в его фразе: «в таком случае, народу наплевать на вашу помещичью конституцию», оставляя его сущность, но не передавая его резкости. Рецензент журнала «Русское Богатство» на это выразил полную уверенность, что мне изменила память, так как Николай Константинович нико-

гда не был против конституции. Однако, позднее было фактически установлено, что Михайловский принимал участие в составлении письма народovolьцев к императору Александру III, и мне кажется, что этот факт разрешает вопрос о конституционных воззрениях Михайловского как раз в том смысле, которому вполне соответствует его ответ, данный мне: он не сомневается, что народ не примет помещичью конституцию, в которой не будет передачи ему земли, а напишет свою, народную конституцию, за которую он и подаст свой голос. Не забудем, что липецкий съезд народovolьцев происходил 16 июня 1879 года, т.е. менее чем через полгода после нашей беседы с Михайловским. Вероятно, в это время Михайловский уже имел сношения с народovolьцами, а он был не из тех людей, у которых десница делает одно, а шуйца делает другое. Поддерживая народovolьцев, он не мог протягивать одновременно руку конституционалистам, выступавшим против всякого террора, и в его ответе мне заключался весь смысл борьбы той группы, которой он помогал составлением письма Александру III, а может быть и иными способами, оставшимися нам неизвестными, но совершенно естественными в такой неравной борьбе, какую вели террористы с государством, вооруженным всеми средствами техники.

После выстрела Веры Засулич в ответ на безобразный поступок генерала Трепова, после нескольких крупных вооруженных сопротивлений революционеров, после убийства шефа жандармов, ге-нерала Мезенцева, в Петербурге и жандармского офицера барона Гейкинга в Киеве, выполненных с необыкновенной смелостью, революционное настроение некоторых общественных кругов явно сложилось в пользу террористов и против конституционалистов, вмешательство которых в поединки революционеров с правительством представлялось им

несвоевременным и опасным для дела освобождения России от самодержавия.

Беспорно, самодержавное правительство с необыкновенной последовательностью и слепотой противодействовало всякой тени легальной борьбы против власти и ее произвола, и создало убеждение, что с русским правительством легальная борьба невозможна и безуспешна, и что единственным выходом из этого исторического тупика может быть путь революционной борьбы, противодействие которой, так думалось в некоторых кругах, может быть полезно только застою и усилению власти.

Мы, конституционисты того времени, напротив, мало верили в успех террористов, так как знали, что они не опирались ни на страну, ни на какую-либо достаточно сильную партию, которая могла бы оказать им значительную поддержку. Равнодушные, с которым народные массы встречали известия о казнях террористов, свидетельствовало, что народ не принимал никакого участия в героической борьбе небольшой кучки людей с правительством, силу которого они чувствовали на себе каждую минуту. Я не думаю, что, редактируя после убийства императора Александра II письмо исполнительного комитета террористов императору Александру III-му, Михайловский верил в окончательный успех революции: он не мог не знать, что большинство участников первого марта обнаружено и захвачено, что их ожидает смертная казнь, и что пополнение убыли террористов потребует очень много времени; к тому же огромное большинство населения было не только испугано, но и озлоблено против них.

Перед открытием отстроченной очередной сессии 1878 г. черниговского губернского земского собрания, в январе 1879 г, мы с А.Ф.Линдфорсом сделали нашей группе сообщение о харьковском юбилее и изложили темы, которые мы развивали

в наших речах по поводу внутреннего положения нашей страны и необходимости для земства, как единственного органа общественного мнения, изменить свою выжидательную позицию и перейти на новую — активную почву, повод к чему создало само правительство своим обращением 20 августа к обществу. Мы выразили сожаление, что почин в этом деле ускользнул из рук черниговского земства, которое, надо надеяться, с большей ясностью и определенностью выскажет то, на что Россия имеет право рассчитывать и в чем отказывает правительство своей стране. Ибо при данных условиях, когда правительство само опирается исключительно на террор, земство не может ни одобрить его действий, ни, тем более, следовать за правительством в его борьбе с террором.

Решение, принятое нашей группой, составлявшей численное большинство в губернском земском собрании, предрешало решение и последнего. Поэтому группа обсудила и тут же установила порядок внесения вопроса на обсуждение собрания, передачу ответа в комиссию, выбор комиссии и докладчика. Все это было выполнено в точности; комиссия была избрана по нашему списку, избрала меня своим докладчиком и назначила день, когда она рассмотрит доклад.

В основу своего доклада я принял, во-первых, правительственное обращение к обществу о содействии ему в борьбе с революционными эксцессами, напечатанное в Правительственном Вестнике 1878 г., в № 168); во-вторых, обращение императора Александра II 20 ноября 1878 г. в Москве к представителям сословий со следующими словами: «Я надеюсь на ваше содействие, чтобы остановить заблуждающуюся молодежь на том пагубном пути, на который люди неблагонадежные стараются ее завлечь»; и, наконец, в-третьих, всем известные террористические акты революционеров и беспощадные казни совершенные правительством. Этого материала

было более чем достаточно для обоснования нашего категорического заявления, что земство не может следовать по пути, на который правительство и сам Государь приглашали общество. У меня нет под руками составленного мною адреса, который напечатан в книге г. Белоконского («Земское движение»), и я ограничусь лишь изложением его сущности. Государь в своем московском обращении к сословиям указал на «необходимость остановить заблуждающуюся молодежь на том пагубном пути, на который люди неблагонадежные стараются ее завлечь», а между тем едва ли можно было даже сравнивать влияние на молодежь «неблагонадежных людей» с влиянием того ядовитого источника, который отравлял молодежь созданной гр. Д.А.Толстым, министром народного просвещения, системой, растлевавшей или иссушавшей самую душу учащегося юношества и ежегодно выбрасывавшей на улицу более 6 тысяч молодых людей, озлобленных против общества и государства. Эта система касалась не только средней и высшей школы, но и низшая народная школа была взята под подозрение и была лишь терпима, как неизбежное зло, требовавшее суровых мер против проникновения в народную школу «излишних» знаний. Никакая борьба мнений невозможна там, где не допускается свобода слова и печати, ибо это самое могущественное орудие общественного мнения, без которого современное государство не может существовать. Точно также не может существовать современное государство и необходимый порядок в стране там, где произвол власти не знает никаких пределов: он убивает в корне чувство законности в гражданах, т.е. моральный авторитет власти, составляющий ее главную силу. Исходя из этих положений, я предлагал заявить правительству от имени черниговского губернского земского собрания, что русское общество, не обладая в законе никакими гарантиями, лишенное возможности опираться на общественное мнение, которого

не существует в нашей стране, и не замечая у правительства желания утвердить свой авторитет на моральной основе, — бессильно оказать правительству какое-либо содействие в его борьбе с террористами.

В назначенное время в заседание комиссии явились не только члены её, но и все гласные, кроме одного или двух, так что фактически ее заседание превратилось в заседание собрания. Прочитанный мною доклад, получивший известность под именем «Черниговского адреса», был встречен общим сочувствием и одобрением. Ни один голос не раздался против; все были согласны, что на призыв правительства земство не может не отвечать, а отвечать должно только с полной откровенностью отказом, так как требуемого содействия земство оказать не может. Таким образом, мы имели полное основание считать, что адрес принят, хотя еще не формально, но фактически.

Когда я передал свою рукопись председателю управы для переписки набело, с неё было сделано множество копий, которые в ту же ночь распространялись в городе и даже покупались публикой, с нетерпением ждавшей ответа земского собрания. Само собою разумеется, что этот факт стал тотчас известным администрации и встревожил местные власти, заранее решившие, вместе с председателем земского собрания, губернским предводителем дворянства, Неплюевым, не допускать чтения доклада в собрании, а в случае нужды закрыть собрание.

Когда мы пришли в зал, он был уже переполнен публикой, в настроении которой, как и среди гласных, пришедших ранее, чувствовалось некоторое беспокойство и напряженность в виду присутствия в зале среди публики и в соседних комнатах чинов полиции и жандармерии.

Как только открыли заседание, я объявил, что поручение собрания, возложенное на комиссию, исполнено, что доклад

последней готов и что в качестве докладчика комиссии я приступаю к его чтению.

Председатель прервал меня заявлением, что прежде чем допустить чтение доклада, он должен познакомиться с его содержанием, а потому просит передать доклад ему для ознакомления.

Собрание заволновалось, раздались требования приступить к чтению доклада. Я с своей стороны, видя уловку Неплюева, заявил, что его требование лишено законного основания и принятого в собрании порядка, что председателю не предоставлена цензура докладов комиссий, а равно право изменять своею властью установленный собранием порядок, тем более, что вопрос уже обсуждался в собрании и был передан в комиссию для разработки; что доклад поставлен в порядке дня и что я буду читать.

Но как только я приступил к чтению, председатель стал неистово звонить в колокольчик, так как я не прекращал чтения. Наконец, он бросил колокольчик, объявив, что прерывает заседание, и направился в свой кабинет. Я остался на своем месте. Волнение в зале было всеобщим.

Спустя несколько минут, Неплюев вернулся на свое место. Я снова стал читать свой доклад с того места, на котором был прерван. Неплюев, видимо ожидавший этого, встал и провозгласив торопливо: «закрываю заседание!» быстро направился в свое помещение, находившееся рядом с залой, и оттуда сделал распоряжение полиции очистить залу от гласных и публики.

Группа гласных отправилась в управу, чтобы обсудить положение и составить протест против насилия, совершенного председателем с помощью жандармов и полиции над губернским земским собранием. Большинство гласных, собравшихся в управе, высказалось за подачу жалобы в Сенат, как за един-

ственное легальное средство борьбы против произвола председателя собрания, администрации и правительства. Мы все пришли к заключению, что для защиты даже тех малых прав, которые имеют русские люди, нет других способов, кроме насильственных, что правительство своими насильническими приемами управления логически приводит бессильное общество также к единственному средству слабых к — террору.

Любопытна дальнейшая история поданной нами в Сенат жалобы. Ответ Сената на эту жалобу мне, как одному из подписавших ее, был сообщен через полицию, когда я находился в ссылке в г. Варнавине, Костромской губернии. Сенат признал действия Неплюева лишенными законного основания, а потому и подлежащими отмене, если бы этим путем могло быть восстановлено нарушенное право. Но так как восстановление такого права фактически уже невозможно, то жалоба оставляется без последствий. Я цитирую решение Сената по памяти, но сущность его аргументации была именно такова. Сенат, как будто; забыл, что его решения служат руководящим элементом толкования законов, и признание действий председателя собрания неправильными могло бы в будущем оказывать сдерживающее влияние на председателей, слишком склонных угождать администрации и её, часто совершенно незаконным, требованиям.

После моей ссылки возник вопрос о моем праве оставаться гласным уездного и губернского земства. Конечно, вопрос был возбужден губернской администрацией при деятельном участии господ Рачинских, Псёлов, Ждановичей⁶ и прочих местных столпов старого режима. Однако, большинство гу-

6 Имена помещиков Черниговской губернии, участвовавших в земском собрании.

бернского земского собрания решительно стало на мою сторону, доказывая, что я сослан не по суду, а по распоряжению администрации и во всякое время поэтому могу быть освобожден без всяких последствий и ограничения моих прав, т.е. что я могу снова занять свое место, которое должно оставаться свободным до конца избирательного трехлетия. Такое постановление земского собрания было опротестовано губернатором в Сенат и протест, по всей вероятности, попал в другое отделение первого Департамента, с более приличным составом, который признал постановление губернского земского собрания совершенно правильным, и протест губернатора оставил без последствий.

По этому поводу известный публицист Катков в своих «Московских Ведомостях» разразился громовой статьей против Сената, обвиняя его в субверсивных идеях и в покровительстве «каторжникам». Можно представить себе, какой переполох в Сенате произвело обвинение его Катковым, пользовавшимся огромным влиянием в правительственных сферах.

Однако, я чувствовал невозможность закончить черниговское выступление земства только подачей жалобы в Сенат. Чтобы сколько-нибудь пополнить этот пробел, я написал брошюру под заглавием «Очередные задачи земства», имея в виду напечатать ее за границей и распространить в возможно широких кругах. Я аргументировал ее теми же соображениями, которые приводил и в своей харьковской речи, и в комиссии черниговского земства по составлению ответа на призыв правительства, и формулировал в качестве определенной платформы необходимость достижения трех задач: свободы слова и печати, гарантии личности и созыва учредительного собрания.

Последнее требование не обсуждалось ни в Харькове, ни в Чернигове, но после черниговского опыта нельзя было сомне-

ваться, что правительство органически неспособно в чем-либо ограничить себя и октроировать конституцию, пока не будет вынуждено к тому силою вещей. Оно всегда было склонно отказываться от данных обещаний. Более поздним ярким примером этого может служить торжественно данное обещание императором Николаем II в манифесте 17 октября 1905 г. издавать законы не иначе, как с согласия Государственной Думы и Государственного Совета, и немедленно последовавшее нарушение этого обещания изданием «Основных законов Империи» накануне открытия Государственной Думы в 1906 г. Эта неспособность самодержавия честно выполнять принятые им перед народом обязательства и привела меня к убеждению, что только учредительное собрание может оберечь страну от таких обещаний, которые гораздо легче берутся назад, чем даются.

Печатание этой брошюры взял на себя К.Ф.Волков, предполагая сделать это в Львове, в Галиции. Однако, судьба ее была совершенно неожиданная. Австрийская полиция произвела обыск в типографии, разыскивая не мою брошюру, которая не имела никакого касательства к австрийским делам, но вместе с другим материалом забрала и ее. Мне было сообщено об этом, когда я был уже в ссылке и не мог предпринять второго издания. Казалось, брошюра исчезла окончательно. Однако, какой-то единственный экземпляр ее уцелел и был доставлен М.П.Драгоманову, издававшему в Женеве «Вольное Слово». Драгоманов напечатал ее в 1883 г. в № 56-м и, как видно, заинтересовавшись некоторыми идеями, изложенными в ней, дал о ней благоприятный отзыв и пришел к заключению, что «во всяком случае она не могла исходить из земской среды.» Очевидно, М.П. Драгоманов, оставаясь безвыездно за границей в качестве эмигранта в течение уже многих лет, не был осве-

домлен о том движении, которое стало заметно в земстве только с 1877-8 годов.

В 1911 году, проживая в Швейцарии, я получил от покойного В.Я.Богучарского-Яковлева письмо с просьбой прочесть присылаемую им статью, возбудившую в нем большой интерес, и сообщить ему, если мне что-нибудь известно о ней. К письму был приложен и № «Вольного Слова». Читая статью, я, конечно, с первой строки узнал в ней свою собственную брошюру, безвременно погибшую в недрах австрийской полиции. Моя жена, переписывавшая ее набело в феврале 1879 года, подтвердила, что не сомневается, что именно эту брошюру она переписывала. Свое открытие я сообщил Богучарскому и рассказал ему все обстоятельства написания брошюры и ее исчезновения. Василий Яковлевич, как он мне писал, заинтересовался вопросом приоритета идеи учредительного собрания, находя, что я первым провозгласил эту идею, как единственную гарантию действительного народоправства. Я отвечал ему, что лично я равнодушен к такому приоритету и охотно уступаю его тому, кто проведет эту идею в жизнь. Но в своей последней книге, посвященной революционному движению в России, он все-таки оставил приоритет за мной.

Но погибшей брошюре моей посчастливилось ожить еще раз. По желанию кн. Д.И.Шаховского моя статья была перепечатана в Юбилейном Сборнике в память 50-летия земства в 1914 году. К сожалению, у меня нет ни Сборника, в котором она помещена, ни «Вольного Слова», так что не могу ее подробно изложить еще раз в своих воспоминаниях, чтобы поддержать ее бессмертие, или, говоря скромнее, ее несклонность умереть.

После насильственного закрытия январского земского собрания 1879 г., гласные вернулись к своим пенатам совершенно благополучно, не подвергаясь никаким преследованиям. В

марте месяце, как я уже упоминал раньше, был назначен в Москве первый опыт съезда гласных разных губерний, и, хотя неудача черниговского земства несколько охлаждала наши надежды, тем не менее мы с Линдфорсом отправились в Москву и прежде всего заявили у М.М. Ковалевского, который по-видимому забыл о своем обещании разыскать и устроить место для съезда. А между тем, мы узнали, что некоторые лица уже прибыли на съезд. Мы поспешили к В.А.Гольцеву, который тоже не позаботился об этом раньше, хотя знал рассеянность своего собрата по университету, но, узнав о нашем положении, с большой энергией взялся за розыск помещения, так что уже на другой день мы могли собраться на углу Кречетниковского и Дурновского пер. в доме кн. Крапоткина, мирового судьи. Собралось, сверх нашего ожидания, человек около 30-ти земцев разных губерний, более всего от Тверской губернии, где общественный дух уже свил себе прочное гнездо. Из тверитян здесь были: два брата Бакунины, — Павел и Александр Александровичи, — мой брат Михаил Ильич, Тимофей Николаевич Повало-Швейковский (предводитель дворянства Новоторжского уезда), Вас. Ник. Линд. Все они ныне уже покойники... Было несколько москвичей, но фамилии их, равно как и представителей других губерний, все незнакомых нам людей, за давностью времени не помню. Как только все приехавшие собрались, мы с Линдфорсом сделали подробный доклад, как о юбилее в Харькове, так и о черниговском собрании, столь неблагоприятно законченном. Относительно переговоров с террористами мы ограничились самыми общими местами; мы не могли быть уверены, что нас не заподозрят в чрезмерной близости к столь опасным сотрудникам. После нашего доклада обсудили вопрос о постоянной организации в среде земских гласных в виду неизбежной борьбы с правительством за конституцию и против террора. Московский съезд

этим и закончился, и мы вместе со всеми тверитянами отправились в Тверь, чтобы провести несколько дней у брата Михаила Ильича и у Бакуниных, которые звали меня к себе.

В Твери мы пробыли недолго, так как мой судейский отпуск приходил к концу, и 3 апреля 1897 года, очень рано утром, мы отправились на вокзал, чтобы продолжать наше путешествие — я в Плиску, а Бакунины и другие Новоторы к себе в Торжок. Едва только мы появились на вокзале, как заметили какую-то суету и большое собрание полиции и жандармерии. Тут же узнали, что накануне, 2 апреля, во время прогулки императора Александра II, какой-то Соловьев совершил покушение на жизнь императора, к счастью окончившееся благополучно: император не был ранен. Преступник, совершивший покушение, арестован.

Никто из нас не сомневался, что начинается новый взрыв террора сверху и снизу. Под этим тяжелым впечатлением я расстался с моими тверскими друзьями.

Глава VI

Арест и ссылка — Москва — Кострома — Поселение в Варнавине — Общество — Приезд А.С.Паниной — Приезд Савича и брата — Мошинский — Павлюк — Ловля Гартмана — Увольнение исправника — Разрешение избрать местожительство: Ярославль, Владимир или Смоленск — Покидаю Варнавин

27 апреля 1879 года, с утра, я находился в своей судейской камере, где разбирал дела. В полдень был сделан перерыв для обеда, и, закончив подготовку оставшихся для разбора дел, около часа пополудни я отправился к себе в дом, где никого не было, так как вся моя семья находилась в Киеве, а отец и мать, переехавшие из Полтавы после отставки отца в Плиску, занимали особый флигель. Случайно была в этот день, приехавшая из Киева воспитательница моих детей, Каролина Ивановна Лукас, бывшая другом нашего дома. Войдя в свой кабинет окна, которого выходили на дорогу, ведущую от железнодорожной станции в г. Борзну, я увидел едущих борзенского исправника и четырех жандармов. Я остановился на минуту, соображая, куда эта группа направится и увидел, что они повернули в мою усадьбу. Не оставалось сомнения, что это мои гости. Через несколько минут ко мне в кабинет вошел исправник, кажется, по фамилии Лопатин, отставной офицер, перешедший на службу в полицию из армии. С ним было два жандарма, ставших у двери; двух других я увидел на веранде у дверей, закрытых, но ведущих в кабинет с веранды. С бумагой в руке исправник объявил мне, что по предписанию, подписанному министром внутренних дел (Маковым) и шефом жандармов (Дрентельном), он должен меня арестовать и немедленно отправить в сопровождении двух жандармов...

— Куда? перебил я его.

— Вы узнаете это на месте, так как мне это неизвестно.

Я указал ему на мою судебскую неприкосновенность, требующую для моего ареста постановления суда.

На это он возразил, что не может входить в обсуждение этого вопроса, так как он обязан выполнить распоряжение министра.

Я объяснил ему, что на моих руках, как мирового судьи, находятся разного рода документы: духовные завещания, договоры, обязательства и деньги, которые я могу передать только представителю мирового съезда и пошлю за непременно членом сейчас же экипаж.

— Я имею приказание выслать вас с первым поездом, отходящим приблизительно через два часа и могу предоставить в ваше распоряжение время только до этого первого сходящего поезда, не более.

Очевидно, дать знать в Борзну моему другу и товарищу В.А.Савичу не удастся до моего отъезда.

— В таком случае вы берете на себя всю ответственность за целостность денег и документов, находящихся в моей камере, и за передачу их непременно члену съезда В.А.Савичу.

— Все это я исполню, отвечал исправник, и приму соответственные меры.

Я стал, собирать свои вещи, бумаги и сказал, что должен проститься с моим отцом и матерью, а также с г жей Лукас. Пока происходили эти переговоры, мать и отец пришли из флигеля в дом, очень встревоженные, и вместе с Каролиной Ивановной сидели в комнате, отделенной от нас только гостиной, так что слышали весь наш разговор. Я направился к ним беспрепятственно и старался успокоить моих бедных стариков, крайне испуганных тем, что я не мог сказать им, куда меня везут. Каролину Ивановну я попросил немедленно съездить к

Анастасии Сергеевне, устроившейся на лето верстах в 20 от Плиски, в Нежинском уезде, в усадьбе — Переяславке, принадлежащей г же Глебовой и нанятой на все лето, и сообщить ей о происшедшем, а затем ехать в Киев, уведомить семью.

Пока все это происходило, время приближалось к отъезду. Я приказал подать лошадей и, простившись еще раз со всеми, сел в карету, рядом со мною сел исправник, а за ним едва влез жандарм; другой жандарм сел рядом с кучером на козлы и мы тронулись на вокзал железной дороги.

Наша усадьба расположена в 1 версте от станции, куда приходится проехать значительную часть села. Вероятно, население с большим удивлением смотрело на свиту, сопровождавшую меня, и недоумевало, что случилось. На станционном перроне, где всегда толпится народ, тоже все смотрели с полным недоумением на меня, окруженного таким эскортом. Скоро пришел из Киева поезд, мне предложили войти в вагон 2 класса, где было занято для меня 4 места, на двух диванчиках. Один диванчик занял я, против меня поместились оба жандарма и поезд тронулся на Курск.

Оставшись с моими двумя молчаливыми спутниками, я стал размышлять о происшедшем.

Хотя полное неуважение к закону и произвол власти составляли отличительную черту нашего государственного управления, хотя я никогда не разделял официального учения наших законовевов, что Российская Держава управляется на точном основании законов и тем будто бы отличается от азиатских деспотий, которые управляются самовластной волей своих деспотов, но в то же время в глубине моего сознания все-таки таилась мысль, что постепенно, шаг за шагом, мы подвигаемся вперед к завоеванию права и усвоаем взгляды и привычки европейских конституционных народов и государств. Мне казалось, что именно судебной реформой сделан в этом

направлении большой шаг и что, будучи уже 10 лет мировым судьей, лично я обеспечен в своей несменяемости без суда, как судья. И вдруг все это оказалось иллюзией, рассеявшейся как дым и выходило, что все мы не граждане, имеющие определенные законом права, а обыватели и что, по надобности, никакой закон не защищает нас от произвола власти. Я размышлял: куда меня везут? Если в Петербург, значит в Петропавловскую крепость; если в Москву — значит куда-нибудь в ссылку, на Восток, пределы которого у Тихого океана.

Ночью поезд остановился в Курске. Не говоря ни слова моим спутникам, я встал и направился на вокзал. Оба жандарма пошли за мною. Я сел за стол, жандармы поместились — один за моей спиной, другой против меня по другой стороне стола. Я убедился, что меня охраняют очень тщательно и что мне не удастся бросить письмо в ящик, если я напишу его, когда аргусы уснут. Выезжая, я захватил с собою почтовой бумаги и несколько конвертов. Проснулся я очень рано утром. Против меня сидел один жандарм и дремал, а другой отсутствовал. Но как только я зашевелился, мой страж проснулся и посмотрел на меня довольно приветливо. Заметив это, я спросил его: куда мы едем? Он добродушно ответил — в Кострому, но тотчас спохватился и сказал: «не говорите товарищу, что я сказал; это не полагается.» Я ответил, что не скажу, и тотчас решил, что надо воспользоваться этим сведением, чтобы уведомить, куда я еду. Я принял позу человека, желающего спать, покрылся пледом и лег на спину. В боковом кармане у меня были бумага и конверт, и я стал ждать момента, когда могу писать. Ждать пришлось долго, но все же мои аргусы утомились и успокоились, когда я взял в руки книгу и сделал вид, что читаю. Один из них вышел покурить, другой стал клевать носом, и я воспользовался минутой, чтобы, держа на книге бумагу написать только два слова: еду в Кострому. Затем

опять долгое ожидание, пока можно было эту бумажку вложить в конверт, на котором марка была наклеена еще до отъезда. И это удалось. Тогда я решил выйти на первой же большой станции под предлогом размят ноги, а, в действительности, чтобы бросить письмо в почтовый ящик. Но это мне не удалось: оба жандарма ходили за мной по пятам, и я вернулся в вагон с письмом в кармане. Я продолжал обдумывать, как бросить письмо, и мне пришла в голову мысль выйти на станции Тула в буфет и тут как-нибудь бросить письмо. Как только поезд подошел к вокзалу, я заявил, что хочу есть и пойду на вокзал. Жандармы не препятствовали, и мы, все трое, вошли в буфет; я сел на краю стола и заказал какое-то блюдо. Оба жандарма поместились за мною, но через минуту из двух остался только один. Рядом со мною сидел молодой человек очень симпатичной наружности, и мне тотчас пришла мысль передать ему письмо и попросить его бросить в ящик. Пользуясь шумом вокруг нас, я тихо обратился к соседу:

— Вы видите, что я еду с аргусами, прошу вас бросить письмо в почтовый ящик. И вместе с этими словами я подвинул под салфеткой конверт.

Молодой человек мгновенно вскочил и исчез в толпе; письмо осталось под салфеткой. Я едва успел спрятать его в карман. Мне было и больно, и досадно, что я так глупо попался и обнаружил всю свою неопытность в конспирации, и я решил, что уведомя из Костромы, в чем вероятно не встречу препятствий.

В Москву поезд пришел утром, и как только мы остановились у перрона, я увидел перед нашим вагоном семерых жандармов и офицера. У выходных дверей из вагона выстроились в две шеренги по три жандарма в каждой и замыкал их толстый пожилой вахмистр с огромной медалью на шее, а у самых дверей вагона стоял жандармский офицер. Встреча, как видите,

была весьма торжественной, которой я и не ожидал и ни в какой мере не заслуживал. Но жандармская психология имеет свои правила для преступников разных рангов и оказывает почет соответственно рангу своей жертвы. «Пожалуйте», строго сказал офицер, как только я появился у дверей, и мы вместе, рядом прошли между двух рядов жандармов, а впереди нас шел вахмистр с медалью на шее. Мы быстро прошли через вокзал, у подъезда которого стояла карета. Я сел в нее, за мною сел в нее офицер и один из жандармов, сопровождавших меня от Плиски, другой поместился с вещами на козлах. Как только все мы уселись, офицер опустил в карете шторы, и мы поехали, но куда и по каким улицам — я не знал и не мог догадаться. Наконец, мы въехали во двор и остановились у какого-то здания с решетками в окнах. Меня повели по лестнице, кажется, на третий этаж, ввели в какой-то карцер, отперли двери, и я вошел в маленькую и вонючую комнату с кроватью, столом и стулом. Офицер не произнес ни одного слова и вышел. Дверь заперли. Очевидно, я в тюрьме, но в какой? С точки зрения топографии я совсем не знал Москвы и не мог ориентироваться, так как меня провезли, можно сказать, с завязанными глазами. Спустя некоторое время открылась дверь и в мою камеру внесли мои вещи, по-видимому, без всякого осмотра. Я обратился к вошедшему с вопросом, где я нахожусь? Он очень просто ответил: в Басманной части.

В течение всего дня я просидел в этой отвратительной грязной комнате, с грязной кроватью и скверным воздухом, занимаясь чтением всевозможных надписей, сделанных карандашом, ножом или гвоздем на стенах. Хотя я провел в этом помещении весь день, но никто не подумал накормить меня, или предложить хотя бы купить хлеба. Только вечером тем же порядком, в сопровождении жандармского офицера и моих

прежних спутников от Плиски, я был доставлен на Ярославский вокзал для дальнейшего следования в Кострому.

Утром мы уже были в Ярославле и проехали прямо на пристань на Волге, чтобы следовать в Кострому пароходом, так как железной дороги от Ярославля в Кострому еще не было. Утро было великолепное, теплое, весеннее; пароход «Кокериль» был большой и прекрасный. Меня провели на палубу 1-го класса и жандармы не препятствовали мне оставаться на палубе. Волга, великолепное утро, новый край, все действовало возбуждающе и привлекало внимание. Я как бы забыл о своем новом положении, чувство радости охватило меня и я не замечал, что вокруг меня образовалась пустота; публика, которой на пароходе было много, держалась подальше от меня. Я скоро понял смысл этой пустоты, отошел в сторону, где стояла скамейка, и сел. Присутствие моих голубых спутников, видимо, стесняло публику. Тем не менее на скамью, где я сидел в одиночестве, когда пароход тронулся в путь, ко мне подсел пожилой господин чрезвычайно симпатичной наружности, с ясным открытым взглядом, крупный, плотный, с манерой, внушающей симпатию. Видимо, он совершенно игнорировал моих спутников.

— Едете в сопровождении архистратигов? обратился он ко мне. Я ответил утвердительно.

— А откуда и по какому случаю?

Мы разговорились, и чем более мы беседовали, тем более он возбуждал во мне симпатию. Я рассказал ему, кто я и по какому случаю я арестован и отправлен в Кострому. Затем упомянул, что увезен жандармами из дому в отсутствие семьи, которая не знает, куда меня увезли. При этом я рассказал, какую неудачу я потерпел в Туле, обратившись к молодому человеку с просьбой бросить письмо в почтовый ящик.

— Ах, он свинья! Давайте мне ваше письмо, если оно у вас: даю вам слово, что вот сейчас мы придем в Усолье, где я живу, я тотчас же отправлю письмо.

Простота и участие, которые он проявил к моему положению, были лучом солнца и тепла в эту минуту для меня. К сожалению, он не сказал мне своего имени, а я не спросил его, не решился спросить, так как сам он не назвал себя, но я до сих пор, спустя сорок лет, помню этого доброго и независимого человека. Я тут же, сидя с ним на скамье, написал несколько строк и передал ему.

Письмо дошло по адресу и было получено. Впоследствии я узнал, что и помещение меня на пароходе в 1 классе и более деликатный надзор моих аргусов на пароходе был следствием того, что жандармский полковник в Твери, П.А.Есипов, теперь уже давно умерший, будучи знаком с Бакуниным и моим братом, сообщил последнему о моей ссылке, о которой получил служебное уведомление и, по просьбе брата, написал в Ярославль местному жандармскому полковнику, своему приятелю, чтобы отправили меня в Кострому возможно удобнее. Позднее и мне пришлось познакомиться в Смоленске с этим странным жандармским полковником прежнего времени, уверенного, что жандармский корпус образован был императором Николаем I, чтобы «утирать слезы обиженным», причем несколько раз повторял мне легенду о Николае, о Бенкендорфе и носовом платке.

В Кострому мы прибыли уже вечером и, верные инструкции, жандармы повезли меня прямо в дом губернатора. Появление мое в ярко освещенном вестибюле губернаторского дома в сопровождении двух жандармов произвело необыкновенную сенсацию. Губернатор давал в этот вечер у себя бал, и должен был как раз в это время начаться съезд гостей, в число которых я приглашен не был. Кто-то бросился наверх доложить губер-

натору о появлении неожиданного гостя; через минуту на лестнице показался сам губернатор и приказал старшему жандарму отвезти меня к полицеймейстеру. Мы поехали. В управлении полицеймейстера тоже не оказалось; какой-то чин, однако, выдал жандарму расписку в принятии меня и объявил, что я могу оставаться в канцелярии до возвращения полицеймейстера, от которого зависят дальнейшие распоряжения. Мои вещи внесли в комнату дежурного, где и мне предложили ждать. В комнате стоял узкий и твердый диванчик, обитый клеенкой, стол и два-три стула. Никого в комнате не было, и я остался ждать. Ждал довольно долго. Появился дежурный, должно быть, околоточный и тотчас улегся на диванчике. Я обратился к нему с вопросом, когда же полицеймейстер сделает распоряжение относительно меня? Полицейский чин с полной небрежностью отвечал, что полицеймейстер на балу у губернатора и раньше утра не вернется.

— Как же мне быть, не сидеть же мне на этом стуле всю ночь?

— Как знаете; хотите лечь, — отправляйтесь в отделение, куда приводят ночью пьяных для вытрезвления; там имеются нары, только там будет беспокойно. Как хотите. — И он повернулся лицом к стене, давая понять, что разговор продолжать не намерен.

Делать нечего, оставалось сидеть на стуле всю ночь, которую пришлось провести не особенно удобно. Однако, рано утром сторож согласился принести мне воды, чтобы умыться, что значительно освежило меня. Часов около 8 утра на смену дежурного появился новый околоточный, черномазый, с лицом не особенно привлекательным. Подобно своему предшественнику он улегся на тот же диван и стал с любопытством осматривать меня и, вероятно, чтобы показать свою власть, взял тут

же со стола, стоявшего у диванчика, пачку каких-то писем и стал их вскрывать, потом громко читать.

Мне показалось это противным, и я спросил его, зачем он читает громко то, что мне не надо знать?

— А затем, что это письмо поднадзорного Берви и я желаю знать, что он пишет.

— Я не мешаю вам читать, но читайте про себя, я ведь не принадлежу к чинам полиции и мне не для чего читать чужие письма.

Он ничего не отвечал, повертел письмо в руках, потом положил его на стол и стал плевать в стену, которая была перед ним, притом плевать как-то особенно, целясь в определенное место.

Приятно сидеть в комнате, стены которой оплевываются дежурными чинами! Но физиономия этого господина показалась мне довольно добродушной, и я обратился к нему с таким вопросом:

— Скажите, не мог ли бы я отправить телеграмму о своем прибытии сюда моему брату? При этом я вынул десятирублевую бумажку так, чтобы он мог ее видеть.

Он мгновенно вскочил с дивана и принес мне бумаги, перо и чернильницу, заявляя, что немедленно исполнит мое поручение. И действительно, он очень быстро возвратился и принес мне сдачу и телеграфную квитанцию. Сдачу я оставил ему, что очень расположило его в мою пользу. Он стал расспрашивать меня, откуда меня привезли и зачем, и в конце концов объявил, что сейчас, как встанет господин полицеймейстер, он доложит ему обо мне и надеется, что мне разрешать переехать в гостиницу, так как «не в острог же меня сажать». Я не очень рассчитывал на обещание этого странного плевательного спортсмена и был несказанно удивлен, когда часа че- раз

два после этого разговора, он явился ко мне и с торжеством объявил, что полицеймейстер поехал с докладом к губернатору и доложит ему обо мне. И действительно, в тот же день тот же околоточный перевез меня с вещами в гостиницу, в коридоре которой был поставлен городской. В этой гостинице под домашним арестом я прожил более 10 дней в ожидании брата. Сюда же вместе с братом приехала ко мне и Анастасия Сергеевна.

В течение этого времени я получил распоряжение костромского губернатора о назначении местом моего жительства города Варнавина, где я должен был находиться под гласным надзором полиции. Срок моего отъезда из Костромы тут же был назначен, причем был установлен и маршрут: из Костромы до г. Юрьевца по Волге на пароходе, затем по реке Унже до Макарьева, откуда на почтовых в Варнавин. Покойный брат мой, Михаил Ильич, пожелал проводить меня до Варнавина, и мы выехали вместе опять в сопровождении двух жандармов — одного, сухого и злобного, другого более молодого, но старшего по чину унтера, очень добродушного и снисходительного. Путешествие по Волге и Унже в средних числах мая было очень приятно даже в том настроении, в каком нам приходилось ехать, хотя пароходик по Унже был маленький и очень неудобный. Притом на пароходе ехал некий г. Крепыш, тесть Агренева-Славянского, как он рекомендовался нам, занявший со своей семьей все места, на которых можно было устроиться, так что нам оставалась только палуба, где мы и проводили все время. В Макарьеве мы не останавливались и взяли две почтовых тройки — одну для меня с архистратигом, другую для брата. Но мы с братом предложили ехать так, что на одной телеге буду ехать я с братом, на другой — жандармы. Сначала суровый жандарм запротестовал, но скоро сдался, и мы тронулись в двух телегах через так называемый Шестиде-

сятный волок, глухой и дремучий лес, отделяющий Унжу от Ветлуги. Лес тянулся непрерывно и только посредине была одна почтовая станция. И брат и я очень устали, так как, благодаря Крепышу, крайне несимпатичному местному крепостнику, мы во все путешествие по Унже почти не отдыхали, поэтому решили ночевать на этой станции. Строгий жандарм и тут запротестовал, так как остановка и ночлег по инструкции не указаны, но другой жандарм принял нашу сторону и было решено ночевать. Надо сказать, что если бы мы желали скрыться, то здесь было бы это вполне возможно. Жандармы спали, как мертвые, они тоже устали, а кругом — бесконечный лес. Потом мне рассказывал варнавинский исправник, что дочь одной местной богатой помещицы, кажется, по фамилии Сицкой, именно здесь, на этой станции бежала от сопровождавших ее жандармов и добралась до Франции. Мы бежать не собирались и отдохнув двинулись дальше. Проехав лес, мы выехали к высокому берегу (правому) Ветлуги, вдоль которой расположены почти все поселения Варнавинского уезда.

Вот и Варнавин. Подъехали к единственному каменному двухэтажному дому, где помещались казначейство и полицейское управление. Исправник Рябков принял меня от жандармов, выдал им соответствующую расписку, и предоставил мне поселиться, где мне угодно в пределах г. Варнавина.

Город Варнавин был избран моим местопребыванием, вероятно, потому, что этот самый захудалый из уездных городов Костромской губернии и раньше был местом ссылки. Я застал здесь целое кладбище польских ксендзов, высланных сюда во время польского восстания в шестидесятых годах. Из сорока ксендзов я еще застал двух стариков, появлявшихся на улице всегда вместе. Здесь же был ссыльный поляк, взятый с оружи-

ем в руках, отбывший в Сибири каторгу и поселение и получивший по манифесту право вернуться на родину, но задержанный в Варнавине, лесничий с высшим образованием, Мошинский, с которым я очень скоро сошелся и подружился. Наконец, тут же был в ссылке крестьянин Люблинской губернии униат, Павлюк, сосланный за отказ присоединиться к православию и за погребение своего умершего ребенка без священника.

Избирая для моего пребывания г. Варнавин, губернатор вероятно думал, что это самое подходящее для земского человека место, так как никаких «идей» в этом захолустье и слыхом не слыхать, да и надзор будет не затруднителен, — тут каждый человек на виду у начальства. Город Варнавин стоит на правом высоком берегу реки Ветлуги, многоводной, глубокой, хотя и с перекатами, холодной, быстро текущей и впадающей в Волгу у г. Василь-Сурска, где Волга принимает почти южное направление. В этом городе всего три улицы, образующие треугольник с небольшой площадью в одном углу, на которой возвышается единственная церковь во имя Варнавы угодника, мощи которого здесь покоятся и именем которого и назван город. Во время моего приезда там был только один каменный двухэтажный дом, в котором помещались казначейство и полицейское управление с квартирой исправника. Все же остальные дома большею частью были двухэтажные крестьянские бревенчатые избы. Впрочем, было и несколько «домов», принадлежащих городским чиновникам и купцам. Но таких было очень мало. По сообщению исправника, в Варнавине в то время было всего 96 жилых строений и около 600 жителей обоего пола. Может быть их числилось по бумагам и больше, но летом едва ли было и шестьсот, так как чуть ли ни все мужчины уходили на заработки в Петербург в качестве плотников или на белянах сплавляли лес по Ветлуге и Волге в Царицын.

Хотя почтовое сообщение Нижнего Новгорода с Вяткой шло в то время через Варнавин, но почта только два раза в неделю заезжала в этот городишко. Настоящий же торговый путь из Нижнего в Вятку сворачивал из села Баков прямо на село Урень, бывшее фактически центром этого края, оставляя Варнавин в стороне. Здесь же, в уездном городе, не было ни аптеки, ни уездной больницы, ни уездного врача, ни мирового судьи. Было только казначейство, почтовое отделение и полицейское управление. Только при мне начали строить больницу, устроили аптеку и перевели уездного врача, а затем открыл свою камеру и мировой судья. Наконец, при мне же был устроен и телеграф, и даже не без моего участия. Городское управление вошло в соглашение с телеграфным ведомством, которому принадлежала инициатива, об отводе квартиры для телеграфа городом. После осмотра отведенного помещения, ведомство потребовало приведения его в порядок, оклейки обоями, окраски и т.д.; город заупрямился и отказал. Узнав об этом и убедившись, что ведомство также не намерено уступать, я предложил покрыть необходимый расход, как частное пожертвование. Предложение было принято (расход был менее 100 руб.) и телеграф был открыт. Говоря по истине, я думаю, что только один я и был действительно заинтересован устройством телеграфного сообщения: я хотел иметь постоянное и быстрое сообщение с близкими мне людьми. А кому, кроме меня, оно было нужно? Торговли в Варнавине никакой, кроме мелочной, не было, жители почти сплошь неграмотные, лесопромышленники уже давно погнали свои беляны и в телеграфе не нуждались. Разве он нужен полиции? Может быть, но я думаю, что и полиция не слишком желала его, так как он нарушал привычный порядок официальных сношений и грозил беспокойством. Губерния, додумавшаяся до устройства телеграфа в этой глуши, тоже не слишком настаивала, и из-за

суммы, не превышавшей нескольких десятков рублей, готова была положить свой проект под сукно. Только я один готов был содержать на свой счет даже телеграфиста, если бы этого пожелало телеграфное ведомство, весьма склонное к частным пожертвованиям на улучшение почтово-телеграфного дела.

Привилегированный класс населения Варнавина был велик: первое место естественно принадлежало исправнику г. Рябкову; затем были: уездный казначей г. Рачинский; мировой судья (переехал в город только к осени) г. Болотов; судебный следователь г. Вольбек; фамилий уездного врача и почтмейстера — не помню. Как можно из этого видеть, в городе Варнаvine представителей правящего сословия было не больше, чем в том городе, куда заехал Хлестаков и был принят за ревизора. Была, однако, и разница, так как мировой судья Болотов, судебный следователь поляк Вольбек и уездный врач, также поляк, были люди умные и с университетским образованием. Что же касается представителей полиции, казначейства и почты, то это были люди без образования, но порядочные и честные. Исправник Рябков делал свою карьеру с самых низов и многого не понимал, как человек лишенный всякого образования, но от природы не глупый и не брал взяток, хотя мог бы сколотить себе изрядный капиталец на розысках раскольничьих скитов и на выдаче сплавных билетов. Но его никто не мог упрекнуть в способности взять взятку или «благодарность» за личную услугу. Когда его при мне и даже из-за меня накануне Нового года уволили от службы, о чем я расскажу ниже, у него не было ничего нажитого на своей полицейской службе. Сидя у себя в глуши, он не замечал и не подозревал, что жизнь непрестанно эволюционирует и что, следуя за этой эволюцией, изменяются и методы полицейской службы, покончившей с патриархальными приемами. Так, бескорыстно воображая, что действует по долгу службы, он полагал, что для надзора за

мною лучше всего сделать меня членом городского клуба, именно потому, что я ни у кого не бывал за исключением мирового судьи Болотова и судебного следователя Вольбека. Придумал он такую меру и предложил баллотировать меня в члены клуба, даже не предупредив меня и не спросив моего согласия, которое по мнению исправника и не требовалось, так как придуманная им мера должна была быть мерой надзора. Ходил слух, что личный враг исправника, его помощник, донес губернатору, который немедленно распорядился уволить исправника в 24 часа от службы. Мне было очень жаль этого честного служаку и, выражая ему чувство сожаления, я спросил его, почему он не сказал мне раньше, я постарался бы убедить его отказаться от такой меры, которая не соответствует духу полицейской службы, особенно, когда дело касается лица, заподозренного в политической неблагонадежности. Бедняга никак этого понять не мог и видел в этом только интригу своего врага. Принявший от него должность помощник лучше понимал дух времени и требования начальства.

Квартиру я нашел без всяких затруднений и снял верхний этаж избы, состоявший из трех комнат, из коих две выходили окнами на улицу, а третья, маленькая, во двор. Нижний этаж избы занимал хозяин дома и почтальоны, по ночам храпевшие так, что я не сразу привык спать под этот аккомпанемент. Гораздо труднее было устроиться со столом, и я долго питался чаем, сыром и колбасой, которые покупал в лавке напротив.

Общительный характер моего брата, сопровождавшего меня в Варнавин, сделал то, что через два-три дня он уже перезнакомился и с исправником, и с следователем, и вообще с разными лицами. При первом же знакомстве ему предложили карты — единственное занятие, соединявшее правящий класс города, а брат тут же научил своих новых знакомых игре в винт. Я вообще никогда не любил играть в карты, а тут, заме-

тив, какую поглощающую роль играет картежная игра в этой среде, я категорически заявил, что совершенно не играю в карты и ни одной игры не знаю. Меня пробовали затащить в игру, притом вовсе не из корыстных видов, а просто как средство убить ту скуку и безделье, которые отравляют у нас не только провинциальную жизнь, но и русскую жизнь вообще, так долго лишенную общественных интересов и спроса на труд, требующий знания и образованности. И случилось не раз в первое полугодие моего пребывания в Варнавине, что даже поздно вечером ко мне приходили просить за неимением партнёра прийти, чтобы поиграть в винт, но я упорно отказывался, уверенный, что если я уступлю раз, мне не дадут более покоя и каждый день станут тащить играть в карты. Я не удивлялся исправнику, круг умственных интересов которого был крайне ограничен, но люди с образованием, как Вольбек, доктор и мировой судья, просиживали за картами целые ночи напролет.

Кроме названных выше лиц, в Варнавинском уезде были еще землевладельцы и помещики, однако, крупные владельцы, обладавшие громадными лесами, в уезде не жили; но все же некоторые, занимая уездные должности, как предводитель дворянства, так и мировой судья и председатель съезда имели в уезде постоянное местопребывание, хотя весьма, впрочем, условное. Так, например, мировой судья и вместе председатель съезда мировых судей занимался сплавом своего леса. Ранней весной он грузил беляну, закрывал суд, останавливал отправ-ление правосудия и сам вез свой товар для продажи в Царицын. Я имел случай познакомиться с этим представителем правосудия, показавшим мне и свою беляну с тремя избами на палубе, из коих две занимал он сам, (в одной жил, в другой была устроена кухня и помещалась прислуга), а третью занимали рабочие — сплавщики. Такая беляна двигалась течением

воды и направлялась в фарватер спереди рулем, а сзади привешенным в корме чугунным шаром, который своею тяжестью скатывался в наиболее глубокие места реки и поворачивал всю лодку, держа ее корму по фарватеру. Легко себе представить сколько времени требовалось, чтобы пройти пространство от Варнавина до Царицына, если даже плавание было благополучно. Но случалось, что беляна садилась на мель; приходилось выгружать значительную часть леса, чтобы облегчить судно и сдвинуть его в фарватер. А случалось и так, что, пока удавалось выгрузить и вновь нагрузить беляну, вода в Волге спадала и положение становилось еще более трудным.

На беляну грузят всякое дерево: бревна, доски, разную мелочь, даже березовые оглобли. В Царицыне все это продается вместе с беляной и выручается от 40 до 50 тыс. рублей. Некоторые владельцы гонят по несколько барок. Продажа леса составляет главную статью дохода землевладельцев Варнавинского уезда и промыслом этим заняты казна, уделы и частные владельцы. Крестьянство между тем живет отхожим промыслом, хотя земледелие остается в сознании крестьянина его основным занятием, связь с которым он поддерживает силами семьи, остающейся дома. Между прочим, здесь немало сеют яровую пшеницу, дающую порядочный урожай. Само собою разумеется, что во время моего пребывания в Варнавине я не видел ни одного плуга и ни одного более усовершенствованного земледельческого орудия: все та же соха и деревянная борона. Около первого октября возвращается много народа из отхожего промысла, и в праздник Покрова город Варнавин переполнен народом, в трактирах гремит музыка и по временам оттуда выносят совершенно опьяневших людей, укладывают в телеги и бабы увозят их домой. В ближайшие деревни, кто может, отправляется, пошатываясь, пешком; мне передавали, что шатаются нередко совсем трезвые, так как в деревне

считается неудобным не быть выпивши в день Покрова, ибо это было бы признаком недостатка средств. Я не мог проверить, действительно ли быть в известном случае пьяным считалось здесь «хорошим тоном» среди крестьянства, так как мое поднадзорное положение не допускало сближения с народом, чтобы не повредить ему в глазах всякого рода начальства. А между тем, с самого начала моего прибытия я был заинтересован местными нравами, так как Варнавинский уезд расположен по соседству с общеизвестными Керженскими лесами, где жизнь русских людей древнего благочестия послужила темой интересного описания — «В лесах» Мельникова. Население Варнавинского уезда принадлежит к раскольникам-беспоповцам, скиты которых ютились под защитой лесных дебрей и непроходимых болот по реке Керженцу. Но, несмотря на лесные дебри и непроходимые болота, все эти скиты были хорошо известны местной полиции, для которой они служили постоянным источником дохода, далеко превышавшего их казенное жалованье. Мне рассказывал местный исправник, как, будучи еще становым, он ловил «раскольничьего попа» и собственноручно вытащил его за ноги из-под печи. По существу, этот вовсе не злой, скорее добрый человек, едва ли грабивший раскольников, рассказывал об этой ловле как настоящий охотник, перехитривший хищного зверя, ловким манером сострунив его. Ловля «раскольничьих попов» была своего рода спортом, притом особенно выгодным, так как это был сверхплатный бенефис полиции. В то время, когда я жил в Варнавине, все это было уже преданием, правда недалеким, но все же перестало быть действительностью; тем не менее особое семейное положение раскольников-беспоповцев, созданное законом о регистрации браков в полиции, было в высшей мере нежелательное, так как давало возможность разрушить семью в любой момент. По словам того же исправника, браки расколь-

ников-беспоповцев совершались под «ракитовым кустом», так как большинство браков заключалось без полицейской регистрации, в которой раскольники видели только профанацию религии, а не гражданский акт. Создавая закон о браках раскольников, правительство не могло избрать более неудачного исполнительного органа, как ненавистную и всеми презираемую полицию.

11-е июня — день, посвященный памяти св. Варнавы, покровителя города и уезда. В этот день в Варнавине ярмарка в полном смысле деревенская, так как тут идет торг исключительно деревенским товаром. Но здесь мне удалось видеть торг совершенно особого рода, которого я раньше не встречал. На торговой площади вокруг церкви, где разместились балаганы с товаром и где толпился народ, выстроились в длинный ряд женщины, большей частью не первой молодости и решительно не отличающиеся красотой. Впрочем, в Варнавине за все время моего пребывания я не встречал ни одной женщины и ни одной девушки сколько-нибудь миловидной, тогда как большинство мужчин отличаются если не красотой, то строгостью и выразительностью своих лиц. Женщины были тщательно наряжены и стояли неподвижно. Мимо них проходили мужчины тоже не молодые, но все же постарее их, и рассматривали их совершенно так, как рассматривали приведенных на продажу лошадей или коров

Простояв некоторое время, женщины исчезали, потом появлялись снова, но уже в других нарядах и так делали несколько раз в течение долгого июньского дня. Они показали на себе все свои наряды, все свое приданое. Это были девушки, по какой-либо причине не вышедшие замуж, но желающие иметь свое гнездо, хотя бы взяв на себя тяжелую долю замужества за многосемейного вдовца или какого-нибудь неудачника или пьяницу, за которого никакая местная девушка не пойдет, но

этим девушкам-неудачницам, которым счастье дома не улыбнулось, был один выход — остаться до старости одинокой, бессемейной. На ярмарке сватовство совершалось с такой же быстротой, как всякая другая хозяйственная сделка, и супруг увозил свою новую спутницу со всем ее приданым к себе домой.

Кажется, в июне приехал ко мне в Варнавин мой близкий друг, Василий Алексеевич Савич и привез с собою моих двух детей: Сережу и Наташу и при них Каролину Ивановну. Не помню, сколько времени они прогостили у меня, но во всяком случае недолго, так как Савич был мировым судьей и председателем съезда мировых судей, нес обязанность, принятую им на себя после моего ареста и ссылки. С глубокой душевной скорбью я вспоминаю этого не только близкого мне друга, но и одного из тех общественных деятелей, которые всего себя отдавали служению родине, не щадя ни своих средств материальных, ни своих сил. Он не был уроженцем нашего Борзенского уезда, но принадлежал к дворянству почти соседнего с нашим Роменского уезда, Полтавской губернии. Чуть ли не одновременно с моим приездом в 1866 году на постоянное жительство в с. Плиску, где я провел и свое детство, В.А.Савич купил в северной части Борзенского уезда имение при селе Головеньке и там устроился с женой, Марьей Николаевной, рожденной Александрович. Вскоре после его приезда я познакомился с ним, но не могу припомнить, при каких обстоятельствах это произошло. Одно несомненно, что мы чрезвычайно скоро сблизились и с тех пор до самой его кончины в 1886 году мы оставались друзьями, и я не знаю человека, который был бы таким верным и самоотверженным другом, как В.А.Савич. Он был немного старше меня годами, но мы познакомились, когда мне было около 25 лет, а ему, вероятно, немного более 30-ти. Он окончил курс в кадетском корпусе и уехал на службу

офицером на Кавказ, где раньше служил его родственник, декабрист Якубович. Я почти ничего не знаю о его кавказской службе, но, зная его характер, не сомневаюсь, что это был офицер, который не пожалел бы своей жизни, исполняя свой долг. Это был вдумчивый и необыкновенно сердечный человек, глубоко преданный родине, истинно гуманный, готовый на все жертвы ради освобождения России от самодержавия, держащего русский народ в состоянии невежества и бесправия. Проникновение этим чувством делало из него твердого в своих принципах общественного деятеля, не опасавшегося никаких личных для себя последствий, настойчивого и последовательного в своих поступках. Он был последователен не только в жизни, но и в смерти. Я виделся с ним последний раз в Киеве, когда он объяснил мне, что, оставшись один в Борзенском уезде и сознавая, что совершенно бессилён справиться с течением, которое все более берет верх и которое противоречит всем его убеждениям, да и, кроме того, потерпев крушение и в своей семейной жизни, в чем вся вина падает на него, — он считает, что не может более жить, так как не хочет сделать из своей жизни нечто зависимое от внешних обстоятельств и людей, с которыми у него нет ничего общего; не видя выхода из противоречия, которое он считал неразрешимым, он решил умереть, как только устроит свои семейные дела. Я долго убеждал его отказаться от такого решения, но чувствовал, что это решение принято им бесповоротно и умолял только не спешить, передумать еще раз все данные, положенные им в основу своего решения. На это он мне сказал, грустно улыбаясь: «теперь уже поздно, я не думаю, чтобы я мог найти какое-либо новое обстоятельство, которое изменило бы мое решение. Во всяком случае я вас уведомлю своевременно.» После этого я видел его только в гробу с простреленным правым виском. Я провожал его до могилы на кладбище в Борзне, расположенное

непосредственно за городом. Он потерял веру в себя и не чувствовал в себе силы, чтобы бороться одному в поле. Это чувство и привело его к роковому решению. А раз он его принял, он привел его в исполнение.

Как ни деликатно ко мне относилась варнавинская полиция и как ни любезны были со мною варнавинские нотабли, все же в положении ссыльного и поднадзорного постоянно гнетет мысль о том, что в любой час дня и ночи может войти в мою квартиру полицейский чин, сделать обыск, произвести «выемку», т.е. захватить бумаги, переписку, все, что он сочтет подозрительным и требующим его расследования; что нельзя выйти за город, что получаемая почта может быть задержана, а полученные письма прочтены исправником раньше, чем переданы мне. В течение некоторого времени после моего прибытия, я не замечал никаких внешних признаков надзора за мною, но к осени положение изменилось. Полиция получила распоряжение об усилении надзора за ссыльными и поднадзорными и даже ассигновку на наем надзирателей для этой цели. Так как в Варнавине ссыльных было только трое: я, поляк Мошинский и униат Павлюк, то наш надзиратель сосредоточил свой надзор преимущественно за мною, ходил за мной, куда бы я ни пошел, или сидел весь день у ворот дома, в котором я жил. Он получал жалованье более высокое, чем другие городовые и не хотел лишиться места. Со мною он никогда не разговаривал, но двигался, как моя тень и до того надоел мне, что я почти перестал выходить из дома.

В течение лета в городе происходило уездное земское собрание под председательством местного уездного предводителя дворянства г. Кочукова, отставного гвардейского офицера. Об этом представителе местного «первенствующего» сословия ходили удивительные слухи. Рассказывали, что он вел крайне распутную жизнь и занимался «умыканьем» баб и девушек, т.е.

имея при себе нескольких молодцов, он налетал на высмотренную жертву и увозил к себе. Затем начинались переговоры с мужем или, если похищенная была девушка, — с родителями. Обыкновенно, будто бы, сходились в цене и похищенную отвозили домой. Сколько правды в таких рассказах — не знаю; думаю, что какой-нибудь один случай в воображении людей превратился в постоянный способ захвата женщин. Но во всяком случае, репутация предводителя, а, по закону, и руководителя местной жизни и народного воспитания, — была незавидная. Вот этот самый умыкатель и председательствовал на земском собрании. В Варнавине не было помещения, где бы могли удобно собраться тридцать пять гласных, считая в том числе представителей казны, уделов и духовного ведомства. Поэтому собрание происходило в двух комнатах: в первой заседали гласные от крестьян и тут же сидела и публика, состоявшая из управских служащих и 3-5 посторонних зрителей, в числе которых находились Анастасия Сергеевна и я. В следующей довольно просторной комнате, в которой могли бы поместиться, хотя и не очень удобно, и крестьяне-гласные, заседали земские нотабли: предводитель, управа, мировой судья, депутаты ведомств, во всяком случае немного лиц. Дверь между двумя комнатами была открыта, и мы поместились у самой двери, чтобы видеть все происходящее и слышать прения. Дела шли, так сказать, упрощенным порядком. Управа докладывала нотаблям, гласные же в другой комнате едва ли могли слышать и внимательно следить за докладами. Предводитель обращается к нотаблям — не желает ли кто-нибудь что сказать. Обыкновенно — не желают. Тогда предводитель громким голосом обращается к крестьянам: слышали доклад? Согласны? Согласны. Затем слушается чтение следующего доклада и т.д. И земское собрание в один-два дня, при деятель-

ном руководительстве предводителя дворянства, благополучно заканчивается.

Уже внешний вид земского собрания свидетельствовал с полной ясностью, что в самой организации земства заключалось слишком много совершенно очевидных недостатков. Земское Положение устанавливало сроки заседаний и устанавливало их, не обращая внимания на то, что жизнь в разных углах России полна разнообразия и бытовых особенностей. Так в Варнавине земское собрание должно было собираться, согласно закону, не позднее августа, между тем все крестьянское население именно летом уходило в отхожий промысел, т.е. оно не могло избирать гласных из числа наиболее подходящих людей, а вынуждено было выбирать или людей, не уходящих на заработки, хотя бы они вовсе не годились для земского дела, или, избирая годных, заранее обрекали земство на то, что избранные не будут посещать земских собраний. Это было очевидно для даже неопытного наблюдателя, так как крестьянство сидело только для исполнения «повинности» и по требованию начальства. А между тем, крестьяне Костромской губернии, проводящие все лето в Петербурге на работах, далеко не так были просты, как тамбовские или пензенские и достаточно много, и видали, и слыхали, и умели за себя постоять, так что, если бы не уход в столицу на весь строительный сезон, земское собрание имело бы значительно иной состав гласных. Поэтому мне кажется, что в таких губерниях или уездах собрания должны были бы происходить не в летнее рабочее время, а зимой, когда народ свободен. И правило это одинаково относится и к другим сословиям, как это можно было видеть и в Варнавине, где даже мировой судья, председатель съезда, тоже отправлялся по Волге в Царицын сбывать продукты своего хозяйства — лес. Отнимите у него это право, и окажется, что этот самый судья и председатель будет вынуж-

ден отказаться от службы, которая не только не вознаграждает его за все потери, которые он понесет в своем хозяйстве, но не оплатит его труда и не даст ему даже минимальных средств к жизни. Для того, чтобы устраивать земские собрания в рабочую пору, нужно иметь свободных от работы людей, т.е. поставить условие совершенно противоречащее и демократическим принципам, и существующим условиям жизни. Составление бюджета надо подгонять к жизни, а не жизнь подгонять к бюджету, применение которого могло бы начинаться не с начала года, а с апреля или даже с июля месяца.

Я уже сказал, что, кроме меня, в Варнавине было еще два ссыльных: Мошинский и Павлюк, но я не упомянул еще одного, фамилию которого я забыл и который производил впечатление душевнобольного. Исправник не мог или не хотел объяснить мне, что это за человек и за что он сослан, а равно и откуда он. Он был странно одет, почти в лохмотья, что, впрочем, меня не удивляло, так как ссыльные из привилегированных сословий получали в месяц 6 руб., а из непривилегированных 3 руб. Этот человек получал 6 руб., значит был из привилегированных, но можно ли было даже в Варнавине иметь помещение, кормиться и одеваться за 6 руб. в месяц? Понятно, что он голодал и был полураздет. Когда он видел меня идущим по улице, он круто и испуганно поворачивал назад и быстро уходил. Все его движения имели какой-то неестественный характер, как и его взгляд. Почему он избегал меня, я так и не узнал, а он был мне жалок и мне хотелось ему помочь, но я не решался обращаться к нему, так как его вид внушал мне уверенность, что это был душевнобольной. Таким же душевнобольным считал его и Мошинский, живший в Варнавине уже несколько лет до меня. Мошинский был варшавянин родом и патриот-поляк, но без малейшего враждебного чувства к русским. По образованию он был лесничий и занимал это

место где-то около Варшавы, когда вспыхнул польский мятеж 1863 г. Он примкнул к революции, участвовал в боях с русскими и был взят в плен с оружием в руках. Судился он, однако, не в Польше, а в Литве, в Вильне, где в это время царил известный гр. Муравьев-вешатель. Его приговорили к смертной казни, но казнь была заменена 15 летней каторжной работой, которую он отбывал на Каре в Сибири. Он рассказывал мне довольно много о своем пребывании в каторге и, между прочим, говорил, что одновременно с ним отбывал ее известный русский писатель, поэт и переводчик М.Л.Михайлов, — на Каре и скончавшийся. Ему была высечена в горе могила, где его и похоронили. Мошинский был в числе тех, которые устраивали эту могилу. По словам Мошинского, при нем доставили на Кару и Чернышевского, увезенного в ссылку из Кары раньше, чем окончился срок каторги Мошинского, который был освобожден до назначенного ему срока по какому-то манифесту, с переводом в разряд ссыльно-поселенцев. Мошинский уверял, что этот переход с каторги на поселение был самым трудным моментом его жизни, так как на каторге он был обеспечен кровом, кроватью и пищей, тогда как на поселение он был выброшен с разными ограничениями прав, в том числе и права свободного передвижения, и без гроша денег, т.е. со всеми шансами умереть от голода и холода. Но надежда возвратиться на родину придала ему энергии в борьбе за жизнь. Он стал заниматься приготовлением самого простого мыла и сальных свечей и продавать их среди бурят. Мало-помалу этот промысел дал ему возможность не только существовать, но и откладывать деньги на возвращение в Варшаву, ставшее его единственной мечтой. Пребывание на каторге сроднило его с русскими, к которым он сначала привык, и которых потом искренно оценил и полюбил. Поселение среди бурят вернуло его к мечте о родине. И вот, в один прекрасный

день, опять был обнародован какой-то манифест, дававший право ссыльно-поселенцам вернуться на родину. Он бросился добывать свое право, т.е. выправлять необходимые документы, но тут ему объявили, что для того, чтобы поляки вернулись на родину, они должны прожить два года под гласным надзором полиции в одной из внутренних русских губерний. Это было несогласно с манифестом, где никакие ограничения не упоминались. В виду этого Мошинский обратился с прошением к иркутскому генерал-губернатору, Синельникову, который на его ссылку на манифест возразил, что манифест для Европы, а он имеет, кроме манифеста, определенные инструкции правительства и не может их нарушать. Ничего более не оставалось, как подчиниться и поспешить с отъездом, чтобы не удлинять двухгодичного срока возврата на родину. Мошинский не хотел оставаться ни одного лишнего дня и, не успев собрать с бурят-должников денег, все бросил и выбрал Костромскую губернию для своего двухгодичного пребывания. Любопытно, что, выдавая Мошинскому документы на проезд в Кострому, сибирская администрация взяла с него подписку в том, что он никогда не возвратится в Сибирь! По прибытии в Кострому, он получил распоряжение губернатора отправиться на жительство в г. Варнавин. С величайшим трудом и лишениями он прожил здесь на отпускаемые ему казною 6 руб. в месяц положенные ему два года. Когда срок истек, он потребовал от полиции документов на выезд на родину. Местный исправник объявил, что ничего по этому поводу не знает и посоветовал обратиться к губернатору. Мошинский послал прошение губернатору. Ответа не последовало. Мошинский ждал его целый год. Ему снова посоветовали обратиться к министру внутренних дел. Он обратился опять с прошением к министру. Ответа не последовало, и несчастный Мошинский ждал еще целый год. На пятом году его варнавинского жития прибыл я и застал его в крайне

удрученном состоянии. Он уже жалел, что выехал из Сибири, где после известного срока уже получил право передвижения по всей Иркутской губернии и зарабатывал достаточные для жизни средства, тогда как в Варнавине он жил на положении поднадзорного, не имея права отлучаться никуда и не имея возможности найти себе ни занятия, ни заработка. Я говорил о положении Мошинского с исправником, но он повторил мне ту же историю и рекомендовал хлопотать в министерстве. В Варнавине меня навестила Анастасия Сергеевна и тут выслушала от самого Мошинского его скорбную повесть. Его рассказ она записала и решила при первом же случае обратиться к шефу жандармов, генералу Дрентельну, что и выполнила при первой поездке в Петербург. Дрентельн выслушал рассказ А.С. и стал уверять, что она ошибается и что этого не может быть; но когда А.С. заявила, что он может проверить ее рассказ, он обещал, что сделает это и что, если все это окажется правдой, Мошинский будет освобожден. Действительно, спустя недолгое время было получено распоряжение о выдаче Мошинскому заграничного паспорта с правом остановиться в Варшаве в течение одного месяца, но без права возвратиться в пределы Российской Империи, т.е. Мошинский, вместо возвращения на родину, навсегда изгонялся и из родины, и из Российской Империи! Синельников оказался прав: манифесты издаются для Европы, а для домашнего употребления служат инструкции. Мошинский взял паспорт, и мы с ним простились. У него не было денег для путешествия, а он собирался ехать в Америку, где его брат уже жил давно, успев спастись бегством за границу во время восстания в Польше. Я ему в этом помог и получил от него после его отъезда два письма: одно из Варшавы с сообщением, что ему продлили срок пребывания в Варшаве до трех месяцев, другое уже из Америки. Он сообщал, что попал не в тот Питсбург, в котором был его брат, и что это

поставило его в трудное положение. После этого письма я не имел от него никаких известий. Жив ли он или давно умер в чужой земле — не знаю.

Другой товарищ мой по ссылке, Павлюк, был простой крестьянин той части Польши, из которой потом была выкроена Холмская губерния. Он был униат по религии и несомненный малоросс по национальности. История его ссылки была кратка, но не менее, если не более возмутительна. Униатов обращали в православие и не индивидуально, а гуртом: вся деревня, без всяких разговоров, должна стать православной! Павлюк, однако, имел свои собственные религиозные воззрения и отказался переходить из унии в православие. Очевидно, для него религия была не обрядом, а делом души. Он с другими сельчанами запротестовал и не хотел пустить русского попа в свою церковь. Пришли драгуны, церковь взяли приступом, а Павлюка, как зачинщика, посадили в острог. Когда он отсидел свой срок и его выпустили, у него умер ребенок, которого он сам похоронил, не желая, чтобы обряд погребения совершал православный священник. После этого его выслали в Костромскую губернию. Для простого крестьянина было нравственно труднее переменить религию, чем для тех немецких принцесс, которые выходили замуж за русских великих князей. И этот бедный крестьянин жил на получаемый трехрублевый паек, далеко от семьи, от родины, не жалуясь на все лишения, которые ему пришлось выносить. Я беседовал с ним по-малорусски и этого одного было достаточно, чтобы он привязался ко мне. Я жил один и предложил ему переселиться ко мне. Он с радостью согласился и не останавливался ни перед чем, чтобы показать мне свою благодарность и расположение. Так мы с ним вместе и прожили до самого отъезда моего из Варнавина. Он, бедняга, остался, и о судьбе его я ничего не знаю; он был неграмотен и не мог писать мне.

Спустя несколько времени после отъезда В.А.Савича с моими детьми и их воспитательницей К.И.Лукас, приехала Анастасия Сергеевна с дочерью Софьей, тогда восьмилетней девочкой, и с моим старшим сыном Михаилом, учеником киевской 2-й гимназии, 11 летним мальчиком. Это было для меня великой радостью, и мы проводили очень приятно время, несмотря на тесноту нашего помещения, на отсутствие мебели и самых элементарных удобств. Однако, кому-то в Варнавине это не нравилось, и на меня был послан в Петербург донос, последствием которого был приезд из Костромы жандармского полковника, получившего распоряжение произвести строжайшее расследование. Об этом я узнал гораздо позднее от самого исправника, когда его уволили от службы. Оказывается, что жандармский полковник Чалеев был в родстве с исправником, жена которого была родной сестрой полковника. Производя расследование, полковник уже потому посмотрел здраво на донос, что ему надо было прежде всего обелить своего шурина. А когда позднее донос повторился, Чалеева уже не послали, а просто выгнали со службы человека, прослужившего 30 лет и решительно ни в чем неповинного перед властью; эти доносы имели единственную цель удалить исправника, — моя же особа и особа Анастасии Сергеевны при тех условиях были только удобной почвой для сочинения какой угодно истории.

Вспоминая свою варнавинскую жизнь, не могу не рассказать двух случаев, не лишенных интереса. В ноябре месяце было произведено в Москве покушение на жизнь императора Александра II-го Гартманом, устроившим подкоп и проводшим мину под путь, которым следовал по железной дороге царь из Крыма в Петербург. Случайно, как раз в день этого взрыва Анастасия Сергеевна, жившая в Москве, выехала ко мне в Варнавин, когда вся Москва уже знала о произведенном покушении. На другой день по приезде А.С. в Варнавин исправник

зашел ко мне, и я спросил его, слыхал ли он о московском событии. Он был очень удивлен и спросил, откуда я получил эти сведения. Я ответил, что знаю от А.С., которая вчера приехала из Москвы. Исправник вдруг заволновался.

— Как же это вы не сказали мне вчера, ведь я получил бы Владимира, так как поймал бы Гартмана! А теперь награду получил глазовский исправник, который на моих глазах схватил Гартмана, уже переехавшего границу Варнавинского уезда. Получив распоряжение захватить и арестовать Гартмана, производшего покушение на жизнь Государя и бежавшего на Вятку, я тотчас бросился на почтовую станцию, узнал, что Гартман едет под другим именем (тут он назвал мне фамилию, которой я не помню), и поскакал вслед. Вижу, — вот тройка уже у самой границы нашей губернии, а по ту сторону тоже стоит и ждет тройка. Как только Гартман переехал в Вятскую губернию, так глазовский исправник и схватил его, а с ним была и женщина. А коли бы вы сказали мне вчера, я его и близко не допустил бы до Вятской губернии. Жаль, очень жаль, что вы не сказали мне; получил бы Владимира.

— Да откуда же А.С. могла знать, что Гартман поедет на Вятку? спрашиваю я.

— Да, точно, она не могла знать, бумага была секретная, — сообразил исправник, — а все-таки жалко, что не сказали.

Воображаемый Гартман, оказавшийся военным топографом, ехавшим в отпуск с женой в Вятку, просидел месяца два в глазовской тюрьме. После наведенных справок в Главном Штабе в Петербурге, личность военного топографа была установлена и его выпустили из тюрьмы, но в отпуск он уже не поехал, а решил вернуться в Петербург. Проезжая обратно через г. Семенов, Нижегородской губернии, он был опять задержан семеновским исправником, снова посажен в тюрьму и оставался в заключении, пока опять устанавливали его

личность. При этом мне рассказывали, что в предписании московского генерал-губернатора была такая фраза: «И буде означенный Гартман окажется в вашем уезде, чего Боже сохрани, то вы и т.д.» Злополучный военный топограф мог повторить с большим основанием: Боже сохрани от таких ловцов, хватающих первого попавшегося человека и целые месяцы томящих его в тюрьме! Не мудрено, что с такой полицией настоящий Гартман бесследно исчез.

Еще летом я получил из Петербурга от А.Ф.Линдфорса письмо, в котором он сообщал мне следующее. Его хороший знакомый или даже товарищ по гвардейской службе, а в это время управлявший канцелярией министра внутренних дел, если не ошибаюсь, Перфильев, предложил ему написать мне, что если я соглашусь принять место по назначению правительства предводителя дворянства в одном из уездов Севера-Западного края, то я буду немедленно назначен и буду освобожден от всяких ограничений, связанных с моею ссылкой. Линдфорс требовал от меня немедленного ответа, но совершенно правильно не выражал по этому вопросу никакого мнения. Я тотчас ответил, что решительно отказываюсь от предлагаемого назначения, так как не считаю возможным проводить политику правительства, которую считаю вредной для страны. Этим дело и кончилось, а его возникновение отношу к попытке Линдфорса освободить меня от ссылки.

Зима в Варнавине, начавшаяся с 1 октября, когда выпал снег, была лютая. Масса снега и жестокие морозы. Не раз у меня замерзала ртуть в термометре. Тем не менее, А.С. в течение зимы раза три навестила меня. Всякий раз, когда она уезжала из Варнавины, я очень боялся за нее, боялся морозов, а также и возможности разбоя и грабежа при проезде от Варнавина до Нижнего Новгорода, среди глухих лесов. В этом случае мы устроились так, что ее провожала до Нижнего, а

равно и встречала в Нижнем, некая Надежда Гермогеновна, особа головой выше меня и размера, который должен был внушать уважение ямщикам. Это была хозяйка грошовой лавочки и крохотной избенки, дававшая приют Мошинскому, который помогал ей за это в ее торговых делах, так как она была неграмотная. Получая от нас небольшую плату за проезд в Нижний и обратно, она всегда была этому очень рада, ибо зарабатывала этим способом значительно больше, чем приносила ей торговля. Одного можно было опасаться, что, в случае если сани опрокинутся, она своим грузом может раздавить А.С.

Зима прошла. Взрыв в Зимнем Дворце и новое покушение на жизнь императора Александра II-го в его собственном дворце привели к назначению гр. Лорис-Меликова верховным правителем. Это назначение отразилось и на моем положении, так как Лорис-Меликов приступил к пересмотру деятельности 3-го Отделения собств. канцелярии императора и упразднил это самостоятельное учреждение, заменив его департаментом полиции при министерстве внутренних дел. В первых числах июня 1880 г. я получил официальное предложение выбрать себе место жительства в одном из трех городов: Владимире, Ярославле или в Смоленске, оставаясь под надзором полиции. Для меня был бы самым удобным местом Владимир, как город ближайший к Москве. Но в нем был губернатором некто Судиенко, прежде бывший вице-губернатором в Чернигове во время губернаторства Панчулидзева, с которым он, по обычаю всех вице-губернаторов, находился в контрах и потому в дружеских отношениях с земской оппозицией. Я опасался, что Судиенко может вообразить, что г. Владимир выбран мною в расчете на его покровительство, что ставило бы и его и меня в ложное положение. В виду этого г. Владимир был исключен из моего выбора и надо было выбирать между Ярославлем и

Смоленском. Лютая зима 1879-80 года убедила меня избрать Смоленск, город более теплый, одинаково неизвестный мне, как и Ярославль. Мои сборы были непродолжительны. За мною приехал, чтобы сопровождать меня в Смоленск, мой брат, и в начале июня мы с ним тронулись в путь, точно так же, как и приехали на двух тройках, из которых на одной поместились мы с братом, а на другой два сопровождавших меня городских, которые должны были доставить меня в Смоленск. Один из них был тот самый, который был приставлен ко мне еще в Варнавине и ходил за мной, как тень, лишая меня удовольствия бродить без наблюдателя. На следующий день мы были уже в Нижнем. Переезжая через Волгу на пароме, я узнал от своего проводника, что им получены деньги на доставку меня по железной дороге в первом классе; причем, само собою разумеется, и мои спутники должны были ехать вместе со мной. Тут мне пришла в голову мысль предложить им получить от меня прогоны за почтовую тройку до Нижнего, и всю плату за проезд по железной дороге, если они оставят нас в покое, возьмут на себя доставку наших вещей и предоставят мне и брату свободу побродить по Нижнему без провожатых и ехать в том же поезде, но отдельно от них. В Нижнем нам с братом хотелось посетить Владимира Галактионовича Короленко, который, по слухам, был освобожден из вышневолоцкой тюрьмы и поселился в Нижнем. К сожалению слух оказался неверным. Владимира Галактионовича мы не застали в Нижнем. Нас приняли его мать и жена. Мать В.Г. произвела на нас чрезвычайно симпатичное впечатление. В молодости она, вероятно, была красива, но и теперь ее лицо сохранило эти следы, но может быть еще больше сохранило выражение ума и большой доброты, той самой доброты, которую она полностью передала своему сыну. Мы посидели у них не более получаса, и, быстро осмотрев наиболее интересные части города, отпра-

вились в Кунавино за рекой Окой на станцию железной дороги, соединяющей Нижний Новгород с Москвой. Для этого надо было переправиться на пароме через Оку. В ту минуту, когда паром отчаливал, мы увидали наших спутников, только еще подъезжавших к берегу. Увидя нас на пароме-среди реки, они крикнули нам, чтобы мы вернулись назад, видимо опасаясь, что переправившись мы сядем на первый поезд и скроемся. Но мы весело им помахали и оставили их на берегу в растерянном виде. Спустя некоторое время, испуганные, они прибежали на вокзал, но, увидя нас спокойно обедающими, совершенно доверились нам и ехали до Москвы и от Москвы до Смоленска в другом вагоне, и не беспокоили нас. На следующий день утром, мы были уже в Смоленске.

Глава VII

Смоленск — Безобразов — Кн. Друцкой — «Смоленский Вестник» — Полковник Есипов — Убийство императора Александра II — Возвращение Анастасии Сергеевны из-за границы — Губернатор Тамара — Подложные письма — Отъезд А.С. в Одессу. — Возвращение ее и отъезд в Петербург — Отобрание дочери — Гр. П.П. Шувалов — Контроль переписки — Переезд в Тверь

После исполнения всех требуемых формальностей, т.е. явки к полицеймейстеру и в канцелярию губернатора, где я получил паспорт на жительство без обозначения, что считаюсь под гласным надзором полиции, я отправился в гостиницу, кажется, носившую название Европейской и считавшуюся лучшей в городе. Мой брат занял там для меня номер, разобрал вещи, словом, устроился как следует, имея в виду мое продолжительное пребывание.

Гостиница занимала двухэтажный дом на Благовещенской улице, ведущей от Днепра в гору через весь город до выезда в противоположном конце через так называемый Молоховские ворота, открывающие дорогу на г. Красный. Расположение Смоленска над Днепром, по обоим его берегам, чрезвычайно красиво. Старый, настоящий Смоленск на левом берегу, а железная дорога, Москва-Брест, идет по правому берегу, на котором расположен и вокзал. Оба берега очень высоки, но левый сразу поднимается, образуя крутой въезд в город, тогда как правый представляет долину реки, постепенно поднимающуюся в гору. При въезде в город расположены ворота, на которых помещается церковь. Наполеон, заняв город, из этой церкви стрелял по отступавшим русским войскам. Весь город обнесен громадной кирпичной стеной, выстроенной в конце XVI века Борисом Годуновым, с огромными башнями на

некотором расстоянии одна от другой. Все это придает совсем особый вид городу, утопающему в зелени. Вид на Днепр и его извивающуюся блестящую ленту среди возвышенностей, поросших местами деревьями, необыкновенно привлекателен.

Внутри город не отличается красотой, а его строения, за исключением старинного собора, великолепно поставленного на горе, отличаются шаблонностью захудалых губернских городов. Украшением Смоленска служит очень большая четырехугольная площадь, которую нельзя назвать ни садом, ни парком, ни лугом, но скорее всего это луг, обсаженный по краям с четырех сторон великолепными аллеями, широкими и длинными, составлявшими место прогулки. Уже после моего отъезда из Смоленска на середине этой площади, носившей название «Блонье», поставили памятник знаменитому композитору М.И.Глинке, уроженцу Смоленской губернии.

За Блоньем расположен так называемый Лопатинский сад, разбитый на одном из бастионов, защищавших Смоленск при наступлении Наполеона.

Устроив меня в Смоленске, мой брат уехал в Тверь, а я остался в городе, где у меня не было ни души знакомой. Но, купив на улице газету «Смоленский Вестник», я решил пойти в редакцию, где я мог найти для себя какую-нибудь работу.

Редактор и издатель газеты Алексей Иванович Елишев, молодой человек довольно приятной наружности и атлетического телосложения, принял меня весьма любезно и просто. Я рассказал ему, что нахожусь в Смоленске не по доброй воле, ровно никого не знаю, ищу подходящей работы. Вообще, мы разговорились, он сообщил, что ездил в Америку в качестве простого рабочего и вернувшись завел газету, в которой, по американскому обычаю, соединяет в своем лице и издателя, и редактора, и корректора, и конторщика. В конце концов, мы скоро сговорились: ни он, ни я не берем на себя никаких

обязательств, но я могу работать в газете, т.е. писать, прочитывать статьи, доставленные в редакцию и т.д. Я был очень доволен, найдя такое занятие, и решил испытать свои силы в газетном деле, очень подходящем для моих целей.

Очень скоро после моего приезда в Смоленск, приехал Владимир Павлович Безобразов. В эпоху «великих реформ» он пользовался известностью, как писатель по экономическим вопросам и публицист. С ним вел полемику Н.Г.Чернышевский за его манчестерские воззрения. Лично я до сих пор никогда не встречал его, но теперь, когда он собирался в Смоленск по какому-то поручению министра финансов, Бакунины, его родственники, просили его разыскать меня в Смоленске и, если нужно, оказать мне всякую помощь. Безобразов был не только экономист и публицист, но и сенатор, поэтому, как только он приехал, к нему явился полицеймейстер, к которому Владимир Павлович и обратился с вопросом, не знает ли он, где я живу. Полицеймейстер сказал ему, что я живу в той же гостинице, где остановился и он, Безобразов. Как только полицеймейстер ушел, Безобразов появился в моем номере и объявил, что имеет поручение от Павла Александровича Бакунина и готов оказать мне всякое содействие. Я поблагодарил его и отвечал, что мне собственно ничего не нужно, что я уже устроился и что имею занятие в местной газете. С этого дня Безобразов стал заходить ко мне ежедневно, даже по нескольку раз в день. Мы много беседовали особенно по земским вопросам, которыми он очень интересовался, а по вечерам ходили в Лопатинский сад, где он обыкновенно требовал бутылку красного вина, из которой один стакан выпивал я, а два остальных выпивал он. Вино его оживляло, и он мне до глубокой ночи рассказывал о своих отношениях ко двору «Константиновичей». На один или два дня он уезжал на Ярцевскую фабрику Хлудова, собирал там какие-то материалы, потом снова вернулся в Смоленск, где в

общем провел более недели. Однажды он пришел ко мне вместе со своим товарищем по Александровскому лицей, духовщинским предводителем дворянства, князем Петром Петровичем Друцким-Соколинским-Ромейко-Гурко. Этот князь с четырехчленной фамилией сразу обнаружил ко мне величайшую симпатию и стал посещать меня также ежедневно. Он показался мне большим чудачком и за все трехлетнее мое пребывание в Смоленске никогда не изменил самого дружеского отношения ко мне, несмотря на то, что на все мы смотрели с противоположных точек зрения. Но он выслушивал мои возражения и даже нападения на его воззрения необыкновенно добродушно и никогда не сердился. Я не понимал тогда, как не понимаю и до сих пор, что привлекало его ко мне. Но я никогда не сомневался, что в его влечении ничего не было ни напускного, ни расчетливого. Первый год, когда я жил одиноко в Смоленске, он часто заходил ко мне, читал мне свои переводы из сочинений английского поэта Попа и просил поправлять его перевод в отношении русского языка. Приходил и по другому случаю: после завтрака у местного архиерея, его приятеля, по-видимому, любившего шампанское, он заходил ко мне, садился в кресло или ложился на диван и засыпал. Кажется, он боялся являться домой после таких завтраков у архиерея, к супруге, даме довольно строгой, и искал убежища у меня. Глядя на его геркулесовскую фигуру с железной палкой в пуд весом и внушительной манерой держать себя, мне всегда казалось, что он мнит себя не дворянским предводителем духовщинского уезда и не просто князем, а удельным князем Смоленской земли. В своей Духовщине, во время рекрутского набора найдя неисправности в каких-то волостных списках, он, не долго размышляя, поставил в присутственной комнате волостного старшину и волостного писаря на колени! Само собою разумеется, это вызвало скандал, но пострадавшие не

посмели послушаться. Тем не менее, по этому поводу началось дело, окончившееся тем, что Сенат сделал ему выговор.

По окончании набора Друцкой вернулся в Смоленск и прямо с вокзала заехал ко мне.

— Слыхали? спросил он с виноватой улыбкой.

— Слыхал, и нахожу, что для такого поступка нет и не может быть никакого оправдания.

— Знаю, ну что будете делать? ведь эти подлецы не по ошибке сделали неверную запись, а сознательно плутовали. Знаю, что будет жалоба: ее устроят мои доброжелатели; ну, что же? отвечу, а стерпеть не мог такой пакости.

И я не сомневался, что он действительно не мог стерпеть, потому что был самодур, взращенный крепостным правом и богатством, и очень мало смягченный образованием, не смотря на природный ум и доброе сердце. Он знал на память многих поэтов Англии и Франции, и в то же время оставался русским дикарем 17-го века, сохраняя всю непосредственность своей природы, устоявшей перед всеми влияниями цивилизации.

Вот этот чудака в самом начале нашего знакомства, когда Безобразов еще оставался в Смоленске, задумал устроить обед в честь его, как своего старого товарища. К обеду он пригласил всех нотаблей города: губернатора, вице-губернатора, городского голову, жандармского полковника, председателя суда, прокурора, председателя казенной палаты, управляющего государственными имуществами, словом, всех начальников отдельных частей, а накануне обеда приехал ко мне и стал убедительно звать меня. Я, конечно, наотрез отказался, но он продолжал просить и приставать, чтобы я дал слово, что буду. Мне было неприятно, слова я не дал, и он уехал. После его отъезда ко мне пришел Безобразов, и я сразу заметил, что он знает о моем приглашении и был смущен. Я точась сказал ему,

что он может быть покоен, так как я не поеду. На следующий день, за час до обеда, я послал к Друцкому письмо, что по нездоровью ни в каком случае не могу быть. Каково же было мое удивление, когда перед самым обедом ко мне явился Друцкой и объявил, что захал за мною и без меня не уедет! Как ни убеждал я его и как ни просил уволить меня от такого неприятного положения, он не унимался и продолжал говорить, что я обижу его, и особенно теперь, когда всем известно, что в числе приглашенных буду и я.

Я имел слабость уступить и поехал с ним. За обедом он усадил меня рядом с собою и все время беседовал со мною, оказывая мне все знаки внимания. Я видел злобную и кислую физиономию губернатора Тамары и несколько смущенные лица гостей, но обед прошел гладко, с единственным тостом за здоровье Безобразова. Мне кажется, что мысль свести меня за своим столом с губернатором и всеми чинами города у него явилась, как одно из его самодурств. Ему хотелось показать свое отвращение; к губернатору Тамаре, которого он терпеть не мог. Ему было приятно видеть этого администратора, которого он посадил рядом с поднадзорным ссыльным: самодур старого русского типа не выносил самодуров современной власти со всеми признаками ее разложения и бессилия.

Во время дворянских выборов его дом был битком набит дворянами, которых он привозил, содержал, т.е. кормил и поил, и даже, как говорили, одевал в запасные дворянские мундиры, которые хранились у него специально для этой цели. Тем не менее, любовью «своего» дворянства, кажется, он не пользовался, но его уважали, как человека богатого и державшего себя очень независимо от всякого начальства.

Спустя лет десять я слышал, что князь Друцкой совершенно разорился и умер. Он умудрился прожить свое огромное состояние, получить снова второе такое же состояние по

наследству от брата и тоже прожить его, хотя он и его жена были люди бездетные и жили сравнительно скромно. Во всяком случае, кн. П.П.Друцкой был самородок старины, слишком опоздавший родиться, не умевший и не успевший приспособиться к условиям нашего времени.

Летом 1880 г. единственная дочь Анастасии Сергеевны, Софья, проводившая лето с матерью в Тамбовской губернии, заболела тяжелой формой брюшного тифа, чуть не сведшего ее в могилу. Однако, неустанный уход и постоянный внимательный надзор матери и врача, д-ра Соколова, спасли ей жизнь, но, чтобы предупредить дурные последствия болезни, А.С. решила взять ее на юг, в Италию, где, во Флоренции, и провела с нею всю зиму и часть весны 1881 г.

Тем временем я втягивался в газетную работу не как дилетант, а как заправский журналист, и этим путем все более знакомился с жизнью Смоленской губернии, получая корреспонденции из разных уездов, часто негодные для печати, но все же дававшие кое-какие сведения, чаще же получая корреспонденции недостаточно литературные, которые приходилось исправлять. К числу последних принадлежали сообщения из г. Вязьмы от крестьянина, по ремеслу рукавичника, кажется по фамилии Горшков, чрезвычайно наблюдательного и всегда дававшего интересные факты. Я тщательно исправлял его слог и мог следить, как с каждой новой корреспонденцией его изложение становились все грамотнее и лучше. Очень скоро все сообщения этого крестьянина-корреспондента можно было посылать в типографию, не читая в рукописи, т.к. содержание их всегда было интересно. Очевидно, он тщательно перечитывал свои корреспонденции в печати и по ним учился, как надо писать. Это был самый лучший и самый достоверный корреспондент «Смоленского Вестника», когда я работал в нем. Газета шла не дурно, читалась и в Смоленске, и в губернии, но

не имела никакой собственной организации для более широкого распространения. Лично я никогда не входил в дела по издательству газеты и не знаю поэтому, приносила ли она доход своему издателю, или была в убыток, но думаю, что если не газета сама по себе, то вместе с типографией, принадлежавшей тому же Елишеву, она давала небольшой доход, вполне достаточный для своего владельца. Правда, мой труд не оплачивался, но Елишев и без моей помощи мог бы один справиться с работой. Сам Елишев был человек, который не то что не признавал принципов, а просто не имел их, и в данный момент был либерален, по сколько в обществе дул либеральный ветер. Когда подул ветер с противоположной стороны, Елишев оказался в другом лагере и писал статьи в «Московских Ведомостях» у Грингмута. Это был «практический человек», т.е. преследовавший определенные материальные выгоды. В самом начале своей общественной и литературной деятельности он подделывался под либеральное общественное мнение, позднее же, когда в обществе, под влиянием царевубийства, стали преобладать самые реакционные течения, он постепенно перестал считать нужным скрывать свои инстинкты и дошел до цинизма и наглости в отрицании всего, перед чем раньше приходилось склоняться. Работая со мною, он стеснялся обнаруживать свое нутро, как потому, что ему было невыгодно потерять дарового работника, так и потому, что на общественной бирже, до убийства царя, либерализм котировался выше реакции; тотчас же после убийства Елишев некоторое время еще колебался, не зная, как будет стоять курс, но под конец моего пребывания в Смоленске стало уже ясно, что курс будет в пользу реакции и видно было, что Елишев был уже готов служить ей. Тем не менее, я пока еще продолжал работать в газете, находя, что для местных интересов кое-что можно

сделать, тем более, что моя работа не подлежала контролю издателя.

Цензура, как всегда, была несносна, придирчива и мелочна. Она заставляла готовить материал для каждого номера втрое больше, чем требовалось для одного, и только ножницы, т.е. вырезки из газет делали возможной такую заготовку, хотя и в этом случае происходили курьезы, так как цензор (местный вице-губернатор), случалось, не пропускал в печать вырезки из «Правительственного Вестника». В большинстве случаев столкновения с цензурой происходили на почве корреспонденций из уездов. На местах непривычка к гласности производила переполох; начинался розыск автора, раздавались жалобы на газету, требование «сократить» ее или привлечь к суду автора, всегда самого неприятного человека для уездного официального мира. Я помню случай, когда даже такой просвещенный и либеральный человек, как известный профессор и писатель Александр Николаевич Энгельгардт обратился в редакцию с просьбой сообщить ему имя корреспондента, критически относящегося к его хозяйственному распорядку. Я предложил, отвечая на это требование, напечатать какое угодно опровержение, но решительно отказал в сообщении фамилии автора. Но А.Н.Энгельгардт не удовлетворился таким ответом и, будучи в Смоленске, лично заговорил по этому поводу, придавая своему желанию более приличный вид. Однако, редакция отказалась исполнить желание очень уважаемого общественного деятеля. Сколько я помню, автором корреспонденции был рукавичник Горшков, выше мною упомянутый.

Работа в редакции местной газеты неизбежно вела ко всякого рода встречам с новыми людьми, хотя все время я старался быть сдержанным в своих сношениях с новыми знакомыми, предпочитая позицию наблюдателя и тем более, что будучи поднадзорным и политически скомпрометированным, я не мог

быть уверен, что мое знакомство будет приятно. Мой первый обед у кн. Друцкого был для меня хорошим уроком, и я предпочел пересаливать в сторону отрицательную, чем недосаливать в положительную. В числе одних из первых моих знакомых был Александр Александрович Корнилов, в то время студент московского университета, а позднее, — профессор того же университета, известный московский врач и весьма яростный реакционер. Будучи еще студентом, он мнил себя настоящим профессором и держался важным, самоуверенным, оценивающим каждое свое слово, как нечто непогрешимое. Он был приятелем Елишева и проводил лето 1880 года у своей родственницы О.Н.Крушевич, в небольшой усадьбе верстах в 5-ти от Сломенска на правом, крутом берегу Днепра. Госпожа Крушевич была уже пожилая, по виду болезненная и очень добрая женщина. Как Корнилов, так и Елишев были у неё как свои люди, поэтому я принял их приглашение поехать вместе с ними в этот милый хуторок и был принят хозяйкой с такою же приветливостью, с какой она, конечно, встречала всех своих старых знакомых и гостей. После первого посещения я бывал там еще несколько раз; там всегда были свежие новости из Москвы, и Корнилов делился ими со мною. Он был в то время, как я сказал, еще студентом, но молодым человеком он, вероятно, никогда не был; рассказывал о студенческих сходках, на которых он всегда председательствовал, смотря на беспокойную и шумную студенческую молодежь сверху вниз, снисходительно, но пока еще либерально. Мне, однако, всегда казалось, что, став профессором, он едва ли будет одобрять допущение самих сходок, считая почти невероятным, чтобы нашелся ему достойный заместитель, для руководства ими — так твердо был он уверен в своей незаменимости.

В таких мирных и либеральных беседах протекало лето 1880 года, а затем быстро промелькнули и осень, и зима. Но

цареубийство 1 марта 1881 г. внесло очень крупный диссонанс в наши отношения, тем более, что вместе с Корниловым гостил у О.Н.Крушевич друг Корнилова, не помню, в то время приват-доцент или уже экстраординарный профессор по кафедре истории философии права, Н.А. Зверев, впоследствии член Государственного Совета. Мы, т.е. я, с одной стороны, а Зверев с Корниловым с другой, оказались в противоположных лагерях. Я стоял на том, что можно было осуждать убийство Александра II и даже бороться с террором, что я, по мере возможности, и делал, и за что подвергся ссылке, не переходя в лагерь белого террора, который был не менее вреден, чем красный, так как у первого была власть и выбор средств для более разумного управления Россией, чем виселицы, провоцирующие револьвер. Корнилов и Зверев были, напротив, охвачены чувством мести и считали всякие меры, как бы они ни были жестоки, необходимыми для подавления революционного духа в стране. Естественно, что мои посещения милого хутора прекратились сами собой.

Однако, круг моих знакомств все расширялся. Ежедневно я обедал в городском клубе, где обедало летом много служащих чиновников, жены которых уехали на дачу или в собственные имения, а мужья не поддерживали домашнего хозяйства. Посещение мною клуба, по-видимому, не производило никакого смущения среди обедавших и не препятствовало ни нашему знакомству, ни беседам. Вообще, я мало чувствовал полицейский гнет в 1880 году, и мне никто не препятствовал ни ездить верхом по окрестностям Смоленска, чем я часто пользовался, купив верхового коня у офицера расположенной в городе артиллерийской бригады, — ни кататься на лодке по Днепру. Это последнее удовольствие чуть не стоило мне жизни весною 1881 года. Я купил у рыбака маленькую выдолбленную из одного дерева лодку, и ранней весной, во время еще не

закончившегося разлива Днепра, отправился на этом челноке, вместе с Елишевым, на хутор г-жи Крушевич. Елишев греб, я же правил веслом, сидя на корме почти в уровень с водою. Елишев уронил одно из своих весел и, пытаясь схватить его, так неосторожно накренил лодку, что я вылетел из неё прямо в воду. К счастью, место крушения оказалось неглубже моего роста, и я кое-как выбрался на берег, таща за собою лодку с Елишевым, потерявшим голову и второе весло.

В течение всего времени моего пребывания в Смоленске я пользовался особенно дружеским расположением доктора Петра Федоровича Почтарева. Вскоре после моего приезда в Смоленск, я вынужден был обратиться к врачу. Не помню, указал ли мне кто-нибудь на д-ра Почтарева, или случайно я узнал о нем, но я отправился к нему за советом. Он принял меня чрезвычайно радушно, не как врач — пациента, случайно пришедшего к нему, а как добрый человек, готовый оказать помощь нуждающемуся в ней. Он прямо начал с того, что слышал обо мне и рад служить мне, чем и как может; а в конце визита решительно отказался получить плату и обещал заезжать ко мне во время объезда своих больных. И действительно, он навещал меня ежедневно, даже после того как врачебная помощь мне была уже не нужна. Оправившись, я познакомился с его женой Каролиной Осиповной, рожденной Довнарovich, тоже врачом, полькой, очень доброй, матерью трех маленьких детей, двух девочек и мальчика. В моем одиночестве я любил заходить в эту семью трудовых хороших людей, живших очень дружно. Почтарев стал убеждать меня обзавестись верховой лошадию и ежедневно ездить, чтобы предупредить последствия сидячей жизни и выразил готовность сопровождать меня верхом. С его помощью я купил лошадь, и мы с ним совершали довольно далекие прогулки по окрестностям Смоленска, когда у него было свободное время. Когда ко мне приехали мои дети

из Черниговской губернии, он также сердечно относился ко всей моей семье и оказывал нам всякие услуги, какие только мог. После нашего отъезда из Смоленска в Тверь он переехал в Тобольск, где получил место инспектора врачебной управы. С того времени я потерял его из вида, но до меня дошел слух о его смерти в Тобольске.

Осенью 1880 г. меня навестил брат, а после его отъезда — мой старый товарищ и друг В.А.Савич. Оба они пробыли у меня короткое время, и с их отъездом я еще большее почувствовал свое одиночество.

Наступил новый — 1881 год. Я встретил его в полном одиночестве. Впереди никаких перспектив...

В январе месяце, в морозный вечер я сидел у себя дома в квартире, которую я занимал, платя 25 р. в месяц, во флигеле дома Гринева, состоявшей из двух комнат. Звонок с улицы дал знать, что кто-то пришел. Я отворил дверь: передо мной стоял жандармский полковник Есипов, с которым лично я не был знаком, но фигуру которого узнал. В первую минуту явилась противная мысль об обыске. Но он начал с извинения, что обеспокоил меня в такое позднее время.

— Я знаю, как неприятно наше появление и какие толки оно может вызвать, в виду чего я и выбрал время, когда никто не может видеть моего посещения.

— Войдите, сказал я, недоумевая, что означает его визит.

Мы вместе вошли в мою комнату и сели один против другого. Я молчал в ожидании.

Полковник, с совершенно белыми волосами, придававшими ему старообразность, не соответствовавшую его румянному лицу, живым глазам и очень бодрому виду, приступил сразу к делу.

— Я решаюсь обратиться к вам с одной просьбой, которая может показаться вам странной, но я объясню вам всю суть дела. Каждый губернский жандармский полковник представляет отчет за истекший год о положении губернии. Для этого существовал шаблон, который и заполнялся из года в год, часто с повторением даже не вполне точных сведений. Говоря откровенно, я сам в течение двух лет давал сведения о двух поднадзорных, не зная, что они уже умерли. Теперь наступило время, как вам известно, не совсем спокойное, и я получил от графа Лорис-Меликова требование доставить сведения о состоянии губернии не по старому порядку, а совершенно новому, что ставит меня в довольно затруднительное положение. И вот, я подумал, что вы, занимающийся политическими вопросами, в этом отношении более сведущи, чем я, и что, может быть, вы согласитесь составить отчет для меня?

Я молча слушал.

— Не думайте, продолжал он, что я буду ставить вам какие-либо условия и стеснять ваше мнение. Вы можете писать все, что признаете нужным, а также давать отзывы о всех лицах, начиная с губернатора, сообразно тому, что вы о них думаете. Я дам вам все материалы, какие у меня имеются для того, чтобы вы брали из них все сведения, которые вам понадобятся. И я даю вам слово, что не изменю в вашем отчете ни одного слова без вашего согласия.

Неожиданность и странность такого предложения, исходившего от жандармского полковника, знавшего меня так же мало, как я его, побуждали меня не давать ответа немедленно и я попросил полковника дать мне 24 часа на размышление. Он тотчас согласился, выразив уверенность в моем согласии, и просил верить, что он честный человек и не позволит себе в чем-либо нарушить те обязательства, которые он берет на себя и о которых говорил.

Мы расстались, и я долго не мог уснуть, соображая все про и contra относительно сделанного мне предложения. На следующий день я сообщил Есипову, что принимаю его предложение, но под условием, что моя работа должна быть либо принята без всяких изменений, либо, в случае непригодности, возвращена мне, не подвергаясь использованию ни в целом, ни в самой малой части, что должно быть удостоверено предъявлением мне отчета перед его отсылкой. После этого нами были приняты все условия передачи мне всех материалов, причем я дал слово не снимать никаких копий. Затем мы обсудили, по инициативе полковника, меры на тот случай, если у меня будет предполагаться обыск, о котором я буду заранее уведомлен полковником, чтобы успеть возвратить ему все бумаги. После всех этих решений я получил большую связку материалов, главным образом, печатных трехмесячных сведений о политическом движении во всей стране, затем пакет с рукописными документами.

Получив все это, я принялся за составление отчета, причем имел случай убедиться, как небрежно и неправильно составляются эти трехмесячные отчеты. В одной из тетрадей я нашел сведения о самом себе, причем я назван был председателем мглинской уездной земской управы, хотя я никогда не был в г. Мглине и точно также никогда не состоял председателем никакой земской управы. В другой тетради я встретил столь же неправильные сведения и относительно Анастасии Сергеевны. Очевидно, доверять этим печатным материалам можно было лишь с большой осторожностью, проверяя их в каждом отдельном случае другими имеющимися материалами, а за неимением таковых, сопровождая их всякими оговорками.

Любопытны были старые жандармские отчеты о всех должностных лицах губернии и о всех губернских гласных. Это была сплошная нелепость, не имеющая никакого смысла, и

особенно относительно земских гласных; против фамилии каждого повторялся один и тот же вздор. В то время еще не существовало политических партий, принадлежность к которым хоть что-нибудь говорит; поэтому попадались, например, такие аттестации; консерватор, глуп; либерал-болтун, или нигилист, или атеист, в церковь не ходит, и т.п.

Я провозился с этой работой около двух недель, так как надо было пересмотреть все материалы. Единственный мотив моего согласия на такую работу — ознакомление со всеми материалами, которыми располагает жандармское ведомство и которые служат основой его деятельности, — был удовлетворен, и я мог достаточно убедиться в шаблонной примитивности деятельности того правительственного органа, который составлял главную пружину государственного управления в России. Отчет был написан мною в смысле необходимости переоценки значения общественного мнения, дарования большей свободы ему высказывать свои желания, ограничения цензуры, и главное — ограничения произвола органов власти и самого строгого подчинения ее органов предписаниям закона, нарушение которого составляет в настоящее время обычное явление в области управления.

Этот документ был передан мною Есипову со всеми материалами, а на следующий день он пригласил меня к себе, чтобы заявить, что принимает написанный мной отчет без всяких оговорок, а потому приглашает меня сверить его копию с моим подлинником. При этом он вручил мне мою рукопись и стал читать свой список. Когда тождество было установлено, прочитанная копия была в моем присутствии вложена в конверт, запечатана и отправлена на почту, а подлинник брошен в камин и сожжен. Таким образом, наши взаимные обязательства были закончены, и мы с ним расстались, довольные: — полковник тем, что рассчитывал на одобрение Лорис-Меликова, я

же тем, что узнал все карты, при помощи которых наше правительство играет жизнью и судьбой русских людей. Казалось, наши отношения с жандармским полковником окончены навсегда, но отношения, начавшиеся таким странным, почти невероятным образом, спустя полгода возникли вновь, при еще более странных и невероятных обстоятельствах.

Первого марта 1881 года грянуло событие исключительной важности: император Александр II — освободитель двадцати трех миллионов русских людей от крепостной зависимости, был убит; при этом убит людьми не того класса, который считал себя обиженным освобождением крестьян, ограбленным и недостаточно вознагражденным за потерю дарового труда и не прощал царю его великодушный, мудрый и необходимый государственный акт, а маленькой группой террористов, считавших себя мстителями во имя народа, который их на то не уполномочивал, а, напротив, строил церкви во имя святого патрона убитого царя или ставил этому царю памятники.

Прошло уже 40 лет со времени этого события, но и до сих пор Россия не имеет еще совершенно объективной истории и оценки, как царствования императора Александра II, так и его трагической смерти.

К сожалению, его преемники еще более сгустили политическую атмосферу России, в которой не было свободного места свободному слову, и привели свою страну к еще более страшной трагедии, — к разрушению самой России, под развалинами которой погибла и вся династия Романовых, уничтоженная при самых ужасных условиях, беспримерных в событиях нашего времени.

Едва ли в истории России можно указать царствование, в котором сочетались бы такие противоречия, какими отличалось царствование Александра II.

Наследовав престол после своего отца, он начал свое царствование актом великодушия, амнистируя декабристов и петрашевцев, остатки которых были возвращены на родину и восстановлены в своих гражданских правах, и затем громко заявил, что считает необходимым приступить к освобождению крестьян из крепостной зависимости. Это вызвало взрыв симпатии к молодому царю и даже Герцен приветствовал его, написав: Ты победил, Галилеянин! В знаменитом обращении царя к московскому дворянству, которому он напоминал, что мы живем в таком веке, когда освобождение должно случиться, и что «гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу», заключалась целая программа реформ русской жизни, которые «должны случиться», а потому лучше, чтобы их совершила государственная власть правомерно, чем они будут сделаны снизу, т. е. революционным путем. Естественно, что все умы были поглощены возрождением России, застывшей в жестокой и холодной атмосфере самодержавия. Достаточно вспомнить это время, чтобы признать его действительно эпохой великих реформ, какой Россия никогда еще не переживала: реформы крестьянская, судебная, земская, университетская, все они носят печать великих идей, привлекавших наиболее благородные умы той эпохи, которые ждали от них великих результатов. Увы! Ожидания оказались напрасными. Некоторые реформы уже в процессе их созидания подвергались крутому повороту назад, другие не выдержали столкновения со старыми привычками жизни и подчинились им.

Величайшая из всех реформ — крестьянская, начатая личной инициативой Александра II, со смертью Ростовцева, неумелого, но горячего сторонника реформы, готового слушать советы даже Герцена, перешла в руки гр. Панина, противника реформы и не желавшего принимать ничьих советов; реформа судебная, блестяще выполненная целой плеядой юристов, во

главе с С.И.Зарудным, почти непосредственно из купели перешла в руки гр. Палена, бывшего перед тем Псковским губернатором и начавшего немедленно изменять то ту, то другую статью Уставов и заполнять их «новеллами», в которых «старина слышалась»; земская реформа, — еще до своего рождения отобранная из рук Н.А.Милютина, — попала в руки бюрократа и реакционера Валуева, сделавшего из самоуправления «частное хозяйство», лишенное всякой свободы и переданное им в руки губернаторов для приведения его «в соответствие с требованиями и интересами государственного управления»; университетская реформа из рук Головнина, под влиянием Каракозовского покушения, передана была для практической обработки в руки гр. Д.А.Толстого, в течение 15 лет извращавшего образование юношества и подчинявшего его (образование) требованиям не просвещения, а полиции. Словом, ни одна реформа не была проведена в жизнь такою, как она была задумана. Даже реформы в освобожденной войною 1877/8 годов Болгарии, стоявшей на более низкой ступени культуры, более соответствовали духу времени и интересам народа, чем это было выполнено в России. И конец царствования Александра II, его последние два года, были целой цепью покушений на жизнь состарившегося царя: на улицах его резиденции, на пути его следования между Крымом и Петербургом, наконец, в самом его дворце, — его выслеживали и травили, как дикого зверя,...

Начавшееся так блестяще царствование закончилось такой жестокой трагедией!

На почве этих противоречий складывались отношения лично к императору всех классов населения, из коих в то время имели значение: 1. бюрократия; 2. бывшие помещики; 3. крестьянство и 4. интеллигенция. Торговый и промышленный

классы, равно как и рабочий тогда самостоятельного значения не имели.

Бюрократия представляет, особенно у нас в России, класс, интересы которого связаны не с личностью монарха и не с политикой правительства, а с учреждениями, в которых протекает ее жизнь, и с карьерой, которую можно сделать в возможно краткий срок. Монархический лозунг: *le roi est mort, — vive le roi!* — в этой среде осуществляется в полной мере не только с переменою царя, но и с переменой режима, так как каждый режим, — монархический, как и республиканский, — нуждается в опытной бюрократии. В Смоленске рассказывали, что, когда весть об убийстве императора была вечером получена в общественном клубе, где собираются преимущественно чиновники поиграть в карты, в первую минуту публика была ошеломлена и как бы оцепенела; но спустя несколько минут, кто-то из играющих обратился к своему партнеру: «ваш ход!», игра продолжалась и внимание сосредоточилось не на всероссийской трагедии, а на картах. Может быть некоторые возрадят, что это выдумка и клевета? Ничуть. Разве это не похоже на бал у французского посла во время коронационных празднеств, спустя несколько часов после гибели многих тысяч людей на Ходынском поле в Москве?

Нельзя отрицать, что и в среде русского дворянства, не только высшего, придворного, но и помещного, найдутся искренние легитимисты, но большинство только из чувства приличия оплакивает каждого скончавшегося монарха; относительно же Александра II, громадное большинство дворян в глубине души не любило его и считало врагом своего сословия, лишившим помещиков положения правящего класса и его наследственного достояния — земли. Они с трудом сдерживали свою радость по адресу преемника верховной власти —

Александра III, на дворянские чувства которого возлагали все свои надежды.

Совершенно иное отношение к убийству царя можно было наблюдать в среде крестьянства. Уже один тот факт, что царь освободил 23 миллиона крестьян от помещичьей власти и рабов превратил в свободных граждан, не мог не внушить русскому крестьянству чувства любви к своему Освободителю. Даже негры в Соединенных Штатах северной Америки чтут память освободившего их президента Линкольна, — неужели русское крестьянство могло бы так скоро забыть своего освободителя? Если бы это было возможно, то русский народ не заслуживал бы своей свободы, так как это свидетельствовало бы об отсутствии в нем элементарных моральных чувств. Но это было не так, и мы знаем, что крестьяне сооружали иконы в своих церквах во имя св. Александра Невского, патрона императора Александра II-го, и относились к нему с нескрываемой любовью. Иначе и быть не могло: в своей горькой жизни раба крестьянин возлагал свои надежды на Бога, Царя небесного, и Его помазанника, царя земного, единственного покровителя и заступника от всех угнетателей. И если эти чувства окончательно были вытравлены из глубины крестьянского сердца, то для этого все было сделано не столько революционной пропагандой, сколько произволом власти, ее жестокостью, равнодушием к крестьянской нужде и более всего реформой 1889 г., создавшей угрозу возвращения крепостного права, если не помещиков, то чиновников из дворян, — земских начальников. Такие опасения громко заявил крестьянин Новоторжского уезда, Пречистокаменской волости в сельскохозяйственном комитете в 1902 г., при энергической поддержке большого числа крестьян.

В день коронации императора Александра III в Смоленске было устроено большое торжество и улицы были полны наро-

дом, в числе которого выделялось много местных крестьян из соседних деревень. Около городского театра был поставлен огромный транспарант, закрывавший весь фасад театра, с изображением царской семьи: императора, императрицы и их детей; царь сидел в кресле, семья его окружала. Перед этим изображением, ярко освещенным сзади, толпилось множество простого народа. Рядом со мною стояла деревенская баба; долго, благоговейно всматривалась она в картину и вдруг прошептала: «и ножку-то, ножку голубчик выдвинул!» Ничего другого она не нашла, чтобы выразить свое чувство, но в ее голосе звучала бесконечная преданность этому воображаемому защитнику сырых и убогих... На эти чувства людей, все еще сохранивших в сердце своем любовь к царю, император Александр III так отвечал во время своих коронационных торжеств, обращаясь к депутации волостных старшин: «Слушайте советов и руководства ваших (?) предводителей дворянства и не верьте вздорным и нелепым слухам и толкам о переделах земли, даровых прирезках, и тому подобному.»

Преемник Александра III, Николай II, на своих коронационных торжествах повторил эту глупую речь, не понимая, подобно отцу, психологию крестьянства и его чувств к дворянству, к своим бывшим владельцам; оба они собственными руками разрушали тот фундамент, на котором еще крепко стоял их собственный трон.

Остается еще интеллигенция, которую я назвал классом, хотя она, конечно, не представляет собой группы, объединенной общим экономическим интересом, составляющим самый важный признак класса.

Интеллигенцию объединяют интересы умственные, образование, специальные знания, занятие наукой, литературой, искусством, все то, что носит название свободной профессии. Каждая профессия, в отдельности, может иметь характер

класса, но интеллигенция, во всей совокупности, никогда не может быть единой потому, что ее главная черта — индивидуализм, даже в том случае, когда индивид отрицает индивидуализм как социальное учение. Интеллигенция поглощает бесконечное разнообразие всевозможных мнений, направлений, интересов и социальных положений. Естественно поэтому, что и отношение интеллигенции к событию 1-го марта не могло представлять единообразия, и в этой среде можно было наблюдать суждения весьма разнообразные: от глубокого возмущения и негодования до полного сочувствия преступлению и квалификации его, как необходимого и неизбежного последствия той жестокости, которую проявляло правительство в борьбе с террористами и с теми, кого оно подозревало в связи с ними.

Нельзя отрицать, что в течение всего своего царствования император Александр II вел двойственную и противоречивую внутреннюю политику: одну подсказывали ему разум и государственный смысл, другую — отсутствие веры в здравый смысл своего народа, в самодовлеющую ценность свободы и ее морализующее влияние. С одной стороны, он признавал необходимость реформ и понимал, что надо проводить их сверху, чтобы они не проводились снизу путем революции, а с другой, он боялся реформ, выработанных людьми, которых он подозревал в либерализме, и слушал реакционеров-министров, соглашаясь на извращение реформ либо законодательным путем, либо простым толкованием их в жизни; удалял от дел таких людей, как Милютин, и передавал судьбу реформ в руки Паниных, Валуевых, Паленов и Толстых.

Так было со всеми реформами: крестьянской, земской, судебной и университетской. Извращались их смысл и дух всегда в ущерб права, гражданской свободы и уважения человеческой личности. Шаг вперед, за которым следуют попытки сделать

шаг назад, не принимая во внимание, что история человечества имеет только одно движение — вперед, и никогда не делает обратного хода безнаказанно.

Такие попятные попытки разрушают в обществе уверенность в завтрашнем дне, без чего общество не может спокойно развиваться. Благодаря основной черте своего характера, император Александр II воспринимал все события, нарушающие спокойный ход вещей, под внушением чувства страха, чем вся камарилья, его окружавшая, пользовалась в своих личных видах, нередко извращая самый смысл фактов и приписывая им содержание, которого они не имели. Так, в связи с польским восстанием и появлением в Петербурге революционных прокламаций, произвольно был обвинен известный писатель и публицист Н.Г.Чернышевский, который был судим старым порядком в Сенате, осужден и приговорен к каторжным работам без всякого основания. Как известно, Чернышевский пользовался большим влиянием в среде интеллигенции и молодого поколения, и, естественно, жестокий, необоснованный обстоятельствами дела приговор вооружил очень многих против Александра II, которого обвиняли в давлении на решение Сената. Я помню, что, спустя несколько дней после произнесения Сенатом приговора, мой брат и я, тогда студенты петербургского университета, были по поручению моего отца у знакомого с ним сенатора Александра Васильевича Кочубея, помещика нашего Борзенского уезда, каждое лето проводившего у себя в имении, Кунашевке. Кочубей оставил нас завтракать. Он был холостяк и в то время уже глубокий старик. Во время завтрака он сказал нам, что состоялось решение по делу Чернышевского и что он подал свой голос за оправдание, т. к. не видел никаких оснований для его обвинения, а он слишком

стар, чтобы кривить душой в угоду кому-либо⁷. Этот несправедливый приговор возбудил в интеллигенции чувство мщения, в течение многих лет не раз обнаруживавшее свою жизненность.

Выстрел Каракозова еще более усилил опасения императора, и он ответил на него назначением гр. Д.А.Толстого министром народного просвещения и репрессиями, которые никого не пугали, но раздражали очень многих и более всего учащихся, на стороне которых было и огромное большинство общества.

В 1878 году император в Москве обращается к сословиям с призывом помочь правительству в его борьбе с революционным движением, но в то же время учреждаются в некоторых крупных центрах, как Харьков, Киев, Одесса и других, генерал-губернаторства, с причислением к ним многих губерний (Киевскому генерал-губернаторству были подчинены 5 губерний) и предоставлением генерал-губернаторам безграничных полномочий, которыми они широко пользовались, особенно в Киеве генерал М.И.Чертков, а в Одессе — Тотлебен, прибе-

7 Н.Г.Чернышевский был арестован и заключён в Петропавловскую крепость в 1862 году, затем судим в 1864 г. в дореформенном порядке, при закрытых дверях в Сенате по обвинению в: 1. сношениях с Герценом; 2. составлении прокламаций к народу; 3. письме к поэту Плещееву преступного содержания. Он был приговорён к каторжным работам. Семь лет он провёл на каторге в нерчинских заводах, после чего водворён на жительство под строгим полицейским надзором в Сибири, на крайнем и пустынном севере, в Вилуйске. В 1883 г. ему было разрешено вернуться в Россию, но он был интернирован в Астрахани, а потом в Саратове, где в 1889 г. 17/29 октября умер.

гавшие беспощадно к смертным казням. Такой способ борьбы мог быть внушен только страхом, но не разумом, и действительно только один из генерал-губернаторов, Лорис-Меликов, понимал это, пытаясь перевести борьбу с виселиц на реформы. Но было уже поздно: с одной стороны, государь уже не был способен понять, что с каждым годом Россия все менее была склонна выносить произвол самодержавия, а с другой, революционная волна поднялась так высоко, что внушала мысль о близости победы освободительного движения. Примирение было невозможно.

Тем не менее не одно крестьянство, а весь русский народ из всех деяний Александра II сохранит благодарное воспоминание о величайшей из его реформ — освобождении 23 миллионов крестьян от рабства, а Россию от этого позора.

Убийство государя отразилось на газете «Смоленский Вестник» запрещением ее издания на восемь месяцев. Газете было поставлено в вину «неприличное» объявление, помещенное в особом прибавлении, выпущенном по получении известия о цареубийстве. Телеграмма об этом событии была помещена на одной стороне листка, другая же сторона оставалась пустою, но издатель, Елишев, пожелал и ее использовать и поместил на ней объявление, очевидно обменное, какого-то журнальчика, имевшего название «И смех, и грех.» Объявление было набрано огромными буквами, тогда как телеграммы были напечатаны обыкновенным шрифтом. Само собою разумеется, что ни крупный шрифт объявления, ни самое содержание объявления не имели никакого отношения к известию об убийстве царя. Но власти всполошились, произвели обыск в типографии и редакции и закрыли газету на 8 месяцев. Можно было находить поступок издателя газеты неприличным и бестактным, но закрывать газету на такой долгий срок значило

обратить особое внимание публики на всю эту глупую историю.

Выбор нового руководителя внутренней политики, сделанный новым императором, дал основание думать, что наступает эра политики славянофильской, так как гр. Николай Павлович Игнатьев, бывший перед последней турецкой войной послом в Турции, имел репутацию, совершенно, впрочем, незаслуженную, славянофила.

Вместо так называемой Лорис-Меликовской конституции вовсе на самодержавие не покушавшейся, проект которой по смерти Александра II был отвергнут Александром III, гр. Игнатьев наградил Россию «Положением об усиленной и чрезвычайной охране», высочайше утвержденным 14 августа 1881 г. в виде временной меры, но ставшим самым прочным базисом государственного управления, просуществовавшим вплоть до февральской революции 1917 года и бывшим опорой двух последних царствований.

Однако, на ряду с этим охранительным законом гр. Игнатьев учредил под председательством генерала Черевина комиссию для рассмотрения дел всех лиц, подвергшихся административным взысканиям: ссылке, полицейскому надзору и прочему, и для установления сроков для этих наказаний в пределах не свыше пяти лет. Само собою разумеется, что при преемнике гр. Игнатьева, графе Д.А. Толстом, срок этот был продлен до 10 лет, а практически, может быть, и совсем перестал применяться.

Творческая фантазия гр. Игнатьева не ограничилась этими двумя мерами; вероятно, он имел в виду продолжать реформаторскую деятельность и при новом государе, а потому воспользовался мыслью своего предшественника гр. Лорис-Меликова, и в апреле 1882 г. провел в комитете министров новый, приспособленный к «Положению об усиленной охра-

не», план преобразования губернских и уездных административных учреждений. Но его отставка помешала ему продолжать сооружение нового здания России. На этом фундаменте его преемник, гр. Толстой, построил так называемую Кахановскую комиссию, о которой будет речь впереди. Может быть, гр. Игнатьев предполагал довести России до Земского Собора, как некоторые наивные мечтатели ожидали, но он довольно быстро утратил свой авторитет (если только имел его) у царя, и в мае 1882 г., т.е. спустя год после своего назначения министром внутренних дел, был заменен гр. Д.А.Толстым, прошлое которого и характер его 15-тилетней деятельности в качестве министра народного просвещения, даже самая отставка его в видах уступки общественному мнению, — все это гораздо более говорило в глазах Александра III о его авторитарных воззрениях, чем легковесное славянофильство графа Игнатьева.

В мае месяце Анастасия Сергеевна, проведя в Италии всю зиму, а начало весны около Теплица, ради здоровья своей дочери, приехала в Смоленск из заграницы одна, чтобы узнать, возможно ли будет устроиться в Смоленске, и, пробыв здесь всего несколько дней, уехала в Теплиц с тем, чтобы забрать Софию и возвратиться вместе с нею в Смоленск, где в это время я должен был найти для неё квартиру. В июне она окончательно вернулась из заграницы в Смоленск и поселилась в доме Кульнева против стены, окружающей город. Место было тихое и спокойное, а дом старинный барский особняк, достаточно обширный, чтобы поместиться не только А.С. с дочерью, но и трем моим детям с гувернанткой. Спустя несколько дней, когда все было устроено, к А.С. явился полицейский пристав с требованием паспорта для прописки. Она не могла ему дать его, т.к. паспорт был отправлен в Москву в канцелярию генерал-губернатора для обмена заграничного паспорта на

паспорт, удержанный при его выдаче. Пристав согласился обождать, но просил дать ему расписку в том, что по получении паспорта из Москвы он тотчас будет явлен в полицию. Такую расписку А.С. собственноручно написала и передала приставу. После этого все успокоилось, и А.С., со всеми 4-мя детьми и Каролиной Ивановной переехала до конца лета на дачу в 5 верстах От Смоленска по Красненской дороге в имении Энгельгардта, — Александровское. Это была прекрасная старинная усадьба с большим, запущенным парком. Дом был ветхий, но для летнего пребывания вполне удобный. Я оставался в городе, хотя мне никто не препятствовал постоянно ездить в Александровское, для чего мы обзавелись лошадью.

В то время, когда мы наслаждались деревенской идиллией, в Смоленске обнаружена была «крамола». Губернатор, вице-губернатор, городской голова, прокурор, жандармский полковник и другие «нотабли» получили анонимные письма с призывом к неповиновению новому императору, по адресу которого притом были употреблены крайне грубые выражения. Губернатор, Лев Павлович Тамара, бывший Преображенский офицер, потом председатель полтавской губернской земской управы, затем, кажется, харьковский вице-губернатор и, наконец, смоленский губернатор, был очень встревожен такой дерзостью анонима, а потому немедленно пригласил к себе жандармского полковника для совещания о необходимых мерах к раскрытию виновного. Полковник Есипов тоже получил такое письмо, а потому и в видах быстроты действий Тамара предложил Есипову взять для этой цели очень опытного сыщика, который был лично известен губернатору и состоял при нем на службе в качестве чиновника. Есипов, однако, отказался и предпочел пользоваться своими средствами. В тот же день он виделся с местным прокурором, Влад. Вас. Давыдовым, также получившим подметное письмо. Таким образом,

первые шаги расследования были сделаны. В тот же вечер Есипов зашел к княгине Суворовой, известной львице и красавице уже весьма почтенных лет, похоронившей двух мужей и бросившей третьего для четвертого — губернатора Тамары, связи с которым она не скрывала и даже афишировала. Едва полковник Есипов появился в салоне княгини, как она точно ждала его, чтобы излить свое негодование, протянула ему записку со словами «читайте»! Записка была получена ею в тот же день, но адресована на имя ее дочери, княгини Четвертинской, и приложена к пачке любовных писем Суворовой к своему возлюбленному — Тамаре. Получилась неожиданная развязка. Дочь вернула матери ее письма вместе с препроводительной запиской, авторство которой не оставляло никаких сомнений. И княгиня Суворова принялась бранить своего изменника, нисколько не стесняясь всей скандальностью и своего личного поведения, и всей этой истории вообще.

Полковник Есипов стал читать записку, но по привычке жандарма более обратил внимание на искусственность ее почерка, чем на ее содержание, так как он вдруг увидел очень большое сходство этого почерка с почерком «революционных» писем, полученных губернатором и им самим. Есипов попросил разрешения взять с собою записку, чтобы дома лучше рассмотреть ее, на что княгиня, очевидно, в порыве гнева охотно согласилась. Есипов, взяв записку, отправился на следующий день к прокурору Давыдову и предложил рассмотреть ее вместе с полученными ими подметными письмами, и чем более они сличали буквы и слова, тем более убеждались в тождественности почерков. И так, письма и записка к Четвертинской были написаны одной рукой, т.е. губернатором Тамарой.

Между тем, как Есипов придумывал, как ему поступить, Тамара действовал. Он снова пригласил Есипова и сообщил

ему, что пока тот производил расследование, он, губернатор, с своей стороны производил тоже расследование и имеет доказательства, что письма написаны измененным почерком графиней Паниной (т.е. Анастасией Сергеевной), но, конечно, под диктовку Петрункевича. При этом Тамара предъявил Есипову расписку, выданную полицейскому приставу Анастасией Сергеевной по поводу паспорта.

— Вот подлинный почерк графини Паниной, заявил Тамара, и нет сомнения, что письма, полученные нами, написаны измененным почерком, т.к. в обоих почерках имеется несомненное сходство.

Есипов имел уже сведения, что у Тамары был свой сыщик, если не ошибаюсь, по фамилии Орлов, которого Тамара предлагал Есипову для расследования дела о письмах, но от которого полковник отказался, т.к. знал Орлова за негодяя, обделывавшего разные секретные дела Тамары, который в данном случае и пользовался услугами своего фактотума.

— В виду этого, продолжал Тамара, я уже сообщил министру об этом случае революционной пропаганды и высказал ему свое мнение, что Петрункевича следует административно выслать в Сибирь, а графиню можно оставить в Смоленске под надзором полиции.

Вслушав все это, Есипов, по его словам, был поражен наглостью Тамары и прямо от него отправился к прокурору В.В.Давыдову, чтобы передать ему сообщение, сделанное ему губернатором и обсудив положение, решить, что делать. В беседе с Давыдовым Есипов, между прочим, рассказал ему один случай, который показался ему ключом к этой странной истории. По словам Есипова, однажды летом губернатор Тамара и он, Есипов, обедали у городского головы, Александра Платоновича Энгельгардта (впоследствии архангельского губернатора). Обедали они втроем и за обедом было выпито

немало шампанского. Среди какого-то разговора, Тамара сказал: «хорошо было бы жениться на графине Паниной», на что Энгельгардт возразил: «по слухам она выходит замуж за Петрункевича». — «Ну, Петрункевича можно убрать в Сибирь», ответил Тамара, «а Панину попридержать в Смоленске. Это можно устроить.» По-видимому, заключил Есипов, Тамара и начал это устраивать.

После обсуждения дела с Давыдовым, оба они решили уведомить обо всем министров: Есипов — министра внутренних дел, а Давыдов — министра юстиции. Этим дело собственно и кончилось, причем мы и не подозревали, какая гроза скопнется над нашими головами. Только спустя почти год мы узнали об этом от самого Есипова, который рассказал мне все, что мною изложено выше с возможной полнотой и точностью, и передал мне копию посланного им министру донесения. Он взял при этом с меня слово, что до его смерти я не воспользуюсь этим документом, в виду возможных репрессий, могущих быть принятыми против него.

Не помню, в 1881 или в 1882 г., пока гр. Игнатъев еще был у власти и не вышел в отставку, А.С. была у него не в качестве гостыи и двоюродной сестры, а по делу, как у министра, и в общем разговоре она услышала от гр. Игнатъева такую фразу: — «Ведь я не выслал Петрункевича в Сибирь, как на том настаивал губернатор Тамара, а перевел самого Тамару в Житомир. Он там, в Смоленске, запутался в бабьих делах.» А.С. молчала, связанная словом данным Есипову.

Эта случайно сказанная фраза была прямым подтверждением рассказа полковника Есипова, записанного мною немедленно после его сообщения. А в то же время она, эта фраза, служит неопровержимым показателем того невероятного морального падения, которым отличался весь наш самодержавный строй сверху донизу.

За все, что проделал губернатор Тамара в Смоленске, министр, его главный начальник, нашел достаточным переместить провинившегося губернатором же в Житомир: авось, там он не станет так неловко проявлять своих матримониальных наклонностей. И только всего? В скорости Тамара был повышен по службе и назначен сенатором первого департамента, т. е. того именно учреждения, которое заменяет у нас административный суд и рассматривает все жалобы на незаконные действия администрации! Что может быть уродливее и в то же время трагичнее этого признака разложения государственной власти?

К истории подложных писем губернатора Тамары я могу прибавить еще историю подложного протокола, посредством которого жандармерия пыталась уловить в свои сети А.С., подозревая ее в снабжении киевских террористов денежными средствами. Эта история прекрасно характеризует ту власть, в руки которой было передано производство расследований политических преступлений.

Во время пребывания А.С. в Петербурге, кажется, в сентябре месяце ко мне явился молодой человек, приехавший из Одессы, чтобы переговорить с нею по поводу одного важного для него дела, но узнав, что ее нет дома, обратился ко мне с просьбой помочь ему. Я предложил ему изложить его дело, обещая передать А.С. все, что он мне скажет.

Молодой человек, студент киевского университета, по фамилии, если память мне не изменила, Маслов, был приглашен А.С. давать ей уроки математики в виду поступления ее на киевские высшие женские курсы, что он и делал до отъезда ее весной на дачу. Спустя некоторое время он был арестован в Одессе по обвинению в содержании в г. Киеве конспиративной квартиры, которою он якобы заведовал и на содержание которой он, будто, получал деньги от гр, Паниной. При допросе его

в одесском жандармском управлении ему был предъявлен протокол допроса А.С. по тому же обвинению, в котором она будто бы подтвердила, что действительно деньги на содержание конспиративной квартиры выдавала ему, Маслову. — «Вы сами читали протокол», перебил я Маслова, «или его читал вам жандарм?»

— Да, мне дали протокол и я сам читал его.

— Вы хорошо знаете почерк или подпись гр. Паниной?

— Нет, я его совершенно не помню.

— В таком случае вы читали подложный протокол, т.к. мне хорошо известно, что никогда такого показания А.С. не давала, хотя ее и вызывали еще в 1880 году в Москве в жандармское управление, где она категорически заявила, что готова дать все сведения, относящиеся лично к ней, но заранее предупреждает, что не будет давать никаких показаний относительно других лиц. Протокол именно в таком смысле и был ею прочитан и подписан. Поэтому вы можете категорически утверждать, что предъявленный вам протокол написан и подписан не графиней Паниной.

Молодой человек был очень обрадован таким разъяснением дела и сообщил, что должен спешить в Одессу, т.к. получил отпуск из жандармского управления на самый короткий срок.

Предъявление жандармами при допросах политических обвиняемых подложных протоколов было одним из обычных способов получения признаний допрашиваемых. Очевидно, и в данном случае был пущен в дело подлог, чтобы выяснить, из каких источников террористы получали денежные средства, притом довольно значительные. В то время в Киеве был распространен слух, что средства получались либо от госпожи Субботиной, богатой, кажется, курской помещицы, либо от гр.

Паниной. Первая была привлечена и, кажется, сослана по этому делу со своими дочерьми в Сибирь.

Наступал 1882 год, встреченный нами не без радости и надежды; мы не подозревали, что здесь, в Смоленске, над нашими головами собирается гроза и что в Петербурге затеваются против А.С. меры, жестокость которых превосходит все, что можно было ожидать со стороны родственников ее первого мужа, отца ее дочери. В начале весны ко мне зашел полковник Есипов, по своему обычаю, поздно вечером, и не говоря прямо, старался дать мне понять, что нам что-то угрожает из Петербурга, причем намекнул, что было бы лучше, если бы А.С. вместе с дочерью, хотя бы временно куда-нибудь уехала. Продолжая этот разговор, естественно встревоженный, я старался поймать нить этой очевидно новой интриги и в конце концов мне удалось узнать, что дело затевается со стороны родных Софьи по ее отцу. Когда мы с А.С. обсудили все, что мне удалось узнать от Есипова, мы решили, что во избежание всяких случайностей она с дочерью уедет в Одессу. Это решение было быстро приведено в исполнение, и я остался один с тремя моими сыновьями и их воспитательницей К.И.Лукас.

Очень скоро по прибытии в Одессу А.С. окончательно выяснила, что родная бабка Софьи, мать ее отца, графиня Наталья Павловна Панина хлопочет об отобрании ее внучки от матери, что уже отчасти и осуществляется «освобождением» по высочайшему повелению Анастасии Сергеевны от опеки над своей дочерью и о назначении опекуном последней члена Государственного Совета Сольского.

Тем временем дело о моем разводе, по взаимному соглашению с моей первой женой производившееся в смоленской духовной консистории, подходило к концу. В виду этого, путем переписки было нами принято, что около 12-15 августа А.С. приедет в Смоленск вместе с дочерью, где будет соверше-

но наше бракосочетание, а затем она выедет в Петербург, чтобы отстаивать свои материнские права. 16 августа 1882 г. состоялось наше очень скромное венчание, а на следующий день моя жена выехала вместе с дочерью в Петербург. Мы имели наивность думать, что есть предел произволу и беззаконию, который новый царь не переступит, что тень его отца предостережет его вступать на тот путь, который привел его отца к такому трагическому концу.

Приехав в Петербург, А.С. поселилась с дочерью в Европейской гостинице и ежедневно сообщала мне обо всем, что она предпринимала по своему делу. Между прочим, она сообщила, что, обедая у гр. Левашевой, родной тетки Софьи и одной из деятельных участниц в заговоре, она объявила, что вступила в брак со мною. Это сообщение произвело своей неожиданностью видимую сенсацию, и с того времени А.С. стала замечать, что она окружена в гостинице сыщиками, следящими за ней и за Софьей неотступно, очевидно, в предупреждение скрытия последней, так что однажды, когда А.С. пожелала поехать в Царское Село, где жил ее брат, ей пришлось встретить неожиданное препятствие: она заметила сыщиков, которые на ее глазах успели запереть выходную дверь вокзала и лишили ее возможности выйти на перрон. Пока она искала другого выхода, поезд ушел, и она вынуждена была вернуться домой.

Однако, ей до сих пор ничего не объявляли, — можно было думать, что вопрос еще не решен. Но, наконец, она получила новое подтверждение планов родни. Швейцарец Ренц, гувернер детей гр. Левашевой, проникнутый чувством негодования по поводу ничем не оправдываемого готовящегося насилия над А.С. и ее дочерью, пришел к ней и дал прочесть письмо графини Левашевой и гр. Комаровской к графу Д.А.Толстому, министру внутренних дел, с просьбой содей-

ствовать их матери, графине Н.П.Паниной, в ее хлопотах у государя об отобрании их племянницы, а ее внучки от матери, вышедшей замуж за «террориста», который воспользуется состоянием ее дочери, чтобы передать его своим товарищам террористам.

Сомнений больше не было. Оставалась еще одна слабая надежда, что семья самой А.С. поможет ей своими связями при дворе спасти дочь и ее от непоправимого и бесчеловечного удара. Но и эта надежда оказалась тщетной.

В октябре 1882 г. наступил роковой день, когда в гостиницу, где жила А.С. явился к ней петербургский градоначальник и объявил, что, по высочайшему повелению, он прибыл, чтобы отобрать ее дочь, одиннадцатилетнего ребенка, и доставить ее в Екатерининский институт, где она и останется.

Не трудно представить себе, какое нравственное испытание и потрясение пережила мать при получении такого удара, хотя уже ожидаемого, но все-таки совершенно неожиданного по своей моральной невероятности. Что было делать? Сопротивляться? Об этом не могло быть и речи: всякая попытка к сопротивлению могла иметь последствием страшное душевное потрясение ребенка и затем полную разлуку с дочерью, если не навсегда, то на многие годы.

Анастасия Сергеевна объявила градоначальнику, что сама отвезет свою дочь в институт. Он не возражал, и А.С. в сопровождении градоначальника должна была передать своего ребенка начальнице института, немке Бюнтинг, по царскому приказу принимавшей на себя материнские обязанности, насильственно отнятые от живой матери.

Это преступление против всех не только человеческих, но и божеских законов совершилось по воле царя и с одобрения царицы Марии Федоровны, главы, в то время, всех женских институтов. Одно ее слово могло бы все остановить. Но такое

слово не было сказано, и преступление было совершено. Оно было сделано без всякого расследования, без проверки обвинения и фактов, на которые опиралось, без суда, без выслушания матери, без предоставления ей защиты своих материнских прав, без судебной защиты прав ребенка, Это было чудовищное насилие верховной власти и попрание закона, гарантирующего каждому русскому подданному судебную защиту его гражданских и семейных прав. Это было разрушение семьи, составляющей основное зерно человеческого общества. И все это было сделано в угоду той «опричнине», которая окружала царскую власть и признавала ее санкцию достаточной для освобождения себя от всяких законов гражданских и нравственных, и от всяких требований совести. Привилегия положения и богатство — основа этой среды; угодничество — ей средство. По своему рождению и родству А.С. принадлежала к этому классу, но она давно покинула его и не желала его привилегий ни для себя, ни для дочери, давая ей воспитание, которое не осудил бы ни один здравомыслящий человек. Но из письма графинь Левашевой и Комаровской к гр. Толстому, министру внутренних дел, видно, что дело шло не о дефектах воспитания, а о сохранении родового богатства, принадлежавшего по наследству ребенку, и будто бы подвергавшегося опасности перейти в руки террористов, вследствие замужества матери. Обращение к защите царя слишком грубо и явно рассчитано было на еще не зажившую рану, нанесенную террористами императору, как государю и сыну; тем не менее, может быть именно это напоминание оказало свое действие на решение...

Маленькая и единственная дочь Анастасии Сергеевны лишилась матери. Ради чего? Письмо графинь Левашевой и Комаровской дает категорический ответ на этот вопрос: ради

спасения семейного богатства, которое могло, по их ни на чем не основанному мнению, перейти в руки террористов.

Я заново всю эту печальную семейную историю в свои воспоминания только потому, что она выходит за пределы чисто семейных дел, вследствие вмешательства в нее самодержавной власти царя, исключаящей все формы обвинения и защиты и деспотически разрушающей главный устой семейной жизни.

Анастасия Сергеевна приняла решение остаться в Петербурге на всю зиму, взять квартиру и забрать моих детей с их воспитательницей Каролиной Ивановной, так как, только оставаясь в Петербурге, она могла видеть свою дочь в институте и следить за состоянием ее здоровья и душевного настроения.

Если устроиться в Петербурге не представляло больших затруднений, то свидания с Софьей, напротив, представили немало трудностей; свидания допускались только в определенные дни и в установленные часы притом не иначе, как в присутствии пепиньерки, на обязанности которой было наблюдать за поведением... как матери, так и дочери. Только ограниченность ума и бездушие могли установить такую меру и еще раз показать, в какие руки было передано воспитание ума и сердца одиннадцатилетней девочки.

Переселение А.С. в Петербург на зиму 1882-3 года, вместе с моими детьми, снова возвратило меня к сугубому одиночеству, в котором меня не покидала мысль о последствиях жестокого удара, выпавшего на ее долю. Но я был рад, что она взяла к себе моих детей, так как забота о них, занятия с ними языками и самое общество их могли отвлекать ее от всеподавляющей мысли о дочери. Осенью я получил от неё сообщение о болезни моего сына Александра, мальчика, подававшего нам большие надежды не только своими умственными способно-

стями, но и характером, трудолюбивым и устойчивым. А.С. мне сообщила, что врач констатировал брюшной тиф и что она попробует выхлопотать мне разрешение приехать в Петербург. Спустя день-другой, я получил от губернатора Кавелина, сменившего Тамару, приглашение явиться к нему немедленно. Генерал Кавелин встретил меня очень приветливо, объявил, что он получил телеграмму о разрешении мне приехать в Петербург на 10 дней к больному сыну, всячески выражал мне свое сочувствие и сказал, что сейчас отдаст распоряжение в свою канцелярию, чтобы мне тотчас же выдали проходное свидетельство, так чтобы я успел попасть на первый поезд. Словом, обнаружил столько доброты, понимания моего положения и вообще человеческой души, что я вышел от него с чувством глубокого к нему почтения. Вернувшись к себе, я нашел телеграмму от А.С. о разрешении. Таким образом, в тот же день я выехал в Петербург и на следующий день был уже в своей семье. А.С. жила на Бассейной в 4-м этаже. Сына я застал в трудном положении, но врач считал состояние больного вполне благоприятным, устраняющим всякие опасения. На следующий день мы узнали, что внизу на лестнице уже караулит меня какое-то гороховое пальто и что, следовательно, вопрос о моих посещениях знакомых, а равно и о посещении ими меня сам собою устраняется. Тем не менее, в течение этих дней мне удалось убедить А.С. допустить старому моему приятелю, скульптору П. П. Забелло, сделать ее бюст. Бюст был сделан и отлит из гипса и находился у нас и в Твери, и в Москве, и в Гаспре, и снова в Петербурге. Переезжая в последний раз в 1915 году в Крым, А.С. подарила его своей дочери. Сохранился ли он теперь или украшает квартиру какого-нибудь большевистского комиссара, никому из нас не известно.

Хотя мое пребывание в Петербурге в течение разрешенных мне десяти дней отличалось очень замкнутым образом жизни, тем не менее я имел случай раза два встретиться с графом Павлом Петровичем Шуваловым, флигель-адъютантом императора и фактическим главою «священной дружины», организованной для охраны жизни императора Александра III, и ведшей в это время борьбу с министром внутренних дел гр. Д.А.Толстым. Граф Шувалов был раньше знаком с А.С. и, вероятно, желал выразить ей свое сочувствие, посещая ее теперь и оказывая ей маленькие услуги. Так, он освободил ее от назойливой слежки шпионов, которые всякий раз, когда она выходила на улицу, следовали за ней по пятам, куда бы она ни шла. Эти шпионы Толстого так надоели ей, что она выходила на улицу лишь в случаях крайней необходимости. Узнав об этом, гр. Шувалов обещал, что он избавит ее от этих филеров, и действительно, после этого шпионы исчезли.

Гр. Шувалов выразил желание познакомиться со мною и побеседовать о положении России. Я знал, что он вел какие-то переговоры с Гольцевым в Москве и выдавал субсидии заграничной прессе, поддерживавшей идею конституционной монархии в России. Очевидно, он хотел говорить со мною на ту же тему, так как знал, впрочем, очень поверхностно и о моих конституционных попытках. В условленный вечер он пришел, и мы познакомились. Я не скажу, чтобы он произвел на меня большое впечатление и внушил бы к себе полное доверие, тем не менее весь вечер мы говорили о политическом положении России и о необходимости конституционной реформой заменить самодержавие. В конце концов, для меня было ясно, что конституцию он мыслит в аристократической форме, с палатой англо-русских лордов. Вместе с тем, он придавал большое значение местному самоуправлению с усилением влияния не дворянства вообще, а аристократии.

На следующий день он прислал мне свою записку по этому вопросу, недостаточно разработанную, чтобы можно было составить ясное представление, каким образом он полагал возможным на русской почве строить подобие английского порядка, да еще при таком царе, каким был Александр III, неподвижный ум которого не допускал никакого движения вперед и симпатии которого были далеко позади своего времени.

Граф П.П.Шувалов был хорошо образованный и живой молодой человек, но, переоценивая свою среду, он считал ее способной принять конституционный порядок, прежде всего лишаящий ее тех благ земных, которые на нее лились с царского престола и предоставляли ей так много привилегий. В этом он так же ошибался как не понимал и характера своего повелителя, поручившего управление Россией графу Д.А. Толстому, крайнему реакционеру, весьма подходившему ко взглядам самого Александра III-го. Известно, что попытка аристократической группы, так называемой «священной дружины», с гр. Воронцовым-Дашковым, министром Двора, и гр. Шуваловым во главе, свергнуть гр. Толстого окончилась полной неудачей и удалением от двора гр. Шувалова, вернувшегося к своим занятиям химией, кажется, его научной специальностью, и сельским хозяйством.

Между тем, срок моего «отпуска» истекал, и я вынужден был покинуть Петербург. К счастью, здоровье моего сына стало заметно поправляться, и я мог уехать с полной надеждой на его выздоровление.

Опять я в Смоленске в полном одиночестве, так как я не имел тут никого, кто был бы близок мне. До сих пор не знаю, по какому случаю гр. Д.А.Толстой нашел нужным в это время наложить свою тяжелую руку на переписку между А.С. и мною. Эта переписка была нашим единственным утешением, и

мы писали друг другу то большие, то малые письма, но ежедневно. Вдруг, без всякой видимой причины жандармский полковник Есипов, очень смущенный, сообщил мне официально предписание министра внутренних дел контролировать всю мою переписку, т.е. все, что получалось на мое имя на почте и на телеграфе, направлять к жандармскому полковнику, а мои письма я должен был отправлять не иначе, как через того же жандармского полковника. Но этого мало. Есипов сообщил мне частным образом, что ему предписано Толстым снимать копии со всей моей переписки и препровождать ему. Это распоряжение гр. Толстого так возмутило нас обоих, т.е. меня и А.С., что мы оба, без всякого сговора, приняли одинаковое решение — высмеивать или бранить Толстого в каждом письме, и мы оба неукоснительно держались принятого решения. Первое же письмо мое, предоставленное Есипову, заключало в себе уведомление о контроле нашей переписки по распоряжению гр. Толстого, а затем все остальное было занято весьма резким разбором этого распоряжения и весьма нелестными суждениями, относящимися лично к Толстому. Прочитав «по тяжкому долгу службы» это письмо, Есипов заявил мне, что он не может принять от меня такого письма, тем более, что он должен был бы снять копию с него и препроводить непосредственно министру. В свою очередь, я возражал, что ему предоставлено читать мои письма и посылать с них копии, но не предоставлено права отказа в принятии моих писем по своему усмотрению. Мы с ним долго спорили на эту тему, он даже уронил слезу, уверяя, что ему в первый раз приходится вторгаться в интимную жизнь супругов, которых он лично очень уважает, но, в конце концов, он объявил, что посоветуется с губернатором, которым был в то время, как я уже сказал раньше, не негодяй Тамара, а совершенно порядочный и добрый

генерал Кавелин, оказавший мне столько внимания, когда я получил разрешение приехать в Петербург.

По словам Есипова, Кавелин выслушал его, расспросил, как он убеждал меня, что он говорил мне и что говорил ему я, и с своей стороны заявил, что делать нечего, что я (пишущий) понимаю, что делаю, и какие могут быть для меня последствия, и что ничего более не остается, как письмо отправить.

И с этого дня мы с А.С. ничего другого не писали друг другу, как варьировали тему первого моего письма. Спустя две или три недели, не более, Есипов радостно и с большим вздохом облегчения объявил мне, что распоряжение о контроллинге нашей переписки министром внутренних дел отменено.

Мне кажется, что я не ошибусь, если скажу, что эта мера была принята не для того, чтобы узнать, что мы с женой пишем друг другу, а в предположении, что в нашей переписке может оказаться нить, ведущая к графу П.П.Шувалову, который вел борьбу с графом Толстым, желавшим ущемить своего противника. Когда убедились, что следов такой нити не имеется, контроль был отменен.

В конце мая 1883 г. мне было объявлено, что комиссия, назначенная еще при гр. Игнатьеве для рассмотрения дел, относящихся к административной ссылке, состоявшая под председательством генерала Черевина, определила мне срок пятилетний, считая со времени образования комиссии, но предоставила мне право избрать любой город или вообще место для жительства, за исключением столиц — Петербурга и Москвы.

Я немедленно заявил, что избираю для жительства г. Тверь, где жил мой брат, где жила семья Бакуниных, откуда было рукой подать в Москву и Петербург, где А.С. проживала и в данный момент, и куда она постоянно будет стремиться ради свиданий с дочерью. Я немедленно уведомил ее, и мы

тотчас решили, что мои дети уедут на лето в Плиску, а А.С. должна приехать из Петербурга в Смоленск, чтобы вместе со мною уложить наши вещи, а засим ехать в Тверь, где мой брат уже ждал нас. Собрались мы очень быстро и тронулись в Тверь, покинув Смоленск, где я прожил ровно три года. В Москве мы не останавливались и прямо с Брестского вокзала переехали на Николаевский. В Тверь мы прибыли в июне 1883 г.

Глава VIII

Тверь — Губернатор Сомов — Семья Бакуниных — Павел Александрович Бакунин — Страницы из семейной хроники: мой брат Михаил Ильич

В июне месяце, накануне нашего приезда в Тверь, мой брат предупредил губернатора Сомова о моем приезде и спросил, когда он может меня принять, если он желает меня видеть. Сомов назначил следующий после приезда день, в 9 ч. утра. Я не помню числа, когда мы приехали, но все внешние события первых дней пребывания в Твери запечатлелись в моей памяти очень живо.

На следующий по приезде день около 9 ч. утра, как было назначено, я вошел в дом губернатора. Швейцар мне заявил, что губернатор принимает в саду. Я просил доложить ему обо мне. Через минуту меня провели в садик около дома, где в тени дерева сидел старый господин, одетый с иголки, окруженный своим штабом: правителем канцелярии, полицеймейстером и еще какими-то чиновниками. Первых двух я уже видел в день моего приезда, т.к. был обязан явиться к ним и представить свой «проходной билет», в котором были обозначены маршрут и правила, которым я должен был следовать.

Губернатор, Афанасий Николаевич Сомов, пригласил меня сесть и тотчас спросил:

— Зачем вы приехали сюда?

— Я получил разрешение избрать любой город для жительства и избрал Тверь, потому что здесь живет мой брат.

— Вы доставили бы мне большое удовольствие, если бы избрали другой город и уехали отсюда.

— Я был бы очень рад доставить вам это удовольствие, если ваше превосходительство испросите мне у министра

внутренних дел разрешение уехать за границу, так как в России я в каждом городе, избранном мною для жительства, могу встретиться с таким же желанием местного начальства, какое вы выразили.

Губернатор замахал на меня обеими руками:

— Что вы, что вы! чтобы я обратился к графу Дмитрию Андреевичу с такой просьбой!?

— В таком случае, возразил я, весьма сожалею, что не могу доставить вам удовольствие, ибо, помимо всякого желания, вынужден остаться в Твери.

— Ну, как знаете, только ваше пребывание доставит мне много хлопот и всякой переписки.

На этом моя аудиенция прекратилась, я раскланялся и отправился домой.

Губернатор А.Н.Сомов был одним из самых добродушных губернаторов, о чем говорила вся его фигура. Старик, с голым черепом и необыкновенно розовым и свежим лицом, старый холостяк и угодник пожилых аристократических дам, был и остался типическим губернским предводителем дворянства, каким он был в Воронежской губернии до назначения на пост тверского губернатора. Поэтому, прежде всего, он желал быть или казаться светским человеком и в качестве старого холостяка предпочитал общество дам, утративших молодость, но еще не начавших стареть, притом более или менее принадлежащих, если не к высшей аристократии, то к губернской, имеющей связи в Петербурге. Он был человек очень богатый, составивший себе, как говорили, крупное состояние довольно обычным в то время путем. В качестве губернского предводителя и влиятельного человека среди воронежского дворянства, в составе которого числилось немало аристократических и очень богатых фамилий, владевших громадными латифундиями, с

помощью таких связей он получил концессию на железную дорогу, но вовсе не для того, чтобы строить ее, а чтобы перепродать ее настоящим дельцам. То было время, когда перепродавались концессии не только на постройки железных дорог, но даже на издания газет и журналов, так как только люди с соответственными связями могли получить право на издание, и известны случаи, когда «счастливыцы» обладали правом не на одно издание, наживая на этой операции крупные деньги. Такие операции вовсе не считались предосудительными, и продавцы концессий могли пользоваться отличной репутацией. Таковую репутацию имел и тверской губернатор, о котором злые языки шутили, что в слове «еще», состоящем из трех букв, он делал четыре ошибки, так как писал — «есчо», но это была ходячая выдумка, повторяемая тверскими остряками. Почтенный «хозяин» губернии и не претендовал на особую образованность, памятуя, что своего высокого положения он достиг не с помощью грамматики, а знанием жизни, умением пользоваться тем, что ведет к желанной цели. Один из усердных исправников донес Сомову, что при обыске у учителя народной школы в его уезде было найдено много запрещенных сочинений графа Толстого. Прочитав донесение, Сомов заметил: «чудак! разве граф Дмитрий Андреевич станет писать запрещенные книги!» Что мог дать ему Лев Николаевич Толстой со всеми своими писаниями? Поэтому он вовсе и не подозревал о его существовании, тогда как о существовании графа Дмитрия Андреевича Толстого, министра внутренних дел, он знал несомненно, так как понимал, что самая малая ошибка в этой области, — и из хозяина губернии он превратится в простого обывателя, которым не будут интересоваться даже те дамы, которые теперь так приветливо его принимают. Во время одного из проездов императора Александра III из Петербурга на юг, его сопровождал министр внутренних дел

гр. Толстой. На Тверском вокзале была назначена остановка, во время которой государь принимал местные власти, дворянство, представителей города, крестьян и пр. После отъезда царя все интересовались, остался ли он доволен приемом? На этот вопрос Сомов с особенной радостью заявил: что царь доволен, — в этом нет сомнения, а я знаю, что граф Толстой доволен, вот это важно!

В год нашего переселения мы нашли в Твери довольно благодушное настроение. Реакция еще не дошла до полного мракобесия, а местная губернская администрация, с Сомовым во главе, не отличалась воинственностью, не в силу каких-либо принципов, а просто потому, что Сомов прежде всего любил покой и ни о каких реформах, ни либеральных, ни реакционных не мечтал. Для этого он был, во-первых, стар, во-вторых, знал, что ни для какой реформы он не годится и что поэтому в лучшем случае будет сплавлен в Сенат. Что он там будет делать? Как привычный провинциал, он боялся Петербурга, был очень доволен своим положением в Твери и старался жить со всеми в мире и согласии. Каждый год, когда собиралось очередное губернское земское собрание, он давал гласным обед с дешевеньким вином, не тратя лишних ни своих денег, ни казенных, отпускаемых губернатору «на представительство». В три года раз он давал такой же обед тверскому дворянству, собиравшемуся для выборов должностных лиц своего сословия и, так как был очень скуп, то этими двумя обедами считал свои обязанности «по представительству» выполненными. Над этой слабостью его местное общество подсмеивалось, но вообще было очень довольно своим губернатором и очень жалело, когда Сомова убрали в Сенат, вероятно, в департамент герольдии, а на смену его явился из московских уездных предводителей, как полная противоположность Сомову, Ахлестышев, сразу занявший чрезвычайно агрессивную пози-

цию относительно всех учреждений, носивших общественный характер, и относительно людей, которых можно было подозревать хотя бы в самом умеренном либерализме. Но, как я сказал, когда мы приехали в Тверь, этой административной копии гр. Д.А.Толстого еще не было, и мы могли устраиваться на новом месте более или менее спокойно.

Мы приехали прямо на квартиру моего брата, жившего в доме адвоката Сухоручкина, на бульваре. Жена брата с детьми жила на даче, верстах в 3-4 от Твери, за Волгой, в Зеленцове, куда вела скучная и скверная дорога, сначала через бесконечное болото, потом сворачивала в мелкий и тощий лес, состоявший из смеси березы, осины и ели, среди которых ютилась небольшая усадьба, отдававшаяся в наймы. Окрестности Твери вообще не отличаются красотами природы, и усадьба Зеленцово в этом отношении не была исключением. Все утро брат посвящал губернской земской больнице, в которой был старшим врачом, затем посещал своих пациентов на дому, после чего обыкновенно уезжал в Зеленцово.

С нашим приездом он значительную часть свободного времени проводил с нами. Временно мы оставались в его квартире, но с возвращением его семьи в город совместная жизнь была невозможна: квартира была невелика и свободного помещения в ней не было. В виду этого надо было искать квартиру, которую мы скоро нашли и дали задаток. Но в то же время брату было предложено купить дом, небольшой, но с мезонином, в котором были две комнаты, а в нижнем этаже третья комната, служившая для сдачи под магазин, которая имела на улицу отдельный выход и была отделена от прочих комнат глухой капитальной стеной. Мы могли ее утилизировать в качестве гостиной, столовой и т.п.

Словом, мы решили, что можем устроиться в одном доме с братом и отказаться от нанятой квартиры, пожертвовав

задатком. Так и сделали, и, как только жильцы очистили квартиру, мы переехали в нее.

Есть ли в России менее красивый губернский город чем Тверь, я не знаю, но думаю, что нет, несмотря на то, что он расположен по обоим берегам Волги и что в нее впадают в пределах города реки Тверца и Тьмака. Уже одно обилие рек, и в том числе Волги, величайшей европейской реки, казалось бы, могло служить красоте города. Но, увы, все таки его внешний вид монотонный и казенный, несмотря на его несколько интересных старинных церквей и на его знаменитый Отрочь монастырь, в котором Малюта задушил святого митрополита Филиппа; несмотря на старый дворец, выстроенный для любимой сестры императора Александра I, Екатерины Павловны, принцессы Ольденбургской; несмотря на новый царский дворец, в котором помещается тверской музей, и куда летом «на дачу» приезжают 2-3 старых фрейлины, пользующиеся такой дешевой привилегией; несмотря на все это, Тверь своим унылым, казарменным видом и бедностью растительности производит удручающее впечатление. Все дома на набережной Волги и на главной улице города, Миллионной, выстроены по одному образцу на пожертвованный казною миллион рублей, в память чего эта улица и получила как свое наименование, так и свой внешний вид.

Находясь всего в трех часах езды по Николаевской железной дороге от Москвы, Тверь в торговом отношении подчиняется давлению своей более счастливой соседки. Поэтому, вы не увидите здесь ни роскошных магазинов, ни великолепных выставок нарядов и всевозможных вещей. От всего торгового мира в Твери веет стариной и застоем.

Но тверская губерния имеет свои заслуги перед родиной и смело может рассчитывать на снисходительность к недостаткам своего губернского города, в которых она не виновата. Во

всяком случае, я был очень доволен своему переселению: оно давало мне возможность жить вместе с братом, а затем сблизиться с группой людей, разделявших те же идеи, которые составляли и мое поселенческое credo. Мне предстояло прожить здесь более трех лет, ибо срок моей ссылки заканчивался в августе 1886 года, когда я имел право возвратиться к себе, в Черниговскую губернию, и продолжать там свое дело.

В летнюю пору, когда мы с А.С. приехали в Тверь, в городе оставался только тот, кто был связан службой или какими-нибудь другими обстоятельствами. Семья Бакуниных лето проводила в своем Прямухине и ожидалась в Твери только осенью, а, кроме этой семьи и семьи брата, знакомых у нас не было. А.С. с своей стороны была очень удручена пережитым ею несчастьем и не искала новых знакомств. Поэтому лето мы провели довольно уединенно и лишь изредка ездили в усадьбу Зеленцово, где жила семья брата, его жена и дети. Там мы в первый раз встретились с доктором Михаилом Павловичем Литвиновым и его женой Антонидой Карловной. Это было наше первое знакомство в Твери. В течение лета мы познакомились и с сослуживцами брата по больнице, с ординаторами Н.П.Шуениновым и д-м Гончаровым, бывшими тогда еще молодыми людьми, вполне проникнутыми теми же идеями, которых держались брат, Бакунины и вообще все, принадлежавшие к этому кружку.

Осенью стали съезжаться все, связанные своею жизнью с Тверью. Приехала семья Бакуниных, состоявшая из Павла Александровича Бакунина, его жены Натальи Семеновны, вдовы Алексея Александровича Бакунина, Марьи Николаевны Бакуниной, двух ее детей и сестры, Надежды Николаевны Мордвиновой, очень скоро ставшей истинным другом как А.С, так и моим. Бакунины жили на Дворянской ул., в доме Арбузова, и их квартира стала центром обсуждения всевозможных

вопросов научных, литературных, философских, общественных и политических. Здесь завязались все наши отношения: одни, более или менее кратковременные, другие — тесные, дружеские, продолжавшиеся всю жизнь.

Нужно ли говорить, чем была семья Бакуниных, какую роль она сыграла в культурном развитии русского общества? Да, нужно потому, что революция, еще далеко не закончившаяся, приобщила к культурным силам русского народа огромный класс, до сих пор остававшийся вне круга тех сведений, которые составляют основу самопознания народа.

В Тверской губернии влияние семьи Бакуниных распространялось не только на какой-нибудь один круг. ее влияние было глубоко и широко во всех слоях, даже в тех, где этого и не подозревали и где тем не менее духовно питались им. Бакунинское гнездо, село Прямухино, в Новоторжском уезде, было издавна светлым пятном среди моря тьмы, и в нем перебывали очень многие общеизвестные представители тридцатых и сороковых годов девятнадцатого века. Там родился всемирно известный учитель анархизма Михаил Александрович Бакунин, и там же гостили Н.В.Станкевич и В.Г.Белинский, на идеалистических и гуманных идеях которых воспиталось три поколения русских людей. Там с давних пор веял дух свободы, равенства и братства, и даже большевики, как слышно, не посмели наложить свою всеразрушающую руку на это зерно русской культуры.

Чем была семья Бакуниных и чем она была в среде того общества, в котором она жила, ответ можно найти в книге А.А.Корнилова, посвященной молодым годам старшего брата Бакуниных, — Михаила Александровича, в ранней молодости покинувшего Россию, и в России не имевшего ни того влияния, ни того значения, какие он имел в Западной Европе. Книга А.А.Корнилова написана по документам семейного архива и

можно только пожалеть, что болезнь, постигшая автора, а также большевистский переворот помешали ему продолжать свои изыскания, представляющие драгоценный памятник состояния русской жизни в XIX веке.

Наше с братом знакомство с Бакуниными относится к 1864 г., когда мы были студентами петербургского университета и жили на углу улиц Б. Морской и Гороховой, в мансарде дома Штрауха, где жил рядом с нами Глеб Иванович Успенский и еще несколько товарищей студентов. Однажды, осенью к нам зашел незнакомый нам господин лет под сорок, уселся на одну из двух кроватей, закурил толстейшую папиросу и сразу стал экзаменовать брата и меня по части наших политических воззрений. Это был Александр Александрович Бакунин, только что возвратившийся из-за границы. Он боролся в Италии в легионе Гарибальди за свободу Италии, побывал затем в Лондоне у А.И.Герцена и теперь вернулся в Россию для участия в осуществлении реформ Александра II — судебной и земской. Зашел он к нам по рекомендации нашего товарища по университету, В.Н.Линда, пользовавшегося с детства участием семьи Бакуниных, которая оказывала ему всякое покровительство и помощь.

Александр Александрович Бакунин, как и все его братья, был очень интересный человек. Его биография, в двух словах, уже много говорит о характере этой страстной и увлекающейся натуры. Родился он в Прямухине в 1821 году. Окончив московский университет по юридическому факультету со степенью кандидата, он получил место в одесском лицее (теперь университет) преподавателем энциклопедии права. Его гегельянские идеи и язык мало привлекали студентов в его аудиторию, не смотря на его несомненное красноречие и ораторский талант, всегда оставлявший большое впечатление в его слушателях. Очевидно, молодежь была мало подготовлена для восприятия

философских тем. В это самое время произошла высадка союзников в Крыму и началась знаменитая 11 месячная осада Севастополя. Александр Александрович покинул свою кафедру и поступил юнкером в тобольский пехотный полк, вместе с которым и провел всю осаду на 4-м бастионе, где получил солдатский георгиевский крест, а затем и производство в офицеры. Там же, стоя в цепи, он едва не застрелил гр. Л.Н.Толстого, пробиравшегося ночью через цепь, не зная пароля и потому не давшего требуемого ответа. К счастью, Александр Александрович вовремя узнал Льва Николаевича по голосу. По окончании Крымской войны, когда началось итальянское движение, он отправился к Гарибальди, который встретил его, как брата Михаила Александровича, и принял в свой отряд. По окончании итальянской борьбы он вернулся в Россию, стал образцовым мировым судьей и председателем мирового съезда, а также уездным и губернским гласным. О нем я должен буду еще не раз говорить, так как вся моя земская деятельность в Тверской губернии тесно связана с деятельностью Александра Александровича.

С Павлом Александровичем Бакуниным я познакомился гораздо позднее, в зиму 1871-2 годов, когда мой брат, собиравшийся жениться на Любви Гавриловне Вульф, родной племяннице Бакуниных, вызвал меня в Тверь, чтобы познакомиться с семьей, в которую через свою женитьбу он вступал, а вместе с тем и меня делал близким ей человеком.

Был жестокий мороз, когда мы с братом ехали из Торжка в Прямухино, до которого считалось 30 верст. Я был в первый раз в великорусской деревне и в великорусской семье, притом образованной и культурной в самом высоком смысле этого слова. Я был принят чрезвычайно радушно и просто, с неподдельной добротой, составлявшей одну из основных черт обоих братьев — Павла и Алексея Александровичей, которых я

застал в Прямухине. Других братьев не было: Александр Александрович жил в дер. Осташкове, верстах в 70 от Прямухина, в своем судебном-мировом участке; Николай Александрович — в казанском имении; Илья Александрович отдельно от других братьев жил в деревне Дядине, верстах в 20 от Прямухина; наконец, Михаил Александрович был заграницей, после своего бегства из Сибири, куда был сослан Александром II после немецко-австрийской революции. Это была дань дружбы молодого императора своему дядюшке, прусскому Вильгельму, и австрийскому императору Францу-Иосифу, а кстати и предостережением русским революционерам, если таковые имелись после Николаевской дисциплины.

Жена старшего брата, Павла Александровича, Наталья Семеновна, урожденная Корсакова, живая, подвижная, маленькая, кругленькая, с некрасивым лицом, но добрым выражением глаз, заведовала всем хозяйством этой маленькой республики, в которой было немало шумной молодежи, — племянников и племянниц, из которых с двумя, — Ольгой Николаевной, по мужу Повало-Швейковской, и ее незамужней сестрой Варварой Николаевной, — я познакомился еще в 1868 г. во Флоренции у Н.Н.Ге.

За обеденным столом, занимавшим почти всю длину залы с хорами, люди солидные, к числу которых и я принадлежал, вместе с Павлом и Алексеем Александровичами, занимали одну часть стола, а другую — молодежь, среди которой и мой брат, по природе очень веселый: там смех и веселье ни на минуту не прерывались.

Я пробыл в Прямухине несколько дней, пробовал ходить на лыжах, но угнаться за молодежью, привычной к этому спорту, не мог в такой короткий срок.

Расстались мы очень дружески, хотя Бакунины находили, что мы с братом люди не русского, а «польского» воспитания,

под которым они разумели чисто внешнюю манеру учтивости и сдержанности. Может быть они были правы, так как мы прошли школу киевского кадетского корпуса, где 2/3 воспитанников были поляки, где товарищество с поляками не могло не оставить некоторых следов. Если это так, то это был только поверхностный налет, не более.

Во время нашего переселения в 1883 г. в Тверь, мы нашли здесь только одного Павла Александровича, похоронившего своего любимого брата Алексея и поселившегося в Твери с своей женой и с семьей покойного брата, — его вдовой и двумя маленькими детьми. Александр Александрович оставался в Прямухине, где был мировым судьей, будучи в то же время и председателем Новоторжского съезда мировых судей. Алексей Александрович скончался незадолго до нашего переезда в Тверь, в 1882 г. Он был отстранен от общественной деятельности с того самого времени, когда был арестован и посажен в Петропавловскую крепость за подписание известного протеста мировых посредников во время выработки Положения об освобождении крестьян в пользу последних. Он, как и его брат Николай Александрович, бывший членом губернского комитета, отказались подписать просьбу о помиловании, вследствие чего были лишены права вступать на государственную службу и принимать участие в общественных делах и в собраниях, что было предоставлено всем остальным заключенным в крепости, подписавшим просьбу о помиловании. Таким образом, оба брата, Алексей и Николай, оказались лишенными прав состояния и навсегда устраненными от общественной деятельности. Независимость, обнаруженная братьями Бакуниными в защите интересов крестьянства при проведении крестьянской реформы, привела к потере ими гражданских прав, что несколько не смутило других двух братьев, Павла и Александра Бакуниных, которые с такой же твердостью всю жизнь свою были готовы

принять на себя всякую ответственность и не поступиться тем, что представлялось им правдой и в чем они усматривали насущные интересы населения.

Павел Александрович занял место председателя уездной земской управы, а Александр Александрович — мирового судьи и председателя съезда мировых судей. Влияние Павла Александровича сказалось с первых же шагов земства в том духе равенства и солидарности интересов всего населения, без различия сословий и классов, который, составляет основную черту истинной демократии. Все делалось на виду у всех, все подвергалось общественной критике, все было проникнуто безусловным демократизмом, не было привилегированных гласных и гласных от крестьян или мещан, было полное равенство. Новоторжский уезд сразу выдвинулся вперед, оставляя позади себя все другие уезды по всем земским вопросам: школьному, медицинскому и другим, а равно по характеру своего демократического бюджета, по системе раскладки земских сборов, по защите своих земских прав и по своему влиянию в губернском земском собрании. Можно смело утверждать, что начало этому было положено Бакуниными, Павлом и Александром Александровичами, нет также сомнения, что они сумели найти в собрании полное сочувствие и содействие гласных всех сословий и классов: так создался один общий дух и смысл общественного дела.

Александр Александрович пережил всех своих братьев и умер в 1908 году весною, когда я был прикован в Петербурге к постели, сломав себе ногу. Я глубоко сожалею, что не мог отдать последний долг последнему из братьев Бакуниных, яркому представителю периода борьбы русского либерализма и русского общества с самодержавным самоуправством. По характеру своего ума, по дару своего страстного красноречия он был бы во всякой другой стране истинным трибуном, но

отличался от своего знаменитого брата Михаила, — решительным отвращением к субверсивным идеям вообще и к анархическим учениям в особенности.

Годом старше своего брата Александра и четырьмя годами моложе Михаила, который родился в 1816 г., был Павел Александрович, не приобретший славы своего старшего брата, однако одаренный от природы умом и способностями более всех своих братьев, не исключая и знаменитого революционера. Любопытно сопоставить этих двух братьев, цельных как монолиты по свойствам ума и характера, но у которых общего было только — необыкновенный диалектический талант и братское влечение друг к другу. Нужно прочесть одно письмо Михаила Александровича из заграницы, в котором он просит родных отпустить к нему брата Павла, тогда еще совсем молодого человека, чтобы заметить, как он выделял его из всей семьи, члены которой поголовно были и без того так щедро оделены природою. Нужно читать письма Павла Александровича к сестрам, когда он был еще учеником тверской гимназии, чтобы видеть, каким умом и какою душою обладал этот 14-летний гимназист. Я очень жалею, что у меня нет под рукой ни писем Павла Александровича, ни книги А.А.Корнилова, чтобы привести здесь хотя бы выдержки, жемчужины этого ума и тонкого юмора, которым он так любил пользоваться всегда в меру, не нарушая серьезности беседы.

Он любил беседу, как любил ее Сократ. Он верил, что каждый человек обладает в своей бессмертной душе беспредельной возможностью познания истины, лишь бы только возбудить в человеке интерес к ее познанию и дать толчок мысли в должном направлении; и для Павла Александровича беседа была только желанием привлечь внимание собеседника к исканию истины. С кем бы он ни встретился, на какой бы ступени образованности ни был его собеседник, от самой

высокой просвещенности до полной безграмотности, он с удивительным чутьем угадывал, чем он может привлечь внимание данного лица и заинтересовать его беседой, т.е. вызвать в собеседнике желание подвергнуть свои мысли критике и требованию разума и признать истину, как бы она ни противоречила привычным и ходячим мнениям.

Я припоминаю, как однажды, когда Павел Александрович жил уже в Крыму, в окрестностях Ялты, на своей даче, которую он назвал Горная щель, а я с А.С. гостили у него, на дачу приехал на велосипеде прямо из Севастополя Павел Николаевич Милюков, чтобы повидаться со мною, но застал меня в день моего отъезда из Крыма. Павел Александрович, который не был с ним лично знаком, очень любезно встретил его. Позитивные воззрения Милюкова были, конечно, известны ему, но это не помешало беседе, которая при таком серьезном противнике не могла не привлекать нашего философа. Хотя в виду нашего отъезда Павел Николаевич хотел в тот же день уехать из Горной Щели, но Бакунин убедил его остаться и переночевать. Павел Александрович, будучи последователем философского идеализма, тотчас повел атаку на позитивиста, хотевшего, однако, уклониться от спора, для которого не было, казалось, общей почвы. Но идеалист был настойчив и мало по малу, закидывая удочку, почувствовал, что рыба клюнула, и спор загорелся. Милюков остался на следующий день и еще на следующий, и провел у Бакунина три дня, переходя от спора к просмотру архива Бакуниных и обратно; результатом этого посещения была интересная статья Милюкова «Любовь людей сороковых годов». После этого Милюков писал мне, как доволен он знакомством с Павлом Александровичем и посещением Горной Щели.

Посещал Павла Александровича в Горной Щели и священник Григорий Петров, преподнесший ему свой портрет, и

какой-то сектант с Урала, фамилию которого я не помню, но у меня сохранилась фотография, сделанная Натальей Семеновной, запечатлевшая собеседников в момент их разговора. И где бы ни был Павел Александрович, в каком бы обществе он ни находился, вокруг него собиралась группа, жадно его слушающая и почти бессознательно усваивавшая его мысли и его чувства. Он выслушивал своих противников, даже таких, которые органически не могли следовать за ним и спорили с раздражением, не лишенным иной раз грубости, и слушал с таким спокойствием и снисходительностью, которые обезоруживали противника, чувствовавшего себя побежденным и свои аргументы разрушенными тончайшей аргументацией победоносного диалектика.

Павел Александрович был гегельянец в том смысле, что он следовал диалектическому методу Гегеля, сохраняя полную свободу и независимость своей мысли и духа и, оставаясь идеалистом, он признавал действительным то, что разумно, толкуя таким образом знаменитую формулу Гегеля, что все «действительное — разумно.» Поэтому он никогда не мирился с той действительностью, которую представляла Россия в виде самодержавного государства. Он не мог ни мириться, ни тем более одобрять ни государственного строя России, ни ее социального порядка и, по существу, был самый последовательный демократ, осуществлявший равенство во всех отношениях с людьми, не различая их ни по сословиям, ни по классам, ни по положению, ни по богатству, ни по каким-либо политическим или социальным признакам. По его мнению, все люди делились только на свободных и несвободных по своему духу. Даже глупыми он никого не считал, так как в каждом человеке заложен разум и его искра может вспыхнуть для постороннего наблюдателя неожиданно; гасить ее заранее или считать ее навсегда потухшей не следует. К таким собеседникам он умел

подойти с надеждой зажечь эту искру, для чего надо умело и бережно нащупать ее источник. И он эту искру зажигал: его моральное влияние было неотразимо. Его обширные письма именно к таким, еще не проявившим свои духовные силы, неподражаемо тонки и глубоки по своему духу, по возвышенности мыслей, изложенных с простотой и ясностью, доступными для совершенно незрелого ума.

Уже раньше я сказал, что Павел Александрович, по свойству своего характера, ума и способа распространения своих философских воззрений, был истинным Сократом нашего времени, к несчастью, не имевшим своего Платона, чтобы передать потомству его идеи и сделать его бессмертным. После него остались только две небольшие книги: «Запоздалый голос 40-х годов» и «Основы Веры и Знания». О последней я приведу отзыв «великого писателя земли русской» Л.Н. Толстого в письме его к Павлу Александровичу, полученном последним 17 февраля 1887 г.: ««Павел Александрович! Третий день ничего не делаю, кроме того, что читаю вашу книгу. Смеюсь и вскрикиваю от радости, читая ее. Я не дочел еще. Я на 312 странице теперь, и остановился, чтобы написать вам мою благодарность и любовь за то, что я нашел в этой книге. Меня теперь будет занимать судьба этой книги в ближайшем будущем. Вероятно, не поймут и не оценят теперь! Но она останется навсегда. От всей души обнимаю вас. Лев Толстой.»

В 1888 г. 12 апреля скончался мой сын Сергей, 16-тилетний юноша. Похоронив его, мы с А.С. решили на время уехать из Твери в Крым. С нами вместе поехали, по чувству дружбы к нам, Павел Александрович и Над. Ник. Мордвинова. Но в Крыму мы оставались недолго и вернулись в Тверь в мае месяце. В следующем 1889 году Павел Александрович навсегда покинул Тверь и переехал в Крым, где мы навестили его по дороге с Кавказа. Здесь мы узнали, что П.А. собирается вместе

с Натальей Семеновной за границу, где они предполагают провести всю зиму до лета 1890 года. Весной он вернулся и прямо из границы проехал в Крым, где и поселился в имении брата Натальи Семеновны, «Чукурларе», теперь вошедшем в черту города Ялты, а тогда еще обыкновенном дачном месте. Чукурлар граничил с Ливадией, что составляло большое неудобство для его жителей во время приездов императорской фамилии, так как Чукурлар бывал при этом набит всякой полицией и шпионами, следящими за каждым появлявшимся лицом.

В 1893 году мне удалось закончить продажу Крестьянскому банку казанского имения Бакуниных, что дало возможность Павлу Александровичу выстроить себе на купленном им месте, за Ялтой у границы Массандры, дачу, в которую он с женой и переехали на жительство в 1895 году.

На этой самой даче, в его любимой Горной Щели, в ночь с 21 на 22 мая 1900 года по старому стилю, (по-новому, с 2-го на 3 июня) Павел Александрович Бакунин и скончался.

В начале мая этого года мы получили в Машуке от Натальи Семеновны письмо, в котором она извещала нас о болезни Павла Александровича и выражала свои опасения за его жизнь. Мы с А.С. тотчас решили ехать в Крым, куда и прибыли недели за две до его кончины. Мы нашли его больным, но бодрым и, как всегда, склонным к милой, иногда даже трогательной шутке. Необходим был врачебный консилиум; мы пригласили двух врачей, С.Я.Елпатьевского и д-ра Розанова, пользовавших его и раньше. Когда врачи прибыли, Павел Александрович был в постели. Увидев их, он, с трудом дышавший от эмфиземы легких, вместо приветствия запел высоким фальцетом старинный романс:

Нет, доктор, нет, не приходи, Твоя наука не поможет, Уже давно в моей груди Болезнь сосет меня и гложет!

И, смеясь, он пожал руки врачам, предоставив себя в их полное распоряжение. После осмотра С.Я.Елпатьевский сказал мне, что только самая малая часть легкого еще работает и положение больного безнадежно...

Однако, спустя несколько дней Павел Александрович поднялся с постели, чтобы выйти на балкон и полюбоваться очаровательным видом, открывающимся на окружающие горы и долину речки Дерекоя. Он был всегда страстным любителем природы, умел ценить ее красоту, любил растения, как живые существа, и создал своими руками вокруг своего домика целый ботанический сад крымской флоры. По-видимому, ему хотелось взглянуть на эту прекрасную природу, быть может, в последний раз... Смерти он не боялся, не сомневаясь в бессмертии человеческой души. Некоторое время он сидел с нами, Натальей Семеновной, А.С. и мною на веранде. Часов около 4-5 он сказал, что хочет лечь. Я помог ему встать и, поддерживая его, провел до кровати, на которую он сел; затем я раздел его и, когда хотел уложить его, он взял мою руку и, пожимая ее, сказал мне несколько слов, которых я никогда не забуду... Я уложил его в постель; он видимо утомился, и спустя несколько минут уснул. Это было вечером 21 мая. Принесли подушку с кислородом, но это едва ли могло облегчить умирающего. Чередуясь, мы сидели у постели. Приблизительно около часа ночи, мы с А. С. ушли в свою комнату наверх, а у постели осталась Наталья Семёновна и всю остальную часть ночи читала Евангелие. К утру, не просыпаясь. Павел Александрович перешел в вечность...

Как ни были мы готовы к смерти этого человека, но его кончину мы с А.С. почувствовали, как самую тяжкую потерю, оценить которую можно только, испытав ее. Для нас это был друг, учитель, руководитель жизни, словом, самый близкий нашей душе человек. Его образ изгладится из нашей памяти

только вместе с нашей собственной смертью. Семнадцать лет мы жили радостью его дружбы, и каждый раз, когда мы приходили к нему в Твери или приезжали к нему в Крым, проживая у него по целым месяцам, он встречал нас с неизменной и трогательной нежностью и сердечностью. В моей душе, как и в душе А.С., он провел глубокий, неизгладимый след. Он сеял в наших душах семена своих мыслей и чувств с такой любовью, на какую было способно только его сердце. Все богатство, которое он мог нам дать, — он дал, и если мы не всем воспользовались, то это не его вина, а наша...

Для лакея нет великого человека, для клеветника нет честных людей.

В журнале «Русская Мысль» за 1914 или 15 год появились «Воспоминания» В.Н.Линда, поделившегося с русским обществом своей оценкой семьи Бакуниных, которую он близко знал. Он с детства, можно сказать, воспитывался в этой семье, а затем много лет работал в Новоторжском земстве рука об руку с Бакуниными. Много лет, с пятидесятих годов прошлого столетия и до появления его воспоминаний, т.е. в течение пятидесяти лет, он сам считал себя как бы членом семьи Бакуниных и последние тоже относились к нему, как к родному. При неизменной поддержке Бакуниных, Линд был членом тверской губернской земской управы, затем почетным мировым судьей, наконец, председателем Новоторжской уездной управы. С юных лет он считал себя социалистом и в земстве всегда представлял крайнюю земскую левую.

Обремененный многочисленным семейством, он, будучи членом правления Новоторжского общества взаимного кредита, запутался в денежных делах и был вынужден покинуть

место, дававшее ему средства к жизни. Линд переехал на жительство в Москву, где занялся литературной работой, которая, однако, была недостаточна для удовлетворения потребностей большой семьи. Ему помогли старые связи и бывшие друзья, хотевшие поддержать видимо падавшего старого товарища. Кто мог, просто помогал деньгами, кто не мог, помогал кредитом, ставя свой бланк на векселе. Но, конечно, и этой помощи оказалось недостаточно. Тогда Линд занялся подделкой векселей своих старых и наиболее добрых друзей — Ольги Николаевны Повало-Швейковской, дочери Николая Александровича Бакунина, и Александра Николаевича Дьякова, сына Варвары Александровны, одной из сестер Бакуниных. Оба они беспрекословно заплатили банку по подложным векселям и пощадили Линда, причем Дьяков был совершенно разорен, ему пришлось уплатить около 30.000 рублей, которых у него не было, и он письменно обращался ко мне, не могу ли я взять на себя взнос части этих денег. Доброта и снисходительность членов семьи Бакуниных спасала Линда в нужде и спасла от позора и тюрьмы. Какою же монетой заплатил он тем людям, которые его спасли? Еще более гнусной подделкой, чем подделка векселей. Он стал лгать на людей, которые даже не могли сказать ему, что он лжет, так как они уже были в могилах. В своих «воспоминаниях» Линд обвиняет братьев Бакуниных в тунеядстве, крепостничестве, корыстолюбии, фразерстве, притеснении крестьян, прикрываемых громкими фразами либерализма. Он писал свою ядовитую клевету, чтобы заработать свои тридцать сребреников, когда все его жертвы были мертвы и не могли возразить...

Возможность отбывать ссылку, живя совместно с братом, была для меня полной неожиданностью и примиряла меня с

моим положением. Мы с братом с раннего детства были связаны дружбой, никогда не нарушавшейся. Будучи еще ребенком, он любил меня с каким-то самоотвержением, во всем мне уступая, всегда готовый сделать для меня, чего бы я ни пожелал. Его природа, веселая и жизнерадостная, совершенно лишенная эгоизма, так свойственного детям и побеждаемого только правильным воспитанием, требовала лишь любви и ничего больше. Ему был всего восьмой год, когда меня поместили в пансион при киевской первой гимназии. Я был старше его ровно на два года. Но, чтобы нас не разлучать, наши родители, знавшие нашу взаимную привязанность друг к другу, отдали в пансион и брата, оказавшегося самым младшим воспитанником. Он был в то время очень маленький, необыкновенно веселый и милый мальчик, его все ласкали, а один из наших надзирателей, Петр Григорьевич Корнаковский, очень добрый человек и прекрасный преподаватель географии, сажал его на свои колени и объяснял ему то, что преподавал в первом классе на уроках, а за обедом присылал ему свою надзирательскую порцию.

Наше вступление в пансион ознаменовалось маленьким проявлением нашей дружбы. Как всегда, появление новичков возбуждало любопытство воспитанников, не всегда безобидное. Так случилось и с нами. Один из бойких малышей подошел сзади и со всей силы потянул волосы на затылке брата кверху, сопровождая этот неприятный жест мальчишеским вопросом: далеко видишь? Брат, не ожидавший такого приема, от боли расплакался. У меня, стоявшего рядом, в руках была книжка, только что выданная из учебной библиотеки. Не долго думая, я со всего размаха ударил корешком учебника по носу обидчика и разбил ему нос в кровь. Поднялась возня, драка, но «сила» нашего класса, Макаров, принял мою сторону, назвал молодцом и взял меня под свое покровительство. Тем не менее,

надзиратель приказал мне стать на колени за то, что я так энергично расправился за обиду брата. Через несколько минут разбитый нос был вымыт, а я отпущен с миром. Это было в августе 1853 года. Через два года, в 1855 году, нас обоих взяли из пансиона и перевели в киевский кадетский корпус. Уже позднее мать говорила мне, что она и отец получили очень неблагоприятные сведения о гимназическом пансионе и распущенности его воспитанников. В кадетском корпусе нравственная сторона воспитания была не лучше, может быть, даже хуже, так как не только среди кадет были распространены пороки, вообще свойственные закрытым учебным заведениям, но в киевском кадетском корпусе были и ротные офицеры, развращавшие детей. Мы пробыли в кадетском корпусе до 1861 г., когда, в виду слабости здоровья моего брата, родители, по его желанию, взяли его из корпуса с целью поместить в гимназию, что представлялось очень удобным вследствие переезда родителей на жительство из Плиски в Чернигов, где отец занял должность председателя уголовной палаты. Что касается меня, то в виду того, что я был уже в первом специальном классе и должен был в следующем году быть выпущенным в офицеры, считалось неудобным менять предназначенную мне военную карьеру, и мои родители были решительно против перехода моего в гимназию или к домашней подготовке для поступления в университет. Однако, мне было 17 лет, я был уже сильно проникнут либеральными идеями, с которыми впервые познакомился, читая «Колокол» Герцена и «Полярную Звезду» и беседуя на политико-социальные темы с моим учителем тактики и военной истории, капитаном генерального штаба Домонтовичем. Получая изредка, на самое короткое время, запрещенную литературу, я не мог не сообщать ее брату, с которым мы все делили и ничего не скрывали друг от друга. Однажды, в декабре 1860 г. я передал брату листок из

«Колокола», и брат углубился в чтение его до такой степени, что не заметил, как к нему с противоположной стороны стола подошел дежурный офицер и выхватил у него из рук листок. Сидевший рядом с братом товарищ мой, по фамилии Сваричевский, посвященный во все наши дела, мгновенно перескочил через стол и, прежде чем офицер опомнился, вырвал у него из рук листок, только уголок которого оторвался и остался в руках офицера. Последний крикнул на Сваричевского и потребовал возвращения листка. Но тот был юноша решительный, твердый и суровый.

— «Это мое сочинение, и вы не имеете права его читать, если я вам его не дал, а дать вам я не хочу,» — спокойно и твердо сказал Сваричевский. И как ни требовал взбешенный офицер, стоявший перед ним юноша продолжал повторять, — «вы не получите мою рукопись». Офицер, чтобы прекратить довольно неудобную сцену, так как их окружала толпа кадет, приказал Сваричевскому следовать за собою к директору корпуса, генералу фон-Вольскому. Вся толпа двинулась по длинному коридору к квартире директора. По середине коридора находился камин, в котором зимой всегда горело несколько поленьев. Поравнявшись с ним, Сваричевский сунул листок в огонь, толпа загородила камин от офицера, и листок сгорел дотла. Как ни грозил директор Сваричевскому строжайшим наказанием, последний стоял на своем и уверял, что сожженная «рукопись» была его собственным сочинением, хотя офицер утверждал, что то была не рукопись, а печатный листок. Однако, директор приказал посадить упрямого юношу в карцер на две недели на хлеб и на воду, и лишить его рождественского отпуска, что не имело никакого практического значения, так как на праздники он никуда не ездил. А в действительности слабость наказания зависела от опасений директора, что слух об этой истории мог дойти до генерала Ростов-

цева, главного начальника военно-учебных заведений, и возможность появления в кадетском корпусе «прокламаций» могла отразиться на всей его карьере.

Кажется, эта история была действительной причиной того, что и наши родители поспешили взять брата из корпуса под предлогом болезни. Они поспешили устранить всякую возможность исключения или еще чего-нибудь более страшного, могущего загубить всю будущность 15-летнего мальчика. Его взяли на рождественские каникулы и оставили дома, не возвратив в корпус. Я же должен был возвратиться в Киев, хотя мы с братом твердо решили, что я приеду на масленицу, несмотря на то, что в корпусе давали только городской отпуск и только на 4 дня. Мы предвидели, что после этого меня исключат, а затем мы вместе подготовимся по латинскому языку и поступим в университет. Такие примеры у нас уже бывали: из корпуса в университет поступили мои товарищи, — Иконников, впоследствии бывший профессором истории, Чудинов, ставший преподавателем русского языка, и другие. Домонтович сочувствовал нашему плану и был посвящен в этот заговор, исполнение которого было назначено на масленицу 1861 года. По обыкновению, каждый праздник я уходил к Домонтовичу; так было сделано и на этот раз. Домонтович в тот же вечер дал мне теплое пальто и шапку своего слуги, и, чтобы скрыть следы, я выехал из Киева не на почтовых, а на извозчике до станции Броваров, где взял почтовых лошадей и на следующий день был уже в Чернигове, где отец и мать встретили меня не ласково, находя мой поступок безрассудным. В это время в Чернигове мой отец временно исправлял должность черниговского губернатора. Приближалось объявление Манифеста 19 февраля об освобождении крестьян, и в Чернигов уже ждали приезда для подготовительных действий, по высочайшему повелению, адмирала Унковского. В ожидании такого события и в уверен-

ности, что немедленно вспыхнут крестьянские беспорядки, губернатор К.П.Шабельский подал в отставку и поспешил уехать. Назначенный на его место князь Сергей Павлович Голицын не спешил приехать, вице-губернатор Шетохин объявил себя больным; «заболели» и председатели палат казенной и государственных имуществ, и на очереди был мой отец, который всегда сочувственно относился к освобождению крестьян, и с радостью вступил в управление губернией в этот величайший момент истории русского народа.

Сверх нашего с братом ожидания, он отнесся к моему поступку очень строго и, пользуясь своим губернаторским положением, позвал полицейского чиновника — по фамилии, кажется, Козачков, — дал ему подорожную, необходимую сумму денег и приказал отвезти меня в Киев в кадетский корпус и сдать вместе с письмом директору корпуса. Козачков в точности исполнил поручение и доставил меня прямо на квартиру директора, который, прочитав поданное ему письмо моего отца, отпустил полицейского, а мне приказал идти в роту. На следующий день мне было объявлено, что я лишаюсь унтер-офицерского звания, в удостоверение чего с моих погон были спороты нашивки, и хотя не исключаяюсь из корпуса только из уважения к моему отцу, но увольняюсь по собственному его желанию. Мне было выдано свидетельство, в котором и прописано было поведение не отличным, а хорошим. После всего этого, к моему удивлению, меня передали снова на руки того же Козачкова и с письмом директора отправили обратно к отцу в Чернигов. Так благополучно окончилось мое первое знакомство с путешествием в сопровождении полицейского.

Вследствие нашего полного незнакомства с латинским языком, обязательным при вступлении в университет, мы оба поступили в черниговскую гимназию в 6-й класс, без труда прошли гимназический курс и в 1863 году, окончив гимназию,

поступили вместе студентами в петербургский университет, я — на юридический факультет, а брат — на математический, избранный им по совету нашего преподавателя математики в черниговской гимназии Ильи Петровича Дорошенка, находившего, что брат обладает большими математическими способностями. Но, пробыв на математическом факультете год, брат перешел на естественный, где, прослушав два первых курса, поступил в медико-хирургическую академию, которую и окончил в 1871 году, посвятив своему высшему образованию восемь лет. Будучи студентом медиком 4-го курса, вместе со своим товарищем по академии, Сергеем Павловичем Федоровым, он проводил летние каникулы у меня в Плиске и оба они, со всю энергией молодости и самопожертвования, все лето отдали борьбе с холерой, уносившей у нас большое число жертв. Оба они работали как врачи, фельдшера и санитары, так как в то время земская медицина едва зарождалась и все население было лишено всякой врачебной помощи. Они несли этот тяжелый труд, не зная отдыха, добровольно, как люди, готовые себя к подвигу служения народу.

Окончив академию, брат поступил врачом в какой-то флотский экипаж, госпиталь которого находился в Кронштадте. Не помню, за какую-то провинность флотское начальство посадило его на гауптвахту, по мнению брата без всякой вины с его стороны, и, чтобы избежать дальнейших столкновений с начальством, он покинул свою морскую службу для земской в Твери. Перед окончанием академии, он женился на Любови Гавриловне Вульф, родной племяннице Бакуниных, звавших его в земство, которое находилось в то время в периоде организации медицинской части и искало врачей, еще не зараженных служебной рутинной. Брат принял предложение и получил место старшего врача в тверской губернской земской больнице, которой он отдал все свои силы и поставил ее на ту высоту,

которой земство могло считать себя вполне удовлетворенным. Работа брата в тверской больнице создала ему имя среди врачебного мира и влияние в земстве, в котором он работала не только как один из опытных организаторов земской медицины, но и как гласный уездного и губернского земства, неуклонно отстаивавший интересы населения во всех областях его как материальной, так и духовной жизни. Он сумел создать в своей больнице такую дружескую атмосферу, которая поддерживала самую строгую дисциплину среди всех врачей и других служащих на почве безусловного исполнения обязанностей без какой бы то ни было принудительности и без малейшего признака чинопочитания.

Как тесно была спаяна эта группа людей разного положения, разного образования и воспитания, разных взглядов и характеров, показывает случай увольнения брата по телеграфному распоряжению министра внутренних дел гр. Толстого от должности старшего врача, когда все его сослуживцы, как личный состав губернской земской управы, так и служащие губернской больницы, приняли решение никого не назначать на место старшего врача до восстановления прав брата, и исполнять его обязанности сообща, как бы продолжительно ни было время отсутствия Михаила Ильича.

Дело это само по себе, независимо от участия моего брата, представляет немалый интерес. Оно может служить еще одним лишним уродливым примером того государственного управления высшей бюрократической власти, на которую опиралось самодержавие.

В Твери существовало «Общество врачей», председателем которого был мой брат, конечно, давно занесенный жандармерией в списки «политически неблагонадежных». Общество врачей, мирное по самой задаче своей, преследовало две цели: одну — врачебно-научную, другую — врачебно-

профессиональную, как теперь выражаются, — классовую, т.е. заботу о материальном положении врачебного персонала, находившегося вообще в крайне необеспеченном состоянии. Естественно, что врачебная корпорация не могла не обратить внимания на бедственное положение врачей, административно сосланных и состоящих под надзором полиции, и тем более, что число таких врачей все более увеличивалось, а ни один здравомыслящий человек не мог сомневаться, что административная высылка была мерой совершенно произвольной, которая притом исходила от власти, охранявшей этим способом свой собственный преступный произвол. Нельзя не отметить, что в описываемое время только особенно важные случаи нарушения профессиональных интересов привлекали внимание земских врачей, и притом только в случаях, связанных с интересами общественными. Как известно, Пироговское общество врачей хранитель духа и заветов учредителей Общества, державших высоко знамя служения интересам народа, только в последнее время обнаружило довольно значительное меньшинство, заговорившее о том, что пора врачам обсуждать не только интересы народа, который не обнаруживает особенной заботы о своих тружениках, но и свои собственные классовые интересы. Прежде земские врачи не отделяли своих интересов от общественных и потому, когда стали появляться известия о безвыходном положении административно высланных врачей, которые, в силу Положения об охране, лишались права пользоваться своими знаниями, как средством заработка и поддержания своего существования, Общество врачей не могло не обратить внимания на такое положение. Но положение таких врачей было тяжелым не только потому, что им запрещался труд, который мог бы обеспечить врачу его существование, у него отнимали в то же время и возможность выполнять моральную обязанность оказывать врачебную помощь своему

ближнему, т.е. создавалось противоречие недопустимое ни с какой точки зрения, ибо никакая власть не может освободить человека от его моральных обязанностей. Констатирован случай в Сибири, где был заключен в тюрьму поднадзорный врач за то, что вынул пулю раненому, требовавшему немедленной операции для спасения жизни. В виду такого положения, ординатор тверской губернской земской больницы, доктор Гончаров, внес на обсуждение врачей предложение ходатайствовать установленным порядком перед правительством об исключении из Положения об охране статьи, воспреещающей врачам, состоящим под гласным надзором, всякую медицинскую практику, даже бесплатную. В заседании, когда рассматривался этот вопрос, мой брат случайно отсутствовал и место председателя занимал его товарищ. Тем не менее, когда ходатайство Общества было предъявлено по начальству, министр внутренних дел гр. Толстой приказал немедленно закрыть Общество, а его председателя, т.е. моего брата, не участвовавшего в заседании, безотлагательно уволить от должности старшего врача больницы. Распоряжение министра было тотчас приведено в исполнение губернатором Сомовым, панически боявшимся своего министра. Председатель управы С.Д.Квашнин-Самарин, которого никто не мог заподозрить в нелояльности, обратился, вместе с губернским предводителем дворянства Н.П.Олениным, к губернатору с просьбой представить министру, что д-р Петрункевич не был в заседании Общества врачей, когда обсуждалось и было принято ходатайство, и просить министра об отмене этой части его распоряжения. Но губернатор Сомов простодушно возразил: «я сам знаю, что Петрункевича в заседании врачей не было, а насчет того, чтобы я просил министра об отмене его распоряжения, — это уже извините, я еще не сошел с ума, чтобы обратиться к министру с такой просьбой!» Сослуживцы брата выполнили свое решение.

Как только гр. Толстой скончался, мой брат снова вступил в должность старшего врача больницы по предложению губернской управы, не встретившей никакого препятствия со стороны местной администрации.

Проработав в земстве в качестве врача более двадцати лет и вынужденный оставить службу и вместе с нею Тверь, брат не перестал быть гласным уездного и губернского земского собрания и принимать в них деятельное участие. Поселившись в Петербурге, он был избран гласным столичной думы, в которой продолжал усердно работать, а когда наступили выборы в первую Государственную Думу, он был предложен конституционно-демократической партией в депутаты от г. Петербурга, был избран одним из пяти и занял место в рядах своей партии. Его подпись стоит в числе 42 депутатов, внесших требование приступить к разрешению аграрного вопроса на изложенных в требовании основаниях. Он много работал в думских комиссиях и, когда Дума была разогнана, подписал «Выборгское воззвание», был осужден Судебной Палатой и просидел три месяца в одиночном заключении в Крестах, в С. Петербурге (май-август 1908 г.).

Здоровье его было расшатано, у него появились признаки склероза, особенно резко выступившие в 1911 году. В зиму 1911-12 года он перенес тяжкий приступ грудной жабы. В 1912 г. ранней весной мы выехали в Крым, а вслед за нами выехал и брат в надежде на благотворное влияние южного климата. Он приехал в Ялту и поселился у своего старого друга Софьи Владимировны Татариновой, рожденной Всеволожской, которую он знал с детства. Но и южный климат уже был бессилен побороть разрушительное действие болезни. 2-го мая мы с А.С. были у него; он еще сидел у своего стола и разговаривал с нами. Пришел навестить его и лечивший его д-р И.Н. Альтшуллер, старый его приятель и товарищ по тверской земской

больнице. По лицу Альтшуллера я заметил, что он встревожен, поэтому я пошел его проводить. Когда мы вышли, я спросил его о положении брата. На этот вопрос он отвечал, что не может скрыть от меня, что положение безнадежно и что смерть может наступить каждую минуту, но при данной болезни возможно тоже, что положение продержится еще несколько времени. Во всяком случае, он советовал дать знать сыну и дочерям. К вечеру мы уехали к себе в Гаспру, решив вернуться на следующий день. Но прежде чем мы успели даже выехать из Гаспры, Ольга Мальцова, наша племянница, тоже гостившая у Татариновой, вызвала меня к телефону и сказала, что брат только что скончался...

Он умер 3/16 мая 1912 г., а 6 мая, когда приехали его две дочери и сын, брат был погребен в Ялте на кладбище у старого собора, на высокой горе, откуда открывается вид на безбрежное море...

Глава IX

Кружок Бакуниных я моего брата — В.И.Покровский — М.П. Литвинов — Прибытие из Сибири и других мест восточной России ссыльных, которым было предоставлено выбрать место жительства: В.В.Лесевич, А.И.Эртель, Г.А.Мачтет, М.В.Девель, Б.Ф.Недзялковский, В.И.Яковенко и другие — Приезд в Тверь американца Джорджа Кеннана

В Твери, за исключением семьи брата и семейства Бакуниных, у меня не было знакомых. В Смоленске я избегал знакомств, потому что положение ссыльного и поднадзорного в глазах общества, политически трусливого, всегда опасавшегося скомпрометировать себя перед подозрительной властью, — не слишком удобно вообще, а особенно для новых знакомств. Еще, так называемое, шапочное знакомство, — куда ни шло: оно ни к чему не обязывает, ну, а принимать у себя — для этого уже требуется некоторая смелость.

Другое положение в Твери: я не сомневался, что здесь политической смелости достаточно, и моим знакомством стесняться никто не будет, а друзья Бакуниных и брата встретят нас как друзей.

К моему сожалению, в течение первой зимы А.С. была вынуждена долгое время проводить в Петербурге, оставалась там по месяцам ради свиданий с дочерью, так как эти свидания были строго ограничены определенным временем, определенными днями, не более двух раз в неделю, и притом, в присутствии назначенного институтом лица, в квартире начальницы института. При таких условиях, в течение месяца она могла видеть дочь не более восьми раз. Ни малейшего отступления от этих жестоких правил не допускалось. Нужно было много

энергии, чтобы преодолеть такое положение и уделять долю внимания другим требованиям жизни...

Естественно, что первые наши знакомства в Твери были сделаны в ближайшем обществе знакомых и друзей брата, в среде, с которой его сроднило сотрудничество в общественной работе. Это была среда, к которой принадлежали люди довольно различных интеллигентных профессий, объединенные духом оппозиции против все более растущей реакции последних годов царствования Александра II и первых годов царствования его преемника. В этой среде были, так называемые, земцы, служащие в земских и городских учреждениях, врачи, адвокаты, один педагог и т.п. Они не скрывали своих оппозиционных воззрений и в большинстве явно или секретно считались «скомпрометированными» в политическом отношении. Правительство их терпело, но лишь до первого удобного случая.

Тверь город небольшой, и хотя в нем насчитывалось до 40 тысяч жителей, но в числе их более половины принадлежало к числу служащих и рабочих трех текстильных фабрик, большого вагоностроительного завода и станции Николаевской железной дороги, расположенных вне города и живших своей особой жизнью. Особенно это можно сказать о громадной Морозовской мануфактуре, располагавшей разными собственными культурными учреждениями: больницей, прекрасной школой, библиотекой и даже театром, на котором часто гастролировали московские артисты. Если фабрики эти имели отношение к городу, то кажется в том лишь, что представляли крупные единицы обложения, но с другой стороны причиняли городу и серьезное неудобство. Расположенные по течению Волги выше города, они спускали все нечистоты в Волгу и впадающую в нее р. Тьмаку, отравляя воду на всем протяжении города. Все

попытки города устранить такое положение разбивались о влияние богатого противника.

Точной цифры населения фабрик, завода и железнодорожной станции с ее служащими и мастерскими я не могу назвать, но во всяком случае она составляла более половины всех тверских обывателей, а население собственно города Твери оказывалось не более второстепенного уездного города, с небольшим торговым классом, незначительным числом мастеровых и ремесленников, т.е. городского мещанства. Сравнительно небольшая часть населения оставалась на долю чиновников правительственных, городских и земских учреждений, учащихся, лиц свободных профессий и войсковых частей. Из этого можно видеть, что Тверь один из самых малолюдных губернских городов. А отсутствие в нем театра указывало и на малочисленность его интеллигентного класса, который обыкновенно своими посещениями окупает содержание театра.

Кружок Бакуниных и моего брата состоял из земцев, врачей, земских служащих и вообще лиц свободных профессий, к числу которых я причисляю служащих по выборам или по назначению в земстве, т.к. эти служащие не могут быть отнесены к учреждениям бюрократического характера.

К этой маленькой группе прежде всего я отношу Василия Ивановича Покровского, с которым познакомился тотчас по приезде в Тверь, но знал его гораздо раньше как одного из издателей и руководителей газеты «Тверской Вестник», которая издавалась и редактировалась В.И.Покровским и моим братом. Маленькая, но бойкая газета смело и решительно поддерживала общественное; настроение — против официального, земское дело — против бюрократии. Борьба шла непрерывно, пока «Тверской Вестник» не постигла общая судьба таких изданий, т.е. пока он не был прекращен по распоряже-

нию министра внутренних дел. Когда я жил в Смоленске и участвовал в издании «Смоленского Вестника», обе газеты находились в постоянном общении: если статья, относящаяся к тверским делам, не могла быть напечатанной в «Тверском Вестнике», она появлялась в «Смоленском Вестнике» и посылалась в Тверь в достаточном числе экземпляров для даровой рассылки. Если же такой казус постигал статью, написанную для «Смоленского Вестника», она печаталась в тверской газете и присылалась в Смоленск. Таким образом, как Тверь, так и Смоленск читали в печати статьи, не пропущенные местной цензурой.

По своим душевным качествам, по своей беспредельной доброте, по своему уму, образованию, трудоспособности Василий Иванович Покровский был совершенно исключительный человек. Никогда и ни о ком он не отзывался дурно. Самое большее, что он решался сказать о заведомом негодяе, было: «да, это не вполне совершенный человек!» Думаю, что никогда более серьезного осуждения он не произносил и никогда его сердце не отказывало в помощи человеку, даже когда последний не заслуживал её. За всех нуждавшихся он, сам нуждавшийся в средствах, хлопотал, не разбирая, как будут приняты его просьбы, просил, убеждал, взывал к справедливости, к разуму, к сердцу, к заповедям Христа. И ему удавалось многого достичь, так как его искренность побеждала даже черствое сердце. Василий Иванович был сын тверского протоиерея, пользовавшегося всеобщим уважением за его ум, характер, но более всего за его доброту. Сын наследовал все эти черты своего отца, усилив их интенсивность. Будучи студентом московского университета в конце пятидесятых годов, он слушал лекции на историко-филологическом факультете и жил в доме известного главы славянофилов Алексея Степановича Хомякова, давая уроки его сыновьям. Но он не был и тогда

склонен к славянофильству и обнаруживал симпатии к запад-ническому течению, к Грановскому, Белинскому. Как известно, Хомяков, кроме широкого образования, обладал крупным диалектическим талантом и мог подавлять превосходством своих знаний и таланта воззрения молодого студента. Но воззрения последнего вытекали непосредственно из глубины его природы и прокладывали свой путь, не поддаваясь и не уклоняясь в сторону от своего естественного направления, что не мешало ему приобретать обширные сведения и в тех областях знания, и в тех течениях, которые привлекали его своею критикой и проверкой его собственных воззрений. Окончив университет, он совершенно неожиданно для самого себя вынужден был пройти стаж, бывший в России почти обязательным для каждого самостоятельно и независимо мыслящего молодого человека: он без всяких оснований попал в Петропавловскую крепость, не помню, по какому делу, кажется, по Каракозовскому, и просидел в одиночном заключении около года, доведенный до крайнего нервного состояния, сопровождавшегося разными галлюцинациями. Его перевели в больницу, а затем также просто освободили, без предъявления какого-либо обвинения. Но служебная карьера его была испорчена, и он, человек широкого образования и ума, должен был занять место заведующего губернским статистическим комитетом, на котором лежала регистрация различных местных сведений. Но и на этом посту чисто бюрократической канцелярии он принялся за дело со всей своей добросовестностью и широким взглядом. Введение в Тверской губернии земских учреждений дало ему возможность расширить свою задачу, т.к. в его лице губернский статистический комитет был соединен с статистическим отделом губернской земской управы, и его описание Тверской губернии было, кажется, первой работой, изданной тверским земством, и долго служило важным подспорьем в

разрешении местных экономических вопросов. Метод этой работы Покровского не был впоследствии принят земской статистикой, получившей чрезвычайно важное значение в земской работе. Тем не менее, почин в этом деле составляет бесспорную заслугу В.И.Покровского. Он знал свою губернию, как никто ее не знал ни до него, ни после. Многие изучали с помощью современных научных методов отдельные стороны хозяйственной жизни губернии, но никто не достиг того знания целого, которым обладал Василий Иванович. Он овладел всею природою своего края, как бы его душою, и отвечал на всякий вопрос с такой полнотой и ясностью, которые были вполне достаточны для своего времени и для тех целей, которые составляли задачи того времени.

Чрезвычайно неудовлетворительное состояние центральной государственной статистики, отсутствие тщательно разработанной программы у центрального статистического комитета, отсутствие периодичности народных переписей всего государства, отсутствие хорошо поставленных статистических органов на местах и самая настоятельная необходимость в разнообразных сведениях по всем вопросам экономической и культурной жизни страны, — все это требовало создания на местах правильно устроенных статистических органов, регулярно, периодически собирающих сведения, относящиеся к движению населения, к промышленности, торговле и другим условиям экономической и культурной жизни населения. Земство взяло эту задачу на себя, так как правительство не обнаруживало ни малейшего намерения превратить губернские статистические комитеты в живые и соответствующие своему назначению учреждения. В половине семидесятых годов начали учреждаться статистические отделения при губернских земских управах, причем каждое земство вырабатывало свою программу; сначала, однако, определилось два типа, — черни-

говский и московский, а в конце концов взял верх тип московский, принявший за основу своих исследований подворное описание, требовавшее значительного штата рабочих сил и крупных расходов.

Не совместный труд с новыми людьми, а новые люди, ставшие у дела и создавшие трения, которых мягкая и благородная душа Василия Ивановича не могла выносить, побудили его покинуть Тверь и переехать в Петербург, где он занял, если не ошибаюсь, место заведующего статистикой таможенных сборов. Затем он перешел в министерство народного просвещения, где он оставил монументальный труд по статистике народных школ во всей империи. Незадолго до своей смерти в Петрограде он прислал мне эту свою последнюю многотомную работу в подарок. Он умер, как жил, с пером в руке, с неизменной любовью к людям, с неизменной верой в добро.

В это же время вокруг моего брата составилась кружок земских врачей, глубоко преданных не только своему профессиональному делу, но и земскому, в котором они привыкли видеть важнейшую задачу организации русской общественности. Тут были: молодые ординаторы Н.П.Шуенинов и д-р Гончаров; тут же работали и еще более молодые практиканты-врачи: Альтшуллер, впоследствии очень известный врач в Ялте, занимавшийся в это время бактериологией, и женщина-врач Цымковская. Тут же был и товарищ брата по академии, д-р Михаил Павлович Литвинов, только что приглашенный земством для устройства колонии душевнобольных, вновь учрежденной по плану самого Литвинова, ставившего этот вопрос на совершенно новую почву. Все они были объединены одним общим духом общественного служения.

Знакомство с доктором Литвиновым в течение многих годов привело нас, как его, так и меня, и А.С. к самой тесной дружбе, оставшейся неизменной до самой его кончины, и я не

могу не занести в свою летопись всего, что относится к его жизни и общественной деятельности, прошедшей на моих глазах с 1883 г. до 1918 года, т.е. в течение 35 лет.

Как я сказал выше, Литвинов был товарищем по академии моего брата, но окончил ее годом раньше, так как брат пробыл три года в университете до поступления в академию. Литвинов был моложе брата на один год (родился 12 октября 1846 г.) По окончании академии Литвинов избрал своею специальностью психиатрию, наиболее отвечавшую его пытливому уму и глубокому чувству гуманности, не мирившемуся с теми способами лечения и содержания душевнобольных, какие господствовали до того времени и образцом которых могли служить отделения для этих больных при всех губернских больницах, доставшихся земству по наследству от «Приказа общественно-го призрения.»

Несмотря на то, что тверская Бурашевская колония еще только строилась в 15-ти верстах от Твери, в купленном для этой цели имении, М.П.Литвинов был приглашен наблюдать за исполнением своего плана, что задерживалось бесконечными переговорами с министерством внутренних дел, участвовавшим в половине расходов по постройке, и всегда находившим в планах недостатки, требующие исправления. Потребовалось немало времени и опыта, чтобы догадаться в чем дело; а дело было обычное в наших правительственных учреждениях: надо было пригласить одного из департаментских архитекторов якобы строителем, но с соответственным жалованьем, т.е. говоря проще, — дать в виде жалованья взятку за утверждение плана, что для земства представлялось зазорным и недопустимым. Что было делать? Похоронить дело, откладывая из года в год? Подумали, побранили неисправимые порядки, унаследованные от предков и... дали взятку, т.е. пригласили официаль-

ного архитектора, приехавшего в Бурашево один раз — на открытие колонии.

Несколько лет позднее мне случилось быть в Нижнем Новгороде, где директором земской больницы для душевнобольных был прежний ординатор бурашевской колонии при Литвинове. Он пригласил меня осмотреть его больницу, в то время недавно выстроенную по планам строительного департамента министерства внутренних дел. При осмотре я не мог не обратить внимание на множество печей и дверей в палатах, совершенно ненужных и потому закрытых. Д-р П.П.Кащенко, директор больницы, объяснил мне, что министерство систематически отвергало все планы, представляемые земством, очевидно домогаясь взятки, и, так как земство отказалось пустить в ход такое обычное средство, департамент утвердил свой собственный, никуда негодный план, по которому больница и выстроена.

Такова живучесть привычек наших министерских канцелярий. Да кому же неизвестны так называемые двойные счета их? Я сам был однажды свидетелем, как член тверской губернской земской управы, В.Б.Костылев, зашел в Москве вместе со мною в один большой писчебумажный магазин, чтобы сделать заказ для губернской земской управы на разные писчие материалы на довольно значительную сумму. Приказчик обратился к нему с вопросом: «Как прикажете — двойной счет?» — Нет, возразил Костылев, земство не ведет двойных счетов. — «Так точно. На земские заказы мы даем один счет, на настоящую цену».

В 1885 году все сооружения в Бурашевской колонии были закончены в такой мере, что колонию можно было открыть, т.е. перевести больных из «сумасшедшего дома» в новые обширные помещения, расположенные в прекрасной местности, совершенно сухой, среди леса и полей, которые предназна-

лись для обрабатывания больными. С первого дня открытия колония стала высококультурным центром, влияние которого распространилось далеко за ее пределами. Она стала школой врачей-психиатров, приглашаемых другими земствами в качестве директоров в таких же, вновь возникающих, больницах. Но новизна такого учреждения, новые методы, применяемые в нем, еще не приспособленные к нашим привычкам и нравам, на первых же порах вызвали целый ряд столкновений и с местной губернской администрацией, и в среде земства, и даже в среде колонии.

Эти столкновения сделали свое дело, и, в конце концов, М.П.Литвинов должен был после 10-тилетней борьбы покинуть Бурашево. Он принял такое же место в смоленском губернском земстве, где условия оказались еще менее благоприятными для проведения в жизнь его воззрений и независимой работы (1896-1897). Он покинул Смоленск и переехал в 1898 г. в Петербург, где занял место простого ординатора в той самой частной лечебнице д-ра Фрея, в которой он начинал свою работу в молодости и где он еще менее мог приложить свои силы, свои знания и свой опыт.

Утомленный и измученный своей пятнадцатилетней борьбой с косностью и упорством привычек людей, от которых зависело осуществление его планов и надежд, потерпев крушение и потеряв здоровье и силы, и очутившись снова в лечебнице д-ра Фрея, занимая место начинающего врача после того, как юрьевский медицинский факультет поднес ему за организацию Бурашевской колонии диплом доктора *honoris causa*, — Михаил Павлович был в очень тяжелом настроении, не видя ничего впереди. В своих письмах к нам он не жаловался на свое положение, но мы не могли, зная его душевный склад, не понимать, что он переживал. Уже много лет мы знали его и почти столько же лет наблюдали его страстное отношение к

своему делу. Жена моя и я очень любили и высоко ценили его. Ценил его высоко и Павел Александрович Бакунин, ставший для Литвинова таким же учителем и другом, как и для нас.

Письма его жены еще более подкрепляли наши догадки, и мы с А.С. решили настойчиво звать его оставить службу у д-ра Фрея и со всей семьей, т.е. с женой Антонидой Карловной и их воспитанниками — детьми умершей сестры Антониды Карловны, переехать к нам в Машук на жительство, не стесняясь никаким временем, пока не восстановится здоровье Михаила Павловича и не найдется для него занятие и место, которые могли бы удовлетворить его. Литвинов дружески откликнулся на наш призыв и в 1900 году переселился к нам в Машук.

Мы имели возможность устроить его с семьей в отдельном, довольно просторном доме, очень близко от нашего дома, на поляне среди парка, в 100 шагах от р. Тверцы. В этом доме он прожил до 1906 года, целых шесть лет, деля с нами все радости и печали, и разделил вместе со мною мою третью высылку из этого нашего последнего собственного гнезда, так как министр внутренних дел Плеве, высылая меня в 1904 году из Тверской губернии, выслал и Литвинова, как земского гласного и моего друга и сотрудника.

Мы выехали из своего Машука в подмосковное имение дочери Анастасии Сергеевны, Марфино, а оттуда, с наступлением весны, переехали в Крым, куда приехал и Литвинов.

15 июля Плеве был убит, а, после назначения на его место кн. Святополк-Мирского, Литвинов и я получили осенью право вернуться домой, как раз к выбору уездной земской управы на место выбывшей, назначенной правительством. Председателем управы Новоторжское земство избрало Литвинова. До своей высылки он уже был гласным и с земским делом хорошо знаком. Поэтому, став председателем, он отдался работе с энергией, которую проявлял всегда и во всякой работе. Для

этого он фактически даже переселился из Машука в Торжок. Однако, и в этой новой должности ему пришлось пробыть недолго. Революционное движение 1905 г. подняло на ноги в Тверской губернии все реакционные и черносотенные силы. В Твери, после объявления манифеста 17 октября, черной сотней был устроен погром главным образом служащих в губернском земстве. Тверской погром возбудил черносотенное движение и в уездах, где распространялись среди местного крестьянства самые нелепые обвинения против земства. Литвинов выдержал этот натиск стойчески, не покидая своего поста, пока опасность грозила ему лично. Он покинул место лишь после того, когда на совещании группы гласных было решено выбрать земскую управу чисто крестьянскую, что и было исполнено.

Я расскажу подробности этого случая в другом месте, где буду говорить о революционном движении 1905 года, охватившем многих из тех, которые до того шли вместе с нами. Тогда мы признали, что наилучшим способом разрешения такого положения будет готовность с нашей стороны предоставить управление земскими делами тем людям, которые думали, что мы держимся за власть и что они лучше поведут дела. И, действительно, спокойствие было достигнуто, но опыт показал, что для ведения дел требуется соответственная подготовка. Когда психологический кризис миновал, ошибка обнаружилась сама собою.

В 1906 году Михаил Павлович получил место директора «Коронационного Убежища» для взрослых и детей, страдающих какими-либо недостатками физическими или душевными. Это было обширное учреждение городского управления Москвы. В этом учреждении Литвинов проявил все свои таланты организатора и руководителя трудного дела воспитания детей, страдающих природными недостатками. Он поставил это учреждение на высоту, на которой оно никогда не стояло,

пребывая раньше самым заурядным «приютом» для детей. Ему удалось вызвать у этих обиженных природой маленьких существ таланты, которых никто не мог ожидать, например, в рисовании, в скульптуре и т.п. Надо было видеть его среди этих детей, чтобы понять, какую работу он совершал, какое терпение, какую настойчивость, любовь и понимание человеческой души он проявлял. В своих помощниках-врачах он не встречал поддержки: они только «служили», как служат во всех учреждениях чиновники, измеряющие свои обязанности часами обязательного пребывания в канцелярии. С низшим персоналом у Литвинова бывали столкновения на почве его требовательности, никогда не превышавшей того, что он предъявлял и к самому себе. Поэтому низший персонал его боялся и не любил. Один, не лишенный общественного интереса, случай обнаружил это очень ярко. В «Убежище», кроме детей, были и взрослые больные. Один из таких больных, чувствуя приближение смерти, заявил Михаилу Павловичу, что им выдан безденежный вексель на 500 р. сиделке, по ее настоянию. Такие случаи практиковались в городских больницах и не всегда было возможно обнаружить такую форму вымогательства низшего служебного персонала у умирающих. Услышав такое заявление больного, Михаил Павлович немедленно позвал сиделку и спросил ее, получила ли она вексель? Застигнутая врасплох сиделка созналась и по требованию Литвинова принесла вексель; Литвинов взял его и тут же разорвал на куски. Спустя некоторое время сиделка предъявила судебному следователю жалобу за уничтожение ее документа, очевидно, по решению товарищей, для которых представлялся случай упечь своего строгого начальника под суд и избавиться от него. Привлеченный к суду, Литвинов не отрицал факта уничтожения векселя, полученного путем вымогательства у больного, бывшего на его попечении, как директора

убежища, и утверждал, что он был обязан принять такую меру, чтобы предупредить в лечебном заведении преступные действия служащих. Однако, прокуратура смотрела на дело иначе и московский окружной суд приговорил Литвинова к одному рублю штрафа. Адвокат Литвинова, Н.К.Муравьев, перенес дело в Судебную Палату, требуя признания Литвинова невиновным и Палата согласилась, что в поступке Литвинова нет преступления, и освободила его от всякой ответственности.

Служащими в убежище этот случай не был забыт, когда в 1917 г. революция стала толковаться как средство мести для всех, кто считал себя обиженным и кто не терял случая поправить свое положение. Низший персонал больницы решил поэтому выгнать всех врачей и прежде всего директора, а бразды правления взять в свои руки. Литвинов был выгнан из своей квартиры, будучи в это время серьезно больным. Более года он бедствовал в Москве, пока не был принят, как больной, в Бахрушинскую больницу, где и скончался 5 октября 1918 г. Он погребен на Введенском иновещерском кладбище.

Немного людей провожало его на место его вечного упокоения, но между этими немногими была одна простая женщина, пришедшая издалека, не смотря на трудность передвижения при большевиках, с другого конца города, прослышав о его кончине, чтобы принести ему материнскую благодарность за своего ребенка, которого он приютил в своем убежище.

В первую же зиму нашего пребывания в Твери, т. е. в 1883 г., я возобновил наше знакомство с Федором Измайловичем Родичевым, Весьегонским гласным, прибывшим на губернское земское собрание, происходившее, по тверскому обычаю, всегда в декабре месяце.

В первый раз я встретился с ним в 1877 году на Киевском вокзале, когда он возвращался вместе с Линдом из Сербии, где сражался под начальством генерала Черняева, в качестве

добровольца, с турками за освобождение балканских славян. Тогда он показался мне совсем юным; в Твери я встретил его спустя шесть лет уже вполне возмужалым человеком. С тех пор прошло 38 лет. Мы с ним похоронили многих друзей, почти никого из прежних не осталось в живых; только мы двое и остались. От всего сердца желаю, чтобы не мне, а ему досталась последняя очередь помянуть последнего старого и горячо его любящего верного друга. О совместной нашей деятельности я буду говорить в другом месте.

Деятельность комиссии, учрежденной еще при гр. Игнатьеве в 1861 году по рассмотрению дел административно-сосланных, не была прекращена вместе с отставкой гр. Игнатьева, и на том же основании, которое меня привело в Тверь, привлекла сюда же в 1884 году около 20 или 25 человек ссыльных из Западной Сибири, — Тобольской и Томской губерний, а также из разных мест Европейской России. Эти ссыльные избрали г. Тверь, как ближайший город к Москве, о котором ходили хорошие слухи в Сибири. Один из прибывших ссыльных, Владимир Викторович Лесевич, известный писатель и философ-позитивист, мне говорил, что «он избрал Тверь потому, что в Сибири слыхал, что здесь люди ссорятся не по поводу личных дразг, а по несходству в убеждениях». Ему рассказывали, что «из-за разномыслия о воззрениях Достоевского в Твери расходились даже приятели.» Почти одновременно в Твери появились: писатель А.И.Эртель, автор «Степных очерков» и романа «Семейство Гардениных»; Григорий Александрович Мачтет, тоже писатель; Болеслав Францевич Недзялковский, поляк, студент Петровской Академии, с которым впоследствии мы обрабатывали статистику по некоторым уездам Тверской губернии; Валентин Иванович Яковенко, тогда еще очень молодой человек, женатый и имевший маленького сына, бегавшего у нас на квартире и разбрасывавшего

мои книги, а теперь известного философа, Бориса Яковенко; Михаил Владимирович Девель, образованный агроном, и много других, с которыми я встречался на так называемых в Твери «средах», но мало их знал. Появление такого числа ссыльных в таком малолюдном городе, как Тверь, сразу поставило вопрос о материальной помощи тем из них, которые, будучи выбиты из своей колеи, не имели никаких средств для существования. Те лица из них, которые я назвал по имени, в помощи не нуждались: Лесевич был человек совершенно обеспеченный материально, владея довольно крупным имением в Полтавской губернии; Эртель и Мачтет, — писатели-беллетристы, получали гонорар от крупных ежемесячных журналов; Яковенко и Недзялковский тоже имели литературный заработок; Девель сразу занял место заведующего складом земледельческих орудий, семян и прочего, и обнаружил в этом деле много таланта, энергии и практичности, так что именно ему Тверская губерния в значительной мере обязана переходом от сохи к плугу и к травосеянию. Но все остальные поднадзорные были в очень трудном положении. Первым, пришедшим к ним на помощь, был все тот же В.И.Покровский, дававший им работу, как в статистическом отделе земской управы, так и в губернском статистическом комитете, вопреки всем требованиям и угрозам губернатора Сомова, находившего, что политические ссыльные, в силу категорического запрещения им всякой службы в государственных и общественных учреждениях, не могут быть допускаемы к службе в земстве, а тем более в губернском комитете. Василий Иванович горячо оспаривал перед Сомовым это требование Положения об охране, доказывая, что нельзя допускать, чтобы люди умирали от голода, или толкать их на преступление. Он обращался даже к сердцу Сомова, убеждал его смотреть на эту безвредную для правительства работу сквозь пальцы, и иногда достигал своего,

пока губернатором оставался Сомов. С назначением Ахлестышева положение было чрезвычайно затруднено, тем не менее губернская земская управа была, кажется, единственным источником средств существования ссыльных, которые получали работу во всех отделах губернской земской управы: в статистическом, в страховом, в санитарном, дорожном. На этой почве шла непрерывная борьба с администрацией и приводила к самым замысловатым способам обхода ее нелепых требований. И не смотря на все старания убедить администрацию, что помогать поднадзорным работою — значит бороться с эксцессами, а не помогать революции, — никогда земство не могло победить в администрации страха — не перед революцией, а перед тем, что скажет граф Дмитрий Андреевич Толстой.

Появление в небольшом губернском городе такой сравнительно большой группы политических ссыльных из разных концов России, прошедших через сибирскую ссылку, сошло довольно благополучно только благодаря тому, что Сомовская администрация держала себя довольно спокойно. Будь это немного позднее, при губернаторе Ахлестышеве, едва ли можно сомневаться, что из числа этих, в сущности безобидных людей, было бы немало жертв административного усердия не по разуму. Прием, оказанный ссыльным в земской среде, создал чрезвычайно благоприятные условия для спокойного пребывания людей, с своей стороны настроенных весьма мирно. Надо было только не ограничиваться одною материальною помощью, а создать почву, на которой эти люди могли бы сходиться, беседовать, обсуждать разные вопросы текущей жизни, не только политические, но и литературные, научные, художественные, даже просто житейские; надо было принять во внимание оторванность этих людей от своей семьи, от своей среды, от своего места, чтобы, поскольку это было возможно, восполнить эти потери, этот пробел в удовлетворении душев-

ных потребностей. Эта мысль стала занимать многих, и повела к тому, что начали сходиться вместе и обсуждать этот вопрос как земцы, так и ссыльные. Толковали очень долго и очень много, предусматривали разные мелочи и в конце концов порешили собираться по возможности еженедельно по средам, не определяя места, а где будет возможно.

Члены этого нелегального, но исключительно мирного сообщества, названные «середистами», собирались почти всегда в небольшом числе. Собрания эти продолжались недолго, и не потому, что этому препятствовала бы администрация, а потому, что у большинства ссыльных запас знаний и идей был очень ограничен; круг их интересов был ничтожен и беседа всегда имела характер слишком односторонний: два-три члена, всегда одни и те же, говорили, остальные молчали и трудно было догадаться — слушали ли они, или только присутствовали. Только два собрания я могу припомнить таких, которые имели особенный характер и собрали почти всех своих членов. Одно собрание было посвящено чисто литературному реферату В.В.Лесевича, передавшему необыкновенно подробно и точно, главу за главой, содержание книги Макса Нордау «Die konventionellen Lügen», только что появившейся в Германии, на немецком языке. Лесевич обнаружил огромную память и способность реферировать большую книгу, ни разу не заглядывая в нее и не имея перед глазами даже конспекта. Его доклад продолжался очень долго, за полночь, и уже поэтому не мог вызвать обсуждения. Другое собрание происходило в квартире адвоката Рождественского, по случаю 19-го февраля, и было посвящено памяти освобождения крестьян и 25-тилетию этого величайшего события эпохи. Это было бурное собрание, длившееся всю ночь, так как присутствовавшие разделились на две непримиримые группы: земцы с Павлом Александровичем Бакуниным во главе и часть земского «тре-

тьего элемента» видели в акте освобождения крестьян величайший праздник России, сбросившей с себя позорное иго рабства; другую группу составляло большинство ссыльных и левых интеллигентов, начиная с хозяина квартиры, тверских радикалов, отрицавших все значение освобождения, так как последствием его было обеднение народа. Спорили до потери голосов и, конечно, не пришли к соглашению. После этого собрания «середистов» становились все реже. Беседа поддерживалась только П.А.Бакуниным, В.И.Покровским, В.В.Лесевичем, В.И.Яковенком, братом или мною. Даже такие члены, как Эртель, никогда не выступали. Эртель, почти всегда ходивший на собрания, никогда не принимал участия в беседе и всегда занимал позу наблюдателя. Общество быстро таяло и, сколько я могу припомнить, последний раз собралось в квартире В.В.Лесевича летом 1886 г. по случаю приезда в Тверь американского путешественника Джорджа Кеннана. Но и это собрание не оживило участников и не могло оставить никакого впечатления ни у него, ни у нас, так как и здесь не нашлось никого, кто бы мог привлечь внимание путешественника, позднее прославившего и себя и сибирских ссыльных своею книгой, привлекавшей к себе внимание общества как в Америке, так и в Европе.

Кеннан приехал в Тверь прямо к нам, заранее списавшись с нами. Он был не один, а с своей женой, и провел у нас три дня. Он очень много рассказывал нам о своем пребывании в Сибири, о своих встречах с ссыльными, о неудавшейся попытке сибирской администрации захватить его бумаги. С своей стороны, я сообщил ему историю моей ссылки и наши переживания в Смоленске, где местный губернатор Тамара готовил нам западню. Кеннан, во время пребывания у нас, был еще молодым и энергичным человеком, катался с нами в лодке по Волге и отлично исполнял роль гребца; пел нам негритянские

песни. Он оставил в нас наилучшее впечатление и после его отъезда мы много лет переписывались с ним. После тверского свидания мы встретились с ним через 34 года, в 1920 г., в Америке, в Нью-Хевене, в доме моего сына Саши. Перед нами был больной старик, но по прежнему живой и энергичный. Он сообщил нам, что все свои материалы, относящиеся к России, он передал Нью-Йоркской общественной библиотеке в дар. По-видимому, эта коллекция представляет большую ценность и когда-нибудь, но едва ли в близком будущем, послужит материалом для историка, интересующегося судьбой нашей несчастной страны. Кеннан забыл русский язык, чтобы пользоваться им для разговора, но продолжал читать русские газеты и считался в Америке лучшим знатоком России, хотя за 34 года она далеко ушла от того пункта, с которого ее наблюдал Кеннан.

Встреча с Кеннаном воскресила во мне память о тех людях, которые относятся к тому же времени и с которыми мы часто встречались и делили частицу нашей тогдашней жизни. Образы этих людей встали передо мной как живые, хотя многие из них уже в могиле и покончили все счета с землею. Другие еще недавно были живы, но живы ли они теперь, когда я пишу эти строки — не знаю, так как теперь никто не имеет достоверных сведений, относящихся к оставшимся в России.

Начну с В.В.Лесевича, с которым в течение двух-трех лет мы очень часто встречались. Это был умный, чрезвычайно начитанный в философии человек, обладавший огромной библиотекой на всех главных европейских языках. Это книжный человек в полном смысле этого слова. Он жизнь знал по книгам, и с ненасытностью глотал их; они заменяли ему все и заслоняли от него жизнь, как она есть. Поэтому в вопросах жизни он был суший младенец и мог попасть в разряд неблагонадежных и подвергнуться ссылке только по глупости нашего

бывшего охранного ведомства. Он был другом Н.К.Михайловского, хотя по характеру они представляли полную противоположность. Правда, лично я очень мало знал Михайловского и встречал его только два-три раза в жизни, но даже краткого разговора с ним было достаточно, чтобы заметить полную его противоположность своему приятелю. Их объединяли позитивистские взгляды, а жизнь их текла по совершенно разным путям. Лесевич был типичный кабинетный человек, веровавший только в науку и только ею интересовавшийся; в то время, как его друг Михайловский любил блистать в обществе, Лесевич был лишен внешнего блеска и вовсе им не интересовался. Михайловский, представитель нашей российской помеси народничества и социализма, был не прочь играть политическую роль и завязывать связи с террористами, Лесевич более интересовался буддизмом и воевал более с Царем небесным, чем с земным. Я помню, как однажды он горячо убеждал меня на основании только что полученной им из Германии книги, автора которой не помню, что легенда об Иисусе Христе сложилась позднее того времени, к которому относят его жизнь; а что в действительности никакого Иисуса и не было, так что все христианство построено на не существовавшем факте. Видимо этот вопрос его очень занимал, так как он видел в этом научное обоснование своему отрицательному отношению к христианству, очевидно уже давно сложившемуся.

Собеседник он был чрезвычайно интересный, благодаря своей эрудиции, уменью пользоваться ею без всякого педантизма и внесению в беседу тонкого юмора, составлявшего самую милую черту его речи. Он был человек очень добрый и наивно-прямой, как ребенок, так что его переезд в Петербург был для меня чувствительным лишением.

Нечто совершенно другое представлял Александр Иванович Эртель, известный писатель-беллетрист. Бесспорно чело-

век умный, одаренный тонкой наблюдательностью и способностью воплощать наблюдаемое в живые образы, он произвел первым своим произведением «Записки степняка» впечатление. Появившийся позднее роман «Семейство Гардениных» не оправдал надежд и показал, что ему не по плечу задача романиста. В его романе талантливо изображен только конный завод Гардениных, все остальное чрезвычайно слабо, длинно, скучно и лишено жизненности. Тем не менее, Эртель был человек живой, интересный и умевший взять от жизни все, что она могла дать ему. Даже ссылка не повредила ему: она дала ему друзей, средства к жизни и известность, не столько литературную, как деловую. Он брал жизнь, как она есть. Как ссыльный, живя в Твери, он пользовался искренним расположением семьи Бакуниных, Надежды Николаевны Мордвиновой, занимавшейся с ним русской грамматикой, которой он не знал; и французским языком; в редакции «Русской Мысли» принимали во внимание, что он не только автор, но и ссыльный. Как народник, он стал другом В.Г.Черткова и устройтелем его дел по обширным имениям на Дону; отсюда он стал управляющим Александровского имения Хлудовых в Моршанском уезде, и главноуправляющим г.г. Пашковых. Словом, он выплыл на просторное море предпринимательства всяких «дел», и из нашего общего приятеля, скромного тверского ссыльного, превратился в настоящего «буржуя», даже по внешности, — в великолепной шубе и бобровой боярской шапке, с массивной, бьющей в глаза, золотой цепью на животе. Своих двух дочерей он отвез учиться в Англию, а своих старых друзей предал забвению. Я знал одного человека, не выносившего даже его имени: это был человек безукоризненной честности, известный художник, — Николай Александрович Ярошенко.

Противоположностью Эртеля был его сотоварищ по литературе и ссылке Григорий Александрович Мачтет, бескорыст-

нейший и добрейший человек, всегда пребывающий в состоянии искреннего пафоса, говорящий и пишущий надутым языком, но правдивый, всегда готовый к услуге ближнему, даже к жертве. Он и женился, принося жертву, из желания сделать доброе дело и спасти бедную сосланную девушку от смерти. Он женился, кажется, совсем не зная своей жены, жившей в другом месте. Но он узнал, что она больна туберкулезом, который угрожал ее жизни. Получив право покинуть Сибирь, он решил, что, женившись на ней, он создаст для неё, как для жены своей, право возвратиться с мужем в Москву, где она может пользоваться лечением опытных врачей. Первая часть плана, т.е. бракосочетание было совершено, но администрация отказала ей в праве покинуть место ссылки. Мачтет уехал один, но сейчас же начал хлопотать о возвращении его жены, и, к его великому счастью, его хлопоты увенчались успехом. Он отправился в Сибирь за ней и привез ее в Москву, но кажется, она скоро по приезде скончалась. Он питал к этой молодой женщине какое-то особое поклонение и гордился ею: в разговоре, когда он упоминал о ней, он всегда с благоговением говорил: «Елена Мачтет, моя жена», давая понять, что считает за честь, что такая особа носит его имя. После его отъезда из Твери, я последний раз встретил его в Москве, в Хамовниках, у Льва Николаевича Толстого, у которого мы провели вечер с Александром Александровичем Бакуниным. Этот вечер остался мне особенно памятным вследствие чрезвычайно неприятного и неожиданного инцидента. Лев Николаевич заговорил о Н.Н.Ге, художнике, своем друге, и зная, что я давно с ним знаком и был его соседом по имению, стал спрашивать о нем. Сидевшая тут же Софья Андреевна вмешалась в наш разговор и назвала старика Ге подлецом. Все мы были озадачены ее отзывом о друге Льва Николаевича и грубостью ее выражения. Лев Николаевич замолчал и опустил

голову. Замолчали и мы. Неловкое положение было нарушено приглашением в столовую к чаю.

Мачтет скоропостижно скончался в Ялте, отравившись рыбой, поданной ему за ужином в городском саду. Я узнал о его смерти из газет. Мне было жаль его. Только глупая и грубая русская жандармерия могла причислить этого добряка, совершенно чуждого каких-либо революционных намерений, к опасным врагам существующего порядка и отправить его в Сибирь. Она не боялась ошибаться в таких случаях и полагала, что «лучше пересолить, чем не досолить», так как за пересол она не отвечала. Она не отвечала и за смерть Елены Матчет, которая, может быть, была такой же политической преступницей, как и ее супруг...

К таким же преступникам, вероятно, принадлежало три четверти тех ссыльных, которые прибыли в Тверь в надежде найти какие-нибудь средства к существованию. Во всяком случае таких было большинство, если не считать каждого мыслящего и способного человека в России преступником. В числе таких я назвал выше трех ссыльных, бесспорно людей образованных и независимых по своим убеждениям, и никакой суд не признал бы в них преступников; это были: В.И.Яковенко, Б.Ф.Недзялковский и М. В. Девель. С первыми двумя мы с женой были довольно близки, а со вторым, Б.Ф.Недзялковским, я работал по статистическому описанию Бежецкого и Осташковского уездов. Болеслав Францевич был родом поляк с правобережной Украины, где его брат был католическим прелатом, а потом епископом в Житомире. Болеслав Францевич прошел курс Петровской Академии и был очень трудоспособный человек. Само собою разумеется, что он был польский патриот, но не враг России и русских, среди которых идея самостоятельной Польши пользовалась признанием в широких кругах, где понимали, что порабощение Рос-

сией Польши не усиливало Россию, а ослабляло ее. В политических воззрениях мы с ним не расходились вовсе, и принадлежали к той группе, которая позднее превратилась в политическую конституционно-демократическую партию. Недзьялковский из Твери перебрался в Вильну, где получил место оценщика в Виленском земельном банке. Его ум, безусловная добросовестность и работоспособность быстро выдвинули его на более широкое поле деятельности и сделали его одним из влиятельнейших граждан города. Мне кажется, что в настоящее время, когда я пишу эти строки, Недзьялковский состоит членом Варшавского Сейма от города Вильны.

Не могу не упомянуть третьего названного мною ссыльного, Михаила Владимировича Девеля, получившего образование в петербургском лесном институте. Имя его будет неразрывно связано с прогрессом тверского сельского хозяйства. Девель не принадлежал к обывателям Тверской губернии, но волею судьбы и заботливостью правительства попал в Тверь из Сибири, где отбывал основной стаж русского интеллигента, т.е. административную ссылку. Но Девель принадлежит (говоря в настоящем времени в надежде, что он еще здравствует, ибо такие люди, как Девель, ни при каких обстоятельствах не падают духом и сохраняют свой лик неизменным) к числу довольно редких оригинальных людей, особенно среди русских. Его пребывание в Твери оставило глубокий след в крестьянском хозяйстве тверской губернии, и только идиотская власть реакции, последовавшей после разгона первой Думы, изгнала его из Твери, которую он вынужден был покинуть и перебрался в Псков. От его товарищей, разделявших с ним сибирскую ссылку, я знаю, что, заброшенный в какой-то городок Сибири, без всяких средств, он нисколько не потерялся и принялся за работу, какая попадалась, не отказываясь ни от какой. Во всяком деле он был умелым работником: был маля-

ром, столяром, полотером и т.п., и ни в какой помощи не нуждался, оставаясь чрезвычайно скромным в своих потребностях. Но в Твери поле его деятельности было поистине благотворным, т.к. ему, главным образом, тверское мелкое земледелие обязано распространением травосеяния и плуга взамен стародавней сохи. Заведуя лавкой тверского общества сельского хозяйства, он не только продавал семена, плуги, веялки, маслобойки и минеральные удобрения, но вел беседы с покупателями, давал советы, объяснения всего, что требовалось и чего покупатель не знал, но доверием которого Девель пользовался безусловно. Губернское земство оказывало ему кредит, хотя его деятельность была совершенно независимой от земства. Тем не менее, эта деятельность Девеля может считаться началом земской агрономической работы, которую она подготовила и с которой была тесно связана. Так, мне кажется, под влиянием Девеля Новоторжское земство устроило свой собственный небольшой завод сельскохозяйственных орудий, которые быстро стали распространяться не только в своем уезде, но стали вытеснять в Елинском уезде плуги московского производства. К сожалению, война остановила это производство; а тверская губернская администрация выслала из губернии Девеля, коммунисты же вероятно окончательно разрушили и завод, и хозяйство Тверской губернии.

Глава X

**Тверское дворянство и освобождение крестьян —
А.М.Унковский — Алексей Александрович Бакунин и
мировые посредники в Петропавловской крепости —
Основные элементы земства: дворянство и крестьянство —
Состав тверской губернской земской управы в 1883-85 г.г.:
Корсаков, Апостолов — 1885 г. Выборы губернской зем-
ской управы: С.Д.Квашнин-Самарин**

«В октябре 1858 г., когда в официальных сферах никто еще не смел и заикнуться о выкупе земли и когда запрещено было дворянским комитетам касаться этого вопроса, говорит Джаншиев в своей всем известной книге «Эпоха великих реформ», приехали в Петербург тверские депутаты А.М.Унковский, А.Н.Перхуров, Н.А.Бакунин и П.Нищенский. Они представились министру внутренних дел С.С. Ланскому и категорически заявили, что они согласны составить проект реформы (освобождения крестьян от крепостной зависимости) не иначе, как на основаниях, которые они сами считают полезными; а если такого проекта не нужно, — продолжали депутаты, — пусть назначат на место наше чиновников, которые напишут все, что им велят».

Известно, что значительное большинство дворянства изъявило готовность освободить крестьян от личной зависимости от помещика, но только без земельного надела. В этом случае оно следовало за первоначальным планом самого правительства, которое предполагало сохранить за помещиками право собственности на всю землю, крестьянам же предоставлялось приобрести в собственность только усадьбную оседлость, т.е., разъяснял циркуляр министра внутренних дел, «избу или хату, в которой живет крестьянин, с двором и принадлежностями, с огородом и с землею под оными. Остальной же надел, состав-

ляя собственность помещика, отдавался лишь в пользование крестьянам, которые должны были или отбывать натуральные повинности, или платить оброк деньгами, либо произведениями.» «Уничтожение крепостного права должно было совершиться не вдруг, а постепенно, при чем переходное состояние могло длиться до 12 лет. За помещиками сохранялась вотчинная полиция»⁸.

Вопреки всему этому, тверской дворянский губернский комитет «твердо и убедительно настаивал (в составленном им «Положении») на необходимости полного освобождения крестьян с землею и на предоставлении, при посредстве выкупной операции, в их собственность не только оседлости, но и наделной полевой земли. Кроме того, он считал крайне опасным сохранение вотчинной полиции и предлагал стройную систему местных административных и судебных учреждений, основанных на принципе всесословного самоуправления и согласованных с духом освободительной реформы». Это «Положение» подписали: губернский предводитель А.М. Унковский, тверской уездный предводитель Арсений Балкашин, члены: кашинский депутат Павел Максимович, калязинский — Михаил Неронов, весьегонский — Петр Измайлов, вышневолоцкий — Николай Харламов, ржевский — Никита Семенов, старицкие — Алексей Вульф и Петр Панафидин, новоторжские — Павел Кишенский и Константин Мягков, корчевские — Алексей Перхуров и Алексей Головачев; депу-

8 Отношение Министра внутренних дел Ланского к генерал-губернатору Назимову, от 23 ноября 1857 г. Джаншиев, «Эпоха великих реформ», 8-е изд. стр. 130.

таты от правительства — Николай Бакунин и Александр Вельяшев.

«Положение» тверского дворянского комитета далеко опередило предложения и планы правительства и представляет неопровержимое показание, что еще до освобождения крестьян в дворянской среде не было единства крепостнических воззрений, а, напротив, существовало два течения: крепостническое, имевшее на своей стороне большинство, и освободительное, соединявшее меньшинство, но вполне сознательное, отчетливо понимавшее не только необходимость освобождения личного, но и наделения крестьян землею. Мало того, оно связывало в одно нераздельное целое освобождение крестьян с переустройством местной системы административных и судебных учреждений в духе освободительной реформы, т.е. действительного самоуправления. Что выработанное тверским комитетом «Положение» не было пустою либеральной болтовней, показывает дальнейшее поведение уже не комитета, а всего губернского дворянского собрания, которое, в ответ на запрещение правительства обсуждать проект комитета, постановило: — признать запрещение незаконным и обратиться к верховной власти с просьбой отменить распоряжение, лишаящее дворянство его прав. Верховная власть ответила на это обращение к её арбитражу отправлением в ссылку и отдачу под надзор полиции губернского предводителя дворянства Алексея Михайловича Унковского и г. Европеуса.

Однако, и такая мера не изменила ни воззрений, ни настроения тверских дворян, так как в 1861 году, после состоявшегося уже освобождения крестьян, группа мировых посредников, с новоторжским уездным предводителем дворянства Алексеем Александровичем Бакуниным и членом губернского по крестьянским делам присутствия от правительства Николаем Александровичем Бакуниным во главе, обратилась к мини-

стру внутрениих дел с заявлением, что Положением о крестьянах оброк установлен непосильный, что вы-куп земли должен быть обязательным (для помещиков), что для блага России необходимо уничтожение сословий, уравнивание в правах всех граждан и созвание Земского Собора. Это постановление было подписано, кроме двух братьев Бакуниных, одиннадцатью мировыми посредниками: Демьяновым, Никанором Трубниковым, Харламовым, Вельяшевым и другими.

Все подписавшие это постановление были преданы суду и приговорены к лишению особых прав и заключению в крепости. Решение немедленно приведено в исполнение и обвиненные 13 тверских дворян были заключены в Петропавловскую крепость. Вскоре, однако, им было предложено подать просьбы о помиловании, что все они и сделали, после чего были освобождены и восстановлены в правах, за исключением двух братьев Бакуниных, отказавшихся от подачи прошения. Они оба, хотя были освобождены из крепости, но остались на всю жизнь лишенными прав участвовать в каких-либо собраниях и занимать какие-либо должности.

Само правительство понимало всю нелепость и суда, и произнесенного приговора над группой лиц, представлявших общественное течение, благодаря которому само правительство могло справиться с величайшей реформой своего времени, давшей свободу 23 миллионам крестьян. Все недостатки этой реформы были очевидны и вытекали из противоположного крепостнического источника, враждебного и освобождению, и правительству, которое его предприняло. Поэтому заключенные в крепость были приняты обществом не как преступники, а почти как гости, и в числе многих посещавших их в крепости лиц бывал весьма часто петербургский генерал губернатор кн. Суворов, который и настаивал на подаче прошений о помиловании, ругаясь за успех. В числе ежедневных посетительниц

была и Наталья Семеновна Бакунина, жена Павла Александровича, откомандированная семьей для оказания всякой помощи заключенным. От неё непосредственно я слышал рассказы о жизни заключенных в крепости тверитян, пользовавшихся такими удобствами, которые не применялись ни раньше, ни позднее в этой российской Бастилии.

Введение земских учреждений в Тверской губернии последовало спустя 4-5 лет после освобождения крестьян и, само собою разумеется, те же самые люди, которые так настойчиво и энергично осуществляли крестьянскую реформу, приняли участие и в новой земской реформе, о которой они говорили и которую требовали, как безусловно необходимое следствие освободительной реформы. Конечно, им было желательно нечто другое, чем то, что они получили из рук такого реакционера, как Валуев, и что прекрасно раскрыто в книге корчевского депутата, подписавшего запрещенное «Положение» тверского комитета, Алексея Адриановича Головачева, особенной дружбой которого я пользовался в последние годы его жизни, когда мы с ним действовали вместе в тверском губернском земстве.

История земской реформы, отпраздновавшей в 1914 году свое пятидесятилетие, дает богатый материал для правильного суждения, как о первой половине существования земства, так и о второй, когда оно подверглось существенному изменению, и затем об общей сумме того, что земством внесено в жизнь своей страны, как в культурном, так и в экономическом отношении. Подведение итога культурной и хозяйственной деятельности земства представляет в настоящее время особый интерес, т.к., по всей вероятности, земство не воскреснет в той форме, в какой оно просуществовало полвека. В 1869 году кн. А.И.Васильчиков приветствовал Положение о земских учреждениях 1864 года, как наступление в России самоуправления,

и утверждал, что мы «со смелостью беспримерной в летописях мира вступаем на поприще общественной жизни», так как «ни одному современному народу европейского континента не предоставлено такого широкого участия во внутреннем управлении, как русскому». Полувековой тернистый путь, пройденный земством, может быть, удовлетворил бы горячего сторонника земских учреждений той по истине гигантской работой, которую они совершили, и теми результатами, которых они достигли, но на ряду с этим он убедился бы, что не только широкого участия во внутреннем управлении земство было лишено в-самом точном смысле этого слова, но что его шаг за шагом лишали тех прав, без которых идея самоуправления совершенно извращается. Реформа земства 1890 года была полным отрицанием самоуправления.

Тем не менее, крушение земских учреждений зависело не только от правительственных мер, стеснявших земскую деятельность; против этих мер земство, путем долгого опыта, выработало разные способы самообороны и вело непрерывную борьбу с администрацией в уверенности, что рано или поздно оно победит.

Его ахиллесовой пятой было отсутствие прочного фундамента, без которого не могло быть прочным никакое здание. Такой фундамент составляет народная масса, а в земстве — крестьянство, без соответственного участия которого земство представляет дерево без здоровых корней; как бы ни были богаты его листва и его цветение, — гибель его неизбежна.

Отчужденность земских учреждений от народной массы уже давно была замечена людьми, близко стоящими у дела и с беспокойством предвидевшими все последствия такого ненормального положения. Замечалось, что крестьянство оставалось совершенно чуждо земских интересов и земских учреждений, не видело в них своих органов, удовлетворяющих его соб-

ственные потребности и нужды и что, напротив, в земстве оно видело одно из многочисленных казенных учреждений, требующих от него денег на содержание врачей, учителей, инженеров, получающих жалованье. Весь механизм самоуправления оставался неясным населению, как неясна была и роль каждого служащего, работающего для удовлетворения народной, а не собственной нужды. Поэтому почти так же, как полвека раньше, земская больница, земская школа и вообще все, что носило земский штемпель, оставалось чужим для населения. Правда, оно перестало бояться больницы и охотно шло туда в случае нездоровья; оно охотно посылало своих детей и в школу, но и до сих пор эти учреждения в его представлении не были связаны с теми денежными сборами, которые вносятся ими в земскую управу, притом через казенное казначейство. И больница, и школа оставались по-прежнему чужими, «земскими», а не его собственными, и поэтому ему не было нужды их беречь и охранять, как охраняют свое собственное добро. Было не редкостью видеть, как деревенская школа, покинутая учителем на летних каникулах, стоит с разбитыми окнами, полуразрушенная. Население не чувствовало никакого желания охранять ее: не наша, земская, мол, земство и поправит! Земство было само по себе, а волость и сельское общество сами по себе; одному до другого не было никакого дела. Таков был план самого правительства. Согласно объяснительной записке, приложенной к Положению о земских учреждениях 1864 г., земству предоставлено было действовать в кругу вверенных ему дел самостоятельно, но зато ему было запрещено «вмешиваться в дела, принадлежащие кругу действий правительственных, сословных и общественных властей и учреждений». Правительство старательно поддерживало все перегородки, разделяющие население по сословиям, придерживаясь старого лозунга — *divide et impera* — разделяй и властвуй, противопо-

ставляя интересы одного сословия другому и считая демократический принцип единства опаснейшим врагом самодержавия. Вот почему, вопреки коренному смыслу понятия «земство», оно было организовано на принципе не внесословности или бессословности, а на принципе сословности, представляя из себя только агломерат сословий, не имеющий никакой прочной спайки и потому уже склонный разрушаться. А между тем, только организация бессословная, обнимающая все население волости без различия сословий, должна была бы стать основой и первой ячейкой земств в качестве волостного земства, безусловно самоуправляющегося в пределах установленных законом и независимого как от уездного или губернского земств, так и от центрального правительства.

Мысль о необходимости превратить волость в первичную ячейку государственного управления была поставлена в Кахановской комиссии, которая осталась на почве самодержавного и централистического государственного управления. Однако она признавала, что сама природа единого русского государства требует превращения волости в первичную территориальную государственную ячейку. На этом основании комиссия, которой был поручен пересмотр губернских учреждений, предполагала волостное самоуправление упразднить, обратив волость в территориальную административную единицу, обнимающую, по образцу стана или мирового участка, все население данной местности; во главе волости должен был быть поставлен «волостель», назначаемый уездным земским собранием. Эти предположения подверглись резкой критике со стороны «местных деятелей», стоявших за сохранение крестьянского сельского общества и крестьянской волости, но требовавших установления над ними «властной руки». «В среде «местных деятелей», продолжает автор статьи в Энциклопедическом Словаре, «преобладало два течения — чисто

бюрократическое и сословно дворянское. Оба они сходились в отрицании бессословности на низших ступенях управления, в недоверии к земству, в стремлении к созданию сильной местной, ближайшей к населению власти; расходились они в способах организации власти и замещения должностей, ею обремененных».

Само собою разумеется, что «меньшинство местных деятелей» не разделяло ни бюрократической, ни сословной точки зрения, так как и та и другая были далеки от принципа самоуправления, построенного на демократическом начале, и находились с ним в явном противоречии. Меньшинство желало не «сильной руки» и управления населением, лишенным всех прав, а политически независимого самоуправления, которое только практически могло ознакомиться, усвоить и привыкнуть к системе государственного самоуправления на всех его ступенях. Не нужно забывать, что коренная реформа осуществлялась в стране, совершенно неподготовленной к самоуправлению, и что подавляющая числом масса народа состояла из крестьян, только что освобожденных от крепостной зависимости и почти поголовно неграмотных. Переход от крепостного состояния к земскому самоуправлению представлял слишком мало подготовленный поворот, чтобы можно было ожидать действительного участия крестьянства в земстве, вышедшем из рук Валуева и не приспособленном ни к умственному развитию крестьянства, ни к его привычкам и навыкам, ни к условиям его быта.

А между тем, этот фундамент был безусловно необходим и мысль, так ярко выраженная тверским губернским дворянским комитетом о связи освобождения крестьян с организацией местного самоуправления, как бы предрешила, что освобожденное крестьянство и будет тем фундаментом самоуправления, без которого не может быть и самого самоуправления.

Опасность такого положения земства никогда не терялась из вида и уже в девяностых годах истекшего века получила свое выражение в признании необходимости, так называемой «мелкой земской единицы», т.е. самого подлинного демократического сельского самоуправления, ограниченного в своих функциях, но независимого от чужой воли и представляющего великую практическую школу, через которую могло бы пройти все население, знакомясь с общественными делами и усваивая привычки и навыки управления. Если бы такая мера была проведена вместо реакционной реформы 90-го года, может быть, Россия оказалась бы лучше организованной и способной бороться с коммунизмом, в котором она сразу увидела бы своего врага, а не свою надежду.

К сожалению, даже в тверском земстве идея мелкой земской единицы не нашла большинства голосов, и моя защита встретила непримиримую оппозицию группы, во главе которой был Кузьмин-Караваев. На этой почве у меня с ним началось расхождение: он стал держать курс правее.

Естественно, что активная роль в земстве сосредоточилась в руках дворянства, так как крестьянство было отодвинуто на второй план, вопреки его численному перевесу и всей важности его участия.

Несмотря на всю ограниченность развития крестьянства, едва ли было бы справедливо рассматривать его как массу, совершенно однородную и по материальным интересам, и по духовным потребностям и отношениям. И в этой однообразной серой массе, поглощающей все разнообразие и многообразие индивидуальностей, мы видим и знаем крайности зверства и самопожертвования, корысти и справедливости, земных интересов и искания Бога и истины, ненависти и любви. Было бы еще более несправедливо говорить и рассматривать дворянство, как однородную группу, выдрессированную в одинако-

вых привычках, взглядах и чувствах. Уже одна образованность этого сословия создавала в нем бесконечное разнообразие индивидуальностей, среди которых встречаются выразители и величайшего зла и — величайшего добра. Между Львом Николаевичем Толстым, искателем правды и справедливости, и извергом человеческого рода Лениным, принадлежащими по рождению к одному сословию, — вся бесконечность нравственных воззрений и чувств, все добро и все зло, свойственные человеческой природе.

Вот почему мы не можем говорить о дворянстве, как о чем-то неделимом, и припомним, что в то самое время, когда большинство дворянства вообще было против освобождения крестьян и соглашалось на освобождение только личное без всякого надела, да и то под угрозой императора Александра II, что лучше совершить освобождение сверху, чтобы предотвратить освобождение снизу, — в это самое время меньшинство с тверским дворянством во главе требовало не только освобождения с наделом пахотной земли, но и организации самоуправления в духе освобождения.

Русское дворянство не похоже на дворянство западноевропейское, имеющее иную историю. Наше дворянство никогда не обладало ни независимостью, ни самостоятельностью. Оно было только служилым сословием, зависевшим от верховной власти, как в политическом, так и в экономическом отношении. Не оно было опорой престола, а само искало у престола опоры и милости. Цари награждали его за «государеву службу» землею и крестьянами, или карали плетью и ссылкой за нерадение. Полное невежество, нередко даже безграмотность этих царских слуг не поднимали их понятий выше понятий народной массы — о долге, о нравственном достоинстве человеческой личности. Но их невежество не мешало им усвоить служебные навыки, приобрести опыт управления и

стать необходимым органом государственной власти. Из этого ядра постепенно и выросло поместное дворянство. Его появление было не только историческим фактом, но и исторической необходимостью, т.е. было в свое время фактом прогрессивным, способствовавшим росту и устройству российского государства. Таким же прогрессивным оно оказалось и позднее, когда против своей воли и желания, по воле императора Петра I, пошло учиться за границу, чтобы удовлетворить новые потребности государства. Нельзя лучше квалифицировать этот факт, чем Герцен, сказавший, что на требование Петром образованности Россия ответила Пушкиным. А за Пушкиным выступило целое созвездие поэтов, писателей, художников, ученых, музыкантов, создавших самобытную русскую литературу, искусство, науку, т.е. русскую самобытную культуру.

Само собою разумеется, что эти творцы русской культуры были выразителями гения русского народа, а не дворянского сословия, и первым по времени между ними был гениальный «архангельский мужик» Ломоносов; но нельзя отрицать, что единственный образованный класс стал культурным двигателем нашего отечества и распространителем общечеловеческих идей в народной массе. На заре нашей образованности уже появляются люди, поднимающие свой голос во имя справедливости и человечности, против крепостного права: достаточно назвать имя Радищева, за свой протест против рабства заплатившего годами страданий и смертью.

А разве может русский народ забыть истинного просветителя России Н.И.Новикова, не жалевшего ни своих личных средств, ни своих трудов ради просвещения своей родины и точно также за свою деятельность заплатившего тюрьмой.

Перебирая весь синодик жертв борьбы за освобождение народа от рабства, от нищеты, от произвола самодержавной власти и произвола её сателлитов, не трудно убедиться, что за

Радищевым и Новиковым тянется целая вереница людей, принадлежащих к дворянскому сословию и окончивших свою жизнь либо на эшафоте, либо в рудниках Сибири, либо в каменных мешках Шлиссельбурга, или Петропавловской крепости. И все эти люди, начиная с декабристов, умирали не за свои личные интересы, а за общее благо народа, за обездоленных и угнетенных, бессильных возвысить свой голос и побороть неправду. Такое жертвенное настроение и глубокое сочувствие к народной массе не было ни случайным, ни эпизодическим. Напротив, все самые выдающиеся русские писатели в течение всего XIX века непрерывно и неустанно в своих творениях обращались и к разуму, и к чувству русских людей, указывали им на необходимость разбить цепи рабства и невежества, в которых держали огромную массу крестьянства, и сделать это не во имя тех или других государственных соображений, а во имя человечности, во имя свободы, равенства и братства. От «Путешествия» Радищева, через «Записки охотника» Тургенева, до «Власти тьмы» Л.Н.Толстого тянется красной нитью все одно и то же неиссякаемое требование свободы, равенства и братства; все один и тот же призыв к отказу от личных благ во имя блага всего народа. Можно ли удивляться, что такой призыв не остался гласом вопиющего в пустыне и что в людях, склонных к экзальтации, он вылился в форме, получившей полунасмешливую, полупрезрительную кличку «кающегося дворянина»?

Народничество в литературе, как и «опрошение» и «слияние с народом» в жизни, — были одним из замечательнейших явлений русской культуры и одинаково служили отражением как психологической, так и политико-социальной эволюции, пережитой русским образованным классом, состоявшим не только из так называемых на официальном языке разночинцев, но и из большого числа дворян- землевладельцев или земцев,

сыгравших крупную роль во всех важнейших реформах — от освобождения крестьян в 1861 г. до первой Государственной Думы в 1906 году; от тверских дворян, требовавших полного обеспечения крестьян землею в 1858 году, до земцев, созвавших в 1905 году в Москве аграрный съезд, чтобы снова поднять земельный вопрос, а в 1906 г. поставивших его в первой Государственной Думе на очередь дня. Поэтому продолжать повторять старые фразы о «либеральных помещиках, старающихся предугадать сюрпризы истории» и заслуживающих поэтому только просвещенного презрения, повторять теперь, когда Россия переживает пятый год последствия «классовой борьбы», иго «диктатуры пролетариата», доведшее ее до людоедства, — значит сознательно извращать смысл событий и историю нашей страны.

Государство, исторически сложившееся в течение многих веков, создавшее свою национальную культуру, свой умственный и духовный склад, налагающий свою особую печать на весь индивидуальный характер народа и на его общественный строй, — такое государство не может по щучьему велению перестраиваться по любому трафарету, по любой теоретической схеме. Как в политическом, так и в социальном своем развитии народ растет постепенно из духовных семян, заложенных в его прошлом, в его тысячелетней истории.

Освобождение крестьян нанесло дворянству, как организованному рабовладельческому сословию, справедливый экономический удар. Земские учреждения и закон о всеобщей воинской повинности нанесли ему не меньший удар, лишив его последней политической роли и последней привилегии.

В 1902 году в Новоторжском уездном комитете о «нуждах сельскохозяйственной промышленности» мне приходилось слышать от крестьян обвинения дворянства в поддержке разных правительственных мер, направленных против распро-

странения образования в крестьянской среде, «чтобы легче было держать народ в господских руках». Как в комитете, так и теперь я категорически возражаю и утверждаю, что такое мнение совершенно неверно. Те дворяне, которые желали бы сократить образование в крестьянской среде, бессильны были это сделать, что видно из роста земских бюджетов на народное образование. Возможно, что убеждение, существующее в крестьянской среде о препятствиях на пути к образованию, сохраняется благодаря знаменитому циркуляру министра народного просвещения Делянова о недопущении детей прачек, кухарок и вообще прислуги в средние учебные заведения, изданному тотчас после покушения на жизнь императора Александра III, в 1887 году, в котором было замешано несколько лиц крестьянского сословия. В вопросе о народной школе правительство так мало доверяло дворянству, что в училищном совете рядом с председателем его, предводителем дворянства, посадило правительственного чиновника, — инспектора народных училищ, — предоставив ему действительную власть и оставив предводителю лишь почетное положение. Злейшими врагами народного образования были именно эти чиновники.

Нельзя, однако, отрицать, что среди дворянства имеются разные непримиримые течения и в том числе реакционное, одинаково враждебное как к народной массе, так и к тем членам своего сословия, которые предпочитают демократические принципы и взгляды. Реакционные и сословные идеи сохраняются преимущественно в среде аристократии (хотя и в ней не мало отщепенцев, ставших искренними демократами) и богатого дворянства, теперь разоренного, но мечтавшего о возврате к прошлому и возлагающего надежды на реставрацию монархии с помощью российского Монка, на реакцию народных масс, на вспышку религиозного чувства или попросту на

появление российского Наполеона и военную диктатуру. К этой незначительной части дворянства примыкает ничтожная, как по своей численности, так и по своему весу группа прихвостней, крикливая и беспокойная, разыгрывающая роль вожakov монархизма. Все остальное дворянство, принявшее участие в земстве в течение целого полувека, мало по малу утрачивало свою сословную связь и усваивало демократические воззрения и чувства; постепенно оно присоединялось к самым разнообразным профессиям и политическим течениям, — от правых до крайних левых, и к началу XX-го века превратилось в образованный элемент демократии, не однородный по политическим воззрениям, но однородный по своему гражданскому положению. Поэтому в настоящее время едва ли можно указать какую-либо партию или профессию, в которой не было бы значительного числа дворян по происхождению. Вот почему, мне кажется, говорить теперь о дворянстве как о замкнутой сословной группе, о дворянских традициях, о дворянских стремлениях, — значит прибегать к демагогии и выражениям, затемняющим существо дела и решительно ничего точно не определяющим.

Дворянство, как цельная и организованная группа, как класс, объединенный тождественными интересами, как действительный социальный и политический фактор, сыграло свою историческую роль и утратило все особенности сословного характера и мышления; оно сходит со сцены, продолжая растворяться в народной массе. Этот процесс ускорен последней революцией и едва ли можно сомневаться, что всякая попытка остановить его или хотя бы задержать останется бесплодной. Но это несколько не умалит той роли, которую сыграло в организации и развитии местного самоуправления дворянство, в котором одновременно происходил двойственный процесс:

разложение сословного строя и развитие образованной демократии.

Наряду с дворянством в земстве естественно была отведена роль крестьянству, как сельскохозяйственному классу, представляющему около 85% всего населения России.

Подобно дворянству, крестьянство не составляет в настоящее время сословия совершенно однородного. Не было оно однородным и в момент освобождения крестьян от крепостной зависимости, так как эта реформа касалась исключительно помещичьих крестьян. Государственные и удельные крестьяне не знали того рабства, в котором находились их помещичьи братья. Освобождение последних изгладило правовое различие крестьянских разрядов, но оно не внесло равенства в экономическое положение крестьян разных наименований, а время и индивидуальные способности смешали все разряды, но разделили их по высоте имущественного и хозяйственного положения на богатых, «средняков» и слабых или «бедноту». Положение о земских учреждениях 1864 года, при всех своих недостатках, все же предоставляло самому крестьянству избирать своих представителей в земстве, число которых могло иметь перевес в земских собраниях, и сверх того крестьяне могли избирать представителей не только из своей среды, но и из цензовиков, более образованных и сведущих защитников крестьянских интересов. Я сам начал свою земскую карьеру в качестве представителя крестьянского избирательного собрания и без излишней скромности думаю, что в 1868 году я был более полезным крестьянству, чем всякий крестьянин, который был бы избран на мое место. Мне кажется, что нет нужды доказывать это положение, в виду полного незнакомства крестьян того времени с техникой общественных собраний.

Двадцатипятилетняя практика познакомила тонкий верхний слой крестьянства с этой техникой. Можно было ожидать, что

правительство поймет всю необходимость расширить рамки Земского положения и путем учреждения волостного земства привлечет к участию в государственном строительстве все население страны, без различия сословий, к самоуправлению в первичном и основном ядре, из которого Россия будет черпать новые силы и средства.

Но ни император Александр III, ни люди, окружавшие его, не стояли на высоте той задачи, которую история поставила перед ними. Александр III не понимал двух положений: во-первых, что его самодержавный престол опирается на крестьянство, а не на дворянство, и, во-вторых, что крестьянство зажиточное, обеспеченное в своих материальных интересах, так же как и в своих интересах культурных, будет более прочной опорой престола, чем поставленное в зависимость от произвола чиновников, лишенное свободы, общих гражданских прав, просвещения и стоящее на рубеже материальной нищеты.

События последнего времени с полной ясностью показали, что бессмысленная коммунистическая пропаганда могла иметь успех среди земледельческого населения только благодаря крайнему его невежеству, бедности и почти полному равнодушию к судьбам своего государства, которое оно знало только как силу, требующую беспрекословного повиновения и уплаты податей,

Фактически все значение крестьянства в земских учреждениях законами 1889-1890 года было уничтожено и его роль сведена к роли статистов, изображающих «народ». Для примера я беру наш Новоторжский уезд Тверской губернии. В нем имелось 18 волостей и каждая волость, через своих уполномоченных, избирала кандидата в гласные уездного земского собрания, в котором крестьянству по новому закону было отведено... 8 мест, следовательно, из 18 избранных кандидатов

только меньше половины могли занять место в земстве. Можно ожидать, что выбор этих счастливых решит жребий? Ничуть не бывало. Список 18 кандидатов, избранных волостями, представлялся земскими начальниками с соответственными рекомендациями губернатору, который составлял общий список всех 18 кандидатов, располагая их в порядке своего личного предпочтения и доверия, оказываемого кандидату, и первые 8 назначались губернатором гласными, а остальные, в той же постепенности, зачислялись кандидатами, на случай выбытия гласных. Таким образом, если принять во внимание, что все кандидаты избирались на волостных сходах под контролем земского начальника, а затем, избранные переизбирались губернатором, нельзя не признать, что гласные от крестьян не избирались населением, а назначались администрацией. Благодаря этому, в течение 15 лет (1890-1905), когда я был гласным Новоторжского уезда, состав крестьянских гласных оставался неизменным: все те же волостные старшины, крупные лесопромышленники и торговцы, интересы которых редко совпадали с интересами рядового крестьянства, а часто находились с ними в полном противоречии. Глядя на этих почтенных представителей демократии и слушая их речи, ни мы, гласные, ни публика не удивлялись тому неизменному явлению, что представители крестьянской демократии усердно отстаивали не интересы населения, а приказания начальства, от которого получали словесные инструкции и которому доносили, что требовалось, а гласные-дворяне систематически являлись сторонниками интересов населения.

Революция 17-го года, конечно, многое изменила, много внесла новых понятий, многому научила, многое разрушила, не только то, что подлежало разрушению, но и то, что требовало сохранения и дальнейшего развития. Но одних тяжких испытаний, пережитых крестьянством, недостаточно, чтобы оно

могло справиться только своими силами в предстоящей ему борьбе с своим вероломным союзником, более опасным, чем ему может казаться.

Коммунизм, провозглашая себя выразителем рабоче-крестьянской воли, надевает петлю на крестьянскую шею, ибо все условия быта крестьянства находятся в полном противоречии с коммунизмом и его первоисточником, социализмом. Сельское хозяйство и земледелие не имеют никакой аналогии с фабричным производством, т.к. первые два находятся в неустранимой зависимости от космической природы, находящейся не во власти человека и допускающей лишь искусство приспособления к ней. Поэтому земледелие не допускает общей регламентации ни времени труда, ни способов приспособления, имеющих всегда индивидуальный характер. И сверх всего этого принцип личной, индивидуальной собственности, составляющий безусловную основу успешного земледелия, находится в полном противоречии с коммунистическим отрицанием права личной собственности. Только принцип личной собственности мог покрыть голые скалы Финляндии слоем плодородной земли. В противоположность этому, только коммунизм мог плодороднейшие степи Приволжья превратить в пустыню.

Еще долго Россия будет страной земледельческой по преимуществу, так как её городское население не превышает 15% всего населения, и земледелие составляет её важнейшую промышленность, оплачивающую наш иностранный ввоз. Пройдет еще много времени прежде, чем Россия поставит снова на ноги свою обрабатывающую промышленность, способы и методы возрождения которой безусловно различны от способов и методов возрождения земледелия. Последнее возможно лишь под условием твердо установленного принципа земледельца-собственника. Все попытки социализации или

национализации земли, грубое ли требование коммунизма, или замаскированная система социалистов, одинаково пагубны для земледелия и для земледельцев, одинаково будут служить не возрождению, а окончательной гибели народного хозяйства и самого народа.

В 1883 году мы застали в Твери губернскую земскую управу в составе председателя Н.П.Оленина, двух членов: П.А.Корсакова и А.Б.Враского и секретаря А.П.Апостолова.

Если председатель управы Н.П.Оленин, человек лично весьма порядочный, не имел никакого делового значения, то оба члена и секретарь управы отличались чрезвычайной деловитостью, каждый в своей сфере.

Павел Асигкритович Корсаков в юности, кажется, склонялся несколько к славянофильству, имевшему в его родном уезде таких представителей, как крупный местный помещик Лука Кисловской, пожелавший после освобождения крестьян приписаться к крестьянскому сельскому обществу. По этому поводу в Твери мне передавали такой анекдот. Когда слух о желании Кисловского, дошел до Ивана Сергеевича Аксакова последний, встретив Кисловского, задал ему вопрос:

— Правда ли это?

Получив утвердительный ответ, Аксаков в смущении спросил:

— А как же будет на счет телесного наказания? Ведь в качестве крестьянина к вам может быть применено телесное наказание!

Кисловской улыбнулся, отступил на шаг от своего собеседника и, добродушно глядя на Аксакова, возразил:

— Иван Сергеевич! посмотрите на меня: (он был очень крупный мужчина) что мне значат 25 розог, разве я их не вынесу?...

И друзья, довольные друг другом, обнялись.

Такой «народник», надо думать, производил на молодежь того времени большое впечатление. Я помню этого Луку Кисловского, производившего немалую сенсацию в Киеве, где он, если не ошибаюсь, был в комитете по освобождению крестьян членом от правительства. Это было до польского восстания 1863 года, когда Киев по внешности более походил на польский город, чем на русский, и где Кисловской появлялся в русской поддевке, косоворотке и в высоких сапогах, или в русской тележке, запряженной великолепной тройкой в русской упряжи. Это был явный национально-русский протест против колонизации юго-западного края и его столицы, древнерусского Киева.

По окончании университета, Корсаков состоял товарищем прокурора киевского окружного суда при прокуроре гр. Капнисте и пользовался репутацией одного из лучших и деловитых членов прокуратуры. Я не сомневаюсь, что он был одним из самых деловых членов земства не только тверского, но и всероссийского, т.к. это был человек, умевший соединять твердые политические принципы с способностью практического их осуществления, притом в условиях наименее благоприятных для общественной работы. Ему, более чем кому-либо другому, тверское земство обязано превосходной организацией двух чрезвычайно важных учреждений: земского страхования от пожара и реорганизацией «Школы имени П.П.Максимовича», как называлась женская учительская семинария для подготовки учительниц в народных школах тверской губернии. С самого своего основания и до начала войны (далее сведений у меня не было) эта превосходная школа имела руководителей

— сначала П.А.Корсакова и Н.П. Дьяконову, а потом, в течение 25 лет, Федора Федоровича Ольденбурга и Елизавету Петровну Свешникову. Дух этой школы оставался все время неизменным и составлял предмет преследования всех губернаторов, кроме Сомова и кн. С.Д.Урусова, хотя дух этот, не дававший покоя администрации, был самый лояльный, самый спокойный, не поддававшийся никаким пропагандам.

Точно также и другое дело рук П.А.Корсакова выдержало все испытания, это — земское страхование, фактически превратившееся из обязательного в добровольное, действительно обеспечивавшее крестьянину все убытки от пожара. Без малейшего принуждения, путем прекрасной организации страховых агентов и быстрой оплаты пожарных убытков, почти все население Тверской губернии стало страховать свое имущество не по обязательной норме, а по действительной стоимости, что составляло чрезвычайно важный шаг в обязательном страховании. Земское добровольное страхование сразу понизило цену страхования частных страховых обществ и тем не менее приносило земству большой доход, помогавший земству в его финансовых оборотах, в виде кратковременных займов. П.А.Корсаков обладал к тому же умением выбирать людей, и при нем страховой отдел, находившийся под управлением А.С.Юрлова, имел прекрасный состав, проникнутый чисто земским духом.

В 1885 году происходили выборы управы на следующее трехлетие (1886-1888). Оленин не мог долее оставаться председателем управы, т.к. при нем никто из деловых людей не желал служить. Поэтому возник вопрос о выборе председателя. Оба члена управы, Корсаков и Враский, считали такое право за собою, но каждый соглашался баллотироваться лишь в том случае, если другой откажется. Добровольный же отказ принимался только при условии, что отказывающийся согласится

остаться членом управы. Такое условие, однако, оказалось неприемлемым для обоих. Несомненно, П.А.Корсаков был естественным и единственно возможным преемником Оленина; в управе он был настоящей творческой силой, обладавшей духом инициативы и широким пониманием земских задач. В конце концов, соглашение не состоялось, оба члена отказались от баллотировки и председателем был избран Степан Дмитриевич Квашнин-Самарин. Корсаков не покинул земской деятельности, хотя немедленно после того, как оставил земскую управу, получил место председателя казенной палаты в Петербурге, которой и управлял до восшествия на престол императора Николая II. Участвуя в земском собрании, Корсаков подписал в числе 36 гласных адрес царю, получивший широкую известность заявлением Государя, что он не допустит «бессмысленных мечтаний». Последствием этого было лишение Ф.И. Родичева права участия в каких бы то ни было собраниях, и высочайший выговор всем подписавшим адрес. Министр финансов Витте, в виду этого, немедленно приказал Корсакову подать в отставку, что он и сделал, но, как человек деловой, был тотчас приглашен на место директора одного из крупных банков. Интересно вспомнить, что Николаю II пришлось спустя 11 лет признать, что «мечтания» не были пустыми, а Витте — осуществлять их в жизни. Корсаков имел еще раз случай проявить свои земские воззрения. Губернатор Ахлестышев одним почерком пера вычеркнул из представленного ему списка избранных по уездам попечителей народных школ более ста человек, издавна состоявших попечителями, а многие из них были и учредителями этих школ; они строили и устраивали их на свой собственный счет, или отдавали школам помещения в своих собственных усадьбах. В числе таких не утвержденных попечителей были и П.А.Корсаков и его супруга, всегда относившиеся к школе с величайшей заботливостью

и бывшие попечителями устроенных ими школ несколько лет. В числе неутвержденных оказались и мы с женой, хотя две школы мы сами выстроили и оборудовали, а другие две снабжали библиотеками и учебными пособиями.

Дворянское собрание 1897 года было многолюдно. На него прибыло из Петербурга много тверских дворян, в том числе кн. Хилков, министр путей сообщения, Штюмер, граф С.Д.Шереметев и много других. Выборам, как всегда, предшествовало обсуждение нужд сословия. Как только прения были открыты, Корсаков потребовал слова и, сильно волнуясь, требовал от собрания положить предел произволу администрации. — «Какой-то господин Ахлестышев, говорил он, — которого я не знаю, да и знать не хочу, осмеливается выгнать меня из школы, которую я много лет поддерживаю в моей собственной усадьбе и т.д.» Собрание отвечало громом аплодисментов, а присутствовавший тут гр. Шереметев, друг и покровитель Ахлестышева, перепугался, вообразив, что начинается революция, и помчался в Петербург доложить царю о происшедшем. Само собою разумеется, что наше выступление против Ахлестышева не привело к утверждению нас попечителями школ, но несомненно подорвало положение глупого и бестактного губернатора в правительстве, чему вероятно способствовало присутствие на собрании многих петербуржцев, которые могли убедиться в презрении, с каким третиrowался представитель власти, не нашедший ни в ком ни малейшей поддержки.

Это было, кажется, последнее выступление П.А.Корсакова в Твери и не в земском собрании, а в собрании губернского дворянства, среди которого его голос звучал, однако, не в защиту дворянских привилегий, а в интересах каждого гражданина. В своем Весьегонском уезде он продолжал, однако,

принимать деятельное участие в земских делах до самой своей преждевременной кончины.

Товарищ Корсакова по губернской управе и конкурент на место председателя управы, Алексей Борисович Враский, был деятелем совсем другого типа. Он был просто честный и неглупый человек, очень исполнительный, трудолюбивый и аккуратный, очень полезный в земском деле. Он был незамечен при сооружении Бурашевской колонии, но бесполезен, а может быть даже вреден, если бы вздумали поручить ему заведование колонией, дух которой ему был чужд, а распорядок не соответствовал его представлению. Это был человек прямолинейный. Он считал себя достаточно компетентным во всем, за что брался. И надо отдать ему справедливость: он охотно брался лишь за то, что его интересовало, а интересовали его практические стороны жизни, смысл которых ему был совершенно ясен по своей простоте и испытанности. Получив в Петербурге место члена совета крестьянского банка, Враский, подобно Корсакову, продолжал принимать участие в земстве, как в уездном, так и в губернском, неизменно голосуя с левой группой и вместе с нею подписал «бессмысленные мечтания» в назидание царю.

Витте, так старательно охранявший тогда самодержавие с услужливостью выскочки, потребовал отставки и Враского, но последний уперся и предложил удалить его распоряжением министра. Его оставили в покое, и он продолжал занимать место члена совета крестьянского банка до революции.

Жив ли Алексей Борисович в эту минуту или не перенес коммунистического режима и стал его жертвой — не знаю, т.к. среди эмиграции его имя не упоминалось.

Говоря о составе управы, нельзя обойти молчанием имя человека, не только бывшего многие годы, если не ошибаюсь около 40 лет, бессменным секретарем управы, но и являвшегося-

ся носителем всей силы её традиций, которой так много обязано тверское губернское земство. Я говорю об Алексее Павловиче Апостолове. Недюжинный практический ум, безусловная честность, умеренность и деловитость доставили ему большое уважение в обществе и влияние на дела. Без его участия не решалось ни одно дело, его мнение было как бы экспертизой, с которой не всегда соглашались, но которую всегда выслушивали. Необыкновенно уравновешенный, ни при каких обстоятельствах не изменявший внешнему спокойствию, никогда не придававший спору личного характера, не смотря на свою нервность и страстность, он всегда владел собою. Я не знаю, где он получил воспитание и образование, но во всяком случае он прошел хорошую школу и усвоил хорошие привычки. По своему происхождению он принадлежал к дворянству Осташковского уезда, вероятно, пройдя кадетский корпус (я высказываю это в виде догадки, т.к. замечал в нем некоторые черты, свойственные воспитанникам этих заведений), он служил недолгое время в военной службе и вышел в отставку ко времени «Великих реформ», признавая все их значение для возрождения России, и примкнул к земству, заняв невидный пост секретаря губернской управы и став экспертом, как по хозяйственным вопросам, так и юрисконсультom, по основательному знакомству с «Положением о земских учреждениях», и со всеми распоряжениями правительства по земским делам, словом, человеком, мнение которого всегда надо было выслушать прежде, чем принять окончательное решение.

По своим политическим и социальным воззрениям Апостолов был далек от всяких крайних мнений как левых, так и правых и, как человек практического ума, был несколько склонен к оппортунизму, всегда отдавая предпочтение компромиссу, даже в том случае, когда последний был в несогласии с принципом. В общем же он держался либеральных

воззрений и в своих личных отношениях был гораздо ближе к людям либеральных, даже радикальных мнений, чем консервативных. В своей личной жизни это был человек очень общительный, добрый, всегда готовый оказать помощь в действительной нужде, притом он был большой почитатель музыки, кажется, не пропускал ни одного симфонического концерта и для этого ездил в Москву. Сверх того, он же был большой любитель цветов, разводил у себя великолепные розы и в своей квартире устроил теплицу, в которой выращивал много видов тропических орхидей.

Не смотря, однако, на все его достоинства и на умеренность его либерализма, его судьба была самой неожиданной и жестокой, хотя и довольно обычной судьбой русского порядочного человека в беспутное время царствования Николая II.

При губернаторе Ахлестышев, полоумном и бестолковом маньяке, Апостолов был вынужден покинуть место секретаря управы. При следующем губернаторе — кн. Голицыне, последнем премьере последнего императора, прославившемся в 1917 году своей глупостью и трусостью, Апостолов был избран губернским земским собранием в члены губернской управы, но не был утвержден губернатором, вопреки данному мне лично при переговорах слову утвердить двух членов из нашей группы, кого бы мы ни избрали, если мы согласимся избрать двух других членов из правой группы. Когда выборы состоялись, кн. Голицын из наших двух членов не утвердил Апостола и имел наглость уверять, впрочем, не в моем присутствии, что никакого обещания мне не давал. При преемнике Голицына, губернаторе кн. Ширинском-Шахматове (бывшем позднее обер-прокурором Синода) и тоже прославившемся составлением лживых донесений министру Плеве по делу доктора Алексея Ильича Бакунина, якобы бросившего Евангелие и крест в отхожее место, — Апостолов был арестован одновременно с

присяжным поверенным С.А.Балавенским, обвинен в каком-то выдуманном политическом преступлении, какого он, конечно, никогда не совершал, и заключен в тверскую тюрьму, не смотря на его уже преклонный возраст: ему было далеко за шестьдесят. Все обвинение было искусственно вздуто, и его освободили из тюрьмы без суда. Он был совершенно разорен, потеряв последнюю службу — председателя общества взаимного кредита, и вынужден был искать приюта для себя и своей жены у своего старого друга, Александра Николаевича Дьякова, родного племянника Бакуниных, в его имении Луганове, близ Твери, где и скончался.

Я остановился на краткой и печальной биографии А.П.Апостолова, как одного из типичных земских работников той категории, которая, не выделяясь внешним положением из толпы, строила умело и самоотверженно самый фундамент местной общественной жизни. Они не выделялись политической деятельностью и оставались на втором плане, но принимали в ней непрестанное участие, т.к. для таких Апостоловых земское дело было их собственным делом, делом их жизни, неотложным и несомненно и безусловно общественным делом.

Такие люди, как Апостолов, создают устойчивость общественных сил и поддерживают в них дух независимости и уверенности в плодотворности их труда.

Как я уже сказал, вследствие отказа Корсакова от баллотировки в председатели губернской управы на очередном земском собрании 1885 года, собрание было поставлено в довольно затруднительное положение, т.к. не находило лица, на котором оно могло соединить большинство голосов. После некоторых колебаний, значительное большинство голосов соединилось на Степане Дмитриевиче Квашнине-Самарине, гласном Зубцовского уезда, на человеке, которого и справа и слева одинаково уважали не столько за какие-либо качества, кото-

рыми он выделялся бы из числа многих других гласных, а за то, что он ничем особенным не отличался. Земство могло рассчитывать на его деловитость и приемлемость его для администрации. Вообще, все одинаково признавали его человеком умеренным во всех отношениях.

С.Д.Квашнин-Самарин был одним из обломков старинного дворянского рода и московского славянофильства. Будучи еще студентом московского университета, он строго держался славянофильских теорий, и, когда на одной из товарищеских пирушек какой-то западник и либерал провозгласил тост «за конституцию», Квашнин-Самарин своим резким, точно треснувшим голосом запротестовал: «я не пью!» Окончив университет, он сохранил во всей неприкосновенности как православие, так и самодержавие; что-же касается народа, то принимал славянофильскую формулу и предоставлял «народубогоносцу» только мнение, так как богоносец давно уступил всю власть царю, который и управлял народом посредством дворянства. Впрочем, Степан Дмитриевич хорошо знал крестьянство, судил о нем беспристрастно, и хотя не считал его особенно разумным и не полагался на его мнение, но в душе любил его и, будучи крупным помещиком, не обижал, даже заботился о его просвещении и благосостоянии. Если же последнюю заботу он проявлял не в должной мере, то лишь потому, что берег копейку пуще всего и, как говорили шутники, он даже не женился и остался холостяком из опасения лишних расходов.

Чтобы закончить его формуляр, следует отметить, что, окончив университет, он поступил, согласно старому обычаю, на государственную службу по министерству юстиции и, при введении новых судебных учреждений, был назначен членом окружного суда. Нет сомнения, что он был честный и хороший судья, и к тому же был бесспорно умный и гуманный человек.

Воздав Кесарю, сколько ему по обычаю следовало, Степан Дмитриевич вышел в отставку и поселился в своем родовом Суховарове, в Зубцовском уезде, посвятив себя хозяйству и общественной службе в качестве предводителя дворянства, почетного мирового судьи и земского гласного. Все эти должности, по общему отзыву, он исполнял вполне добросовестно и никогда не манкировал. Что-же касается политических воззрений, то он, по-видимому, довольствовался вышеупомянутой славянофильской формулой, разрешавшей все, как теоретические, так и практические сомнения: «народу — мнение, царю — власть», а что думал народ — никто не знал, не знали и славянофилы, о чем думал Сфинкс, а т.к. власть принадлежит царю, то очевидно не следует ему ни в чем перечить. Такая философия очень облегчала жизнь, и можно было спокойно держаться золотой середины: не проявлять особых симпатий к направлению, ярко обнаружившемуся уже тогда в Тверской губернии, где жила и действовала семья братьев Бакуниных, а равно и не связывать себя с реакционерами, которых было в губернии не меньше, чем либералов. Он не любил, не знал и боялся широких идей, пугавших его своей отвлеченностью, и предпочитал держаться за реальные факты, ограничивавшие всякие «фантазии» и «мечтания», за которые немного позднее он получил обидный урок от царя, назвавшего и его бессмысленным мечтателем за то, что подписал адрес тверского земства, не приняв во внимание, что Николай II не был славянофилом и не сомневался, что исключительно ему принадлежит и мнение, если ему принадлежит власть.

В то время, когда Квашнин-Самарин давал свое согласие на баллотировку в председатели губернской управы, он еще оставался в сфере уездно-зубцовских идей и интересов и не представлял себе все усложняющегося положения вещей. Правда, это было в четвертый год царствования Александра

III-го, когда, казалось, все обеспечивало спокойное течение общественных дел и государственного порядка, восторжествовавшего над кучкою террористов, частью повешенных, частью запертых в каменных мешках Шлиссельбурга или в сибирских рудниках. К тому же был найден выход общественному настроению в создании Кахановской комиссии, на труды которой возлагались большие надежды «сведущих» людей, во главе с симбирским предводителем Пазухиным. Как известно, сведущие люди наградили Россию земскими начальниками, уничтожением мирового суда, направлением Положения о земстве в смысле замены всесословности ультрасословностью и преобладанием дворянского сословия над совокупностью всех других сословий, сверх того усилением власти губернаторов и полной зависимостью земства от администрации. Глава «сведущих людей», Пазухин, был сделан руководителем кабинета министра гр. Д.А.Толстого, получившего в нем большую поддержку своим дворянским тенденциям.

С видными деятелями Кахановской комиссии Степан Дмитриевич был связан родственными и дружественными отношениями, а в его природе такие отношения играли самую значительную роль и господствовали над всеми другими привычками и соображениями. Может быть, он и не разделял вполне мнений Пазухиных, Хвостовых и им подобных, но он принимал их мнения, как нечто должное, и никогда не оспаривал их, хотя ему не раз приходилось выслушивать в тверских земских кругах резкие порицания дворянских тенденций «сведущих людей» и трудов Кахановской комиссии. Тем не менее, не смотря на такие симпатии Квашнина-Самарина, которых он, впрочем, не скрывал, лично его все мы ценили за его честное отношение к делу, полное уважение к мнениям противоположным его воззрениям, личное добродушие и явное предпочтение и симпатии к людям, не разделявшим его убеж-

дений, и антипатию к людям противного нам лагеря в тверской земской среде. По мере того, как он год за годом работал с нами, он привыкал к нам, своим идейным противникам, а вместе с тем привыкал и к нашим идеям, дойдя наконец до того, что подписал вместе с нами адрес царю, за который должен был публично выслушать объявленный нам выговор царя. В 1906 году преимущественно левыми голосами он был избран губернским земством членом Государственного Совета против Евгения Валентиновича де-Роберти, который, не смотря на свои псевдо-радикальные воззрения, остался за флагом и не был избран, не пользуясь ничьим доверием, — ни левых, ни правых. О нем я поговорю в другом месте. Попад в Государственный Совет, Квашнин не оправдал наших надежд, заняв место в рядах правых, т.е. реакционеров и за все время своего пребывания в Государственном Совете не проявил ни единым словом и ни единым действием своего присутствия в Верхней Палате российского парламента. Конечно, не для такой роли его выбирало тверское земство, и мне остается думать, что, перебравшись в Петербург, он попал под влияние и надзор своих более активных родственников Хвостовых, которые указали ему место в Государственном Совете и на уста его наложили свою печать. Такое предположение мне представляется весьма вероятным в виду чрезвычайной пассивности характера Степана Дмитриевича, который всегда плыл по течению, поддаваясь среде, в которой находился. Всякая борьба была для него невыносима, перед ней он чувствовал себя несчастным и неспособным к сопротивлению. Я припоминаю один забавный случай из нашей общей с ним деятельности. Не помню по какому вопросу, в губернском земском собрании происходили довольно горячие прения. Когда дело дошло до голосования, я заметил, что Степан Дмитриевич отсутствует. Я догадался, что он избегает спора, и знал, что его

нелегко будет вытащить в залу для подачи голоса. Поэтому я сам отправился за ним. В двух соседних комнатах его не было, я пошел дальше, в уборную. Степан Дмитриевич приотворил одну из дверей и высунул голову, но, увидя меня, мгновенно закрыл ее. Я стал его звать, его голос был необходим. Но он решительно уперся и объявил, что не может голосовать с нами, потому что не разделяет нашего мнения, а голосовать с нашими противниками не хочет, даже когда разделяет их мнения. Так он и не вышел из своего странного убежища, пока не убедился, что голосование окончено.

Каждый, прочитавший эту характеристику Квашнина-Самарина, может задать нам вопрос: ради чего же тверское земство, имевшее в своей среде людей более подходящих для занятия таких ответственных мест, как состав земских управ, избирало таких ничтожностей, как Оленин, или таких слабых и несамостоятельных людей, как Квашнин-Самарин?

Кто по личному опыту знаком с условиями наших земских выборов, тот не поставит такого вопроса, но для тех, кто мало знаком с «Положением о земских учреждениях», я должен сказать, что как выборы для замещения земских должностей, так и назначение служащих в земстве проходят через крайне подозрительную цензуру губернаторов и зависят от их утверждения. Утверждение же председателя губернской земской управы зависит от министра внутренних дел. Поэтому при выборе председателя губернской земской управы надо было искать лицо, в котором соединялась бы заведомая «благонадежность» с точки зрения администрации, и личная добросовестность и порядочность с точки зрения избирательной коллегии, требующей сверх того готовности подчинить свои мнения воле большинства и принципам независимости самоуправления от требований администрации, Квашнин-Самарин удовле-

творял всем этим требованиям, а его личная честность давала все гарантии, что данные им обещания будут исполнены.

Глава XI

Тверь — Освобождение, конец ссылки — Поездка в Крым — Крымские впечатления — Посещение С.И.Мальцева — Севастополь — Плиска — Земские выборы. Я снова избран гласным — Новые люди и новые течения — Вызов в Чернигов — Губернатор Анастасьев и генерал-губернатор Дрентельн — Высылка из пределов Киевского генерал-губернаторства — Я покидаю свой дом и Плиску навсегда

Около 20 августа 1886 года (точной даты не помню, а все записи остались в распоряжении большевиков) оканчивался срок моей ссылки и состояния под гласным надзором полиции. Гора свалилась с плеч, чувство свободы всецело охватило нас. Мы так долго были подневольными, прикрепленными к месту, что чувствовалась потребность немедленно использовать право свободного передвижения. Если бы это не было весной или в начале лета, мы с женой выбрали бы Волгу, поехали бы на пароходе прямо из Твери, меняя пароходы в Рыбинске и в Нижнем, вплоть до Астрахани. Я видел Волгу мельком, проездом в сопровождении жандармов от Ярославля до Костромы и Юрьевца, а при возвращении из Варнавина — в Нижнем. Волга произвела на меня впечатление, какое она, вероятно, производит на большинство русских людей. В её сверкающей широкой дали, в её движении судов всевозможных типов и людской суеде есть нечто притягательное, и не даром на Волге чувствуется, что «Здесь русский дух, Здесь Русью пахнет». Волгой любуются, Волгой хвастают, Волга дает настроение, на Волге сложилось столько песней и преданий...

Но был уже конец августа, и мы с женой решили ехать в Крым, где я никогда не был, а оттуда в Плиску, чтобы там решить вопрос нашей дальнейшей судьбы и сделать выбор между Плиской и Тверью. А.С. не только бывала в Крыму

раньше, но там в это время проживал на покое её отец, С.И.Мальцев, в своем Симеизе, покинув свои заводы в Орловской и Калужской губерниях.

Не теряя ни одного дня, мы взяли билеты 3-го класса, т.к. денег у нас было мало, и покатили через Москву, Курск, Харьков и Лозовую в Симферополь. Южнее Харькова и Полтавы в России я не бывал, но знал всю прелесть южной природы в Италии, вплоть до Неаполя и Сорренто. Должен сказать, что степи Екатеринославской и Таврической губерний произвели на меня пленительное впечатление. Я не мог оторвать глаз от этой шири, как у моря не имеющей конца, безбрежной, свободной, манящей в даль. Беспредельный простор не может не оказать влияния на характер народа, не может не внушить страстную любовь к свободе. Ехать в 3-м классе было очень интересно. Тут можно было наблюдать людей всякого звания, всяких профессий и даже разных народностей и, слушая разговоры, громкие, ничем не стесняемые, можно знать, какими интересами здесь живут люди. Тут мы видели и немецких колонистов, богатые поселения которых тянулись вдоль дороги, с постройками сплошь кирпичными и солидными, и их гумна с громадным количеством скирд только что собранного хлеба; тут же в вагоне попадались и колонисты-греки, и сербы, малороссы и великороссы; тут же появлялись и священники в белых парусиновых подрясниках, и татары, резко отличающиеся и своим внешним видом, и своей манерой невозмутимого спокойствия. По всему вагону слышна одна тема разговора — урожай, цена на пшеницу, но за нашей спиной идет разговор о постройке артезианского колодца, о необходимости рыть глубже, т.к. полученная вода соленая и не годится для употребления. На лавке против нас сидит молодая пара, немец и немка, вероятно, только что поженившиеся, и тупо молчат. Мы пытаемся заговорить, — молчание. Мы предлагаем арбуз,

купленный за 5 коп. на станции, величина которого весьма внушительна. Немцы молча принимают, едят и выплевывают семена на пол, где лежат под лавкой наши вещи. В углу тоже немец-колонист внимательно ухаживает за русским рабочим, которого он везет в больницу душевнобольных. Рабочий болен религиозной манией и, видимо, находится в угнетенном состоянии. Быть может, столкновения православия с протестантизмом раздавили душевное равновесие человека, у которого религия не была только обрядом.

Заранее мы составили себе план остановиться в Симферополе, и через Алушту и Ялту проехать в Симеиз, навестить отца А.С., а оттуда через Байдарские ворота в Севастополь, там осмотреть остатки севастопольской осады и раскопки древнего Херсонеса, где, по преданию, Русь приняла христианство и приобщилась к христианской цивилизации.

Описывать достопримечательности Крыма не входит в мою задачу. Я отмечу только то, что оставило у меня впечатление не мимолетное, а запечатлелось и до сих пор возникает в воображении, когда вспоминается Крым, несмотря на то, что с того времени прошло уже 35 лет. Я сужу о живости этих впечатлений по сравнению с тем, что сохранилось в моей памяти от впечатлений из путешествий по Европе, Италии, Франции, Швейцарии. Последние впечатления, т.е. европейские не поглотили крымских, и я полюбил Крым так, что мне хотелось бы сложить свои старые кости в Крыму, где покоится и мой брат, никогда не думавший умирать в Крыму.

Город Симферополь, расположенный у предгорья, почти в степи, не произвел на меня впечатления, как мало отличающийся от других губернских городов и многим уступающий в богатстве растительности, красоте природы и улиц. Пробыв в нем одни сутки и отдохнув после дороги в 3-м классе, мы спешили на южный берег, к морю. Извозчиков в Симферополе

сколько угодно, они не дороги и очень удобны, а от жаркого солнца защищают белые полотняные зонты. Парный экипаж с очень мягкими рессорами стоил в то время от Симферополя до Алушты, т. е. около 50 верст, сколько помню, всего 12 рублей с двух пассажиров. Выехали мы из Симферополя утром, имея в виду остановиться у подножья Чатыр-Дага, в деревне Кизил-Коба. Здесь мы взяли верховых лошадей и проводника-татарина, чтобы осмотреть очень интересную пещеру, еще мало, по словам проводника, обследованную, т.к. и татары опасаются далеко проникать в нее. А.С. пришлось ехать по-мужски на седле, в котором был цел только деревянный остов, ничем не покрытый, а стремена были веревочные, натиравшие ноги. Но выбора не было, надо было пользоваться и таким седлом: вся хозяйственная утварь татарина была не лучше и свидетельствовала о довольно жалком хозяйстве. Зато его жена была красавица, по типу — совершенная гречанка древней Греции. Едучи шагом, мы довольно скоро добрались до пещеры, вход в которую был скрыт густой растительностью. С нами были свечи, без которых было бы невозможно двигаться по узким, неровным и небезопасным её ходам. Само собою разумеется, что такой осмотр имел крайне поверхностный характер и удовлетворял только туристическое любопытство. Внутри горы мы добрались до потока очень холодной воды, образующего быстро текущую реку, шириною около двух саженей, где-то близко падающую водопадом, шум которого наполнял всю пещеру. Дальше нельзя было идти. Изрядно выпачкавшись в грязи, местами довольно глубокой и жидкой, и изорвав платье, мы скоро возвратились к своему экипажу, ожидавшему нас на шоссе, и продолжали наш путь на Алушту, шедший сначала по берегу реки Салгира; потом начался подъем на перевал в прекрасном лесу. Когда мы перевалили гору, открылся вид на южный берег, на море и весь прелестный спуск на протяжении

16 верст. Картина — воистину великолепная, и весь спуск раскрывал только подробности, каждая мелочь которых говорила о южной природе, о силе её растительности, о яркости красок, а в то же время о какой-то заброшенности этого прекрасного края, где меланхолический пирамидальный кипарис как бы говорил, что здесь хранится застывший дух Востока, еще не захваченный беспокойным духом Запада.

Еще не наступил вечер, когда мы были уже в Алуште. Если и в настоящее время Алушта, не смотря на свой архаический титул «заштатного города», мало похожа на город, представление о котором всегда связано с большими домами, улицами, магазинами, с толпою и движением, то 35 лет тому назад это была настоящая татарская деревня, (хотя и тогда в ней была уже православная церковь), с мечетями и земляными плоскими крышами татарских саклей. В середине деревни возвышается холм, со всех сторон облепленный саклями, а на вершине его — развалины старой Генуэзской крепости, когда-то, во времена владычества генуэзцев, охранявшей залив, заканчивающийся мысом Меганомом. Залив, освещенный заходящим солнцем, очень красив. Алушта — двери к морю склона крымских гор; однако в Алуште не было никаких признаков, свидетельствующих о производительности крымской промышленности и торговли. Это был сонное царство восточной лени и неподвижности. Мы видели маленькие лавочки, в которых продавались предметы невзыскательного хозяйства и жизни татар, да самих татар, целый день сидевших на корточках и составлявших живописные группы, фоном для которых служили развалины башни, напоминавшие с своей стороны не о будущем, а о безвозвратно минувшем прошедшем. И тем не менее и эти развалины, и эти бедные сакли, и группы татар, и речка Улу-Узень с своими садами по берегам, и горы, охраняющие этот уголок земли, и море, и эта тишина, и

этот темный небесный купол, усеянный звездами, — все вместе производило чарующее впечатление. До поздней ночи мы сидели на крылечке гостиницы и слушали непрерывающуюся оглушительную трескотню кузнечиков, звон которых наполнял всю природу.

На утро мы с вечера заказали себе верховых лошадей, чтобы сделать экскурсию на Чатыр-Даг и в Козьмодемьянский монастырь, и еще задолго до рассвета выехали с проводником татаринком. Дорога шла по берегу Улу-Узенья, маленькой горной речки, и до деревни Корбеклы, верстах в 5 от Алушты, мы ехали в совершенной темноте; от Корбеклы дорога стала круто подниматься в гору, т. е. на верхнее плато Чатыр-Дага. Это плато поразило нас своею пустынною и отсутствием растительности; только низкорослая трава заполняла пространство между повсюду выступавшими камнями большой и малой величины, точно рассеянными на этой пустыне. Здесь мы осмотрели еще две пещеры, из коих в одной на потолке, образуемом как бы сводом, прочли надпись — А.С.Пушкин, почерневшую от времени, а может быть и от копоти свечей, заменявших краску или резец. Посещение пещеры было довольно утомительно, приходилось кое-где проходить сгибаясь и даже ползать, но все же сама пещера, украшенная сталактитами, представляла большой интерес. С Чатыр-Дага мы отправились прямо в Козьмодемьянский монастырь, расположенный среди гор на склоне Бабугана, обращенного к Черной горе. Мы ехали горной тропой среди великолепного леса, преимущественно из громадных сосен и буков. Много раз пришлось переезжать в брод через реку Альму, текущую на северо-запад и впадающую в Черное море севернее Севастополя. Там впервые высадились союзники и нанесли первое поражение защитникам Севастополя в 1854 г., известное под именем альминского сражения.

Во время нашего посещения, в конце 80-х годов, сообщение с монастырем возможно было только верхом по горным тропам.

Все необходимое для монастыря могло доставляться лишь на выюках, вследствие чего с наступлением зимы, когда все тропы были завалены снегом, всякое сообщение, по временам даже пешеходное, прекращалось: монастырь был отрезан от всего мира. Возвращаясь в Алушту, мы ехали другой тропой, такой же крутой и трудной даже для верховой езды, но крымские лошади привыкли ко всяким тропам. Теперь монастырь соединен с Алуштой шестнадцативерстным шоссе, не очень хорошим, но проездным во всякое время года и во всяком экипаже. Это шоссе было выстроено в царствование Александра III-го, когда оказалось нужным устроить близ монастыря охотничий дом в горах для царской охоты. Монастырь этот посещался не только православными богомольцами, но и татарами, почитавшими источник «Савлух-Су» священным. Тем не менее, не монастырь, а царская заповедная охота была причиной постройки вполне удобной дороги. Нельзя не признать, что требования и привычки императора Александра III были много скромнее привычек его преемника, по желанию которого монастырь в последние годы перед войной был соединен непосредственно с Ялтой великолепным шоссе в 40 верст длиной, которое было названо в честь императора Романовским. Оно потребовало огромных расходов, т.к. проведено через самую высокую часть гор, до 5 тыс. футов, а потому и самую трудную в техническом отношении. Злополучному царю, кажется, не пришлось ни разу проехать по этому шоссе: оно было открыто только в 1914 г., а царская семья последний раз проводила лето в Крыму в 1913 году.

Таким образом, Крым обогатился новой и чрезвычайно дорогостоящей дорогой совершенно никому в настоящее время

не нужной, требующей постоянного и крупного ремонта, без которого она обречена на быстрое разрушение. А между тем, Крым обладает единственной южнобережной шоссейной дорогой, соединяющей Алушту с Байдарскими воротами, тогда как в действительности он нуждается прежде всего в соединении южного берега с общей сетью русских железных дорог и в трамвае, проведенном по всему южному берегу от Алушты, а еще правильнее, от Феодосии до Балаклавы и Севастополя. На деньги, брошенные без надобности на постройку Романовского шоссе, можно было бы по меньшей мере выстроить трамвай от Алушты до Ялты, в чем имеется самая настоятельная нужда, а может быть и до Симеиза. Романовское же шоссе останется памятником холопства русской бюрократии, равнодушной к жизненным нуждам страны, но ползающей в своем усердии перед повелителем в видах своего собственного благополучия. А в подтверждение того, что это именно так, нельзя не отметить маленькую подробность из истории этого самого Козьмодемьянского монастыря. До постройки царского охотничьего дома близ монастыря, последний был искони монастырем мужским. Монахов в монастыре было мало и вели жизнь они, едва-ли соответствующую их званию и не очень привлекавшую богомольцев. Но их терпели, пока в монастырь не было дороги и высокие особы не посещали его, или, говоря точнее, пока они не ездили на охоту в окрестностях монастыря. Постройка дороги побудила церковную бюрократию обратить внимание на монастырь, как только царские посещения сделались возможны, и мужской монастырь превратили в женский: пьяных монахов надо было убрать.

Оставаться долее в Алуште не было никаких оснований. Покидая Алушту, очарованный первыми впечатлениями южной природы, я не думал, что спустя 35 лет это место сыграет в моей жизни трагическую роль. В рождественскую

ночь 1921 года в Алуште были убиты «бандитами», или попросту большевиками, моя дочь Наталья Ивановна и её муж д-р Александр Александрович Конисские с целью грабежа. В 1913 году моя дочь купила у самой границы Алушты 8 десятин земли, на которой они выстроили небольшой дом и в течение нескольких лет создали образцовый фруктовый сад, работая собственными руками. Мы с женой много раз посещали их маленькую усадьбу, не имевшую никаких претензий на роскошь и, напротив, на каждом шагу говорившую о трудовой жизни её хозяев...

Мы наняли извозчика, который должен был доставить нас в Ялту с заездом в Гурзуф, находившийся тогда еще в том состоянии, в каком его знал Пушкин, посещавший его в двадцатых годах, когда был в Крыму. Мы нашли здесь старый и прекрасный кипарис, на котором была прибита доска с надписью: «кипарис А.С.Пушкина». Гурзуф был тогда такой же тихий и меланхолический, как весь южный берег, еще не превратившийся в сплошной курорт с татарами в раззолоченных куртках и кавалькадами. Гурзуф тогда был еще только прелестной усадьбой на берегу моря у подножья Аю-Дага. Мы прошли по парку, полюбовались видами и поэзией всей местности и направились в Ялту.

Обыкновенно принято называть в Крыму южным берегом пространство от Алушты до мыса Айя, что составляет более 100 верст. Без ошибки сюда следовало бы присоединить пространство до мыса Меганом, недалеко от которого расположен Судак. Но это безводная местность, едва ли имеющая надежду на скорое заселение: это — пустыня с горами, лишенными всякой растительности. Населенная же часть южного берега идет от Алушты до мыса Айя, поэтому и может считать Ялту своим центром. Географически же Ялта расположена в бухте почти по середине между Айя и Меганомом, — двумя

крайними мысами, составляющими оконечности всей этой береговой полосы, из которой западная часть обращена на юг, а восточная на юго-восток. Маленькая рыбацья деревушка Ялта — истинный перл России, до конца шестидесятых годов девятнадцатого столетия оставалась, как и весь южный берег, в руках очень богатых собственников — Уделов и аристократии, и лишь в незначительной части небольшие имения принадлежали небогатым местным людям.

Старая Россия вообще мало заботилась о путях сообщения. Дойдя, путем завоевания, до границ Черного моря и захватив богатейший край — Новороссию и Крым, крепостная и невежественная страна, на противоположном конце которой пребывала самодержавная власть, Россия не проявляла никакого внимания к этой жемчужине, доставшейся ей в руки. Только украинские чумаки ездили на волах в Крым за солью и как бы поддерживали связь Крыма с Россией. С начала 19-го века южный берег был поделен между магнатами: устроителем Новороссии, кн. М.С.Воронцовым, гр. Потоцким, Раевским, Шуваловым, Юсуповым, Долгоруковым, Удельным ведомством, Мальцевым и т.д. Земли были скуплены у татар за бесценок, возникли дворцы, в которых владельцы их не жили, и так дело продолжалось до осады Севастополя, когда вся Россия узнала, что у неё имеется Крым, до которого, однако, доехать очень трудно. В 1886 г. Севастополь представлял на половину разрушенный город, который и чинить не было особой нужды, т.к. по Парижскому трактату 1856 г. Россия была лишена права иметь военный флот в Черном море. В конце 60-х годов девятнадцатого столетия заболевшей туберкулезом императрице, супруге Александра II, надо было жить в теплом климате. По совету знаменитого врача, С.П.Боткина, выбрали для этого Крым. Выстроили в Удельном имении, Ливадии, дворец в виде прекрасной итальянской виллы, а

потом и другой, «Эриклик,» для пользования больной горным воздухом. За императрицей потянулся «двор»; в Ялте адмирал Чихачев, д-р Боткин и другая знать для своих удобств выстроили гостиницу «Россия», а затем потянулась и публика, частью лечиться, частью погулять на свободе, среди прелестной природы. Ялта стала расти, но медленно, за неимением достаточного количества воды и территории, которая принадлежала бы городу. Когда мы приехали туда в первый раз, она была очень маленьким городком, но вся в садах и виноградниках, жизнь в ней была дешева, но оживление города уже в то время росло не по дням, а по часам. Вырастал новый город, после того как Севастополь был соединен с Москвой железной дорогой через Харьков и Лозовую. Однако, этот рост далеко не соответствовал тому, чем он мог бы быть, если бы южный берег был соединен либо с Севастополем, либо с Симферополем железной дорогой, что не представляло никаких трудностей технических, да и стоимость её не была бы слишком велика: она исчислялась перед последней войной, когда все стало дороже за последние 25-30 лет процентов на 40, а земля поднялась в цене процентов на 100-200, — всего в 20-25 миллионов рублей. Против постройки железной дороги прежде всего была императорская фамилия, имевшая обширные имения как на западе от Ялты (Ливадия, Орианда, Ай-Тодор, Дюльбер, Харакс), так и на востоке (Масандра, Ай-Даниль и т.д.), сжимая Ялту и не давая ей распространяться, а за царской фамилией и крупные прибрежные владельцы выражали свое отрицательное к ней отношение. Все они не желали, чтобы их имения были разрезаны железной дорогой, или чтобы железная дорога отрезала их от моря. Выгоды коммерческие их вовсе не интересовали, их парки и дворцы были устроены не для доходов и содержались на счет других источников. Напротив, наплыв публики их пугал, так как удорожал содержание и

расходы их имений. Как бы то ни было, но не подлежит сомнению, что только перед самой войной было получено разрешение на производство изысканий для сооружения железной дороги. К сожалению, это было сделано слишком поздно и южный берег Крыма нескоро дождется теперь не только железной дороги, соединяющей его с сетью русских железных дорог, но не получит и еще более необходимого трамвая, проходящего по всей длине южного берега.

В Ялте у нас не было ни души знакомой, но около Ялты, почти в неразрывной с нею связи, а теперь уже и вошедшем в городскую черту, в Чукурларе, имении Корсаковых, был знакомый нам управляющий Ив. Ив. Бочкарев, тверской обыватель и большой оригинал. Я знал его еще в петербургском университете, где, на юридическом факультете, он был вольнослушателем, а в то же время имел, кажется на Малой Садовой, типографию и литографию; вероятно поэтому занимался, между прочим, и изданием литографированных профессорских лекций. Поэтому все студенты юридического факультета его знали. Человек он был необыкновенно аккуратный, что не помешало ему потерять на типографии все свое состояние. Кроме аккуратности, он имел некоторые черты характера едва ли совместные с торговлею. Его педантизм превращал всякое дело в нечто мертвое, ничем не связанное с жизнью. Так он управлял и имением Чукурлар: был педантически честен, но совершенно неспособен вести живое хозяйственное дело. Мы заехали к нему. Он хотел угостить нас виноградом; для этого он сорвал гроздь, взвесил ее на весах, записал стоимость этой виноградной кисти в книгу прихода имения, затем выдачу себе жалованья 15 коп., и только проделав все эти манипуляции, предложил нам виноград, ибо, как управляющий, он получал жалованье, но съесть виноградную кисть стоимостью в 15 к. он не считал себя в праве, не оплатив её стоимости. Поэтому

служащие в имении ели виноград воруя его, а Бочкарева очень не любили, относились к этому доброму человеку крайне недружелюбно и презрительно. Благодаря своим убеждениям, он ни на одном месте долго не мог оставаться: служил в страховом отделе тверской губернской управы; служил в страховом обществе контролером, где им очень дорожили, зная его неподкупную честность, но нигде долго он не оставался и, наконец, сколотивши из остатков жалованья маленький капитал, отправился доживать свой век в Осташкове, Тверской губернии, где тоже брался за разные дела. Он жил принципиально только своим трудом и нередко бедствовал, но выносил все с полным стоицизмом. Когда началось в России политическое движение, в 1905 г. он примкнул к партии к.-д. и был выборщиком от г. Осташкова. Года 3—4 тому назад я слышал, что он умер в Осташкове.

Из Ялты мы направились в Симеиз к отцу А.С., но по дороге осмотрели парк в Мисхоре, затем парк и дворец Воронцова в Алушке. Тогда внутреннее убранство дворца еще не было увезено кн. Воронцовой в Италию; Алушкинский парк был полон тишины и порядка; он не был еще превращен в публичный парк, а Алушка еще не была городком и сохраняла свой меланхолический характер.

Кто знает Симеиз только теперь, тот не может представить себе, чем он был в 1886 г. Он не был похож ни на соседнюю Алушку, ни на менее нарядный Мисхор, ни на Гурзуф. По красоте места и морского берега, он был и остается лучше всех этих мест, хотя Гурзуф уступает Симеизу только величиною своего берега. Это был запущенный старый парк с большими полянами, лишенный всякой чопорности и необыкновенно симпатичный. Прежний «стеклянный дворец» (в Крыму все «дворцы») сгорел и только остатки его еще немного сохранились. Кое-где в парке сохранились «вагоны», летнее незатей-

ливое жилье из остатков не сданных в казну, строившихся вагонов на Мальцевских заводах Орловской и Калужской губерний. — С.И. Мальцев занимал, так называемый, дом Потоцкого, а иногда переселялся в домик-вагон, поставленный у моря около камня Дзивы, окруженный со всех сторон лаврами, магнолиями и другими вечно зелеными деревьями. Мы направились в дом Потоцкого, где С.И. принял нас очень радушно и где я встретился с ним в первый раз; до этого времени мы не были знакомы. Жил он один и вел жизнь скучную, лишенную всякого дела, что противоречило всем его привычкам и его деятельному и властному уму и характеру. Эта бездеятельная и одинокая жизнь в его пожилые годы быстро наложила на него свою печать опущенности, сказавшейся как в его внешности, так и в узком круге идей интересовавших его. Одевался он очень небрежно. Обыкновенно весь день оставался в генеральском, на красной подкладке пальто, заменявшем ему халат, надетом сверх белья. В таком костюме он гулял с нами и в парке, относясь безразлично к встречам с посторонними посетителями, которых, впрочем, тогда было еще немного. Только фельдмаршал гр. Д.А.Милютин, живший рядом в своем Симеизе, после своей отставки в 1881 году, ежедневно совершал свою прогулку по берегу моря до камня «Дзивы».

Сергей Иванович Мальцев, обыкновенно именуемый «генерал Мальцев», был по своей природе выдающийся человек. Уже тот факт, что он выбрал себе не обычный проторенный путь, суливший ему, как очень богатому человеку со связями, все наслаждения жизни, все, что так высоко ценится кругом людей, к которому он принадлежал по своему рождению, — уже тот факт, что он посвятил себя промышленности, свидетельствует, что его ум привлекали предметы более важные и серьезные, чем праздная жизнь светского человека. Будучи еще совсем молодым во время осады Севастополя в 1855 году, он

предлагал правительству взять на себя сооружение подъездной железной дороги для доставки в Крым продовольствия и военного снаряжения. Предложение это не было принято правительством, предпочитавшим гужевую доставку. А между тем, план С.И. мог бы спасти немало человеческих жизней и казенных денег эвакуацией в центральную Россию больных и раненых, и своевременной доставкой предметов питания и снаряжения защитникам Севастополя. Записка о сооружении подъездного пути в Крым была издана особой брошюрой, и я имел ее в своих руках.

Правда, С.И. не был инициатором и создателем громадного промышленного предприятия, обнимавшего самые разнообразные заводы, — от локомотивного до стеклянного и фарфорового. Он принял это дело по наследству от отца, но он не только продолжал то, что принял, но создавал новые заводы, увеличивая их размеры и число. Однако, скажут многие, он же и погубил свое дело, доведя его до финансовой катастрофы? Факт этот подлежит исследованию и требует выяснения причин и тех факторов, которые, можно думать, значительно смягчат ответственность Сергея Ивановича в этой катастрофе, первой жертвой которой он был сам. Конечно, сам С.И. объяснял катастрофу обстоятельствами, едва ли имевшими серьезное значение для крушения такого большого дела, если бы в этом деле было здоровое нутро. А этого именно ему и недоставало. С.И. думал, что дело пошатнулось благодаря министру путей сообщения, Мельникову, давшему большой заказ на локомотивы и товарные вагоны, и отказавшему в принятии их, когда заказ был исполнен. Конечно, ему был нанесен большой убыток, но приписывать разрушение всего дела только этой причине невозможно, ибо убыток был понесен только в части предприятия и не мог остановить всех остальных производств, число которых было очень велико. И вообще, ни одно крупное

и твердо поставленное предприятие не застраховано от частичных убытков, не отражающихся на целом. Дело в том, что все обширное предприятие Мальцевских заводов было основано на крепостном праве, т.е. на даровом и принудительном труде, заменявшем значительную часть оборотного капитала, необходимого при свободном труде. Это вело к расширению предприятий без всякого соотношения с рынком. С.И. видел в этом даже свою особую заслугу, так как таким способом он «кормил своих крестьян», давая им работу и хлеб. Он поддерживал заводы, приносившие ему крупные убытки, даже после освобождения крестьян только потому, что работали на этих заводах «его» крестьяне, т.е. его бывшие крестьяне, и этим способом он сохранял в своих владениях тот крепостной дух, который вне этих границ уже исчезал, благодаря падению рабства. С.И. был и принципиальный и фактический крепостник, крепостник по своим убеждениям и по своему характеру, суровому, иногда склонному к жестокости, но не забывающему, что на нем лежит забота о людях, бывших его крепостных. Вот этот дух он и оберегал в своих владениях от новых веяний свободы и новых порядков. Когда, уже после объявления Манифеста 19-го февраля, дух свободы прорвался в его владения, он не остановился перед крутой мерой: «бунтовщиков» он заковал в кандалы и отправил в тюрьму. Этот случай наделал в свое время много шума и вызвал энергическое вмешательство калужского губернатора Арцимовича. Было назначено следствие, возложенное на гр. Игнатьева, женатого на сестре С.И. Само собою разумеется, что освобожденные Арцимовичем крестьяне остались свободными, а в остальном дело было замято. С тех пор имя Арцимовича не произносилось в присутствии С.И., и когда через 25 лет в разговоре, в Симеизе, А.С. с большим уважением произнесла это имя, С.И. очень взволновался. Точно также всякий раз, когда разговор касался прави-

тельства, С.И. приходил в ярость и его лицо искажалось; он не находил достаточно сильных слов, чтобы выразить свое негодование против него. Я даже приписываю его неизменную любезность ко мне, несмотря на противоположность наших взглядов, именно тому обстоятельству, что во мне он видел непримиримого противника существующего правительства. Ему самому не раз приходилось испытывать на себе произвол самой царской власти. Для министров он был слишком крупной величиной и их власть на него не распространялась. Всякий раз требовалось вмешательство самого царя, и С.И., привыкший повелевать у себя, не прощал царям, когда ему приходилось им повиноваться.

Катастрофа становилась неизбежной, как только крепостной труд пришлось заменить вольнонаемным, требовавшим огромного оборотного капитала или немедленного сокращения производства и закрытия более половины заводов. Государственный кредит оказался не помощью, а бременем, т.к. все предприятие было не приспособлено к новому порядку и новым экономическим требованиям. Требовались новые люди, а не стародавние дешевенькие и невежественные приказчики, получившие домашнее образование на заводах; требовались специалисты с высшим образованием, а не рутина. Словом, катастрофа была неизбежна, что С.И. не понял или не хотел понять, так же как и признать бесповоротность крестьянского освобождения, и допускал, что этот великий переворот можно было ослабить компромиссами,

В Симеизе мы прогостили у С.И. несколько дней и спустились в Плиску, где должны были разрешить некоторые неотложные дела и побывать в Киеве, чтобы навестить там детей. Старик Сергей Иванович очень любезно простился с нами, и мы тронулись в дальнейший путь через Байдары в Севастополь. Подъем из Симеиза на шоссе очень крут, и дорога плохо

содержалась; езда тут почти исключительно местная, деревенская. Имение Симеиз Мальцева тянется до самого подножья отвесных скал Яйлы. Над шоссе, т.е. в сторону гор, идет лес, в котором имеется нечто вроде фермы. Затем до Байдар поднимается все выше шоссе, местами довольно крутое. Проезжаем несколько деревень, а внизу у моря несколько имений, из коих Форос под самими Байдарскими воротами. Проехав ворота, — начинается северный спуск и, минуя деревню Байдары, оставляя в стороне Балаклаву, дорога подходит к Севастополю.

В 1886 г. на Севастополе лежала печать разрушения. Пустынные улицы; даже на главных из них — полуразрушенные стены домов, разбитых при осаде ядрами, а отчасти временем. С утра на следующий день мы взяли извозчика и поехали по линии бывших укреплений. Начали с 4-го бастиона, у подножья которого железнодорожная станция. На этом бастионе Александр Александрович Бакунин провел, сначала юнкером (после профессуры в одесском лицее), потом офицером, все время осады. Теперь это — Исторический бульвар. Побывали на Малаховом Кургане, у подножья которого виднелись остатки французских траншей. Тут отмечено место, где был убит Нахимов. Посетили кладбище на Северной стороне. Повсюду следы смерти, но Севастополь уже начал возрождаться из пепла.

Осмотрели мы и раскопки древнего Херсонеса и познакомились с г. Костюшко, производящим их. По-видимому, оставалось еще много сделать, чтобы открыть все остатки. С тех пор мы не посещали Херсонеса и не знаем, в каком состоянии раскопки находятся теперь, но, кажется, все тот же г. Костюшко неутомимо представляет нашим глазам, что было скрыто от них целое тысячелетие.

Полюбовавшись еще видами Севастополя, мы покинули его в убеждении, что ему придется в будущем снова возродиться и оживить весь прилегающий к нему богатый край.

Мы приехали в Плиску, найдя дом обитаемым, но пустым, дети переехали на зиму в Киев. Кое-как мы устроились, чтобы оглядеться и принять дальнейшие решения. В уезде многое изменилось за это время. Во главе дел появились новые люди. Председателем земской управы оказался Петр Николаевич Ге, второй сын художника, проникнутый направлением, если не совершенно противоположным прежнему, которое; мы проводили, то во всяком случае очень далеким от него. В качестве главного действующего лица оказался г. Котляревский, земский начальник, еще молодой человек, получивший образование в технологическом институте, сын купившего имение в Загоровке бывшего интендантского чиновника, не забывавшего на службе об обеспечении средствами своей семьи. Это был бойкий малый, воображающий себя бесспорным авторитетом. Я познакомился с ним. Будучи инженером-технологом, он принялся мне доказывать, что только инженеры и врачи могут почитаться умными и образованными людьми, все же остальные люди ничего не стоят. Кажется, одного этого достаточно, чтобы составить понятие об уме и развитии этого нового руководителя местных дел. Мой приезд был неожиданным для всех этих господ и, кажется, смутил их, в виду того что приближались выборы земских гласных, и я имел право быть избранным. И действительно, я был избран, хотя сам не принимал участия в выборах. Пользуясь пребыванием в Плиске, мы побывали в Киеве, где провели более недели с детьми.

В ожидании земского собрания, в котором я должен был принять участие, жили мы мирно и спокойно, когда неожидан-

но ко мне явился помощник исправника, долговязый человек, и вручил мне бумагу, полученную от губернатора, приглашающего меня приехать в Чернигов для объяснений «по делам службы». Никаких служебных отношений с властью у меня не было, так что я должен был заключить, что дело идет не об «объяснениях», а о каких-то новых мерах, предпринимаемых против меня. Был уже сентябрь на исходе, ехать приходилось не по железной дороге, которой тогда в Чернигове еще не было, а по скверной и грязной грунтовой дороге. Мы выехали с А. С. вместе, добрались до Чернигова благополучно и остановились в «Царьградской» гостинице, наминававшей гостиницу, в которой проживал в губернском городе Чичиков. В Чернигове у меня было немало знакомых, с которыми раньше мы вместе действовали в губернском земстве. В числе их был и пользовавшийся известностью общественный деятель и в то время черниговский городской голова, Василий Михайлович Хижняков. Вечером я отправился к нему. Мы встретились очень дружески, и я рассказал ему о вызове меня губернатором. Он, как и я, понимал, что такой вызов не к добру и что надо ожидать довольно неприятной встречи с губернатором Анастасьевым, грубым и глупым человеком, от которого можно было всего ожидать и поэтому надо быть готовым дать соответствующий отпор. Эти соображения невольно сделали предметом нашей беседы губернатора и его управление, представлявших сплошное беззаконие и бесчинство. При этом В.М.Хижняков рассказал мне несколько типичных случаев из управления этого градоправителя, точно выхваченного из «Истории одного города», дающей бессмертные типы самодержавной России. Анастасьев, вероятно, также случайно попал из исправников в губернаторы, как позднее из губернаторов прямо в члены Государственного Совета, т.е. совершил карьеру, не снисшуюся ни одному губернатору, не только

отличившемуся по службе, но и имевшему при «дворе» бабушку и несколько тетюшек, заботящихся о своем любимце. Рассказывают, что его представили к назначению в «совет при министре внутренних дел», а царь Александр III, не разобрав, или невнимательно прочитав, надписал собственноручно: «на назначение губернатора Анастасьева членом Государственного Совета согласен.» А может быть князь Вл. Петр. Мещерский, покровитель Анастасьева, напомнил царю всеподданнейший его доклад, в котором тот сообщал о подавлении крестьянского волнения в с. Гоголеве, Остерского уезда, где подверг всех «бунтовщиков» телесному наказанию, и вынужден был воздержаться от такого же наказания женщин, не менее виновных, только потому, что последние были освобождены законом от телесного наказания. Как истинный «русак», царь Александр III чувствовал к телесному наказанию большую симпатию, а потому на докладе Анастасьева написал: «и напрасно не высекли.» Может быть, царь не забыл этого случая и в самом деле считал Анастасьева достойным заседать в Государственном Совете. Но Анастасьев этой царской резолюции не забыл, и стал сечь не только мужчин, но и женщин. Во время нашей беседы с Хижняковым, ни сам Анастасьев, да и никто другой не знал, какая блестящая карьера ожидает этого представителя царской власти, и Хижняков рассказывал мне о Гоголевском бунте и царской резолюции, не подозревая, чем чреват этот анекдот. А анекдотами был, по-видимому, переполнен Анастасьевский режим. Каждая губернаторша, как известно, имеет дамский комитет, в котором она председательствует. Madame Анастасьева также имела дамский комитет, в который все дамы, имеющие по положению своих мужей право, спешили записаться, но не все аккуратно посещали комитетские заседания и этим как бы выражали неполное уважение своей председательнице. Одной из дам, чаще других манкировавших своею

обязанностью, Анастасьев сделал замечание. Дама ответила, что она не может отлучаться по вечерам из дома, т.к. имеет прислугу, которая «по нонешним временам» очень распушена, и чуть хозяйка со двора, и прислуга бросает дом и детей. «Хорошо, сказал мудрый начальник, можете смело приезжать: у ваших дверей будет дежурить полиция и не позволит прислуге покидать дома». Дама поехала в комитет, а в это самое время её единственную прислугу, выбежавшую из квартиры за хлебом к чаю для детей, полиция схватила и потащила в участок, где ее высекли розгами. В городе это произвело сенсацию. Прокуратура получила жалобу и требование привлечь полицию к ответу. Товарищ прокурора отправился к губернатору доложить ему о том, что он вынужден будет начать дело. Анастасьев презрительно посмотрел на прокурора. — «Начинайте, сказал он, а я вас в 24 часа вышлю из пределов моей губернии». Прокурор растерялся, ибо знал, что угроза Анастасьева куда реальнее, чем его угроза начать дело. Тем дело и кончилось.

Второй анекдот. Летом, у открытого окна, в субботу, сидит губернатор. В Чернигове губернаторский дом одноэтажный и окнами с двух сторон выходит на улицу. Мимо окна проходит молодой еврейчик и курит папиросу. Анастасьев его останавливает. «Разве евреям разрешается курить по субботам?» спрашивает губернатор. Еврейчик улыбается, вероятно думает, что начальство с ним шутит. «Что же ты молчишь? Поди-ка сюда!» Еврейчик оторопел и прежде, чем сообразил в чем дело, полицейский схватил его, а затем его высекли. На следующий день отец пострадавшего приходил к губернатору благодарить за урок данный сыну.

Третий случай. Бывший черниговский губернский Предводитель дворянства, перешедший на пост екатеринославского губернатора, а затем, при Александре III, бывший в то время

товарищем министра внутренних дел гр. Толстого, И.Н.Дурново, оставался черниговским помещиком и, кроме имения в с. Жукотках, имел лес на берегу Днепра, зачисленный в разряд защитных лесов в виду необходимой охраны от заносов песком столь важной реки как Днепр. Само собою разумеется, что такой губернатор как Анастасьев, сделался фактическим поверенным своего начальника, который составлял ему «протекцию» в министерстве. Губернатор-управляющий, чего же лучше? — рука руку моет. И губернатор обдeldывал частные дела своего начальства как нельзя лучше. Дурново пожелал продать свой защитный лес. Он привык хорошо жить и ему, вероятно, не хватало денег. При таких обстоятельствах можно несколько обойти стеснительный закон. Надо сделать это так, чтобы сам закон был на его стороне. Так и сделали. Губернатор-управляющий пригласил к себе одного из евреев-лесопромышленников, поговорил с ним и предложил купить лес, назначив цену, показавшуюся лесоторговцу чрезмерной. Отказаться — невозможно, последствия он знает. Просит разрешения осмотреть лес. Разрешение дано. Еврей обращается к своему еврейскому обществу, объясняет свое положение, размер убытка, который окончательно разорит его. Еврейское общество с своей стороны, предвидя последствия, решило убыток разделить пополам: половину принимает на себя еврейское общество. Но как быть с законом, запрещающим вырубку защитных лесов? Губернатор собирает лесоохранительный комитет, в котором присутствует и Хижняков, и в комитете заслушивается доклад о появлении в лесу Дурново короеда и о необходимости сплошной рубки леса в видах предотвращения заражения соседних лесов... Сам неумолимый закон предписывал рубку зараженного леса.

Если бы В.М.Хижняков был еще жив, он мог бы в настоящее время порассказать множество подобных анекдотов о

губернаторе, к которому на следующий день я должен был явиться и с которым ожидал схватки, над последствиями которой не хотел задумываться.

В приемный час я был в губернаторском доме и был принят губернатором, как только я назвал дежурному свою фамилию. Губернатор встретил меня, стоя и очень приветливо протягивая руку. Указав мне кресло против себя по другую сторону письменного стола, за которым он сидел, он объявил, что очень сожалеет, что был вынужден беспокоить меня и вызвать в Чернигов, но сделал это не по своей воле, а по распоряжению киевского генерал-губернатора, которому подчинена и Черниговская губерния. С этими словами он передал мне бумагу, чтобы я сам прочитал ее. Генерал Дрентельн в этой бумаге поручал ему объявить мне о запрещении въезда и пребывания в пределах Черниговской, Полтавской, Киевской, Подольской и Волынской губерний, причем последние три губернии были приписаны рукою Дрентельна сверху над строкой. Я прочитал эту бумагу, возвратил ему и, полагая, что задача его исполнена, спросил сколько дней я могу остаться у себя в Плиске, чтобы закончить свои дела. Не отвечая прямо на мой вопрос, Анастасьев принялся уверять меня, что эта мера принята не только без его участия, но и без его ведома; он лично решительно ничего не имеет против моего возвращения в Черниговскую губернию и с своей стороны готов сделать всякие шаги, чтобы мера, принятая Дрентельном, была отменена, рассчитывая, что я с своей стороны помогу ему в этом. Он может уверить меня, продолжал Анастасьев, что очень ценит и уважает умных и образованных людей и всегда готов оказывать им всяческое содействие. «Это может подтвердить вам такой образованный и достойный человек, как Константин Александрович Рачинский». Поэтому ему очень хотелось бы оказать и мне свое содействие, и он надеется, что ему удастся

убедить генерала Дрентельна отменить свое распоряжение. Для этого мне стоит только отказаться от звания гласного, и он ручается, что мне будет предоставлена полная свобода.

Мне стало совершенно ясно, что, узнав о моем избрании в гласные, Анастасьев тотчас представил Дрентельну о необходимости немедленно удалить меня из Черниговской и Полтавской губерний. Дрентельн приказал составить утвердительный ответ и от себя прибавил svoеручно три юго-западные губернии. Анастасьев явно лгал, но понимал, что если я теперь откажусь от звания гласного, то совершу свое общественное и политическое самоубийство и тогда можно будет предоставить меня самому себе. В виду этого, я совершенно спокойно отвечал ему, что не считаю возможным сделать ему приятное, т.к. согласившись на избрание, я считаю недопустимым спустя несколько дней отказываться, после того как избрание мое состоялось.

Анастасьев сделал вид, что этого он не ожидал, и немного подумав, еще более любезным тоном сказал:

— Конечно, я понимаю трудность вашего положения, но мне так хочется добиться отмены вашей высылки, что я сделаю вам большую уступку и, хотя не могу быть уверенным в согласии ген. Дрентельна, но все же я попытаюсь его убедить, если вы дадите мне слово, что не будете посещать земское собрание.

Меня начало раздражать это желание соблазнить меня, чтобы я капитулировал.

— Я нахожу, что это предложение еще менее для меня приемлемо, т.к. я считал бы недостойным действовать так относительно моих избирателей, только что оказавших мне свое доверие после более чем семилетней моей ссылки.

Анастасьев был недоволен, но сдерживал себя, и снова немного подумав, обратился ко мне:

— Вы очень упрямы, но я хочу вас переупрямить и доказать вам мое искреннее желание дать вам свободу и возможность пребывания в своем имении. Я сделаю вам последнее предложение и буду просить ген. Дрентельна отменить свое распоряжение под моею личной ответственностью. Мое предложение уже потому не посягает на ваше личное достоинство, что наш с вами договор останется никому неизвестен, его буду знать только я; а вам он ничего не стоит. Вот вам листок бумаги, садитесь на мое место и напишите; в форме письма ко мне, что, пробыв несколько лет вне родины и вернувшись теперь домой после перемены царствования, вы изменили ваши убеждения и доводите до моего сведения, что будете придерживаться направления сообразно духу ныне царствующего Государя. Это письмо я спрячу, как оправдание своего собственного поведения относительно вас и, кроме меня, этого письма никто не увидит,

Сознавал ли этот человек всю гнусность этого предложения или оно казалось ему верхом административной ловкости, но я, слушая его речь, произносимую в чрезвычайно сладком тоне, решил покончить с этой игрой кошки с мышкой.

— Позвольте мне, ваше превосходительство, сказать вам, что мы с вами совершенно различно смотрим на наши обязанности. Вы, в качестве главы местной власти, подчинены власти министра и потому вынуждены менять свое направление сообразно направлению министров. Вы изволили служить при гр. Лорис-Меликове, затем при гр. Игнатьеве, теперь вы служите при гр. Толстом. Все они не похожи друг на друга и каждый вел свою политику, и вслед за каждым из них вам приходилось вести их политику. Я не служащий человек, а простой обыватель. Первая моя обязанность иметь свое соб-

ственное мнение и иметь честность, без утайки моих мыслей, поступать согласно с тем, что думаю. Поэтому, не только написать вам, но и сказать, что я переменил свои понятия и разделяю направление графа Толстого, было бы чистой ложью. Поэтому, ваше последнее предложение я считаю еще более неприемлемым, чем два предыдущие. Я не буду более затруднять ваше превосходительство.

— Ну, что же делать, я все сделал, что мог, сказал мне уже сухим тоном Анастасьев, вы не согласны помочь мне и потому я даю вам 24 часа с момента вашего возвращения в Плиску, для устройства ваших дел, после чего вы должны покинуть мою губернию.

Я встал, мы раскланялись без рукопожатий, и я уехал. В тот же день мы выехали в Плиску. Дорога была скверная, ехали мы на почтовых в нашем собственном экипаже, рискуя его поломать или завязнуть в грязи, но к вечеру следующего дня все же добрались домой. Уже утром на следующий день появился тот же долговязый помощник исправника предупредить меня, что до вечера мы должны уехать из Плиски, о чем полиция получила распоряжение от губернатора. Я отвечал, что еду с поездом после обеда. Он пожелал получить мой паспорт и узнать, куда я еду. Я кратко ответил, что никаких бумаг у меня нет, а еду, может быть на Кавказ, а может быть и в какое-нибудь другое место. Он видел, что я не желаю входить ни в какие объяснения, а потому удалился, не сказав мне ничего более. В момент нашего отъезда, я снова увидел на вокзале эту долговязую фигуру: она следила за моим отъездом до последнего момента отхода поезда.

Таким образом, отбыв 7 лет и 4 месяца ссылки и без суда и даже без предъявления мне обвинения, я был после свободы, длившейся полтора месяца, снова выслан из пределов пяти малороссийских губерний (Черниговской, Полтавской, Киев-

ской, Подольской и Волынской), т.е. из сатрапии, подчиненной генералу Дрентельну, бывшему шефу жандармов, снова без определения срока и без пред-явления какого либо обвинения, а лишь только потому, что генералу Дрентельну и губернатору Анастасьеву не хотелось видеть меня земским гласным. И эта вторая высылка продолжалась до конца октября 1904 года, т. е. 18 лет, а обе вместе более 25 лет, когда я был освобожден князем Святополк-Мирским и получил право жить, где хочу.

Ни одно европейское государство не знает в должной мере той системы административной ссылки и полицейского надзора, которая составляла одно из прочных звеньев русского государственного управления. Ни одно европейское государство, за исключением России, не знало в конце 19-го века легализованного произвола администрации, имевшей право в любой момент арестовать и, не производя ни следствия, ни суда, не объясняя причины и сущности обвинения, сослать в любое место Империи, даже в такое место, которое, по своему положению, представлялось уже истязанием, как, например, ссылка в самые отдаленные места Сибири, где перебивали такие люди как В.Г.Короленко и многие другие. Такой произвол применялся даже к таким лицам, иммунитет которых был гарантирован законом. Я сам, как рассказано мною выше, будучи несменяемым без суда мировым судьей и председателем съезда, был арестован и выслан административным порядком, без всякого предъявления мне какого-либо обвинения в течение всей моей ссылки, и выслан был бессрочно. В 1890 году, т.е. спустя четыре года после прекращения моей ссылки, когда я был еще лишен права пребывания в обеих столицах, министр внутренних дел И.Н.Дурново уверял, что меня не обвиняют в каком-либо определенном действии, но находят, что вокруг меня группируются люди неблагонадежные в политическом отношении. Другими словами, я был неприят-

ный и неудобный человек в глазах местной администрации, и этого было достаточно, чтобы нарушить закон о несменяемости судьи без суда над ним, лишить гражданина его прав, его дома, держать в ссылке под гласным надзором полиции более семи лет и навсегда воспретить ему пребывание: в столицах и возвращение на родину, в его собственное; родовое гнездо. Разве это недостаточное объяснение террористических актов, отвечающих на правительственный террор? Что можно сказать в защиту этой системы управления, не считающейся ни с законами, ни с положением человека, ни с интересами семьи, когда ломается вся жизнь человека, разрушается все его будущее, и человек выбрасывается за борт не за содеянное преступление, а по воле сатрапов, облеченных бесконтрольной властью. В чем состоит вина таких людей, как Лесевич, Мачтет, Эртель, Недзьялковский, Девель, Яковенко и всех других, о которых я говорил в предыдущей главе, попавших из Сибири в Тверь, не видя для себя ничего впереди? Я называю десятка два таких людей, но ведь их не два десятка, а десятки тысяч, разбросанных на всем пространстве от Волги до Тихого и Ледовитого океанов. Даже при созыве первой Государственной Думы, первое слово, обращенное к правительству, и требовавшее амнистии и возвращения свободы бесчисленным политическим ссыльным, — не было услышано: все осталось по-старому. Когда затем премьер Столыпин провозглашал с той же трибуны свой тупой афоризм: «сначала порядок, потом реформы», он не догадывался, что, усиливая власть свою и губернаторов, жандармов и всякой полиции, он перегружает государственную машину и ведет ее к разрушению, и подготавливает свое собственное убийство провокатором и жандармским полковником Кулябко. Столыпин шел по стопам своих предшественников, искавших опоры не в законе, а в собственном произволе. Только Лорис-Меликов, по-видимому, пони-

мал, что государственная власть, не опирающаяся на незыблемый закон, в конце концов становится бессильной, и добился упразднения должности шефа жандармов и подчинения этого привилегированного корпуса политической полиции министру внутренних дел. Увы, это было только усилением власти министра внутренних дел и ничего больше. Где оказались жандармы после большевистского переворота? Конечно, не на стороне Временного Правительства и порядка, а на стороне большевиков, образ действий которых они чуяли и заранее учитывали все выгоды содействия коммунистам. Они немедленно отправились на поклон в Смольный институт и в армию, стали во главе комитетов, расстреливавших ее, убеждавших бросить оружие и расходиться по домам, чтобы вносить смуту, разврат, грабеж и убийство в городах и деревнях. Они отправлялись в знакомые по прежней службе места, становились членами местных Советов, «Совнаркомов», «Ревкомов», председателями «Советов бедноты» и комиссарами, устраивали «Чрезвычайки», расстреливали, обогащались. Еще на днях газеты сообщают с Балканского полуострова, что там появился организатор коммунизма, известный жандармский генерал Комиссаров, тот самый член петербургской охраны, который выпускал из тайной, помещавшейся в охранном отделении типографии, революционные прокламации и устраивал погром по желанию на 1000 или 10.000 человек, тот самый жандарм, которого деятельность была так подробно разоблачена в первой Государственной Думе депутатом кн. С.Д.Урусовым, бывшим раньше товарищем министра внутренних дел. Это тот самый генерал Комиссаров, который замешан теперь в покушении на жизнь принца-регента, ныне короля Югославии, Александра. Это та самая язва, которая так долго служила одним из наиболее употребляемых средств государственного управления Великой Российской Империи. Это то самое сред-

ство, которое сгубило Россию и предало ее в руки той шайки убийц, которые окончательно разрушили нашу страну.

Если мое освобождение от ссылки и гласного полицейского надзора в августе 1886 года могло вызвать в наших планах некоторое колебание, то с помощью черниговского губернатора Анастасьева и киевского генерал-губернатора Дрентельна всякие колебания были устранены, т.к. мне было вновь воспрещено пребывание в киевском генерал-губернаторстве. Нам с женой ничего другого не оставалось, как возвратиться в Тверь. Точно также и освобождение от полицейского надзора не было действительным освобождением, а лишь подчинением вместо гласного надзора тайному на словах и слишком чувствительному на деле, особенно при передвижениях, когда мне не один раз приходилось иметь столкновение с полицией, а также в некоторых случаях общественной деятельности. Директор тверской гимназии не позволил брату моей невестки, т.е. нашему родственнику, впоследствии известному в Москве врачу Алексею Ильичу Бакунину, жить вместе с моими сыновьями, учениками той же гимназии, в виду моей политической неблагонадежности.

Перспектива таких постоянных столкновений с разным начальством и помех на всех путях моей общественной деятельности не очень улыбалась мне, но капитулировать перед такими препятствиями я не хотел. Я считал, что в 43 года уходить в частную жизнь, отказаться от всех планов и надежд, — слишком рано. Я понимал, что это была бы измена общественному делу, измена родине, когда каждый мыслящий человек обязан отдать все силы для освобождения её от политического гнета, в котором она задыхалась.

В течение семи слишком лет я выносил и ссылку, и гласный надзор, и полное бездействие. Мог ли я, однако, признать себя побежденным? Мог ли я, имел ли я право признать, что

все средства борьбы у меня отняты? Нет, я не терял веры, что самодержавие должно быть побеждено и будет побеждено, так как это закон истории: народы проходили через эту борьбу за свободу и в конце концов побеждали. И я должен сознаться, что в ту минуту, 27-го апреля 1906 года, когда я поднимался первым на трибуну Государственной Думы, чтобы обратиться от лица России к её побежденному правительству, я чувствовал себя победителем и вознагражденным свыше всякой меры за все невзгоды, испытанные мною. Открывалась широкая дорога конституционной борьбы. . .

Не беда, что через 72 дня нас разогнали, не беда, что пришлось отсидеть потом 3 месяца в тюрьме и потерять политические права: возврата к прошлому не могло быть, путь к прошлому закрыт навсегда.

Глава XII

Мы окончательно устраиваемся в Твери — Цензовая земля — Губернатор П.Д.Ахлестышев — Кахановская комиссия. — Гр. Д.А.Толстой и Пазухин — Земская реформа 1890 года — Упразднение мировых судей — Земские начальники

Когда в 1883 году мы переезжали из Смоленска в Тверь, я испытывал чувство радости, так как к чувству соединения с братом примешивалась определенность положения: я знал, что через три года получу свободу и вернусь к той деятельности, которую я поставил себе целью жизни.

Теперь, в 1886 году, мы ехали в Тверь прямо из Черниговской губернии, откуда меня снова выслали из моего собственного дома, единственно потому, что мой выбор в гласные борзенского земства и вероятность моего появления в губернском земском собрании были нежелательны для местной администрации. Господа Анастасьевы и Дрентельны считали свою волю достаточным основанием, чтобы лишить меня и семью самых элементарных, гарантированных законом гражданских прав: права избирать себе место жительства и участия в местном самоуправлении, наконец, права жить в общественной среде, с которой я связан узами рождения, родства и различными деловыми отношениями.

Таков самодержавный режим, постепенно терявший чувство меры власти, переходивший в чистый произвол, грубый и нелепый и закончившийся полным безумием, остроумно названным «чехардой». Такой именно конец самодержавия и произошел в России, похоронив под своими развалинами не только династию, но и монархию.

Возвратясь в Тверь при благосклонном содействии черниговского губернатора Анастасьева и киевского генерал-

губернатора Дрентельна, я не мог не понимать, что возвращение мое на родину отодвинуто, если не навсегда, то на долгое время, зависящее от срока существования режима, изменения которого ожидать не было никакого разумного основания. С другой стороны, отказываться от общественной деятельности и от тех планов, которые я считал не утратившими своей разумности и силы, мне казалось невозможным.

Мои отношения к разным лицам в Твери уже настолько установились и определились, что я без всяких колебаний принял решение остаться в Тверской губернии и продолжать свое дело тем более, что условия борьбы мне представлялись здесь не только не труднее, но даже более благоприятными.

Отныне Тверь становится нашей колокольной, которая, однако, должна служить нам не препятствием, чтобы видеть Россию, а сторожевой вышкой, с которой горизонт будет шире и виднее.

Наше решение было встречено нашими тверскими друзьями с такими дружескими чувствами, на какие мы еще не имели никаких или очень мало прав. Мы сразу почувствовали себя в среде друзей, готовых оказать нам всякое содействие. Губернская земская управа стала приглашать меня для обсуждения всех возникающих вновь вопросов и даже предложила мне взять на себя разработку статистических материалов и описание Новоторжского уезда, что дало мне возможность очень близко ознакомиться с Тверской губернией, великорусский строй которой очень отличался от губерний малороссийских, знакомых мне с детства. Получив такую интересную для меня работу от губернской управы, я с помощью агронома, получившего образование в Петровской земледельческой Академии, Б.Ф. Недзялковского, составил описание не одного Новоторжского, но еще двух уездов, сверх названного выше, — уездов Бежецкого (самого крупного из уездов Тверской

губерний) и Осташковского. На этом новом для меня поприще мой сотрудник Б.Ф.Недзялковский, о котором я упоминал раньше, оказать мне большую помощь.

Как я уже сказал в предыдущей главе, земские выборы в Тверской губернии происходили в 1885 году, когда я еще состоял в ссылке и под полицейским надзором. Следующие выборы должны были происходить в декабре 1888 г. Но для участия в выборах я должен был иметь самостоятельный ценз, т.е. приобрести покупкой участок земли, притом непременно в Новоторжском уезде, т.к. только там я мог рассчитывать пройти в гласные. Это было не так легко: в силу закона я должен был владеть цензом в течение года до составления списков выборщиков. Это мне не удалось для выборов 1888 г. и пришлось отложить надежды до следующих выборов в 1891 г.

С помощью брата я купил 225 десятин земли в Новоторжском уезде. Вся покупка обошлась около 800 рублей, т.е. по 3 рубля за десятину, плюс расходы по совершению купчей крепости. Как ни дешевы были земли в Новоторжском уезде, но стоимость купленной мною земли свидетельствовала, что это была так называемая цензовая земля. В первый раз мне пришлось пользоваться тем, что называлось «фиктивным цензом» и мне предстояло решить для самого себя, что разумеет закон под понятием земельного ценза, и не находится ли «фиктивный» ценз в противоречии с законом, т.е. не представляет ли он нарушения закона путем его обхода? По закону от земельного ценза требуется установленное для каждой местности в Империи количество десятин земли, числящейся по окладным книгам удобной и обложенной как земским сбором, так и государственным поземельным налогом. Таково требование закона. Земской управе, ведущей окладные книги, а равно и податному инспектору не трудно проверить существование

каждого участка земли, особенно в тех губерниях, где, как в Тверской губернии, происходило специальное размежевание, где имеются планы и описи, и даже подробные карты всей территории губернии. Такая карта Менде имеется и для Тверской губернии. Но закон никому не предоставляет права расследования, ведется ли на данном участке интенсивное хозяйство, или произрастает на нем морошка, или другая ягода, или он запущен для ружейной охоты и т.д. Законом установлено, что облагается налогом не доход, приносимый землею, а самая земля, независимо от того, как пользуется ею собственник. Земля, не приносящая дохода сегодня, может приносить доход завтра. Пески Сахары обращаются в цветущие оазисы. Такую же вырубку из-под леса купил раньше мой брат, позднее продавший ее эстонскому или латышскому колонисту в том же Новоторжском уезде под усадьбу и распашку полей, т.е. ценность такого участка оказалась несомненной. На основании этих соображений можно очень отрицательно относиться к такому хозяйству, какое я имел, но считать его фикцией нельзя, ибо оно представляет реальную ценность и с юридической точки зрения неузвимо.

Я опасался не юридической непрочности моего ценза, но трудности установить правильные отношения с представителями населения в уездном земстве, для которого я являлся человеком не местным, а случайным, словом — чужаком, который должен много поработать, чтобы сначала победить обычное недоверие, а потом уже заслужить и доверие, и уважение. В этом трудном положении я располагал только одним, но за то крупным шансом: на моей стороне была дружба с братьями Бакуниными и положение в земстве моего брата, пользовавшегося полным уважением.

Однако, моя уверенность, что приобретенный мою ценз не может встретить никаких препятствий, оказалась ошибочной.

В 1890 г. я был избран гласным Новоторжского уездного земства. Немедленно после этого я получил от нового тверского губернатора Ахлестышева, заменившего Сомова, приглашение явиться к нему «по делам службы». Оказалось, что ему пришла счастливая мысль не допустить меня вступить в состав тверского земства подобно тому, как я был выброшен из Черниговского. Но он не обладал ни властью генерал-губернатора Дрентельна, для которого его воля заменяла всякий закон, ни опытом губернатора Анастасьева, умевшего обойти всякий закон. Ахлестышев был только что испеченный губернатор, новичок в своем деле.

— Вы избраны в гласные неправильно, — так встретил меня губернатор, т.к. обладаете не настоящим, а фиктивным цензом.

— Вы ошибаетесь: я обладаю указанным количеством земли, дающим право на самостоятельный ценз. Моя земля не только по окладным книгам земской управы числится и числилась раньше землею удобной и облагалась как земским, так и государственным налогом, но числится удобной и по каталогу государственного размежевания и по карте Менде, т.е. задолго до моей покупки. Если вы имеете сведения, что эта земля не приносит дохода, то закон никому не предоставляет права вмешиваться в этот вопрос и довольствуется тем, что с земли поступает налог, требуемый государством и земством. Государство вмешивается в этот вопрос лишь в том случае, когда владелец отказывается платить налог под тем предлогом, что земля принадлежит к разряду неудобной. Если же признать ваше толкование закона, то придется очень большую часть земель тверской губернии признать неудобными и таким образом лишить государственную казну и земство земельного сбора.

По-видимому, Ахлестышев ничего не мог возразить против моих соображений, т.к., вероятно, ему пришлось впервые столкнуться с таким вопросом. Он еще не знал, что у губернаторов имелось в руках более простое средство не допустить любое лицо, избранное в состав гласных. Достаточно было опротестовать, под каким угодно предлогом, избрание и дело переходило в Сенат, где и покоилось, если требовалось, все три года, до новых выборов. Черниговский губернатор Анастасьев так бы и поступил, если бы у него не было за спиною генерал-губернатора Дрентельна, распоряжавшегося законом по своему усмотрению.

П.Д.Ахлестышев, бывший уездным предводителем дворянства одного из уездов Московской губернии, был назначен тверским губернатором, если я не ошибаюсь, в 1890 году в связи, по-видимому, во-первых, с назначением министром внутренних дел И.Н.Дурново, полагавшего по собственному примеру, что для губернаторов нет лучшего стажа, как предводительский, и во-вторых, с введением земских начальников и перестройкой земства в направлении усиления в нем влияния дворянства. Хотя прежний тверской губернатор, Сомов, также прошел предводительский стаж, но новое вино самодержавного режима требовало новых мехов. На старика Сомова не надеялись, и его сдали в сенатский архив по департаменту герольдии.

Эта смена старых мехов на новые произошла летом, когда мы жили на даче в Новоторжском уезде, наняв полуразрушенный дом в давно заброшенной, но очень привлекательной старинной усадьбе Олениных, носившей название «Машук», на высоком берегу р. Тверцы, среди старого запущенного парка. Спустя семь лет мы приобрели Машук в собственность и устроили там, по утверждению Штюмерера, ревизовавшего тверское земство по поручению Плеве, конституционное

гнездо. Но в тот год, когда гнезда еще не было и мы скромно ютились в разрушенном доме, наша кухарка получила из Твери письмо, уведомлявшее ее об аресте её мужа, рабочего, за недостаточное наблюдение за их малыми детьми, в чем-то провинившимися на улице при проезде губернатора. Перепутанная кухарка, дети которой остались совсем беспризорными, бросилась стремглав в Тверь спасти детей от заботливости начальства, переходящей пределы разумности. Таким образом и мы узнали, что начинается новый курс губернаторского управления.

Программа нового губернатора была очень проста: он, губернатор, единственный «хозяин» губернии, в которой имеется два его врага: земство и городское управление, которых он должен искоренить. И он «искоренял» без устали и без всякого смысла. Я не знаю ни одной отрасли земского дела, которую он не старался бы парализовать всегда глупо, всегда что-то подозревая. Начиная с постановлений уездных и губернского собраний и их бюджетов и кончая назначением земских служащих, повсюду чувствовался тормоз, часто совершенно недопустимый и притом безусловно незаконный, именно в области приглашения служащих. Закон требует согласия губернатора на назначение служащего и согласие это должно быть дано в течение месячного срока. Неполучение его в назначенный срок принимается за согласие. Но губернаторы прибегали к уловке, т.е. к обходу закона, уведомляя управу, что ими не получены еще справки о данном лице. Такие справки затем ожидаются по несколько месяцев и место остается незаменным, т.е. работа, для которой то или другое лицо приглашено, останавливается. Легко понять, как трудно при таких условиях приглашение служащих для замещения мест, т.к. устанавливается презумпция, что каждое приглашаемое на земскую службу лицо политически неблагонадежно, и справки

о его благонадежности собираются последовательно со всех мест, где это лицо имело службу или пребывание.

Может быть более разумные и менее подозрительные губернаторы ограничивались каким-нибудь сроком, но Ахлестышев добирался до крайних пределов, когда теряется всякий след о жертве полицейского или служебного надзора. Это был настоящий маниак подозрительности. Так, например, он производил расследование о будто скрывающихся под видом душевнобольных в Бурашевской лечебнице политических преступниках.

Требовались огромное терпение и преданность делу, чтобы в течение многих лет выдерживать такую мелочную придирчивость и такую упорную помеху в каждом деле, часто срочном, всегда необходимым.

Почва для таких губернаторов, как Ахлестышев и его преемники, была основательно подготовлена в течение 80-х годов Кахановской комиссией, а затем, после её закрытия 1 мая 1885 г., министром внутренних дел гр. Д.А.Толстым, искусно использовавшим воззрения и настроение императора Александра III, ограниченного автократа и тупого приверженца давно отжившей старины.

Кахановская комиссия возникла при министре внутренних дел гр. Игнатьеве, взамен существовавшей раньше при министерстве внутренних дел комиссии о губернских и уездных учреждениях, под председательством статс-секретаря М.С.Каханова. Учреждение комиссии было мотивировано необходимостью совокупного рассмотрения сенаторских ревизий (М.Е.Ковалевского, С.А.Мордвинова, А.А.Половцева и И.И.Шамшина), произведенных по поручению гр. Лорис-Меликова, и по поводу земских ответов, затрагивавших всю систему местного управления и самоуправления. Комиссия должна была выработать законопроекты о преобразовании

губернских и уездных административных учреждений, а также о соответственном изменении учреждений земских, городских и крестьянских. План работ комиссии был составлен очень широко и высочайше утвержден 16 апреля 1882 г., но с устранением из числа её задач, во-первых, порядка производства дел о государственных преступлениях и участия в них чинов жандармского корпуса, а во-вторых, изменения функций сословных учреждений и с указанием на необходимость сохранения сельской общины, как самостоятельной хозяйственной единицы.

К весне 1884 г. работа комиссии была исполнена: выводы её были облечены в форму отдельных статей, к которым составлены объяснительные записки. Однако комиссия не считала свою работу законченной и находила нужным проверить свои заключения со стороны «практической применимости». В виду этого в ноябре 1884 г. заседания комиссии открылись в усиленном составе. В качестве «сведущих людей» было приглашено «15 лиц из числа губернаторов, губернских и уездных предводителей дворянства и председателей губернских и уездных земских управ». В числе приглашенных были предводители дворянства Пазухин и Бехтеев, представители «властной руки», говоря проще — ежовых рукавиц для крестьян. Господин Пазухин особенно понравился графу Д.А.Толстому, который пригласил его в правители своей канцелярии; после чего гр. Толстой и Пазухин сочли своевременным комиссию закрыть, как совершенно излишнее учреждение, (с чем нельзя не согласиться) и составить обратную «реформу» земских учреждений, мирового суда и крестьянского управления — в министерской канцелярии под руководством такого опытного реформатора, как бывший предводитель дворянства Пазухин.

Было бы, однако, несправедливо думать, что попытке разрушить местное самоуправление, главным образом — земство,

лишить суд независимости и взять крестьянство под властную руку администрации, — Россия обязана исключительно гр. Д.А.Толстому и его сателлитам — Пазухиным и Бехтеевым.

Недолгое царствование императора Александра III дает достаточно обильный материал для суждения как об уме, так и о характере предпоследнего русского царя, ненавистника всех реформ своего предшественника и отца. Известно, что Александр III стал наследником престола после смерти своего старшего брата. В это время ему было уже 20 лет и его образование и воспитание было уже закончено. Поэтому он был вовсе не подготовлен к той роли, которую судьба ему предоставила, и его воззрения выросли самобытно из его тяжеловесной природы, как вырастает посев на невозделанной почве. От природы он был ограниченный, но не дурной человек, имевший в своем характере хорошие стороны, но его некультурный ум был совершенно лишен способности понимать ход истории человечества. Он кое-что знал о прошлом, о золотом веке, о добродетелях старины и едва-ли понимал что-нибудь в том, что происходит теперь и что вызывало в нем чувство ужаса и отвращения. Его умственный взор был всегда обращен назад, в глубь старины, где он искал образцов и примеров. Запад ему внушал недружелюбное чувство: оттуда шли всевозможные либеральные, социалистические и революционные идеи, которые все более распространялись в России и в последние годы царствования Александра II-го вызвали открытую борьбу с самодержавной властью, закончившуюся убийством царя. Это убийство произвело на него неизгладимое впечатление, державшее его в плену до конца жизни. Он заперся в Гатчинском дворце и в обществе упорно ходили слухи, что опасения за свою жизнь дошли у Александра III до такого напряжения, что будто бы он убил слугу, имевшего несчастье испугать царя неожиданной встречей. Возможно, что такой слух был неверен,

но в обществе он держался очень упорно и мне не раз приходилось слышать этот рассказ. Из этого мрачного дворца своего прадеда, злополучной памяти Павла I-го, он вел сам свою политику как внутреннюю, так и внешнюю, между которыми не было внутреннего противоречия. Как известно, он не терпел одинаково как «внутренних» русских немцев, так и немцев внешних и их олицетворение в императоре Вильгельме II, которого он презирал, как презирал басурманскую веру балтийцев, которых не хотел признавать русскими. Только нелюбовь его к немцам и Вильгельму заставили его заключить союз с французской республикой, и он приказал открыто исполнять марсельезу в отместку немецкой «Deutschland über alles». Никакой министр не посмел бы предложить Александру II такой *coup de grâce* самодержавию. К счастью, в данном случае союз с Францией отвечал не только чувству императора, но и интерес России, поэтому внешняя политика России осталась неизменной до коммунистического переворота.

Что же касается до политики внутренней, то, благодаря безумию преемника Александра III, нельзя не признать её конечным последствием коммунистический переворот и разорение всей страны. Политический его горизонт был так узок, что он, встречаясь с земским либерализмом, с народничеством и с революционными эксцессами, не различал их и не видел в этих явлениях ничего, кроме нарушения собственной его самодержавной воли и необходимости обуздания непокорных. Соображений о развитии новых форм и требований общественной жизни он не знал и не понимал. Отсюда его уверенность в возможность сокращения прав земства, когда оно добивается расширения их, и вера в ежовые рукавицы для крестьян, обнаруживающих неповиновение и предъявляющих притязания «не соответствующие их званию и состоянию». Речь императора Александра III во время коронации, обращен-

ная к волостным старшинам с требованием повиновения их предводителям дворянства, прозвучала в крестьянской среде как угроза возвращения к новому закрепощению их и вызвала в их воображении это страшное привидение. Эта самая угроза почти в тех же выражениях была повторена и Николаем II, также на коронации, и еще более расположила крестьян к тем голосам из другого лагеря, которые обещали им не только полную свободу, но и всю землю, что принесет им богатство и счастье.

В какой степени мысль Александра III была прямолинейна, можно видеть, например, из эпизода, рассказанного в книге Леливы «Русско-Польские отношения». В Вильне графиня Зубова, супруга местного губернского предводителя (по назначению правительства), состояла попечительницей гимназии. Она обратилась к императору Александру III с письмом и просьбой о разрешении детям католического вероисповедания не посещать православного богослужения в царские дни, как это требовалось местным начальством, а ограничиться церковною службою по католическому обряду в католической церкви. Гр. Зубова чрезвычайно убедительно доказывала, что дети католиков и их родители переживают жестокое испытание, когда они вынуждены посещать православный храм вопреки запрещению католической церкви и как бы присоединяться к православному обряду. Графиня Зубова сообщает далее, как много она получает писем в высшей степени трогательных и патриотических, умоляющих ее заверить, что дети католиков будут так же молиться за Царя в своем храме, как молятся православные в своем. Она выражает надежду, что царь, как глубоко верующий христианин, снизойдет к просьбе верно-подданных католиков и удовлетворит её ходатайство.

Как ответил царь на это глубоко прочувствованное письмо? Он написал на письме: «Дети католического вероиспове-

дания могут, отстояв службу в православной церкви, отправиться в католическую церковь...»

Император Александр III не сомневался, что все его подданные, без различия вероисповедания, обязаны участвовать в православном богослужении и молиться за православного царя православному, а не иному Богу, которого он, православный царь, не признавал своим покровителем. Лозунг — вера православная, царь самодержавный, народ, самодержцем беспрекословно управляемый — был принят им как дар свыше, а всякие либеральные, конституционные и тем паче — революционные идеи были признаны им противоречащими русскому духу и подлежащими беспощадному искоренению.

Граф Д.А.Толстой оказался самым подходящим министром для осуществления такой упрощенной программы. В течение 15 лет он состоял министром народного просвещения при Александре II и из всех министров стал самым ненавистным в стране. Но эти же воззрения разделял и Александр III. Словом, у царя и его нового министра были очень сходные воззрения и вкусы. Одно время был очень распространен слух, что гр. Толстой, отдыхая в своем имении, кажется в Михайловском уезде Рязанской губернии, будучи недоволен одним из своих слуг, отправил его с письмом к мировому посреднику с просьбой подвергнуть его телесному наказанию. Мировой посредник отказался исполнить такое: требование, не находя соответствующего для этого закона. Недовольный граф ответил, что каждый хороший мировой посредник найдет такой закон и выполнить требование министра. Мировому посреднику пришлось подать в отставку.

С заменой на посту министра внутренних дел графа Игнатьева графом Толстым, наступает открытая правительственная реакция, составлявшая несомненную черту этого тупого и злобного бюрократа, видевшего в борьбе с обществом свою

задачу. Получив снова власть, Толстой повел открытую борьбу с общественным мнением и, конечно, в первую голову с печатью, самой крупной жертвой которой он избрал журнал «Отечественные записки», издававшийся М.Е. Салтыковым-Щедриным и представлявший авангард русской общественной мысли. 20 апреля 1884 г. «Отечественные Записки», старый журнал, переживший всякие цензуры, по распоряжению правительства был закрыт «навсегда». Этот удар был почувствован всей мыслящей Россией, как вызов, брошенный новым царствованием общественному мнению, с которым считаться не будут. Это была первая победа реакции в открывающейся борьбе с общественностью, которая, однако, не считала свое дело проигранным и не имела намерения сложить оружие.

По поводу запрещения «Отечественных Записок» в Твери произошел довольно характерный случай, удивительно наглядно обнаруживший всю низменность той части русского общества, которую Щедрин, со свойственным ему остроумием и проницательностью, называл «гражданами ретиранных мест», и которая составляла опору русского самодержавия.

В Твери существовал тогда, а может быть существует и теперь, если большевики его не раскрали, музей, в котором собирались всякого рода предметы, относящиеся к Тверской губернии, к её природе, её естественным богатствам, её старине и её современности. Группа тверитян, почитателей Щедрина, заказала его бюст и предложили его музею в виду того, что Щедрин уроженец Калязинского уезда Тверской губернии, и составляет неотъемлемую славу края. Бюст был принят музеем с благодарностью и поставлен на отведенное для него место, которое он и занимал до появления в газетах сообщения о запрещении «Отечественных Записок», когда бюст был подкинут, как подкидывают незаконнорожденных детей, моему брату, как одному из отцов этого бюста. Поздно вече-

ром мы с братом сидели вдвоем в его кабинете и беседовали, когда услышали с улицы звонок. Ночные звонки были нередки у брата, как врача, и он сам вышел отпереть дверь, у которой никого не оказалось, но стоял какой-то ящик, притом довольно тяжелый. Брат позвал меня, и мы вместе внесли ящик в дом. Откупорив его, мы увидели бюст Щедрина... Музей изгнал украшавший его бюст, чтобы показать свою солидарность с графом Толстым и все хамство своей собственной природы. Во главе музея стоял некий господин Жизневский, председатель тверской казенной палаты, представитель местных научных учреждений: архивной комиссии, тверского губернского музея и т.п.; он почитался представителем местной учености. Сверх того, он был частным советником губернатора Сомова и нередко формально замещал его должность в случаях отсутствия губернатора. Жизневский был поляк по происхождению и довольно близкая копия своего соотечественника Фаддея Булгарина. Свое польское происхождение он обнаруживал только по ночам, когда посещал католическую церковь, замаливая свой грех посещения днем православной церкви, когда это требовалось его служебным положением. Таков был этот представитель науки и глава тверского музея, выбросивший из него бюст Щедрина. М.Е.Салтыков, узнав всю эту историю, был очень огорчен и выразил свое сожаление своим почитателям.

Не смотря на чрезвычайно обширную программу, охватившую все важнейшие вопросы местного управления и самоуправления, предоставленную рассмотрению Кахановской комиссии, в обществе на нее возлагали очень мало надежды. По-видимому, и сама комиссия работала не спеша: только спустя два года после утверждения программы, она пригласила «сведущих людей» для рассмотрения своих проектов, притом ограничив их таким составом, который не предвещал благо-

приятных результатов. Пятнадцать экспертов из числа не примирившихся с освобождением крестьян и с земством губернаторов и помещиков, кричавших, что в деревне нет житья помещику от крестьян, а в земстве хозяйничает революция: можно ли было придумать экспертизу менее способную внушить доверие обществу? Кахановская комиссия, очевидно, пожелала угодить гр. Толстому и удостоиться его доверия, но гр. Толстой отказал ей в этом. Он закрыл ее, отобрал её материалы, показания её экспертов, «достоверных лжесвидетелей», и самого достоверного из них, симбирского предводителя Пазухина, пригласил себе в помощники. Затем, отложив в сторону Кахановскую программу, он просто упразднил в деревне мировой суд, заменил «волостелей» участковыми земскими начальниками и, во внимание к экспертизе губернаторов, из крестьянских уездных земских гласных образовал штаб, состоящий в полном их распоряжении.

Как ни были велики опасения общества, «реформы» превзошли всякие ожидания. Никто не предвидел и не мог предвидеть, кроме посвященных, упразднения мировых судей и соединения судебных и административных функций в одном лице земского начальника. Но министр внутренних дел усматривал в этой мере «главное средство», как он сообщил симбирским «сведущим людям», «восстановить дисциплину среди крестьян, а землевладельцам доставить ту специальную охрану, которой они не находили в прежних судебных и административных учреждениях».

Мировые судьи избирались земскими собраниями, находившимися под контролем всего населения, и переизбирались каждое трехлетие. Они избирались сверх того не из дворянской среды и не только по имущественному цензу, а из лиц, имевших либо образовательный, либо служебный ценз, и утверждались Сенатом. Земские же начальники назначались по согла-

шению губернатора с предводителем дворянства из среды местного дворянства или из числа лиц, не имеющих никаких связей с местным населением. Мировые судьи действовали в самых строгих рамках закона, под контролем кассационного Сената. Земские начальники освобождались от всяких стеснительных законов и даже могли подвергать крестьян аресту до проверки обвинения. Каждое постановление крестьянского схода или решение волостного суда должно было проходить через руки земского начальника.

От земских начальников требовалось не правосудие, а «специальная» охрана землевладельцев; не охрана самоуправления, дарованного и крестьянам при освобождении их от крепостной зависимости, а «дисциплинирование» крестьян произвольным усмотрением чиновника.

Таким образом, крестьяне были лишены своего сословного самоуправления и всецело предоставлены новому началству из дворян. Это был акт насилия, совершенный над 85% населения России, решительно ничем не вызванный и подготовивший ту крестьянскую расправу над помещиками, которая совершена в течение годов революции, наступившей в 1917 году. Я очень хорошо помню речь не пропагандиста, а крестьянина, представителя Пречисто-Каменской волости, в 1902 году на заседании «Комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности», в г. Торжке. С неподдельной страстью и истинным красноречием он говорил, что еще не успели изгладиться рубцы на тех язвах, которые причинило крестьянству крепостное право, еще не успело крестьянство привыкнуть к свободе от цепей, которыми оно было приковано к помещику, как снова оно чувствует себя в цепях крепостного права, во власти земского начальника, свободного распоряжаться народом, как ему заблагорассудится. «Теперь, говорил этот крестьянский оратор, мы снова требуем свободы. Мы готовы, как

и при освобождении от помещичьей власти, отказаться от всего, даже от земли, которая нас кормит, только бы быть свободными; мы не хотим более быть рабами». Я цитирую эту речь на память, как она была изложена в протоколе заседания, но её смысл, почти её выражения переданы точно, т.к. речь эта произвела на меня глубокое впечатление своей правдой и искренностью. И не один новоторжский крестьянин так думал, тут же его очень поддержал волостной старшина той же Пречисто-Каменской волости и тот гул крестьянских голосов, который выражал сочувствие своему оратору. Протоколы Новоторжского Комитета были не допущены губернатором кн. Н.Д.Голицыным к докладу в губернском Комитете и не были напечатаны в собрании всех постановлений «Комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности». Я не знаю, где эти протоколы: исчезли ли они, или сохраняются, — в архиве ли тверского губернатора или в архиве министерства финансов, или, наконец, в личном архиве графа Витте. Но мысль, так сильно выраженная новоторжским крестьянином, двумя годами позднее вспыхнула в форме крестьянского волнения, охватившего Полтавскую и Харьковскую губернии в 1904 году и ставшего предвестником наступающей революции.

В своих Воспоминаниях (т. I, стр. 454-5) гр. Витте утверждает, что «еще в первый год царствования императора Николая он говорил с И.Н.Дурново (министром внутренних дел), стараясь убедить его, что необходимо поставить земских начальников в более определенные рамки, отобрав от них функции судебные, но И.Н.Дурново ему категорически ответил, что «скорее его руки отсохнут, нежели он подпишет какое-либо изменение в положении земских начальников». Далее гр. Витте утверждает, что преемник Дурново, И.Л.Горемыкин, в бытность свою обер-прокурором Сената и товарищем министра юстиции, «категорически высказывался против

положения о земских начальниках». Но тот же самый Горемыкин, назначенный министром внутренних дел, в совещании по крестьянскому вопросу на замечание члена совета министра финансов Рихтера, что прежде всего нужно изменить положение о земских начальниках, заявил, «что, сделавшись министром внутренних дел, он никогда не допустит, чтобы был тронут институт земских начальников».

«Положение об усиленной охране» и институт земских начальников стали краеугольными камнями русского государства и нет ничего удивительного, что оно рухнуло, не обладая ни одним устоем, способным выдержать натиск революции, превратившейся в анархию.

Гр. Д.А.Толстой не ограничился упразднением в деревне института мировых судей и крестьянского сословного самоуправления, заменив и то и другое земскими начальниками. Он наложил свою мертвящую руку и на Положение о земских учреждениях. Однако, ему не досталась вся слава реформатора: он умер, не успев выполнить свою задачу до конца. Продолжал дело достойный его преемник И.Н.Дурново, более похожий на метрдотеля, чем на министра, не только своей великолепной внешностью, но и своим внутренним содержанием. Он кое-что уступил из непримиримого проекта гр. Толстого и провел «реформу» в несколько смягченном виде. Тем не менее, и в таком измененном виде «реформа» в целом была проведена с слепым фанатизмом человека, одержимого навязчивой идеей, вне её не различающего ничего. Двадцатипятилетний опыт показал, что роль крестьянства в стране с каждым годом становилась значительнее, как в хозяйственно-экономическом отношении, так и в общественном, и здравый смысл требовал бы все большего освобождения личности крестьянина и расширения участия крестьянства в местном самоуправлении. Правительство поступило как раз наоборот, вопреки требованиям

здоровой политики: у крестьян отняли право самоуправления и отдали личность в полный произвол земского начальника.

Для того, чтобы ослабить роль крестьянства в земстве и усилить роль дворянства, прежде всего уменьшили число гласных, как уездных, так и губернских. В 34 губерниях было гласных:

по Положению 1864 г.: уездных 13329, губернских 2274

по Положению 1890 г.: уездных 10229, губернских 1576.

Причем из 13329 уездных гласных в 1864 г. крестьянам принадлежало 5357 мест, или 40%, «реформа» 1890 г. уменьшила число крестьянских мест до 3167 из 10229, т. е. до 31%, лишая таким образом крестьянский элемент в земстве почти всякого влияния, так как даже в соединении с гласными городскими крестьянство оставалось в меньшинстве. Если такая тенденция была парализована, то только благодаря тому, что дворянство более не представляло однородной массы и реакционная его часть составляла меньшинство, что доказывается двумя очевидными фактами: 1. Введение нового земского Положения 1890 г. не только не затормозило прогрессивной деятельности земства, но значительно ее двинуло вперед и 2. Первая Государственная Дума в своем составе имела среди депутатов дворянского происхождения большинство, принадлежащее к партии конституционно-демократической, и лишь ничтожное число — к партиям правым.

Предпринимая «реформу» земства в 1890 году, правительство обнаружило только свою слепоту, полное непонимание того процесса развития русского населения вообще и особенно его более образованной части, которое было очевидно для всех, кроме слепых, стоящих во главе управления русским государством. Оно все еще, по старой привычке делило людей по сословиям, которые жизнь перемешала безвозвратно, и вместо прежних избирательных собраний, построенных на

основе имущественного ценза, ввело еще другой признак — сословие, которое дает новую привилегию: в состав губернских земских собраний были введены без выбора, но со всеми правами гласных предводители дворянства; эта мера сделала то, что предводители дворянства составляли 22% всего числа губернских гласных.

Но правительство не ограничило этим свою реформаторскую предприимчивость в области избирательной системы: в известных случаях оно присвоило себе право продлить полномочия гласных на следующее трехлетие, или назначать на тот же срок председателя и членов управы.

Под прикрытием громкого титула присоединения земских учреждений к системе местного государственного управления, сделана была весьма серьезная попытка подчинить земство усиленной опеке администрации. Во-первых, проверка прав избранных гласных отнята от земских собраний и возложена на губернское по земским делам присутствие; во-вторых, не только председатели, но и члены управ утверждаются, причем председатели могут избираться только из лиц, имеющих право государственной службы; в-третьих, увеличено число предметов, по которым постановления собраний подлежат утверждению губернатора или министра; в-четвертых, губернатору предоставлено право рассматривать земские постановления не только с точки зрения законности, но и с точки зрения нужд и пользы местного населения и останавливать те постановления, которые, по мнению губернатора, нарушают интересы населения; в-пятых, отнято право собраний рассматривать постановления, опротестованные губернатором, взамен чего опротестованные постановления, подлежащие утверждению губернатора, рассматриваются вновь образованным губернским по земским делам присутствием, откуда губернатор может апеллировать к министру внутренних дел. Постановления земства

опротестованные губернатором, не подлежащие его утверждению, но признаваемые им противоречащими закону, направляются в то же губернское по земским делам присутствие, решение которого земство может обжаловать в Сенат; постановления, нарушающие пользы и нужды государственные или местные, направляются к министру внутренних дел, а в случае отмены им или изменения им постановления, разрешаются Государственным Советом, когда имеется в виду возвышение земского обложения, и комитетом министров — во всех других случаях.

Я нарочито подробно привожу все эти изменения, чтобы убедить тех, кто не имеет времени и охоты знакомиться с текстом закона, как был усложнен им земский аппарат, как увеличено вмешательство администрации в земскую деятельность, предоставляющее ей право оспаривать мнение представителей населения о его собственных пользах и нуждах и приостановить всякое постановление, которого администрация не желает. Ко всему этому надо прибавить учреждение губернского по земским делам присутствия, которое находится в полном распоряжении губернатора и прикрывает весь его произвол.

Первое впечатление от такой «реформы» у многих вызвало решение отказаться от земской деятельности, у некоторых — озлобление и даже желание бойкотировать земство, но такое настроение продолжалось недолго. Всем было ясно, что покинуть дело, имеющее за собою двадцатипятилетнюю давность, достигшее таких важных культурных результатов, покрывшее всю Россию громадной сетью народных школ, больниц или приемных покоев, поддерживавшее в течение четверти века во всех слоях населения идею самоуправления, создавшее уже некоторые привычки и навыки в трудной и ответственной общественной работе, и обречь эти драгоценные приобретения

на разрушение и гибель, значило бы совершить непоправимую ошибку. Пусть будет работа более трудной, но тем более она требует энергии и решения ничего не потерять из того, что уже сделано, и отдать все силы, чтобы достигнуть новых успехов на поприще духовной и материальной культуры.

Мне кажется, что земство, к концу второго двадцатипятилетия своей деятельности, могло с уверенностью считать свою задачу выполненною, хотя и не законченною по причине революции и коммунистического переворота, предупредить которые; было не в его силах. Впрочем, роль местного самоуправления никогда не может считаться законченной, т.к. местное самоуправление всегда будет основой государства. Оно может изменять свои формы, но всегда эти формы будут внешним выражением общественности, т.е. отражением общественной жизни страны.

Обстоятельства нашей личной жизни складывались так, что оставаться в Твери было для нас очень затруднительно. В 1886 году, когда я был сначала освобожден от ссылки и от гласного надзора полиции, а вслед затем снова выслан бессрочно из Черниговской и из других малороссийских губерний, мы решили взять к себе в Тверь трех моих сыновей, из коих старшему было 13 лет, второму 11, а младшему 9, чтобы поместить их в гимназию и следить за их воспитанием. Весной 1887 года они приехали в Тверь и два старших были помещены в гимназию. Спустя год, старший из трех 12 апреля 1888 г. скончался, а в следующем учебном году со вторым мальчиком, всегда отличавшимся серьезным характером и точным исполнением своих обязанностей, в гимназии на уроке произошло столкновение с учителем Березовским, позволившем себе сказать ученику, что он лжет, на что получил резкий и совершен-

но справедливый ответ, что он никогда не лжет и будет поступать, как требует его совесть. Взбешенный преподаватель не нашел ничего лучшего, как объявить ученику, что он обязан поступать не по своей совести, а как приказывает учитель, который и распоряжается его совестью. После этого, кажется, мальчик был им наказан оставлением в гимназии на несколько часов. Вернулся он из гимназии очень взволнованный тем, что учитель требует, чтобы он поступал не по своей совести, а по совести его, учителя.

Я не считал возможным оставить без последствий такой воспитательный прием, тем более, что Березовский был воспитателем того класса, в котором был мой сын, и обратился к директору гимназии с письмом, в котором изложил дело и квалифицировал требование воспитателя, как совершенно безнравственное, недопустимое в учебном заведении и требующее устранения такого воспитателя от исполнения обязанностей, которые он так дурно и вредно для детей исполняет. При этом я заявил, что если директором не будут приняты соответствующие меры, то я обращусь к попечителю учебного округа. Директор гимназии, г. Овсянников, отвечал мне длинным письмом, в котором доказывал, что мой сын неверно передал мне все происшедшее, что он готов, однако, уладить это недоразумение и считает, что «выносить сор из избы» не следует, чтобы не подрывать и без того трудное в настоящее время ведение учебного заведения, в котором ученический состав так разнообразен по своему домашнему воспитанию.

На это письмо я кратко и определенно ответил, что считаю поведение воспитателя настолько недопустимым и затрагивающим интересы всех родителей, дети которых находятся в гимназии, что считаю себя не в праве замять дело и обращусь к попечителю округа. Директор, видимо, этого не ожидал и на следующий день лично посетил меня, чтобы просить о пре-

кращении дела, но письмо к попечителю было уже послано, и я мог лишь предложить г. Овсянникову подать в суд жалобу за клевету в моих официальных письмах к нему и к попечителю округа. Дело заварилось: попечитель поручил окружному инспектору произвести расследование, закончившееся переводом г. Березовского, кажется, во Владимир, где он мог продолжать свою вредную педагогическую деятельность.

Но для меня лично вопрос воспитания моих сыновей не мог разрешиться удалением одного воспитателя, когда вся гимназия была детищем гр. Д.А.Толстого и его преемника Делянова, прославившего себя бессмертным циркуляром о «кухаркиных детях». Как отнесутся к виновнику (кстати сказать, теперь профессору Иельского Университета в Нью-Гэвене, в Соединенных Штатах) всей этой истории другие преподаватели и воспитатели, и не доведут ли его до какого-нибудь отчаянного поступка в отместку за своего «пострадавшего» товарища? Что будет с младшим сыном, еще не бывшим в учебном заведении и подготовлявшимся дома? Обсудив этот вопрос, мы с женой решили старшего сына взять из гимназии и обоих братьев поместить в частную гимназию Поливанова в Москве, о которой мы имели сведения вполне удовлетворительные. Но для этого надо было переселиться в Москву, жительство в которой мне было воспрещено при объявлении в 1886 г. моего освобождения. Положение было довольно затруднительное однако, случай помог делу. А.С., посещая свою мать в Царском Селе, встретила у неё одну из придворных дам, фрейлину императрицы, г-жу Озерову. Разговор между прочим, коснулся вопроса о желательности нашего переселения в Москву и о препятствиях, которые мы встречаем со стороны администрации. Г-жа Озерова вызвалась узнать у министра внутренних дел И.Н. Дурново об основаниях, не допускающих нашего пребывания в Москве и если можно, попытаться по-

мочь нам. Она исполнила свое обещание и обратилась к Дурново с вопросом: в чем меня обвиняют? Дурново отвечал, что никакого определенного обвинения не имеется, но «около него собираются люди и он несомненно имеет вредное влияние на окружающих». Получив такой неопределенный ответ, который привел ее в полное негодование, г-жа Озерова обратилась к императрице, и мне было предоставлено право жительства в Москве, но не в Петербурге, въезд в который остался для меня воспрещенным.

Как ни грустно было мне покинуть брата и Тверь, где мы нашли искренних друзей и где сложились новые, но прочные связи, мы приняли решение: переехать в Москву, ради воспитания детей, но связь с Тверью сохранить во всей неприкосновенности. Имея земельный ценз в Новоторжском уезде, я намеревался баллотироваться в гласные и Тверь таким образом должна была отныне стать местом моей общественной деятельности.

Мое избрание в гласные Новоторжского уезда совершилось ранее, чем окончилось избирательное трехлетие, т.к. в 1890 году было обнародовано новое Положение о земских учреждениях, причем в губерниях, не пользовавшихся особым доверием правительства, новое «Положение» было введено с 1891 г., т.е. до истечения трехлетия; Тверская губерния попала в число губерний, не пользующихся доверием, и в виду этого получила ранее срока выборы и нового губернатора, г. Ахлестышева.

В виду принятого решения поместить сыновей в частную гимназию Поливанова в Москве и предстоящих экзаменов в конце августа, надо было заранее найти квартиру и устроиться, 16 августа 1890 г. мы покинули Тверь и переехали в Москву.

Глава XIII

Переселение в Москву — Московские знакомства — Избрание меня в Торжке уездным и губернским земским гласным — Ф.И. Родичев — Его избрание председателем губернской земской управы и неутверждение министром — Назначается Штюмер — Штюмер и Гурлянд — Голод 1891-92 г. — Московский комитет грамотности — Гонение евреев в Москве — Смерть Александра III-го

Не без искреннего сожаления мы покинули Тверь, где нашли так много друзей, разделявших с нами все наши планы и помыслы. Но, уезжая в Москву, мы не порывали связи с Тверью и тверской губернией, которая должна была, напротив, стать базой моей дальнейшей деятельности, обеспеченной сотрудничеством большого круга умных, образованных, талантливых и деятельных людей, уже в течение многих лет ведших борьбу со старым порядком и готовых удвоить свою энергию в борьбе с возрождением дворянской эры, получившим сильное подкрепление в «реформированном» земстве. В том, что я буду выбран в гласные, я не сомневался и считал этот вопрос решенным.

Квартиру мы нашли очень скоро на Смоленском бульваре в старомодном особняке, каких тогда еще оставалось в Москве довольно много. Теперь, вероятно, они исчезли без остатка и разобраны на дрова, благодаря мудрому хозяйству большевиков. Особняки эти не отвечали требованиям современного комфорта, но, как известно, «на всем московском есть особый отпечаток», который всему придает своеобразный характер. К числу таких достопримечательностей принадлежали и особняки, весьма любимые москвичами. Раньше я очень мало знал Москву, и только прожив в ней семь лет, почувствовал всю её оригинальность и привлекательность, её действительно свое-

образную красоту и резко выраженный национальный характер, благодаря её церквам, улицам, их названиям, демократической толпе, народной массе, так мало заметной в Петербурге, где преобладали холодная современность, чиновник и интеллигент.

Никаких знакомств в Москве у нас не было, за исключением В.А.Гольцева, с которым мы сблизились в Твери, когда он был выслан туда и жил у моего брата. В его маленьком доме, кажется по субботам, собиралось множество людей, принадлежащих к московской интеллигенции, писателей, профессоров, артистов и т.п. сходявшихся, чтобы провести вечер вместе, в самой непринужденной беседе, подогреваемой красным вином и пивом, потреблявшимися в весьма значительном количестве. Вечер заканчивался, по московскому обычаю, непритязательным ужином. Гольцевы, как муж, так и жена его, Наталья Алексеевна, очень радушно приглашали нас посещать эти вечера, и благодаря им, у нас очень скоро образовался довольно широкий круг знакомых, из которых большинство теперь уже покойники. Одним из первых наших знакомых был В.И.Вернадский, в этом же году занявший кафедру минералогии в московском университете. С ним и его женой Натальей Егоровной, с каждым годом наше знакомство становилось все теснее и превратилось в глубокую искреннюю дружбу, не прекратившуюся до настоящего времени. После большевистского переворота мы не видались друг с другом, а письмами могли обмениваться только в 1919 г., когда он проживал в Крыму, а мы с женой были уже за границей. Я не знаю никого с душою и сердцем более чистыми и благородными, чем Владимир Иванович. Через него мы сразу сблизились и с кружком его студенческих товарищей и друзей: с Ал.Ал.Корниловым, Д.И. Шаховским и братьями Ольденбургами. Он же познакомил нас с П.И. Новгородцевым, Вл.Э.Грабарем и проф. В.М.

Хвостовым, покончившим самоубийством, не вынесяи большевистского гнета.

На вечерах у Гольцева мы познакомились также с М.Я. Герценштейном, А.И.Чупровым, И.И.Янжулом, С.А.Дрилем, Н.А.Каблуковым, статистиком московского земства и приват-доцентом университета. У профессора Дриля были свои вечера, которые мы по временам посещали, а у проф. Янжула — свои, которые я посетил за все время не более 3-4-х раз. Гольцевскит собрания были самые многочисленные, благодаря их непринужденности и добродушию хозяев. На этих «журфикасах» мы сразу приобрели такое количество знакомств, что поддерживать их не было никакой возможности. Мы присматривались. Здесь же мы познакомились с С.А. Муромцевым и П.Н.Милюковым, о которых я буду говорить позднее.

Осенью 1890 года я был избран гласным в Новоторжском уезде, а затем уездное собрание избрало меня в число губернских гласных. Я занял опустевшее место Павла Александровича Бакунина, который, как я уже говорил раньше, по состоянию своего здоровья переселился в Крым. Председателем уездной управы был бессменный Александр Петрович Балавинский, а членами управы Дмитрий Дмитриевич Романов и крестьянин Нил Фомич Курбатов. Губернскими же гласными были избраны Александр Александрович Бакунин, Дм.Дм. Романов, В.Н.Линд, я и, кажется, мой брат, который впоследствии обыкновенно избирался в губернские гласные по Тверскому уезду. Сверх того, согласно новому земскому Положению, от Новоторжского уезда в губернском земском собрании участвовали предводитель дворянства и председатель управы А.П.-Балавинский. Находясь в первый раз в Новоторжском уездном собрании, я воздерживался выступать с каким-нибудь заявлением, будучи еще мало знаком с текущими делами земства, хотя в общем знал уезд довольно обстоятельно, т.к. обрабаты-

вал статистические материалы, относящиеся к нему. На этот раз меня больше интересовали люди, т.е. гласные и, так называемый, третий элемент, и их взаимоотношения. С этой стороны я был вполне удовлетворен: тут не было и следа сословных различий, равенство здесь было уже привычным. Подбор врачей был отличный; что же касается учительского персонала, то о нем я не мог составить себе определенного мнения по тому незначительному числу лиц, которых видел в комиссии. Собрание продолжалось недолго, и после его окончания я вернулся в Москву.

В декабре 1890 г. было назначено губернское собрание. Во всей России начинался новый период земства, обобранного и урезанного даже в тех малых правах, какие ему были предоставлены Положением 1864 г. Его наградили титулом органа местного государственного управления и отняли последнюю долю самостоятельности, которой оно пользовалось в качестве «частного общества».

Губернское земское собрание хотя не очень значительно, но все же изменилось, преимущественно на правом крыле, где разместился штаб губернатора Ахлестышева, представленный главным образом Вышневолоцким, Кашинским и Тверским уездами. По-видимому, оратором штаба состоял московский адвокат Способин, его оруженосцем — князь Путятин, родной брат флигель-адъютанта Путянина, которого гр. Витте в своих «Воспоминаниях» называет флигель-адъютантом «от котлет», т.к. он заведовал царской кухней. Земский Путятин также был склонен к буфету и отличался усердием к своему патрону. Кашин представлен был монументальным Дубасовым, маленькой фигуркой с видом гимназиста, кн. Оболенским, и представительной фигурой церемониймейстера Б.В.Штюмерера, которого я в первый раз увидел в земском собрании. Этот господин имел особые виды, которые он быстро и осуществил, обладая

единственным талантом — интригой. Рядом с ним помещался бежецкий предводитель Паскин, умственно совершенно ограниченный, «без лести преданный» губернатору, как представителю самодержавия, в будущем — член Государственного Совета. Наконец, темная группа Трубникова, Карякина и Отта. Среди этой правой группы меня заинтересовал один новый гласный, впервые появившийся в собрании: по внешнему виду — дикобраз, по речи — иностранец, плохо владеющий русским языком, по воззрениям — реакционер. Это был вышневолоцкий гласный Сназин, человек прошедший очевидно долгое время за границей и очень мало знающий свое собственное отечество, но человек образованный, начитанный, как бывают иные люди, самой природой и болезненностью обреченные на одиночество, и обладающие единственной радостью — книгой. Вопросы политики и общественности его мало интересовали, и он обнаруживал полное неведение той среды, в которую попал. Во всяком случае, он производил впечатление странной смеси идей философских, религиозных и политических. Не смотря на всю противоположность наших идей, мы с ним нередко очень дружелюбно беседовали во время перерывов.

Левое крыло собрания было представлено полностью Новоторжским и Весьегонским уездами и сверх того некоторыми отдельными представителями Корчевского, Старицкого и других уездов. Левое крыло не имело уже в своих рядах Павла Александровича Бакунина, но его место было занято одним из самых видных земских деятелей и публицистов, Корчевским гласным, Алексеем Адриановичем Головачевым. Весьегонский уезд был представлен такими земскими силами, как Ф.И.Родичев, П.А.Корсаков и молодым Александром Семеновичем Медведевым, одним из самых симпатичных земских деятелей, вышедших из среды крестьянства.

Центр, не принадлежащий ни к правому, ни к левому крылу, был самой слабой частью собрания, как по своему незначительному числу гласных, так и по отсутствию среди них всякой организации, но при решении всех вопросов он подавал голос вместе с левой.

Может быть, моему старому другу Федору Измаиловичу Родичеву когда-нибудь попадут в руки мои воспоминания и ему покажется странным, что я только привожу нечто в роде краткого формуляра о его службе, но да простит он мне это, приняв во внимание, что я пользуюсь его формуляром как уликой, устанавливающей тот факт, что Родичев был первой жертвой интриги Штюмера в видах карьеры, которую этот негодяй себе наметил.

Ф.И.Родичев родился 9/21 февраля 1854 года в Петербурге; в 1875 году окончил петербургский университет по естественному факультету, и в том же году, в течение лета, отбыл воинскую повинность в артиллерии, а осенью поступил на юридический факультет и в следующем, 1876 г. весною выдержал окончательный экзамен, после чего отправился в Сербию добровольцем в армию генерала Черняева, боровшегося с турками за освобождение сербов. В его отсутствии, в 1876 г. он был единогласно избран почетным мировым судьей (ему шел только 22-й год и его избрание могло быть только единогласным), а, по возвращении из Сербии, он был назначен исполнять должность участкового судьи, что он и делал до весны 1878 года, будучи избран Весьегонским предводителем дворянства, которым и состоял непрерывно до 1891 года, когда вышел в отставку, отказавшись как от предводительства, так и от должности председателя съезда мировых судей, которую занимал с 1885 г. Он не пожелал занимать этих должностей в виду реформирования земства и замены мировых судей земскими начальниками.

Такой кандидат был предложен и избран в Твери огромным большинством на должность председателя губернской управы и ... не был утвержден министром внутренних дел, И.Н.Дурново. Что мог иметь министр внутренних дел против выбора председателем губернской земской управы лица, бывшего до этого 12 лет уездным предводителем дворянства и 15 лет председателем съезда мировых судей? Никаких личных счетов между министром и земским избранником не было: ясно, что кому-то это избрание мешало. Чтобы выяснить это, надо было ждать дальнейших событий, которые и не замедлили разъяснить дело. Неутверждение председателя влекло за собою новые выборы и назначение экстренного земского собрания, на котором появился Штюрмер, никогда прежде не интересовавшийся земскими делами. Он лебезил направо и налево и давал понять, что готов подвергнуться баллотировке, чтобы избавить от назначения какого-нибудь чиновника нежелательного и чуждого тверскому земству, но опасается, что будет забаллотирован, так как очень мало знаком членам собрания. Беседуя таким образом, он считал голоса, которые могут быть поданы за него, и когда убедился, что большинство будет в его пользу, хотя только потому, что никто не желал после неутверждения Родичева баллотироваться, он заявил, что готов подвергнуться баллотировке и был избран слабым большинством. Как только избрание его было провозглашено, Штюрмер совершенно неожиданно заявил, что не может принять избрания, занимая по службе пост, который он не может покинуть. Очевидно, ему нужно было показать министру, что собрание почтило его избранием, т.е. что он пользуется в земстве необходимым влиянием, ибо после своего отказа он явился в Тверь в качестве председателя по назначению. Стало для всех ясным, что Родичев был не утвержден, чтобы дать дорогу Штюрмеру, проделавшему весь этот не столько

глупый, сколько гнусный фарс с тою наглостью и ловкостью интригана, которые составляли основную черту его характера. Наблюдая затем Штюмерера в течение двух лет, когда он занимал место в Твери, нетрудно было выяснить и причины как его перехода с места заведующего церемониймейстерской частью на скромную должность в земстве, так и смысл фарса, проделанного им. Штюмерер перезрел для должности церемониймейстера, от которой он взял все, что она могла ему дать: он имел орден всех государств, представители которых бывали в Петербурге. Это была богатая коллекция, которая не могла поместиться на груди одного человека. Но это были только цветы, а Штюмерер, подобно Колхасу, поющему в «Прекрасной Елене», желал получать не только цветы, но и баранов; он желал карьеры более выгодной, решил покинуть свою церемониймейстерскую службу и перешел в министерство внутренних дел, рассчитывая получить место губернатора, которое ему и было обещано министром Дурново, если ему удастся привести тверское земство в «спокойное» состояние. Типичный спекулятор, он рассчитывал освободить себя от всякой зависимости от земского собрания в качестве неземского избранника, а назначенного правительством, и связать министра, обещавшего назначить его губернатором, если ему удастся поладить с земством.

Получив назначение, Штюмерер приехал в Тверь и поселился у губернатора в качестве его друга, конечно, временно, но ровно на столько времени, чтобы подчеркнуть свое официальное положение представителя правительства. Так это и было всеми понято, а особенно губернатором, почувствовавшим в Штюмерере большую поддержку в своих намерениях «сократить земские притязания». Само собою разумеется, что и в земских кругах назначение Штюмерера и его афишированная близость с Ахлестышевым возбуждали опасения начина-

ющего похода против земства и против направления, которого оно держалось в течение предшествовавших 25-ти лет.

Добиваясь назначения, Штюрмер не принял в соображение, что он не имеет никакого понятия о том деле, на котором строил свою карьеру. С первых же дней своего появления в губернской управе он почувствовал свое беспомощное положение и необходимость найти помощь, чтобы не скомпрометировать себя окончательно. Можно думать, что именно это обстоятельство побудило его обратиться к нашей группе, так как в самом составе управы ему приходилось быть одиноким и встречать противодействие в членах управы, И.Н. Ладыженском и А.А.Демьянове, принадлежащих к нашей группе. В виду этого он попытался переговорить с нами и дать неопределенные обещания, исполнение которых, как ему казалось, всегда можно обойти, делая уступки в неважных вопросах. Он не думал в это время, что его интрига против Родичева была вполне понята и оценена по достоинству. Поэтому, он был несколько удивлен, когда мы категорически объявили, что тверское земство может поддерживать управу только в том случае, если, во-первых, ни один из служащих в земстве не будет ни удален со службы, ни переведен на другое место; во-вторых, если все учреждения и предприятия земства не будут встречать ни прямых, ни косвенных препятствий с его стороны и будут продолжать свою деятельность в прежнем направлении и, в-третьих, если в каждом случае, когда будет требоваться принятие какого либо нового решения, управа будет принимать его не иначе, как с согласия с небольшим комитетом, в составе которого будут участвовать руководители левой группы земского собрания. Выслушав наши условия, Штюрмер заявил, что принимает их в уверенности, что мы окажем ему доверие и поддержку. Однако, очень скоро после этих переговоров он сделал попытку обойти принятые обязательства.

Губернатор, видимо, избрал первой жертвой своих подозрений директора Бурашевской колонии душевнобольных, д-ра М.П. Литвинова, и Штюмер сделал попытку удовлетворить желание губернатора, прикрываясь требованием министерства. Он пригласил д-ра Литвинова, чтобы сообщить ему, что «в министерстве» очень настроены против него, и если он не выйдет в отставку, то будет удален от службы. В виду этого он, Штюмер, решился предупредить Литвинова, чтобы он мог избежать такой нежелательной меры. В ответ на такое предупреждение д-р Литвинов объявил, что в виду важности вопроса он должен посоветоваться с своими друзьями, и тотчас сообщил мне в Москву содержание всей беседы с Штюмером. Само собою разумеется, я посоветовал Литвинову в отставку ни в каком случае не подавать, а Штюмеру написал, что так как им нарушен первый пункт нашего уговора, то мы, с своей стороны, считаем себя совершенно свободными от всяких обязательств и не остановимся перед теми мерами, которые сочтем полезными, чтобы показать, что в тверском земстве не может происходить спокойное течение дел в виду агрессивных и совершенно ничем не вызванных действий администрации. Но если он, Штюмер, желает избежать такого положения, то должен взять под свою защиту д-ра Литвинова, что, надо думать, не представляет для него, как председателя, назначенного правительством, особенной трудности.

Прошло несколько дней, мой ультиматум оставался без ответа, но вдруг, в один прекрасный день, Штюмер посетил меня в Москве с целью лично переговорить со мной, как он объяснил, по делу д-ра Литвинова. По словам Штюмера, получив это письмо, он тотчас выехал в Петербург и доложил министру, что просит освободить его от слишком агрессивного вмешательства губернатора в земские дела, ответственность за которые перед министром он, Штюмер, принял на себя и

вместе с тем берет на себя ручательство и за д-ра Литвинова. Министр изъявил свое согласие на просьбу Штюмерера, и отныне д-р Литвинов может считать свое положение обеспеченным.

Конечно, Штюмерер мог бы все это изложить в письме, но он видимо не желал оставить в моих руках письменного документа, уличающего его в компрометирующей его сделке с нами. С этого дня он из кожи лез, чтобы освободиться от назойливых требований Ахлестышева, и их отношения до такой степени испортились, что губернатор потребовал от него объяснений по поводу двукратной записи суммы в 100 тыс. рублей в страховом капитале. Перепуганный и ничего не понимающий Штюмерер обратился за помощью к нам, Квашнину-Самарину, Апостолову и ко мне, с просьбой разъяснить Ахлестышеву правильность записи. Вопрос оказался чисто бухгалтерским, но нам стоило немалого труда рассеять подозрительность губернатора, подобно Штюмереру очень мало осведомленного в системе двойной бухгалтерии.

Но Штюмерер убедился на этом незначительном примере, что покинутый нами он провалится и в земстве, и в министерстве, и беспрекословно подчинился условиям нашего уговора. Тем не менее, он решительно был неспособен усвоить то дело, за которое взялся, т.к. не проявлял к нему ни малейшего интереса. Как известно, 1892 год был голодный год, и в Тверской губернии неурожай отразился большим вздорожанием хлеба, причем более других пострадал Осташковский уезд, вследствие совпавшего с этим сильного падения главного местного крестьянского промысла — сетного. В виду этого, губернское собрание поручило избранной комиссии обследовать положение уезда. В состав комиссии был избран и я, и мне пришлось вместе, с Штюмерером объехать наиболее пострадавшие в уезде волости. Если нужно было убедиться в полном равнодушии

этого человека к положению пострадавших крестьян, то наш объезд доставлял вполне достаточный для этого материал. У него с крестьянами не было общего языка, и поставленная ему задача была для него китайской грамотой, смысла которой он не считал нужным добиваться. Его помыслы были в другой сфере. Он был уверен, что получит обещанное назначение и, действительно, к концу второго года его знакомство с местным управлением было признано в министерстве законченным и успешным, и его назначили губернатором небогатой губернии, Новгородской, а потом и более богатой — Ярославской. Но опытный бюрократ на этом не успокоился. Он знал, что завершение карьеры требует нахождения в правительственном центре, и этот невежественный, решительно неспособный ни к какой работе человек получил в управление департамент общих дел, главный центральный орган управления в министерстве внутренних дел, откуда он мог уже рассчитывать и на министерский пост при благоприятных обстоятельствах; он понимал, что такой министр, как И.Н.Дурново, обладал не большими достоинствами, чем он сам, и что он может быть его преемником,

Для того, чтобы покончить с этим интриганом, в котором олицетворялись все самые дурные и порочные стороны русской бюрократии, я здесь же, забежав на десять лет вперед, расскажу о нашей последней встрече.

В 1903 году, после закрытия комитетов о сельскохозяйственной промышленности, созданных Витте, министр внутренних дел Плеве назначил ревизии земств Московской и Тверской губерний, где земства более других не ладили с администрацией. Ревизором Тверского земства явился директор департамента общих дел, Штюмер, в качестве знатока Тверской губернии. Однако, Штюмер не очень рассчитывал на свои силы, а потому пригласил себе в помощники бывшего

профессора Ярославского лицея, Гурлянда, способности которого он оценил в бытность свою ярославским губернатором. Бесспорно, проф. Гурлянд был много умнее и образованнее Штюмерера, но их склад ума и моральные принципы были чрезвычайно близки и сходны, так что, не смотря на полное различие своих профессий, они чувствовали взаимное влечение. Задача же, возложенная на них, вполне соответствовала их склонностям, тем более, что и жертвы были намечены заранее.

В это время мы жили у себя в имении в Новоторжском уезде, куда мало доходили известия о ревизии, пока она касалась губернской управы и других уездов, но, когда ревизия пожаловала в наш уезд, мы могли убедиться, что дело ведется чрезвычайно поверхностно и скорее имеет характер сыска, чем ревизии хозяйственного учреждения, которое и без того, на законном основании, ежегодно само себя ревизует с полным обеспечением публичности.

В конце осени или в начале зимы 1903 г., по окончании ревизии, я получил от председателя нашей уездной управы, кстати сказать *beau-frère*'а Штюмерера, Н.А.Балавинского, женатого на его сестре, приглашение на обед и беседу с ревизорами. Вместе с моим старшим сыном, Михаилом Ивановичем, в то время занимавшим место уездного предводителя дворянства, мы отправились на обед в надежде узнать о результатах ревизии. За обедом присутствовали только оба ревизора, я с сыном и наши хозяева, Балавинский и его супруга, сестра Штюмерера. На мой вопрос относительно результатов ревизии, оба ревизора в один голос стали порицать земскую систему чрезмерного доверия к земским служащим и их независимость от управы, якобы совершенно устраняющую гласных и членов управы от непосредственного участия в исполнительных действиях по всем отраслям земского хозяйства. Таким образом, по мнению ревизоров, действительными

хозяевами в земстве является, так называемый, третий элемент, не несущий никакой ответственности, а гласные, управа и собрание остаются вне всякого влияния на ход дел.

Это общее замечание представляло любопытный пример полного непонимания ревизорами той системы, которой земство обязано всеми успехами своей деятельности, так как только благодаря этой системе ему удалось получить исполнителей, проникнутых интересами дела, вместо чиновников, равнодушных исполнителей приказаний своего начальства или своих нанимателей. Тщетно я пытался объяснить, что исполнитель, которому в известных пределах, вовсе не исключаяющих ни прав, ни фактического участия земских представителей, предоставлена свобода и применение творческих сил, производит работу не механически, а с интересом и сознанием ответственности за каждую ошибку; что в порученном деле он чувствует не чужое ему, а свое дело, и что нельзя найти более самоотверженных, преданных и бескорыстных служащих и работников, как служащие и работники земские. Приученные к системе бюрократического, т.е. формального исполнения задач управления, мои оппоненты не понимали меня, т.к. никогда не интересовались живым делом и достижением действительного успеха.

Когда эта тема была исчерпана, проф. Гурлянд перевел беседу на другую, которая его, по-видимому, более интересовала: какие цели преследует земство в своей систематической оппозиции правительству и, не ожидая моего ответа, выразил уверенность, что земство в скрытой форме добивается конституции, т.е. государственного порядка, которого самодержавие никогда добровольно не признает, не считая нужным уступать притязаниям, не имеющим никаких корней ни в стране, ни в обществе, т.е. в образованных кругах.

Так как вопрос был поставлен мне Гурляндом прямо, не без умысла прижать меня к стене, я решил отвечать также прямо и принял вызов; я сказал, что бесспорно мы считаем переход от самодержавия к конституционным формам не только желательным, но и неизбежным, притом в ближайшем будущем, и что спор о том, на чьей стороне окажется русское общество и народная масса, совершенно напрасен, т.к. за нас, конституционалистов, история всех народов, и рано или поздно наше желание будет осуществлено.

— В таком случае, вы должны знать, категорически сказал Гурлянд, что мы, т.е. все, кто на стороне правительства, будем со всей энергией бороться с вами.

— Мы в этом не сомневаемся, отвечал я, и будем продолжать борьбу в полном убеждении, что в конце концов победа будет на нашей стороне.

Эта беседа происходила в ноябре или в декабре 1903 года, а 17 января 1904 г. был издан манифест по поводу ревизии тверского земства и его вредного направления, а затем 21 января было объявлено распоряжение о закрытии Тверского губернского и Новоторжского уездного земств, о передаче земских дел правительственным комиссиям, об устранении от дел председателя губернской земской управы В.Д. фон-Дервиза, членов управы Н.К.Милюкова, Тица и Вревского, и о высылке гласных Новоторжского земства М.П.Литвинова, А.И.Бакунина и меня, — из пределов Тверской губернии. После этого я немедленно получил через местную полицию требование о выезде. Это была третья моя высылка из места моего жительства.

Только в 1906 году, после роспуска первой Государственной Думы, мне в руки попал доклад Штюмерера своему шефу Плеве. В этом произведении Штюмерера и Гурлянда описывалось, что в Новоторжском уезде давно существует конституци-

онное гнездо в имении братьев Бакуниных, Прямухине, а с недавнего времени и в другом имении — Машуке, — принадлежащем мне; что я пользуюсь большим влиянием и веду открытую пропаганду конституционализма, но делаю это весьма искусно, всегда в легальной и неподдающейся судебному преследованию форме, в отличие от молодежи, более горячей и менее искусной и т.д. Словом, донос был составлен согласно желанию и указаниям Плеве, не предвидевшего, что через полгода он станет жертвой не конституционалистов, а террористов.

Желание закончить портрет Штюрмера во время подготовки его к выступлению в первых рядах императорской бюрократии побудило меня сделать скачек на десять лет вперед, и я вынужден теперь возвратиться назад к началу последнего десятилетия 19-го века, когда в стране стало обнаруживаться стремление выйти из того оцепенения, в которое Россия впала после события 1-го марта и в котором оставалась в течение восьмидесятих годов.

Буря, пронесшаяся над Россией в 1881 году, унесла с собою не только императора Александра II-го, но и почти всю группу террористов, состоявшую из сравнительно небольшого числа лиц, но по характеру решительных, смелых, обладавших громадной энергией и относившихся к смерти с полным презрением. Восьмидесятые годы были годами ликвидации того события, которое подготовлялось сложным характером предшествовавшего царствования. Гатчинский пленник мог думать в своей отчужденности от России, что ликвидация выполнена в совершенстве, так как революционное движение надолго раздавлено. Так думал не один царь, но и вся та многочисленная часть русского общества, которая считала себя обиженной и обобранной, и рассчитывала восстановить, как свое влияние, так и благосостояние, пользуясь настроением и взглядами

Александра III, видевшего в дворянстве прочную опору престола. Правительство не стеснялось никакими мерами репрессии: беспощадно казнило, как за раскрытый заговор на жизнь царя (Ульянов), так и за пощечину, данную учителем гимназии Неустроевым генерал-губернатору Анучину в Иркутске; грозило провинившихся в беспорядках студентов сдавать в дисциплинарные батальоны, устраняло из публичных библиотек неблагонадежные журналы и неблагонадежных авторов, запрещало навсегда издание журналов, влияние которых было признано им тлетворным, и готовило «реформу» земских учреждений, превращая их в орган государственного управления, чтобы устранить из них всякую мысль о самоуправлении и дать дворянству снова преобладающее влияние.

Девяностые годы начинались при неблагоприятных обстоятельствах: в 1891 и 1892 г.г. в центральной и юго-восточной, приволжской, России был полный неурожай, последствием чего, как всегда в России, сказался голод, сначала отрицаемый администрацией, которая затем, когда голод становился фактом бесспорным, оказывалась решительно неспособной справиться с ним. Вести из голодающих мест стали появляться в газетах и получали подтверждения со всех сторон, а правительство продолжало категорически отрицать существование голода и толковало о «недороде», не считая нужным принимать какие-либо экстренные меры и предоставляя это местной администрации, которая отрицала их необходимость. Само собою разумеется, что от этого положение вещей только ухудшалось. Всем было ясно, что только вмешательство общества, в виде оказания помощи голодающим, могло поправить дело, для чего необходима агитация при участии газет и собраний, хотя бы не публичных, для которых требовалось разрешение администрации, той самой админи-

страции, которая смотрела на вмешательство общества, как на вторжение в её прерогативы.

Тем не менее, в виду голода в нашем небольшом дружеском кружке, зерно которого состояло из Вл.Ив.Вернадского, Нат.Ег.Вернадской, Дм.Ив.Шаховского, А.А.Корнилова и к которому в 1890 г. примкнули и мы с женой, а также и некоторые другие лица, было решено устроить собрание из лиц, пользующихся в Москве большим влиянием и уважением, чтобы при их содействии привлечь жертвователей, а также людей, готовых взять на себя самую работу помощи голодающим на местах. В нашей квартире состоялось такое собрание, в котором приняли участие: Лев Николаевич Толстой, Влад. Серг. Соловьев, Д.И.Шаховской, Вернадские, А.А.Корнилов, Мих.Як.Герценштейн, С.А.Дриль, Н.И.Миклашевский, Н.А. Каблуков, В.А.Гольцев, И.И.Иванюков и другие, приблизительно человек около 30-ти. Когда в собрании стали раздаваться голоса сомнения в успехе предполагаемого предприятия, Д.И.Шаховской вскочил и крикнул голосом полным негодования, что «мы не должны и допускать мысли, что можно отказаться от такого дела, как помощь голодающим, кто чем может: сбором пожертвований или личным трудом; что отказ от такого дела был бы позором для русского общества». Этот страстный призыв так повлиял на собравшихся, что все единогласно присоединились к нему.

Как известно, движение в пользу общественного участия в помощи голодающим обнаружилось повсеместно и во всех слоях населения и побороло все препятствия, какие ставило ему правительство, пытаясь подчинить общественную помощь Красному Кресту, решительно не пользовавшемуся ничьим доверием. Красный Крест был в руках разных высокопоставленных лиц; с его помощью делались карьеры, устраивались места для покровительствуемых паразитов, и он до такой

степени не пользовался общественным доверием, что даже великий князь Николай Михайлович, желая пожертвовать в пользу голодающих 40 тысяч рублей, не пожелал вручить их Красному Кресту, а передал в полное распоряжение Вл.Ив. Вернадскому, как одному из представителей общественной инициативы. Подробности этого в высшей степени интересного общественного движения нашли своих бытописателей: В.Г. Короленко, А.А.Корнилова, лично работавших на местах, и Льва Николаевича Толстого, рассказ которого об его работе на голоде был, конечно, прочитан с необыкновенным интересом всей грамотной Россией, как все, что выходило из-под пера великого русского писателя и учителя жизни.

Участие таких популярных и влиятельных людей, а также и газет, и журналов, естественно, привлекло к делу очень большое число лиц, всецело отдававших ему и свой труд, и свои денежные пожертвования. Неутомимый Д.И.Шаховской придумал попытаться привлечь к делу Московский комитет грамотности и с этой целью войти в состав его членов. Комитет грамотности составлял автономный отдел «Московского общества сельского хозяйства», пользовавшегося старинным уставом, сходным с уставом Вольно-Экономического Общества. В течение самого непродолжительного времени в комитет вступило много новых членов, чтобы принять участие в помощи голодающим учащимся в народных школах в губерниях, пострадавших от неурожая. Вспоминая эти возбужденные собрания комитета, бескорыстный труд его членов на пользу народа, нельзя не упомянуть всех тех, которые особенно выделялись своей энергией. Конечно, я не могу вспомнить всех, так как с того времени прошло 30 лет, но все же помню некоторых наиболее деятельных и руководящих лиц: товарища председателя комитета, В.П.Вахтерова, особенно много поработавшего, членов комитета, — С.Г.Смирнова, Д.И.Шаховского, Ел.Ник.

Орлову, Грузинского, А.А.Кизеветтера, Вл.Ив. и Нат.Ег. Вернадских, В.А. и Н.А.Гольцевых, супругов Алферовых, так трагически погибших от рук большевиков, и много других.

Это случайное вмешательство жизни, ворвавшейся в затхлую атмосферу старого комитета, необыкновенно оживило его, внесло страсть, бросило яркий луч света на задачи, которые ставила сама жизнь, предъявляя свои требования, казалось, столь далекие просветительным целям, а в действительности безусловно связанные с ними. Вследствие непонимания этой связи, по удаленности от самой жизни, и по склонности к рутине нашлись и такие члены комитета, которым была не по душе эта новая кипучая работа, эти горячие речи, не всегда сдержанные выражения по адресу власти, возбуждавшие опасения вызвать неодобрение правительства. Пока вся работа была посвящена питанию учащихся в народных школах, рознь в комитете почти не замечалась, но с окончанием этой работы сразу почувствовалось, что «благонамеренность» комитета уже бесповоротно скомпрометирована и его деятельность обратила на себя внимание правительства, вдруг пожелавшего внести изменения в устав, который, по-видимому, так долго обеспечивал прочность российской Державы, а теперь грозивший ей «революцией». Кажется, можно установить с большой точностью, что внимание правительства к деятельности того или другого общества всегда влекло за собою превращение мирного и полезного труда в состояние раздражения и решительную оппозицию власти, от которой всегда ожидалась не помощь, а исключительно применение лозунга «сократить». На этой почве в комитете грамотности началась среди его членов борьба. Часть членов решительно выступила против какого-либо изменения устава в смысле ограничения прав комитета, которыми он пользовался в течение многих лет. Другая часть членов, из опасения суровых мер со стороны правительства и

даже закрытия комитета, пустилась на поиски соглашения как с протестантами, так и с правительством. Для этого было устроено собрание членов комитета в доме Варвары Алексеевны Морозовой, одной из самых не только популярных, но и действительно прекрасных женщин Москвы, обладавших умным сердцем. В её особняке собрался чуть-ли не весь комитет грамотности. Я пришел туда вместе с Д.И.Шаховским и к нашему удивлению был встречен громким и недружелюбным замечанием В.А.Гольцева: — «Пришли наши протестанты»!

До глубокой ночи продолжался спор двух неравных частей комитета, в котором мы, «протестанты», были меньшинством. Мы с полным убеждением доказывали, что правительство ни на какой компромисс не пойдет и что выбор может быть только между решительным протестом против всякого изменения устава, либо соглашением на все требования правительства. При голосовании мы остались в меньшинстве. Большинство сознательно или бессознательно шло на лишение комитета тех прав, которые давали ему возможность оживить свою деятельность.

Член комитета, Елизавета Николаевна Орлова, очень образованная и много поработавшая для образования народа, говорила мне:

«Наше время не время великих задач; мы плаваем не в открытом море, а близ берега, и я сижу в маленькой лодочке с моими друзьями, и мы делаем свое маленькое дело; так мы будем плыть дальше, я довольна своей лодочкой».

Спорить с этим было трудно: каждый знает свои силы и каждый определяет предел своих желаний, а спорить с человеком, бесспорно много сделавшим для населения, даже не справляясь раньше с пределами своих прав, — очень трудно. Мы говорили на разных языках: она была лично удовлетворена своим трудом и не искала опоры в тех правах, которые упол-

номочивали комитет на более широкое поле деятельности и которые были гарантированы уставом. Мы защищали права комитета, она довольствовалась тем, что можно было делать без помехи при всяких условиях.

Дело этим не кончилось. Комитет грамотности в одном из своих заседаний, обсудив споры за и против изменения устава, принял решение, вопреки его смысла и буквы, что отныне членами комитета будут признаваться лишь те лица, которые запишутся в члены вновь; все же не желающие вновь записаться не будут считаться членами комитета. Само собою разумеется, что это постановление было безусловным нарушением как устава комитета, так и прав его членов, не желающих подчиняться такому незаконному решению. К сожалению, как в этом решении, так и в приведении его в исполнение принял очень активное участие В.А.Гольцев, проповедник конституционализма и незыблемости гражданских прав. Александр Александрович Кизеветтер, разделявший с Шаховским и мною положение протестантов, не пожелавших подчиниться незаконному решению, отправился в заседание комитета, чтобы протестовать против него и отстаивать свое право. Дверь в залу была заперта и у двери стоял страж. А.А.Кизеветтер был остановлен вопросом, — что ему угодно?

— Я иду в заседание.

— Без доклада пускать не велено.

— Доложите: Кизеветтер.

Через минуту появляется в передней В.А.Гольцев. Начинается диалог.

— Так как вы не пожелали записаться в члены комитета, вы не можете и присутствовать: в заседании присутствуют только члены комитета.

— Я член комитета по праву и желаю присутствовать в заседании.

— Для чего?

— Прежде всего, конечно, буду протестовать против нарушения моих прав.

— А... протестовать! В таком случае я не могу допустить вас в заседание. И с этими словами Виктор Александрович исчез за дверью.

После смерти Гольцева, Кизеветтер обратился ко мне с предложением участвовать в составлении сборника в память Гольцева, издаваемого под его редакцией вдовой покойного. Конечно, я немедленно согласился и сборник был составлен людьми, которые охотно забыли мимолетное увлечение Гольцева надеждою спасти комитет грамотности с помощью правительства. Это была только маленькая оплошность человека, который всю жизнь, по мере сил, работал в пользу освобождения России от самодержавия.

Кажется, в 1891-м или в девяностом году император Александр III решил осчастливить первопрестольную Москву назначением своего брата великого князя Сергея Александровича её генерал-губернатором. Как известно, этот представитель дома Романовых не отличался ни умом, ни приятным характером, зато был одним из самых реакционных членов Романовской семьи, и в Москве он не пользовался ни малейшим расположением, так что убийство его в 1905 году Каляевым вызвало лишь официальное сожаление официального мира.

Вообще, даже реакционеры не станут отрицать, что назначение великих князей на разные ответственные должности государственной службы составляло большое злоупотребление императорского режима. Царская фамилия разрослась чрезвы-

чайно и достигла перед революцией 1905 года тридцати лиц мужеского пола разного возраста, но все достигшие совершеннолетия назначались на ответственные должности с огромными окладами жалованья, при полной фактической безответственности, т.к. ответственность перелагалась на их помощников и в большинстве случаев оказывалась не существующей. По этому случаю, я вспоминаю историю производства в чин действительного статского советника, дававшего потомственное дворянское звание, купца Гавриила Солодовникова, пожертвовавшего полмиллиона рублей на постройку здания московской консерватории. Солодовников долго торговался с министром финансов Вышнеградским, на дочери которого был женат директор консерватории Сафонов, соглашаясь на жертвование такой суммы под неременным условием получения генеральского чина, который мог, однако, быть пожалован не иначе, как по представлению великого князя генерал-губернатора, ручавшегося за его личную репутацию. На беду, репутация будущего генерала была совершенно скомпрометирована не только в общественном мнении Москвы, но и во мнении московского окружного суда. Думали — гадали, как обойти этот щекотливый вопрос, и решили, что отзыв подпишет не генерал-губернатор, а его канцелярия, а такая замена требуемой подписи не будет поставлена ему в вину. Солодовников получил, таким образом, чин генерала и стал украшением потомственного дворянства.

Конечно, это был только едва заметный цветок, украшающий грудь августейшего генерал-губернатора. Плоды его управления были более ядовиты и поражали ни в чем неповинных людей тяжкими страданиями.

Великий князь был «истинно-православный» человек, а потому он считал делом своей совести поднять гонения на евреев, так или иначе поселившихся в Москве или временно в

ней пребывавших, пользуясь в некоторых случаях не совсем правильным покровительством администрации и полиции.

Началось невероятное гонение на евреев. Ни один еврей не мог считать себя обеспеченным. По ночам полиция врывается в дома и обыскивала — не скрываются ли тут приезжие евреи, причем заставляла спящих вставать с постелей и предъявлять документы на право жительства. Покойный Михаил Яковлевич Герценштейн, по происхождению еврей, но имевший право жительства в Москве как потому, что окончил высшее учебное заведение, так и потому, что при женитьбе на православной принял христианскую религию, был очень взволнован положением вдовы своего сослуживца в Московском земельном банке, окончившего университет и имевшего все права на повсеместное жительство в России. Это был молодой, очень способный человек. Он получил назначение директора банка в Тегеране, в Персии, и был вызван в Петербург для получения инструкций. На обратном пути он заразился черной оспой и по приезде в Москву, спустя несколько дней, умер. После него остались вдова и маленький ребенок. Она не успела похоронить мужа, как к ней нагрянула полиция с требованием немедленно покинуть Москву на том основании, что со смертью мужа она не имеет права жительства в Москве. Бедная женщина бросилась к Герценштейну с просьбой защитить ее, дать ей возможность похоронить мужа. Михаил Яковлевич рассказывал мне о безрезультатности его хлопот со слезами на глазах. Администрация была беспощадна. Московский обыватель в этом случае был не на стороне августейшего гонителя, но чувствовал свое полное бессилие и молчал, даже в тех кругах, влияние которых, вероятно, могло бы хотя несколько смягчить жестокость гонения. Заговорили только тогда, когда полиция признала, что художник Левитан, пользовавшийся широкой известностью, как большой талант, служа-

щий украшением русского искусства, не имеет права жительства в Москве и подлежит высылке на родину этапным порядком. Кажется, Левитан не имел диплома об окончании академии художеств, а с точки зрения полиции его картины и его слава не могли заменить диплома. Это было уже слишком, и, сколько могу припомнить, хлопоты были направлены к великой княгине Елизавете Федоровне, супруге генерал-губернатора. Её заступничество, как говорили, устранило высылку художника и избавило его от знакомства со странствованием этапным порядком — от тюрьмы к тюрьме.

В 1894 году стали распространяться в обществе слухи, что император Александр III болен безнадежно и что его жизни угрожает серьезная опасность. Говорили, что в Беловежской пуще, куда двор выехал из Гатчины, царю не только не стало лучше, а напротив, — болезнь усилилась. Царь осенью переехал в Крым, в Ливадию, где и поселился не в большом и прекрасном старом дворце, а в малом, который он занимал, когда был наследником. Уверяли, что старый дворец отличается сыростью и может быть вреден больному царю.

Приезд двора в Ялту был всегда для населения в тягость, потому что для охраны царя появлялось огромное число разнообразной полиции: во-первых, жандармерии; во-вторых, дворцовой охраны; в-третьих, охраны департамента полиции; в-четвертых, губернской явной полиции; в-пятых, губернской тайной полиции и в-шестых, местной полиции. При таком изобилии полиции, явной и тайной, легко представить себе положение обывателей маленького городка и его окрестностей, где каждая отдельная полиция постоянно появляется в домах для проверки всех жителей, ибо каждая полиция ведет свою работу отдельно, не только потому, что одна не доверяет другой, а потому, что надо оправдать свою необходимость для царской безопасности.

Но если положение обывателей Ялты во время царских приездов было довольно тягостно, то положение имений, пограничных с Ливадией, было и невыносимо, и убыточно, так как дворцовая полиция и сыщики охраны, без всяких церемоний, требовали у соседних владельцев отвода для себя квартир, притом бесплатно. Имение Чукурлар, расположенное бок о бок с Ливадией от шоссе вплоть до морского берега, было битком набито шпионами. Шпики следовали за каждым входящим и выходящим и каждый явно подвергался подробному изучению. Это было отвратительно и заставляло либо сидеть целый день в доме, либо уходить на весь день из дому.

Что же касается меня лично, так как я продолжал состоять под негласным надзором полиции, то надзор за мной был сугубо неприятен. Местная полиция лезла ко мне в дом, где я жил, и предъявляла желтую карту с просьбой заполнить вопросы, означенные в карте, своими ответами. Не раз мне приходилось вести такие диалоги:

— Мой паспорт прописан в полиции и в нем имеются все ответы, которые обязательны для меня, а потому я не обязан давать сведений, которые требуются в этой карте.

— Видите ли, городская управа производит статистическую перепись, для которой сведения эти нужны.

— Какая же это статистика, когда на карточке напечатано «Сведения о поднадзорных?» Я не состою под надзором, а потому и не обязан отвечать вам, — говорю я решительным тоном.

— Мы обязаны, возражает очень мягко околоточный надзиратель, секретно собирать сведения о лицах, состоящих под негласным надзором.

— Так вы и собирайте сведения секретно, т.е. так, чтобы я и не знал об этом, а вы прямо обращаетесь ко мне.

Околоточный совершенно изменяет тон и убедительно просит дать сведения, так как от него их требуют, а как же иначе: он может получить сведения, если не от самого состоящего под секретным надзором?

Делать нечего, я начинаю диктовать ему «секретные» сведения: сколько у меня детей, каких лет, где воспитываются и т.д. Одна из тех многочисленных бюрократических нелепостей, каких у нас в России слишком много.

В год смерти Александра III-го мы возвратились из Крыма в Москву довольно рано, избегая жизни в Чукурларе, рядом с Ливадией, куда и ждали императорскую фамилию.

20 октября 1894 года император Александр III скончался. Трагическая смерть Александра II-го приковала к себе всеобщее внимание: у одних она вызвала неподдельные слезы, у других чувство удовлетворенной ненависти, а у громадной народной массы — искреннюю печаль и несомненное чувство благодарности и сожаления о насильственной смерти «Освободителя» рабов. Такая смерть заставляла забыть все ошибки и все недостатки и слабость характера скончавшегося императора, и сохранить в памяти его Эпоху Великих Реформ, которые Россию сдвинули с мертвой точки и открыли ей пути к великому будущему.

Смерть же его преемника, императора Александра III-го, умершего в цветущем возрасте, не произвела никакого впечатления. Царь, мнивший себя носителем русской национальной идеи, в действительности сделал все, чтобы разрушить то, что было сделано его отцом, что было оценено Россией, как величайшее благо страны. Тупой и ограниченный Александр III считал своей единственной и священной задачей «утверждение самодержавия», что и выразил в своем первом манифесте 29 апреля 1881 г., и не сомневался, что для достижения этой цели необходимо Россию повернуть назад, укрепить сословное

начало, вернуть дворянству значение правящего класса, поставить крестьянство на свое место и подчинить его дворянской администрации.

Если мы просмотрим деятельность правительства за время 1881-1894 годы и все законодательные меры, относящиеся к этой эпохе, нельзя не убедиться, что его главнейшей задачей было именно то, что оно разумело под «утверждением самодержавия». Исключением из этого общего правила представляются экономические меры, проведенные единственным министром, сохранившим свой министерский пост после манифеста 29 апреля, когда ушли в отставку либеральные министры Александра II-го. Н.Х.Бунге, один из просвещеннейших людей своего времени, и понимающий все значение экономических реформ, успел провести некоторые из них, очень важные, облегчающие положение крестьян и рабочих, а именно: обязательность выкупа крестьянских наделов, учреждение крестьянского банка, сокращение выкупных платежей, отмену подушной подати, фабричное законодательство, учреждение фабричных инспекторов и ограничение на фабриках работ малолетних. В 1886 г. он вышел в отставку, и с его уходом экономические реформы прекратились. Преемники Бунге, Вышнеградский, а потом Витте, были только финансистами, а не экономистами.

Совершенно исключительную энергию проявляло министерство внутренних дел, руководившее внутренней политикой. Оно начало с проведения «Положения об усиленной охране», изданного в первый же год царствования Александра III-го, и с помощью этой «временной меры» открыло преследование не только отдельных лиц, но и целых категорий, заподозренных в «неблагонамеренности». Жандармерия снова получает самостоятельное положение, и пользуется им в полную меру своей безответственности. Снова ограничивается круг

действия суда присяжных и гласность судебного разбирательства политических процессов, публичное рассмотрение которых поставлено в зависимость от генерал-губернаторов и их усмотрения, в видах предупреждения возбуждения ими умов; чрезвычайно увеличивается административная ссылка и вместе с тем удлиняется максимальный пятилетний срок её, установленный Положением, до 10 и 15 лет; наконец, отменяется несменяемость мировых судей.

Наряду с этим принимаются все более решительные меры против школы — высшей, средней и низшей, а также против свободы слова, печати и существующих изданий как повременных, так и сочинений разных авторов. Совещанию четырех министров было предоставлено право приостановки всякого издания, а затем изъяты из публичных библиотек некоторые сочинения 125 авторов, и в том числе Короленко и Л.Н.Толстого, и несколько наиболее распространенных журналов, а «Отечественные Записки» закрыты навсегда.

Типичнейшим выразителем отношения к школе в царствования Александра III был министр народного просвещения Делянов, оставивший потомству свой характерный циркуляр директорам гимназий, изданный после неудавшегося покушения на жизнь Государя в 1887 г., так называемого, второго 1-го марта, т.е. покушения, повторенного в то же число месяца, когда был убит Александр II-й. Граф Делянов обратился, как тогда говорили, — по приказанию царя, к директорам средних учебных заведений с требованием не допускать в гимназии детей прачек, кухарок, а также всякой прислуги и вообще детей низших сословий, которым предназначена самым их общественным положением более скромная карьера и для которых имеются низшие учебные заведения, вполне удовлетворяющие их потребности. Очевидно, если бы Ломоносов учился грамоте при гр. Делянове, усердный не по разуму граф

не допустил бы его в высшую школу. Этот глупый циркуляр долго был предметом справедливых насмешек над не отличающимся умом министром.

О характере реформ среднего и высшего образования я не буду распространяться, т.к. они всем известны, и находили похвалы и поддержку к кругу лишь заядлых обскурантов, мечтавших дисциплинировать молодежь возвращением к схоластическим приемам обучения.

Мне остается очень немного прибавить к сказанному выше, но я не могу не повторить, что переделка Положения о земских учреждениях 1864 г. была предпринята, как и введение института земских начальников, с очевидной целью вернуть дворянству, как признанной опоре самодержавия, положение господствующего сословия и в то же время затормозить гражданское и культурное развитие крестьянства, за которым рассчитывали сохранить лишь роль рабочей силы. Поэтому, изданный в 1886 г. закон о семейных разделах крестьян, оказался связанным с усмотрением земских начальников, новых опекунов крестьянства, наблюдавших за исполнением податных обязанностей опекаемых.

Что же касается дворянства, то оно получило новую привилегию: в 1885 году было торжественно отпраздновано столетие жалованной дворянской грамоты и, во внимание к расстройству дворянского хозяйства, высочайшим рескриптом был учрежден специально-дворянский земельный банк, взимающий за ссуды своим клиентам процент меньший, чем платил по своим собственным облигациям. Разницу уплачивало государство, т.е. в скрытой форме ее покрывало крестьянство, как самый крупный плательщик налогов и государственный кредит, оказываемый дворянству, был более дешевый, чем кредит, предоставленный крестьянам.

Нельзя отрицать, что в балансе царствования Александра III-го имеется один крупный факт, свидетельствующий в пользу широты государственной мысли своего творца: это — соединение Тихого океана и Владивостока рельсовым путем с Москвой. При обзоре деяний императора этот факт представляется настолько исключительным, что найти ему место в ряду других фактов совершенно невозможно. Даже союз с Францией, не шедший далее публичного исполнения марсельезы, не смотря на его огромную важность для европейского равновесия, был плодом не глубоких политических соображений, а вытекал у Александра III-го из чувства отвращения к императору Германии, — Вильгельму II-му. Мне кажется, что идея великого сибирского пути, по всей вероятности, принадлежит комунибудь из окружавших царя, например, Вышнеградскому или Витте, тем более, что и тот, и другой в сущности были не политики и не экономисты, а железнодорожники и легко могли расшевелить неповоротливый ум царя перспективой мирной славы и оправдания титула «миротворца», который придворные льстецы и холопы уже преподнесли ему. Скорее всего это была идея Витте, который виртуозно льстил царю в своих объяснениях к бюджетным докладам и продолжал льстить в своих «Воспоминаниях», рисуя Александра III, как чисто русского гения, который один мог бы спасти Россию, приведенную на край падения его сыном. Он рассказывает, что на просьбу гр. Фредерикса, министра двора, открыть секрет спасения государства от гибели, он отвечал: «Воскресите императора Александра III!» Очевидно, такой ответ мог быть дан собеседнику, как выражение чрезмерно высокой оценки умершего императора, а в то же время и крайней скудости государственной мысли самого Витте, т.к. едва ли можно спорить против того, что поскольку император Александр II понимал дух времени и старался избежать революции посред-

ством необходимых реформ, постольку Александр III был чужд понимания нужд России и бессознательно сеял и возбуждал все элементы революционной стихии, которая и взяла верх над естественной мирной эволюцией страны. Вообще нельзя не признать, что гр. Витте не представлял из себя крупного государственного человека, в противность его собственному мнению. Он был совершенно лишен широких государственных идей, что и обнаружил в 1905-6 году во время первой революции. К тому же, в качестве министра финансов, он стоял много ниже Бунге, будучи чужд высших экономических идей и знаний. Витте и на посту министра, и на посту председателя совета министров оставался только «дельцом», и ничего больше. Его льстивые отзывы об императоре Александре III представляются не более, как желанием противопоставить его Николаю II-му, которому он курил бы такой же фимиам, как и его отцу, если бы Николай не удалил его с поста министра финансов, не лишил его затем портфеля премьера в первом конституционном министерстве и не отдал предпочтения его врагу, Горемыкину. Император Николай слишком резко обнаружил свое нерасположение к Витте и обращался с ним, очевидно, с уверенностью, что как бы его ни третировать, он не откажется от своего почетного положения. Царь знал, что с льстецами и придворной челядью можно не церемониться, и он не церемонился, доходя до грубости.

Не от царедворцев можно получить правдивую оценку царей. Поэтому, я хочу закончить эту главу оценкой Александра III художником, свободным в своем творчестве.

Кто из видевших не восхищался памятником тому, кто на рубеже двух веков — XVII и XVIII-го

На берегах пустынных волн Стоял он, дум великих полн,
И в даль глядел....

В псевдоклассических формах, чуждых русскому духу и вкусу, Фальконет, подчиняясь только своему свободному творческому чутью, в одном движении коня, послушном воле всадника, нашел все содержание дум Петра, всю энергию его воли к пробуждению своего полуварварского народа от многовекового сна и приобщению его к европейской культуре и цивилизации.

Тут все победа духа и воли над материальностью и засто-ем, красоты над искусственностью формы.

На рубеже XIX и XX веков русский художник, повинувшись бедному реалистическому вкусу нашего времени, сумел, однако, силою своего творчества проникнуть в душу отдаленного потомка и преемника наследства Петра, и с не меньшей силой увековечил образ Александра III-го, подавляющий своей массивностью и неодолимостью. Тяжелой рукой он осаживает своего такого же массивного коня, от боли раскрывшего свою пасть и остановленного натянутой уздой. Здесь порыв к жизни подавлен физической силой, материальность берет верх над свободным духом, безобразие заменяет красоту.

Таков ответ, данный нам свободным творчеством художников.

Глава XIV

Император Николай II — «Бессмысленные мечтания» — «Ходынка» — Неудачная попытка проникнуть в московскую думу — Неудавшаяся попытка основать с Герценштейном и Иоллосом новую демократическую газету — Покупка тверского имения «Машук»

Император Александр III-й скончался 20 октября 1894 г., передав престол своему старшему сыну и наследнику Николаю II-му, молодому человеку 26 лет, воспитанному под ближайшим руководством бывшего профессора московского университета, К.П.Победоносцева, пользовавшегося репутацией очень умного и образованного человека, но беспощадного гонителя всего, что представлялось ему явным или тайным течением, соответствующим духу либеральных учений второй половины XIX-го века. Победоносцев, конечно, хорошо знал своего воспитанника и степень своего влияния на нового императора, слабость характера которого не могла укрыться от его проницательности. Но Россия, даже наиболее образованное русское общество, не знали нового царя и самодержца, который был для неё полной неизвестностью. Вскоре по вступлении Николая II-го на престол, мы с женой ехали из Москвы в Крым и оказались в одном вагоне с графом В.А.Бобринским, одним из сослуживцев нового императора по гусарскому полку. Граф раньше был знаком с моей женой. Он оставил свой полк и превратился в председателя Богородицкой, Тульской губернской, уездной земской управы. В завязавшемся разговоре я обратился к своему собеседнику с вопросом: что представляет из себя новый государь в смысле ума, образования и характера? Подумав, гр. Бобринский, по-видимому, искренно ответил, что по тем наблюдениям, которые он мог делать, состоя на службе в полку, теперешний государь, а тогдашний наследник

престола был очень хороший товарищ, отличавшийся приветливостью, скромностью и правдивостью; к этому ничего больше прибавить он не может, так как самые рамки его наблюдений были очень ограничены. Из этого ответа можно было заключить, что, достигнув 25-ти летнего возраста, наследник престола не выделялся из общего офицерского состава ни умом, ни характером, ни интересами, т.е. был не выше общества молодых офицеров аристократических полков гвардии.

В своих «Воспоминаниях» Витте характеризует Николая II-го, как милого и самого благовоспитанного человека, какого он когда-либо встречал. Но тот же Витте, отмечая единственное положительное качество государя, — его необыкновенную благовоспитанность, — под этим, очевидно, понимает светскость и умение с одинаковым успехом скрывать самые низкие черты своего характера и недостатки своего ума и образования, ибо в тех же «Воспоминаниях» автор говорит об императоре с величайшим презрением и не находит достаточно резких выражений относительно его лживости, двуличия, слабости характера и жестокости. В подтверждение своего мнения Витте приводит свидетельство бывшего в момент вступления Николая II-го на престол министра внутренних дел И.Н.Дурново, ответившего на чрезмерные похвалы благовоспитанности нового императора: «Ошибаетесь Вы, Сергей Юльевич, вспомните меня, — это будет нечто в роде копии Павла Петровича, но в настоящей современности» (Воспоминания, ч. I, стр. 8). — Но как бы ни судили люди близкие ко двору, для России новый император был незнакомцем в такой же мере, в какой ему самому была неведома страна, которою он был призван управлять. По обычаю, члены царской фамилии, и в том числе наследники престола, получали образование, не смешиваясь с населением; они не проходили ни средних, ни высших учебных

заведений и получали «домашнее» воспитание, которое заканчивалось в казармах привилегированных гвардейских полков, где они приобретали не знакомство с своей страной, а привычки, дух и характер привилегированного военного сословия. Конечно, наследники престола получали большее образование, слушали лекции наиболее известных профессоров по определенной программе, утвержденной царствующим императором. Однако, воспитатель будущего преобразователя России, упразднившего крепостное право, В.А. Жуковский, жалуется в своих мемуарах, что не мог добиться простого внимания к своим лекциям от своего воспитанника, валявшегося во время его лекций на диване и думавшего совсем не о том, что преподавал ему бедный поэт-воспитатель.

В состав воспитания наследника престола входило специальное путешествие для ознакомления со своей страной и её бытом. Известно, что путешествие Александра Николаевича, наследника Николая I-го, в сопровождении Жуковского и других лиц, имело своим последствием увольнение губернатора Тюфяева, облегчение положения ссыльного Герцена и прочее. Во всяком случае, Александр Николаевич увидел часть России, в которую редко заглядывали русские самодержцы. Но трудно объяснить первое путешествие Николая II-го, в бытность его наследником престола, — морскую прогулку на Восток, в Индию и Японию, окончившуюся весьма плачевно в Японии, где какой-то фанатик-полицейский ударил гостя своей страны саблей по голове, к счастью защищенной войлочной каской, спасшей жизнь будущего русского императора. Казалось бы, что прежде, чем показать наследнику престола красоты Индии и вообще восточных стран, чуждых европейской цивилизации, следовало бы ознакомить его с Россией, с её народами, с состоянием её культуры, её бытом и её нуждами, т.е. со всем тем, что впоследствии ему придется узнавать от

губернаторов, от современных Тютяевых, от министров и далеко не всегда в красках, соответствующих действительности. Быть может, в таком случае, он не начал бы своего царствования такой нелепой выходкой, какую он совершил на первом своем приеме депутатов дворянства, земства и городов, явившихся с поздравлением со вступлением на престол.

Тверское губернское земское собрание в 1894 году открыло свои заседания в обычное время, в декабре месяце, и в порядке дня первое место занимал вопрос о выражении верно-подданных чувств воцарившемуся монарху и поднесении ему адреса особой депутацией. Надо признать, что по этому вопросу черта, разделявшая собрание на две части, перемещалась в пользу «правой» части, так как значительное большинство желало не только за страх, но и за совесть выразить молодому государю свои лояльные и монархические чувства. Начало нового царствования не у всех сторонников адреса вызывало одинаковые чувства. «Правые» опасались изменения дворянской политики Александра III-го и уклонения её в сторону либерализма; «левые» опасались адреса в редакции «правой» группы и считали необходимым выразить надежду на восстановление некоторых реформ в смысле возвращения Земского Положения к Положению 1864-го года и восстановления учреждения мировых судей. Обе стороны видели, что обычное разделение групп нарушено, но ни та, ни другая не могли определить, в какой мере можно рассчитывать на голоса за то или другое мнение.

В виду такой путаницы несколько гласных левой группы: А.А. Бакунин, А.А. Головачев, оба брата Корсаковы, Ф.И. Родичев и несколько других, в числе которых и я с братом Михаилом Ильичем, собрались в квартире последнего, чтобы выработать проект адреса, при этом имея в виду, что наши личные мнения не будут приняты собранием и что это может повести к

принятию адреса «правых»; что последний ни в каком случае не может быть допущен и что поэтому необходимо привлечь на нашу сторону гласных, принадлежащих к центру, и составить адрес в выражениях приемлемых для значительного большинства. После этого все присутствовавшие изложили свои мнения и поручили Ф.И.Родичеву редактировать адрес. Вместе с этим, было решено предложить в состав трехчленной депутации к царю, — А.А.Головачева, Ф.И.Родичева и осташковского уездного предводителя Уткина, человека, от которого нельзя было ожидать какой-нибудь выходки в дворянском вкусе.

На следующий день, после довольно горячих прений, наш адрес был подписан, если не ошибаюсь, 34-мя или 35-ью гласными, составлявшими большинство, т.е. формально был принят собранием, хотя значительное меньшинство собрания отказалось его подписать и не принимало участия в выборе депутации. Весьма сожалею, что у меня под руками нет текста этого чрезвычайно скромного адреса, в котором поставлено было нам в вину (впрочем, не формально, ибо вина не была названа, но по слухам) два места; во-первых, где государь был назван первым слугою государства или народа, не помню; а во-вторых, где говорилось о средостении, отделяющем государя от народа.

Прежде чем депутация выехала в Петербург, было получено известие от министра внутренних дел, Дурново, что ни Родичев, ни Головачев не будут допущены к участию в депутации и что будет принят только предводитель дворянства, Уткин.

Как известно, прием всех депутатий состоялся 17-го января 1895 года в Зимнем дворце. Молодой государь, только что вступивший на престол, имел в своей фуражке, которую держал в руке, записку, если не продиктованную ему его менто-

ром, известным профессором и обер-прокурором Синода, Победоносцевым, то им внушенную, с речью такого содержания: «Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданных чувств. Верю искренности этих чувств, искони присущих каждому русскому. Но мне известно, что в недавнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекающихся бессмысленными мечтаниями, об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный, покойный родитель».

Из этой речи можно видеть, что все её краткое содержание было, в сущности, ответом на тверской адрес и предупреждением всем другим, чтобы они не якшались с тверяками. Одиноким наш депутат встретил весьма недружелюбное отношение к себе других депутатов и так был взволнован, что, поднося хлеб-соль, уронил их и поднес пустое деревянное блюдо. За то все другие депутаты, желая показать свои верноподданные чувства, не только отвечали на речь царя криками ура, но многие отправились из дворца в Казанский собор, чтобы торжественно отслужить молебен о здравии самодержца.

Что же касается «бессмысленных мечтаний», то они не были забыты. Ф.И.Родичев, как редактор адреса, (откуда это было известно, — не от Штюмерера ли, тверского дворянина, чутьем угадавшего?) по высочайшему повелению, был лишен права участия в каких-либо общественных собраниях, земских или сословных. Всем же остальным подписавшим был объявлен высочайший выговор.

Так показательно началось новое царствование, история которого не имеет ни одной светлой страницы. Все, к чему прикасалась рука этого человека, не знало удачи и носило

печать эгоизма, неискренности, обмана, жестокости и равнодушия к судьбам России.

Все европейские монархии придавали особую пышность празднованию коронаций своих королей. Празднование коронаций в России не уступало ни богатством, ни своим великолепием западным старым монархиям великих держав. Но едва ли им удавалось устраивать такие жертвоприношения на этих празднествах, какие были принесены во время коронации Николая II, которые сохранились в народной памяти под упрощенным именем «Ходынки». Во время коронации императора Александра III-го я пребывал под надзором полиции в Смоленске и мог наблюдать коронационные торжества в провинции, где администрация объявила по губернии трехдневную всеобщую забастовку, уволив рабочих от работ и разослав по частным имениям распоряжение, воспрещающее во время празднеств какую-либо работу, не исключая доения коров. По получении такого распоряжения, известный сельский хозяин, профессор и публицист, Александр Николаевич Энгельгардт, проживавший в своем смоленском имении, обратился к губернатору с телеграммой, прося отменить такое распоряжение, приняв во внимание, что иначе его большое стадо будет совершенно испорчено. Не получив ответа, он послал в Смоленск свою дочь, которая должна была убедить губернатора, что полиция очевидно превысила свои полномочия, благодаря чему весь его скот будет принесен в жертву празднованию коронации. Не помню, чем кончилось это жертвоприношение монархическому порядку, но очевидно это был плод не по разуму патриотического усердия.

Коронация Николая II-го происходила в мае 1896 года, когда мы жили в Москве, но оставаться в ней мы с женой не хотели, ибо по опыту знали, что такие торжества и празднества сопровождаются весьма неприятными столкновениями с

администрацией и полицией, предпринимавшими поход против всех неблагонадежных, по её мнению, жителей. Задолго до начала празднеств начиналась «чистка» города, т.е. высылка нежелательных людей, нередко сопровождавшаяся интернированием в определенном, более или менее отдаленном месте. А я был достаточно скомпрометирован в мнении полиции и давно состоял в её списках то под явным, то под тайным её надзором. Наши соображения не были пустыми; прежде чем мы выехали из Москвы, ко мне зашел очень встревоженный и расстроенный С.Н.Булгаков, и рассказал, что его близкой знакомой, очень молодой барышне, Елене Ивановне Токмаковой, только что предъявлено полицией требование выехать в Вологду. С.Н.Булгаков хлопотал об отмене этого распоряжения, но бесполезно. Надо заметить, что Елена Ивановна Токмакова жила в Москве не одна, а в своей семье, с отцом, матерью, сестрами и братьями. Это была богатая семья, переселившаяся из Сибири в Москву ради воспитания детей, семья крепко связанная и пользующаяся уважением всех знавших ее. Естественно, что высылка старшей дочери, впоследствии ставшей женой С.Н.Булгакова, всполошила не одного его своей беспричинностью. Этот случай был не единственный, и список «нежелательных» был конечно не мал: это был для полиции случай проявить усердие и показать, что полицейское внимание не дремлет. Ждать своей очереди мы не пожелали и отправились в Крым к нашему неизменному другу Павлу Александровичу Бакунину, в его уединенную «Горную Щель», в которую он переехал на жительство в конце 1895 года из Чукурлара.

Туда дошло до нас известие о «Ходынке», о народном празднике, устроенном так умело, что умудрились не в тесном здании, а среди широкого Ходынского поля задавить, по ходившим тогда слухам, более четырех тысяч людей! Возмож-

но, что слухи преувеличили размеры катастрофы, но во всяком случае, сколько бы ни уменьшать эту цифру, сущность факта все та же. Картина, давки, которая произошла от полной нераспорядительности как устроителей праздника — чинов министерства двора, так и полиции, на которой лежала организация охраны порядка, была конечно ужасна, и никакое воображение не может дать представления о том, что было в действительности. Вся Россия в полном смысле ахнула и почувствовала глубокое негодование, когда узнала, что страшная катастрофа не остановила ни празднеств на Ходынке, где лежали горы трупов, сваленных в кучи и прикрытых кое-как от взоров пирующих, ни бала у французского посла, на котором танцевали царь, царица, весь двор, все съехавшиеся иностранцы в тот самый день, когда столько слез было пролито в Москве...

С того времени прошло уже четверть века, но и теперь, читая страницы, посвященные этой катастрофе в «Воспоминаниях» гр. Витте, переживаешь это полузабытое прошлое с не меньшим негодованием. Витте уверяет, что все факты этой катастрофы точно установлены министром юстиции того времени Н.В.Муравьевым, производившим следствие по высочайшему повелению; не установлена только ответственность главных лиц, на которых она естественно падала и без следствия: на министра двора, графа Воронцова-Дашкова, и московского генерал-губернатора, в. к. Сергея Александровича. Министр юстиции, генерал-прокурор, представитель правосудия, не смел прикоснуться к обоим; за одним стояла императрица-мать, за другим, — императрица-жена.

«Несмотря на то, что решено было случившуюся ужасную катастрофу как бы не признавать, с нею не считаться, пишет Витте в своих «Воспоминаниях», тем не менее, весьма естественно, катастрофа эта вызвала совершенно особое настро-

ние во всей Москве, и, по обыкновению, породила наверху борьбу придворных партий и целую массу интриг». Стали искать лицо, на которое можно было в виду его незначительности возложить ответственность, и указали на обер-полицеймейстера полковника Власовского, распутного негодяя, с лицом, по словам Витте, «держиморды». Оправдания Власовского были признаны заслуживающими уважения, и хотя он был уволен от службы, но во внимание к его заслугам ему было выдано «пособие» в 200 тысяч рублей. Но «в Москве рассказывали, что когда происходила на Ходынке катастрофа, дали немедленно знать великому князю как генерал-губернатору Москвы, но в это время он был занят фотографированием офицерской группы Преображенского полка, которым он раньше командовал; ему было в ту минуту не до «хамов», которые, конечно, сами себя душили, чтобы воспользоваться царской милостью»...

Таковы были первые шаги начинающегося царствования последнего русского императора Романовской, или говоря точнее, Голштинской династии, полоумный основатель которой, Петр III, процарствовав всего шесть месяцев, был убит, чтобы открыть дорогу к трону своей жене, принцессе ангальт-цербстской, не имевшей никаких родственных связей с Россией. По остроумному замечанию моего друга, Ф.И.Родичева, русско-голштинская династия имела одну странную особенность: её основатель был убит его преемницей Екатериной, после 35 летнего царствования умершей естественной смертью. Её законный наследник Павел был убит. Его наследник и преемник Александр I-ый, вступив на престол после катастрофы, умер естественной смертью. Его преемник, Николай I-й, вступил на престол, минуя брата-наследника, после восстания декабристов. Александр II, принявший престол после естественной кончины отца, был убит взрывом бомбы, брошенной

террористами. Александр III-й, принявший престол после катастрофы, умер естественной смертью, оставив своему наследнику, Николаю II-му, трон, которому грозила катастрофа, и Ф.И.Родичев уже в дни коронационных торжеств предсказывал катастрофический конец новому царствованию.

Остроумное заключение Ф.И.Родичева ничего не прибавляет к исторической смене царствований в России, начиная со второй половины XVIII-го столетия. Он подметил в этой смене нерушимую периодичность и пришел к заключению, что царствование Николая II-го закончится катастрофой. Мы смеялись над этим предсказанием, но затем с каждым годом все более убеждались, что катастрофа неизбежна, хотя, кажется, никто не предвидел её размеров даже в тот момент, когда император подписал акт отречения, после чего государственная власть так скоро попала в руки шайки авантюристов, соединившей в себе утопистов по теории и бандитов по действиям,

Когда я проживал в Москве, мне не раз приходила мысль проникнуть в городское управление Москвы, имевшее много данных для того, чтобы занять руководящее место в политическом движении. Москва составляет настоящий центр не государственной власти, а народной души. Не смотря на свою большую культурность, Петербург все же остается городом чиновничества, налагающего свою печать на все стороны жизни, придающую ему в некоторой степени международный характер. Москва гораздо более мужицкий город, сохраняющий свой колорит во всем, и уже по этому одному в провинции она пользуется гораздо большими симпатиями.

Мысль проникнуть в городскую думу тем более становилась настойчивой, что я, хотя уже принимал участие в земской деятельности в Тверской губернии, но чувствовал себя там гостем, а не хозяином по той простой причине, что мы жили вне Тверской губернии и не имели там своего собственного гнезда, которое создает свои интересы, свою психологию, свои отношения к окружающему, свои связи и взаимоотношения. Тверь предоставляла мне права, но не могла дать реальных условий и отношений в местном обществе. В Москве положение было обратное; я жил в Москве, но она не предоставляла мне никаких прав; я не торговал, не имел промысла, не имел и никакой собственности, т.е. ничего, что давало бы мне избирательное право при выборе в муниципальное управление.

Однако, весной 1895 года обстоятельства сложились так, что нам представлялась возможность купить в Москве небольшой особняк в Пречистенской части, в Мертвом переулке, и таким образом получить избирательное право, под условием владеть этим недвижимым имуществом не менее одного года до составления избирательных списков в 1896 году, когда должно было произойти обновление муниципалитета. Я своевременно был занесен в избирательный список, а затем и в кандидатский список либеральной группы интеллигенции.

Наш избирательный округ имел наиболее многочисленную группу интеллигентных избирателей Арбатской и Пречистенской части; но к нему присоединили Хамовническую часть с огромным числом избирателей торгового и мелкопромышленного классов. Таким образом, в недрах нашего округа оказалось предместье Дорогомилово, состоявшее из элементов, тесно связанных своими материальными интересами не с интеллигенцией, а с законами городского управления, награждающими их поставками и подрядами. Лично я имел в Москве слишком мало связей, чтобы рассчитывать на избра-

ние. Я убедился в этом, побывав раза два на избирательных сходках у д-ра Михайлова, влиятельного в своем кругу, однако недостаточно обширном, чтобы оказать влияние на мое избрание. По сведениям же, которые шли с разных сторон, мы знали, что в Дорогомилове идет усиленная агитация в пользу прежнего состава думы и управы, обещавшей дорогомиловским подрядчикам и поставщикам всевозможные выгоды. Как бы то ни было, на выборах я получил менее половины голосов и мог себя утешать тем, что все же в мою пользу было подано больше голосов, чем я мог ожидать. К сожалению, не могу вспомнить число голосов, поданных за и против; баллотировка производилась шарами; голоса считались только избирательные, а неизбирательные определялись вычетом из общего числа явившихся к выборам избирателей. Победа досталась Дорогомилову, т.е. той толпе, частью своекорыстной, но еще более невежественной, которой играли, как на бирже, стародумцы, люди опытные, не желавшие утратить свою власть в городе. Москва не раз пыталась вентилировать свой муниципалитет, избирая своих голов из числа наиболее просвещенных граждан, в надежде, что они своим влиянием внесут в управление города приемы более культурные. Однако, на этом пути город встречал в правительстве не всегда сочувствие. После издания нового «Городового Положения», Москва выбрала своим городским головою кн. Щербатова, пользовавшегося репутацией независимого и либерального человека, а впоследствии Б.Н.Чичерина. Во время коронации императора Александра III-го, 28 мая 1883 г. на собрании городских голов Чичерин произнес речь, после которой был вынужден подать в отставку. Очевидно, как только представитель столицы пытался связать её интересы с интересами страны и поднимался выше элементарных городских нужд, он встречал противодействие правительства и не находил поддержки в городе, кото-

рый в лице своего муниципалитета оставался равнодушным к ампутации его головы; его мысль не поднималась еще до интересов национальных, общественных и политических. На смену своих дон-Кихотов он выдвинул Алексеева, настоящего замоскворецкого Кит Китыча, властного самодура, до тонкости понимавшего нутряные мысли и чувства своей братии и потрафлявшего ей со всей грубостью человека, состоящего «при большом капитале». Смелость и решительность его самодурства создали ему множество сторонников, признавших за ним энергию, «понимание дела» и ум. Мне не раз приходилось присутствовать при спорах о его достоинствах, как московского городского головы, причем за него раздавалось немало голосов среди интеллигенции, признававших, что это «человек дела». Споры эти прекратились лишь после того, как какой-то душевнобольной пришел в городскую думу на прием головы и вместо всякого объяснения убил его выстрелом из револьвера. Надо признать, что этот душевнобольной убил не только Алексеева, но и тип Кит Китыча, так как природа не часто собирает в одном лице столько положительных и отрицательных свойств ума и характера. Тем не менее, уже один факт, что Алексеев находил столько поклонников не только в своем купеческом круге, но и в более широких общественных кругах, заставлял думать, что в самом важном центре русской общест-венности, каким, несомненно, была Москва, дух общест-венности и политической мысли, за исключением небольшого круга лиц, стоял еще на довольно низком уровне. Несмотря на то, что в Москве издавалась такая превосходная газета, как «Русские Ведомости», или «Профессорская газета», как ее называли, которая пользовалась вполне заслуженным авторитетом, она имела только тесный круг читателей, составлявших самый верхний слой образованности и культуры. Мне казалось, что требовалась газета более популярная, которая могла

бы захватить более широкий слой, либо вовсе не читающий газет, либо читающий газеты, как у нас их называют, бульварные, неразборчивые в том, что они дают своим читателям, предоставляя им самим и их вкусам разбираться, что идет к делу и что бьет на сенсацию, которую обыкновенный читатель не отличает от истины и даже отдает предпочтение первой. Мне казалось возможным и необходимым создать газету, которая привлекала бы к себе читателя, ищущего правды, но не умеющего ее найти и разобраться самостоятельно в хаосе преподносимых ему известий и суждений.

Все эти соображения я сообщил Михаилу Яковлевичу Герцен-штейну, с которым познакомился в 1890 году и очень скоро сблизился. Михаил Яковлевич принимал большое участие в «Русских Ведомостях», в качестве сотрудника по финансовым и экономическим вопросам, помещая в них свои превосходные статьи, всегда отличавшиеся прозрачной ясностью и глубиной знания. Хотя он не был уроженцем Москвы и образование свое получил в одесском университете, но поселившись в Москве после окончания университета, он ознакомился с нею сверху до низу, пользуясь своим необычным даром наблюдательности и проницательности, открывавшим ему многое, что скрыто от поверхностного наблюдения. Его очень заинтересовала моя мысль о газете, и мы много раз обсуждали ее с разных сторон, — и в Москве, когда я заходил к нему, в его маленьком особнячке в Гранатном переулке и в Симушках, на его подмосковной даче, расположенной в четырех верстах от Троицко-Сергиевской Лавры, на линии Ярославской железной дороги. Герценштейн привлек к обсуждению вопроса о газете своего ближайшего друга, Григория Борисовича Иоллоса, также известного сотрудника «Русских Ведомостей», жившего постоянно в Берлине и писавшего оттуда свои образцовые корреспонденции, и так же, как Гер-

ценштейн, после разгона первой Государственной Думы трагически погибшего от руки убийцы. Иоллос, в свою очередь, очень заинтересовался моим проектом, даже приехал из Берлина в Москву и все это предприятие было вновь пересмотрено до мелочей. Иоллос взял на себя хлопоты о получении разрешения на издание газеты и отправился для этого в Петербург. Концессионная система в газетном издательстве была одной из типичных черт самодержавно-бюрократической системы государственного управления. Прежде всего, это была система взяточничества, проходившая через все ступени власти, сосредоточенной в руках министра внутренних дел. Полиция могла удостоверить, или отказать в удостоверении вашей благонадежности. Губернатор мог признать, что «население его губернии» не нуждается в печатном органе, имея его в губернских ведомостях, или что он ничего не имеет против новой газеты, издаваемой таким-то, вполне благонадежным человеком. Главное цензурное управление могло руководствоваться всевозможными «высшими интересами» государства и степенью пользы или опасности, связанных с появлением нового органа печати. Никто не спешил с разрешением таких сложных вопросов и дело могло тянуться бесконечное время или разрешиться очень быстро, глядя по человеку. Некоторые умелые люди имели в запасе не одну концессию и продавали их, но и переход концессии при продаже из одних рук в другие не был свободен надо было начинать все с самого начала, оплачивая каждую ступеньку, по которой надо было подняться до самого верха бюрократической лестницы. Бедный Григорий Борисович бил все пороги, подавал прошения, лично обращался куда следует, рассчитывая на свою литературную репутацию талантливого журналиста, но он был еврей, мое же соучастие не только не помогало, но о нем нельзя было упоминать, так как моя репутация в глазах правительства имела отрицательный

характер. Как и следовало ожидать, мы не могли преодолеть систему, еще крепко державшуюся и побежденную лишь «буржуазной» революцией, но в небывалых и ранее размерах воскрешенную революцией пролетарской, уничтожившей всю свободную печать и признавшей печатное слово неотъемлемой монополией государственной власти.

Должен сознаться, что эта неудача очень огорчила меня. Издание газеты в Москве представляло возможность сгруппировать очень значительные политические силы, влияние которых могло распространиться не только на местные городские или земские дела, но и завладеть более широким кругом, включая и государственные сферы. Неудача разрушала все эти планы и обрекала меня на бездействие, которое для меня было нестерпимо.

Случайное обстоятельство помогло мне выйти из этого положения не только раньше, чем можно было ожидать, но и лучше всяких ожиданий.

Некто г. Тепляков обратился через моего брата к нам с предложением купить его имение в Новоторжском уезде, «Машук», в котором в 1890 году мы провели лето и которое, благодаря этому, мы знали. Несмотря на его полуразвалившийся дом, «Машук», старинная усадьба Львовых, нам и тогда уже очень нравился своим местоположением на высоком правом берегу реки Тверцы. В былое время, до проведения Николаевской железной дороги, по реке тянулись караваны барок, и по Вышневолоцкой системе перевозили грузы с Волги в Петербург. Теперь этот путь заброшен и лишь изредка проходят барки, да еще реже пробежит маленький пароход министерства путей сообщения, поддерживая никому ненужный обряд осмотра реки, так как вышневолоцкие шлюзы были разрушены и судоходство зависело теперь исключительно от милости Божьей, ниспосылающей дожди, от которых поднимается

уровень воды. Усадьба «Машука» окружена старым запущенным парком и лесом и в общем имеет несколько задумчивый, меланхолический и чрезвычайно симпатичный характер. Уже в 1890 году мы восхищались дачей, и потому с восторгом согласились купить это имение, тем более, что в пяти верстах от «Машука» находилась дача моего брата в с. Константинове, также на Тверце, ниже «Машука». В дореформенное время это была старинная усадьба Казнаковых, так же развалившаяся, как и усадьба в «Машуке», и сохранившая старый сад и несколько полуразрушенных служб, очень удачно использованных братом и приспособленных для новых своих жильцов. Каждое лето семья брата проводила в этой даче, получившей очень приветливый вид.

Но для нас приобретение Машука имело совершенно особенное значение. Ценз, раньше предоставлявший мне формальное право участия в земстве Тверской губернии, все же не мог придать моему участию того внутреннего содержания, которое вытекает из непосредственных отношений к населению. Располагая только формальным цензом, я оставался, в сущности, только адвокатом населения, представителем не общих наших интересов, а интересов моих доверителей, тесно связанных с местными условиями. Для того, чтобы иметь право говорить за наши общие местные интересы, я должен был получить право говорить от собственного своего имени, для чего, по меньшей мере, мне надо было жить в данном месте, так как самое пребывание уже создает общность территориальных интересов, не только материальных, но и духовных. Покупка «Машука» и наш переезд туда на жительство снова объединили меня с деревней, с народной массой. Это не фраза. Все мое детство прошло в деревне, среди тяжелых впечатлений крепостного права; школа не оторвала меня от деревни и не дала новых впечатлений городской жизни, так как

я был помещен в закрытое учебное заведение и каждые каникулы возвращался домой в деревню. Наконец, все молодые годы моей самостоятельной жизни, вплоть до ссылки, я прожил в самом тесном общении с народом, занимаясь сельским хозяйством и исполняя обязанности мирового судьи и земского гласного. Но я не мог рассчитывать на скорое возвращение к себе на родину, в свое черниговское имение, откуда я был двукратно выслан: сначала петербургским правительством, а потом, когда срок ссылки окончился и я вернулся домой, был вторично выслан киевским генерал-губернатором, как только меня снова избрали в земские гласные, — и был выслан без срока. Я не мог рассчитывать, что политический порядок скоро изменится. Чтобы вернуться к земскому делу, надо было устраиваться не на Украине, путь к которой мне был закрыт, а в другом месте; в Твери у меня был брат и близкие друзья, так что предложение Теплякова было более чем кстати. К тому же в городе я всегда чувствовал себя «в гостях» и городская психология представлялась мне всегда лежащей в несколько иной плоскости, чем психология деревни. По существу, я всегда принадлежал к деревенщине, чувства, привычки и вкусы которой мне были и родственнее и понятнее чувств, привычек и вкусов «пролетариата», всегда составляющего городское большинство.

Предложение Теплякова отвечало всем нашим желаниям, и мы были озабочены лишь тем, чтобы поскорее совершить купчую крепость и переехать в Машук. Однако, осмотр имения показал, что для приведения дома и служб в состояние обитаемости потребуется громадный ремонт. Старый деревянный дом оказался полусгнившим, с провалившимися полами и печами, с оконными рамами и дверьми поломанными и без задвижек и замков, с обрушившимися балконами, вообще в таком состоянии, что поселиться в нем раньше осени следующего года не

было никакой возможности. Службы просто отсутствовали, так что сено мы нашли сложенным в доме.

Несмотря на все это, мы не были обескуражены и решили остаться в Москве на зиму, приступить с ранней весны к ремонту дома и сооружению необходимых построек, а к осени 1897 года переселиться в Машук, московский же дом продать.

Последняя зима нашего пребывания в Москве была занята главным образом подготовкой переселения в деревню. С приближением весны я несколько раз вынужден был ездить в Торжок для найма разных рабочих: каменщиков, плотников, столяров, печников и проч., что не представляло никаких затруднений, так как все мужское население Новоторжского уезда состоит из всевозможных профессиональных рабочих, уходящих в Петербург на весь строительный период. Но кроме рабочих строительных имеются и рабочие других профессий, начиная с каменотесов и кончая поварами, швейцарами и всякого рода прислугой. Вообще все население, как Тверской губернии вообще, так и в частности Новоторжского уезда, чисто промышленное, живущее не земледелием, а отхожим промыслом, что не мешает ему крепко держаться за землю, считая ее необходимой опорой, чтобы содержать семью, остающуюся круглый год в деревне и занимающуюся земледелием, а сверх того и самого хозяина, занятого своим промыслом не круглый год, а лишь в строительный период. Не возвращаются к земле только прислуга, повара и все те люди, занятия которых не имеют сезонного характера. Большая часть не возделываемых и запущенных наделов принадлежали именно этим общинникам, воспользовавшимся хуторской реформой Столыпина, чтобы продать свои права более зажиточным членам общины и тем усилить значение «сильных» крестьян, на которых Столыпин делал свою «ставку», помогая естественному разрушению общины.

В связи с устройством нашего переселения в деревню, мне пришлось в конце зимы побывать в Тамбовской губернии, где я никогда не был, А.И.Эртель, о котором я уже говорил раньше, в это время уже покинул свои литературные занятия и устроился управляющим крупного тамбовского имения известных московских купцов Хлудовых, в Моршанском уезде. Мне нужно было купить лошадей, а, как известно, такая покупка на ярмарках представляла большой риск, и нужно было быть большим знатоком, чтобы не быть обманутым. В виду этого, я списался с Эртелем и поехал к нему в с. Александровское для покупки нескольких лошадей на Хлудовском заводе. С Эртелем мы не встречались со времени совместного нашего пребывания в Твери. Тогда он был в положении ссыльного и поднадзорного, умевшего держать себя с полным достоинством, но скромно, и мы были с ним в приятельских отношениях. Теперь он стоял во главе крупного имения с большим конным заводом и с многочисленным штатом служащих и рабочих. Не без любопытства я наблюдал перемену во внешней манере его обращения с людьми разного положения. Еще раз я мог убедиться в гибкости его природы, умевшей обнаруживать самые тонкие оттенки в отношениях с людьми и в его искусстве не переходить, на ряду с большой требовательностью к подчиненным, ни к фамильярности в одну сторону, ни к грубости в другую. Само собою разумеется, что мы встретились как старые приятели. Он показал мне весь конный завод, занимавший обширные помещения и содержимый, поскольку я мог судить, в образцовом порядке. Моя покупка пяти лошадей была сделана в течение получаса и притом по весьма сходной цене. Но мне хотелось взглянуть на большое великорусское село, раскинувшееся на очень большом пространстве. Для этого я остался на следующий день, чтобы посмотреть школу во время учебных занятий. Школа не имела собственного

помещения, приспособленного для этой цели, а помещалась в самой обыкновенной крестьянской избе, темной и низкой, отапливаемой по «черному», набитой детьми, которых не сразу можно было различить, — в спертom и сизом воздухе, не имевшем никакой другой вентиляции, кроме дверей в сени. В таком помещении вести школу было весьма затруднительно, и даже в количественном отношении она не могла удовлетворить и 10% детей школьного возраста такого огромного села. Я был несколько озадачен такой школой, но Эртель поспешил мне сказать, что уже составлено предположение выстроить новое помещение, отвечающее современным требованиям от школы. Не знаю, осуществилось ли это предположение, или далее плана не пошло, с предоставлением будущему разрешить этот вопрос.

Ранней весной 1897 г., когда снег еще не успел стаять, мы приступили к ремонту Машука, где застали в качестве единственного живого существа дикую лисицу, устроившую свое убежище под черным полом дома, куда она проникала через отверстие в фундаменте, устроенное для проветриванья подпольного пространства. От двадцати до тридцати рабочих были заняты самыми разнообразными работами. Работа начиналась с 6 ч. утра и продолжалась до 8 ч. вечера с перерывами от 7 до 8 ч. утра, от 12-ти до 2-х для обеда и от 4 до 4 1/2 дня для чая. Таким образом, из 14-ти часового рабочего дня работа производилась около 11 часов. Вся оплата производилась сдельно, а потому продолжительность рабочего дня не зависела от меня. Я не вмешивался в распорядок, от меня независимый, да и позднее в Машуке ни разу вопрос о длине рабочего дня не возникал, и я до сих пор остаюсь убежденным противником регламентации рабочего дня в сельском хозяйстве, происходящем, в большинстве случаев, под открытым небом, в зависимости от погоды, — солнца или дождя, или от других условий,

а не от воли хозяина. Сельское хозяйство, в этом отношении, совершенно противоположно фабрике или заводу, где никакие перемены погоды, времен года, дня и ночи не изменяют условий работы. И, как я уже говорил, всякие попытки установить общие правила в регламентации рабочего времени для сельского хозяйства мне представляются лишенными всякого разумного основания и никогда не войдут в жизнь. Достаточно вспомнить целый ряд разнообразных работ, срочность которых не допускает ни отсрочек, ни перерывов, чтобы признать отсутствие всякой аналогии фабрично-заводского труда с сельскохозяйственным. В России период полевых работ так краток, что по всей справедливости носит название «страды», когда посев и уборка жатвы требуют чрезвычайной быстроты и большого напряжения труда. В пределах восьмичасового дня культуры, требующие поливки, неприменимы и разделение дня по частям представляет как для хозяина, так и для рабочего наиболее невыгодное и нецелесообразное использование труда и времени.

В конце июня 1897 года ремонтные работы подвинулись настолько, что мы могли уже занять в доме несколько комнат, в виду чего мы решили, не ожидая осени, переселиться в Машук.

Глава XV

Переселение в Машук (Новоторжский у. Тверской губ.) — Первые впечатления — Пьянство — Духовенство и винная монополия — Прогрессирующее исчезновение местного дворянства — Возрождение женских кустарных промыслов — Земские школы и учительский персонал — Революционная провокация — Потребительное общество — Учреждение кредитного товарищества — «Кающийся дворянин»

В июне 1897 года мы навсегда покинули Москву и переселились в только что приобретенный нами Машук. Мой старший сын, Михаил Иванович, и его жена, Елизавета Ильинична, рожденная Бакунина, приняли решение присоединиться к нам и поселиться вместе с нами в Машуке. Михаил Иванович ожидался из-за границы, где он, после Московского университета, заканчивал свое образование в университетах, сначала Фрейбургском (в Бадене), потом Берлинском. Он уехал во Фрейбург в 1895 году с женой и маленькой дочерью, которой минул только год. В Берлине у них родилась вторая девочка. Таким образом, у нас сразу образовалась семья из шести душ, а в том же 1897 году, 29 декабря, прибавился еще седьмой член семьи, — третий ребенок, сын Иван, появление которого на свет мы радостно приветствовали, как будущего продолжателя семейных традиций.

Спустя два с половиною года, в 1900 году, к нам в Машук присоединилась еще семья нашего друга д-ра Литвинова, переселившегося из Петербурга. Он прожил все время с нами, пока вихрь первой революции 1905 года не опрокинул всех наших деревенских планов и не заставил нас, мою жену и меня, переселиться в Петербург, Литвинова же вернуться к своей блистательной организаторской деятельности психиатра

и врача-воспитателя детей с природными недостатками в Москве, городское управление которой возложило на него заведование так называемым Коронационным убежищем.

Период нашей жизни в Машуке, от 1897 до 1905 гг. включительно, составляет особое звено в цепи событий моей личной и общественной жизни, когда я мог думать, что здесь окончится наша кочевая жизнь и что задачи, поставленные мною самому себе в самом начале моей общественной деятельности, несмотря на перемену места, если и не будут вполне осуществлены, то все же достигнут результатов наиболее важных и желательных: разъединенные и даже взаимно враждебные общественные силы прочно будут связаны в местном самоуправлении и через него достигнут коренной русской реформы, — замены самодержавия конституцией. В самом начале XX-го века показались признаки грядущего переворота, и не прошло пяти лет, как самодержавие капитулировало, и 17-го октября 1905 года была провозглашена конституция, хотя без упоминания этого слова и с явным намерением Николая II отказаться от своих обещаний при благоприятном случае.

Тем не менее, мы приветствовали переворот 1905 г., как весну, как пробуждение народной массы, и не сомневались, что в борьбе противоположных течений — освободительного, реформационного и старого, самодержавного, — победа будет принадлежать свободе, а не угнетению. Но прошел еще год и появились уже зловещие признаки, что борьба не кончится, как мы надеялись, и что Россию ожидает кровавая революция, без которой свобода не будет завоевана...

Переживая в настоящее время катастрофу большевистского переворота 1917 г. и оглядываясь назад на пройденный путь, я не могу не сказать, что наш этап в Машуке, закончившийся первой Государственной Думой, был самым плодотворным в моей общественной деятельности и самым счастливым в моей

личной жизни. Этот десятилетний период (с 1897 до 1906 г. включительно) был периодом напряженной общественной работы и моего личного участия в борьбе, цель которой определилась с полной ясностью и завершилась первой революцией, нанесшей смертельный удар самодержавию, хотя после того оно еще продолжало 10 лет свою безнадежную борьбу. Я вспоминаю все перипетии этого счастливого времени и людей, с которыми мы шли рука об руку, с чувством благодарности за те минуты, которые мы вместе посвящали трудному вопросу — освобождения нашей родины от режима исключительных положений, насилий и беззакония.

Итак, я, уроженец Украины, переселился в Великороссию. Как ни близко то время к настоящему времени, но тогда Россия была еще едина, не состояла из 27-ми автономных республик и не выделила из своей территории восемь самостоятельных государств: Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Грузию, Армению и Азербайджан. То было время, когда между Черниговской и Тверской губерниями существовало не более различия, чем между французскими департаментами, Нормандией и Провансом; когда профессор Грушевский не был конкурентом кукольного гетмана Павла Скоропадского и не мечтал о «самостийной» Украине, словом, когда Черниговская и Тверская губернии считались одинаково губерниями русскими, не подозревавшими, что они населены иноплеменными народами, счастье и интересы которых требуют якобы независимости одного от другого.

Я признаю, что крайняя централизация России составила одну из причин её бедствий и тягости условий её местной жизни, и с давнего времени мечтал о федерации России, но по областям, объединенным по экономическим признакам, а не по

признаку национальностей, чтобы предотвратить давление крупных национальностей на мелкие и ослабить национальную нетерпимость, доходящую до отрицания братской связи между Велико- и Малорусскими ветвями одного славяно-русского ствола, занимающего великую Восточную равнину Европы от Северного Океана до Черного моря. Конечно, между этими ветвями имеются некоторые оттенки, есть различия в языке, особенно в простонародных местных говорах, но язык Пушкина, Гоголя и Тургенева, русский язык, одинаково понятен крестьянину Архангельской, Московской, Екатеринославской и Херсонской губерний. Есть различия в темпераменте, в складе ума, в характере народа, но различия эти не только не достигают пределов различий народов западноевропейских, но и славянских, — Поляков, Чехов, Сербов и Болгар. Живя в Борзенском уезде Черниговской губернии, я видел различия говоров в пределах одного уезда, а также различия в характерах южных и северных волостей, различия в одежде и в преобладании цветов её, — белого на севере и синего на юге. В образованных классах все эти различия сглаживаются, в крестьянстве они выступают яснее и ярче, но я чувствую в Черниговском крестьянине и в Тверском одинаково родных мне братьев по крови и по духу. Поэтому, наше поселение в Новоторжском уезде Тверской губернии ни на минуту не вызвало во мне чувство чужестранца в инородной среде. И любопытно, что крайне интенсивное и резкое проявление ненависти в украинцах относительно всего великорусского наблюдается не в крестьянстве, а в среде полуинтеллигенции и политических авантюристов: оно является продуктом измышлений, утративших в настоящее время всякий смысл, так как все бывшие формальные национальные ограничения более не существуют.

Должен сознаться, что первые впечатления мои были не в пользу наших соседей, грубость которых в пьянстве имела

чрезвычайно отталкивающий характер, но они очень скоро рассеялись при ближайшем с ними знакомстве. Чудовищное пьянство, к сожалению, являлось пороком слишком распространенным в России под влиянием невежества, бедности и поощрения со стороны системы государственного бюджета.

С давних пор русское правительство считало водку самым верным и самым значительным источником государственных доходов. И несмотря на то, что с этим доходом было связано поощрение народного пьянства, государство, обладавшее едва зарождавшейся промышленностью и нуждавшееся в средствах, не умело отказаться от своего главного источника, не поставив себя в чрезвычайно затруднительное положение. Раньше оно сдавало продажу водки на откуп, злоупотребления которого укрывались взяточничеством чиновничества, не доставляя в то же время выгод казне. В шестидесятых годах прошлого столетия правительство заменило систему откупов акцизной, и, в надежде устранить возможные в ней злоупотребления, в управление акцизных сборов стало назначать чиновников с высшим образованием и повышенным окладом жалованья. Это была система акциза с промышленного производства. Однако, рост государственного бюджета далеко опережал развитие промышленного производства, и, в видах равновесия государственного бюджета, последний реформатор русских финансов, Витте, под видом охранения народного здоровья и сокращения пьянства, ввел винную монополию государства, как производства спирта, так и продажи его, т.е. к акцизу с производства присоединил в пользу государства и доход от торговли водкой, поощряя её потребление в интересах государственной казны. Таким образом, он улучшил качество спирта, но едва ли оказал поддержку народной нравственности и народному здоровью.

Духовенство с своей стороны способствовало старому пороку. Оно само никогда не отличалось трезвостью, и, будучи

не обеспечено в материальном отношении, было очень озабочено увеличением престольных праздников и тому подобными средствами собирания доходов. В Тверской губернии, где население расселилось мелкими деревнями, каждая деревня имеет в церкви свою икону и свой престольный праздник, во время которого икона шествует в свою деревню, посещая каждый двор в сопровождении причта, собирающего даяния. Этот обычай и привел к трехдневному празднованию, сопровождаемому неудержимым пьянством. В Малороссии население живет большими селами, и иконы не путешествуют; духовенство более обеспечено, и хотя всячески тоже поддерживает многочисленные праздники, но, за исключением Рождества и Пасхи, все другие празднуются один день и не сопровождаются таким поголовным пьянством, как то, которое мы увидели по соседству с нашей усадьбой очень скоро по переезде на жительство в Машук.

Ближайшая деревушка к Машуку, в расстоянии около версты, расположена за рощей. Её деревенский престольный праздник — Преображение, 6-го августа, празднуется три дня. Родственники и приятели съезжаются на эти дни с ближних и дальних деревень. Икона странствует из дома в дом, и в каждом причт читает молитву и получает угощение и соответственное приношение, укладываемое в следующую за иконою телегу. Первый день проходит благополучно, но в следующие два дня настроение повышается пропорционально выпитой водке и переходит в неистовые крики, шум, брань и драку, иногда заканчивающуюся серьезными последствиями. Но я должен сказать, что, благодаря добродушию населения, кровавые случаи при праздничных столкновениях бывают редко.

В Черниговской губернии с её малорусским населением мне ни разу не случалось видеть такого пьянства всей деревней. В нашем селении, Плиске, с его пятьюстами дворами и 3

тысячами жителей, престольный праздник (8 ноября) праздновался один день; следующий день, 9 ноября, был уже день будний. Вообще, по моим наблюдениям, малороссы менее склонны к пьянству, чем это думают. Среди населения большого села в 3 тысячи душ я мог бы поименно назвать не более десяти человек заведомых пьяниц. Мне кажется, что и Новоторжское население не заслуживает упрека в склонности к пьянству, и если тем не менее этот порок развит в большей мере, чем на юге России, то лишь благодаря отхожим промыслам и «столичной жизни» с её развлечениями и соблазнами. Малороссийское духовенство едва ли может похвастать своей воздержанностью и трезвостью. Во время моей жизни в Плиске, однажды я посетил нашего священника, отца Николая, человека совершенно трезвого, в храмовой праздник после обедни. Я застал у него от 10 до 15-ти батюшек уже в значительном подпитии и сам отец Николай, к моему удивлению, был красен как рак. На столе стояла всякая закуска, вино и ром. Последний пользовался наибольшим вниманием: его пили в виде пунша, подливая в стакан немного горячей воды с сахаром. Во время самой оживленной беседы, к отцу Николаю принесли крестить ребенка, имевшего неосторожность родиться в храмовой день. Отец Николай был видимо сконфужен и не решался крестить, вероятно, не чувствуя себя в обладании своих сил, и отказался. Бабка и кумовья стояли в недоумении. На выручку положения явился один из гостей, духовных отцов, священник почтенных лет и сильно выпивший. Я знал его по некоторым не особенно благовидным делам, разбиравшимся в мировом суде. Он объявил, что готов окрестить ребенка. В соседнюю комнату внесли купель, батюшка надел эпитрахиль и окрестил новорожденного. Признаться, я боялся, что он утопит младенца в купели, но все сошло благополучно и дары Святого Духа новорожденный получил из пьяных уст кощун-

ствовавшего священнослужителя. Кумовья, по-видимому, мало интересовались состоянием священника и были очень довольны, когда обряд был совершен. Тем не менее, едва ли народ на Украине был доволен своими руководителями, ибо уходил в штунду, чтобы удовлетворить свое религиозное чувство. В Тверской губернии, и даже в Новоторжском уезде появились секты сютаевцев, пашковцев, свидетельствующие о неудовлетворенном религиозном чувстве народной массы, ищущей правды не в государственном православии, а в сектантстве. Можно думать, с другой стороны, что равнодушие, нежелание или неспособность народа взять в настоящее время под свою защиту от коммунистов не только расстреливаемых священников и епископов, но и религиозные святыни, которые в течение многих веков народ охранял, жертвуя за них своей жизнью, свидетельствует, что народ не находит более в православии той живительной веры, которую служители церкви не сумели сберечь, служа не столько Царю небесному, сколько царю земному. Церковь, в лице своего Синода, отлучившая Льва Толстого и преклонившаяся перед проходимцем Гришкой Распутиным, не является достойным и нравственным руководителем народа.

Но может ли народ сохранить свое бытие вне всякой религии? Может ли народная масса остаться вне абсолютных моральных требований, поддерживаемых волей, стоящей выше человеческой? Мне кажется, что российский большевизм дает на эти вопросы самый категорический отрицательный ответ: нет, не может! Само собою разумеется, что как вопросы, так и ответ на них остается в области не философского рассуждения, а религиозного сознания народа.

Я покинул малороссийскую деревню в начале 1879 года, когда уже стала заметной перемена деревенской жизни, произведенная освобождением крестьян. Нет сомнения, что к концу

XIX века эта перемена стала более глубокой и деревенская жизнь совершенно изменилась на всем протяжении России, на юге, как и на севере, повсюду, где существовало крепостное право. Последние черты патриархального быта исчезали по мере смены поколения рабов и рабовладельцев поколением, не испытывавшим ни рабства, ни рабовладения. Один этот факт был великим фактором в замене рабской психологии свободною. И реформа изменила не только психологию, но и все условия жизни.

В Тверской губернии вообще, и в частности в Новоторжском уезде реформа произвела среди помещичьего класса гораздо большее опустошение, чем в губерниях черноземных, где, за наделом крестьянам, у помещиков осталось достаточно культурной земли, чтобы вести собственное хозяйство. В половине Тверской губернии, и в том числе в Новоторжском уезде, в руках бывших помещиков и их наследников осталось очень мало имений, которые можно было бы считать обеспечивающими жизнь собственника, независимо от продажи леса на сруб. Сохранилось зато немало разоренных усадеб, немых свидетелей былой широкой жизни. Постепенно они переходили в другие руки, преимущественно купцов или крестьян, и не играли никакой хозяйственной или экономической роли.

Число дворян, сохранивших самостоятельный земельный ценз в Новоторжском уезде, было так незначительно, что на уездных дворянских выборах с трудом набиралось двенадцать голосов, требуемых законным кворумом. Столь же незначительна была роль дворянства и в экономическом отношении. Только в одном крупном имении существовал винокуренный завод из двух, имевшихся в уезде, поставлявших спирт в казну, но завод этот имел очень слабое значение для уездного сельского хозяйства. Только немногие имения еще не закончили своего лесоистребления, но все уже были близки к окончанию

такой операции. Фактически дворянство сохранило в уезде только свою культурную роль, необходимость которой было бы бесполезно отрицать в стране, стоящей на таком невысоком уровне образованности. Однако, было бы много разумнее, если бы правительство не пыталось ставить более культурный класс в привилегированное положение, поддерживая этим способом не сближение классов и сословий, а обострение их взаимно враждебных отношений.

Вместо постепенного смягчения сословных и классовых различий, земская реформа 1890 года, как уже было сказано, углубила их, установив привилегию и дав все преимущества происхождению. В свое время многие преимущественные права и привилегии являлись логическим следствием рабовладения, но, с его падением, единственный случай, когда могла быть допущена привилегия, это — образование, и единственный ценз — ценз образования, как премия тому, что так необходимо для народа, большинство которого даже вовсе неграмотно. И особенно это необходимо в земстве, как в органе местного самоуправления. Между тем, по закону 1890 года число гласных, составлявших земское собрание, не превышало 30 человек и распределялось между потомственными дворянами, избиравшими 16 гласных, горожанами — 6 гласных и крестьянами — 8 гласных. Таким образом, самая малочисленная группа граждан, едва набравшая 12-20 избирателей, посылала большинство членов уездного земского собрания, придавая ему окраску и определяя нужды и потребности населения по своему усмотрению. Наоборот, крестьянство, число которого в уезде превышало сто тысяч душ, имело всего 8 представителей, притом самое избрание которых фактически заменялось назначением губернатора.

В течение всех 15 лет, что я был гласным Новоторжского земства, можно было наблюдать странное явление: гласные

дворяне вели неустанную борьбу за демократические реформы, за свободу самоуправления и за независимость от администрации, за развитие народного образования, за медицинскую помощь, за всякие интересы народной массы и за подъем её экономического благосостояния, тогда как гласные от крестьян, ставленники администрации, всегда голосовали во всех случаях, повинаясь указаниям своих земских начальников.

Такой факт не представлял исключения в Новоторжском уезде. Вся Тверская губерния делилась на либеральные и реакционные уезды, в зависимости от дворянских гласных: уезды — Новоторжский и Весьегонский составляли крайнюю левую (в земских пределах), уезды — Бежецкий, Корчевской, Старицкий, Ржевский и Зубцовский составляли среднее направление, наконец уезды — Тверской, Калязинский, Кашинский, Осташковский и Вышневолоцкий — реакционные.

Нет никакого сомнения, что с уничтожением безобразной привилегии дворянства, с установлением равенства избирательных прав, хотя бы и ограниченных, но не по сословному и не по имущественному признаку, с избавлением крестьянства от назначения губернаторами его представителей в земстве, с ограничением вмешательства администрации в решения местного самоуправления лишь наблюдением за выполнением формальных требований закона, характер земских собраний будет носить печать не сословий, а культурной высоты большинства населения.

Что же касается уже прошедшего времени, обнимавшего пять трехлетий, с 1890 по 1905 год, когда я был гласным и еще не был лишен политических прав, то личный состав гласных всех трех категорий (дворянства, крестьянства и горожан) оставался почти неизменным. Поэтому, и характер или направление земства оставалось также неизменным, Его лидером оставался Александр Александрович Бакунин, и несмотря на

свои годы (от 71 до 86 лет), был им не по имени только, а самым исправным работником, не пропускавшим ни одной комиссии, и который строго поддерживал идеи и направление, усвоенные тверским земством с давних пор, и не допускал никаких компромиссов.

Оставался неизменным гласным и Дмитрий Дмитриевич Романов, заведовавший очень долго школьным делом в Новоторжском уезде, а затем организацией кустарной промышленности среди женщин. Почти окончательно забытый старинный местный промысел, — кружевной, золотошвейный и вышивания по цветной коже, он не только возродил, но сделал его художественным и весьма прибыльным, что привлекло к нему большое число работниц. В старое время на вокзале в Торжке можно было видеть маленькую витрину с изделиями новоторжских кустарей в виде подушек, туфель, спальных сапогов, — из разноцветной кожи, — и поясков. Сбыт этих изделий был чисто местный, очень ограниченный; характер вещей не обнаруживал никакого прогресса и повторял все одни и те же мотивы. Работницы получали жалкое вознаграждение за труд от сбытчиков, не более 5 коп. за свой рабочий день. Дмитрий Дмитриевич взялся за организацию этого труда и в течение нескольких лет достиг удивительных результатов. Он начал с вещей старого промысла и превратил их в изящные изделия из кожи, причем сам лично составлял рисунки красками, по которым исполнялись вышивания шелками на коже, сукне или бархате, и для этого устроил школу для девочек и взрослых женщин. Наряду с этим, он организовал кружевниц, привлекая к этой работе не только городских кружевниц, но и распространяя это изделие в деревнях. Оплата труда кружевниц также быстро возросла от 5 коп. в день до рубля, и изделия земской мастерской распространились не только во всей России, но перешли за её границы и достигли даже Америки, где имели

постоянный сбыт, наравне с кожаными изделиями той же мастерской. От министерства двора стали поступать заказы на архиерейские митры, украшенные жемчугом и драгоценными камнями, присылаемыми для этой цели от дворцового ведомства. Морское министерство, с своей стороны, начало ежегодно сдавать земству подряд на поставку нескольких тысяч вышитых на сукне красными нитками особых знаков, пришиваемых на рукаве матросской куртки. Заказ морского министерства был особенно выгоден и для мастериц, и для всего кустарного отдела, так как он оплачивался очень высокой ценой и давал значительный остаток, поступавший в кассу кустарного отдела, и предназначавшийся на развитие и распространение кустарного промысла среди женщин. Касса кустарного отдела составляла особую часть, не связанную с общим земским бюджетом, хотя и находилась в заведовании земства. Не лишено интереса, что, когда кустарное производство стало на собственные ноги, т.е. было обеспечено ценою и сбытом, земство встретило в морском министерстве довольно холодный прием и намерение прекратить заказ. Очевидно, появилась какая-то частная конкуренция, более выгодная для приемщика, хотя и не более дешевая. Только вмешательство самого морского министра оставило заказ за земством. Все это дело было всецело обязано таланту Дмитрия Дмитриевича и его безустанному труду, и можно очень пожалеть, что с его смертью кустарная организация погибнет, а с нею погибнет и промысел, доставлявший женщинам хороший заработок и освобождавший их от необходимости идти на фабрику.

Немало поработал Романов и по организации и устройству школ в Новоторжском уезде.

Кажется, не может быть никакого сомнения в том, что каждая профессия требует специальных знаний: их мы требуем от врачей, инженеров, агрономов, юристов и т.д. Специальная

подготовка была бы желательна и для учителей народной школы, но школьная программа так ограничена, что пока она не будет расширена, специализация представляется ненужной роскошью, удовлетворить которой было бы и невозможно в виду громадного числа народных школ, необходимых России. Вина такой ограниченности требований от народной школы всецело лежала на правительстве, которое установило не минимум, а максимум знаний, допускаемых в народных школах. Поэтому, считается возможным удовлетворяться учебной подготовкой учителя даже ниже средней школы. Правительственные учительские семинарии принадлежали к третьему разряду, т.е. к разряду низших учебных заведений. Земская учительская школа Максимовича в Твери также ниже средней школы, — женской гимназии министерства народного просвещения или Мариинских женских гимназий, не дававших никакой подготовки для такой специальной профессии, как ведение народной школы. Для исполнения такой важной функции считалось достаточным ограничиться губернским женским епархиальным училищем, которое и являлось поставщиком учительниц народной школы. Единственное подходящее учебное заведение из всех существующих, которое могло бы претендовать на занятие учительских мест, была бы духовная семинария, дававшая своим воспитанникам более или менее основательное образование. Но так как она усвоила взгляд на учительское место, как на кратковременный стаж для занятия места священника, то учительские места занимались семинаристами по окончании курса, как исполнение формального требования, которое и выполнять можно было формально. Бывали, конечно, исключения. Среди семинаристов нередко встречались люди, не мечтавшие о духовной карьере, искавшие иного призвания. Но призвание это не всегда совпадало с целями и задачами школы. Такие просветители были и в

Новоторжском уезде. Одного из них я знал и даже присутствовал на крестьянском митинге, кажется, в 1903 году, где он произнес зажигательную речь на тему, сделавшуюся позднее столь популярной: «грабь награбленное». В то время такая речь еще не производила действенного впечатления, но почва для таких семян подготавливалась. Это был способный и неразборчивый на средства учитель и озлобленный человек, пользовавшийся большим влиянием среди учителей. Он держался, так сказать, катехизического метода обучения. Его ученики должны были заучить на память ответы на вопросы, с которыми он к ним обращался. Все эти вопросы и ответы относились к преподаванию закона Божьего и к социалистическим темам и отличались специфическим вкусом к повторению школьниками затверженных фраз. Такой метод нравился и некоторым другим учителям, которые пилигримствовали в школу образцового, по их мнению, учителя, для усвоения его метода. Надо, однако, признать, что пропаганда Пухлимского не всегда сходила ему с рук. Расстояния его не стесняли, и разъезжал он по всему уезду. В 1906 году он появился в с. Раменье, верстах в 60 или 70 от его школы. На крестьянском митинге его речь вызвала решительный отпор со стороны крестьян: Пухлимский был избит и даже ранен, но его удалось спасти и увезти в Таложенскую земскую больницу, где он оставался, пока не поправился, а затем скрылся из уезда.

Не нужно забывать, что в самом обществе еще до сих пор не сложилось убеждение, что народная школа требует таких же специалистов, какими являлись врачи в лечебном деле или инженеры — в устройстве дорог и всяких сооружений. Только недавно стали понимать, что самое сельское хозяйство требует агрономических знаний, показательных станций, разъездных агрономов и т.п. Однако, всех таких специалистов, непосредственно соприкасающихся с народом, правительство всегда

боялось потому, что еще больше боялось проникновения в народную массу знаний, а с ними вместе и критики архаических и патриархальных порядков управления, которыми под-держивалось самодержавие.

Народного же учителя боялось оно пуще всего, а потому решительно противодействовало образованию учительского персонала, стоящего на высоте как специального знания, так и общего образования. Еще в самом начале введения земства в Тверской губернии, оно учредило в г. Торжке учительский институт с широкой программой, просуществовавший очень короткий срок и закрытый по высочайшему повелению. Если земство, по необходимости, вынуждено было набирать учителей для вновь учреждаемых школ из элементов, далеко не соответствующих задаче, то значительной поправкой к такому положению могло бы быть учреждение периодических, даже ежегодных учительских курсов, под руководством настоящих специалистов. Многие земства делали попытки устройства таких курсов, но после первых же опытов получение разрешений на продолжение их встретило непреодолимые препятствия со стороны правительства. Пришлось отказаться и от этого средства и довольствоваться тем, что можно было получить от учительских семинарий, так мало дававших требуемых знаний своим питомцам; словом, удовлетвориться для обучения народа грамоте гимназистками и епархиалками, ищущими себе занятий. Результаты были, конечно, не блестящи, хотя и среди них были отдельные лица способные, талантливые, преданные делу и заслуживавшие всякой поддержки. Но в общем уровень был, к сожалению, очень невысок. Я вспоминаю, между прочим, одну историю, показавшую предел этого среднего уровня. Ревизионная комиссия уездного земства, производя годовую ревизию, между прочим наткнулась на столкновение двух учителей в одной из школ, имевших двойной комплект, т.е.

четырёхклассной; один из них считался старшим и на нем лежало заведование хозяйственной частью школы, в том числе наблюдение за её ремонтом. По заведенному порядку, утвержденному земским собранием, расход на ремонт школы передавался заведующему хозяйственной частью учителю, который нанимал отдельных рабочих или подрядчика для производства ремонта. В школе, — назовем ее буквою М., — учителя не ладили между собою, и одной из причин этих неладов было обвинение младшим старшего в том, что, вместо передачи ремонта рабочим, он производил его кое-как своими собственными руками, до чистки отхожих мест включительно, а в управу представлял оправдательные документы от имени рабочих, которых не нанимал. Ревизионная комиссия сочла необходимым пригласить обвиняемого своим товарищем учителя для объяснений по этому поводу. В присутствии всей комиссии он признал, что действительно производил ремонт собственноручно и посылал в управу лживые оправдательные документы, считая это пустой формальностью. Исполнял же работу собственноручно потому, что нуждается в средствах и не считал позорным для себя такую работу, равно не считал неправильным и составление оправдательных документов, в виду их исключительно формального значения. На мой вопрос, — не думал ли он, что такой документ имеет характер обмана управы и подлога? — он простодушно отвечал, что он не думал этого, и хотя я, в качестве председателя ревизионной комиссии, пытался разъяснить ему, что комиссия не ставит ему в вину то, что он своими руками производил ремонт, а обвиняет его в том, что он составлял и представлял в управу лживые оправдательные документы, он, народный учитель, этого не мог понять. Ему казалось, что мы находим неприличным для учителя самолично исполнять ремонт школы. Его тупое непонимание обезоруживало комиссию, и она решила просить

управу не увольнять его, а перевести в другую школу на место младшего учителя. Учительский персонал был крайне возбужден этой историей и во время рассмотрения этого дела в комиссии, после того, когда я громко прочитал её постановление, группа учителей и учительниц, составлявших наиболее влиятельную и развитую часть всего учительского персонала, мне подала письменный протест в защиту своего товарища, поведение которого она одобряла. Комиссия настояла на своем решении, но её авторитет, конечно, жестоко пострадал в мнении просветителей темной народной массы.

После этого можно ли удивляться, что против Д.Д.Романова, члена уездной управы, заведовавшего школьной частью, возникли в учительской среде обвинения в лицепритии относительно некоторых учительниц, которые издавна были в дружеских с ним отношениях, не пользуясь от этого никакими привилегиями. Член управы Романов не был социалистом, большинство же влиятельных учителей были социалисты и социалистическое *credo* не допускало дружеских отношений с буржуазным «начальством». Романов был очень огорчен обвинением, которое было ему предъявлено, тем более, что он чувствовал особенные симпатии к народным учителям и с большой заботливостью относился к их нуждам. Но времена меняются, а время, о котором идет речь, уже приближалось к первой русской революции, когда умственное брожение проникало во все слои населения, и становилось тем нетерпеливее и требовательнее, чем оно было поверхностнее, чем менее было продумано и освещено сознанием. Радикальнее всех, поэтому, была полуинтеллигенция, ни в чем не сомневающаяся и преисполненная уверенностью, что жизнь можно кроить и перекраивать по законам, точно установленным Марксом и его толковниками.

Несмотря, однако, на указанные выше недостатки учительского персонала, нельзя не отметить и чрезвычайно важное достоинство корпорации, отличавшейся необыкновенной преданностью своему делу, готовностью выносить самую тяжелую обстановку, нищенское вознаграждение труда и вообще все условия учительства, подвергавшие его недоброжелательству и придирчивости правительственной инспекции, подозрительности полиции, а, главное, отсутствию сознательного отношения, т.е. уважения со стороны самого населения, которое нередко видело в учителе не миссионера, каким, в сущности, он до сих пор являлся в глубоко невежественном народе, а только «наймита», — позорная кличка, которую не раз мне приходилось слышать из уст крестьян. В течение многих лет мы могли наблюдать многих учителей среднего типа, не выше и не ниже своих товарищей. Мы непосредственно видели их отношение к делу и должны признать, что их недостатки, вытекавшие из недостаточного общего образования и неподготовленности в специальных знаниях, могли бы в значительной степени быть устраненными, если бы школьная инспекция носила характер более педагогический, а не полицейский; если бы она занялась устройством во время долгих летних каникул учительских курсов, уездных и губернских, свободных от всякой полицейской цензуры. Я не сомневаюсь, что такие публичные периодические летние курсы для учителей внесли бы в школу здоровую атмосферу, несмотря даже на возможные эксцессы, обыкновенно сопровождающие первые проявления освобожденной от оков мысли. Во всяком случае, такие курсы и съезды служили бы расширением умственного кругозора преподавателей и наиболее действительным средством борьбы с тайной пропагандой субверсивных идей. К сожалению, у нас в уезде был случай, закончившийся весьма печально для нескольких учителей, притом наилучших, став-

ших жертвой «охранки», улавливавшей молодых и неискушенных жизнью людей в свои предательские сети. В 1901 или 1902 году поступил в число учителей в одну из наших земских школ молодой человек очень симпатичной наружности, г. Френкель, умный, образованный, талантливый оратор. Он был утвержден в своей учительской должности и губернатором, и училищным советом, т.е. инспектором народных училищ, беспрепятственно, и тотчас принял свою школу в Премухинской волости, одной из отдаленных от города волостей. Но пробыл он в своей школе недолго и, не покидая ее окончательно, стал очень часто отлучаться в Торжок, где скоро образовал кружок учителей, фактическим руководителем которого он и сделался. Я встретил его в первый раз в 1902 г. летом в комитете о нуждах сельскохозяйственной промышленности, где я читал свой доклад и где он выступил в качестве горячего защитника крестьянских интересов, если не вполне осведомленного в них, то сумевшего обычными в таких случаях фразами произвести большое впечатление на крестьян, присутствовавших в комитете, частью в качестве его членов, а частью в публике, весьма многочисленной и видимо очень заинтересованной прениями. Спустя некоторое время Френкель посетил меня в Машуке, выразив желание побеседовать со мною, в виду, как он заявил, значительного сходства его идей с идеями, изложенными мною в докладе. Слушая его рассуждения по этому поводу, мне не трудно было убедиться, что мой собеседник горячий сторонник революционного крыла партии эсеров, теории которых я не разделял, а потому наша беседа очень скоро утратила интерес, как для него, так и для меня; но, должен сознаться, я не разглядел в нем провокатора и принял его за одного из тех молодых людей, которых более всего привлекают крайние идеи переустройства человеческого общества, без внимания к его истории. Не могу точно вспомнить время, когда среди

наших учителей были произведены обыски, в том числе и у Френкеля, у которого взяты были бумаги, по-видимому, не имевшие серьезного значения. Тем не менее, несколько учителей в связи с этим были инспекцией уволены от службы. Что же касается Френкеля, то он также был уволен, но, как оказалось впоследствии, был беспрепятственно принят на место учителя в земской школе Клинского уезда. Московской губернии, и утвержден как губернатором, так и инспекцией. Если вспомнить, что такое утверждение делалось не иначе, как после собрания всех справок о жизни и деятельности кандидата, то факт беспрепятственного утверждения Френкеля подтвердил его предательство, в чем, даже раньше обысков, уже возникли подозрения в среде его товарищей-учителей.

Без подготовки соответственного персонала нельзя и думать о повышении народного образования и переходе от трех- и четырехгодичной школы к шестилетней, основной, служащей первой ступенью к средней и высшей школе, и достаточной для всеобщего образования. Наш Новоторжский уезд накануне второй революции уже располагал почти полным комплектом четырехгодичных школ и сверх того имел около 25 школ с 5-м и 6-м классами для желающих продолжать образование выше первоначального. Однако, едва ли можно признать, что все эти школы могли выполнить задачу, о которой я только что говорил; их программы не допускали развития первоначальной школы до того предела, который требуется системой единой школы. Поэтому, хотя наши школы стали шестигодичными, но не стали шестиклассными; они давали гарантию от рецидива безграмотности, но нисколько не расширяли круг знаний, и подбор преподавателей в них оставался прежний, т.е. без высшего и специального образования.

Малограмотная Россия оставалась страной, лишенной необходимого элементарного образования, которое было бы обеспечено всему её населению.

Поселившись в Машуке в 1897 г., мы нашли в Новоторжском уезде уже довольно значительное число школ, но все же школьная сеть еще не была закончена даже в пределах того трехверстного радиуса, который был принят уездным земством. В виду этого мы предложили земской управе выстроить за наш собственный счет две школы по её выбору, но с возложением на нас попечения об этих школах, т.е. дальнейшей поддержки их всякого рода школьными принадлежностями: библиотекой, учебными пособиями и т.п. По соглашению с управой были избраны — деревня Боровая, Василевской волости, на берегу Тверцы, в одной версте от Машука, для одноклассной школы, и деревня Быльцино, в 5 верстах от Машука, для двухклассной школы. Сверх того, мы приняли на свое попечение еще три ближайшие к нам школы: в дд. Святцове, Осуйском и в Раменье. Избрание земским собранием моей жены попечительницей Быльцинской школы, а меня — Боровской не удостоилось утверждения губернатором, и повело к горячему протесту многих не утвержденных попечителей на губернском дворянском собрании, о чем я уже говорил раньше; тем не менее, протесты ни к какому результату не привели. Но жизнь не заботится о том, что думает начальство, и фактически никто и ничто не препятствовало нам принимать участие в поддержке этих пяти школ, благодаря наилучшим отношениям, установившимся между учительским персоналом этих школ и нами. Мы снабжали школы книгами и учебными пособиями, а также устраивали в школах на рождественских святках елки для учащихся, причем ни разу не встретили ничего, что было бы похоже на вмешательство школьной инспекции или полиции. Неожиданно для нас, столкновения

происходили иногда с другой стороны. Бывали случаи, когда деревенская толпа, смотревшая с завистью на угощение и особенно на маленькие подарки, которые получали дети, отнимала у них полученные вещи при выходе из школы: приходилось увещевать толпу. Впрочем, и толпа ни разу не переходила в насилие, но видимо недоумевала, почему такое предпочтение оказывается школьникам, а не всем: «уравнение» представлялось толпе правилом не нарушимым и не допускающим никаких исключений.

Среди некоторых земских служащих, а также местной интеллигенции в Торжке возникла мысль об устройстве потребительного товарищества, в состав которого мне было предложено вступить. Инициаторами предприятия были земский агроном и один из директоров местного общества взаимного кредита, обещавшие всевозможное содействие и даже участие в ближайшем заведении лавкой.

Еще в 1868 году, по почину покойного М.А.Имшенецкого, о котором я уже говорил, в Борзне было устроено потребительное товарищество, в которое вступило довольно много членов. Сначала дело пошло недурно, благодаря тому, что оно было новинкой и очень многие интересовались им. Лавка товарищества стала чем-то в роде клуба, в котором всегда можно было застать несколько членов и поболтать о перспективах нового предприятия. Но очень скоро интерес стал остывать, долги членов по забору товара стали расти, оборотные средства уменьшаться и цены в лавках старых купцов становиться ниже и выгоднее для покупателей. Дела лавки товарищества стали быстро клониться к упадку. Пригласили опытного приказчика, дело пошло еще хуже, начались «недоразумения» в счетах и товарищество вынуждено было ликвидировать свое предприятие, убедившись, что дилетантизм в торговле так же бесплоден, как и во всяком другом деле. Но со времени

этого неудачного опыта протекло тридцать лет и успех потребительных обществ в России свидетельствовал, что уроки не прошли даром. Принимая это во внимание, я согласился на предложение, взял пай и даже внес некоторую сумму в оборотные средства потребительного общества. Увы, бесплодие дилетантизма, как закон природы, несмотря на время, осталось незабываемым и Новоторжское потребительное общество прошло через все фазы борзенского товарищества, напомнив, что пироги должен печь пирожник, а не сапожник. Но повторение такой неудачи несколько не подорвало моего убеждения в полезности кооперации под условием правильной организации её состава и её функций.

В моих довольно частых беседах с моими соседями-крестьянами по поводу разных хозяйственных вопросов, мне часто приходилось касаться кредита, к которому они прибегали у своих богачей на довольно тяжелых условиях, лишивших возможности более выгодного приобретения предметов крестьянского хозяйства и сбыта его произведений. Эти беседы привели меня к мысли устроить кредитное товарищество, которое могло бы выполнить три задачи: 1. Оказывать своим членам недорогой краткосрочный кредит вообще; 2. Оказывать кредит для покупки всяких предметов хозяйства: лошадей, скота, сельскохозяйственных орудий, удобрений и т.д.; 3. Брать на себя посредничество в продаже предметов хозяйства и оказывать кредит под залог продаваемых предметов.

По этому поводу я совещался с покойным М.Я.Герценштейном, который очень сочувственно отнесся к моему намерению, но предупреждал меня о трудности такой задачи, в виду чрезвычайно ограниченной кредитоспособности крестьянства, находившегося, под видом защиты, в опеке земских начальников, которые решали, какие предметы из имущества должника могут служить обеспечением долга и на какие вовсе

не может быть обращено взыскание долга. Сверх того, нормальный устав кредитных товариществ вовсе не имел в виду кредитных операций, означенных во втором и третьем пунктах моих предположений, о разрешении которых надо было возбуждать особое ходатайство, и до разрешения этого ходатайства приходилось ограничиться операциями, указанными в пункте первом.

Смутила нас и мысль, что крестьяне совершенно не подготовлены к ведению таких дел, требующих большой аккуратности и точности. Но, принимая во внимание, что устав допускает контролирующую роль попечителя, мы полагали, что если я буду в силах отдать достаточно времени и труда товариществу, то, быть может, удастся вести дело в порядке; если же такая задача окажется мне не по силам, то возможно допустить второго попечителя — моего сына Михаила Ивановича, который и будет заменять меня. После того, как все эти вопросы были выяснены, я и Михаил Иванович решили подать в министерство финансов просьбу о разрешении нам, в качестве учредителей, открыть на основании нормального устава кредитное товарищество в районе, пределы которого будут указаны нами, причем я и Михаил Иванович обязались внести безвозвратно по 500 руб. каждый в основной капитал товарищества, под условием признания за нами права состоять попечителями товарищества, предусмотренными в уставе. Но для того, чтобы представить просьбу о разрешении, требовались подписи тридцати учредителей товарищества. Собрать такое число подписей, казалось бы, нетрудно, но крестьянство, охотно слушающее демагогические обещания, относится с большим недоверием ко всякой подписи официального документа, смысл которого ему представляется подозрительным. В данном же случае представлялось весьма подозрительным то обстоятельство, что я хлопотал о разрешении открытия «бан-

ка», для которого давал свои деньги, значит дело не спроста: своих денег никто даром не дает; долго ли, взяв деньги из банка, запутаться? Слушая такие разговоры, я предполагал, что один из школьных учителей, по своему происхождению из местных крестьян, может убедить их, что их опасения и подозрения неосновательны. Учитель охотно взялся убеждать, но собрал только несколько голосов. Ничего более не оставалось, как собрать недостающее число голосов среди своих домашних. Только таким образом 30 подписей было собрано, и прошение послано в министерство. Но, если потребовалось много времени, чтобы собрать подписи, то еще более требовалось времени, чтобы прийти к соглашению с комитетом, заведующим делами учреждений мелкого кредита. Комитет сделал, в ответ на мое прошение, два возражения: во-первых, район деятельности учреждаемого Раменского кредитного товарищества, по мнению комитета, должен совпадать с границами волости, а мною включено несколько деревень двух других волостей, а во-вторых, устав предусматривает только одного попечителя, я же ввожу в свой устав двух. На почве этих возражений завязалась, столь любимая бюрократией, переписка. Как ни пытался я доказать, что включение в район товарищества нескольких деревень других волостей не нарушает ничьих интересов, т.к. все эти деревни расположены у самой границы Раменской волости и в хозяйственном отношении более тяготеют к Раменью; что интерес именно этих деревень побудил меня устроить кредитное товарищество, соединив их в один район с ближайшими деревнями Раменской волости; что кредитное товарищество имеет свой собственный район, вовсе не совпадающий с границами волостей, имеющих значение только административное, и, наконец, если район товарищества будет изменен, то я не вижу никаких причин поддерживать мое прошение, содержание которого, вместе со

мною, поддерживают и все подписавшие его. Что же касается вопроса о двух попечителях, то я настаиваю на этом моем желании в виду моего преклонного возраста и трудности для меня отдавать делу слишком много времени, ибо я предвижу, что незнакомство населения с правилами ведения кредитных операций и желательность, чтобы все дело находилось в руках крестьян и велось исключительно ими, без участия всяких дельцов, побуждают меня контролировать деятельность товарищества возможно тщательнее, чтобы предупреждать возможность ошибок. Тем не менее, комитет не признавал моих соображений и продолжал настаивать на своем, несмотря на то, что не только в Новоторжском уезде не было ни одного кредитного товарищества, но и во всей Тверской губернии в то время было, кажется, единственное кредитное товарищество в с. Кимрах, Корчевского уезда, где существовал огромный местный сапожный промысел; сельскохозяйственного же не было ни одного, так что Раменское товарищество являлось первым опытом в губернии. Дело о разрешении тянулось целый год. Наконец, я поручил моему брату лично переговорить по этому поводу с заведующим делами комитета, г. Беретти, который, наконец, согласился утвердить предложенный мною устав. Таким образом, легализация Раменского кредитного товарищества совершилась. Назначено было общее собрание членов т-ва в Раменье и выбор правления, в состав которого были выбраны три крестьянина и делопроизводитель — учитель местной школы, тоже крестьянин, временно, впредь до ознакомления членов с делопроизводством. Тут же были внесены мною и моим сыном, Михаилом Ивановичем, тысяча рублей. К этой сумме, согласно уставу, государственный банк внес в основной капитал с своей стороны тысячу рублей. Товарищество тут же приняло решение собираться для операций по воскресным дням, когда население наиболее свободно.

Я не могу сказать, чтобы население приняло новое учреждение очень радушно. Оказались даже явные противники, в том числе волостной старшина, имевший свою деревенскую лавку и занимавшийся также кредитными операциями. Были и другие, — все кредитующие и ясно видевшие, что в лице товарищества они имеют опасного конкурента. Тем не менее, недоверие стало падать и особенно с того времени, когда я поднес товариществу несгораемый шкаф для хранения денег, счетов и вообще всего делопроизводства. Я же счел необходимым сделать этот подарок после разговора с одним зажиточным крестьянином, который мог внести некоторую сумму для оборотов товарищества, но отказывался сделать это в виду того, что «правление носит деньги в своих карманах», т. е. что целостность денег товарищества совершенно не обеспечена. Конечно, говорил он, было бы выгоднее поместить деньги в кассе товарищества, чем в казенной ссудо-сберегательной кассе; в последней же, хотя процент маленький, но деньги не пропадут, а в товариществе «всякое бывает». После торжественной установки несгораемой кассы, этот скептик внес в кассу в тот же день 500 руб. в оборотный капитал.

Как только дело стало налаживаться, я сообщил М.Я.Герценштейну об этом и пригласил его приехать и посмотреть на наше новое учреждение. Он откликнулся немедленно и приехал из Москвы. Почти весь воскресный день мы провели с ним в заседании товарищества, внимательно следя за обсуждением членами правления каждой ссуды, за обстоятельными расспросами заемщика о целях займа, о способах его погашения и т.п. Когда операции были закончены, Михаил Яковлевич, в то время главный деятель московского земельного банка, поздравил товарищество и выразил уверенность, что дело стоит на твердых ногах. Он очень одобрил мое личное отношение к товариществу, в деятельность которого я без-

условно не вмешивался, предоставляя ему полную свободу действий, и только в самом начале, когда товарищество, принимая во внимание существующий в деревнях процент, взимаемый с населения при займах, хотело назначить не менее 12 годовых, или по 1% в месяц, я убедил товарищество не поднимать его выше 9-ти или 3/4% в месяц, но в данном случае я действовал, как рядовой член товарищества, а не как попечитель. Позднее товарищество все-таки повысило %, взимаемый за ссуды, но это произошло уже без меня, когда я переехал в Петербург, будучи избран в первую Государственную Думу.

При учреждении Московского Народного Банка, в списке коопераций, принявших участие в подписке на образование капитала Банка, значилось и Раменское кредитное товарищество. Значит, в то время оно еще существовало и если погибло, то лишь трудами большевиков, разрушивших все, что поддерживало жизнь России, что так или иначе служило народу школою самоуправления, рамки которого гораздо шире земских учреждений и которое проявляется в самых разнообразных организациях и формах народной жизни.

Я всегда думал, что при поселении в деревне сближение с местным населением становится необходимым и неизбежным. Надо быть совершенно лишенным социальных чувств, чтобы оставаться равнодушным к жизни живущих с вами бок о бок, притом гораздо более страдающих, чем радующихся, терпящих лишения и часто не умеющих выйти из своего трудного положения. Сближение с населением, в сущности, заключается в том, чтобы достигнуть взаимного понимания и доверия. Правда, и то и другое достигается нелегко и нескоро. Опыт многих поколений научил народную массу не доверять ни чиновнику, ни барину, от которых он терпел столько притеснений и обид. Каждому проходимцу он верил только потому, что тот также принадлежал к числу обманутых и обиженных. Общее страда-

ние соединило их в ненависти к притеснителю. Поэтому, нигде успех всякой демагогии не был так обеспечен, как у нас в России; нигде социализм и коммунизм не могли так беззаботно быть принятыми крестьянством, интересы которого безусловно непримиримы с коммундой, как в России, где всякая фантазия представляется лучше действительности.

Для действительного сближения с населением нет никакой надобности ни опрощаться и принимать облик «кающегося дворянина», ни разыгрывать роли «благодетеля», воображающего, что деньгами можно купить чье бы то ни было доверие или расположение. Первого будут считать в лучшем случае чудачком или блаженным, а второго — дураком, которого не обманывает только такой же дурак. Когда мы переехали в Машук, в одной версте от нас в деревушке Телицыно, на берегу Тверцы, жил некто Ярцев, самый подлинный тип «кающегося дворянина»: бывший артиллерийский офицер, севший на землю. Женился он, кажется, на крестьянке, обзавелся 15-ю десятинами земли и семьей, и в поте лица своего ковырял землю, добывая кусок хлеба. Он был очень неглупый человек, безусловно порядочный, и в полном смысле неудачник. У него был и вид не крестьянина, а какой-то особый — выцветший и жалкий. Большая семья требовала гораздо больше средств, чем давало ему хозяйство, поэтому его давила постоянная нужда, но она не вызывала у соседей крестьян ни жалости, ни сочувствия, ни уважения: чего ради он сел на землю, взялся за крестьянский труд, бросив свое настоящее дело, для которого столько лет учился? Нет никакого сомнения, что, глядя на Ярцева и на его нужду, задавали такой вопрос его соседи. И в самом деле, думают они, кому нужно это подвижничество? Для спасения собственной души имеется монастырь, а коли хочешь спасти душу на миру, то делай свою жизнь примером, который воистину показал бы, как надо жить; будь полезен

народу, среди которого целое море горя и страданий от его невежества, а ты — ученый, и народ ответит сторицей на твою жертву. А что из того, что ты ковыряешь землю, голодаешь сам и голодает вся твоя семья, кому какая польза от того?

В своих суждениях о «спасении души» крестьянство вовсе не стоит на безразличной или на отрицательной точке зрения. Простой народ относится с сочувствием и с уважением ко всякому подвижничеству, даже к юродивым и нищенствующим Христа ради. Но он считает, что между целью и средством её достижения должно быть соответствие, разумная целесообразность, которой он не видит ни в опрощении, ни в сельском хозяйстве, утилитарные цели которого для него не подлежат сомнению.

Однажды Ярцев пришел ко мне, объяснил свое тяжелое положение и спросил, не могу ли я купить его землю, так как он нашел себе другую работу, более выгодную, которая даст ему возможность содержать свою семью. Но, не продав земли, он не может двинуться с места, а местные крестьяне предлагают за землю не подходящую плату. Я слушал Ярцева и вспомнил А.А.Русова, двадцать лет тому назад проделавшего на юге такой же опыт, но скоро почувствовавшего свою ошибку и вернувшегося к своему делу, полезному и нужному для родины, — и я согласился освободить Ярцева от его неволи. Года два спустя, я встретил его случайно. У него был совсем другой вид, более естественный, независимый и не выцветший: он устроился на какой-то частной службе.

Глава XVI

Политическое наследство, полученное императором Николаем II — Самодержавный Олимп — Горемыкин и Витте — Убийство министров Боголепова и Сипягина — Витте и ограничения бюджетных прав земства — Комитеты о сельскохозяйственной промышленности — Издание заграницей свободного печатного органа «Освобождение» — Поездка в Шварцвальд и организация «Союза Освобождения» — Ревизия тверского и московского земств — Японская война — Разгром тверского губернского земства и замена Новоторжского уездного правительственной комиссией — Высылка тверских и новоторжских земских гласных из пределов губернии — Мы с А.С. покидаем Машук — Убийство министра внутренних дел Плеве — Назначение министром внутренних дел кн. Святополк-Мирского — Телеграмма, призывающая меня в Петербург — Возвращение в Петербург

Почитатели императора Александра III-го присвоили ему титул «миротворца» в убеждении, что его деятельность упростила мир, как вне России, так и внутри её. Конечно, такое утверждение о состоянии международного мира было явным преувеличением, ибо европейский мир зависел не от одной России и даже менее всего от неё. В Европе господином положения до 1890 года был Бисмарк, сошедший с политической сцены за 4 года до смерти русского царя. Соглашение с Францией было логической необходимостью и последовало в конце царствования. Иначе стоит дело с внутренней политикой, где Александр III был полным хозяином. Бесспорно, последовательно проводимыми суровыми полицейскими мерами власть достигла внешнего спокойствия, но не примирения тех течений, которые также логически вытекали из природы историче-

ского развития общественного самосознания. Такое течение может быть временно задержано, но не уничтожено, и рано или поздно прорвет задерживающую его плотину. Укрепление или уничтожение такой плотины и было наследством, которое Николай II получил от своего отца. Решение такой задачи было нелегкое для человека, обладавшего посредственным умом, очень незначительным образованием и чрезвычайно слабым характером, человека, склонного подчиняться всяким влияниям и лишенного всякого опыта.

Шумное выступление Николая II во время первого приема им депутатов дворянства, земства и городов, явившихся для принесения поздравлений со вступлением на царство; его грубый ответ тверскому земству, решившемуся в своем адресе напомнить молодому царю о нуждах страны, свидетельствовали, что государь уже находится под влиянием старых советников умершего императора, которые успели внушить ему уверенность, что самодержавие остается незыблемым устоем русской государственности; что всякая попытка ввести в России конституционный строй — представляет не более как «бессмысленные мечтания», которые будут раздавлены твердостью и силою власти.

Таким образом, вопрос о политическом наследстве Николая II конкретно состоял в выборе либо курса, которого держался Александр III, т.е. безусловно реакционного, не допускающего никаких компромиссов, опирающегося на сословный строй и господство дворянства, либо иного курса, состоящего в попытке исправить ошибку своего предшественника и, признав историческую необходимость, допустить насильственно задержанное развитие реформ Александра II.

Как известно, ни одна реформа Александра II не была доведена до конца, и все его начинания, великие по основным идеям, носили в себе внутреннее противоречие, мешавшее их

свободному развитию и тем достижениям, которых можно было от них ожидать. Основная ошибка заключалась в том, что, исходя из идеи равенства всех граждан перед законом, считали нужным в то же время сохранить обособленность, так называемых, податных сословий, т.е. сохранить сословный строй, покоящийся именно на неравенстве сословий. Сословное начало проведено как в крестьянской реформе, не давшей крестьянам всех гражданских прав и сохранившей за ними значение «податного» сословия, — так и в земской реформе, обособившей все сословия одно от другого, не поставив крестьянство, неизмеримо более многочисленное, в равные условия с другими сословиями.

Что же касается судебной реформы, то волостной суд просто был выделен из Судебных Уставов, причем 85-90% крестьянского населения фактически лишено судебной защиты во имя сохранения обычного права, которым крестьянство якобы очень дорожит. Таким образом, идея равенства всех граждан перед законом, для всех единым, принесена в жертву идее сословности, разделяющей народ по разным клеткам, с разными правами и разными обязанностями: права предоставлялись одним, обязанности возлагались на других.

Если в давние времена идея равенства перед законом представлялась утопией, то в середине XIX-го века это был уже факт довольно широко распространенный в Западной Европе, и если, тем не менее, этот принцип был отвергнут в реформах 60-х годов, то это надо приписать тому, что император Александр II считал необходимым проводить либеральные реформы с помощью консервативных и даже реакционных деятелей. Достаточно вспомнить, что крестьянскую реформу заканчивал граф В.Н.Панин, а земскую — Валуев, от которых Царь-Освободитель не мог ожидать либеральных советов.

Как ни существенны были ограничения идеи свободы и равенства, внесенные в реформы императора Александра II-го, тем не менее, эти реформы стали исторической гранью двух эпох России: дореформенной и пореформенной; они дали огромный толчок развитию народного сознания и создали базу для тех самых идей, которые они были вынуждены поставить, хотя и в скрытой форме. Раскрытие их стало задачей интеллигенции, и надо признать, что никто не оказал ей большей поддержки, как упорный противник всяких реформ, император Александр III, своей попыткой повернуть Россию назад. Та небольшая доля прав, которые крестьянство получило на основании реформ крестьянской и земской в 1861 и 1864 г.г., была до последней степени ограничена реформами 1889-1890 г.г., подчинившими крестьян власти земских начальников как административной, так и судебной с одной стороны, а с другой, лишившими их всякой самостоятельной роли в земстве.

Если эта новая «реформа» была проведена сравнительно спокойно и не вызвала никаких эксцессов, то это объясняется тем, что вступление Александра III-го на престол сопровождалось такими трагическими событиями, которые оставили глубокое впечатление как в обществе, так и в крестьянстве, пробуждая в них реакционные чувства. К тому же революционные элементы на довольно продолжительное время были обезоружены, что дало власти возможность укрепить свои силы.

Император Александр III скончался около четырех лет после проведения своих реформ и не ему досталось увидеть их результаты. Это опасное политическое наследство он оставил своему сыну. Можно было заранее предвидеть, что при сколько-нибудь благоприятных обстоятельствах вокруг этого наследства возникнет борьба двух течений: самодержавно-крепостнического, отживающего во всем мире, и освободительно-

го, заступающего его место. Логика вещей была на стороне последнего, а выбор принадлежал царю. Фактически же этот роковой вопрос решала та среда, на которую опирался умерший государь, а теперь вынужден был опираться Николай II.

Личный состав самодержавного Олимпа нам, провинциальным деятелям, был мало знаком, но в общем мы не сомневались, что это гнездо связано не национальными, не народными, даже не классовыми интересами, а исключительно личными. Конечно, мы знали, что даже в Содоме были праведники, и не сомневались, что и в российском Олимпе имеются люди достойные всякого уважения, но, к сожалению, их влияние на общий характер дел было наименее заметно. Чтобы не быть голословным, я могу сослаться на «Воспоминания» Витте, на свидетельство человека, принадлежавшего в течение двух последних царствований к высшей бюрократии, человека несомненно наиболее даровитого, но в сфере нравственных требований и чувства человеческого достоинства стоящего не выше той среды, которую он описывает.

В общем, это — картина такой моральной распушенности и таких низких интересов, такой взаимной ненависти, такой жажды богатства и высокого положения, что ничему другому там не оставалось места кроме интриги, не останавливающейся ни перед какими средствами.

С удивительной откровенностью, доходящей до наивности или цинизма, Витте рассказывает о своих сношениях с известным кн. Влад. Петр. Мещерским, избравшим карьеру не служебную, а журналиста, пользовавшимся среди двора, аристократии и высшей бюрократии всеобщим презрением и в то же время занимавшим роль посредника, советника царей Александра III и Николая II-го. Его советы оплачивались крупными суммами из государственного казначейства для поддержания его газеты, носившей название «Гражданин»

вероятно для того, чтобы загрязнить этот титул. Свое сближение с кн. Мещерским Витте объясняет тем, что в течение двух последних годов царствования Александра III, при котором он занимал место министра финансов, на него была возложена обязанность выдавать непосредственно кн. Мещерскому по 80 тысяч рублей ежегодно на издание его газеты. Деньги эти выдавались, однако, директором государственного казначейства, а не самим Витте, а потому можно думать, что знакомство с Мещерским его заинтересовало не само по себе, а близостью этого человека к государю, который даже вел с ним переписку и очевидно с интересом читал его газету. Интерес Витте становится понятным... Сближение Александра с князем Мещерским относится к юным годам Александра, когда Мещерский был постоянным товарищем игр и общения с наследником Николаем Александровичем, скончавшимся в ранней молодости и своей смертью открывшим Александру III-му путь к престолу. По словам Витте, все, что было близко умершему брату, стало близко и Александру III-му и сделалось предметом забот всей его жизни, поэтому кн. Мещерский и попал в число людей, которых царь принимал у себя «с заднего крыльца», т.к. императрица Мария Феодоровна считала его «негодяем». Близкие люди к императору, как гр. Воронцов-Дашков и Победоносцев, отзывались о нем с презрением. Первый на вопрос Витте сказал, что «Мещерский это такой господин, с которым он не желает знаться и которому он руки не подаст», а второй объявил, что «Мещерский просто негодяй, такой грязный человек, с которым он также не желает знаться», а что «знает его с молодости». Но Витте знал, что «Мещерский аккуратно делал государю разные сообщения, т.е. посылал ему нечто в роде своего дневника, в котором писал обо всех выдающихся политических событиях. С своей стороны, император иногда тоже писал Мещерскому.» Кажется, этих

сведений достаточно, чтобы иметь ясное представление об этом публицисте, но Витте идет дальше и сообщает о нем столь скандальные сведения, что все эти достаточно известные чуть ли не всей России факты он вынужден обозначать многоточием. Любопытно в этих фактах лишь то, что друзья Мещерского, офицеры Колышко и Бурдуков, бросили свою военную службу, заняли видные места в министерствах внутренних дел и земледелия и за служебные командировки получали по несколько десятков тысяч рублей, а Бурдуков еще, кроме того, превратился даже в камергера двора Его Величества. Витте делает вид, что все эти мерзости приводят его в негодование, что, однако, не мешает ему бывать у Мещерского, принимать его приглашения на обеды и обсуждать с ним кандидатуру разных претендентов на открывающийся пост министра, даже удивляться, что Мещерский, в дружеской беседе с ним и Сипягином, выражал уверенность, что назначение министром Плеве, в случае отставки Сипягина, было бы истинным несчастьем для России. Спустя же несколько недель был убит Сипягин, и тот же Мещерский немедленно «виделся с Плеве и написал Его Величеству письмо о том, что единственный кандидат на пост министра внутренних дел есть Плеве. Действительно, через два дня после смерти Сипягина Плеве был назначен». Витте приходит в негодование от такого предательства Мещерского, с которым он сам поддерживал дружеские отношения и столь же дружески в своих воспоминаниях сообщает о нем самые позорные сведения.

Я остановился на этом рассказе Витте в виду того, что он служит достаточно полным изображением той среды, которая окружала российского самодержца. Мещерский не заслуживал бы, сам по себе, никакого внимания, если бы этот гнусный негодяй не играл такой роли при царе и не пользовался таким

влиянием, что даже принимал участие в назначении министров, камергеров и т.п.

Такова была среда, составлявшая опору императора Николая II-го, притом среда, вполне соответствующая уровню его собственных понятий, воззрений, привычек и унаследованных им традиций. Но, благодаря своему слабому характеру, своей неустойчивости и склонности подчиняться постороннему влиянию, он менял своих министров и ближайших советников так часто, что едва ли мог иметь хотя бы немногих искренних друзей. Достаточно вспомнить, что в течение его 23-летнего царствования сменилось 14 министров, представителей его внутренней политики (Дурново И.Н., Горемыкин, Сипягин, Плеве, кн. Святополк-Мирский, Булыгин, Витте, вновь Горемыкин, Столыпин, Коковцев, вновь Горемыкин, Штюрмер, Трепов, кн. Голицын). К ним следует прибавить, так сказать, параллельных руководителей внутренней политики: другого Трепова, другого Дурново П.Н. и Протопопова. Правда, из всех этих министров трое было убито: Сипягин, Плеве и Столыпин, тем не менее, для самодержавного порядка такая смена министров внутренних дел уже сама по себе представляет в скрытом состоянии революцию. Но такую же «чехарду», по выражению бывшего депутата крайней правой Государственной Думы Пуришкевича, представляла смена и министров народного просвещения (Деянов, Боголепов, Ванновский, Зенгер, Глазов, гр. И.И.Толстой, Кауфман, Шварц, Кассо, гр. Игнатьев и Кульчицкий, всего - 11).

Старый самодержавный строй видимо разрушался не только работой снизу, но и сверху, и император Николай II, провозглашая свое приятие отцовского наследства, был гораздо более «бессмысленным мечтателем», чем мы, напоминавшие о неведомых ему нуждах России.

В начале 1895 г. Дурново был заменен на посту министра внутренних дел Горемыкиным. Назначение Горемыкина на пост министра внутренних дел было принято в общественных кругах спокойно, именно в виду тех соображений, на основании которых рекомендовал его Победоносцев: его продолжительной службы в судебном ведомстве, где создается привычка к повиновению только закону. Но, как известно, министерство внутренних дел никогда не отличалось такой добродетелью, и произвол власти здесь признавался как бы законом природы этого учреждения. Вероятно, под влиянием еще старых привычек судебного ведомства, Горемыкин задумал ввести земские учреждения в Западном крае Европейской России, который был лишен этих органов местного самоуправления. На почве этого проекта Горемыкин встретил противника в лице министра финансов — С.Ю.Витте, но в плоскости не специально финансовой, а политической: опасности распространения местного самоуправления для самодержавного строя России. Другими словами, Витте брал на себя защиту русской системы самодержавного строя, которому, по его мнению, грозил проект министра внутренних дел распространением учреждений, «не соответствующих самодержавному строю государства», потому что «последовательное развитие начал его (самоуправления) неизбежно приведет к властному участию выборных представителей населения в законодательстве и в верховном управлении». В подтверждение своего взгляда Витте ссылался на историю Западной Европы.

Министр внутренних дел Горемыкин, с своей стороны, не мог оставить довода Витте без возражений, сущность которых приведена в той же книге, из которой я цитирую и соображения Витте («Самодержавие и земство». 2-ое изд. П. Струве. Stuttgart, 1903), а именно:

«1. Система местного управления не зависит от политического строя государства; 2. органы самоуправления ни по существу своему, ни по своим отношениям к верховной власти не рознятся от органов бюрократических и потому в той же мере, как эти последние, отвечают самодержавному строю государства; 3. наука права и история конституционных партий не подтверждают связи местного самоуправления с конституционным режимом; 4. история Запада не может служить примером для сравнения, ибо все германо-романские государства развивались на исторической и бытовой почве, совершенно отличной от славяно-русского мира и 5. Россия — по преимуществу страна местного самоуправления; такова она в её настоящем, таковой была всегда, останется и в будущем: самоуправление (местное), говорит записка, предуказано всем ходом нашей истории, особенностями общественного уклада России и даже географическим её расположением».

Эта полемика двух министров стала известной широким общественным кругам, благодаря появлению книги, напечатанной П.Б. Струве в Штутгарте в 1901 году под заглавием «Самодержавие и земство», и представляющей, по-видимому, труд одного или двух лиц (как утверждали, профессора демидовского лицея М.А.Липинского и чиновника, состоявшего при Витте, г. Путилова), составленный по поручению Витте и им одобренный, но предназначенный не для печати.

Разбор этой книги не входит в план моих воспоминаний, но я хочу лишь отметить, что она вызвала в обществе большой интерес к роли, которую сыграл Витте в качестве опасного врага земства и вообще местного самоуправления. Тайна, составляющая один из догматов самодержавного государственного управления, укрывала под своим покровом всевозможные деяния самодержавного Олимпа, и раскрытие тайн, относящихся к людям, не чувствующим себя достаточно

твердо в своем положении и ищущим популярности, было особенно чувствительно. Поэтому, Витте решительно отрицал авторство этой книги, в чем формально он был прав. Но он не мог отрицать существа своего спора с Горемыкиным, т.е. своего мнения о том, что самоуправление несовместимо с самодержавием и что, в конце концов, одно из них уничтожит другое: самодержавие вытеснит земство, иначе само будет вытеснено земством. Поэтому, если хотят сохранить самодержавие, не следует мешать ему делать свое дело, не следует поддерживать заговоры против него, мешая его деятельности. Однако, ни в словах, ни в действиях Витте мы не встречаем даже следов такой дилеммы. По моему убеждению, он совершенно прав, что самодержавие и местное самоуправление несовместимы, но никогда он не становился на сторону самоуправления и не брал его под свою защиту. Он был и всегда оставался покорным слугой самодержавия в стиле и во вкусе Александра III-го, но под условием, что ему лично будет предоставлена первенствующая роль. Всю свою неспособность стать на иную позицию он обнаружил в то недолгое время, когда он очутился в несвойственной ему роли — премьера первого конституционного министерства.

Защитник местного самоуправления, предполагавший распространить его на все западные губернии, Горемыкин, вероятно, был испуган протестом Витте и с тех пор сделался, можно думать, и противником земства, если судить по его отношению к земству и к земским начальникам, которых он взял под свое покровительство. А как он смотрел на самодеятельность местных людей, я узнал из собственного опыта. Когда я был, уже освобожден от ссылки, но оставался лишенным права жительства в Петербурге, мне оказалось нужным побывать в Петербурге по своим личным делам и притом на самое короткое время. Я обратился с просьбой о разрешении к

директору департамента полиции. Директор ответил мне словесно через знакомое лицо, что я принадлежу к числу немногих лиц, которым он не может дать разрешение своею властью, и предложил обратиться к министру Горемыкину непосредственно. Моя жена отправилась к Горемыкину лично, но он категорически отказал ей и объяснил, что пока я буду вмешиваться в общественные дела и в дела правительства, я не получу разрешения на въезд в Петербург. «Пусть ваш муж, объявил Горемыкин моей жене, занимается своими личными делами и не мешает в наше дело, тогда мы освободим его от всяких ограничений, а пока он не перестанет вмешиваться не в свои дела, он не получит просимого разрешения». Надо заметить, что я вмешивался только в земские дела, т.е. в дела местного самоуправления в качестве местного обывателя, но Горемыкин находил, что такое вмешательство только тогда допустимо, когда земство послушно правительству. К сожалению, я не мог исполнить такого требования. Мне оставалось еще раз убедиться, что самодержавие и самоуправление несовместимы.

Горемыкин оставался у власти до 1899 года, когда, совершенно неожиданно, 20 октября он был уволен от должности. Витте рассказывает об увольнении Горемыкина, своего врага, может быть недостаточно верно, но его рассказ интересен с точки зрения ознакомления с теми интригами, сеть которых сплетается вокруг пошатнувшихся людей, чтобы занять место, на которое всегда находится несколько претендентов.

Организация высшей исполнительной власти в самодержавном государстве представляет едва ли не самую слабую сторону такой системы управления. И в этом отношении последнее царствование дает совершенно неопровержимый материал. Назначение и увольнение не только Горемыкина, но и других министров, не исключая самого Витте, представляет

яркую иллюстрацию заключительной эпохи русского самодержавия.

Горемыкин был уволен 20 октября 1899 г. так, как увольняют негодную прислугу: его даже не предупредили о предстоящей отставке, а просто объявили в приказе, напечатанном в Правительственном Вестнике, когда Горемыкин, ничего не подозревая, путешествовал за границей. На его место был назначен в тот же день Сипягин, аттестованный Победоносцевым, обер-прокурором Синода, — дураком. По-видимому, интрига против Горемыкина исходила от в. кн. Сергея Александровича, желавшего провести на его место своего кандидата — министра юстиции Н.В.Муравьева. Против Горемыкина в. кн. выдвинул обвинение в либерализме! Нелепость такого обвинения не может подлежать никакому сомнению, но, по-видимому, легкость таких обвинений в придворно-бюрократических кругах чрезвычайно распространена. Сам Витте, передавая историю увольнения Горемыкина, обосновывается на донесении своего финансового агента, Татищева, пользовавшегося небезупречной репутацией, о том, что Горемыкин, путешествуя за границей, если сам лично не участвовал в получении от промышленных фирм промес, то знал о получении их его спутниками.

Другой случай отставки министра, еще более странный, я слышал непосредственно от гр. И.И.Толстого, бывшего министром народного просвещения в первом министерстве после Манифеста 17-го октября. Еженедельный доклад министра царь слушал, сидя спиной к докладчику и ничего не говоря. Недружелюбное отношение к докладчику становилось все более явным, в виду чего министр счел своей обязанностью спросить, приказывает ли государь ему явиться в следующий раз? Государь отвечал: «да, я выслушаю ваш доклад». Но накануне дня доклада к Толстому приехал г. Кауфман и заявил,

что он назначен министром народного просвещения. Тем не менее, приказа ни о назначении Кауфмана, ни об отставке Толстого не было. Перед собеседниками стал вопрос: которому же из них следует ехать с докладом? Толстой решил написать государю письмо с просьбой сообщить ему свое решение. В тот же день он получил ответ в виде надписи на своем письме, что он может считать себя освобожденным от своих обязанностей. Этот удивительный по своей грубости факт имел место незадолго до открытия первой Государственной Думы.

Назначение Сипягина министром внутренних дел знаменовало возвращение ультрадворянской эры, не столько агрессивной, сколько нелепой, совершенно не соответствующей настроению общественного мнения и все растущей волне недовольства среди интеллигенции, рабочего класса и даже крестьянской массы, особенно в южных губерниях, где признаки революционного брожения обнаруживались с достаточной ясностью и где в 1904 г. брожение приняло конкретные формы в виде поджогов помещичьих усадеб, уничтожения инвентаря и т.п. Такое же настроение интеллигенции обнаружилось и в известной манифестации в Петербурге на Казанской площади. Правительство Сипягиных и Боголеповых не знало иных средств против фактов, предвещавших гораздо более серьезные столкновения государственной власти с растущим сознанием народа, как нагайки, приклады, штыки, пули и ... розги для простого народа. Ответом на эти меры было убийство в феврале 1901 г. министра народного просвещения Боголепова студентом московского университета Карповичем, а 2 апреля 1902 г. Сипягина, убитого студентом Балмашевым.

Я был в Москве в губернской земской управе, по её приглашению, для обсуждения вопросов, если не ошибаюсь, связанных с учреждением правительственного Комитета «о

нуждах сельскохозяйственной промышленности». Московская губернская управа желала обсудить и, по возможности, объединить отношение земства к этому вопросу. Как раз во время его обсуждения было получено в управе известие из Петербурга об убийстве Сипягина. Ничтожность этого человека была общеизвестна, особенно в Москве, где он был одним из уездных предводителей дворянства, а потом губернатором. Сипягин был убит Балмашевым в вестибюле подъезда Мариинского дворца, куда министр прибыл в заседание комитета министров. Не знаю, многие ли в Москве пожалели его при получении известия о его убийстве, но в заседании губернской земской управы никто из присутствовавших не выразил сожаления, а все заинтересовались вопросом, кто будет преемником Сипягина? У нас, в России, министерство внутренних дел делало внутреннюю политику правительства и фактически заменяло премьера западно-европейского министерства. В нашем самодержавно-полицейском государстве министр, в руках которого сосредоточена вся полицейская власть, и был фактическим представителем полицейского государства. Сипягин был у власти около 2½ лет, (с октября 1899 до апреля 1902. г), но проявил собственную инициативу только в отделке министерской квартиры на Фонтанке, не жалея казенных денег. «Политика» его министерства была продолжением политики его предшественника Горемыкина, несмотря на все усиливающееся недовольство в стране, о котором он едва ли мог иметь ясное представление, пока оно не приняло формы открытого террора и убийства Боголепова.

Назначение Плеве, после убийства Сипягина, министром внутренних дел никого не удивило, никого не испугало и не остановило того общественного движения, которое развивалось, так сказать, органически и закономерно, предоставляя

инициативу и руководящую роль существующим общественным организациям земства и городов.

Выше я уже упомянул о правительственном Комитете «о нуждах сельскохозяйственной промышленности». Слухи о таком Комитете уже давно ходили в земстве, но после Кахановской комиссии, — затеянной во здравие и законченной за упокой России, — правительственные комиссии и комитеты утратили в обществе всякий кредит и ими никто более не интересовался. Не интересовались и новым комитетом в виду того, что во главе его стоял Витте, министр финансов, который только что провел в Государственном Совете закон о предельности земского обложения, еще теснее сузивший источники средств, и без того недостаточных, для удовлетворения нужд земств, т.е. главным образом, крестьянства. Этот продукт творчества Витте не столько умалял средства земства, сколько увеличивал власть губернаторов и состоящих при них, послушных их воле «губернских по земским делам присутствий», от которых зависело утвердить или отвергнуть земский бюджет, превысивший трехпроцентное увеличение обложения предшествующего года. Бесспорно, земское обложение земли достигло весьма тяжелого положения, но не следует забывать, что круг предметов, обложение которых было предоставлено земству, был стеснен до последней возможности. В промышленности обложению могли подлежать здания и машины, но не её доходы; в торговле — только патенты, но не доходы; земля же облагалась не только земством, но и государственным налогом. Если министр финансов находил обложение слишком тяжелым, то, казалось бы, прежде всего следовало бы освободить землю от государственного налога. По данным, относящимся к тому времени (1901 г.), имеющимся у меня под рукой, земский сбор с земли и лесов составлял 53% всего обложения по всем земским губерниям; сбор с фабрик, заводов и торговых

помещений 10,5%, с городских недвижимых имуществ 6,3%, и весь доход земств 34 губерний не превышал 88.891.500 руб., из коих около 6 миллионов земство должно было выдавать правительству на содержание некоторых правительственных учреждений, тогда как на содержание всего собственного управления оно тратило не более девяти миллионов. Все же остальные расходы шли на удовлетворение местных нужд: на устройство дорог и т.д., т.е. на удовлетворение таких нужд населения, без которых никакое культурное развитие страны невозможно. Стесняя до крайних пределов расходы земства на культурные потребности массы населения, министр финансов в то же время не стеснялся собирать с населения доходы, далеко превышавшие бюджетные расходы, так как находил, что самодержавное государство не может обходиться без большой наличности свободных остатков, достигавших огромных сумм и составлявших свободный остаток в полмиллиарда рублей. И это делалось в то время, когда у земства не было средств строить школы, платить жалованье учителям и делать пути сообщения проездными. Стесняя земство, он не без зависти смотрел на бюджеты Франции и Англии, которые при населении в три раза меньше населения России имели бюджет вдвое или втрое больше русского бюджета.

Теперь мы можем безошибочно разобраться в мотивах, руководивших его планами и действиями, благодаря появлению в печати его «Воспоминаний». В этих «Воспоминаниях» (т. I, стр. 465) Витте излагает письмо, представленное им Николаю II в октябре 1898 г., о необходимости довершить крестьянскую реформу, дав крестьянам недостающие им права и защитив их от произвола земства, «которое устанавливает сборы без всякого влияния правительства».

По-видимому, Горемыкину удалось на некоторое время парализовать выдвигаемый Витте план организации комитета

по крестьянскому вопросу, так как «Особое Собрание» по плану Витте было учреждено только в 1902 году по представлению Сипягина, который устроил и назначение Витте председателем его. Тем не менее, вопрос об ограничении прав земства в увеличении обложения был проведен в Государственном Совете отдельно и поставил земство в еще большую зависимость от администрации.

«Особое Собрание о нуждах сельскохозяйственной промышленности» было открыто 22 января 1902 года в составе следующих лиц: гр. Воронцова-Дашкова, генерала Чихачева, Герарда, обер-гофмаршала кн. Долгорукова, гр. Шереметева и других столь же сведущих в крестьянском деле царедворцев, и также министров внутренних дел (сначала Сипягина, потом Плеве) и финансов. Само собою разумеется, что такой бюрократический состав оправдывал вполне то недоверие, которое он всем внушал, но тем не менее, общество видело в губернских и уездных Комитетах почву, предоставлявшую ему возможность выступить с критикой существующего положения при участии самих крестьян, представители которых могли быть допущены в Комитеты, открытые и для посторонней публики.

Несмотря на то, что в России главнейший экономический ресурс есть сельское хозяйство, оно никогда не пользовалось особым вниманием русского государства. До освобождения крестьян сельское хозяйство оставалось вне забот правительства, будучи всецело предоставлено помещикам. Поэтому, отечественное сельское хозяйство вплоть до освобождения крестьян, за редкими исключениями, оставалось в первобытном состоянии. Сыновья сельских хозяев предпочитали образование, которое давали кадетские корпуса и манежи, образованию в сельскохозяйственных академиях, которых поэтому и не учреждали, тогда как на учреждение кадетских корпусов

жертвовали большие средства. Так были учреждены кадетские корпуса: Неплюевым в Оренбурге, Бахтиным — в Орле, дворянством Юго-Западного края — в Киеве. Освобождение крестьян с землею, хотя и в недостаточной мере, и развитие сети железных дорог к границам морским и сухопутным дало огромный толчок сбыту сырья и в том числе продуктов сельского хозяйства, ставших опорой государственного торгового баланса и устойчивости денежного курса. После своего участия в заключении первого торгового договора с Германией, Витте считал себя достаточно сильным авторитетом в то время, когда срок договора истекал и когда возникало в Германии движение аграриев в пользу пересмотра торгового договора и повышения тарифа на русское зерно. Кажется, именно это обстоятельство дало Витте мысль, в ответ на германскую агитацию, устроить свою русскую агитацию, на которую он мог бы в будущем, когда дело дойдет до пересмотра торгового договора, опираться в свою очередь. В этих видах Витте, в качестве министра финансов, создал в 1902 г. комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности.

Однако, во время пересмотра германского договора обстоятельства очень изменились: во-первых, руководящим мотивом с русской стороны оказались не интересы сельского хозяйства и государственного баланса, а необходимость устроить денежный заем на германском рынке и получить, по случаю неудач в войне с Японией, обеспечение западной границы России со стороны Германии, а во-вторых, Витте уже не был министром финансов, а занимал маловлиятельное место председателя комитета министров и, хотя был представителем России при заключении второго торгового договора, но уже не пользовался тем авторитетом у императора Николая II, каким пользовался у Александра III-го. Поэтому, мнения сельскохозяйственных комитетов не получили никакого значения при

пересмотре договора. Нельзя, однако, отрицать, что они имели другое, исключительно общественное значение, дав возможность высказаться всему населению, без различия сословий и общественного положения, по целому ряду вопросов экономических, социальных и политических.

Хотя эти комитеты были организованы бюрократически (уездные — под председательством уездных предводителей, а губернские — губернаторов), но в уездные комитеты, если не повсеместно, то во многих местах, допускались представители разных кругов и интересов, с возможностью почти полной свободы мнений. Лично я участвовал, как земский гласный и как местный землевладелец, в Новоторжском комитете, которому я представил обширный письменный доклад, послуживший базой для всех дальнейших прений и решений. В комитете принимали участие не только землевладельцы, но и много крестьян, представителей волостей, а также горожан-купцов и промышленников. В другом месте я уже приводил мнение крестьян, что для них, как главных производителей сельскохозяйственной промышленности, прежде всего и более всего необходимо освобождение крестьянства от «опеки земских начальников», этого «нового вида крепостного права», «цепи, от которой оно было освобождено только для того, чтобы быть снова прикованным к земле под надзором чиновников» и т.д. Страстная речь, не лишенная своеобразного красноречия, представителя Пречисто-Каменской волости встретила горячую поддержку волостного старшины и многих крестьян, присутствовавших в заседании комитета, некоторых в качестве делегатов волостей и многих в качестве публики. Трудно было бы ожидать от крестьян, вовсе не знакомых с теми задачами, которые возлагались на комитеты в видах государственной экономической и финансовой международной политики, ответа, который был желателен министерству финансов. Но

нельзя не признать, что наболевшие нужды главных производителей сельского хозяйства имели свои основания быть принятыми во внимание правительством, и тем более, что в самом наименовании комитетов заключалась вся программа вопросов, предложенных на обсуждение. Если у правительства были свои цели при образовании комитетов, то у сельских производителей были свои нужды, и между теми и другими должно было установить соответствие.

Мой доклад был принят уездным и передан в губернский комитет, состоявшийся под председательством губернатора, кн. Голицына, впоследствии последнего премьера последнего императора. Я был избран в числе делегатов от Новоторжского уезда в губернский комитет и отправился в Тверь. При открытии заседания нам были розданы материалы, подлежащие обсуждению, но в числе их не было моего доклада. По этому поводу я обратился к кн. Голицыну с вопросом, полагая, что губернский комитет, а тем более его председатель своею собственной властью не вправе устранить от обсуждения доклад, поступивший не от меня, а от уездного комитета. Голицын вилял и уклонялся от прямого ответа. Затем он обратился ко мне с просьбой зайти к нему вечером, чтобы поговорить, не соглашусь ли я изменить некоторые места доклада или совсем вычеркнуть. Я отправился к нему в сопровождении своих товарищей по новоторжской делегации. Голицын настаивал на исключении некоторых мест; мы находили, что доклад выражает не только мое мнение, но мнение новоторжского комитета и мы не считали себя в праве его изменять по своему произволу. Наш спор продолжался очень долго; мы вместе снова перечитали весь обширный доклад и не пришли ни к какому соглашению. Голицын объявил нам, что, как губернатор, он не может допустить к обсуждению доклад и представит

его на усмотрение министерства. После этого мы покинули губернский комитет и уехали из Твери.

Впоследствии В.И.Покровский, пересматривавший все тома мнений губернских комитетов в печатном издании министерства, в Трудах тверских комитетов доклада новоторжского не нашел. Очевидно, либо кн. Голицын не представил в министерство новоторжского доклада, либо министерство не желало ознакомить публику с этим докладом.

Как известно, через два месяца после открытия Особого Сопровождающего под председательством Витте, Сипягин был убит и его место занял Плеве, одно имя которого предвещало полное крушение плана Витте, а вместе с тем и крушение самого автора, совершенно неожиданно получившего отставку от должности министра финансов и, в виде компенсации, переведенного на место председателя комитета министров, должность, которую сам Витте называл почетной ссылкой, но от которой отказаться не имел ни мужества, ни достоинства. Правда, увольнение Витте далось его врагу не сразу и потребовало полтора года, но дело Витте было заранее проиграно, и он сам понимал это, драпируясь в плащ Бисмарка, бескорыстного защитника своей родины, в строительстве которой участвовали и его «благородные предки». В деле интриги и всякой подлости Плеве был искуснее и смелее, хотя размах его не отличался честностью русского Бисмарка. Витте удовлетворяется чванством, что его посылают заключать торговый договор с Германией в 1904 году, во время войны с Японией, и подписывает замену первого договора, уступая Германии все достоинства и выгоды покровительства отечественному земледелию ради получения займа для продолжения войны. Плеве выбирает более практический путь; он всеми способами устраивает открытие мощей Серафима Саровского и вступает в круг тех лиц, которые являлись ближайшими исполнителями воли и

желаний царя и царицы. Плеве знал, что для личного успеха в то время вернейшим средством было прибегнуть к покровительству святых. И, получив назначение, он немедленно отправился в Троицко-Сергиевскую Лавру для поклонения мощам св. Сергия Радонежского, к тому же патрона в. к. Сергея Александровича, женатого на сестре императрицы. Поляк по происхождению, Плеве стал теперь «истинно» русским; католик по рождению, теперь он «истинно» православный; вчера — правая рука Лорис-Меликова, сторонник реформ и удаления гр. Д.А. Толстого из министров народного просвещения, сегодня он вместе с гр. Д.А.Толстым — сторонник ежовых рукавиц, а завтра будет устраивать погромы, пороть крестьян и служить молебны Серафиму Саровскому. Его будущее было также ясно, как известно и его прошедшее.

В 1902 году я отправился в Тверь на очередное губернское земское собрание. Здесь я встретился с П.Б.Струве, высланным из Петербурга по поводу демонстрации на Казанской площади. Он хлопотал о разрешении ему выехать за границу. Положение поднадзорного в Твери ему вовсе не улыбалось, и он решил, если не получит разрешения, уехать самовольно, т.е. бежать и превратиться в эмигранта. Каждый день, когда я бывал свободен от занятий в собрании или в комиссии, он заходил ко мне в гостиницу; нередко в это же время приходил Александр Александрович Бакунин, и мы толковали о том же, что составляло тему наших бесед в Москве, в кружке Вернадского, Шаховского, Корнилова, Новгородцева и других, все о том же, о политическом положении России, о необходимости создать свободную прессу за границей для борьбы с правительством, внутренняя политика которого становилась все более произвольной, вызывающей и поддерживающей невыносимое положение, которому должен быть положен конец введением представительного государственного порядка. По этому поводу в

нашем московском кружке происходило немало споров, и в то время, как я защищал необходимость ставить вопрос о конституции и парламенте, Шаховской поддерживал идею земского собора, впрочем, недолго, — и все мы сошлись на конституции и парламенте, что и имелось в виду поставить в основу программы предполагаемой газеты. Естественно, что вслед за этим возник вопрос о редакторе этого заграничного органа и сразу были названы два имени: Милюкова и Струве. Павел Николаевич Милюков, изгнанный из московского университета, где он читал лекции по кафедре русской истории, якобы за возбуждение студентов, и интернированный в Рязани, затем отпущенный в Болгарию читать лекции по всеобщей истории в Софийском университете, и удаленный из этого университета по интриге русского посланника, — недавно возвратился в Россию и занял по праву положение блестящего публициста и историка. Как ни желательна была его редакция газеты, которой предназначалась роль «Колокола», мы решительно были против того, чтобы обречь Милюкова на судьбу Герцена, т.е. обречь на пожизненную эмиграцию и лишить самих себя такого огромного таланта, которому может предстоять крупная роль в борьбе с правительством за свободу России.

Что же касается П.Б.Струве, вопрос оставался открытым до личных переговоров с ним, когда все другие стороны вопроса об издании газеты, как образование необходимого капитала, выбора места издания, времени и т.п., будут обсуждены и решены. Встреча с П.Б.Струве в Твери выяснила то обстоятельство, что, не получив паспорта, он решил, тем не менее, уехать без него, несмотря на то, что самовольное оставление России отрезало ему возврат и превращало его в эмигранта. При таких условиях вопрос о редакторе разрешался как бы автоматически. И действительно, Струве уехал из Твери за границу в Штутгарт. Дальнейшие переговоры с ним вели,

если не ошибаюсь, Д.И.Шаховской и Н.Н.Львов уже в Штутгарте, где решено было издавать газету. Туда же были доставлены денежные средства в размере около 100 тысяч рублей, собранные в среде друзей, проникнутых общей мыслью о необходимости борьбы за конституцию.

Ранней весной 1903 года к нам в Машук приехал П.Н. Милюков с женой Анной Сергеевной, и здесь написал программную статью, которая должна была выяснить задачи и направление как газеты «Освобождение», так и той группы, которая ее основала с целью борьбы с самодержавием. К сожалению, у меня нет под рукою этой газеты и я не могу записать в мои воспоминания выдержки из этой статьи, несмотря на все мое желание. Весною же было решено со Струве устроить в течение лета съезд группы, поддерживающей «Освобождение» деньгами или статьями. Выбор места и времени для съезда был предоставлен Петру Бернгардовичу, который и избрал Шварцвальд и июль; более же точные подробности были оставлены до сбора членов.

Мы с женой покинули Машук в самом начале июля и направились через Берлин и Франкфурт-на-Майне во Фрейбург-Брейсгау, где мой сын Александр Иванович состоял ассистентом у известного профессора зоологии Вейсмана. Сына я не видал со времени его отъезда из Москвы, которую он покинул поневоле. Окончив университет, он был оставлен профессором Тихомировым при университете в качестве ассистента для подготовки к профессуре. Во время студенческих беспорядков, очень обычных в наших университетах, ректор, тот же проф. Тихомиров, позволил себе такое отношение к студентам, что мой сын не выдержал и написал ректору письмо с осуждением его поведения, после чего ему ничего более не оставалось, как отказаться от чести быть ассистентом проф. Тихомирова. Александр Иванович уехал за границу, в

Баденский Фрейбург к проф. Вейсману, выдержал там докторский экзамен и был принят в число его ассистентов. Как раз в 1903 году весной он женился на студентке фрейбургского университета, американке, Ванде Hartshorn, и мы были очень рады познакомиться с новым членом нашей семьи, тем более, что в их планах была мысль отправиться на родину молодой жены, в Америку, так как в Германии получить профессию, несмотря на содействие Вейсмана, было едва ли возможно. Наш приезд во Фрейбург ознаменовался очень неприятным приключением. Когда поезд подходил к перрону, мы увидели на нем сына с женой, ожидавших нас. Мы поспешили выйти из вагона, но при выходе были стиснуты толпой пассажиров. Пока мы были заняты радостью встречи, поезд ушел, а вместе с ним уехали и карманники, вытащившие у меня из кармана портфель с деньгами, паспортом и разными бумагами; к счастью в портфеле денег было не много, около 300 марок, но потеря паспорта и некоторых бумаг были очень неприятны. Вместе с сыном мы отправились в полицию и заявили о происшествии, но нам объяснили, что воры уже в Швейцарии и мало надежды, что дело можно поправить.

Во Фрейбурге мы пробыли, сколько помнится, дней 10 и получили сообщение, что сбор участников съезда назначен в Шаффхаузене, где мы найдем Дмитрия Евгеньевича Жуковского, распорядителя съезда, у которого мы узнаем все дальнейшие подробности. Здесь был установлен состав съезда. Прибыли от земцев: кн. Д.И.Шаховской, кн. Петр Дм. Долго-руков, Ф.И.Родичев, В.И.Вернадский, Н.Н.Львов, С.А.Котляревский, Н.Н.Ковалевский, Д.Е.Жуковский, А.С. и И.И.Петрункевичи, всего — 10 лиц; от неземцев: П.Б.Струве, П.И.Новгородцев, С.Н.Булгаков, И.М.Гревс, В.В.Водовозов, Б.А.Кистяковский, Н.А.Бердяев, С.Л.Франк, С.Н.Прокопович, Е.Д.Кускова, всего также — 10. Таким образом, собралось 20

лиц, если я не пропустил кого-нибудь, запомнявав, что весьма возможно, так как с того времени прошло уже 19 лет. По сообщению Жуковского и Струве, съезд должен был продолжаться, если ничего не изменится, три дня и произойти в первый день — в Зингене, второй день — в Клостерлее, и третий — в Хорб-ам-Неккаре недалеко от Констанца, где взяты были помещения в демократических трактирчиках с платою не за помещение, а за все, что будет съедено и выпито.

Несмотря на то, что все это происходило так давно, я не могу, вспоминая эти дни, не испытывать чувства, пережитого тогда и оставившего в моей душе глубокий след надежды и веры в будущее. Тут сошлись далеко не сходные ни по своим убеждениям, ни по своему прошлому люди, которых объединяли, именно, надежда и вера, и в наших несогласиях и спорах не звучали ноты вражды и непримиримости.

Самый важный вопрос, который разделял нас, был вопрос об организации партии или союза, и большинством голосов при том довольно значительным вопрос был решен в пользу союза, т.е. образования отдельных групп, сохраняющих свою программу, но связанных основной задачей и основным методом борьбы, которые устанавливаются собранием всех групп, входящих в состав союза через своих делегатов. Все земцы и сверх того все неземцы, ставшие спустя два года членами конституционно-демократической партии (к. д.) голосовали за образование союза, а не партии, полагая, что только при сохранении самостоятельности групп, имеющих более или менее существенное различие, можно сохранить единство действий в наиболее важные и ответственные моменты. События оправдали организацию союза, который, превратившись в Союз Союзов, сделал возможной, так называемую, всеобщую забастовку и манифест 17-го октября.

Как и было предположено, съезд закончился в Констанце, на берегу Боденского озера. Но несколько участников съезда: Струве, Долгоруков, Львов, Шаховской, Родичев и я с женой из Констанца на пароходе отправились на следующий день в Линдау, где должны были встретиться с Панкеевым, одним из богатейших землевладельцев и овцеводов Херсонской губернии, обещавшим внести на издание газеты «Освобождение» значительную сумму денег. Панкеева мы встретили, но его переговоры с Струве, сколько я помню, не дали никаких существенных результатов, и мы снова на пароходе переехали Боденское озеро поперек в Роршах, на швейцарском берегу, где и расстались: одни направились в разные места Швейцарии, а мы с женой прямо через Шварцвальд во Фрейбург, чтобы забрать сына с его женой, которые должны были ликвидировать свои дела в Германии и вместе с нами ехать в Россию, а оттуда в Америку.

Собираясь возвратиться в Россию, мы вспомнили, что у нас украден паспорт и что, если он вовсе не нужен в Западной Европе, то в Россию нас не впустят без паспорта. Мы обратились поэтому к русскому посланнику в Великом Герцогстве Баденском, отдыхавшему от своих тяжелых трудов в летние месяцы в Баден-Бадене, с просьбой выдать нам какое-нибудь удостоверение, которое давало бы нам пропуск в Россию. К своей просьбе мы приложили удостоверение фрейбургской полиции. Как известно, однако, царская дипломатия за границей никогда не благоволила к своим соотечественникам. Баденский посланник не был исключением из общего правила, и я получил категорический отказ, мотивированный соображением, что я должен обратиться к тверскому губернатору, от которого был выдан украденный паспорт. Спор был бесполезен: русские посланники считали себя выше таких мелочей, как защита интересов подданных русского государства, пребыва-

ющих за его границей. Я послал телеграмму тверскому губернатору с уплаченным ответом: ответа никакого. Что оставалось делать? Очевидно, положиться на русское «авось» и ехать без всякого вида. Из Фрейбурга мы выехали вчетвером на Форарльберг, т.е. через Брегенц, Инсбрук, Зальцбург, имея в виду заехать на Кёнигсзе. Для того, чтобы видеть всю эту дорогу, одну из красивейших альпийских дорог, мы заночевали в Инсбруке и приехали днем в Зальцбург. Тут мы провели несколько дней, и я решился еще раз попробовать телеграфировать тверскому губернатору. Результат тот же, никакого ответа. В Зальцбурге наш путь с сыном разделился: он с женой взяли курс на Волочиск и Киев, а мы с женой на Александрово, Варшаву, Вязьму и Торжок, куда я должен был поспеть на земские выборы. Подъезжая к Александрову, мы шли, как говорят «наудалую». Вот и граница, переехали ее, остановились у станции, ждем появления жандарма, отбирающего паспорта.

— Пожалуйте ваш паспорт, — обращается ко мне жандарм.

— У меня нет никакого паспорта; я его потерял.

— Вы — господин Петрункевич и это ваша супруга? -Да.

— Получена телеграмма от тверского губернатора о вашем пропуске. Пожалуйте в таможду с вещами.

Все устроилось лучше, чем мы могли ожидать, и тверской губернатор оказался любезнее баденского посланника.

Полицейский характер Плеве, конечно, не мог оставаться равнодушным к общественному движению, которое проявлялось в разных местах в России, преимущественно в земстве. Он понимал, что местные самоуправления, являющиеся единственными организованными учреждениями, располагающими значительными средствами для борьбы с правительственной

системой управления, представляют для последнего несомненную опасность, которую надо было, во что бы то ни стало, раздавить. В этих видах, он обратил свое внимание на две губернии, которые, как он полагал не без основания, играли роль запевал: губернии московскую и тверскую, особенно последнюю, с давних пор пользовавшуюся репутацией неблагонамеренной и беспокойной. Закрыв деятельность комитетов о нуждах сельского хозяйства, он убрал из Твери бездарного губернатора, кн. Голицына, и посадил на его место начальника московской синодальной конторы, кн. Ширинского-Шихматова, ничтожность которого была, как видно, наследственной фамильной чертой. Сверх этой меры, была по высочайшему повелению назначена ревизия московского и тверского земств. Ревизия московского земства была поручена товарищу министра Н.А.Зиновьеву, а тверского возложена на директора департамента общих дел Б.В.Штюмерера, в 1891-2 годах бывшего по назначению правительства председателем тверской губернской земской управы, а затем губернатором последовательно в Новгороде и в Ярославле; сверх того Штюмерер был землевладельцем Кашинского и Бежецкого уездов Тверской губернии, словом, — человек хорошо известный в губернии.

Ревизия производилась в 1903 году, причем Штюмерер не решился производить ее собственными силами и пригласил себе в помощники бывшего профессора ярославского юридического лица (по свидетельству Витте, — сын еврейского одесского раввина), Гурлянда, обнаружившего свои таланты не только в ревизии тверского земства, но и позднее, когда он занимал видное положение в министерстве внутренних дел. В главе XIII-й я уже рассказывал в общих чертах о тверской миссии этих двух сиамских близнецов, связанных духовными и душевными свойствами их природы. Штюмерер уступал своему товарищу по силе ума, но по душевной подлости ни тот, ни

другой не могли ни уступить друг другу, ни превзойти один другого.

Последствия обеих ревизий известны: избрание московским земством Дмитрия Николаевича Шипова, много лет бывшего председателем губернской земской управы, вновь на ту же должность, не было утверждено министром внутренних дел, несмотря на все уважение, которым пользовался Шипов не только во всей Москве и всей московской губернии, но и во всей земской России, ценившей его знания, его ум, прямоту и благородство характера. В Тверской губернии ревизия закончилась более крутыми мерами: губернская земская управа и её председатель В.Д. фон-Дервиз и члены: Н.К. Милуков, г. Тиц и барон Вревский были отставлены и на их место были назначены правительством: председателем управы г. Засядко, (председатель Плоцкой казенной палаты) и два члена, по указанию губернатора, из состава губернского земства. Г. Засядко, никогда раньше не принадлежавший к земству и не работавший в нем, начавший свою службу по министерству финансов в должности податного инспектора по протекции всесильного кн. В.П.Мещерского и по той же протекции назначенный г. Витте председателем казенной палаты в Плоцке («Воспоминания» т. X, стр. 523), по желанию того же кн. Мещерского был назначен министром внутренних дел Плеве председателем тверской губернской управы. В 1905 г., по свидетельству Витте, г. Засядко был уже самарским губернатором, и хотя Витте уволил его от этой должности, но как только Витте был заменен Горемыкиным, г. Засядко был назначен, по ходатайству кн. Мещерского, губернатором в одну из губерний Царства Польского.

Еще более строгие меры были приняты относительно Новоторжского земства, которое было упразднено, а уездная земская управа — отставлена. Для ведения текущих земских

дел была назначена особая комиссия в составе председателя Д.Н.Дубасова и двух членов, кн. Оболенского и, если не ошибаюсь, г. Карякина. А сверх всего этого, земские гласные Михаил Павлович Литвинов, Александр Ильич Бакунин и я были высланы из пределов Тверской губернии.

27-го января 1904 г. Япония объявила нам войну, к которой Россия совершенно не была подготовлена, несмотря на вызывающее пренебрежение к настойчивым требованиям Японии. Не было подготовлено к войне и русское общественное мнение, хотя слухи о каких-то русских концессиях на р. Ялу в Корее уже раньше ходили и связывались с именами великих князей и других лиц из придворного круга: камергера Безобразова, адмирала Абазы и прочих. Захват Порт-Артура, в подражание захвату Германией Киао-Чао, тем менее мог вызвать патриотические восторги, что германская дружба и сотрудничество в зазорной и вызывающей политике вместе с Германией не пользовались популярностью ни в «сферах» (как называли придворные круги), ни в печати, ни в общественных кругах, мало вообще интересовавшихся внешней политикой, но после боксерской экспедиции в Китай и постройки железной дороги в Порт-Артур, начинавших понимать, что этот отдаленный Порт может оказаться нашей ахиллесовой пятой. К тому же газетные сообщения очень скоро выяснили истинный смысл концессий на Ялу, приобретенных высокопоставленными авантюристами, ведущими свою личную азартную игру за счет русских государственных интересов, рискуя, в случае проигрыша, уплатить японцам русской кровью. Имена великого князя Александра Михайловича, камергера Безобразова, адмиралов Алексеева и Абазы стали повторяться из уст в уста, и нельзя сказать, чтобы эти имена сопровождались лестными эпитетами, как только война стала фактом и когда она день за днем стала обнаруживать все легкомыслие правительства и

всю неподготовленность войны, которую надо было вести за девять тысяч верст, куда вела одноклейная дорога, не приспособленная для переброски военных сил, снаряжения и продовольствия.

К числу подстрекателей войны в общественных кругах причисляли и министра внутренних дел Плеве, типичного русского бонапартиста, находившего нужным гасить внешней войной недовольство общества внутренней политикой. Общество оказалось правым, т.к. Витте приводит в своих «Воспоминаниях» разговор Плеве с генералом Куропаткиным, бывшим против войны: «вы внутреннее положение России не знаете, говорил Плеве; чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». И война была признана необходимой.

Встревоженное общественное мнение не только интеллигентных кругов, но и народной массы пытались успокоить рассказами о «макаках», маленьких человечках с внешностью обезьян, неспособных ни к какой самостоятельной творческой работе и бессильных устоять перед такой могущественной державой, как Россия, с её солдатами-героями, с её образованным командным составом, с армией, еще недавно завоевавшей весь Туркестан, освободившей славян от турок, показавшей всю свою силу, усмиряя китайских боксеров. Мы с женой, находясь после высылки из Тверской губернии временно в Крыму, наслушались не мало на эту тему убедительных рассуждений русского генерала, служившего в гвардии, а теперь живущего на покое в своем имении на южном берегу Крыма⁹. Он очень не любил «макак». В его полку было два, прикомандированных для изучения службы, японских офицера. Оба они

9 Он был убит в Крыму большевиками в 19 г.

были очень исполнительны и точны в исполнении поручений своих начальников, но, по словам генерала, совершенно лишены способностей самостоятельно мыслить. Свое наблюдение над двумя офицерами он обобщал и распространял на всю японскую армию, и ни минуты не сомневался, что «макаки» получают хороший урок от России, которой принадлежит и будет принадлежать, как могущественнейшей восточной державе, неоспоримое господство на азиатском Востоке. Парадный генерал, смотревший на события через придворные очки, по-видимому не сомневался в победе. Но самообольщение от ожидаемых легких побед рассеялось как дым, когда было получено известие, что броненосец «Петропавловск», с главным командиром флота в Порт-Артуре, адмиралом Макаровым, 31 марта 1904 года, т.е. через два месяца после начала войны, японцами был пущен ко дну. Я живо помню, какое впечатление произвела на нас эта весть, доставленная нам в Гаспру одной нашей знакомой, нарочито для этого приехавшей к нам. За этой вестью следовали новые: потопление других кораблей порт-артурского флота и начавшаяся осада Порт-Артура, отрезанного со всех сторон от России. Сразу война приняла грозный характер, и военная подготовленность Японии обнаружилась с полной ясностью. Началась спешная отправка войск со всех концов России, сопровождавшаяся благословением отправляемых иконами самим императором, который появлялся для этого во всех пунктах отправления. Этот необычный способ снаряжения войск иконами вызвал разные шутки и между прочим остроу старого генерала Драгомирова: «Японцы нас бьют пушками, а мы их будем бить иконами». По-видимому, это оружие в борьбе с язычниками считалось в «сферах» самым действительным. Тем не менее, генерал Куропаткин, главнокомандующий нашими тремя армиями, после не удавшейся под Тюренченом попытки осво-

бодить Порт-Артур, потерпел тяжкое поражение при Ляояне и вынужден был начать отступление на север, к Мукдену. Порт-Артур был предоставлен своей судьбе, хотя на его выручку решили отправить балтийскую эскадру под начальством адмирала Рождественского, а в догонку ему — другую эскадру балтийского же флота под начальством адмирала Небогатова, состоявшую, как тогда повсюду говорили, не из боевых судов, а из калош, в которых можно ходить только по «Маркизовой луже». Путь этих обреченных эскадр был очень длинен... Мы с женой были в Париже осенью 1904 года, когда в газетах появилось известие о прохождении эскадры адмирала Рождественского около мелей в Немецком море на высоте английского города Hull, где эскадра, приняв ночью лодки английских рыбаков за японские миноноски, потопила рыбацью лодку. В Англии, стоявшей за спиной Японии, этот случай произвел большое волнение, раздутое газетами до размеров важного события. Французские газеты, напротив, старались объяснить ошибку оплошностью рыбаков, не ответивших на сигнализацию военного судна. В конце концов, случай этот закончился благополучно, но остановка эскадры близ о-ва Мадагаскара в ожидании тихоходной эскадры Небогатова, заранее обрекала Порт-Артур на капитуляцию. Странствование этих эскадр, бой у Цусимы 15 мая 1905 г. и гибель почти всех наших кораблей, потопленных эскадрой японцев, обладавших всеми преимуществами боеспособности, превосходно описана одним из участников боя, взятым японцами в плен вместе с адмиралом Рождественским, капитаном Семеновым. Из этого описания было ясно, что это был не только проигранный морской бой, но полная утрата русского военного могущества, которое было уже разгромлено при Мукдене, где встретились армии — наша и японская и где мы потерпели полное поражение. По поводу этого поражения Витте рассказывает, что

«Государь по свойственному ему оптимизму ожидал, что Рождественский перевернет все карты войны. Ведь Серафим Саровский предсказал, что мир будет заключен в Токио, значит только одни жиды и интеллигенты могут думать противное». (т. I, стр. 345).

В объяснение этого замечания Витте я вспоминаю, что в 1906 г., во время заседаний первой Государственной Думы, бывший при Плеве директор департамента полиции А.А.Лопухин мне рассказывал курьезную историю, по-видимому, относящуюся к «предсказанию» Серафима Саровского. По словам Лопухина, однажды, во время пребывания царской семьи в Москве, где она говела и встречала Пасху, к нему прибыл курьер из Москвы с требованием от министра двора немедленно разыскать в делах департамента предсказание о войне с Японией Серафима, открытие мощей которого последовало в 1903 году. Пересмотрев все, что могло относиться к этому событию, Лопухин ничего похожего не нашел, о чем немедленно им было сообщено министру двора. Вслед затем, был прислан второй курьер с указанием, что предсказание надо искать в архиве департамента, в деле тамбовского помещика, если не ошибаюсь, Мотовилова, записавшего это предсказание со слов еще здравствовавшего Серафима. По этому указанию в архиве, действительно, было найдено дело Мотовилова и в нем на особом листе запись предсказания. Лопухин, как он говорил мне, не мог обстоятельно познакомиться с найденным документом и только бегло просмотрел его и передал пакет курьеру, которому было приказано возвратиться с первым отходящим поездом. Признаться, я усомнился тогда в том, что Лопухин не успел прочесть как следует этот любопытный документ, подделка которого была слишком ясна и рассчитана на суеверие царя и царицы. При том документ, вероятно, был не слишком длинен, чтобы не успеть его прочи-

тать. Возможно, что Лопухин боялся моей нескромности и что я могу воспользоваться своим сведением в Государственной Думе. Можно думать, что Витте был осведомлен и о подробностях предсказаний, о которых сам Серафим и помещик Мотовилов и понятия не имели, ибо не могли предвидеть войны Японии с Россией. Грубость подделки была так очевидна, что можно только удивляться смелости этой аферы и непроходимому невежеству царя и царицы, которых было так легко поймать на эту удочку.

А пока правители России возлагали свои надежды на Серафима Саровского, развал в армии достиг такой степени, что командир, кажется, второй армии, генерал Гриппенберг, бросил свою армию и без разрешения главнокомандующего уехал в Петербург, где его приняли не как дезертира и не расстреляли, а обласкали и успокоили. Также первоначально обласкали генерала Стесселя, сдавшего японцам в декабре 1904 г. Порт-Артур, который еще мог защищаться. Также помиловали адмирала Небогатова, сдавшего свою эскадру японцам и приговоренного судом к справедливому наказанию.

Известный генерал М.И.Драгомиров, очень скептически относившийся к японской войне, говорил со свойственной ему искусственной грубостью, но и меткостью: «как известно, рыба всегда начинает вонять с головы; что же удивительного, что армия стала неспособна бороться с японцами!» Развал армии, начавшийся в среде её высшего командного состава, естественно стал распространяться в её низших рядах, а после мукденского поражения и гибели всего флота в Цусимском проливе охватил всю армию, ставшую неспособной оказывать сопротивление врагу. Таким образом, вся ответственность за разложение армии падает на её военачальников: Куропаткиных, Гриппенбергов, Стесселей, Небогатовых и им подобных,

находивших поддержку в Петербурге у всех Сухомлиновых и покровительство у самого царя.

Да, как ни грубо сравнение генерала Драгомирова, но оно определяет самую сущность того состояния, которое пережила Россия в царствование Николая II, от самого его начала до страшного его конца. Можно ли отрицать связь развала армии в японскую войну с еще более катастрофическим развалом армии во время мировой войны в 1917 году, когда молодые солдаты уже были перебиты и когда для пополнения рядов были призваны запасные старших возрастов, уцелевших участников войны 1904-5 годов? Едва ли последние могли забыть пережитое всего двенадцать лет раньше, и старое воспоминание сыграло свою роль.

Обращаясь к этому недавнему прошлому, но уже старому времени, я живо вспоминаю, с какой тревогой народная масса во время японской войны следила за событиями, возникшими так неожиданно, без всяких явных оснований, ради неизвестных целей, где-то на краю света. Я помню войну с Турцией в 1877 году в защиту единоверных славян — Сербов и Болгар; народная масса очевидно сочувствовала этой борьбе и конкретно выражала свое сочувствие. Ничего подобного не было во время японской войны, но зато интерес к тому, что происходило на Востоке, возрос до небывалых размеров и выражался той тревогой, которая охватила все население, беспокойно следившее за известиями, приходящими с театра военных действий, из далекой Манчжурии. Летом 1904 года мы с женой возвращались из Крыма в Москву, и на всем этом длинном пространстве могли наблюдать на каждой станции и между станциями, среди поля, кучки крестьян взрослых и подростков, ожидавших прохода поездов. Каждый проход поезда сопровождался криками; газет-газет-газет! На станциях — просители газет у каждого открытого окна вагонов. Станционные жан-

дармы гоняли этих «нарушителей порядка», но последние перебегали на самый путь с другой стороны вагонов и снова просили только газет и ничего больше. Само собою разумеется, что в ответ на эти крики вороха газет летели из окон. Получившие мгновенно бросались в свои деревни, где толпа уже ждала и жадно набрасывалась читать их. Как только война прекратилась и армия двинулась обратно, деревня перестала интересоваться газетами, но она не забыла пережитого. Народная масса не так забывчива, как думали вершители её судеб.

Портсмутский мир, закончивший японскую войну, вписал блестящую страницу в личную биографию Витте, получившего в награду за мир из рук Николая II титул графа. Задача, возложенная на него, была нелегкая. В своих «Воспоминаниях» (т. I, стр. 369) гр. Витте утверждает, что «все правительства (европейских держав) единогласно выражали мнение, что если кто-либо сумеет заключить мир, то это только Витте». Такое лестное обобщение остается на совести графа, и я не буду его оспаривать, в виду бесспорного безлюдья среди ближайших советников императора. Но свежесть его лавров завяла и блеск его титула потускнел тотчас по заключении мирного трактата, когда он добровольно взялся за еще более трудную задачу, чем заключение мирного трактата с Японией, стать посредником между русским царем и русским народом в их внутренней борьбе за власть.

Для разрешения этой задачи у него не хватило ни знаний, ни характера, и его государственная мудрость ни на вершок не поднялась выше того уровня, который окружал царя.

21-го января 1904 г., накануне объявления войны Японии, ко мне в Машук прибыл становой пристав и предъявил распоряжение министра внутренних дел Плеве о воспрещении мне пребывания в Тверской губернии. Такое же требование было предъявлено Михаилу Павловичу Литвинову. Я в третий раз

вынужден был по распоряжению центральной власти покинуть свой дом, свою семью и свои дела и обрекался на кочевую жизнь без срока. 29-го января мы с женой выехали в Москву, чтобы там установить сношения с нашими друзьями; после нескольких дней пребывания мы выехали в Крым.

Само собою разумеется, ни я, ни мои друзья как в Москве, так и в Твери, не думали складывать оружия и считали совершенно необходимым усилить агитацию, поскольку это было в наших силах. С этой целью было создано бюро съездов земцев под председательством Д.Н.Шипова, неутвержденного председателя московской губернской земской управы. Хотя я лично не разделял некоторых воззрений Дмитрия Николаевича, отрицавшего не свойственную, по его мнению, характеру русского народа западно-европейскую систему конституционного государства, которую я и мои друзья проводили, но характер Шипова был нам порукою, что он никогда не нарушит свободы мнений, и сделает все от него зависящее, чтобы придать голосу бюро и съездам весь авторитет твердого и бесповоротного решения представителей земства добиться от правительства мер, способных положить конец произволу самодержавной бюрократии.

Деятельность бюро под председательством Д.Н.Шипова очень обстоятельно изложена в статье кн. Д.И.Шаховского, помещенной в сборнике «Зарница», и я ничего не имею прибавить к рассказу Дмитрия Ивановича. К сожалению, сидя в Женеве, я не могу взять из неё несколько цитат, чтобы ими пополнить мой рассказ.

Мы с женой, покинув Москву, уехали в Крым, где пробыли до конца мая и где встретились с Петром Дмитриевичем Долгоруковым и вместе с ним устроили в Гаспре, где мы жили, небольшое совещание в составе местных членов Союза Освобождения, а также из членов южных губерний, случайно

находившихся в это время в Ялте. Петр Дмитриевич и я познакомили членов этого совещания со всем, что происходило в Москве, и вынесли из совещания уверенность, что наши планы встречают единодушное сочувствие в земской среде и что мы можем рассчитывать на поддержку почти всех земских собраний в проведении систематической оппозиции правительственным планам.

Однако, события развивались быстрее, чем мы могли ожидать. 15-го июля, часа в 4 дня, из Москвы возвратилась в Марфино, куда мы вернулись из Крыма в конце мая, одна из служащих и привезла появившуюся в Москве телеграмму об убийстве Плеве близ Варшавского вокзала, куда он ехал, направляясь в Петергоф с докладами императору.

Система произвола, доведенная до крайних пределов, получила свое возмездие. Правительство очутилось в тупике, так как в его среде не находилось ни одного смельчака, ни одного готового диктатора, чтобы продолжать политику Плеве и его предшественников. Но никто, даже Витте, считавший себя единственным проницательным государственным человеком, не подозревал, что приближается революция и что исторический ход России сворачивает со старого на новый путь.

Безвольный и ограниченный царь, как свидетельствует Витте, долго колебался в назначении преемника убитому Плеве, останавливался даже на Штюмерера, воплощенной бездарности, и, наконец, по совету госпожи Милашевич, рожденной Строгановой, внучки императора Николая I-го, остановил свой выбор на кн. Святополк-Мирском.

Прежде чем выяснились намерения вновь назначенного руководителя внутренней политики, мы с женой уехали в Париж, куда П.Б. Струве перенес издание газеты «Освобождение» из Штутгарта. Мне нужно было видаться с Петром Бернгардовичем, чтобы переговорить по поводу предполагаемого

земского съезда, разрешение на который испросить было поручено бюро. Сверх того, я должен был передать Струве некоторую сумму денег на расходы по изданию «Освобождения». Когда мы уже были в Париже, туда приехали Петр Дмитриевич Долгоруков и Павел Николаевич Милюков для участия в совещании членов Союза Освобождения. Долгоруков остановился в одном с нами Hotel du Louvre, и мы имели возможность с ним видаться ежедневно. Он значился в отеле под фамилией Долгова. Под этим же псевдонимом он участвовал и в особом совещании представителей некоторых революционных партий, которое предполагалось ультра-секретным, но, как оказалось, было известно департаменту полиции от слова до слова и с точным указанием участвовавших в совещании лиц, причем были названы как Долгоруков, так и Милюков. Вместе с ними участвовал делегат партии эсеров... Азеф, представивший в департамент полиции полный отчет.

П.Д.Долгоруков после совещания уехал лечиться в Виши, куда и мы с женой поехали спустя некоторое время, чтобы навестить его. Это было уже в октябре месяце и сезон Виши уже закончился, так что и Долгорукову приходило время возвращаться домой. Мы же с женой думали еще остаться в Париже, так как съезд предполагался в Петербурге, куда я был лишен права въезда. Но вдруг, совершенно неожиданно, я получил телеграмму от брата, зовущего меня в Петербург. Брат при этом сообщал, что его посетил директор департамента полиции Лопухин, и просил передать мне, что ограничения моих прав отменены и что кн. Мирский, новый министр внутренних дел, желает меня видеть. Прочитав телеграмму, я в тот же день взял место в Nord-Express и на следующий день мы выехали в Петербург, в который я не имел права въезда в течение 25 лет и куда меня только раз пустили на несколько дней с целью навестить больного сына. Через два дня мы были

уже в Петербурге, едва не сгорев около Двинска в вагоне, на котором загорелась крыша.

Глава XVII

Возвращение из Парижа в Петербург – А.А.Лопухин, директор департамента полиции – Кн. Святополк-Мирский, министр внутренних дел – С.Ю.Витте, председатель комитета министров – Съезд земцев в Москве у Ю.А.Новосильцева – Д.Н.Шипов – Переговоры с кн. Мирским делегации съезда: Д.Н.Шипова, кн. Львова и И.И.Петрункевича – Земский съезд в Петербурге, 6–9 ноября 1904 года – Передача той же делегацией кн. Мирскому постановлений съезда – Возвращение после ссылки в Машук – Указ 12-го декабря – Крещенский салют – 9 января 1905 года – Отставка кн. Мирского и назначение Булыгина министром внутренних дел – Убийство вел. кн. Сергея Александровича – Мукденская катастрофа 15–20 февраля – Опубликование 18 февраля трех противоречивых актов: манифеста, указа Сената и рескрипта Булыгину – Земские съезды в Москве и московская администрация

На другой же день по приезде в Петербург я уведомил директора департамента полиции А.А.Лопухина о своем прибытии и просил его сообщить мне, когда я могу видеть его и получить формальное подтверждение заявлений, сделанных им моему брату. В тот же день я получил ответ и приглашение быть у него не в департаменте, а на его частной квартире, на Сергиевской улице.

С Лопухиным я не был знаком, но знал его в лицо в Твери, где он был прокурором окружного суда и пользовался не слишком хорошей славой, именно в политическом отношении, как реакционер, весьма склонный к сыску, вследствие своего подозрительного характера. Тем не менее, несмотря на то, что мой брат, живя в той же Твери, считался в политическом отношении крайне неблагонадежным, это обстоятельство не

помешало Лопухину приглашать его в качестве врача, когда требовалась врачебная помощь. Это до некоторой степени сближало брата с Лопухиными, хотя исключительно на врачебной почве. Лопухин считал нужным посещать иногда брата, но всегда очень поздно вечером, когда он не рисковал быть замеченным на довольно пустынной улице, где был дом брата, а также не мог встретить посторонних лиц. Может быть, это подозрение и неверно, но оно сложилось еще в Твери, и нас удивляли его исключительно ночные визиты. Тем страннее было для меня поручение, данное Лопухину кн. Мирским пригласить меня приехать в Петербург.

Утром, в назначенный час мы с братом поднялись на самый верхний этаж дома, где была его квартира. В передней нас встретил дежурный жандарм и тотчас проводил в квартиру человека, в руках которого находилась свобода и судьба русских подданных, имевших несчастье быть причисленными к подозреваемым в недостаточной благонадежности.

Лопухин принял нас с чрезвычайной учтивостью, свойственной скорее светскому человеку, чем чиновнику более или менее высокого ранга. Старое знакомство с моим братом и предварительные переговоры с ним еще более помогали взятому тону. Лопухин выразил мне свою радость по поводу снятия с меня кн. Мирским ограничений и восстановления моих прав без всяких оговорок, а затем стал уверять меня, что последняя моя высылка из Тверской губернии состоялась помимо его, непосредственным распоряжением министра внутренних дел Плеве, по представлению тверского губернатора кн. Ширинского-Шихматова и ввиду доклада Штюмерера о его ревизии тверского земства. Лопухин уверял, что был решительным противником принятых мер против земства и, как только кн. Мирский занял место министра внутренних дел, он представил

ему о необходимости пересмотреть меры, принятые против земства после ревизии.

Признаюсь, несмотря на всю любезность Лопухина, явно старавшегося убедить меня в непричастности его к разгрому тверского земства и моей высылке, мне казалось, что без участия директора департамента полиции такие меры не могли быть приняты. Притом беспокойные, бегающие глаза Лопухина невольно говорили другое. Но я молча принимал все эти объяснения и, когда они окончились, я спросил, желает ли меня видеть кн. Мирский. Лопухин отвечал, что он сегодня же узнает это и немедленно сообщит, в какой день и час министр меня примет. После этого мы еще поговорили несколько минут на тему, возможна ли в России конституция, причем он выражал сомнение, впрочем, очень скромное, и признавал, что все народы проходят через эту фазу политического развития, но вопрос в том, готова ли Россия перешагнуть эту грань. На этом мы расстались и встретились лишь во время первой Государственной Думы, когда я был депутатом, а он уволенным от должности ревельского губернатора и решительным противником политики министерства Горемыкина вообще, и в особенности министра внутренних дел Столыпина. Мы стали ближе в своих личных отношениях, благодаря кн. Сергею Дмитриевичу Урусову, моему товарищу по Государственной Думе и близкому родственнику Лопухина, женатого на сестре Урусова. Несмотря на это, однако, я не мог победить в себе чувства недоверия к человеку, бывшему, хотя бы краткое время, правой рукой Плеве. После разгона первой Государственной Думы я не встречался с Лопухиным, но однажды получил от него письмо из Красноярска, где он, как поселенец, лишенный всех прав состояния, отбывал известный приговор «Варваринского суда», обвинившего Лопухина в выдаче государственной тайны, порученной ему по службе, и приговорившего его за

это к каторжным работам. Жестокое, по свойству дела, наказание, по апелляции было смягчено и заменено ссылкой на поселение.

Преступление Лопухина состояло в разоблачении шпиона Азефа, состоявшего на службе охраны и бывшего членом партии эсеров, одного из самых ловких шпионов, который служил одновременно правительству Столыпина и участвовал в убийстве вел. кн. Сергея Александровича, Плеве и других. Такого разоблачения Столыпин не мог простить Лопухину и предал его суду, составленному *ad hoc* из таких продажных сенаторов, как Варварин, за собственную карьеру плативших искажением правосудия. О дальнейшей судьбе Лопухина я ничего не знаю, но всем известно, что Столыпин, защитник и покровитель своих «сотрудников», — так называл он своих шпионов, — погиб от руки одного из них.

Возвращаюсь к прерванному рассказу.

Через день или два после свидания с Лопухиным я получил от кн. Мирского приглашение посетить его вечером в его квартире на Фонтанке. Это было в самых последних числах октября, между 28 и 30 числом. Раньше я никогда не встречал Мирского. Как только я назвал свою фамилию дежурному, меня тотчас провели в кабинет министра, находившийся в первом этаже. Передо мною стоял еще не старый генерал, совсем не воинственного вида, приветливый, с добрыми глазами, простой и симпатичный. Он стоял за письменным столом, разделявшим нас, и, протянув руку через стол, он пригласил меня занять кресло, стоявшее против стола. Он повторил мне все, уже переданное мне Лопухиным, и вновь подтвердил, что все, без исключения, ограничения моей свободы и моих прав сняты; а затем прямо перешел к положению Тверской губернии и не прекращающимся столкновениям земства с тверской администрацией. Он говорил, что осведомлен о моем влиянии

в земской среде и надеется, что, возвратясь в Тверскую губернию, я сделаю все зависящее от меня, чтобы умиротворить взаимные отношения губернатора и земства.

На этих словах я остановил его и заявил, что, пока будут существовать такие губернаторы, как кн. Ширинский-Шихматов, никакое успокоение в губернии невозможно. В руках власти слишком много средств, чтобы поддерживать полное спокойствие в губернии, не возбуждая столкновений, уклониться от которых не могут ни отдельные лица, ни такие органы, как земские собрания или управы. При этом я рассказал ему случай переделки губернатором Ширинским-Шихматовым протокола, составленного по его поручению местным исправником, о случае якобы кошуновства земского врача Бакунина в Премухинской больнице, в Новоторжском уезде. Полиция удостоверила, что, по случаю ремонта больницы, из её покойницкой комнаты были вынесены аналой, Евангелие и крест в другую комнату, а не в отхожее место, как было кем-то донесено губернатору, причем все это происходило в то время, когда врачом больницы состоял не Бакунин, а другой врач. Тем не менее, губернатор Ширинский-Шихматов донес министру Плеве об этом происшествии в редакции не уездной полиции, а вопреки её расследованию, подтверждая содержание ложного доноса. По этому поводу новоторжский предводитель дворянства, мой сын, ездил объясняться к Плеве, который, выслушав рассказ, смеясь спросил его: «так вы обвиняете губернатора в подлоге?» На что тот отвечал: «во всяком случае, в ложном донесении».

Выслушав мой рассказ, кн. Мирский добродушно мне сказал: — «Ну, теперь вам не придется встречаться с таким губернатором, как кн. Ширинский-Шихматов. На его место назначен кн. Урусов, и я могу поручиться, так как я его хорошо знаю, что им будет все сделано, чтобы идти рука об руку с земством,

а не против него, и не только в силу инструкции министра, но и согласно собственному характеру и собственным взглядам. Надеюсь, что он встретит в вас полную поддержку».

Покончив с этим вопросом, он перешел к предполагаемому земскому съезду, против которого он лично ничего не имеет, но не считает себя вправе дать разрешение без предварительного доклада государю и его согласия. Он уже докладывал государю о съезде председателей управ, теперь же выяснилось, что предполагается съезд не председателей, а земских гласных, на что согласия ему не было дано.

По вопросу о съезде, я, находясь за границей, не был подробно осведомлен, поэтому мог только сказать, что дня через 2-3 уезжаю в Москву, чтобы принять участие в окончательном решении этого вопроса. На этом наша беседа закончилась, и я откланялся, унося очень хорошее впечатление от нашей беседы, обнаружившей в высшей степени примирительное настроение нового министра внутренних дел. В первый раз за все время моей общественной деятельности беседа с лицом, стоящим во главе правительства, велась, по-видимому, совершенно искренно, без камня за пазухой с обеих сторон.

Витте, рассыпаясь в своих «Воспоминаниях» во всевозможных похвалах по адресу кн. Мирского, говорит: «Мирский был назначен очень поздно, когда уже Россия была так революционизирована внутренними событиями, а ранее неудачами на войне, что переменить положение дел было для него непосильно, тем более, что государь, назначив его, все-таки продолжал слушать советы крайних реакционеров, которые мешали Мирскому принять новый курс внутренней политики».

Я имею основание думать, что в октябре 1904 года, т.е. скоро после назначения Мирского, Витте думал иначе и что мысли его, приведенные выше, относятся к более позднему времени. В те самые дни, когда я находился в Петербурге по

возвращении из Парижа, И.В. Гессен сообщил мне о желании Витте встретиться со мною и поговорить по вопросам дня. Я ничего не имел против этого, и вместе с Иосифом Владимировичем в один из свободных вечеров отправился к Витте, в его дом на Каменноостровском проспекте. Витте принял нас в своем кабинете запросто, как частный человек, а не председатель комитета министров, роль которого он сам определил, как министра «не у дел». Вся беседа наша касалась исключительно общественного движения и отношения к нему, и я старался доказать, что правительство будет вынуждено уступить и принять конституционный строй взамен самодержавного. Витте возражал категорическим тоном, как авторитет и как человек, убежденный в непреложности своих мнений.

– В своем суждении, – говорил он, – вы не принимаете в расчет, во-первых, что государь относится к самодержавию, как к догмату веры, как к своему долгу, которого ни в целом, ни в части он уступить кому бы то ни было не может. Это – его вера, и вы бессильны ее изменить; во-вторых, общество русское не настолько сильно, чтобы вступать в борьбу с самодержавием, которое опирается на тысячелетнюю историю, на веру в его жизненность и силу и на привычку видеть в нем свою защиту и опору. Крестьянство будет на стороне самодержавия, а не на стороне так называемого общества, которое будирует, не учитывая своих сил. Он не верит в силу идей и знает, что человечеством двигают не идеи, а материальные интересы. Интересы же народа тесно связаны с интересами самодержавия, которое одно могло дать народу в 1861 году свободу и землю вопреки желанию дворянства, и тогда будировавшего против самодержавия, как теперь будирует общественность, интересы которой лежат не в одной плоскости с интересами народа. Принимая все это во внимание, он не опасается за самодержавие, которому он предан не за страх, а за совесть.

На тему своей преданности самодержавию и самодержцу он распространялся так долго, что невольно чувствовалось желание выгородить себя от всякой надежды на его помощь или участие в общественном движении, которое, надо сказать, никогда на него и не рассчитывало, и я сам явился к нему не по собственному желанию, а по его приглашению, переданному мне И.В.Гессеном. Но если бы я имел глупость рассчитывать на привлечение Витте к общественному движению, то после первых же его заявлений о бессилии нашей русской общенности и столь же бессильной роли идей в истории народов, я, конечно, убедился бы, что Витте, в качестве министра «не у дел», сам только «будирует» против правительства, в котором занимает такое невлиятельное место. Еще не была забыта нами его полемика с Горемыкиным по поводу противоречия между земством и самодержавием, которое так старательно отстаивал Витте. Помнили мы и то, в какие тиски он ставил земство, стесняя его бюджетные права, которыми оно к тому же никогда не злоупотребляло. Теперь, в своих «Воспоминаниях», изданных после его смерти и во время революции, опрокинувшей самодержавный трон, мы читаем его оценку самодержавного правительства и самого самодержца, оценку, которая является неопровержимой оценкой и самого автора, его непонимания ни людей, ни событий, в которых ему пришлось играть такую исключительную роль, и в которых он обнаружил все свои недостатки, и не проявил ни силы ума, ни проницательности и дальновидности, ни даже честности характера. Он оставался все время дельцом и тщеславным выскочкой, без авторитета, без признания его силой, с которой надо считаться.

Наша с ним беседа происходила за неделю до земского съезда 6-9 ноября 1904 года, давшего большой толчок общественному движению и, в сущности, ставшего началом первой

русской революции 1905 г., точно так же, как ноябрьская речь Милюкова в 1916 г. в Государственной Думе была началом второй революции 1917-го года. И за неделю до нашего съезда Витте не понимал, что революция уже у порога, что она движется теми самыми идеями, которые он отрицал, забывая или не умея понять, что идея свободы всегда была могучим рычагом, поднимавшим народы против своих угнетателей, что идея свободы была двигателем революций в Англии в 17-м, во Франции в 18-м и во всей Европе в 19-м веках; что идея свободы привела в Америку основателей великой республики; что идея свободы духа была причиной реформации, и, наконец, что христианская идея покорила весь мир, продолжает своею силою потрясать его до сих пор и что с силою идеи не могут сравняться никакие материальные интересы.

В своих «Воспоминаниях» Витте говорит о ноябрьском съезде с оттенком презрения: «Тогда должен был собраться так называемый съезд общественных деятелей, составленный из земцев, городских деятелей и некоторых политиканов, сделавшихся затем коноводами так называемых кадетов (Милюков, Гессен, Набоков и проч.)». Замечательно, – продолжает Витте, – что многие из деятелей этого съезда ныне бросились совсем вправо, но тогда все образованные и так называемые интеллигентные люди, за самыми малыми исключениями, требовали переворота, т.е., – разъясняет Витте, – объявили войну бюрократии... «Ввиду этого, в беседе с кн. Мирским он сказал ему, что «у него выйдет недоразумение (с Государем) и что съезд в той или другой форме постановит желание конституции, а это, конечно, будет отвергнуто и что, следовательно, вместо начала примирения правительства с общественным мнением произойдет еще большее обострение». Таким образом, очевидно, Витте думал, что запрещением съезда можно остановить движение, коренившееся в историческом развитии общественного само-

сознания, против чего самодержавие бессильно. В беседе с кн. Мирским, как и в беседе со мною, он обнаружил одинаковую близорукость: Мирскому выражал опасение неудовольствия царя, а мне толковал о политиканах, сующих свой нос не в свое дело. Дальнейшие события показали, что Витте никогда не поднимался до высоты и широты государственных воззрений, до прозрения будущего России, до обеспечения ей того пути, на котором она могла бы развивать свою государственность и избежать той разрухи, которую она переживает теперь. Все время, когда Витте был господином положения, он не проявил ни силы убеждений, ни твердости характера и оставался чиновником, озабоченным своей карьерой.

Пробыв в Петербурге всего три-четыре дня, мы выехали не в Машук, а в Москву, чтобы принять участие в обсуждении программы предстоящего съезда и познакомиться с положением всего этого вопроса ввиду сведений, полученных мною непосредственно от кн. Мирского, считавшего, что без согласия государя он не вправе дать разрешения на съезд в Петербурге.

В Москве я узнал, что бюро уже давно разослало приглашение на съезд во все земские губернии, несмотря на то, что Мирский, получив от бюро сведение, что съезд будет состоять не из председателей губернских управ, а из земских гласных, присылал в Москву директора департамента Гербеля с целью убедить бюро устроить съезд не в Петербурге, а в провинции, например, в Нижнем Новгороде, против чего министерство ничего не будет иметь. Миссия Гербеля не имела успеха, и бюро съезда решило назначенного срока и места не менять. Для окончательного же обсуждения и установления редакции предполагаемых постановлений было решено собраться в составе не только бюро, но и всех земцев, уже прибывших в Москву для участия в съезде.

3-го ноября 1904 года мы собрались в доме ныне уже покойного Юрия Александровича Новосильцева, принимавшего горячее участие в общественном движении во все его моменты. Он открывал свои двери для всех собраний, не опасаясь никаких полицейских запрещений, и много раз мы пользовались его обширным помещением для многочисленных собраний в течение всего времени до открытия Государственной Думы.

Совещание прошло очень дружно, но окончательная редакция резолюций была возложена на особую комиссию, тут же избранную. Комиссия немедленно принялась за работу, но её редакция чуть было не вызвала раскола, ввиду положения 10-го пункта, в котором было выражено убеждение, что только конституционный строй, ограничивающий самодержавную власть, может удовлетворить общественное мнение и дать России то спокойное развитие государственной жизни, в котором она так нуждается. Такая редакция встретила решительное несогласие со стороны Д.Н.Шипова, по своему влиянию в земской среде справедливо занимавшего первое место. Он категорически заявил, что не разделяет конституционных воззрений, но не желает мешать съезду проводить идеи, к которым он не примыкает, и потому предпочитает не быть на съезде. Глубокое уважение, которое все мы питали к Д.Н.Шипову, убеждение, что его отсутствие на съезде было бы тяжелым ударом не только для съезда, но и для того дела, которое он призван был защищать, заставило комиссию идти на все возможные уступки. После долгих переговоров мы пришли к соглашению с Дмитрием Николаевичем на том, что статья 10-я будет изложена в менее определенной форме и в двух редакциях, причем оба текста будут помещены рядом и подвергнутся голосованию отдельно каждый. После принятия этого решения, бюро съезда возложило ведение переговоров о разрешении съезда с министром внутренних дел на трех лиц:

Д.Н.Шипова, кн. Георгия Евгеньевича Львова и меня, и в тот же вечер мы трое выехали в Петербург. Утром на следующий день мы были уже в Петербурге и немедленно обратились с письмом, подписанным нами тремя, к кн. Мирскому. Указав на всю неустойчивость внутреннего состояния России, на всю опасность длительности такого положения, на беспокойство, царящее во всех слоях общества, мы просили разрешить съезд земских гласных, которые уже в пути и съедутся в Петербурге в ближайшие дни. В ответ на это письмо, мы получили на имя Д.Н.Шипова приглашение быть у министра в тот же день вечером, в таком-то часу. Как только мы все трое одновременно прибыли на квартиру Мирского, мы были тотчас приняты в том самом кабинете, где за несколько дней до того он принимал меня. Добродушие, искренность и мягкость тона Мирского очень облегчали нашу беседу, делая ее непринужденной и откровенной. Он рассказал нам о всех препятствиях, поставленных на пути наших желаний, на недоверие государя к такого рода обсуждению особенно публичному, некомпетентными людьми, важных государственных вопросов, и на всю трудность и даже невозможность для него удовлетворить наше желание. Тем не менее, после продолжительного обсуждения, мы пришли к следующему соглашению: во-первых, съезд признается частным собранием земцев, не будет публичным и не считается разрешенным; во-вторых, правительство не будет препятствовать нашим собраниям в частных квартирах и в-третьих, правительство будет, по окончании занятий съезда, поставлено в известность о принятых резолюциях. Такое соглашение мы признали достаточным и удовлетворяющим наши желания, имея уверенность, что не только резолюции, принятые съездом, но и сущность прений получают широкое распространение.

6-го ноября съезд собрался в квартире тверского губернского земского гласного и петербургского адвоката, Ивана Исидоровича Корсакова, на Фонтанке, близ Аничкова моста, и был открыт Д.Н. Шиповым, предложившим избрать президиум, который и был избран в составе председателя Д.Н.Шипова и его двух товарищей, кн. Г.Е. Львова и меня; секретарями были избраны: Ф.Ф.Кокошкин, Ф.А. Головин и Л.Д.Брюхатов, гласный тамбовского земства. После этого было приступлено к обсуждению программы по пунктам. Я не помню числа лиц, участвовавших в каждом из четырех заседаний, но в протоколе третьего заседания было 104 подписи, которыми и определяется число лиц, принявших участие в этом, несомненно имеющем историческое значение, съезде.

Хотя на набережной Фонтанки от Аничкова моста до дома, в котором собрался съезд, было видно довольно много полиции, но очевидно её задача заключалась в недопущении посторонней публики на съезд. Внутри дома её не было видно. Невмешательство полиции было полное, и городовые, расставленные по улице, обнаруживали свое внимание к съезду лишь тем, что указывали членам съезда место его заседания. Это повторялось все четыре дня, так как помещение съезда менялось каждый день, чтобы не слишком обременять хозяев квартир.

Второе заседание, 7-го ноября, происходило в квартире, предоставленной съезду г. Брянчаниновым, на Кирочной ул., в огромном доме и в квартире, в которой имелось помещение, вероятно, для домашнего театра. Это помещение и было нам предоставлено. При открытии этого заседания произошел маленький инцидент: гласный, кажется, Херсонской губернии, г. Стенбок-Фермор обратился с протестом против устройства съезда лицами неуполномоченными земскими собраниями. В ответ ему было объяснено председателем, что протестующий

ошибся, что это съезд не земских собраний, а земских гласных, пожелавших собраться для обсуждения некоторых вопросов, связанных с настоящим положением вещей в нашем отечестве, и если граф Стенбок-Фермор считает этот съезд некомпетентным, то он может в нем не участвовать. Эта попытка внести в собрание замешательство и отвлечь его от предположенной цели совершенно не удалась: протест не был поддержан ни единым голосом и не вызвал ни малейшего сочувствия. Собрание перешло к обсуждению заготовленных резолюций по пунктам и без особенных споров приняло первых девять пунктов. Когда же очередь дошла до пункта десятого, с иностранной речью выступил Д.Н.Шипов, изложивший свой взгляд на положение верховной власти в России, созданной историей нашей страны и имеющей за себя тысячелетнюю давность. Он горячо отстаивал тезис славянофильства тридцатых и сороковых годов девятнадцатого века: «народу мнение, царю власть» и не допускал никаких бумажных договоров и гарантий между царем и народом, отношения которых основываются на законах нравственных, а не на юридических и формальных, всегда временных, взглядах. Он верит в силу и незыблемость только нравственных начал, единственно прочных и не требующих никаких гарантий, одним своим существованием подрывающих веру в то, что лежит в самой природе взаимных отношений народа и царя.

Я передаю только самую суть речи Дмитрия Николаевича, в которой он защищал всю основу своих воззрений, вытекавших исключительно из нравственных законов, которыми он руководился во всех сторонах жизни: личной, общественной, политической, никогда не отступая, никогда не нарушая того, что требовала его совесть, всегда согласная с его разумом. Теперь этот умный и благороднейший человек и гражданин уже покоится в могиле, и я, во многом расхвали-

шийся с ним, возражавший ему и на земском съезде, вспоминая о нем, как об одном из лучших людей, каких я встречал в течение моей долгой жизни. Дмитрий Николаевич Шипов и умер так, как жил, не изменяя ни своему разуму, ни своей неподкупной совести.

Речь Д.Н.Шипова встретила много возражений. Я тоже был в числе возражавших. Я высказал, что если в истории нашего народа можно найти много в пользу самодержавия, то в той же истории и притом ближайшей к нашему времени, мы встречаем доказательства тому, что старые отношения власти царя к народу утратили свое оправдание. Русский народ вырос из своего младенческого состояния, он ищет новых форм, отвечающих той сложности народной жизни, которая сменила патриархальный быт. Народ желает быть господином своей судьбы, убеждаясь, что им правит не единая воля монарха, руководимая нравственным законом, а толпа царедворцев, огромная армия чиновников, не считающихся с интересами народа. Интересы народа и нашей страны требуют новых форм взаимоотношений власти и народа, и эти формы должны быть выражены в новом законе, незыблемость которого должна быть гарантирована верховной властью.

Кроме меня говорили против речи Шипова несколько ораторов, как и в пользу мнения Дмитрия Николаевича. Прения эти были приведены не совсем точно в газетах того времени и потом в книге г. Белоконского «Земское движение». Но под рукою у меня нет ни газет того времени, ни книги г. Белоконского и я не берусь по памяти передавать их.

Голосование десятого пункта не было закончено в этот день и было перенесено на следующее заседание, происходившее на другой день в доме Вл. Дм. Набокова, предложившего свое помещение, но, к сожалению, не принимавшего участия в заседании, так как он не был земским гласным. Прения по

пункту десятому продолжались и здесь и закончились вечером голосованием, давшим результат, который можно было предвидеть заранее: три четверти голосов было подано за конституцию, говоря кратко, и одна четверть голосов против, что может служить подтверждением того, что съезд не был искусственно подобран из одних сторонников конституции, а был выражением сознания необходимости реформы того положения, выносить которое было нестерпимо. Протокол этого заседания был подписан 104-мя гласными, считая в том числе и президиум, и передан последним, т. е. Шиповым, Львовым и мною, министру внутренних дел кн. Мирскому с просьбой представить этот документ государю, что он и обещал нам.

Естественно возникает вопрос: какие же результаты дал этот земский съезд, который я считаю отправной точкой движения, приведшего Россию к первой Государственной Думе?

В широких общественных кругах впечатление от съезда было очень велико и несомненно послужило сильным толчком развитию политического движения. Весь 1905 год прошел под знаком решений этого съезда. Все собрания, происходившие после этого, — праздновалась ли годовщина судебных уставов, собиралось ли какое-либо общество в очередное заседание — откликались на постановление съезда или сочувственно, или выражая недовольство умеренностью решений съезда, тем не менее основная мысль последнего, — необходимость добиваться конституции — стала все громче раздаваться в речах членов таких собраний.

Что касается правительства, то влияние решений съезда несомненно получило свое отражение в указе 12 декабря «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка». Но то, что было известно по поводу этого указа, далеко не соответствовало тому, что теперь мы узнаем из «Воспоминаний» Витте (т. I, стр. 294 и следующие), и что

заслуживает широкой известности, тем более, что и в данном случае Витте остался верен своей двуличной игре, все более выясняющей непривлекательную его личность и её роль в развитии нашей государственной жизни. «Князь Мирский, — рассказывает Витте, — подал Государю доклад с приложением проекта указа о различных вольностях, в том числе о привлечении в Государственный Совет выборных и о даровании полной свободы вероисповедания старообрядцам». «В ноябре 1904 года, (курсив мой) — продолжает Витте, — Государь собрал совещание по вопросу о том, какие следует принять меры по поводу сказанного доклада Мирского. В совещание это были приглашены все министры — Коковцов, Лобко, Ермолов, Муравьев, Ламсдорф, Сахаров, в.к. Александр Михайлович, Мирский, Победоносцев, Авелан, затем Будберг (главноуправляющий комиссией прошений), Танеев (главноуправляющий канцелярией), генерал-адмирал Рихтер, граф Воронцов-Дашков, граф Сольский, Э.В.Фриш и я», — заключает Витте, добавляя, что государь не хотел его пригласить, но Мирский уговорил царя. Это последнее, будто бы, было сообщено ему «неврастеником» и «Добчинским» кн. Оболенским, будущим обер-прокурором Синода в его министерстве.

«Самый вопрос, поставленный в совещании, — продолжает Витте, — для меня был признаком того, что Государь далеко ушел в своем политическом мировоззрении, ибо раньше, когда мне приходилось при докладе говорить: таково общественное мнение, — Государь иногда с сердцем говорил:

— А мне какое дело до общественного мнения».

Затем Витте переходит к передаче того, что происходило на совещании под председательством царя.

«Наибольший разговор возбудил вопрос о привлечении выборных к участию в законодательстве. Большинство говорило за, против говорил К.Н.Победоносцев. Вообще, как и всегда,

его критические замечания были весьма сильны, но заключения неопределенны. Я ничего не говорил, но когда Государь обратился ко мне, чтобы я высказался по вопросу о выборах, я сказал, что, по моему убеждению, существующий порядок управления государством не соответствует потребностям его и находится в противоречии с самосознанием почти всех интеллигентных классов и что поэтому я разделяю мнение тех, которые говорят за необходимость этой меры, но нахожу, что выставляемый ими довод, будто бы это не поколеблет существующий государственный строй, неверен. Я, конечно, не думаю, чтобы они представляли этот довод, сознавая его верность, дабы достигнуть того, к чему они стремятся, но по моему глубокому убеждению, всякое правильное организованное и постоянное участие выборных в законодательстве неминуемо приводит к тому, что называется конституцией».

«В конце концов, Его Величество согласился с мнением большинства, причем Государю благоугодно было поручить мне, как председателю комитета министров, и управляющему канцелярией комитета министров барону Нольде составить проект Указа... Это совещание окрылило дух присутствующих; все, по-видимому, были взволнованы мыслью о новом направлении государственного строительства и государственной жизни, которую Его Величеству благоугодно дать Великой России».

«Проект этого Указа под заглавием: «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» — был представлен Его Величеству».

Спустя несколько дней, 11 декабря, Витте получил приглашение прибыть в Царское Село. Вечером он был принят государем в своем кабинете, где находился уже в.к. Сергей Александрович. — «Я указ этот одобряю, но у меня есть сомнения только по отношению одного пункта». Такими

словами встретил государь вошедшего Витте, который прибавляет: «Это был именно тот пункт, в котором говорилось о необходимости привлечения общественных деятелей в законодательное учреждение того времени, а именно в Государственный Совет».

По рассказу Витте, государь обратился к нему с просьбой, совершенно откровенно высказать ему свое мнение по поводу этого пункта и дать ему совет: оставить этот пункт или не оставить.

И вот какой совет дал Витте царю, все недостатки которого он прекрасно знал и в которых, в своих мемуарах, постоянно беспощадно обвиняет этого безвольного, слабодушного и ненавидимого им самодержца, просящего совета. «По совести я должен сказать следующее: привлечение представителей общества, особливо в выборной форме, в законодательные учреждения есть первый шаг к тому, к чему стихийно стремятся все культурные страны света, т.е. к представительному образу правления, к конституции; несомненно, то будет первый весьма умеренный и ограниченный шаг по этому пути — но со временем он может повести и к следующим шагам, а поэтому мой совет таков: если Его Величество искренно, бесповоротно пришел к заключению, что невозможно идти против всемирного исторического течения, то этот пункт в указе должен оставаться; но если Его Величество, взвесив значение этого пункта и имея в виду, — как я ему докладываю, — что этот пункт есть первый шаг к представительному образу правления, — с своей стороны находит, что такой образ правления недопустим, то, конечно, с этой точки зрения осторожнее было бы пункт этот не помещать».

«Когда я высказал свое мнение, — прибавляет Витте, — Его Величество посмотрел на Великого Князя, который видимо

был доволен моим ответом и одобрил его. После этого Государь сказал мне:

— Да, я никогда, ни в каком случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для вверенного мне Богом народа, и поэтому я последую вашему совету и пункт этот вычеркну. Затем он встал, очень меня поблагодарил».

В тот же вечер Витте сообщил Мирскому, что статья о представителях вычеркнута государем. Это сообщение, говорит Витте, по-видимому очень огорчило кн. Мирского.

Попытка кн. Мирского направить царя на единственно правильный путь государственного управления таким образом не удалась, благодаря в значительной мере Витте; последний, вероятно, считал себя мудрым дипломатом, но потомство не признает, надо думать, за ним таланта и искусства Талейрана, служившего всякому правительству, изменяя каждому предшествующему. Для репутации российского виртуоза его ум был недостаточно тонок, недостаточно гибок, недостаточно проницателен и слишком мелочен. На просьбу царя дать ему совет в очень трудную минуту, он поступил, как предатель одновременно и злополучного царя, и своей родины, которая напрягала все силы разрешить мирным путем явно приближающийся кризис, грозивший катастрофой. Он не без удовольствия сообщил о своем успехе кн. Мирскому, искренно желавшему сделать хотя бы один шаг, но в противоположном направлении, которое подавало надежду избежать катастрофы.

Закончив все свои дела в Петербурге, мы с женой возвратились только 15-го ноября в Машук, где нас уже давно ждали после десятимесячного отсутствия и где мы чувствовали себя совершенно счастливыми.

Наступление нового 1905 года не обещало спокойного течения жизни. 6-го января произошло в Петербурге таинствен-

ное событие, оставшееся невыясненным, а говоря правильное — замятым. Во время обычного водосвятия на Неве, против Зимнего дворца, на котором всегда присутствовал царь со всею своей свитой великих князей, министров и всего двора, с батареи, расположенной напротив, у Биржи на Васильевском острове, одно из орудий салютовало не холостым зарядом, а картечью. Если бы орудие было наведено немножко ниже, весь заряд попал бы в толпу молящихся и мог бы дать массу жертв убитыми и ранеными. Мне кажется, что допустить случайность в таком происшествии совершенно невозможно, иначе надо признать, что в армии царя была такая халатность, которая свидетельствовала бы о полном упадке в командном составе чувства служебного долга. Во всяком случае, это событие не прошло незамеченным во всей стране, вызывая толки и в деревнях, среди крестьянства. И тем более, что не прошло и трех дней, как 9-го января, произошла манифестация петербургских рабочих, во главе со священником Гапоном отправившихся к Зимнему дворцу с портретом царя, иконами и хоругвями, т.е. со всеми внешними признаками самых мирных намерений, заявить царю о своей преданности. После издания указа 12-го декабря, возбудившего в самом правительстве столько надежд на новые пути государственной жизни, что, по словам Витте, побудило Сольского выступить с благодарственной речью к царю, а министров Ермолова и кн. Хилкова прослезиться, казалось бы, нельзя было, после всего этого, ожидать того, что случилось: многотысячная толпа была встречена войсками, которые «не жалели патронов» и расстреливали безоружных манифестантов, даже тех, которые разбегались, спасаясь от выстрелов. Известие об этом событии произвело потрясающее впечатление во всей России. Я помню то впечатление, которое оно произвело у нас в уезде и на уездном земском собрании, происходившем в это время. Слухи по мере удаления от Пе-

тербурга доводили число жертв этой катастрофы до чудовищных размеров. Но и в действительности число убитых и раненых было велико. Я слышал от Набоковых, дом которых был на Морской, что мимо их окон провозили в телегах много трупов, прикрытых рогожами, но видных из-под них. Пули летали от Адмиралтейской площади во всю длину Невского проспекта. Наше взволнованное земское собрание приостановило заседание, так как никто не мог спокойно заниматься делами. Только гласный от крестьян, Евстратов, номер первый в губернаторском списке кандидатов, произнес во всеуслышание:

— Всех бы этих манифестантов следовало перевешать!

Это заявление еще более взволновало и гласных и публику, и собрание не могло успокоиться и приступить к занятиям.

Таково было первое применение указа 12 декабря о водворении законности, расширении свободы слова и устранении всяких исключительных законов. Общественное мнение еще раз могло убедиться, что ожидать от правительства исполнения каких-либо обещаний совершенно безнадежно, и что только конституционными гарантиями можно достигнуть нормального течения государственной жизни. Отставка кн. Мирского, последовавшая спустя неделю после 9 января, — 18 января, и назначение в тот же день Булыгина, полной и абсолютной ничтожности, еще более укрепило общественное мнение в убеждении, что революция становится неизбежной и скорой. События надвигались с необыкновенной быстротой. 4-го февраля был убит Каляевым в.к. Сергей Александрович. Около 20 февраля наша армия была разгромлена в пятидневном бою при Мукдене японцами. Наше военное могущество было окончательно сломлено, и стало очевидным, что Россия вынуждена пройти через унижение — просить мира у противника, которому она выказывала раньше столько пренебрежения.

Правительство совершенно растерялось. Оставалась слабая надежда на флот, но все понимали, что сдача Порт-Артура и Мукденский разгром не могут быть исправлены флотом, притом более слабым, чем флот японский.

Полная неизвестность о намерениях и действиях правительства в таком серьезном положении, какое переживала в то время страна, порождала массу противоречивых слухов и поддерживала в обществе крайне напряженное настроение, изменить которое не мог указ 12-го декабря. Хотя этот указ был очевидным ответом на требование земского съезда 6-8 ноября, но он не мог удовлетворить нас, т.к. было ясно, что коренное требование, — ограничение самодержавия народным представительством, было оставлено без ответа и заменено разнообразными административными заплатами. Составитель этого указа, Витте, поклонник внутренней политики Александра III, по-видимому, не сомневался в том, что ему удастся удовлетворить Россию обещанием: веротерпимости, школ в западных губерниях, льготами старообрядчеству и сектантству и даже «водворения законности», с помощью такого законника, как Петр Николаевич Дурново, который всю свою бюрократическую карьеру проделал, нарушая все законы. Для достижения своей задачи, Витте даже решился обратиться к содействию редакторов журнала «Право». Но В.Д.Набоков «прямо объявил, что существующему режиму он ни в чем и никакого содействия оказывать не будет». Отказался от сотрудничества с Витте также и Гессен, что оставило в «Воспоминаниях» Витте желчный след: «оба эти лица, — пишет Витте (стр. 336), — были во главе так называемых кадетов, которые после 17 октября пошли на меня войной, желая вырвать власть у Государя. Собственно говоря, если 17 октября, — (делает вылазку г. Витте против кадетов вообще), вместо установления нормально действующей конституции, до сих

пор дало только революцию, то главная вина падает на кадетов и их вождей. В сущности, они хотели не конституционную монархию, а республику с наследственным президентом, да и то до поры до времени, пока существует «монархический предрассудок» в народе». Однако, двумя страницами дальше самому Витте приходится записать, что «в это время смута и революционное движение колыхались во все стороны, одновременно наверху явился полный хаос, или вернее полнейшая растерянность». И вот в такое время он думал вернуть России «нормальный» порядок, т.е. именно тот, который и привел всю страну в революционное брожение.

Чтобы составить себе представление о той растерянности, в какой находилось правительство, достаточно привести содержание трех актов, изданных в один и тот же день — 18 февраля 1905 года: 1. Высочайший манифест, призывающий «людей всех сословий и состояний, каждого в своем звании и на своем месте содействовать к одолению врага внешнего и искоренению внутренней крамолы». 2. Именной высочайший указ Сенату о возложении на Совет министров рассмотрения мнений отдельных лиц и обществ по вопросу об усовершенствовании государственного благоустройства; и 3. Высочайший рескрипт министру внутренних дел о высочайшем намерении, «привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений».

Нетрудно заметить полное противоречие между первым актом, изданным утром, и двумя последними, появившимися вечером. В манифесте заключался призыв «людей всех сословий и состояний искоренить внешнего и внутреннего врага, т.е. призыв к доносу, к насилию, и междоусобию. И без правительственного подстрекательства уже нашлись господа, распро-

странявшие пущенный каким-то Череп-Спиридовичем слух о подкупе японцами и печати, и разных лиц, о миллионах, которые тратят японцы на это. Пока эту провокацию проделывали любители, она не имела успеха, но когда ею пользуется правительство, когда манифест по этому поводу провозглашается в церквях, вопрос принимает другой характер. А между тем, все легкомыслие этого подстрекательства признается в тот же день двумя другими актами: указом Сенату, предоставляющим каждому обывателю обращаться в Совет министров с петициями, а на министра внутренних дел возлагается составление проекта закона о призыве народных представителей для совместной с правительством работы!

Разве можно удивляться, что авторитет власти, которая сама не знает утром, что она предпримет вечером, падает в глазах населения до полного её отрицания? И нет ничего удивительного, что Москва стала своеобразным центром общественной мысли, самостоятельно вырабатывающей выход из тупика, в котором очутилась Россия со всем своим растерявшимся бюрократическим аппаратом.

Несмотря на выход из состава бюро земских съездов Д.Н.Шипова, не считавшего для себя возможным принимать участие в организации, на знамени которой стояла «Конституция», бюро сохранило свою организацию при московской губернской земской управе и избрало своим председателем председателя управы — Федора Александровича Головина, человека с определенными убеждениями и непоколебимо твердым и деятельным характером. Головин исполнял на ноябрьском съезде, вместе с Федором Федоровичем Кокошкиным, секретарские обязанности и оба продолжали принимать деятельнейшее участие во всей работе съездов, в течение всего 1905 года открыто и без всяких разрешений собиравшихся в Москве в домах Ю.А.Новосильцева на М. Никитской, И.А.

Морозова на Смоленском бульваре, М.А.Морозова на Воздвиженке и П.Д.Долгорукова, около музея искусств. Бюро же постоянно собиралось либо в доме Долгоруковых, либо на квартире Головина, на Покровке.

Если память мне не изменяет, первое совещание бюро происходило в квартире Ю.А.Новосильцева в последних числах февраля 1905 г., где было поставлено два вопроса: 1. аграрный вопрос во всей его полноте и 2. чисто политический: преобразование России в конституционное государство. После довольно длительного обсуждения и спора было признано возможным соединить оба вопроса в одном съезде и назначить этот съезд на 20 число апреля, не раньше, ввиду дальних расстояний, бездорожья и переписки с приглашенными лицами, через посредство уездных управ. В собраниях бюро участвовали: Ф.А.Головин, кн. Пав.Д.Долгоруков, В.И.Вернадский, Ф.Ф. Кокошкин, П.И.Новгородцев, С.А.Котляревский, А.А. Корнилов, кн. Д.И.Шаховской, Н.Н.Львов, Ю.А.Новосильцев, В.Е.Якушкин, Т.И. Полнер и я.

В то время генерал-губернатором Москвы был назначен А.А.Козлов, человек очень порядочный и мягкий, по-видимому принявший систему управления противоположную системе своих предшественников. Он видимо избегал, поскольку мог, старых приемов «тащить и не пущать» и охотно вступал в переговоры с распорядителями съездов, становившихся очень многочисленными, но ни разу не нарушавшими внешнего порядка и сохранявшими весьма миролюбивый характер. Даже в тех случаях, когда полиция вмешивалась и требовала закрытия собрания, дело заканчивалось благополучно отображением карточек всех участников и удалением полиции. Но и такое вмешательство довольно скоро прекратилось. Так я вспоминаю случаи, когда постоянное бюро съездов заседало у Головина в доме, расположенном внутри большого открытого двора, мы

увидели входивший наряд городских во двор, а затем услышали и звонок в квартире. Через несколько минут в комнату, где мы заседали в составе около 20 человек, вошел полицеймейстер Носков, — который потом не раз появлялся на съездах, — и потребовал, чтобы мы разошлись. Само собою разумеется, что мы решительно и категорически отказались исполнить его требование, объявив ему, что мы находимся в частной квартире, где никому не возбраняется бывать когда угодно и заниматься чем угодно; что мы считаем такое вторжение полиции и такое требование его незаконным, нарушающим наши права и что поэтому подчиняться ему не будем и не разойдемся, а если ему угодно, пусть он производит над каждым из нас насилие. Полицеймейстер был озадачен и видимо не знал, что ему делать. Помолчав немного, он заявил, что в таком случае он не уйдет, пока мы не разойдемся.

— В таком случае, — возразил Ф.А.Головин, — вам придется долго просидеть; берите стул и садитесь, а мы будем продолжать свое дело.

Полицеймейстер еще более растерялся и заявил, что он требует от всех нас карточки, так как возбудит против нас обвинение в суде. Все мы подали ему наши карточки, и, получив их, он удалился. Само собою, что к суду мы не были привлечены. Такие попытки московской полиции повторялись не раз, но всякий раз они были более похожи на делание вида, что полиция не дремлет, что она исполняет свои обязанности, но не желает делать это всерьез, что она сомневается, кто будет хозяином положения завтрашний день: существующее правительство, или другое, из участников съезда. Иногда появление полиции, как всегда, с полицеймейстером Носковым во главе, принимало даже забавный характер. Так, во время многолюдного собрания в доме кн. Долгорукова, в то самое время, когда Носков обращался к председательствующему графу Петру

Александровичу Гейдену с требованием разойтись, а Гейден, не двигаясь с места, возражал, что собрание не разойдется добровольно, пока не рассмотрит очередные дела, в зале появился фотограф с большим аппаратом и, соорудив какую-то башню из столов позади стоявших членов собрания, снял через их головы фотографию пререкавшихся полицеймейстера с председателем. Носков обернулся лицом к фотографу и моментально был зафиксирован, что привело его в бешенство. Он бросился к фотографу, но толпа загородила ему дорогу и пока он пытался прорваться сквозь нее, фотограф исчез бесследно. Инцидент закончился, по обыкновению, передачей карточек всех присутствующих. Был даже случай, но уже после 17 октября, во время министерства Витте, когда на заседании съезда мне, как председательствовавшему, была передана телеграмма премьера с просьбой держаться почвы законности и выражением уверенности, что собрание не выйдет из пределов порядка и спокойного обсуждения вопросов, одинаково интересующих как общество, так и правительство. Другими словами, такие собрания завоевали фактически свою независимость, хотя и не были узаконены, и во всякое время, при изменившихся обстоятельствах, могли быть разгоняемы с применением силы.

Все собрания назначало заранее бюро съездов и сообщения о времени рассылались в земские управы всей земской России, что и делало их не местными, московскими, а российскими, притом не исключительно земскими, так как на них допускались в качестве действительных участников с правом голоса все лица, которые могли быть полезны делу. На этом основании были признаны членами съездов многие видные деятели науки, печати и других профессий. Заседания продолжались два-три дня, смотря по надобности, и занимали почти весь день с перерывом на обед. Были случаи, когда заседания

продолжались далеко за полночь. Председатель собрания избирался ежедневно, секретари — на все дни. Протоколы велись довольно подробно и хранились в бюро съездов. Но после первой революции они находились на хранении сначала у Тихона Ивановича Полнера, а затем у М.В.Сабашникова. Мы предполагали напечатать их, ввиду их важности для истории общественного движения с начала XX-го века до первой революции, и для этого была устроена подписка, обеспечившая печатание протоколов. Собранный капитал был внесен в один из московских банков. После третьей Думы я хлопотал об издании протоколов и просил Д.И. Шаховского переговорить с московским отделением центрального комитета к. д. партии и с другими лицами, принимавшими участие как в съездах, так и в подписке на издание протоколов, и, если возможно, приступить к печатанию их немедленно. Шаховской встретил в Москве со стороны некоторых бывших членов съездов, если не противодействие, то нежелание и просьбу отложить издание до конца выборов в третью Думу... Вторая революция все перевернула вверх дном, и мне неизвестно, сохранились ли протоколы съездов или бесследно погибли, как погибли и деньги, собранные для их издания. Во всяком случае, попытка разыскать и сохранить эти протоколы заслуживает того, чтобы ее сделать. Не безразлично для истории нашей родины иметь или не иметь материалы, относящиеся к происхождению первой революции и к характеристике её деятелей, их планов, их мнений, их характеров и положения...¹⁰ Передать по памяти

10 Из всех земских съездов только аграрный съезд, происходивший в Москве в апреле 1905 г., сохранил в печатном виде читавшиеся на нём доклады и происходившие по ним прения. На этом съезде участвовали земцы, агрономы и экономисты.

все, что и как обсуждалось на этих съездах, конечно, невозможно за давностью времени. Поэтому я могу отметить лишь очень немногое из всего, что более или менее твердо сохранилось в моей памяти, или что мне напомним сохранившиеся печатные материалы, которые я могу найти в местах моего заграничного пребывания.

Поскольку я могу припомнить, первый съезд 1905 года происходил после ноябрьского съезда 1904 года, в феврале, и был вызван двумя крупными событиями: разгромом нашей армии при Мукдене и тем, что было сделано правительством в ответ на решения ноябрьского съезда. Между нами не было никого, кто бы возлагал какие-либо надежды на указ 12 декабря и на реформаторские склонности и таланты председателя комитета министров Витте и его сотрудников, между которыми не было ни одного лица, способного отрешиться от бюрократических интересов и стать на широкую точку зрения коренной реформы, которая заменила бы самодержавное управление конституционным, при участии народного представительства, обладающего как законодательной, так и исполнительной властью. Витте был достаточно хорошо известен в земских кругах, чтобы кто-нибудь из нас мог рассчитывать на широту его политических взглядов. В своих «Воспоминаниях» он очень старается убедить потомство в независимости своих взглядов и своего характера, но все факты, которые он сам приводит, вопиют против его автопортретов, написанных

Председателем избран был я, докладчиками — М.Я.Герценштейн и А.А.Мануилов. Доклады этого съезда вошли в книгу «Аграрный вопрос», изданную в двух томах в 1906 г. (Издание кн. П.Д.Долгорукова). См. там статьи М.Я.Герценштейна и А.А.Мануилова.

перед кривым зеркалом. Никаким доверием общества он никогда не пользовался, и нельзя было обнаружить такому отношению лучше, чем это произошло, когда ему пришлось составлять первое министерство; и никогда он не обнаружил свою политическую бездарность больше, чем в ту минуту, когда вся власть попала в его руки и когда он не знал, что с нею делать.

Крушение его затеи 12 декабря было неизбежно и никого не удивило за исключением его самого, так как он продолжал думать, что неудача всех его реформ зависела исключительно от недоброжелательства к нему Николая II и интриг его врагов. Он не понимал тогда, не понимал и позднее, когда писал свои «Воспоминания», что успех реформ зависит не от интриг сотрудников, а от соответствия их духу данного времени и положению вещей. Проекты же Витте слишком запоздали и нуждались не в приспособлении их к самодержавию и самоуправству бюрократии, а должны были основываться на принципах, соответствующих духу времени, т. е. на том, что Витте органически не признавал и понять не мог, связанный другим порядком идей.

Точно такое же крушение потерпела и так называемая комиссия Шидловского, на которую было возложено разрешение рабочего вопроса. Она ровно ничего не сделала, да и не могла сделать: бюрократический строй тем и отличается, что прививает людям особый взгляд, отделяющий непроницаемой стеной управляющих от управляемых. Непосредственное общение тех и других немислимо, так как ни та, ни другая сторона не верят одна другой. Они не могут работать для одной цели совместно, и комиссия Шидловского только подтвердила этот факт.

Что же касается трех противоречивых актов, изданных в один и тот же день, 18 февраля, то съезд мог убедиться лишь в полной растерянности правительства под впечатлением Мук-

денской военной катастрофы и внутреннего состояния страны. И тем более важной представлялась задача, намеченная ноябрьским съездом, и тем настоятельнее необходимость безотлагательно приступить к детальной разработке вопросов с нею связанных. Было поручено бюро выполнить эту задачу к следующему съезду.

Бюро съездов в это время состояло частью из членов постоянных, т.е. принимавших непосредственное участие во всех его заседаниях; частью же из более или менее часто посещавших заседания. К первой группе принадлежали Петр и Павел Дмитриевичи Долгоруковы, в доме которых и происходили заседания; затем, председатель московской губернской земской управы Ф.А.Головин, член той же управы Ф.Ф.Кокошкин, профессора московского университета В.И.Вернадский, П.И. Новгородцев и С.А.Котляревский; затем, Д.И. Шаховской, А.А.Корнилов и я. Хотя я жил у себя в Машуке, в 220 верстах от Москвы, но постоянно ездил в Москву, и, кажется, не пропустил ни одного заседания. Позднее присоединился к числу постоянных членов представитель городских гласных, примкнувших к земским съездам, Ник. Ив. Гучков, по временам вносивший некоторый диссонанс своим противопоставлением интересов города и земства, политические интересы которых, бесспорно, вполне совпадали. Во всяком случае, в бюро он держал себя очень сдержанно, не входя в более дружеские отношения, связывавшие всех других.

Глава XVIII

Подозрительные демонстрации рабочих в Машуке и крестьян в Премухине у Бакуниных — Земский съезд 23-24 апреля в Москве — Петергофский прием земских деятелей 6-го июня — Речь кн. С.Н.Трубецкого — Ответ царя — Кн. С.Н.Трубецкой и газета «Московский Еженедельник» — Кончина кн. С.Н.Трубецкого и всенародные похороны его — Петербургский прием Курской и Орловской дворянских deputаций — Земский съезд 6-8 июля в Москве — Петергофские совещания правительства по поводу Булыгинской конституции — Расследование о земских съездах сенатора Постовского и прокурора Камышанского — Опубликование 6 августа учреждения Государственной Думы (Булыгинской) — Земский съезд 12-14 сентября — Врублевский и А.И. Гучков — Проект русской конституции напечатан в «Русских Ведомостях»

14-го мая 1905 года, в субботу утром, мне сказали, что рабочие, занятые работой при усадьбе, под предводительством садовника, ходят пьяные по усадьбе и бьют в окна стекла, что в рабочем бараке и в рабочей кухне все стекла уже разбиты. Я тотчас отправился, чтобы узнать, в чем дело. Как рабочий барак, так и рабочая кухня находились на самом краю усадьбы, но, выйдя из дома, несмотря на значительное расстояние, я увидел небольшую группу рабочих, что-то выкрикивавшую, но за дальностью расстояния разобрать, что именно, я не мог. Как только рабочие заметили, что я направляюсь к ним, они разошлись, и только два или три человека остались на месте. Подойдя к ним, я сразу заметил, что они сильно выпивши, тем не менее я сказал:

— Вместо того, чтобы бить стекла в окнах, если вы чем-нибудь недовольны, вы лучше бы сделали, если бы пришли ко

мне и объяснили, чего вы хотите. Ступайте и соберите всех ваших товарищей и приходите в контору, где я буду вас ждать.

Спустя некоторое время, вся группа под видимым предводительством молодого садовника Нила, явно выпившего, чего я никогда раньше за ним не замечал, и вообще очень толкового и порядочного человека, явилась к конторе, поголовно пьяная, но сконфуженная.

— Не стыдно ли вам, столько лет живущим в усадьбе и никогда не слыхавшим от меня дурного слова; вместо того, чтобы прийти ко мне и рассказать, в чем дело, вы бесчинствуете, бьете стекла. В чем дело? Говорите.

Никто из демонстрантов ничего толком объяснить не умел или не мог, скрывая истинную причину и сворачивая всю вину на кухарку рабочих. Но мне было ясно, что не ради кухарки они с утра оказались пьяны, а их кто-то угощал «для храбрости», встретив несогласие на демонстрацию против меня, с которым у них были всегда безусловно добрые отношения.

Ничего не добившись от пьяных, я обратился, когда они ушли, к заведовавшему в это время конторой имения, Федору Ивановичу Шмелеву, бывшему раньше учителем в Раменской земской школе, уволенному училищным советом по требованию инспектора народных училищ. Шмелев, сын местного раменского крестьянина, окончил Новоторжскую училищную семинарию и был весьма толковым и добросовестным учителем в своем родном селе. Никогда не занимавшийся никакой «пропагандой», а революционной менее всего, он был, однако, замешан в дело провокатора Френкеля и вместе с другими учителями лишен своего места. Он был человек семейный, имел жену и ребенка и был выброшен на улицу без вины и без всяких средств к существованию. Я знал его со времени покупки Машука, мы помогали его школе, вместе с ним устраивали в его же селе первое кредитное товарищество, в котором он вел

письмоводство и бухгалтерию, словом, это был человек, которому я вполне доверял и потому предложил временно принять в заведование контору в нашем имении, обещая похлопотать для него в губернском земстве о месте одного из страховых агентов.

К моему удивлению, Шмелев также уклонился от объяснений, хотя я видел, что он знает, в чем дело, но не хочет сказать мне. Я не желал его допрашивать и ушел домой. В этот же день вечером я получил от него письмо, в котором он изложил все, чего не мог сказать прямо в глаза: это был своего рода обвинительный акт относительно всей моей общественной деятельности. Все, что я делал в земстве, мои речи в пользу школ, больниц и вообще всяких культурных предприятий земства и в защиту его независимости, постройка школ на мои личные средства и снабжение их необходимыми принадлежностями, устройство кредитного товарищества и забота об устройстве жизни рабочих в Машуке, словом, все, что я говорил и делал, я делал для удовлетворения своего тщеславия, делал для самого себя, а не для дела, и потому неудивительно, что более сознательные рабочие протестуют и отвергают мои заботы.

Получив это письмо, я был огорчен и не столько тем, что «сознательные» рабочие для того, чтобы выразить свой протест, напились пьяными и били стекла в своем собственном помещении и в кухне, где они также были полными хозяевами. Все это было в порядке вещей, изменить который не только было не в моей власти, но и не во власти рабочих, для умственного и нравственного воспитания которых делалось также мало, как мало было сделано для изменения всех условий их жизни. Но меня огорчило то, что я так ошибся в понимании Шмелева, человека бесспорно доброго, честного и вообще хорошего, но достигшего далеко не той степени ум-

ственного развития, которую я в нем предполагал и неспособного, поэтому, понять ловкого провокатора. Меня занимала мысль: откуда шла провокация, слева или справа? В то время черная сотня еще не выступала на авансцену политической борьбы, но в провинции уже были признаки выделения этой разновидности, еще не сплоченной, как позднее, но все же действующей в одиночку. Ввиду этого я был склонен думать, что провокация велась слева, где она была уже давно организована и видела в «буржуях» более опасных для себя врагов, чем в черной сотне.

Размышляя на эту тему, я вспомнил, что два-три года раньше, в заседании медицинской комиссии, членом которой я состоял, учрежденной при уездной земской управе, разрешался вопрос об устройстве нового врачебного пункта в северном участке уезда, в местности, где было расположено наше имение и где мы жили. В версте от нас был у меня хутор в лесу, близ Тверцы и в довольно населенном районе. В хуторе был старый дом, требующий ремонта, но по отремонтировании — вполне годный для квартиры врача. Я предложил этот хутор с необходимым участком земли и леса передать безвозмездно в полную собственность земства, если оно признает пункт этот подходящим для устройства врачебного участка.

При обсуждении этого вопроса, один из врачей, возражая против врачебного пункта именно в этом месте, бросил мне упрек, что я хочу сделать из Машука особый культурный пункт, выделяющийся из всего уезда. Выслушав такое возражение, я тотчас заявил, что свое предложение, сделанное мною в интересах земства, не располагающего достаточными средствами, беру назад.

Мировоззрения этого доктора и бывшего учителя были очень сходны. Оба они вышли из крестьянской среды и, хотя по своему образованию и положению были люди разных

категорий, но оба одинаково рассуждали как раменские крестьяне, встретившие с подозрением мое предложение устроить кредитное товарищество, в основной капитал которого я предлагал положить безвозвратно необходимую сумму денег. Им казалось, что тут дело неспроста и что я что-то затеваю, чтобы извлечь свои выгоды. Требуется много времени, чтобы народное сознание убедилось, что не всегда люди в своих поступках руководствуются материальными интересами, и что все значение культуры состоит в том, чтобы интересы материальные подчинить моральным и духовным требованиям, вне которых жизнь имеет звериный образ борьбы за существование.

На письмо Шмелева я не отвечал и был рад, получив уведомление страхового отдела при губернской земской управе о назначении его страховым агентом в одном из участков Бежецкого уезда, ибо не сомневался, что он будет прекрасным агентом: деятельным, честным и аккуратным. Спустя два года, после Выборгского процесса, я получил в Петербурге от Шмелева покаянное письмо. Он просил простить ему его невольное заблуждение и обиду, которую он бессознательно нанес мне, будучи в чаду революционного настроения, которое в то время неудержимо овладевало всеми, в том числе и им. Только жизнь и последующие события раскрыли перед ним всю его вину, и он просит забыть ее. Лично против него я и раньше ничего не имел и видел в нем бессознательную жертву своего времени и своего положения.

Мне остается в добавление к моему рассказу отметить одно обстоятельство, не лишенное интереса. Почти одновременно с демонстрацией в Машуке, произошла своеобразная демонстрация в Премухине у Бакуниных. Премухинские крестьяне объявили, что лес Бакуниных должен принадлежать им, а потому нарядили подводы, вырубili деревья, сколько кто мог, и привезли в свои дворы. Этот инцидент революционного

характера разрешился, однако, чрезвычайно мирно, благодаря вмешательству нового губернатора кн. С.Д. Урусова, назначенного кн. Мирским. Урусов совершенно устранил всякое вмешательство полиции и земского начальника и, приехав в Премухино, сам лично собрал сельский сход и, после долгих переговоров, убедил крестьян признать неправильность своего поступка и доставить срубленные деревья в усадьбу Бакуниных. Тем дело и кончилось, но интересно в нем то обстоятельство, что только в двух новоторжских имениях, у нас в Машуке и в Премухине у Бакуниных, в гнездах, по выражению Штюмера, конституционных идей и борьбы с правительством, произошли демонстрации, тогда как в других имениях, у заведомых крепостников и сторонников существующего порядка, царило полное спокойствие. Не свидетельствовало ли это о том, что тут был плод провокации, исходившей из мутного источника, еще нерешительного и пробующего свои силы? Не странно ли, что все это закончилось так же быстро, как и возникло, и позднее спокойствие не нарушалось ни у Бакуниных, ни у нас, ни у кого другого.

Двенадцатого апреля, ввиду предположенного земского съезда, московской администрацией было объявлено нашему бюро, что съезд не будет допущен ни в каком случае. Тем не менее 23 апреля съезд собрался, и попытки разогнать его остались бесплодными. Сдача Порт-Артура, разгром армии при Мукдене, убийство великого князя и бесконечный ряд всевозможных фактов, нарушивших нормальное течение жизни, гарантировали неприкосновенность съезда. Чувство беспокойства и желание найти выход из такого положения господствовали во всех кругах. Съезд был необходим, как клапан, предохранявший от взрыва; администрация же не чувствовала в себе силы вступать в открытую борьбу с общественным мнением. Очень ошибочно мнение, что брожение

внутри страны возникло и приняло угрожающие размеры благодаря неудачам в японской войне, ослабившей, будто бы, правительственную власть внутри государства. Правительство оказалось одинаково бессильным, как в своих внешних предприятиях, так и во внутренних, благодаря своей собственной бездарности и неспособности ни понять назревшие нужды народа, ни оценить силы своего внешнего противника. Оба положения возникли независимо одно от другого, притом внутреннее состояние возникло многими годами ранее столкновения внешнего и развивалось медленно, накапливая свои отрицательные силы не искусственно, а при деятельной помощи правительства, вступившего с самого начала в борьбу с естественным развитием народного самосознания. В русском народе и в той его части, которую называют обществом, достаточно патриотизма, чтобы не пользоваться в борьбе с правительством его затруднениями во внешней войне. Народ знает, что расплачиваться за неудачи приходится не правительству, а ему самому. Но никакое правительство не может злоупотреблять этим чувством и взывать к патриотизму для того, чтобы обратить его против самого народа. Японская война не была ошибкой: она была преступлением, попыткой шайки придворных авантюристов и членов династии, ценою русской крови, добыть богатство в чужом крае. Она была преступлением и потому еще, что правительство желало ее в видах борьбы с самим русским народом. Вспомним убитого Плеве, требовавшего маленькой победоносной войны для отвлечения внимания народа от внутренней неурядицы. Погромов ему казалось мало, нужна была война, и погромщики втянули в нее Россию.

Никто не верил в Булыгинскую конституцию, и задача апрельского съезда заключалась в том, чтобы добиться ясности в намерениях правительства и самого государя. Ввиду этого съезд принял решение избрать депутацию, которой поручить

добиться аудиенции у царя и узнать от него непосредственно о его намерениях относительно ближайшего будущего. Съезд принял это решение и избрал депутацию в составе: Д.Н.Шипова, П.А.Гейдена, Ф.А.Головина, Павла Д. Долгорукова, Ю.А.Новосильцева, С.Н.Трубецкого, Д.И.Шаховского, Ф.И.Родичева, Н.Н.Львова, Г.Е.Львова, Н.Н.Ковалевского и меня, — всего 12 человек, из коих Д.Н.Шипов отказался, так что в состав депутации вошло только одиннадцать человек, на которых было возложено безотлагательно выполнить данное поручение.

В последних числах мая или в самом начале июня, точно не помню, вся депутация уже собралась в Петербурге. К нашей депутации присоединились три депутата, избранные петербургской городской думой: товарищ городского головы А.Н. Никитин, М.П.Федоров и барон П.Л.Корф. Таким образом, депутация увеличилась до 14-ти человек.

Начались хлопоты о получении аудиенции у государя через министра двора, барона Фредерикса, который на первом свидании заявил, что государь может принять депутацию в составе не более трех лиц. Ему было заявлено, что депутация должна быть принята вся и не может выделять из себя никого; если это невозможно, то депутация откажется от своей миссии, что едва ли послужит к успокоению общественного мнения, которому уже известно о прибытии депутации в Петербург. На следующий день было получено приглашение от Фредерикса для новых переговоров. Начался торг. Фредерикс готов был согласиться на половину. Представители депутации объявили, что не считают себя вправе принять такое предложение. После долгих переговоров Фредерикс согласился на принятие всей депутации, но за одним исключением — меня. Делегаты остались непреклонны, и можно было думать, что переговоры окончены, но на следующий день было получено от министра

двора полное согласие и просьба, обращенная ко всем членам депутации, прибыть к нему для личных переговоров о порядке приема и времени.

Все это было выполнено; Фредерикс нас встретил очень вежливо, как человек, который понял, что лучше всего быть любезным, на равной ноге. Тут же было установлено, что 6-го июня утром мы все прибудем поездом в Петергоф, где будут ожидать нас экипажи от двора, которые доставят нас в так называемый Фермерский дворец, где мы будем приняты государем; С.Н.Трубецкой обратится к нему с речью, на которую государь даст ответ, после чего, если государь выразит желание, быть может он обратится к кому-нибудь из депутатов отдельно. На все это мы согласились и вернулись к себе, в гостиницу «Франция», на Б. Морской, близ арки Главного штаба, где большинство из нас имели пребывание. На следующий день все собрались у меня в номере для обсуждения речи, которую кн. С.Н.Трубецкой произнесет царю. Из лиц, не принадлежащих к составу депутации, в нашем помещении находились только моя жена Анастасия Сергеевна и брат, Михаил Ильич. Едва Трубецкой произнес несколько слов, как я заметил, что среди нас находится совершенно неизвестное мне лицо. Я остановил чтение и, подойдя к незнакомцу, спросил, кто он такой и как он попал в нашу среду.

— Я знаком с вашим братом, — моя фамилия Львов, я — корреспондент.

— Разве вы не знаете, что это — частная квартира, в которую никто не может входить без приглашения хозяина и не будучи знакомым? Прошу вас немедленно выйти и не мешать нам заниматься своим делом.

После минутного колебания Львов вышел. Оказалось, что это был один из самых известных газетных корреспондентов — по фамилии Клячко. Впоследствии он был корреспондентом

«Речи», и я знал его, как одного из самых предприимчивых корреспондентов, способных пролезть через всякие препятствия.

После его ухода С.Н.Трубецкой прочел нам свою речь, вызвавшую наше общее одобрение и удовлетворение, как своим содержанием, так и силой и красотой формы.

На следующий день утром все мы отправились в Петергоф, где нас ожидало семь придворных экипажей, с кучерами и лакеями в красных ливреях. Мне пришлось ехать с Н.Н.Львовым. Дорога к Фермерскому дворцу шла через парк, в котором в нескольких местах мы миновали стражу, и остановились у ворот маленького дворика, в котором расположен дворец, небольшой, кажется, одноэтажный дом, с виду очень симпатичный. В большой передней стоял швейцар в какой-то раззолоченной ливрее и принимал наши пальто. Из передней мы вошли в зал, расположенный поперек всего дома. Тут ко мне подлетел во флигель-адъютантском мундире кн. Путятин, с которым я встречался в Твери на дворянских собраниях, где мы состояли в противоположных лагерях. Здесь он вертелся между нами, пока мы оставались в зале. Это — тип одного из тех прислужников двора, которые первыми, как крысы с тонущего корабля, спасались во время переворота, когда император был свергнут с престола. По уверению Витте, кн. Путятин заведовал при дворе кухней. Что ж, если бы монархия продержалась и Николай II не покинул трона, Путятин мог бы занять место даже премьера; он был не глупее и не хуже Штюмерера, с которым сам Витте считался бы, если бы Бог продлил его дни.

Через несколько минут нас пригласили в кабинет, дверь в который была из зала налево. Кабинет был довольно просторный, очень просто меблированный, без всяких признаков рабочей комнаты. Его окна с правой стороны от входа выходили

ли в парк, а прямо от входа была стеклянная дверь, также выходившая в парк. Нас поставили полукругом от одной стены до другой, а впереди нас, в ожидании государя, остались только Фредерикс, министр двора, и флигель-адъютант, моряк, граф Гейден, cousin П.А.Гейдена, находившегося в составе депутации. Очень скоро через стеклянную дверь вошел государь в летнем белом кителе и сделал общий поклон. Он был видимо взволнован, остановился перед нами и не сказал ни слова. Чтобы прекратить такое неловкое положение, князь Сергей Николаевич Трубецкой, стоявший как раз в середине полукруга, выступил вперед и, став в полоборота, чтобы не стоять спиной к депутации, произнес свою знаменитую речь, которую ждала вся Россия.

Этот эпизод глубоко врезался в моей памяти; это был ответ, данный царю страной на его «бессмысленные мечтания». Не знаю, вспомнил ли Николай II об этом, слушая речь и глядя на людей, пришедших к нему, чтобы сказать ему правду и напомнить ему об его долге. По мере того как Трубецкой душевным, отеческим тоном убеждал его подумать о России и исполнить свои обещания и обязательства, царь постепенно успокаивался и в конце овладел собою. Вероятно, он ожидал более резкой речи и более жестких, если не прямых упреков, то намеков. Выслушав Трубецкого до конца, он собрался с духом и произнес речь, которую хорошо выучил. Он просто обходил все, что требовало ясности и определенности, и давал снова обещание призвать народных представителей, не объясняя, какую роль он считает нужным им предоставить.

Хотя речь, сказанная С.Н.Трубецким, была напечатана во всех газетах, и вероятно, многие ее еще помнят, но я знаю, как коротка память о прошлом; в поколениях более молодых она останется неизвестной, забытой, хотя она сыграла немалую роль в развитии движения, вырвавшего из рук царя первую

«конституцию», или по меньшей мере первую Государственную Думу. Ввиду этого я привожу полный текст как речи Трубецкого, так и ответ царя.

«Ваше Императорское Величество! Позвольте выразить Вашему Величеству нашу глубокую искреннюю благодарность за то, что Вы приняли нас после нашего к Вам обращения. Вы поняли те чувства, которые руководили нами, и не поверили тем, кто представлял нас, — общественных и земских деятелей, — чуть ли не изменниками престола и врагами России. Нас привело сюда одно чувство — любовь к отечеству и сознание долга перед Вами. Мы знаем, государь, что в эту минуту Вы страдаете больше всех нас. Нам было бы отрадно сказать Вам слово утешения, и если мы обращаемся к Вашему Величеству теперь в такой форме, то верьте, что к этому побуждает нас чувство долга и сознание общей опасности, которая велика, государь.

В смуте, охватившей все государство, мы разумеем не крамолу, которая сама по себе, при нормальных условиях, не была бы опасна, а общий разлад и полную дезорганизацию, при которой власть осуждена на бессилие. Русский народ не утратил патриотизма, не утратил веры в царя и в несокрушимое могущество России; но именно поэтому он не может уразуметь наши неудачи, нашу внутреннюю неурядицу; он чувствует себя обманутым и в нем зарождается мысль, что обманывают царя. И когда народ видит, что царь хочет добра, а делается зло, что царь указывает одно, а творится совершенно другое, что предначертания Вашего Величества вызываются и нередко проводятся в жизнь людьми, заведомо враждебными преобразованиям, то такое убеждение в нем все более растет. Страшное слово «измена» произнесено, и народ ищет изменников решительно во всех, — и в генералах, и советчиках Ваших, и в нас, и во всех «господах» вообще. Это чувство с

разных сторон эксплуатируется. Одни натравляют народ на помещиков, другие на учителей, земских врачей, на образованные классы. Одни части населения возбуждаются против других. Ненависть неумолимая и жестокая, накопившаяся веками обид и утеснений, обостряемых нуждой и горем, беспорядком и тяжкими экономическими условиями, подымается и растет, и она тем опаснее, что в начале облекается в патриотические формы, — тем более она заразительна, тем легче она зажигает массы. Вот грозная опасность, государь, которую мы, люди, живущие на местах, измерили до глубины во всем её значении и о которой мы сочли долгом довести до сведения Вашего Величества. Единственный выход из всех этих внутренних бедствий — это путь, указанный Вами, государь, — созыв избранных народа. Мы все верим в этот путь, но сознаем, однако, что не всякое представительство может служить тем благим целям, которые Вы ему ставите. Ведь оно должно служить водворению внутреннего мира, созиданию, а не разрушению, объединению, а не разделению частей населения и, наконец, оно должно служить «преобразованию государственному», как сказано Вашим Величеством. Мы не считаем себя уполномоченными говорить здесь ни о тех окончательных формах, в которые должно вылиться народное представительство, ни о порядке избрания. Если позволите, государь, мы можем сказать только то, что объединяет большинство русских людей, искренно желающих идти по намеченному Вами пути. Нужно, чтобы все Ваши подданные равно и без различия — чувствовали себя гражданами русскими, чтобы отдельные части населения и группы общественные не исключались из представительства народного, не обращались бы тем самым во врагов обновленного строя; нужно, чтобы не было беспорядков и обездоленных. Мы хотели бы, чтобы все Ваши подданные, хотя бы чуждые нам по вере и крови, видели в России свое

отечество, в Вас — своего государя: чтобы они чувствовали себя сынами России и любили Россию так же, как мы ее любим. Народное представительство должно служить делу объединения и мира внутреннего. Поэтому также нельзя желать, чтобы представительство было сословным. Как Русский царь — не царь дворян, не царь крестьян или купцов, не царь сословий, — а царь всея Руси, так и выборные люди от всего населения, призываемые, чтобы делать совместно с Вами Ваше государево дело, должны служить не сословным, а общегосударственным интересам. Сословное представительство неизбежно должно породить сословную рознь там, где её не существует вовсе. Далее, народное представительство должно служить делу «преобразования государственного». Бюрократия существует везде, во всяком государстве, и, осуждая ее, мы винили не отдельных лиц, а «приказный строй». В обновленном строе бюрократия должна занять подобающее ей место. Она не должна узурпировать Ваших державных прав, — она должна стать ответственной. Вот дело, которому должно послужить собрание выборных представителей. Оно не может быть заплатой к старой системе бюрократических учреждений. А для этого оно должно быть поставлено самостоятельно, и между ним и Вами не может быть воздвигнута новая стена в лице высших бюрократических учреждений империи. Вы сами убедитесь в этом, государь, когда призовете избранников народа и встанете с ними лицом к лицу, как мы стоим перед Вами. Наконец, предначертанные Вами преобразования столь близко касаются русского народа и общества, ныне призываемого к участию в государственной работе, что русские люди не только не могут, но не должны оставаться к ним равнодушны. По сему необходимо открыть самую широкую возможность обсуждения государственного преобразования не только на первом собрании выборных, но ныне же в печати и в обще-

ственных собраниях. Было бы пагубным противоречием призывать общественные силы к государственной работе и вместе с тем не допускать свободного обсуждения. Это подорвало бы доверие к осуществлению реформ, мешало бы успешному проведению их в жизнь. Государь, на доверии должно созидаться обновление России».

Этим призывом была закончена превосходная речь С.Н. Трубецкого, сказанная ясным и твердым тоном. И сейчас, спустя 17 лет, я перечитываю ее с душевным волнением.

Когда Трубецкой окончил свою речь, выступил представитель Петербурга М.П.Федоров с речью, которая не была заранее сообщена нам и которая для нас была полной неожиданностью. Она не содержала ничего, противоречившего речи Трубецкого, которая не нуждалась, однако, ни в дополнении, ни в разъяснении. К тому же это выступление было нарушением принятого заранее всеми решения: ограничиться одной речью Сергея Николаевича.

После Федорова, на речь Трубецкого отвечал государь.

«Я рад был выслушать вас. Не сомневаюсь, что вами, господа, руководило чувство горячей любви к Родине в вашем непосредственном обращении ко мне.

Я вместе с вами и со всем народом моим всею душою скорбел и скорблю о тех бедствиях, которые принесла России война и которые необходимо еще предвидеть, и о всех внутренних наших неурядицах.

Отбросьте ваши сомнения. Моя воля — воля царская — призывать выборных от народа — непреклонна. Привлечение их к работе государственной будет выполнено правильно. Я каждый день слежу и стою за этим делом.

Вы можете об этом передать всем вашим близким, живущим как на земле, так и в городах.

Я твердо верю, что Россия выйдет обновленной из постигшего ее испытания.

Пусть установится, как было встарь, единение между царем и всею Русью, общение между Мною и земскими людьми, которое ляжет в основу порядка, отвечающего самобытным русским началам.

Я надеюсь, вы будете содействовать Мне в этой работе».

«После этого, — добавляет официальный отчет, — государь император удостоил всех представлявшихся милостивыми разговорами».

В первый и в последний раз я «представлялся» императору и в числе всех моих товарищей «удостоился» разговора. Но при этом вышел маленький инцидент, который я не могу не отметить.

Окончив свою речь, государь стал обходить всех, начав с стоявшего на краю у окна, кажется, Новосильцева. Каждый называл сам свою фамилию, царь протягивал свою руку и обращался с словами, ровно ничего незначащими, вроде: где служили и т.п. Почти рядом с Новосильцевым стоял Родичев, лишенный, по высочайшему повелению, прав участвовать в каких-либо общественных собраниях за «бессмысленные мечтания». Ему вернули права только по представлению кн. Мирского, т.е. через 10 лет, и Федор Измаилович поблагодарил царя за восстановление его прав. В этой благодарности звучал и упрек, который должен был почувствовать царь, если даже у Родичева не было такого умысла, но царь улыбался ему также, как и всем другим. Я стоял в середине полукруга и когда назвал свою фамилию, царь вместо того, чтобы протянуть мне руку, сделал шаг назад, минуту колебался и... протянул руку. Эта минута колебания произвела на стоявшего рядом со мною Н.Н.Львова впечатление более длительное и, после аудиенции, он спросил меня: зачем я так упорно смотрел в глаза государю?

В действительности же, я этого не делал, но с моей фамилией, очевидно, у царя соединялось что-то неприятное, и его шаг назад выразил это. По-видимому, царь хорошо запомнил мою фамилию и назвал ее в другом случае, о котором я расскажу ниже, но здесь, протягивая мне руку, он спросил меня:

— Вы, кажется, уроженец юга, давно ли вы покинули его?

— Двадцать пять лет тому назад, Ваше Величество, я вынужден был покинуть мою родину.

Пожав руку последнему, заканчивавшему наш полукруг, кажется, Федорову, царь сделал общий поклон и удалился.

По просьбе Фредерикса, Трубецкой и Федоров предоставили ему сделать копии их речей, и мы все покинули дворец с чувством очень большого сомнения и малой надежды. При выходе из ворот парка нас ожидал фотограф и упросил разрешить ему снять нашу группу. На наш вопрос, каким образом ему удалось пробраться с фотографическим аппаратом до самого дворца, он улыбался и отвечал, что за деньги можно пройти куда угодно. И мы могли убедиться, что с такой жадной и назойливой прислугой, какая служит при дворе, можно пробраться куда угодно, хотя бы и в самый дворец. Все кучера и лакеи, привозившие и отвозившие нас на вокзал, так нагло ждали подачи «на чай», как едва ли можно встретить в частных домах. Я забыл сказать, что после приема нам был предложен завтрак в другом, кажется, в большом дворце. Хозяином завтрака был тот же кн. Путятин, который вертелся между нами перед приемом во дворце, хотя на приеме кроме нас были только барон Фредерикс и флигель-адъютант гр. Гейден.

Благодаря нашим дружеским отношениям с В.И.Вернадским, у которого мы бывали очень часто, мы имели счастливый случай познакомиться с Сергеем Николаевичем Трубецким, также часто бывавшим у Вернадских. Глубокая духовная природа обоих очевидно влекла их друг к другу. Трубецкой в

это время был ректором университета, а Вернадский имел квартиру в одном из флигелей университета, что еще более сближало их, так сказать, топографически. Сергей Николаевич был один из самых обаятельных людей, каких я когда-либо встречал в своей жизни. Профессор философии и философ по природе в самом возвышенном значении этого понятия, он был в то же время воистину общественным деятелем и несомненным демократом по убеждениям. Естественно, что он примкнул к общественному движению, и именно к тому кружку, к которому принадлежал Вернадский и его друзья, в чистоту и серьезность намерений которых он верил. А раз он был с нами, мы не могли найти более верного, глубокого и красноречивого выразителя идей и желаний депутации земского съезда, представленной в Петергофе. И С.Н.Трубецкой принял без колебаний эту нелегкую миссию. Приводя полностью его речь в своих «Воспоминаниях», я хотел, чтобы тот, кто прочтет их, убедился в истинности демократических воззрений Трубецкого и наших, и сравнил бы их с «демократией», не говоря уже о коммунистах, которые ее прямо отрицают, но с «демократией» социалистов-революционеров, которые под нею разумеют не всю массу народа без различия классов, религии и всяких политических и социальных воззрений, а исключительно социалистов и пролетариат, исповедующий социалистическое учение. Все, что не исповедует этого всеспасающего учения, в социалистическом государстве не пользуется никакой свободой, никакими правами, ни гражданскими, ни политическими. Никакие примеры и уроки истории и современного состояния России не убеждают доктринеров и сектантов социализма в ошибочности их теорий и в дикости их методов.

С.Н.Трубецкой решил принять более активное участие в общественном движении и с этой целью остановился на мысли издания еженедельной газеты «Московского Еженедельника».

Наша группа с восторгом приняла эту мысль, предлагая себя в полное распоряжение газеты. В редакционный состав вошли: Сергей Николаевич и его брат, профессор Евгений Николаевич Трубецкой, В.И.Вернадский, П.И.Новгородцев, Д.И.Шаховской, А.А.Корнилов и я.

Сергей Николаевич начал хлопотать о разрешении. Казалось бы, одно имя Трубецкого и положение его в университете были более чем достаточны для правительства, чтобы беспрепятственно выдать разрешение на издание газеты. Но и в данном случае, только благодаря тому, что были пущены в ход все связи Трубецкого, он получил разрешение на издание, подлежащее цензуре. Как только разрешение было дано, тотчас было приступлено к выпуску первого номера «Еженедельника», который... был задержан цензурой и из типографии не выпущен. То же самое повторилось со вторым и третьим номерами газеты. Стало очевидным, что хотя разрешение было дано, но тогда же было решено задушить издание прежде, чем оно появится в свет. Булыгинская цензура дала свой ответ на петергофскую речь Трубецкого и показала, чего следует ожидать и дальше. Газета была убита, а вместе с нею были убиты и надежды С.Н.Трубецкого на способность правительства понять всю глубину и важность переживаемого страной кризиса, охватившего не только общественные верхи, но и самую толщу народную. Булыгинская конституция, объявленная 6-го августа, раскрыла, как глубоко завязла Россия в старых формах своей государственности и сколько еще усилий потребуется, чтобы сдвинуть с места этот уже наполовину мертвый груз.

Недавно избранный ректором после долгого промежутка, в течение которого ректоры назначались министерством, С.Н.Трубецкой был вызван в Петербург для участия в обсуждении в Совете министров дел, относящихся к университетам. Встретив в Совете все те же старые бюрократические взгляды,

Сергей Николаевич горячо восстал против них, и в один из таких моментов горячего спора, 29-го сентября, его поразил удар, прервавший эту, столь нужную в это время для России, жизнь. Он умер в буквальном смысле на своем посту, защищая вверенную ему крепость и цитадель народного просвещения.

Тело Сергея Николаевича было перевезено в Москву. Как только дошло до нас в Машуке известие о его смерти, мы с Анастасией Сергеевной немедленно выехали в Москву, чтобы отдать последний долг человеку, которого искренно не только уважали и горячо любили, но и возлагали на него так много надежд. Его похороны носили грандиозный характер, и многотысячная толпа, растянувшаяся на необозримое пространство, свидетельствовала более всяких слов, как глубоко она почувствовала потерю этого человека и гражданина.

После приема депутации в Петергофе, естественно она желала представить съезду отчет и обсудить дальнейший образ действий. Съезд был назначен на 6-ое июля и происходил, если не ошибаюсь, в доме Долгоруковых. Несмотря на то, что было дано прямое разрешение самого царя на передачу того, что произошло на приеме, и что выражено было в его словах: «вы можете об этом передать всем вашим близким, живущим как на земле, так и в городах», неизменный полицеймейстер Носков сделал попытку разогнать съезд; последний выдержал атаку победоносно и Носков со своей армией городских вынужден был отступить. Можно думать, что эта попытка разогнать съезд была сделана благодаря тому, что спустя несколько дней после приема нашей депутации, царь принял 20 июня депутацию курского дворянства, а 21 июня депутацию дворянства орловского. Первое просило, чтобы в «законосовещательное» собрание были призваны представители только двух сословий: дворянства и крестьянства. Орловское дворянство, прихватившее с собою нескольких горожан и крестьян, гово-

рило от имени «собравшихся в древней Москве людей всех званий и состояний, духовенства, дворянства, крестьян, торговцев, промышленников и людей науки». Орловские ораторы: граф Шереметев, граф Бобринский и Нарышкин не согласились с мнением, выраженным нашей депутацией, по заявлению этих ораторов — «вовсе не выражающей мнения всей русской земли», ибо «Русскому государственному строю, издавна сложившемуся, не свойственно «представительство», в смысле органа народного самодержавства, ибо державные права Руси Великой воплощаются в лице царя».

Николаю II-му эти речи пришлось более по душе, и Курским «зубрам» он откровенно выразил свои мысли: «Я вполне сознаю, — сказал царь, — ту пользу, которую может принести в будущем законосовещательном учреждении присутствие двух основных земельных сословий — дворянства и крестьянства, которые искони делили радость и горе со своими царями».

Эта речь заключала в себе два определенных положения: вместо конституции нам обещают законосовещательное собрание, имеющее сословный характер. Для нас не было никакого сомнения, что ни с тем, ни с другим страна не помирится, и то брожение, которое на всем протяжении России проявляется в самых разнообразных формах, бороться с которыми правительство совершенно бессильно, неизбежно превратится в революцию.

Такое положение вещей и было предметом обсуждения съезда, где речи все более принимали резкий характер, приведший к мысли об обращении к населению с манифестом, в котором было бы, как изложено со всею ясностью положение страны, так и указано на выход из тупика, в котором она находится. Должен сознаться, что я был сторонником этой меры и до глубокой ночи спорил с С.Н.Трубецким, доказывав-

шим мне всю рискованность этого выступления, ввиду возможных последствий, нежелательных уже потому, что их нельзя предвидеть с полной уверенностью. В конце концов он оказался прав и московское декабрьское восстание доказало это. Съезд, однако, принял чрезвычайно важное решение: он избрал комиссию из юристов и поручил ей рассмотреть составленный С.А. Муромцевым, Ф.Ф.Кокошкиным и другими, проект конституционной хартии, напечатанный в «Русских Ведомостях» и розданный членам съезда. Это сообщение членам съезда проекта конституции, в номере «Русских Ведомостей», по словам С.А.Муромцева, — представляло собой как бы первое чтение законопроекта, после которого могло бы последовать обсуждение его по статьям.

В июльском съезде принимали участие не только земские гласные, но и представители городских управлений Москвы, Петербурга и других городов. Это усиливало авторитет съездов, способствовало чрезвычайному сближению членов и подъему общего настроения, уверенности в достижении поставленной задачи, так как численный состав съездов все более увеличивался.

Спустя недели две после июльского съезда мы узнали, что в Петергофе обсуждался Булыгинский проект, известный под именем Булыгинской конституции. Позднее мы узнали, что заседания происходили под председательством государя июля 19, 21, 23, 25 и 26, т.е. в течение пяти дней. В заседаниях принимали участие некоторые из великих князей, — Михаил Александрович, Владимир Александрович, Николай Николаевич; все министры, все высшие государственные сановники, за исключением Витте, на которого было возложено поручение заключить с Японией мирный договор. Вместо него, присутствовал новый «сановник» генерал Д.Ф.Трепов, «вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждению», как определил его

С.Д. Урусов в блестящей речи своей, произнесенной в первой Государственной Думе, но тем не менее, ближайший и влиятельнейший советник Николая II.

Из числа государствоведов, профессоров государственно-го права, никто не удостоился приглашения, вероятно страха ради, что такие специалисты, пожалуй, будут настаивать на настоящей, а не на поддельной конституции. Однако, все же из числа настоящих ученых, был приглашен знаменитый историк, глубокий знаток России В.О.Ключевский, к которому обратился государь, вероятно, по примеру своего отца, мнившего себя любителем русской старины и пользовавшегося знаниями Ключевского в области русской иконографии. Из «общественных деятелей» был приглашен единственный бесспорный «дворянин Павлов», саратовский дворянский публицист, прославившийся своими выступлениями яркого полемического характера в «Московских Ведомостях», первой жертвой которого был я. Правда, кроме «дворянина Павлова» в совещание были приглашены люди, которых причислить можно по праву как к сановникам, так и к общественным деятелям, ибо никто не усумнится, что гр. С.Д.Шереметев, гр. А.А.Бобринский и г. Нарышкин — сановники, если не государственные, то придворные. Никто не усумнится и в том, что они и общественные деятели, так как они с нашего примера набрали тоже общественных деятелей и устроили депутацию к царю, принявшему их так же ласково, как и нас, и обещавшего им не менее, чем нам.

Русское общество довольно хорошо осведомлено о петергофских июльских совещаниях, благодаря тому, что протоколы этих совещаний были напечатаны полностью в Берлине и вышли двумя изданиями в течение самого короткого времени. В моей домашней библиотеке это издание имелось, но, к сожалению, теперь я могу его цитировать только по памяти.

Вся моя библиотека осталась в руках большевиков. Поэтому, делая ссылки на протоколы совещаний, я могу только ручаться за безусловную точность смысла цитат, которые я привожу в очень ограниченном числе. Не лишена интереса история этих протоколов, печатание которых было допущено, как утверждают, только в трех экземплярах, недоступных для общего пользования. Однако, один экземпляр удалось добыть на самое короткое время редакции газеты «Речь». Этот экземпляр был тщательно переписан и отправлен в Берлин для напечатания. Таким образом, берлинское издание представляет точную копию секретных протоколов.

Вопрос о совещательном характере «Государственной Думы», как предполагалось назвать новое учреждение, был предreshен и не обсуждался. Поэтому и все вопросы, связанные с компетенцией «Думы», вовсе не ставились. Наибольшее оживление и даже прения возбудил вопрос о представительстве, поднятый теми самыми лицами, которые 21 июля входили в состав орловской депутации и настаивали на сословности представительства вообще и дворянства, как испытанной опоры самодержавия, в особенности. О заслугах дворянства заговорили, если не ошибаюсь, граф Алексей Бобринский и Нарышкин — точно не помню. Они находили, что дворянство искони было опорой трона и династии и потому оно заслужило право на особую роль и в Государственной Думе. Против таких притязаний, по-видимому, неожиданно выступил в. к. Владимир Александрович, конечно, не в защиту равенства всех граждан и не во имя либеральных идей, а обвиняя дворянство в притязаниях, на которые оно не имеет никаких прав, ибо в его среде обнаружились крайние революционные идеи, притом в большей мере, чем в других сословиях. Это возражение было высказано самым категорическим тоном; на это г. Нарышкин

возразил, что революционные идеи не разделяются дворянством.

— Я спрашиваю вас, — возражает ему великий князь раздраженным тоном, — Петрунkevич дворянин или нет?

— Да, он дворянин, — отвечает Нарышкин, — но дворянство не разделяет идей и мнений Петрунkevича.

— А что сделало дворянство, — перебивает его великий князь, — чтобы помешать таким дворянам как Петрунkevич действовать против правительства? Исключили вы его из своей среды? Нет! А князья Шаховские, Долгоруковы, Муромцевы, Якушкины, Кокошкины, разве не дворяне? Исключили ли их? Нет!

Нельзя отказать великому князю Владимиру в значительности урока, данного им защитникам дворянских привилегий и прав, претендовавшим на особую благодарность правительства. Он весьма искусно упрекнул дворянство, что оно не сумело воспользоваться своим правом исключать из своего сословия лиц, вступающих в борьбу с самодержавием, и тем самым лишать их политических прав, которые эти лица, в силу закона, в таком случае автоматически утрачивали. Как известно, урок не прошел бесследно.

Бытовая история дворянства преисполнена лицами, преступность которых вне всяких сомнений, но преследование которых судом никогда не начиналось по требованию сословия. Никогда дворянство не исключало таких лиц из своей среды; напротив, нередко осужденные судом дворяне за безнравственность, за жестокость, за растраты и т.п. вызывали сочувствие сословия и ходатайства о помиловании. Я помню такой случай, который я имел возможность наблюдать в Смоленске, в начале восьмидесятых годов, когда дворянство радушно встречало возвращенного по его ходатайству из Сибири ссыльного, осужденного не за политическое преступ-

ление. Ни Куроедовы, ни Ноздревы, ни Карамазовы, ни множество других подобных дворянских типов, нарушавших и государственные и нравственные законы, не считались оскорбляющими честь и достоинство дворянства; только за такие преступления и было предоставлено благородному сословию исключать его членов из своей среды, что и влекло за собою потерю права участия в каких-либо общественных собраниях и организациях.

Великокняжеский упрек немедленно дал свои плоды. Подписание выборгского протеста депутатами первой Государственной Думы курское дворянство, по почину своего губернского предводителя дворянства графа Доррера, признало действием, нарушающим честь и достоинство дворянства и большинством голосов дворянского собрания исключило из своего сословия кн. Петра Дмитриевича Долгорукова, Вячеслава Евгеньевича Якушкина, Александра Николаевича Рутцена, кажется, и Ширкова. За Курской губернией последовала губерния Тульская, исключившая из своей среды Сергея Андреевича Муромцева, первого председателя первой Государственной Думы, человека, который был бы украшением любого парламента Европы, но не соответствовал достоинству тульского дворянства. За Тулой последовала Москва, исключившая из своей среды Федора Федоровича Кокошкина, самого крупного парламентария первой Думы, идеально чистого человека, так трагически погибшего от рук большевиков в ночь с 6-го на 7-ое января 1918 года в больнице, где он был арестован, как член Учредительного Собрания. Вслед за Москвой, Петербург исключил из своей среды Владимира Дмитриевича Набокова и Евгения Ивановича Кедрина. Я не имею под руками сведений о всех исключенных из дворянской среды, но знаю и обратные случаи, где попытки исключения не удались. Так, калужское дворянство отказалось исключить за подписа-

ние Выборгского протеста кн. Сергея Дмитриевича Урусова, а тверское — меня и моего брата Михаила Ильича, нашедших в лице нашего друга и товарища по партии Геннадия Дмитриевича Скарятина, красноречивого защитника Выборгского протеста. Во всей истории этих исключений курьезно то, что все исключения имели характер только сословно-дворянской рекламы, лишенной всякого действительного значения. Осужденные судом за Выборгский протест, мы уже были лишены права участия в собраниях и всяких избирательных прав, и исключение нас из сословия не прибавляло ни одного скрупула к весу судебного решения. Таким образом, дворянство только обнаружило свою хамскую угодливость и ничего более.

К курьезам обсуждения в Петергофе Булыгинской конституции я не могу не отнести еще одного факта, имеющего личное отношение царя ко мне.

Возник вопрос о выборе председателя Государственной Думы. Подлежит ли его избрание утверждению государя, или избрание не требует утверждения?

Почтенные сановники выразили мнение, что утверждение государем избранного председателя придаст последнему большее значение, подобно всем другим высшим должностям, которые подлежат высочайшему утверждению. Они не понимали, что утверждение председателя, избранного Думой, превращало избрание в назначение, а самого председателя в чиновника, лишая его той независимости, которая дает гарантию свободе мнений и решений народного представительства.

Против такого мнения группа, состоящая из четырех лиц с Треповым во главе, высказала соображение, что Государственная Дума может избрать лицо нежелательное государю, который может быть поставлен таким избранием в затруднительное положение.

— Например, — заявил император, — изберут Петрункевича. Нет, я присоединяюсь к мнению четырех и не считаю необходимым мое утверждение председателя.

Таким образом, мое имя сослужило хорошую службу Думе, поставив выбор председателя в совершенно независимое положение от царя и его правительства.

Протоколы петергофских совещаний представляют чрезвычайно интересный памятник отсутствия сознания как в самом царе, так и в его советниках чрезвычайной важности этого момента в жизни страны и желания удовлетворить насущные интересы народа, охваченного беспокойством и чувством стеснения от устаревших форм жизни, и мятущегося в искании новых форм. Единственная речь, в которой чувствовалась жизнь и сознание важности задачи, была речь профессора В.О.Ключевского, по своей основной мысли совпадавшая с мыслью, выраженной в речи С.Н.Трубецкого. Ключевский был слишком вдумчивый и живой человек, чтобы не почувствовать, что Булыгинский проект носит печать не жизни, а канцелярии и мертвечины. Опубликование 6-го августа этой «конституции» было и днем её смерти. Она не встретила нигде и ни в ком ни малейшего одобрения и была заранее обречена на помещение в архивы бесполезнейших трудов российской бюрократии.

В связи с приемами в Петергофе разных deputаций, совещаниями и обсуждениями Булыгинской Думы, а также, вероятно, и ожидаемой общественной критики, был придуман способ приостановить земские съезды привлечением некоторых членов их к расследованию их действий, с приданием последнему внушительного вида сенаторского следствия. Для этого были назначены сенатор Постовский и прокурор петербургской судебной палаты Камышанский. Сенатор Постовский вместе со своим помощником Камышанским прибыли в Моск-

ву, остановились в «Национальной» гостинице и приступили к расследованию, вызывая к себе разных лиц, принимавших участие в съездах. В это время я находился у себя в деревне, где и получил приглашение сенатора Постовского явиться к нему во исполнение возложенного на него высочайшего повеления. Я немедленно выехал в Москву, где узнал, что некоторые лица, жившие в Москве, уже допрошены: Ф.Ф.Кокошкин, Ф.А.Головин и другие. От них я узнал, в чем состоит миссия Постовского.

В назначенный час я отправился к нему, где застал и Камышанского. Постовский принял меня очень просто, без всякой официальности и между нами завязалась скорее беседа по вопросу о наших желаниях, намерениях и планах, чем допрос по определенному обвинению. Постовский держал себя как внимательный собеседник, Камышанский, напротив, вероятно, по привычке, все время вставлял ехидные вопросы, на которые я отвечал без всяких обиняков, что заставляло Постовского останавливать Камышанского. Я не скрывал ни цели, которую мы преследовали, ни причин, которые нас побуждали добиваться её, ни нашей уверенности в её достижении, так как все общественное мнение нашей страны на нашей стороне. Закончилась наша беседа не протоколом, как можно было ожидать, а просьбой Постовского изложить все, что я говорил, в письме на его имя и прислать ему. В тот же вечер я засел за это письмо и подробно изложил, т.е. повторил то, что говорил утром¹¹.

Этим все расследование сенатора Постовского и закончилось. Никаких последствий оно не имело.

11 Текст этого письма см. в приложении.

С каждым новым съездом число участников возрастало. Стали появляться лица, не только сочувствующие задачам съездов, но и противники их, очевидно начавшие понимать, что авторитет съездов растет и его идеи, и речи, раздающиеся в этом самочинном собрании, приобретают все больше сторонников. Уже на июльском съезде появились, как их потом называли, курские зубры, показавшие свои рога несколько позже, когда изгонялись из дворянской среды такие люди, как П.Д.Долгоруков, Якушкин, Рутцен, Ширков за подписание выборгского воззвания. На земском съезде они не могли еще бодаться и только произносили всеподданнейшие речи. Князь Касаткин-Ростовский торжественно заявил, что он верноподданный государя Николая II-го и не желает быть подданным господина Петрункевича, хотя я и не объявлял своих претензий на всероссийский престол. Увлекающегося своим красноречием курского князя поддерживал такой же верноподданный курянин г. Говоруха-Отрок, человек более осторожный, но в ретроградности которого никто не мог сомневаться.

На сентябрьском съезде курян уже не было: они оказали свое верноподданничество и прочность своих привилегированных воззрений и не интересовались другими мнениями. Между тем, на сентябрьском съезде был поставлен один из самых злободневных вопросов, не впервые беспокоивших русскую совесть: вопрос о Польше, о её автономии. На съезде появился из Вильны поляк Врублевский, произнесший великолепную, красноречивую по форме, глубокую по содержанию, речь. Она произвела огромное впечатление на собрание, и когда он спросил, должна ли Польша ожидать своего освобождения только тогда, когда памятник Муравьеву потонет в потоке польской крови?!... собрание разразилось бурными рукоплесканиями и отвечало резолюцией, требующей включения в свою ближайшую программу автономии Польше. Это постановление

вызвало появление на следующий день в собрании А.И.Гучкова, до того времени не посещавшего съезда. В своей речи, возражая против вчерашнего постановления, касающегося Польши, он обвинял съезд в попытке расчленения России, которая никогда этого не допустит. Его речь, построенная на патриотических чувствах, может быть, могла бы произвести впечатление на некоторых членов съезда, если бы её патриотический пафос носил менее вызывающий характер. Попытка приписать освободительному движению антипатриотический дух и даже преступные цели, — была не нова и явно нелепа. Известно, что как только русская армия стала терпеть неудачи в борьбе с Японией, прислужниками правительства тотчас был пущен слух о подкупе японцами русских общественных деятелей и печати, в расчете перенести ответственность военной и гражданской власти за поражение на общество и его деятелей. Конечно, этому слуху никто не верил, и истинный смысл его был всем понятен. Новая попытка г. Гучкова обвинить общественных деятелей и их съезд в антипатриотизме была не более умна, тем более, что упрек коснулся вопроса, составлявшего одну из самых темных страниц истории России, участвовавшей вместе с двумя германскими государствами в разделе братского народа. Русская совесть никогда не мирилась с таким варварским и гнусным делом и если требуются доказательства этому, то они даны в последней войне всей Россией и всем миром, вернувшим полякам их государственное единство и полную независимость.

В 1905 году польский вопрос не ставился так широко по той простой причине, что сами поляки вынуждены были ставить его уже, не выходя за пределы Царства Польского, связанного с Россией. Ни Врублевским на земском съезде, ни позднее, в декабре месяце того же года, в собеседовании с делегатами Польши, приезжавшими после Манифеста 17-го

октября в Петербург, вопрос о независимости русской Польши не ставился, как мне кажется, ввиду опасений, которые внушали полякам Германия и Австрия. Польский вопрос ограничивался тогда только автономией Царства Польского, с особым польским правительством и своим особым парламентом, но с сохранением унии с Россией.

На речь г. Гучкова отвечало на съезде несколько ораторов, но наиболее обстоятельный ответ дал П.Н.Милюков. К сожалению, я не могу по памяти восстановить его речь, но помню впечатление, произведенное ею на съезде, который выразил свое одобрение оратору горячими аплодисментами.

Что же касается самого г. Гучкова, то мне помнится, он покинул собрание тотчас после произнесения своей речи, не ожидая ответных речей. Когда, по обнародовании манифеста 17-го октября графу Витте было поручено образовать первое конституционное министерство, и возник вопрос о необходимости вручения нескольких портфелей общественным деятелям, один из четырех портфелей был предложен г. Гучкову, о котором Витте, по его собственным словам, раньше не имел никаких сведений, тогда как три других портфеля были предложены: Д.Н.Шипову, М.А.Стаховичу и кн. Е.Н.Трубецкому, пользовавшимся широкой известностью как в правительственных, так и в общественных кругах.

Съезд закончился рассмотрением доклада комиссии, которой было поручено на предыдущем съезде составить проект русской конституции или конституционной хартии, которая должна была бы служить ответом на Булыгинскую конституцию, неприемлемую с точки зрения государственных и народных интересов России. Этот законопроект был рассмотрен съездом в общих чертах, не входя в детали, причем решено было дать ему возможно широкое распространение в обществе с выражением пожелания получить замечания, которые могут

быть сделаны читателями. Все такие замечания бюро съездов с своим заключением должно было представить следующему Съезду.

Глава XIX

**Образование конституционно-демократической партии —
Признаки революционного настроения в очередном Новоторжском земском собрании — Всеобщая забастовка. —
Манифест 17 октября 1905 г. — Слухи о погромах «Черной Сотни» — Тверской погром — Отъезд в Петербург**

Уже на первом земском съезде в ноябре 1904 года ярко обнаружилось расхождение его участников по двум основным направлениям: три четверти голосов было подано за конституцию и только одна четверть — за сохранение самодержавия при введении совещательного представительства. Съезды, происходившие в 1905 году, были все многочисленнее и многочисленнее, превосходя ноябрьский съезд предшествующего года в четыре-пять и более раз, причем состав их постепенно изменялся: чисто земский их состав стал пополняться представителями городских управлений и различных интеллигентных профессий.

Пока вопрос о сущности земского движения закутывался в туманное понятие борьбы со «средостением», под которым подразумевалась бюрократия, пока действительная цель — замена самодержавия конституционным строем — не стала открытым лозунгом съездов, объединение приверженцев двух непримиримых систем — самодержавия и народопрравства — было не только возможно, но и не встречало никаких трудностей. Напротив, обоим направлениям казалось, что еще не настал момент, когда пути разделятся, но каждая группа понимала, что ей по пути со съездом в его целом лишь часть дороги и что рано или поздно наступит момент расхождения по разным путям, на которых бывшие союзники встретятся как противники. Тут не было ничего неожиданного, и земские съезды шли тем же путем, который был установлен при орга-

низации двумя годами ранее (в 1903 году) «Союза Освобождения», в коем принимали участие будущие кадеты, республиканцы и монархисты, социалисты разных оттенков — эсдеки, эсеры и народные социалисты, то есть все, ставящие своей целью освобождение России от устаревших форм государственного управления. Силою самого положения вещей все недовольные режимом примыкали к земским съездам, на которых выяснялись и цели борьбы, и ее способы, в зависимости от чего каждый решал и пределы своего участия. Именно такой способ организации съездов открыл их двери не только членам земских учреждений, но и лицам разных профессий и превратил земские съезды в действенные центры общественной оппозиции, разместившейся в разных профессиональных интеллигентских союзах «Освобождения».

Нельзя отрицать, что привлечение в съезды элементов не земских значительно увеличило силу и авторитет оппозиции, но, с другой стороны, также верно, что вместе с распространением в обществе оппозиционного духа, в широких его кругах и особенно в кругах, по своему социальному положению, образованию и политическому воспитанию стоящих на меньшей высоте, распространялись идеи революционные, мало продуманные, упрощенные, представлявшиеся многим такими ясными и легко достижимыми. Ни земские деятели, ни «Союзы Освобождения», не только в столицах — Петербурге и Москве, но и в провинции, не могли помешать распространению революционного духа уже по той простой причине, что правительство преследовало одинаково как конституционалистов-эволюционистов, так и проповедников и сторонников социальной и политической революции, объединяя своими гонениями как тех, так и других. Такое объединение отчасти проявилось в 1905 году в виде стремления «Союзов Освобождения», представляющих организации политико-профессиональные, соеди-

ниться в один общий «Союз Союзов» в видах единства действий всех оппозиционных элементов и подчинения нетерпеливых дисциплине «Союза Союзов». Ввиду этого представители земства не сочли возможным остаться в стороне от такой организации, которая могла оказать самое нежелательное влияние на решение задач, поставленных земскими съездами и уже давших положительные результаты. Таким путем образовалась земская группа, примкнувшая к «Союзу Союзов» и получившая наименование группы «А». Выбор меня председателем «Союза Союзов» свидетельствовал, что земская группа, представляющая земские съезды, обладала в «Союзе Союзов» достаточным авторитетом и доверием его членов. Позднейшие события — московский вооруженный мятеж и петербургский самочинный рабочий парламент с Носарем и Троцким во главе — свидетельствовали, что опасения нелепых и вредных выступлений революционеров были не напрасны. Уже одно то обстоятельство, что московский мятеж был раздавлен одним гвардейским полком (Семеновским), присланным из Петербурга, а петербургский рабочий парламент (совет рабочих депутатов) был разогнан самыми обыкновенными полицейскими мерами, показало, что такие революционные вспышки обнаруживали лишь слабость общественных сил и негодность революционных способов действия против правительства, первоначально испуганного общественным движением и растерявшегося, но скоро оправившегося и оказавшегося еще достаточно сильным, чтобы подавить как московское восстание, так и петербургское выступление «совета рабочих депутатов».

Организация «Союза Союзов», созданная ввиду необходимости объединения многих профессиональных союзов, представляла слишком недостаточную гарантию того, что кооперация союзов устоит перед напором революционных действий; авторитет земской группы — «А» — оказался бес-

сильным в среде союзных организаций противодействовать чрезвычайно быстро растущему в обществе революционному настроению, опасному не столько для правительства, сколько для дела свободы и осуществления наших надежд. Авторитет одной группы был недостаточен: требовалась организация более авторитетная, более обширная, не профессиональная, а широко общественная, объединенная общностью принципов и интересов не классовых и не сословных, а общенародных, словом, естественно создавалась необходимость организации политической партии, не подпольной, а открытой, провозглашающей не утопии перестройки всего человеческого быта по схеме, ничего общего с действительностью не имеющей, а партии, предъявляющей свои требования в полном согласии с историей развития европейской культуры и цивилизации и со всеми чаяниями русских людей, составляющих гордость России, начиная с Радищева и Новикова, продолжая декабристами, великими поэтами и писателями, либеральными публицистами и общественными деятелями, борцами и создателями великих реформ, испорченных и загубленных темными силами старого порядка. Земские съезды приняли великое наследие русского либерализма, и основное их ядро, превращаясь в политическую партию, естественно принимало на себя задачу осуществления принципов, идей, политических и социальных реформ, отвечающих духу нашего времени и настоятельным нуждам нашей страны, которая не могла далее оставаться под режимом давно отжившего старого порядка и равно не могла удовлетвориться такими «реформами», которые были только что обнародованы в виде так называемой «Булыгинской конституции».

Таково было мнение огромного большинства последнего земского съезда, закончившегося избранием комиссии, на которую было возложено составление программы и устава

партии, названной «конституционно-демократической». В состав комиссии было избрано около двадцати членов, насколько я помню: С.А.Муромцев, Ф.Ф.Кокошкин, князь П.Д.Долгоруков, кн. П.Д.Долгоруков, В.И.Вернадский, князь Д.И.Шаховской, А.А.Корнилов, Ф.И.Родичев, М.Я.Герценштейн, П.Н.Милуков, М.М.Винавер, П.И.Новгородцев, Ф.А.Головин, С.А.Котляревский, — остальных не помню. В числе избранных был и я, но к моему большому огорчению, я принял участие только в собрании комиссии, происходившем после того, как разъехались члены съезда, кажется, на другой день. Я не мог оставаться более ввиду Новоторжского уездного земского собрания, на котором я должен был присутствовать по причинам, о которых я расскажу ниже. Выработанный этой комиссией проект программы партии был обсужден на съезде, собравшемся в октябре 1905 г. в Москве. Съезд был неполный ввиду общей забастовки. Программа была принята 18 октября, в тот самый день, когда был объявлен в Москве Манифест 17 октября.

Несмотря на то, что устав партии еще не был составлен, а программа была опубликована тотчас лишь в Москве, организация партии была как бы санкционирована огромной частью русской интеллигенции и самых разнообразных кругов русского общества, что выражалось массовым вступлением в ряды партии. Без малейших затруднений и задержек во всех местах России, даже в самых отдаленных, стали организовываться конституционно-демократические группы, принимавшие программу без всяких оговорок, и в несколько дней образовалась широкая сеть партии, сыгравшей в освободительном движении (в первой революции) и в первой Государственной Думе руководящую роль.

Быстрота, с которой организовалась самая крупная партия, и ее удельный вес превосходно характеризованы одним из

самых беспристрастных судей, никогда не бывшим ее членом, писателем и общественным деятелем Владимиром Галактионовичем Короленко, который так отозвался о конституционно-демократической партии: «Она составила из той части свободолюбивой и благожелательной к народу интеллигенции, которая слагалась давно из тех слоев просвещенного общества, которое было недовольно остановкой реформ со второй половины царствования Александра II-го. Целыми десятилетиями слагались ее идеи, получившие выражение в передовой журналистике, в ученых трудах, на университетских кафедрах и в ученых обществах». (См. «Современные Записки», кн. — XIII-я, ст. «Земли, земли!» стр. 135). Что я могу прибавить к этим словам истинного народолюбца и демократа? Пусть те, которые в настоящее время отрекаются от партии, в составе которой они делали свою политическую карьеру, называя ее программой «помещичьей», прочтут беспристрастный приговор В.Г.Короленко, которого они не могут заподозрить в потворстве помещицкому мировоззрению.

В приложении к этой главе я помещаю программу партии в том тексте, в каком она появилась 18-го октября 1905 года, и затем в другом виде, какой она имеет теперь, после внесенных поправок и дополнений на седьмом, восьмом и девятом съездах в 1917 году 25 марта, 9-го мая и 24-28 июля.

Сравнение этих двух текстов свидетельствует, что в течение первых одиннадцати лет (1905-1916) программа оставалась почти без всяких изменений, так как на втором съезде, — 5 января 1906 г., — была принята только одна поправка к ст. 14-й по вопросу о немедленном распространении избирательного права на женщин. Поправка состояла в отмене примечания к этой статье, допускавшей свободу голосования по этому вопросу. Это примечание было уступкой незначительному меньшинству, представившему на учредительном собрании партии

особое мнение, которое вслед затем было решительно отвергнуто на втором съезде огромным большинством и вычеркнуто из программы.

Если память мне не изменяет, на третьем съезде партии, в апреле 1906 года, перед открытием Государственной Думы, было принято решение, сохраняя за партией наименование «конституционно-демократической», присвоить ей и другое — «партии Народной Свободы», как более понятное и близкое народной массе. Но это было первым дополнением не программы, а устава партии, принятым при утверждении его на третьем съезде.

Все поправки и дополнения программы приняты на трех последних съездах в 1917 году после февральской революции, когда партия Народной Свободы из оппозиционной, нелегальной и гонимой превратилась в партию правительственную, принявшую деятельное участие в образовании «Временного Правительства»; она составляла главный его элемент и могла рассчитывать на осуществление политических и социальных реформ, соответствующих тому новому порядку вещей, который должен был сменить порядок старый, разрушенный революцией.

Государственный переворот и перемена положения партии в ряду новых действенных факторов в преобразовании России не изменили ни воззрений партии, ни ее принципов, а потому не требовалось бы и составления новой программы, если бы ее программа 1905 года не была изложена в слишком общих выражениях, вполне достаточных для партии, занимавшей исключительно положение оппозиционное, но недостаточных в ее новом положении, особенно по вопросам, требующим более детального изложения во избежание толкований, не соответствующих духу и принципам партии.

Только на последнем IX-м съезде были включены в программу два вопроса, совершенно новые, не входившие в прежнюю программу, выдвинутые на очередь революцией: вопрос о положении церквей различных национальностей и вопросы армии и флота.

Противники нашей партии как слева, так и особенно справа упрекают нас в перемене основного принципа партии, превратившейся якобы из партии конституционно-монархической в республиканскую и провозгласившей на первом же съезде, последовавшем после отречения императора Николая II-го, Россию демократической парламентарной республикой. Однако, если мы обратимся к нашей старой программе (1905 г.), то мы увидим, что в статьях, определяющих государственный строй (13-19) говорится (ст. 13), что «конституционное устройство Российского государства определяется основным законом».

Выражение, принятое в старой программе: «конституционное устройство» вовсе не равнозначает выражению «монархическое устройство», хотя бы с прибавлением слова «конституционное». С точки зрения партии «Народной свободы», как монархическая, так и республиканская форма государственного устройства есть вопрос не принципа, а факта, соответствующего историческому моменту. В 1905 году в России царила самодержавная форма, и партия, стремившаяся к изменению самодержавия в более совершенную форму, не предполагала возможным достигнуть этого революционным путем, путем насильственного переворота. Она полагала, что более разумно избегать рискованных скачков и считала большим шагом вперед переход от самодержавия к конституционному ограничению верховной власти. В 1917 году положение вещей было совершенно иное. Император отрекся от престола в пользу своего брата, отказавшегося принять престол иначе, как путем

избрания его Учредительным Собранием, признавая таким образом суверенитет народа. Опыт царствования Николая II-го представлял достаточное свидетельство полного разложения не только самодержавной формы правительства, но и неспособность развращенной династии честно выполнить те обязательства, которые налагает конституция на конституционного монарха. Если в этом можно было сомневаться в 1917 г., то теперь, в 1923 г., после появления в печати писем императрицы Александры Федоровны к своему супругу императору Николаю II-му, всякое сомнение, по меньшей мере, — не может быть оправдано никакими соображениями, кроме личных. Для партии же Народной Свободы замена конституционной формы государственного строя республиканским — есть только естественная перемена самоупразднившей себя формы — формой соответствующей духу времени и интересам России.

Выборы депутатов в первую Государственную Думу дали партии Народной Свободы блестящую победу, так как число ее членов, хотя и не достигло абсолютного большинства в Думе, но все же партия располагала в ней около 190 голосами своих членов и имела в Думе господствующее влияние, не только благодаря своему численному перевесу, но еще более благодаря своей дисциплине, своему образовательному и моральному авторитету.

Во второй половине 1905 года развернулась довольно полная картина общего брожения умов по всей России. Признаки приближающейся революции или какого-нибудь взрыва были очевидны для всех, за исключением лишь тех, кто не хотел ничего видеть. И не только брожение было заметно среди интеллигенции или полуинтеллигенции, но тоже можно было наблюдать и среди народной массы, еще недавно казав-

шейся равнодушной, по крайней мере в Тверской губернии, где я мог лично наблюдать настроение крестьян, с которыми у меня были отношения простые и доброжелательные. В конце лета, случайно, я узнал в земской управе, что туда приходили крестьяне из соседних с Машуком деревень и просили сообщить им, обложены ли мои земли налогом или вовсе не обложены; а если обложены, то уплачиваю ли я налоги, или на мне числятся недоимки. Член управы, заведующий окладными книгами, ответил, что моя земля обложена так же, как и земля всех частновладельцев и что за мною не числится никакой недоимки, так как оклад внесен своевременно в кассу управы. Крестьяне отнеслись к этому показанию члена управы с недоверием и попросили показать им окладную книгу. Просьба эта была немедленно удовлетворена, и крестьяне убедились, что моя земля обложена по 1-му разряду, т.е. самому высокому, и что недоимки за мною не имеется. Такие же справки делали крестьяне о других землевладельцах, своих соседях. Было очевидно, что революционная пропаганда делает свое дело неутомимо и обращена не против правительства, а против частных землевладельцев и притом не против заведомых черносотенцев, а именно против тех, которые пользовались в крестьянской массе очевидным доверием; его-то и нужно было подорвать во что бы то ни стало. Меня это несколько не удивило, так как я хорошо знал крестьянскую массу и ее легковерие. Мне приходилось не раз наблюдать, как демагогическую пропаганду эсеров, так и на себе испытывать доносы благонамеренных «патриотов», до деревенских «батюшек» включительно.

Приближалось осеннее очередное земское собрание в Торжке, и я имел основание ожидать, что оно пройдет не совсем спокойно, так как в нашей собственной маленькой группе, державшейся единогласия по всем важным вопросам,

произошел разлад по поводу выбора председателя управы в прошлом году, после восстановления земства в его правах и отозвания правительственной комиссии, назначенной министром Плеве для ведения земских дел.

Недоразумение заключалось в том, что до упразднения земства председателем управы был Н.А.Балавинский, после ревизии Штюмера, уволенный от должности вместе с членами управы. По восстановлении земства личный состав управы был подвергнут переизбранию, причем вместо Балавинского председателем управы был избран д-р М.П.Литвинов. Балавинский счел себя лично обиженным. По его мнению земское собрание было морально обязано переизбрать его, потому что он был уволен правительством без всякого законного основания, и только переизбрание давало ему полное удовлетворение. С формальной точки зрения протест Балавинского имел некоторое основание, но земство не могло не считаться с реальным положением вещей, совершенно изменившимся с переменой министерства после убийства Плеве, и не только с новым направлением новой политики, но и с настроениями в обществе и в населении вообще. Н.А.Балавинский принадлежал к числу тех людей, которых называют «добрым малым». Бесспорно, он был честным человеком, не ниже среднего уровня общества в умственном отношении, но и не выше его. Он объявил себя социалистом, вероятно эсером, но его принадлежность к социалистической партии, по своему существу враждебной основам современного социального строя, ничем пока не проявлялась и не грозила никакими действиями со стороны председателя управы, которые могли бы внести в земство полный беспорядок, так как социалисты занимались только подпольной пропагандой и не действовали открыто. В нормальное время такие люди как Балавинский бывают даже полезны, оставаясь исполнителями текущих дел. Но время

было другое, чувствовалось приближение революционной грозы. Выступали на авансцену люди разных воззрений, разных направлений, от крайних правых до крайних левых. К какой группе примкнет Балавинский — мы не знали и не могли допустить, чтобы наш представитель в земстве не был связан с нами единством действий. Мы опасались его связи с той партией, членом которой он себя объявлял и перед требованиями которой он не мог устоять по слабости своего характера. В таких условиях мы считали нужным иметь председателя более твердого в своих принципах, человека, бывшего головой выше Балавинского и характера более сильного, ни при каких условиях не способного превратиться в орудие партии, против которой мы вели борьбу. Таким человеком и был д-р М.П. Литвинов.

Ввиду этих соображений я горячо поддерживал кандидатуру на должность председателя д-ра Литвинова против кандидатуры Балавинского и добился избрания первого. Я очень хорошо понимал, что друзья и почитатели Балавинского среди земских служащих направят все свои стрелы против Литвинова и меня и что, принимая во внимание приподнятое настроение общества и особенно земских кругов, можно ожидать выступлений, каких раньше никогда не бывало, тем более, что с заменой министерства Плеве министерством кн. Святополк-Мирского произошла перемена и на посту тверского губернатора: князя Ширинского-Шихматова заменил кн. Урусов, человек либеральных воззрений, допускавший большую свободу мнений, чему все мы весьма сочувствовали.

Земские собрания в Торжке давно стали привлекать публику, что заставило перенести заседания из тесного помещения земской управы в гостиницу Федухина, некогда принадлежавшую Пожарскому, пользовавшуюся, можно сказать, всероссийской известностью не только знаменитыми «пожарскими»

котлетами, но и тем, что о ней остались воспоминания на страницах сочинений Пушкина и Гоголя, отдохавших в ней при своих поездках из Петербурга в Москву и обратно. Вот в этих самых просторных комнатах и в зале, где устроена была уже в наше время сцена для театральных представлений, собирались и мы. Размеры помещения давали возможность и публике собираться в большом для уездного города количестве.

В описываемое время публики собралось очень много. Появились люди прежде не посещавшие земских собраний. Обычно половина публики состояла из земских служащих, теперь же посторонние сильно преобладали. В общем публика держала себя, как всегда, спокойно и настроение ее стало приподнято и даже перешло в возбужденное состояние лишь при обсуждении двух вопросов: школьного и медицинского.

По принятому в Новоторжском земстве обычаю при обсуждении почти всех вопросов принимали участие с совещательным голосом земские служащие: по школьному вопросу, ввиду многочисленности учительского персонала — его делегаты по его выбору; по медицинскому вопросу — все без исключения врачи. Когда собрание перешло к школьному вопросу, делегация учителей обратилась к собранию с заявлением, — что учительский персонал не признает компетенции собрания, в котором гласные избраны не всем населением, а сословно, на основании цензов; что поэтому земское собрание не соблюдает интересов населения и не может почитаться уполномоченным на какие-либо решения или действия; что оно поэтому не может и распоряжаться народными деньгами, собираемыми с населения. Ввиду этих соображений учительский персонал считает наиболее правильным выходом из настоящего положения — передачу ассигнуемых по смете сумм на народное образование в распоряжение учительского

персонала, который и представит отчет о расходовании денег не цензовому земскому собранию, а непосредственно населению, как настоящему хозяину уезда.

Я привожу это заявление по памяти, но за передачу действительного смысла этого удивительного «требования» я беру на себя всю ответственность. Нелепость этого заявления меня несколько не удивила, потому что для всех было ясно, что устами учителей к земству обращается партия эсеров, преследующая свои партийные цели. Нет сомнения, что она сама понимала, что такое требование нелепо, ибо никакое земское собрание согласиться на него не могло, но надо было бросить зажигательную ракету в осаждаемую крепость, и ракета была брошена. Но я был очень удивлен, когда к учительскому заявлению присоединились врачи, среди которых были люди совершенно самостоятельные по своим воззрениям, знающие и любящие земское дело, понимающие всю трудность той борьбы, которую оно вело с самодержавным режимом, и всю слабость той поддержки, на которую оно могло рассчитывать. Я был убежден, что врачи, как бы ни относились они к революционному социализму, даже если они были его идейными сторонниками, ни в каком случае не поддадутся демагогии, а тем более такой бессмысленной. Врачебное дело в Новоторжском уезде было поставлено превосходно. Оно велось особой врачебной комиссией, состоявшей из всех врачей, председателя и двух членов управы, двух делегатов от земского собрания и одного от города. Большинство голосов принадлежало врачам, но я не помню ни одного случая, чтобы голоса разделились на голоса врачей и голоса членов земства и города. Врачи составляли сметы своих больниц, сметы обсуждались в комиссии и утверждались ею, а затем каждый врач в своей больнице был полным хозяином и давал отчет через земство всему населению о своей деятельности, благодаря безусловной

гласности всей земской работы. Мы с полным убеждением могли рассчитывать на поддержку врачей, которые не только в нашем земстве, были за редкими исключениями драгоценнейшим элементом земства, одним из самых твердых устоев местного самоуправления, которому они служили не из корысти и не за страх, а за совесть, по любви к своей родине, угнетенной и невежественной. Я не знаю и не берусь поэтому судить, какие соображения заставили врачей поддерживать заявление учительского персонала, хотя они и не поддерживали ультимативного тона учителей.

Но я не считал возможным оставить без ответа, без возражения, слишком явную демагогию, которая могла бы воспользоваться нашим молчанием для повторения таких выступлений. В своей речи я отметил, что мы не сторонники закона, установившего в земстве несправедливую и вредную избирательную систему по сословиям, предоставляя огромное преимущество дворянству. Мы не сторонники и того закона, который превратил выбор от крестьян в назначение их гласных губернатором. Мы не только стоим за равенство прав всех граждан перед законом, но и боремся за такое равенство. Но мы знаем, что не таким средством, какое нам только что предложили, можно достигнуть того, чего все мы желаем, и потому не можем допустить, чтобы земство дало свое согласие на передачу части своих обязанностей, возложенных на нас законом, учительской корпорации. Что представляет из себя эта корпорация? Прежде всего она не представляет никакой самостоятельной группы, так как ее состав зависит от земства и училищного совета, который утверждает ищущих такой службы; земство содержит школу и приглашает учителя, положение которого вполне зависит от правительственной инспекции и земства. Другими словами, этот состав может изменяться волей не группы, а земства или инспекции. Может

ли такая группа брать на себя какие-нибудь ответственные полномочия? Конечно нет, ибо ответственность может быть действительной, только когда она гарантирована законом. Мы, земские гласные, избраны на основании хотя и далеко несовершенного закона, но все же закона действующего и не только предоставляющего нам право облагать население налогом для общественных целей, но и возлагающего на нас всю ответственность за правильное употребление народных средств. Обладание таким правом и несение такой обязанности связаны и разрывать их мы не можем даже в том случае, если бы учительская группа обладала большей самостоятельностью, чем в настоящее время. Земские же служащие не суть представители народа и не могут говорить от имени населения; они люди, назначенные земской управой, и могут быть уволены ею во всякое время; они не могут, не имеют права предъявлять земскому собранию требований от имени населения точно так же, как не имеют ни юридического права, ни морального брать на себя ответственность перед населением, ответственность, которую они не могут ничем гарантировать.

Такова была сущность моего возражения, на которое никто не ответил и даже публика, явно настроенная против собрания, воздержалась от выражения своего неодобрения, быть может, потому что в план ее вождей не входило продолжение наступления на земское собрание. Последнее, если не ошибаюсь, единогласно отклонило требование учителей и инцидент был исчерпан. Таким образом, вопреки ожиданиям, очередное земское собрание 1905 г. закончилось мирно¹².

- 12 Впечатление от внешне спокойной, но страстно убеждённой речи Ивана Ильича было огромное; во время её произнесения всё затихло, всё замолкло. Эта речь несомненно произвела пе-

В последних числах сентября стали ходить слухи о всеобщей забастовке. Должен признаться, что я мало доверял такому слуху. Мне казалось, что к этой панацее нашего времени прибегают не столько как к реальному способу борьбы, сколько как к угрозе и словесному разрешению возникающего конфликта за неимением конкретных средств, столь же убедительных. Бесспорно, революционным электричеством была пропитана вся атмосфера, и то здесь, то там уже сверкала молния и гремел гром, но я продолжал думать, что для устройства всеобщей политической стачки, которая могла бы заставить правительство капитулировать, требуется рычаг такой силы, какого у нас нет, как нет общего политического языка с социалистами, нет общего чувства ненависти к врагу и общего доверия к союзнику. Я понимал стачку железнодорожников и фабричных рабочих на экономической почве, но всеобщую стачку их на почве политической, вместе со стачкой несоциалистической я не считал вероятной. Однако слухи продолжали расти, и в один прекрасный день мы, сидя у себя в Машуке, в 18-ти верстах от г. Торжка и от железной дороги, остались без московской почты. Говорили, что в Москве уже началась общая забастовка. По наведенным справкам оказалось, что слух имел основание. Спустя день-другой точно также не было получено петербургской почты и забастовала Новоторжская

релом в настроении присутствующих. И надо думать, что «вожди» отказались от дальнейшего проведения своего плана не потому, что оно не входило в их намерения, а потому, что они поняли, что после речи Ивана Ильича и произведённого ею сильного впечатления, они уже не могли рассчитывать на успех своего замысла. (Прим. А.С.Петрункевич)

железная дорога, связывающая нас как с Москвой, так и с Петербургом. Мы оказались отрезанными от всего мира и вместо точных сведений о событиях дня могли питаться только слухами, какими-то путями проникавшими в Торжок, куда поэтому мы ежедневно посылали «добывать языка» в земской управе. В большинстве случаев получаемые сведения не имели или казались не имеющими даже подобия истины или вероятия. В числе таких казавшихся невероятными слухов появилось известие о «черной сотне», устраивающей погромы. По установившимся примерам первое объяснение, пришедшее на ум, говорило о еврейском погроме. Но в Тверской губернии проживало так мало евреев, что юдофобия была распространена главным образом среди чиновничества, дворянства и отчасти купечества, а потому едва ли могла превратиться в погром, даже при поощрении полиции, после воспоминаний о Кишиневской бане, устроенной Плеве, и издания манифеста 6-го августа. Вспомнились и недавние погромы помещичьих усадеб в малоземельных Полтавской и Харьковской губерниях, где крестьянство жгло и разоряло помещичьи усадьбы, добываясь перехода частновладельческой земли в руки крестьян. В Тверской и в ближайших к ней губерниях аграрных движений не было, и едва ли они могли возникнуть так неожиданно. Эти соображения, казалось, совершенно разрушали слух о погромах и особенно подтвердилась вся невозможность их 18 октября 1905 г., когда мы получили около двух часов дня из Москвы от нашего близкого друга В.И.Вернадского, профессора Московского университета, срочную телеграмму, кратко извещающую, что «в Петербурге провозглашена царским манифестом конституция». Известие это произвело на нас потрясающее впечатление. Если бы телеграмма не была подписана В.И.Вернадским, нашим единомышленником, каждому слову которого я безусловно доверял, я принял бы это известие за утку; до

такой степени оно было неожиданно для меня. Вечером в тот же день мы получили от С.В.Паниной такую же телеграмму из Петербурга, подтверждающую величайшее событие: падение автократии и рождение конституционного строя в России. Мечта нескольких поколений превратилась в действительность. Россия отныне будет конституционным, т. е. правовым и свободным государством. Реформы шестидесятих годов девятнадцатого столетия завершены в 1905 году не свободным решением царя, а настойчивой борьбой народа. Всего ли народа, и гарантирует ли такое происхождение конституции ее прочность? Такой вопрос невольно возникал в сознании, но мне не хотелось давать места никакому скептицизму и хотелось верить, что история совершила великий шаг вперед и свое движение не может обратить назад. Я хотел верить, что то, что сделано, — уже не может быть ни взято назад, ни разрушено без остатка.

Мне хотелось немедленно поделиться этой радостью со всеми служащими в нашей усадьбе, которые так или иначе, сознательно или бессознательно, будут отныне пользоваться всеми благами конституции, и поздравить их, как русских граждан, с наступлением нового государственного порядка, основанного на равенстве всех граждан перед законом. Все служащие и прислуга собрались в нашем доме, и я старался разъяснить им, что случилось в нашем государстве, что такое конституция и какие последствия для каждого из нас и для всех нас вместе она приносит. Глядя на лица моих слушателей, мне казалось, что они ожидали выгод более осязаемых, чем тех, которых можно ожидать от конституции и нового порядка. Среди служащих был, однако, один монтер, заведовавший паровым водоснабжением всей усадьбы и небольшим маслобойным заводом, знавший, что такое конституция, но в том несколько извращенном виде, который ему был известен из

изложения учения социалистов-демократов. Он задал мне несколько вопросов, на которые я ему отвечал, и мне показалось, что он был удовлетворен моими ответами, так как, уходя, он пожал мне руку так приветливо, как годом раньше, в ноябре 1904 г., он приветствовал меня по возвращении моем в Машук после изгнания, которому подверг меня Плеве. По-видимому, благодаря нашим деловым отношениям, различие наших воззрений не мешало нам в общем доверять друг другу, хотя в глубине души, может быть, в его пролетарских глазах я был все же «капиталист» и, следовательно, «эксплуататор». Это было его данью партии эсдеков, если он к ней принадлежал¹³.

Не прошло, однако, и двух дней после провозглашения конституции и моей беседы о ее гарантиях с русскими гражданами, как слух о погроме в Твери получил полное подтверждение. Из Твери возвратились в Торжок земские врачи и другие земские служащие Новоторжского уезда, бывшие не только свидетелями этого погрома, но и его жертвами. Старший врач Новоторжской земской больницы Авадий Давыдович Бирштейн, один из благороднейших людей, умный и талантливый

13 Редко кто, в такой мере, как Иван Ильич, умел привлекать к себе симпатии и доверие людей, даже не близких, даже врагов. Он умел добрыми и умными глазами в каждом разглядеть, понять и оценить человека. Это-то и привлекало к нему людей. Думается, что именно этим свойством Ивана Ильича, а не формальным сближением на почве деловых отношений объясняется и доброе чувство монтера по отношению к Ивану Ильичу, поборовшее классовые предубеждения. (Примечание А.С.Петрункевич)

хирург, добросовестнейший общественный деятель — вернулся из Твери с забинтованной головой, и едва спасся от смерти, получив несколько ударов по голове. Член губернской земской управы, Александр Семенович Медведев, спасая одну из служащих в земстве, был подвергнут избиению палками до потери сознания и если не был убит, то лишь благодаря солдатам, выбежавшим из своих казарм, перед окнами которых был настигнут погромщиками Медведев. Спустя много дней я видел А.С. тоже с забинтованной головой. Можно думать, что и его скоропостижная смерть была последствием полученных им побоев во время погрома. Вообще пострадавших было много, но этот погром имел своим последствием убийство, если не устроителя его, то во всяком случае его покровителя. Спустя пять месяцев, был убит ручной бомбой тверской губернатор Слепцов, не только не принявший никаких мер против погрома, но своим появлением среди погромщиков и пассивным отношением к тому, что происходило на его глазах, поощривший преступное дело.

Само собою разумеется, что никакого следствия по этому делу произведено не было, несмотря на то, что я вместе с председателем тверской губернской управы, В.Д.фон-Дервизом, и членом управы, Н.К.Милуковым, посетил графа Витте, в то время премьера первого «конституционного» министерства, и рассказал ему все дело как было и обратил его внимание на роль, сыгранную в этом деле губернатором Слепцовым. В заключение, я просил его немедленно уволить губернатора, допустившего погром, который был угрозой для жизни многих людей, не совершивших никакого преступления или даже проступка. Витте выслушал наш рассказ и согласился, что губернатор действительно скомпрометирован в глазах как общества, так и правительства, которое в настоящее время преследует цели, совершенно противоположные политике

Плеве и его последователей. Ввиду этого, он тут же написал письмо к Петру Николаевичу Дурново, занимавшему место министра внутренних дел, и просил его немедленно устранить от дел губернатора Слепцова. Письмо это вручил мне незапечатанным и поручил передать его безотлагательно Дурново. Если не ошибаюсь, все мы трое отправились к Дурново прямо с квартиры Витте и тотчас были приняты. Мы снова изложили все дело, и я передал Дурново письмо Витте. Дурново прочитал письмо и сказал, видимо недовольный: «дело будет рассмотрено». Тем не менее, ничего не было изменено и Слепцов продолжал управлять губернией до того дня, когда в марте 1906 года, открыв экстренное губернское земское собрание, покинул его и пешком направился из дома дворянства в губернаторский дом. На этом очень близком расстоянии он и был убит ручной гранатой, разрыв которой был слышен в зале, где происходило заседание земства. Министр П.Н.Дурново, аттестованный раньше императором Александром III-м титулом мерзавца, заставил, таким образом, Слепцова заплатить своей жизнью за то преступление, которое было совершено им в защиту старого режима.

Таким образом, вся история тверского погрома едва ли сохранила следы какого бы то ни было официального расследования, так как центральная власть в лице министра внутренних дел покрыла, как организаторов, так и исполнителей погрома своим непроницаемым покровом. Остается надеяться, что кто-нибудь из пострадавших запишет свои воспоминания об этом событии и передаст их потомству. Однако, возможно, что непосредственного свидетельства от жертв погрома не окажется, поэтому я считаю нужным занести в свою летопись со всевозможной точностью только то, что я слышал от нескольких пострадавших лиц: председателя тверской губ.

земской управы В.Д.фон-Дервиза, членов управы Н.К.Милюкова и А.С.Медведева, доктора А.Д.Бирштейна и других.

Как я уже раньше сказал, ноябрьский съезд 1904 года дал сильный толчок начавшемуся общественному движению, и с самого начала 1905 года с каждым месяцем это движение видимо росло, как в ширину, так и в глубину, захватывая самые разнообразные общественные круги. Усиленный и быстрый темп освободительного движения вызвал в среде бюрократии, как центральной, так и местной, а также в реакционных кругах чиновничества, дворянства, земства, духовенства и горожан опасения за свое привилегированное положение ввиду все более очевидной слабости правительственной власти, неспособной подавить роковое для них движение. На этой почве начала возникать во всех губернских и многих уездных городах организация «черной сотни», опиравшейся повсеместно на самые темные и даже преступные отбросы населения. В Твери, во главе «черной сотни», по общему мнению, стоял местный вице-губернатор, кажется по фамилии Хитрово, около которого сгруппировались все цеплявшиеся за разлагавшийся старый режим. К их услугам была явная и тайная полиция, сыщики, шпионы и провокаторы, повсюду нюхавшие, собиравшие все отребье по кабакам и всяким притонам, всем все обещавшие и кому нужно платившие. Таким образом, «черной сотне» сделалось известно, что 18 октября вечером, если не ошибаюсь, было назначено собрание всех служащих в местном земстве, губернском и уездном, в помещении губернской земской управы, в ее собственном доме, в центре города на Почтовой площади. Едва ли какое-либо учреждение в Твери пользовалось среди реакционных элементов большей ненавистью, чем земство. Оно вело самую упорную войну со старым режимом, где бы и в чем бы он ни проявлялся. Поэтому, противники земства решили воспользоваться удобным случаем и сокру-

шить земство со всеми его сотрудниками одним ударом и тем уничтожить окончательно гнездо наиболее опасных врагов. Только таким планом можно объяснить тот способ действий, который был употреблен против собравшихся в губернской земской управе. По данному сигналу, когда собрание было уже в полном составе, к зданию с разных концов города собрались в большом числе всякого рода хулиганы, полиция и отряд конных драгун, занявших площадь так, чтобы не допускать к дому управы никакой посторонней помощи. Двухэтажный каменный дом управы имел только два выхода: парадный — на площадь и черный — в маленький двор. Последний выход был немедленно занят погромщиками и таким образом оставался только один выход — на площадь. Собрание служащих происходило в верхнем этаже, откуда было видно все, что делалось на площади. Поэтому, как появление хулиганов, поддерживаемых полицией, так и появление драгун было тотчас замечено. Кто-то из присутствующих спустился по другой лестнице к черному выходу, но убедился, что выход уже занят. Между тем погромщики открыли парадную дверь и, вероятно, опасаясь встретить отчаянное сопротивление в верхнем этаже, стали вносить в обширные сени дрова, и подожгли их, т.е. решили сжечь живьем всех собравшихся в доме. Ни полиция, ни драгуны не мешали погромщикам не только сжечь в центре города дом, но и несколько десятков людей, находившихся в нем. Они охраняли преступников, чтобы никто не помешал им совершить свое варварское преступление. На площади стали появляться публика, зрители, некоторые обращались к полиции и к войскам, убеждая их остановить преступление, но и полиция и войска приглашали зрителей уходить и не мешаться не в свое дело. Появился на площади и губернатор Слепцов, но не счел нужным проявить свою власть и скрылся. Между тем, собравшиеся земцы обсуждали, что делать, где искать спасения. Все

они понимали, что они обречены на самую ужасную смерть, так как дым от разгоравшихся дров в вестибюле уже достигал верхнего этажа. Тогда было предложено выходить, пока лестница сопротивляется огню, в котором погибнут все, тогда как, вырвавшиеся из горящего здания, могут еще надеяться избежать гибели. Один из участников совещания Федор Федорович Ольденбург, воспитатель в женской учительской семинарии имени Максимовича, предложил выйти первым; толпа остальных осажденных бросилась за ним к выходу. Ольденбург, первый открывший наружные двери, был встречен ударами палок погромщиков, но неожиданность появления осажденных и быстрота, с которой был сделан прорыв сквозь толпу погромщиков, спасли их от гибели, хотя многие из них были жестоко избиты, а некоторые из пострадавших не избежали преждевременной смерти, как напр. А.С.Медведев, умерший скоропостижно, спустя некоторое время, в цветущем возрасте и полный сил.

Волна таких погромов пронеслась по всей России, но в Тверской губернии, кажется, только в одном г. Калязине приняла серьезный характер и была предметом запроса в первой Государственной Думе. Погромное движение перевалило и за Урал, в Сибирь, где Томский губернатор Всеv.Ник. Азанчеев-Азанчевский, друг и соратник Штюрмера, бывший корчевский уездный предводитель дворянства и гласный тверского губернского земства, повторил погром по тверскому способу, но еще более жестоко. В Томске толпа погромщиков также подожгла здание, в котором происходило собрание, а губернатор Азанчевский запретил водокачке подавать воду пожарным, гасившим пожар. В огне погибло много жертв этого варварства

Тверской погром не мог не вызвать в населении появления множества слухов и опасений, более или менее неоснователь-

ных. Наша усадьба — Машук, расположенная не ближе версты от деревни, могла рисковать только поджогом со стороны «черной сотни». Поэтому, мы ограничились единственной мерой предосторожности: усилили ночной надзор за отдаленными хозяйственными постройками. Притом, мы не сомневались, что со стороны крестьян соседних деревень мы не могли ожидать никаких агрессивных действий. Но оставаться в Машуке после объявления манифеста мы не могли, так как события в Петербурге были слишком важны, чтобы выжидать в своем захолустье последствий такого акта, как провозглашение конституции и, следовательно, изменения всего строя России, т.е. того, чего все мы добивались с такой настойчивостью. Словом, мы с женой решили немедленно ехать в Петербург. Но как ехать, когда Николаевская дорога и подъездной к ней путь — Новоторжская ж. дорога, не перевозят ни пассажиров, ни товаров вследствие всеобщей забастовки? Мы знали, что, несмотря на забастовку, по временам проходят поезда. Но как попасть на них? После разных соображений, мы пришли к заключению, что наиболее шансов попасть в Петербург представляет путь через Вышний-Волочек, находящийся в 50 верстах от Машука, притом, за исключением переправы через Тверцу и трех верст скверной проселочной дороги, весь остальной путь по шоссе не представлял никаких препятствий, принимая во внимание, что мы выезжали 21 или 23 октября, когда дороги почти не проезжны. Добравшись до Вышне-Волочка, мы могли там выжидать поезда с уверенностью, что так или иначе мы проберемся. Покидая Машук, мы не думали, что покидаем его, в сущности, навсегда, ибо возвратились мы в него в марте следующего года на самое короткое время, только на выборы выборщиков в Государственную Думу. Если бы мы с женой предполагали возможность совсем покинуть Машук, мы уезжали бы с горьким чувством разрыва с целым периодом

нашей счастливой жизни в Машуке, созданном нами заново на пустыре такой разрушенной усадьбы, которую мы полюбили, как только можно любить свое собственное создание; где завязали связи с окружавшими нас людьми самого разнообразного положения и искренно полюбили их и сроднились с ними...

Захватив с собой самый необходимый дорожный багаж, мы переправились на маленьком и небезопасном пароме у соседней мельницы через Тверцу и скоро выехали на Петербургское шоссе, идущее через Выдропужск, последнее селение Новоторжского уезда, где снова переехали по хорошему мосту через Тверцу. В Вышний-Волочек мы прибыли, когда было уже совершенно темно и проехали прямо на вокзал Никол. ж. дороги, чтобы немедленно навести справки о случайных поездках и установить связь с дорогой, после чего возвратиться в город, в гостиницу, где ожидать «случая». Жел. дорожный вокзал, прежде всегда шумный и ярко освещенный, теперь тонул в темноте и тишине. Кое-где мерцали керосиновые лампы на большом расстоянии одна от другой. Не видно было ни одной души. Побродив по станции, я, наконец, наткнулся на какого-то человека, в котором признал железнодорожника и просил указать мне помещение начальника станции. По его указанию, я постучался в дверь. Голос изнутри что-то ответил, и я вошел в комнату начальника. Я рассказал ему, что ввиду обнародованного манифеста, я спешу в Петербург вместе с моей женой и надеюсь, что он не откажет устроить нас в какой-нибудь случайный или служебный поезд, идущий на Петербург. Мы разговорились; он охотно согласился помочь нам, но тут же добавил, что может посадить нас в поезд, но поручиться, что мы доедем до Петербурга, он не может, т. к. поезда идут неправильно, и может случиться, что на какой-нибудь станции нас высадят. Пока мы так разговаривали, издали донесся

грохот поезда, идущего со стороны Москвы. Начальник предупредил меня, что идет служебный поезд и, если нам угодно, он нас в него посадит. Поезд уже подходил к станции. Ни минуты не задумываясь, я принял его предложение и мы с женой заняли места в пустом и неосвещенном вагоне 3-го класса. Вагон был холодный, но мы были ему очень рады, надеясь, что доберемся до Петербурга. Поезд долго не двигался, но, наконец, тронулся. Жена и я очень устали от дороги, и закутавшись в пледы, уснули. Проснулись мы, когда уже был день. Ночью нас никто не беспокоил, поезд шел обычным ходом, останавливаясь на короткое время на станциях; еще засветло мы приехали в Петербург. Более удачного переезда мы не могли и представить себе. В Петербурге мы временно устроились у Софьи Владимировны в ее доме, в котором она тогда жила, на Фонтанке. Началась новая жизнь в вихре событий, предшествовавших открытию Первой Государственной Думы.

Глава XX

Наш переезд в Петербург после Манифеста — Значение Манифеста 17 октября — Волнение крестьян — Японская война — С.Ю.Витте — Его карьера — Революция в России — История Манифеста 17 октября 1905 г. — Неисполнение 3-го пункта Манифеста — Полная неудача образования мнимого «конституционного» министерства — Беседа с Витте

Общественное настроение, найденное нами в Петербурге спустя 5-6 дней после обнародования Манифеста 17-го октября, было совсем непохоже на настроение, какое мы видели в июне того же 1905-го года, когда прибыли в составе земской делегации настаивать непосредственно перед царем на необходимости реформы российского государственного порядка, говоря точнее, дарования России конституции в замену старого царского самодержавия. В июне только немногие общественные круги интересовались нашей миссией и результатами петергофского приема. Только в редакциях газет происходило некоторое возбуждение, но в летние месяцы и редакции газет наполовину пусты и весьма умеренно проявляют свою энергию.

Теперь же, в конце октября, столица империи гудела как огромный пчельник в знойный летний день, и вся атмосфера города была пропитана революционным брожением. Всевозможные собрания, заседания, митинги утром и вечером, битком набитые залы, страстные речи ораторов, самочинно возникающие газеты, печатные листки, брошюры, иллюстрированные и карикатурные журнальчики, выкрашенные в яркие красные цвета. Цензура печати бездействует, полиция необыкновенно предупредительна и вежлива, точно английские «bobby». Ничего подобного раньше Россия никогда не пережи-

вала, несмотря на смуты и перевороты предшествовавших веков. Двадцатый век и европейская культура наложили свою печать на русскую жизнь и подчинили ее своему влиянию.

Временно мы устроились на Фонтанке в доме гр. С.В.Паниной, и каждое утро прислуга, по собственному почину, доставляла нам пачку новых газет и иллюстрированных журналов, в которых главное место занимали карикатуры, изображавшие политических и общественных деятелей. Газеты давали отчеты о собраниях и митингах, происходивших накануне, сообщали о назначенных на сегодня и были переполнены статьями преимущественно радикального и революционного содержания. Россия, как могучая река, скованная крепким льдом, теперь под лучами весеннего солнца сломала лед, и освобожденная масса разлилась во все стороны, не встречая нигде и ни в чем препятствия.

Манифест 17-го октября означал капитуляцию царского самодержавия, победу над рабством, права над произволом, т.е. всего того, о чем пять поколений русских чутких людей не только мечтало, но ради чего приносило столько жертв, наполняя собою тюрьмы, идя в ссылку, умирая на каторге или на виселице, и своими жертвами передавало грядущим поколениям завет, рано или поздно, осуществить их веру и превратить Россию в страну свободы, права и европейской культуры.

Все чувствовали, что этот час настал, когда испуганное и растерянное правительство, если не «ушло совсем», то замерло и все органы власти не проявляли никаких признаков своего существования. Произошел почти полный паралич в управлении государственным кораблем. Царь со всей своей семьей покинул свою обычную резиденцию и переселился в Петергоф, как единственный открытый путь сношения с министрами, так как все другие пути были отрезаны всеобщей забастовкой. В обществе открыто говорили, что царь переселился в Петергоф

ввиду возможности такого положения, когда придется искать спасения в бегстве за границу. Ходили слухи, что между Петергофом и Берлином установлены сношения морем, для чего служат германские миноносцы, поддерживающие непрерывную связь по линии Петергоф-Киль. По-видимому, слух этот был неоснователен, но он возник вероятно из того, что Манифест 17-го октября явился не актом доброй воли, а вынужденной капитуляцией власти, оказавшейся бессильной даже перед безоружной и почти неорганизованной интеллигенцией и железнодорожной забастовкой.

Из всех государств Европы одна Россия удержала до XX-го века свой отживший государственный строй, сохранявший наружную силу и прочность, но в действительности внутренне прогнивший сверху до низу и обнаруживавший свою неизлечимую болезнь в моменты внешних столкновений, которые заканчивались не только военными поражениями, как в Крыму и в Японии, но и дипломатическими, как берлинский трактат. Даже в период великих реформ, следовавших за крымским поражением, реформы не коснулись самого корня российского неустройства — царского самодержавия, которое продолжало ревниво охранять свою ничем несдерживаемую и безответственную волю. Только в зависимости от этого, реформы шестидесятих годов прошлого столетия не дали тех результатов, которых от них можно было ожидать. Самодержавие, как бессменная диктатура, не допускало никаких уступок и противоречий верховной воле и потому лишено было необходимой гибкости и приспособления к изменяющимся условиям и духу времени. По существу оно оставалось в XX-м веке тем же, чем оно было в XVI или в XVII веках. В первой половине XIX века оно управляло Россией, — по выражению императора Павла, — с помощью «ста тысяч даровых полицеймейстеров», а во второй половине того же века, когда даровые полицеймейсте-

ры исчезли после освобождения крестьян, стало управлять с помощью министров, которые почитали за великую честь быть ничем иным, как «приказчиками» своего государя. Так поучал самый умный из министров, гр. С.Ю.Витте, одного из своих просвещенных подчиненных. Очевидно, положение исполнителей царской воли вовсе не повысилось сообразно с духом времени, а понизилось до того, что, в 1905 году, самым влиятельным и приближенным к императору лицом был генерал Д.Ф.Трепов, «вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждениям», как характеризовал его с парламентской трибуны депутат первой Государственной Думы, кн. С.Д.Урусов. Десять лет позднее нравственный и умственный уровень дворцовых «приказчиков» пал так низко, что политическая и социальная катастрофа становилась неизбежной.

В самом начале XX-го века неожиданно вспыхнуло в южных и юго-восточных губерниях крестьянское движение, ознаменовавшееся сожжением помещичьих усадеб и истреблением чистокровных конных и скотных заводов, а также тонкорунных овечьих стад. Движение это было подавлено с беспощадной жестокостью, но по существу оно было, так сказать, загнано внутрь, тлеющий под развалинами огонь не был погашен и должен был вспыхнуть при первом же удобном случае. Правительство считало себя достаточно сильным, чтобы справиться с крестьянской вспышкой, и не считало нужным предпринимать меры экономического характера, чтобы предупредить возможность уже не новых вспышек, а социальной революции, возможности которой правительство и не подозревало, несмотря на широкое распространение среди народной массы социалистической пропаганды. По мнению наиболее влиятельного министра того времени, Плеве, здоровая политика требовала закрытия только что образованных комитетов о сельскохозяйственной промышленности и «маленькой победоносной

войны», хотя бы с Японией, о которой располагало самыми поверхностными сведениями. Так и сделали: комитеты были распущены и война «макакам» была объявлена, в полной уверенности, что мобилизация армии освободит деревню от наиболее беспокойных элементов крестьянства, а победа на военном фронте принесет придворной камарилье, с великим князем Александром Михайловичем во главе, богатейшие концессии в Корее.

Увы! Победоносная война досталась на долю не России, а Японии: мы потерпели на море и на суше полное и позорное поражение. Наша армия была не только разгромлена, но и деморализована окончательно. Ее отступление на родину представляло картину падения дисциплины и полной распушенности толпы вооруженных людей. В таком виде солдаты возвращались в деревни, в свои семьи, где их ждало все население с небывалым раньше нетерпением. В настроении крестьянства не замечалось успокоения, и авторитет власти падал все ниже и ниже. Война не могла более продолжаться и заключение мира с Японией становилось делом необходимости. Однако, заключение мира после такого поражения армии и уничтожения всего флота, было делом нелегким, и тем труднее, что среди нашей дипломатии не оказалось ни одного человека, обладавшего теми качествами, которые необходимы для выполнения столь важной и трудной задачи, как заключение мира после проигранной таким образом войны, в которой инициатива всецело принадлежала России. После неудачных попыток царя найти среди своих дипломатов подходящего посла, пришлось обратиться к Витте, пребывавшему в «почетной отставке».

Придворно-наследственная высшая бюрократическая среда не благоволила к Витте и считала его «высочкой», сделавшим при императоре Александре III необычную служебную

карьеру. Начав с частной службы в Обществе юго-западных железных дорог под руководством управляющего Вышнеградского, назначенного после ухода министра финансов Бунге на его место, Витте, с помощью Вышнеградского, очень скоро получил назначение на пост министра путей сообщения, а через год заменил своего покровителя в управлении министерством финансов. По своему практическому уму и своей деловитости, Витте был значительно выше той среды, в которую он вступил, и скоро понял, что не может положиться на содействие своих новых друзей и должен рассчитывать исключительно на самого императора, тупого и крайне ограниченного деспота. Витте немедленно стал величайшим почитателем самодержавия, как государственной формы управления, и лично Александра III-го, как идеального самодержца. При таких условиях, Витте быстро приобрел доверие царя и не нуждался в особом доверии придворной камарильи.

Смерть Александра III и вступление на престол императора Николая II-го, казалось, не изменили положения Витте, как министра финансов, но отношение нового императора к Витте постепенно изменялось под влиянием той же самой дворцовой челяди, которая по духу, по вкусам и интересам была ближе к безвольному и ничтожному наследнику Александра III-го. Повидимому, этой перемены Витте не замечал, и настойчиво и решительно продолжал проводить задуманные его предшественниками Бунге и Вышнеградским важные финансовые реформы, — как то: государственную монополию спиртных напитков, уменьшение выкупных платежей, введение золотой валюты, и постройку сибирской железной дороги; он ввел централизацию не столько финансового управления, сколько не остановился перед попыткой упразднения местного самоуправления, ввиду несовместимости его с самодержавием. Только после появления у власти в качестве министра внут-

ренных дел Плеве, его открытого врага, Витте почувствовал всю непрочность своего положения, когда Плеве удалось получить высочайшее повеление о закрытии «Комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности», созданных по инициативе Витте в 1902 году, ввиду успокоения крестьянских волнений. В следующем 1903-м году, 16 августа, без всякого достаточного повода и без всякого предупреждения было приказано, лично Николаем II-м, передать управление министерством финансов директору гос. банка, Плеске, а Витте поручалось председательствовать в Комитете министров — должность, им самим почитаемая за «почетную отставку».

Обращение царя к Витте с просьбой отправиться в Америку для заключения мира с Японией чрезвычайно польстило честолюбию Витте.

.....¹⁴

Никогда раньше Витте не принимал участия в каких-либо дипломатических делах и тем более в таких трудных переговорах, как заключение мира. Но честолюбие взяло верх, и несмотря на всю важность назревавших событий внутри России, несмотря на то, что в конце июля того же года предвиделось совещание по поводу проекта Булыгина об организации Государственной Думы, Витте принял предложение и 6 июля выехал в Соединенные Штаты Северной Америки. 16 сентября, т.е. через два месяца он возвратился в Россию, заключив мирный договор, обнаруживший немало искусства и ловкости со стороны русского опального дипломата, после войны, не прибавившей лавров русскому оружию.

14 Пунктиром обозначены пропуски в родливной рукописи.

Витте возвратился из Америки домой, преисполненный гордостью успешным заключением трактата и, кажется, еще более приемом императора Германии Вильгельма II-го, пригласившего его заехать, по пути в Россию, в его летнюю резиденцию — замок Роминтен, близ русской границы. Вильгельм оказал своему гостю особый почет и внимание, встретив его на вокзале железной дороги, и привез его в свой замок. Я не буду останавливаться на вопросе, как Вильгельм использовал пребывание Витте в Роминтене, так как все это очень подробно изложено в воспоминаниях Витте и выходит из круга моей задачи, но я не могу не отметить, что прием Вильгельма чрезвычайно поднял Витте в его собственных глазах. Он почувствовал себя первоклассным государственным человеком, не только русским, но и мировым, стяжавшим славу как в Европе, так и в Америке и оправдавшим мнение тех государственных людей Европы, которые заранее говорили, что кроме Витте никто не может заключить такого трудного мирного договора.

В своих Воспоминаниях он рассказывает, что «застал Россию в полном волнении, причем революция из подполья начала всюду вырываться наружу; правительство потеряло силу действия, все или бездействовали, или шли врознь, а авторитет действующего режима и его верховного носителя был совершенно затоптан. Смута увеличивалась не по дням, а по часам, революция все грознее и грознее выскакивала на улицу, она завлекала все классы населения», (стр. 493, т. I).

Таково было первое впечатление Витте по возвращении на родину, оно для него было полной неожиданностью. С высоты своего министерского кресла он не допускал даже мысли о возможности чего-либо подобного тому положению, которое теперь он видел во всей своей реальности. В его привычном представлении, так называемое общество было слишком слабо и невлиятельно, даже чуждо народным массам,

чтобы увлечь за собою сколько-нибудь значительные классы населения и угрожать существованию старого порядка или правительства. Он привык считать последнее достаточно сильным, чтобы раздавить всякое революционное движение точно так же, как были раздавлены бунты декабристов в 1825 г, и бунты поляков в 1830 и 1863 годах. И вдруг... он находит верховного повелителя России отрезанным от своей страны, а правительство фактически почти несуществующим...

Витте понял, что Россия переживает не бунт, а революцию, для подавления которой, тотчас после тяжелых поражений армии и флота в войне с Японией, рассчитывать на армию было невозможно. Но прежде чем принять какое-либо решение, он пожелал ознакомиться с общественным мнением, которое, как известно, в революционное время играет немаловажную роль. По-видимому, источник его сведений был чрезвычайно ограничен, если судить по выбору лиц, от которых он рассчитывал узнать, какими средствами возможно потушить движение. Впрочем, надо признать, что он всегда был очень далек от более или менее либеральных общественных кругов, в которых он видел скрытых врагов правительства и сторонников революции, и относился к ним с презрением. Поэтому, он желал знать мнение людей консервативного лагеря, по своему общественному положению достаточно осведомленных, и для этого избрал двух представителей консервативной печати: кн. В.П.Мещерского, издателя «Гражданина», и г. Меншикова, талантливого публициста «Нового Времени». Оба они в один голос заявили, что при настоящих условиях единственным средством успокоения страны может быть только дарование конституции, которой требует очень широкий круг населения.

Для того, чтобы узнать мнение людей, стоящих в самом центре правительства, сведущих о настроении не только в его кругах, но и в кругах общества, готового поддерживать прави-

тельство, Витте обратился к умному, хотя не пользующемуся особенно лестной репутацией, после известной резолюции императора Александра III: «убрать этого мерзавца со службы», Петру Николаевичу Дурново, которому эта резолюция не помешала сделаться при Николае II товарищем министра внутренних дел и занять в правительстве очень влиятельное положение. Дурново, в прямом согласии с кн. Мещерским и Меншиковым, отвечал, что единственная мера может дать стране успокоение — дарование конституции.

Получив единогласное мнение лиц крайне консервативного лагеря, Витте пожелал узнать мнение лица, которое по своему положению было достаточно авторитетно во всех отношениях: это был генерал В.Д.Кузьмин-Караваев, профессор военно-юридической Академии, потомственный дворянин и земский гласный (стр. 498, т. I), т.е. представитель как бы четырех групп: военной, ученой, дворянской и земской. И в этом случае Витте получил тот же ответ: дарование конституции — есть единственное средство успокоения.

Витте мог бы вспомнить, что накануне ноябрьского земского съезда в 1904 году, я говорил ему, что рано или поздно мы добьемся конституции и не покинем начинающейся борьбы, в глубоком убеждении, что Россия не может более оставаться под властью самодержавия, т.е. произвола. Витте тогда решительно и авторитетно возражал и свои возражения основывал на двух аргументах. Во-первых, говорил он, в лице царствующего императора (Николая II-го) мы имеем человека, относящегося к самодержавию, как к догмату религии, которого он не может нарушить, оставаясь верным сыном православной Церкви; поэтому государь почитает своим священным долгом передать своему наследнику без малейшего ущерба власть, освященную Церковью и унаследованную им от предков; во-вторых, русское общество не обладает никакой реаль-

ной силой, чтобы принудить царя вопреки его воле даровать конституцию, ограничив свою власть. Самодержавие опирается на многомиллионную массу народа, который предпочитает власть самодержавную, пользующуюся его бесспорным доверием в силу долговременной привычки.

Так думал Витте годом раньше. Теперь заговорили сами факты и обнаружили бессилие самодержавной власти и всю неизбежность замены старого отжившего режима новым. Он был достаточно умным человеком, чтобы сразу оценить всю серьезность неожиданно создавшегося положения и достаточно честолюбивым, чтобы не пропустить случая использовать его в свою пользу и не попытаться занять первенствующего положения в новом государственном строе. Только придворная камарилья с императрицей Александрой Федоровной во главе могла заподозрить его в намерении захватить престол или опрокинуть его и провозгласить себя президентом российской республики. Правда, Витте был реалист в самом вульгарном смысле слова; он не давал никакой цены моральным требованиям и не остановился бы перед соблазном сделаться президентом республики, но он понимал, что ни в армии, ни в стране у него нет никакой почвы, никаких сторонников. Если он пишет, что его имя в широких кругах есть «синоним реформ», то он знал, что пишет это для своих потомков, для своей посмертной славы, а не для своих современников, которые могли бы только смеяться над такой претензией. Мне кажется, что в качестве реалиста и практика его соображения и цели были более скромны и оставались в пределах возможного, т.е. положение правителя при царе безвольном и ничтожном, на подобие Бориса Годунова при Федоре Иоанновиче, но, конечно, модернизированном соответственно нашему времени.

Витте никогда не был склонен к конституции и к конституционному порядку, который совершенно не соответствовал

ни его властному и деспотическому характеру, ни его образу мыслей, образец которых мы можем видеть в образовании его «конституционного» министерства и в его «конституционном» законодательстве.

Витте выказывал себя горячим поклонником императора Александра III-го, его ума, его системы управления, т.е. чистейшего абсолютизма или самодержавия. Свои государственные взгляды он выразил весьма определенно в полемике с министром внутренних дел Горемыкиным в 1899 году по поводу значения местного самоуправления в системе государственного управления. — «Лично я, пишет он, исповедую... убеждение, что конституция вообще «великая ложь нашего времени» и что в частности, к России, при ее разноязычности и разноплеменности, эта форма правления неприменима без разложения государственного режима». Таковы были основные политические воззрения Витте всего пятью годами раньше революции и с ними трудно примирить идеи не только конституционалистов, теперь открыто ведущих борьбу с самодержавием, но даже и сторонников консервативных идей: кн. Мещерского, Меншикова и Дурново, готовых, ради успокоения России, принять конституцию.

По-видимому, Витте не сразу нащупал путь, чтобы идти к определенному решению сложного и запутанного вопроса. В течение своих колебаний он даже собирался покинуть, под предлогом утомления, Россию и выехать за границу, чтобы там выждать разрешение событий. О своем намерении он сообщил председателю Государственного совета, графу Сельскому, с которым находился в дружеских отношениях. Это сообщение, по словам Витте, вызвало у Сельского слезы: «ну, что же, уезжайте и оставляйте нас здесь всех (курсив В.) погибать. Мы же погибнем, так как без вас я не вижу выхода», (стр. 27, т. II).

Витте уверяет, что эти слова Сольского поколебали его намерение уехать за границу и побудили его принять новое решение: обратиться к царю с письмом.

Шестого октября граф Витте письменно просил государя принять его и «выслушать его соображения о современном, крайне тревожном положении».

Николай II-й не сразу ответил на его письмо: вероятно оно вызвало волнение в среде, близкой к государю и желание внимательно обсудить предложение Витте, не пользовавшегося особым доверием ни государя, ни царицы. Они не любили его, как человека совершенно чуждого двору, умного, честолюбивого, хитрого и лишенного того придворного такта, который умеет прикрывать всю лживость чувств и взаимных отношений внешними приемами любезности. Все это легко усваивается с юных лет придворного воспитания, но редко усваивается людьми, выросшими в иных условиях, и они остаются почти всегда чужими в придворной атмосфере. К числу таких «чужих» принадлежал и Витте, попавший в министры из провинциальных чиновников железнодорожной канцелярии, грубоватость которой и заносчивость «выскочки» он носил с собою как при дворе, так и в частной жизни. С такими данными трудно допустить, чтобы он умел под личиной грубой почтительности и холопской лести скрывать ту ненависть и презрение, какие он питал к Николаю II-му и императрице. Подлинный характер своих отношений к ним он обнаружил в своих Воспоминаниях, где он дал волю своим чувствам в полной мере и не пропускает ни одного случая, чтобы по-лакейски не выругать барина, от которого охотно принимал все награды до графского титула включительно. Он наперед решил, что его воспоминания не появятся ранее его смерти, а мертвые «срама не имут».

Естественно, что при таких взаимных отношениях, преисполненных недоверия с обеих сторон, обсуждение исключительных по своей важности вопросов не могло отличаться ни искренностью, ни прямоотой. История этих переговоров, закончившихся Манифестом 17-го октября, подробно изложена в «Воспоминаниях» Витте, и можно думать, изложена с достаточной точностью, так как она находится в полном согласии с «записками» двух лиц: управляющего канцелярией Комитета министров г. Вуича и управляющего Кабинетом Государя, генерала кн. Оболенского. Обе эти «записки» были составлены в видах опровержения упорно распространявшихся при дворе слухов, получивших поддержку самой императрицы, о том, что Манифест был подписан государем не добровольно, а «вырван», т.е. под давлением гр. Витте. Возникновение такого слуха и распространение его в придворных кругах дают довольно ясное представление о степени сочувствия двора реформе, которую требовала Россия, а не гр. Витте...

Во всяком случае история Манифеста 17 октября столь поучительна и имеет такое значение для нашей страны, что мне кажется не бесполезным в кратких чертах воспроизвести ее и на этих страницах.

Ответ на посланное 6-го октября письмо графа Витте был получен только 8-го числа с приглашением явиться в Петергоф 9-го, в 6 часов вечера. В назначенный час государь принял гр. Витте, представившего царю, составленную накануне, вместе с Вуичем, краткую «записку», в которой был изложен взгляд на положение дела. В словесном докладе Витте объяснил, что по его мнению, в данном случае имеется только два выхода: или стать на путь конституционный, или облечь «соответственное лицо» диктаторскими полномочиями, дабы подавить революцию силою оружия. Его личное мнение, добавил Витте, на стороне первого пути, но если государь признает его нежела-

тельным, то остается только второй путь: подавление силою оружия. Выслушав мнение Витте и приняв «записку», государь не выразил никакого мнения, но пригласил Витте прибыть на следующий день. 10-го октября Витте был принят в присутствии императрицы и снова «подробно изложил свои соображения», объясняющие «записку» в исправленной накануне редакции, и заявил, что считает дарование конституции более правильным средством, но что имеется и другой путь — диктатуры, которой он не разделяет, но и не отвергает, если революция может быть раздавлена силою оружия. При выборе первого пути, он, граф Витте, считает необходимым утвердить его «записку» и поручить правительству выполнить указанные в ней реформы. Выслушав Витте, государь заметил только, что «может быть было бы лучше основания «записки» опубликовать манифестом?» В течение следующих двух дней — 11-го и 12-го октября, гр. Витте не имел сведений из Петергофа, но узнал, что у гр. Сольского происходило совещание, на котором речь шла о крайне опасном положении дел, и что члены Государственного Совета, — генерал-адъютант Чихачев и граф Пален, решительно высказались за подавление беспорядка военной силой. Ввиду этого, гр. Витте немедленно написал государю письмо с просьбой назначить совещание с участием гр. Палена и генерала Чихачева, но вместо ожидаемого ответа он получил 13-го октября телеграмму: «Впредь до утверждения закона о кабинете поручаю вам объединить деятельность министерств, которым ставлю целью восстановить порядок повсеместно. Только при спокойном течении государственной жизни возможна совместная созидательная работа правительства с имеющими быть свободно выбранными представителями народа моего». Нелепость этой телеграммы, возлагающей на Витте и растерявшееся правительство восстановление порядка после всех его объяснений, заставила Витте на следу-

ющий день, т.е. 14 октября отправиться в Петергоф и доложить государю, что «одним объединением министров... смуту успокоить нельзя и что... обстоятельства требуют принятия решительных мер в том или другом направлении», т.е. либо даровать немедленно конституцию, либо поручить избранному диктатору подавить революцию силою оружия. Во время этого объяснения Витте представил письменный доклад, резюмирующий его «записку», — «в начале коего указано, что доклад этот составлен по приказанию и указаниям Его Величества», на случай, если государь изберет путь, предлагаемый Витте, причем он объяснил, что «опубликование этого доклада вполне заменит манифест, что будет гораздо осторожнее, ибо в таком случае предложенные им меры лягут на его, графа Витте, ответственность и не свяжут Его Величество». В атмосфере, пропитанной крайней подозрительностью, упорство, с которым Витте при каждом разговоре настаивал на замене манифеста его «докладом»; грубый до цинизма намек, что, принимая на себя всю ответственность за предлагаемые реформы, он дает государю возможность в благоприятный момент безнаказанно изменить своим обещаниям, взять их назад и вернуться к старому самодержавному строю, — все это, если не создало, то укрепляло при дворе убеждение в лицемерии Витте и в намерении его стать между царем и народом, и таким путем явиться в сознании народа его посредником и защитником. Таким образом, вмешательство Витте с предложением своих услуг вызвало в придворных кругах чрезвычайное раздражение и желание во что бы то ни стало лишить его такой опасной роли. Ввиду этого, ближайшие советники государя готовы были согласиться на все уступки, но не иначе и под условием, что все это будет объявлено манифестом в виде царской милости, как это всегда делалось раньше, ни в каком случае не допуская опубликования рядом с манифестом доклада Витте, а тем более

опубликования одного «доклада» вместо манифеста, так как это означало бы, что реформы вводятся не по воле царя, а по настоянию Витте и от его имени. Витте понял, что провести свой доклад без манифеста ему не удастся и что скорее государь может даровать конституцию манифестом помимо Витте, чем опубликовать доклад Витте и отказаться от манифеста, что было бы капитуляцией не перед страной, а сдача своих верховных прав графу Витте. 14-го октября вечером Витте получил из Петергофа распоряжение прибыть на следующий день, 15 октября, в 11 ч. утра в Петергоф и привезти с собою проект манифеста, ибо необходимо, объясняло распоряжение, «чтобы все исходило лично от Государя и нужно вывести намеченные в его докладе меры из области обещаний в область даруемых Государем фактов». Хотя графу Витте очень не хотелось отказаться от своего «более осторожного», по его словам, плана, тем не менее ему ничего более не оставалось, как подчиниться и писать проект манифеста. Эту задачу он поручил исполнить своему приятелю кн. Алексею Дмитриевичу Оболенскому. 15-го октября утром граф Витте, пригласив ехать с ним князя Оболенского и управляющего канцелярией Комитета министров Вуича, отправился на пароходе в Петергоф. Во время пути, на пароходе, проект Оболенского был прочитан и исправлен. В 11 ч. утра Витте был принят государем в присутствии вел. кн. Николая Николаевича, главнокомандующего армией в Петербурге, барона Фредерикса, министра двора, и генерал-адъютанта Рихтера. В своем устном докладе Витте снова вернулся к своему «крайнему разумению», что в данном положении «могут быть два исхода: или диктатура или конституция, на путь которой Его Величество в сущности уже вступил манифестом 6-го августа и сопровождающими его законами. Его доклад или программа высказывается за второй путь, который в случае его утверждения должен повести к меропр-

ятиям, подлежащим проведению в законодательном порядке и расширяющим закон 6 августа, приводя Россию к конституционному устройству». Если эта речь была произнесена, то в ней, в весьма туманной и неопределенной форме, выражен план будущего законодательства, лишенного всякого правового основания и приведшего не к «конституционному устройству», а к его искажению. Никакого обсуждения ни проекта манифеста, ни вышеприведенной речи не происходило. Произошла лишь фактическая передача государю проекта манифеста и доклада Витте. На следующий день, 16 октября, гр. Витте ожидал окончательного решения вопроса, так как получил от бар. Фредерикса сообщение по телефону, что его проект Манифеста подвергся редакционным поправкам и что он будет доставлен Витте лично бароном, министром двора. Между тем проект Манифеста подвергся обсуждению разных лиц близких ко двору, причем член Государственного Совета Горемыкин и барон Будберг составили два других проекта, внося в проект Витте некоторые изменения. Затем окончательно принятый государем проект был доставлен на рассмотрение товарища министра внутренних дел генерала Трепова, пользовавшегося особым расположением государя, и, получив одобрение Трепова, только поздно вечером 16 октября был доставлен лично Фредериксом и директором канцелярии Министра Двора, Мосоловым, Витте «для его осведомления». Прочитав исправленный проект, граф Витте отказался его принять, во-первых, потому что манифест дарует все свободы со дня его опубликования, вопреки его плана, и во-вторых в манифесте пропущены некоторые существенные меры, означенные в докладе, ввиду чего он просил Фредерикса доложить государю, что он просит об увольнении его от должности председателя Совета и назначить на его место лицо, программа которого будет окончательно принята. Попытки барона Фредерикса убедить Витте отка-

заться от этого намерения остались тщетными. Витте принял ультимативное решение в полной уверенности в победе, так как не сомневался, что среди людей, окружавших царя, не найдется ни одного, который взялся бы раздавить революцию силою оружия или взял бы на себя ответственность за проведение конституции и успокоение страны. Витте обладал этой смелостью и понимал, что победа логически должна быть на его стороне. И действительно, на следующий день, 17-го октября, граф Витте был снова вызван в Петергоф, где его встретил бар. Фредерикс и сообщил, что решено принять его проект манифеста, ввиду того, что «В. князь Николай Николаевич категорически поддерживает такое решение и докладывал о невозможности, за недостатком войск, прибегнуть к военной диктатуре». В 6 ч. вечера государь, в присутствии в. к. Николая Николаевича, барона Фредерикса и графа Витте, подписал оба документа: Манифест и доклад Витте. Оба документа в тот же день вечером были обнародованы в Петербурге и по телеграфу были переданы в Москву и во все губернии. Такова краткая история Манифеста 17-го октября, несомненно одного из важнейших актов, имевших большое влияние на дальнейшие события и течение истории России. Подобно Манифесту 19 февраля 1861 года, отменившему в России рабство гражданское, Манифест 17 октября 1905 года отменяет рабство политическое. Однако судьбы обоих манифестов совершенно противоположны по своим последствиям... В своих «Воспоминаниях» гр. Витте рассказывает, что во время его переговоров с государем среди общества ходили слухи о происходящей при дворе «борьбе» — и «ждали, — пишет он, — чья сторона возьмет верх: граф Витте — что представляло синоним либеральных реформ, или появится последний приступ мракобесия, который на этот раз, как того с нетерпением ожидали все революционеры, совсем свалит царствующий дом. Надежды

эти, — дополняет эти слухи гр. Витте, — были весьма основательны, так как царь возбуждал или чувство отвращения, злобы, или чувство жалостного равнодушия, если не презрения...» (стр, 45, т. II). Появление Манифеста поздно вечером 17 октября было полной неожиданностью. «Все инстинктивно почувствовали, пишет Витте, что произошел вдруг «перелом» России XX столетия»... «Все истинно просвещенные, неозлобленные и не утратившие веру в политическую честность верхов поняли, что обществу дано сразу все, о чем оно так долго хлопотало и добивалось, в жертву чего было принесено столь много благородных жизней, начиная с декабристов». Мне кажется, что, как слухи, о которых сообщает Витте, так и чувства просвещенных граждан едва ли отражали действительность и дошли до слуха торжествовавшего свою победу Витте, в значительно подмалеванном виде. Как я уже говорил в предыдущей главе, известие об опубликовании Манифеста я получил в Машуке на следующий день, 18 октября, и прибыл в Петербург дня через 3-4, поэтому не был свидетелем тех восторгов, о которых говорит Витте, а равно и тех слухов и ожиданий, которые предшествовали Манифесту. Тем не менее, с полной уверенностью могу сказать, что по всей вероятности граф Витте черпал сведения из источников недостаточно достоверных. Ибо только от своих неразборчивых хвалителей он мог, например, слышать, что его имя в общественных кругах когда-либо считалось синонимом либеральных реформ. Напротив, его репутация в общественных кругах прочно установилась еще в царствование Александра III, как поклонника самодержавия, всегда считавшегося непримиримым врагом всякого либерализма. Перемена царствования не изменила направления гр. Витте, имевшего неоднократно случаи афишировать свои самодержавные воззрения с особенной яркостью, избрав своей мишенью местное самоуправление, как естественного против-

ника самодержавия, которое он взял под свою защиту. Бесспорно, в первые дни по объявлении Манифеста, в широких кругах населения все, за исключением «равнодушных» или приверженцев старого порядка, были более или менее, смотря по темпераменту, охвачены радостным чувством победы в борьбе с самодержавием и его капитуляцией. Никто не обратил особого внимания на тайный смысл «доклада» графа Витте, сопровождавшего Манифест, и все принимали последний, как окончательное утверждение конституции, предоставляющей Государственной Думе законодательные права и право контроля над деятельностью администрации, а всем гражданам без различия национальностей, религии и сословий, полное равенство и все свободы и гражданские права. Никто и не думал приписывать победу графу Витте. Напротив, все сознавали и чувствовали, что победа одержана единодушием всех классов населения и всеобщей забастовкой, явившейся в данном случае могущественным орудием национального единодушия. Такое сознание было совершенно естественно, так как борьба велась систематически в течение целого года, тогда как никому неизвестное вмешательство гр. Витте происходило лишь в течение последних десяти дней и имело целью, как показали последствия, интересы не народа, не страны, а ее самодержца, скрытые под формой конституционализма. И потребовалось очень немного времени, чтобы убедиться, что великодушные и политическая честность никогда не принадлежали к числу добродетелей наших «верхов» и что это осталось неизменным их свойством, от которого не излечился и Витте, судя по тому, что он пишет (стр. 40, т. II): «Манифест 17 октября в редакции, на которой я настаивал, отсекает вчера от сегодня, прошедшее от будущего». Читая эти строки, невольно останавливаешься в недоумении: что это такое? Невежество и непонимание того, что им сделано? или это попытка продолжать дурачить тех

людей, которые не поняли его и продолжают сравнивать его с Петром Великим? Как выше сказано, одновременно с объявлением Манифеста 17 октября был опубликован «доклад» гр. Витте. Это тот самый доклад, который, по мысли его автора, первоначально имел целью заменить бесповоротное провозглашение конституции, правового строя, гражданских прав и свобод, обещанием даровать их, в уверенности гр. Витте, что достаточной гарантией исполнения обещаний в глазах населения будет: «либеральная репутация автора и его убеждение, выраженное в докладе, что «Россия переросла форму существующего строя» и что «она стремится к строю правовому на основе гражданской свободы». Само собой разумеется, что либерализм гр. Витте ничего не мог гарантировать и нет сомнения, что опубликование одного доклада ничего не изменило бы в настроении возбужденного населения, требовавшего не обещаний, а объявления конституции и гражданских прав. В этом случае желания населения и государя были сходны в своем основании, и истинный смысл доклада Витте становился ясным лишь в тот момент, когда он настаивал на более осторожных действиях, предвидя возможность в будущем, при благоприятных обстоятельствах, взять назад все конституционные обещания и вернуться к самодержавному строю, возложив фиктивную ответственность (перед царем!) на правительство. Витте хорошо знал Николая II и не сомневался, что такой момент наступит очень скоро, когда общественное движение устанет и успокоится, а армия будет подтянута и дисциплинирована. Достаточно внимательно прочесть этот пресловутый доклад, чтобы убедиться, что его содержание так туманно, неопределенно и двусмысленно, что оно видимо предназначено было специфически для той операции, которая собственно и была произведена над обещанной реформой, тщательно избегавшей даже наименования ее конституцией. Можно ли,

например, под словами Манифеста: «На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли: 1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов... 3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы...», можно ли предположить что-либо другое, а не то, что правительство обязано немедленно осуществить все свободы, указанные в 1-м пункте, мерами административных распоряжений и подготовить для внесения в Государственную Думу закон, регулирующий дарованные права «в ограждение прав третьих лиц, спокойствия и безопасности государства?» Можно ли предположить что-либо другое, а не то, что отныне никакой закон, согласно 3-му пункту Манифеста, не будет издан до созыва Государственной Думы и не получит силу закона без ее одобрения? Можно ли в словах доклада, что — «Между выраженным с наибольшей искренностью принципом и осуществлением его в законодательных нормах, а в особенности проведением этих норм в нравы общества и приемы правительственных агентов, не может не пройти некоторое время», — можно ли в этих словах доклада найти что-либо другое, кроме указания на неизбежный промежуток времени между дарованием прав, изложенных в трех пунктах Манифеста, и проведением в Государственной Думе предложенного правительством на ее рассмотрение законопроекта, устанавливающего подробности конституционной хартии? Прочитав в докладе этот странный, чтобы не сказать бестолковый, набор общих мест и фраз, смысл которых совсем непонятен, можно сказать, что этот комментарий Манифеста ничего не разъясняет, ничего не дополняет и ничего не изменяет в Манифесте, выраженном в положительной и определенной форме, признающий, с момен-

та его обнародования, за русским народом права законодательные, посредством Государственной Думы, и перечисленные в Манифесте свободы и гражданские права. На правительство же возложены исключительно исполнительные действия по осуществлению Манифеста и никаких законодательных прав и действий ему не было, да и не могло быть, за силою того же Манифеста, предоставлено. Это обстоятельство имеет особенную важность, ввиду присвоения правительством Витте и государем себе прав издания законов, в течение времени со дня обнародования Манифеста до открытия Государственной Думы, вопреки 3-го пункта Манифеста. Очевидно на правительстве лежала прямая обязанность поспешить с назначением выборов Государственной Думы по закону 6 августа и с созывом ее, так как без нее никакая законодательная работа не могла совершаться, и первый ее законодательный акт должен был состоять в изменении ее собственной организации, которая должна была отныне согласоваться, по Манифесту 17 октября, с ее превращением в орган законодательный и контролирующий действия исполнительной власти. Министерство Витте поступило иначе: под предлогом исполнения пункта 2-го Манифеста о привлечении к выборам в Государственную Думу лиц, принадлежащих к классам, которые были вовсе лишены избирательных прав, оно оттянуло созыв Думы на полгода и занялось законодательной работой, ставшей источником всех дальнейших событий и бедствий, не изжитых и до сих пор... В своих воспоминаниях граф Витте утверждает, что принял приглашение государя стать во главе правительства и образовать «конституционное министерство вопреки его собственному желанию и думает, что и вопреки желания самого государя, который пригласил его только потому, что был вынужден, как и «перед Портсмутом» остановиться на нем, за неимением среди его приближенных лиц, которые согласились бы взять на

себя такое трудное дело; и при этом Витте, как это он часто делает, подозревает государя в желании его гибели. Такая подозрительность не более как плод его воображения. На самом деле он сам старался в течение десяти дней запугать Николая II-го для того, чтобы не предоставить все выгоды, которые можно было извлечь из создавшегося положения, своим врагам — Горемыкину, гр. Игнатьеву или Трепову, которых он считает «претендентами». Он так же и теперь, как и при назначении для мирных переговоров с Японией, работал для себя, и получив поручение составить министерство, он чувствовал себя на своем месте, и как сам пишет, прежде всего решил привлечь к себе внимание и сочувствие печати. Для этого он пригласил к себе издателей и редакторов «Петербургских Ведомостей», «Нового Времени», «Света», «Гражданина», «Биржевых Ведомостей» и «кажется», добавляет он, «Русского Богатства». Оратором представителей печати выступил г. Проппер, издатель-редактор «Биржевых Ведомостей», наговоривший столько неприятных вещей графу Витте, что последний, спустя несколько лет, вспоминает о Проппере с величайшим отвращением, так как вместо ожидаемой благодарности и фимиама ему пришлось выслушать такое заявление: «Мы правительству вообще не верим» и т.д. Речь Проппера привела Витте к убеждению, что «опереться на прессу невозможно, так как она совершенно деморализована» и только ждет от правительства материальных благ в виде объявлений, субсидий и т.п. Очевидно Витте так же мало знал русскую прессу, как и русское общество, которого он чуждался, даже презирал, но участия которого теперь искал не ради интересов дела, а ради рекламы. С этой целью он решил предложить портфель государственного контроля Дмитрию Николаевичу Шипову, бывшему председателю Московской губернской земской управы, неутвержденному на последних земских

выборах министром Плеве, но пользующемуся всеобщим и вполне заслуженным доверием.

Появившиеся в печати воспоминания Д.Н.Шипова, ныне уже покойного, дают безусловно точные сведения, относящиеся к приглашению Витте общественных деятелей вступить в его министерство. Этими сведениями я и пользуюсь, хотя и вынужден цитировать их не по книге, за неимением ее под руками, а по газете «Руль»; — №№ 209 и 210, — 27 и 28 VII, 1921 года.

18 октября Д.Н.Шипов получил от Витте телеграмму с просьбой немедленно приехать в Петербург. На следующий день он уже был в Петербурге и от кн. А.Д.Оболенского, приятеля Витте, узнал о намерении последнего предложить ему портфель государственного контролера. И действительно, на состоявшемся свидании, Витте обратился к Шипову «как к общественному деятелю, пользующемуся доверием в общественных кругах» и просил «помочь ему при осуществлении высочайшего Манифеста»; затем он подчеркнул, что правительство нуждается в доверии общества, и высказал предположение, что присутствие Шипова в кабинете и заведование им государственным контролем создаст в обществе уверенность в правильном расходовании государственных средств.

В своем ответе Витте, Шипов заявил, что не имеет принципиальных возражений против предложения, но примет его лишь в том случае, если будет иметь уверенность, что его участие может быть полезным. — «Правительству необходимо доверие общества, сказал Шипов, не по отношению к вопросу о правильном расходовании государственных средств: нужно, чтобы общество было уверено, что старый строй государственного управления уступил бесповоротно место новому строю, возведенному 17 октября, а для создания уверенности необходимо привлечь в состав правительства представителей

разных общественных кругов»... для чего требуется, «чтобы общественным деятелям были предоставлены портфели министерств: внутренних дел, юстиции, земледелия, народного просвещения, торговли и промышленности». С своей стороны Шипов предложил пригласить на место министра юстиции С.А.Муромцева, а портфели министра внутренних дел и земледелия поручить И.И.Петрункевичу и кн. Г.Е.Львову, принадлежащим к большинству членов земских съездов.

На возражение Витте, что он не знаком с этими лицами (со мною он был знаком раньше, когда в ноябре 1904 г., по его приглашению, я провел у него вечер в беседе о положении дел в России), Шипов рекомендовал обратиться в бюро съездов, предполагая, что оно остановится именно на этих лицах и пошлет их для переговоров. После этого Витте тут же послал телеграмму Ф.А.Головину, председателю бюро; вместе с тем он сообщил Шипову, что имеет в виду предложить министерство Народного Просвещения кн. Е.Н.Трубецкому, а торговли и промышленности — А.И.Гучкову.

Никаких программных вопросов, за исключением вопроса о порядке выборов в Государственную Думу от рабочих фабрично-заводской промышленности, порядке, вызвавшем возражения Шипова, — беседа не касалась и закончилась подтверждением, что принципиально, при соблюдении известных условий, указанных выше Шиповым, он готов принять портфель в министерстве Витте.

В тот же день вечером, 19 октября, Шипов выехал в Москву, куда и прибыл на следующий день, благодаря содействию Витте, так как железнодорожные поезда ходили лишь случайно. Поэтому он не сомневался, что успеет довести до сведения бюро съездов о своих переговорах с Витте. Но обстоятельства сложились иначе. Съезд не мог собраться в назначенный день, 22 октября, вследствие забастовки железных

дорог. И если бы даже он собрался, то едва ли мог бы отправить своих делегатов в Петербург для переговоров об участии в министерстве, так как 18 октября была подписана программа первой открытой политической партии — конституционно-демократической, выделившейся из состава съездов, причем не был еще установлен список членов новой партии, не был избран центральный комитет партии и не было обсуждения партийной тактики, в задачи которой входил и вопрос об участии партии в правительстве, организуемом графом Витте. Ввиду этого бюро съездов признало возможным избрать из числа пребывающих в Москве членов делегацию, на которую возложить предварительные переговоры и выяснение программы нового правительства гр. Витте и предполагаемого, состава министров. За сим делегация, не принимая никаких решений, результаты переговоров должна была сообщить центральному комитету партии. В состав делегации вошли: Ф.А.Головин, Ф.Ф. Кокошкин и кн. Г.Е.Львов. Делегация была принята гр. Витте 21 октября. В своих воспоминаниях гр. Витте о приеме этой делегации вовсе не упоминает, хотя содержание беседы, с согласия Витте, уже появилось 23 октября в «Русских Ведомостях». К сожалению, у меня нет под руками этой превосходной газеты, оказавшей нашей партии и делу борьбы с самодержавием незаменимые услуги и помощь. По словам же Д.Н.Шипова делегация объявила Витте, что — «единственный выход из переживаемого положения — созыв учредительного собрания для выработки основного закона (конституции), причем собрание это должно быть избрано путем всеобщего, равного, прямого и тайного голосования; возведенные в Манифесте свободы должны быть немедленно осуществлены; необходима полная политическая амнистия. Все эти реформы неизбежны и лучше дать их сразу, чем идти к

ним болезненным путем через видоизмененную Государственную Думу».

К этому изложению мнения делегации Д.Н.Шипов присоединяет и свое личное мнение. — «Очевидно, говорит он, что такая постановка вопроса свидетельствует о полном отсутствии сознания необходимости сохранения и поддержания авторитета государственной власти в переживаемое страной время и исключала для правительства возможность дальнейших переговоров с членами бюро Съездов земских и городских деятелей и привлечения его представителей к участию в государственном управлении».

Со времени этих переговоров прошло уже 18 лет, тяжелых и печальных годов, и мне кажется, что настало время, когда мы можем совершенно объективно обсуждать события 1905 и 6-го годов, тем более, что последующие события обнаружили с полной ясностью как положительные, так и отрицательные стороны не только их, но и роли главных действующих лиц того времени.

Осудив делегацию, Шипов был неправ потому, что посмотрел на дело односторонне. Несколько дней спустя, он сам испытал всю странность поведения гр. Витте, организующего правительство без всякой программы, но когда правительство составляется из таких противоположных элементов, как Шипов и Трубецкой с одной стороны, и Дурново с другой, какая же программа может существовать? Сохранять и поддерживать авторитет государственной власти с помощью таких деятелей, как Дурново, названный Александром III-м «мерзавцем», значит возвращаться к самым темным элементам старого государственного строя, обнаружившего свою полную несостоятельность и негодность. И если гр. Витте предпочел Дурново Шипову и Трубецкому, то это обнаруживало истинное содержание его программы: предпочтение старого порядка в

его худшем виде, новому строю, к которому стремится Россия «на основе гражданской свободы».

Можно представить себе, как гр. Витте, слушая Кокошкина, человека умного, образованного и прямого, красноречиво объясняющего бюрократу XX века смысл нового государственного порядка, презрительно улыбался его догматизму и считал потерей времени входить в обсуждение идей, чуждых практическим требованиям жизни. Но именно жизнь посмеялась над Витте, сначала выбросив его самого за борт, а затем разрушив его «конституцию», на которую, в своих воспоминаниях, он возлагал столько надежд, как на картонный домик, обнаружив всю свою неспособность разрешить задачу сложную и трудную, далеко превосходившую его силы.

Во время одной из моих встреч с Витте, когда он был очень озабочен составлением своего министерства, он мне говорил:

— «Вы думаете, что правительство обнаружило свое бессилие и не может справиться с общественным движением без помощи этого самого общества? А я вам скажу, что правительство располагает средством, с помощью которого оно не только может раздавить общественное движение, но и нанести ему такой удар, от которого оно не оправилось бы: стоит только пообещать крестьянам наделить каждую семью 25-ю десятинами земли, — все вы, землевладельцы, будете сметены окончательно. Правительство, конечно, не может прибегнуть к этому способу, но вы не должны забывать этого».

Подобную земельную реформу он мыслил только как последний способ самозащиты монархии от революционеров и революции, поэтому разрешение аграрного вопроса не входило в его «конституционную» программу. А когда этот вопрос был поставлен в программу конституционно-демократической партии, а затем поднят в самом министерстве Витте министром

земледелия Кутлером, который был за это удален из министерства по требованию государя, Витте беспрекословно исполнил это требование. Он решительно не понимал ни значения, ни опасности аграрного вопроса и не догадывался, что в нем узел не только политического, но и социального вопроса, своевременное разрешение которого спасло бы Россию от того потрясения, которое она переживает теперь...

Приглашение общественных деятелей в состав первого «конституционного» министерства было лишь неудачной комедией, разыгранной Витте со свойственной ему грубостью, доходящей до цинизма. Честный и прямой Шипов не сразу догадался, но скоро понял, что ему предназначалась в этой комедии роль безмолвного представителя «общественного мнения». Витте не считал нужным ни знакомить его со своей программой, ни самому знакомиться с программой, на которой могли настаивать представители общественности. По его мнению, программа составляет как бы прерогативу председателя Совета, министры же заняты каждый своим ведомством, отвечают за него, а в вопросы общей политики не вмешиваются. Это соображение открывало ему возможность предоставить три-четыре портфеля общественным деятелям, если это будет нужно в видах успокоения общества, но портфели, имеющие характер технический. Портфели характера политического должны быть переданы в руки опытные, пользующиеся его полным доверием. Такое деление портфелей уже было наметком на программу, но все-таки не было программой, а без нее, как показал опыт, составить министерство, было возможно лишь из чиновников. Князь Евгений Николаевич Трубецкой, приглашенный занять место министра народного просвещения, прежде всего обратился к Витте с просьбой изложить ему программу министерства, но у Витте был только один программный пункт: назначение министром внутренних дел

П.Н.Дурново, без которого он не мог ручаться за безопасность государя и его семьи. Никто не оспаривал необходимости охраны государя и его семьи, но назначение г. Дурново на пост министра внутренних дел вызвало решительное несогласие. Предлагались разные способы: выделить эту охрану в особое самостоятельное ведомство, не связанное с министерством, и поручить его генералу Трепову в качестве дворцового коменданта, или указать другое лицо на место министра внутренних дел, пользующееся в обществе безупречной репутацией. Предложили кн. С.Д.Урусова, бывшего бессарабского, а потом тверского губернатора. Это имя встретило общее сочувствие и Витте одобрил такой выбор. Но когда Урусов, находившийся в Крыму, по телеграфу дал свое согласие и готовность принять любую должность, Витте взял свое согласие назад и предложил Урусову место товарища министра Дурново. После продолжительных переговоров кн. Трубецкой отказался от предложенного ему портфеля.

Я живо помню, с каким недоумением и негодованием он возвращался от Витте после переговоров, все более раскрывавших намерения Витте создать министерство, лишенное всякого конституционного характера.

Для всех становилось очевидным, что способ, придуманный графом Витте для пополнения своего кабинета общественными деятелями, рассчитан на соблазнительность приманки министерского портфеля для людей, случайно выдвинутых вперед общественным движением и не чуждых честолюбия. К числу таких людей Витте, лишенный чувства правды, причислил и Д.Н.Шипова, давшего принципиальное согласие принять портфель Государственного контроля. Условиям, которыми Шипов оговорил свое согласие, Витте не придавал никакого значения: на весах карьеры, по мнению «знатока» действительности, чашка с министерским портфелем перетянет

своим весом невесомые моральные условия, которые Витте считал ни во что. Согласно такому пониманию вещей, он так и поступил: получив условный ответ от Шипова, он немедленно испросил у императора утверждение Шипова в должности государственного контролера и снова вызвал уехавшего в Москву Шипова телеграммой.

Сообщение об утверждении его в должности и предложение представиться на следующий день императору в качестве государственного контролера, привели Шипова в негодование, и он объявил Витте, что согласие свое он дал под определенными условиями, из которых ни одно еще не существует. Поэтому, он завтра же заявит государю о своем несогласии принять портфель в министерстве Витте. Такое решение Шипова было полной неожиданностью для Витте, который принял вместе с своим другом, кн. А.Д.Оболенским, убеждать Шипова в невозможности изменить создавшееся положение, так как приказ об утверждении его сдан в печать и на следующий день будет опубликован. Но Шипов остался непреклонен и повторил, что завтра же разъяснить государю все дело и будет просить об увольнении. Так он и поступил. Государь выслушал и одобрил его решение, быть может довольный неудачей Витте, авторитету и заносчивости которого был нанесен чувствительный удар.

В числе общественных деятелей был приглашен на место министра торговли и промышленности А.И.Гучков, принадлежавший к «именитому» московскому купечеству, и брат которого был в это время московским городским головой. По-видимому, вступление Гучкова в министерство весьма интересовало Витте. В своих воспоминаниях он говорит о нем, как о «бывшем деятельном члене земских съездов»... «до 17-го октября шедшем вместе с кадетами Милюковым, Маклаковым, Герценштейном и пр.» Это неверно. В земских съездах, с июля

1905 г. превратившихся в земско-городские съезды, я принимал деятельное участие и могу утверждать, что А.И.Гучкова я видел один раз, когда он выступил против мнений большинства съезда по польскому вопросу и против поляка из Вильны г. Врублевского, произнесшего тогда свою блестящую речь. Точно также могу утверждать, что Гучков никогда не принадлежал к кадетской партии, против которой он вел со дня ее основания непримиримую борьбу. Позднее гр. Витте лично мне говорил, что, будучи еще министром финансов и главным начальником пограничной стражи, он получил, кажется из Харбина, телеграмму от железнодорожного управления о самоуправном и насильственном захвате офицером пограничной стражи, Гучковым, квартиры одного из инженеров железной дороги. На эту телеграмму Витте ответил удалением Гучкова из пограничной стражи и восстановлением прав инженера. «Вот все, закончил он свой рассказ, что я знал о Гучкове до 17-го октября». Мне кажется, что Витте рассчитывал в Гучкове получить представителя Москвы, как центра русской промышленности и торговли, и таким образом как бы установить связь своего министерства с самыми важными экономическими интересами России.

Во время переговоров с общественными деятелями о вступлении их в министерство, я получил от Витте письмо с просьбой заехать к нему в здание рядом с Зимним Дворцом, где он тогда жил. Я был несколько удивлен этим приглашением, тем не менее в назначенный час был у него. Приняв меня очень любезно, он обратился ко мне с просьбой, которую я менее всего мог ожидать: взять на себя труд убедить А.И.Гучкова принять министерский портфель торговли и промышленности; он, Витте, имеет основание думать, что Гучков колеблется под давлением партии, к которой он при-

надлежит, а я играю в ней влиятельную роль и могу убедить его отказаться от всяких колебаний и вступить в министерство.

Я поспешил уверить Витте, что Гучков не связан в своих действиях ни земско-городскими съездами, ни кадетской партией, к которой он не только не принадлежит, но ведет с ней борьбу. Что же касается наших личных отношений, то я только раз видел его, когда он говорил речь по польскому вопросу и лично мы вовсе незнакомы. Поэтому, мое вмешательство в его действия может только повредить делу, тем более, что я разделяю мнения Шипова и Трубецкого, решительно отказывающихся работать вместе с г. Дурново, пользующимся слишком определенной репутацией крайнего реакционера.

Витте был видимо раздражен моим замечанием и возразил, что считает Дурново человеком наиболее способным и необходимым для той роли, которую он ему предназначает, ставя его во главе министерства внутренних дел: на нем будет лежать ответственность за общий порядок и особенно за безопасность государя.

На мое замечание, что в таком случае придется составить министерство по программе г. Дурново, ибо иначе оно не будет представлять никакого единства, Витте, еще более беспокойно, ответил, что во всяком случае назначение четырех министров: двора, военного, морского и иностранных дел зависят всецело от выбора государя; а от единства министерства нельзя требовать безусловного тождества мнений, ибо и двух человек трудно найти во всем согласных между собою. У каждого министра имеются свои специальные задачи, поглощающие его внимание гораздо больше, чем общие вопросы, возникающие редко; в таких случаях на председателе Совета лежит обязанность примирить различные мнения и привести их к единству.

На этом наша беседа закончилась.

Комедия образования министерства с участием общественных деятелей не удалась Витте, и он закончил тем, с чего и следовало начать, т. е. с образования министерства из элементов солидарных с Витте, как по своим воззрениям, так и по своему бюрократическому положению. Он рассчитывал соблазнить общественных деятелей министерскими портфелями, но они оказались честнее, чем рассчитывал Витте. Коалиция двух разнородных групп, быть может, могла быть полезной лишь при условии одинакового желания спасти свою страну от угрожающей ей опасности, понимаемой также одинаково. Но именно этого и не было, и оставляя старый аппарат власти, Витте не мог прокладывать новые пути в государственном управлении: его неудача была предreshена его собственным способом действий и через шесть месяцев он получил отставку.

Глава XXI

Манифест 17 октября не внес перемен в государственное управление — Борьба продолжается — Митинги — Нарушение свободы собраний — Разговор с П.Н.Дурново о предполагаемом съезде партии к.д. — Разговор с Витте по поводу возвращения П.Б.Струве в Россию — Образование «делового» министерства из высокопоставленных чиновников — Независимость четырех министров от Государственной Думы — «Черная сотня» — Арест Совета рабочих депутатов — Восстание в Москве — Увольнение либеральных министров — Земельный законопроект Кутлера — Отношение Витте к аграрному вопросу — Особая законодательная комиссия — Манифест о преобразовании Государственного Совета и Государственной Думы — Левые объявляют бойкот Думе — Партия к.д. против бойкота — Значение 7-ой статьи, внесенной Щегловитовым в положение о Государственной Думе. — Исключение из среды дворян С.А.Муромцева, В.Д.Набокова, кн. Петра Дм. Долгорукова и других происками реакционеров дворянских собраний

Опубликование Манифеста 17-го октября 1905 года, сверх всякого ожидания, не произвело никакой перемены в системе государственного управления.

Все осталось по-старому; ни малейшего признака, говорящего о великой перемене, происшедшей в России и превратившей, по требованию народа, автократическое государство в конституционное.

Переменились только министры, да и то не все: из 14-ти лишь восемь новых, а шесть остались на своих старых насиженных местах. Притом все министерство взято было из той же чиновничьей среды, которая никогда не пользовалась

симпатиями общества. Конечно, в этой среде имеется немало порядочных и деловых людей, но ее бюрократические привычки, система, которой они служили и проводниками которой они были, не давали никаких надежд на перемену вообще, а быстрою, в особенности.

По-прежнему, осталось два враждебных лагеря: правительство и общество, непримиренные и недоверяющие один другому; искренности первого никто не верил, громкие фразы Манифеста не давали никаких гарантий тому, что при первом благоприятном обстоятельстве все обещания и обязательства не будут взяты назад, и страна не останется при разбитом корыте. И каждый новый день, следовавший за Манифестом, убеждал общество в том, что борьба еще далеко не окончена.

В первые же дни после Манифеста можно было ожидать, что будут изданы временные правила относительно пользования дарованными свободами, но ожидания были напрасны, правила не появлялись и положение сохранялось прежнее, т.е. юридически общество оставалось бесправным, но пользовалось фактически «завоеваниями революции», или, говоря проще, порядком установившимся, когда испуганная всеобщей забастовкой и растерявшаяся власть «ушла», предоставив события их естественному течению.

Митинги продолжали собираться чуть ли не ежедневно, а в иные дни одновременно в разных местах города, впрочем не на открытом воздухе, а в помещениях и были особенно многолюдны, когда назначались партией конституционно-демократической, взявшей на себя защиту будущей Государственной Думы против бойкота ее, провозглашенного партиями крайнего левого и правого направлений. Тут произносились страстные речи представителями всех партий, но особенно старались провокаторы черной сотни, вносившие самые крайние предложения и резолюции. Мне самому пришлось однажды председа-

тельствовать на митинге в Соляном Городке на Пантелеймоновской улице, в двух шагах от департамента полиции, где, после ораторов к.-д. партии, попросил слово неизвестный мне господин и под гром аплодисментов наших противников слева и справа разносил Государственную Думу и конституцию. После окончания его речи, мне сообщили, что выступавший оратор был чиновник министерства внутренних дел, будущий член третьей Думы, г. Половцев. В другой раз, но гораздо позднее, когда правительство уже оправилось от своей растерянности, мне пришлось председательствовать на митинге в зале хлебной биржи, где полицейский чин уже позволил себе вступить со мною в пререкание по поводу речи одного социалиста, направленной также против конституции и Государственной Думы, но далеко не в столь резких выражениях, какие позволял себе чиновник из черной сотни и, в конце концов, полицейский потребовал закрытия собрания.

Присутствие на митингах таких представителей правительства, пользовавшихся правом закрытия собрания после третьего предостережения, уже достаточно говорило, что права собраний, провозглашенные манифестом, терпелись до тех пор, пока правительство чувствовало себя недостаточно сильным, чтобы вступить в открытую борьбу с обществом и со всеми свободами, даже когда они не грозили никакому порядку.

Мои соображения мне пришлось проверить и другим, еще более действительным путем.

Наша конституционно-демократическая партия, организовавшая ранее манифеста, но обнародовавшая свою программу 18-го октября, т.е. на другой день после манифеста 17-го октября, сочла нужным созвать в Петербурге свой партийный съезд. Мне было поручено устройство съезда. Не желая рисковать съездом, я счел нужным переговорить по этому поводу с

новым министром внутренних дел П.Н.Дурново. Я не встретил с его стороны никаких возражений, но он счел нужным мотивировать свое отношение к съезду как разрешение и объявил, что дав «разрешение» на съезд группе защитников старого строя (т.е. будущей черной сотне, уже организовавшейся под руководством д-ра Дубровина и под покровительством самого царя Николая II), он не может «отказать» и мне. На мое замечание, что мы ни в каком случае не допустим на съезд полицейского чиновника, Дурново ответил, что он не имеет намерения посылать на такие собрания полицейских чинов в уверенности, что мы сами позаботимся о поддержании необходимого порядка на съезде. На этом моя аудиенция окончилась, так как ни та ни другая сторона не чувствовала желания обменяться мнениями по поводу столь новых явлений, как свободное собрание политической партии. Но и без слов мы оба понимали различие наших отношений к новому конституционному порядку, с которым «конституционный» министр Дурново никогда не примирится и будет ждать своего часа, когда конституция будет провалена.

.....

Спустя несколько дней после приезда нашего в Петербург, я решился обратиться к Витте с просьбой о разрешении для П.Б.Струве приезда в Петербург. Как известно, Струве в это время жил в Париже и издавал там журнал «Освобождение», преследуемый в России за свое оппозиционное направление.

Витте принял меня любезно, как знакомого, и выслушав мою просьбу, сказал:

— Я не знаю Струве, а вы ручаетесь за него?

Я отвечал, что Струве я близко знаю и могу свидетельствовать, что это человек разумный и заслуживает полного уважения; что без малейшего колебания я уверен, что он не

поставит его, Витте, в положение, которое заставило бы его сожалеть о данном разрешении приехать в Петербург.

— Я должен предупредить вас, сказал он мне в ответ на это, что я не считаю себя в праве дать просимое разрешение, не испросив предварительно согласия государя, так как дело касается эмигранта, издающего за границей противоправительственный журнал.

Я предпринял этот шаг без ведома Петра Бернгардовича, который не искал помощи своих друзей и сам не обращался к правительству с просьбой, а просто решил, что ехать в Россию надо и поехал на авось; при въезде, как мне кажется, он не встретил никаких препятствий на русской границе. Можно думать, что Витте сдержал свое обещание, так как при первой встрече со мною после моей просьбы (а это было через несколько дней), он мне сказал, что разрешение на въезд Струве в Россию было им сообщено во все таможни по западной границе.

Я привожу этот случай именно в виду его незначительности, ибо чем он менее значителен, тем вреднее был он для нового порядка, так как поддерживал государя в уверенности, что если самонаименьшие дела зависят по-прежнему от его воли, то очевидно ничто не изменилось в строе и его царская воля, как и раньше, решает все вопросы управления.

Вот почему я склонен думать, что на Витте лежала обязанность показать, что с момента издания манифеста 17-го октября царская воля ограничена законом, но, оставаясь безответственной, она не может служить опорой и для действий ответственной власти, организация которой должна быть на первой очереди. Надо было спешить с организацией министерства, но теперь можно сказать с уверенностью, что у Витте по этому вопросу не было никакого определенного плана. Ему не приходила в голову мысль, что в данный момент требуется

кабинет не «деловой», а политический; что главная задача нового правительства заключается не в порядке министерского делопроизводства, а в осуществлении нового строя, в замене самодержавия конституционным порядком. Витте вспомнил Лорис-Меликовскую конституцию, подписанную императором Александром II-м и заключающуюся в приглашении нескольких общественных деятелей в Государственный Совет. Но то, что было 25 лет раньше, не годилось теперь, когда сам Витте заговорил о конституции и о законодательной Государственной Думе. Деловой кабинет, состоящий из самых просвещенных чиновников, теперь не годился уже потому, что был связан с старым порядком крепкими узами. Он не мог по своему составу и по своим традициям стать в оппозицию к власти, которой привык повиноваться беспрекословно.

Конституционным ответом на требование страны и логическим завершением манифеста могло быть только образование политического кабинета из общественных деятелей, так как только такой кабинет мог дать обществу уверенность в прочности нового порядка.

Витте этого не понимал. Мало того, он боялся передать власть даже наиболее умеренным из общественных деятелей и считал всех их революционерами. Он готов был согласиться на двух-трех «революционеров», но с тем, чтобы передать им портфели, не имеющие ни малейшего политического характера, и приглашая «революционера» Д.Н.Шипова, он готов был дать ему портфель государственного контролера, чтобы дать обществу «гарантии в правильности расходования государственных средств». Готов был пригласить профессора кн. Е.Н.Трубецкого на должность министра народного просвещения, но, поговоривши с ним, убедился, что «сразу раскусил эту натуру. Она так открыта, так наивна и вместе с тем так кафедротеоретична, что ее не трудно сразу распознать с головы до

ног... Совершенный Гамлет русской революции», (т. II-й, стр. 61).

Такая характеристика не столько дает портрет одного из талантливейших русских людей, сколько свидетельствует о полном непонимании Витте, как исторических событий, в которых ему хо- хочется сыграть историческую роль, так и людей, которые по своему образованию, уму, благородству характера и искреннему патриотизму далеко превосходят высокопоставленного карьериста.

Витте воображал, что он может заслужить себе историческое имя с помощью старого полицейского чиновника Дурново, бывшего директора департамента полиции, которого император Александр III приказал убрать в 24 часа. Витте знает все его проделки по службе и в частной жизни, и считает, что именно этому, лишенному элементарной честности, человеку следует быть министром внутренних дел, в видах охраны жизни императора. Такое назначение было равносильно объявлению, что Россия как была, так и остается полицейским государством, какую бы этикетку ни наклеили на ее знамени, и никто из общественных деятелей, даже г. Гучков, которого Витте особенно надеялся соблазнить министерским портфелем, как представителя «именитого» московского купечества, никто не пожелал стать под знамя Витте — Дурново. Министерство образовалось из «деловых» элементом, т. е. из более или менее высокопоставленных чиновников, Но Витте пошел еще дальше в уступках старому порядку, сохранив за императором права назначения министров: иностранных дел, военного, морского и двора, и подчинения их непосредственно императору. Таким образом, вся сфера деятельности этих министров выделилась из состава министерства в особое учреждение, глава которого, безответственный государь, мог вести свою международную политику и распоряжаться войском и

флотом по своему усмотрению независимо от министерства, а следовательно и независимо от контроля Государственной Думы.

Безответственность иностранной политики правительства привела Россию к Японской войне, печальные и позорные последствия которой никакой мир не мог изгладить из нашей памяти. За спиной министерства иностранных дел и с ведома императора велась «придворной камарильей» своя политика личных интересов, в которой принимал деятельное участие член царской семьи, beau-frère самого императора.

Россия не только проиграла войну, так необдуманно начатую, потеряв почти весь свой военный флот, похоронив на полях Манчжурии сотни тысяч своих солдат, уступив победителю половину о-ва Сахалина, Порт-Артур и город Дальний, но сверх того она утратила свое международное положение, обнаружив всю свою слабость, все язвы своего самодержавного строя и подготовила обе революции.

В одном этом событии (войне), таким образом, проявились все недостатки и опасность управления безответственной властью, а в то же время стали явным предостережением продолжению такого порядка, который требовал устранения во что бы то ни стало.

Тем не менее Витте и этого не понял.

Пассивное сопротивление Николая II-го и его правительства требованию конституции, предъявленному общественным мнением, создало повышенное настроение всех общественных слоев страны; оно поднималось все выше и начало переходить в некоторых слоях в настроение революционное, но сразу пошло на убыль после объявления манифеста, а между тем все обещания данные царем в манифесте стали очень скоро забываться и уступать место попыткам возврата к старому порядку со стороны бюрократии. Точно также и гр. Витте не менее

быстро забыл все свои рассуждения, изложенные в его докладе, сопровождавшем манифест и яко бы гарантировавшие исполнение обещаний манифеста.

Идея объединенного министерства, о чем Витте так убежденно распространялся в этом докладе, была сразу признана практически невыполнимой, когда четыре министра, — иностранных дел, военный, морской и двора, — были выделены из министерства и оставлены в полном подчинении и распоряжении императора, при чем самый выбор и назначение их признаны были прерогативой царя. Таким образом, правительство было расколото на две части, из которых одна была подчинена безответственному монарху и не обязана сообразовать свои действия с другой частью правительства; по-прежнему война или мир остались в руках царя, который мог повторить нечто в роде японской авантюры, по своему усмотрению увеличивать или уменьшать состав армии и флота и издавать для них помимо Государственной Думы всякие уставы и правила, словом создать государство в государстве.

Все последствия таких уклонений от обещаний царя и публичных заявлений г. Витте не замедлили обнаружиться тотчас же, притом в самой резкой и грубой форме, в появлении, так называемой, «черной сотни». В России это явление не было новостью. Впервые оно было употреблено как орудие самодержавной власти в XVI веке при Иоанне Грозном и известно под именем опричнины. Со смертью Грозного исчезла и опричнина как организация, но привычки ее остались и проявлялись, не составляя формальной организации. Только после убийства императора Александра II снова возникла опричнина, под наименованием «Священной Дружины», с министром двора, графом Воронцовым-Дашковым, во главе. Любопытно, что гр. Витте заявляет свое право на приоритет идеи организации общества для охраны жизни императора

Александра III-го, который разрешил организовать такую дружину. Она существовала, однако, не долго, во время управления министерством внутренних дел гр. Игнатьева, которого сменил гр. Д.А.Толстой, поведший борьбу с Дружиной, находя что она вносит двоевластие, тогда как безопасность государя и без ее помощи обеспечена средствами, которыми располагает министерство. Александр III согласился с этим, и Дружина была распущена, казалось, безвозвратно.

Однако, с воцарением слабовольного Николая II, благодаря возобновлению подпольного террора, появляется и «черная сотня», на этот раз более активная, располагающая большими средствами, имеющая целью не только борьбу с общественным движением, стремящимся к конституции, но и образование молодого поколения под флагом: «за веру, царя и отечество». Для этого была учреждена черносотенная гимназия. Во главе «черной сотни» стоял доктор Дубровин, сумевший заслужить особую благодарность Николая II, согласившегося официально принять от г. Дубровина черносотенный значок для себя и позволивший вручить его и наследнику цесаревичу. Этот жест был признанием «черной сотни», как полезного и согласного с государственными целями учреждения. С этого времени погромы бывшие и будущие, еврейские и общие, без различия рас, убийства «врагов царя и отечества» и т. п. становятся под покровительство и защиту правительства. В департаменте полиции, в тайной типографии, печатаются всевозможные прокламации, приглашающие «истинно русских людей» стать на защиту родины против зловердных ее врагов. Печатные прокламации распространялись в провинции, где руководили погромами и даже убийствами жандармские офицеры и губернаторы, как это было в Твери, Томске, Одессе, Москве и проч.

Появление «черной сотни» ободрило надежды царя на восстановление старого порядка. Он скоро сообразил, что

может постепенно отделаться от услуг Витте. Такое же чувство испытывал и Витте, хорошо знавший характер своего повелителя. Он пытался в первое время своего управления действовать энергично и 26 ноября арестовал Носаря-Хрусталева, председателя Совета рабочих депутатов, а 3 декабря почти весь Совет, заседавший в Вольно-Экономическом Обществе, в числе 190 человек, был арестован. Этот Совет рабочих депутатов, на другой день после издания манифеста, 18-го октября, предложил рабочим, недовольным манифестом, объявить забастовку. Арест Совета повел за собой постепенное прекращение забастовок, как в Петербурге, так и в провинции. Но в Москве забастовка перешла в вооруженное восстание, центр которого был на Пресне, на фабрике Прохоровых. Само собой разумеется, что подавить такое восстание было возможно лишь с помощью военной силы, так как оно имело чисто политический характер — недовольства манифестом. Московский генерал-губернатор, не рассчитывая на московский гарнизон, настойчиво требовал от Витте присылки войск, чтобы «подавить бунт, грозивший серьезными последствиями». Но министерство военное не было подчинено Совету министров и требовалось согласие императора. Приходилось обратиться к Петербургскому Главнокомандующему, также независимому от министерства. Главнокомандующий в. к. Николай Николаевич, с своей стороны, находил, что войска Петербургского гарнизона предназначены для охраны государя и его семьи и не могут быть удаляемы из Петербурга.

Только после продолжительных хлопот и получения личного распоряжения царя, один гвардейский полк (Семеновский) был отправлен в Москву и быстро подавил восстание.

С флотом происходила аналогичная история. Как балтийский, так и черноморский флоты утратили всякую дисциплину, что еще летом 1905 г. так ярко выразилось в совершенно

исключительном эпизоде с бунтом броненосца «Потемкин», который объявил себя независимым и со всем экипажем дезертировал в Румынию. В Кронштадте, уже при Витте, также произошел бунт. Тем не менее, министерство не имело права вмешиваться в дела армии и флота, составлявших ведомства, зависимые исключительно от государя.

С другой стороны, без ведома и согласия Витте и его министерства, устраивались военные карательные экспедиции по распоряжениям военных властей. Остзейские бароны обращались непосредственно к военному начальству с просьбой о присылке карательных экспедиций для наказания латышей и эстонцев. В своих воспоминаниях (XXXIII) Витте утверждает, что эти экспедиции, отличавшиеся необыкновенной жестокостью под начальством генерала Орлова, капитан-лейтенанта Рихтера и других, были посланы без его согласия, по распоряжениям, исходившим непосредственно от военного ведомства.

Если сам император Николай II мог не сразу заметить, что настроение в стране пошло на убыль, то его окружение зорко следило за внутренним политическим барометром и пользовалось каждым удобным случаем, чтобы восстановить старый порядок, с которым были связаны все интересы этих людей. Как только появились первые признаки начинающегося успокоения страны, начался поход против состава министерства и первой жертвой этого наступления оказался министр юстиции С.С.Манухин, вынужденный подать в отставку уже в первой половине ноября, меньше чем через месяц после опубликования манифеста, вследствие предъявления к нему обвинения в либерализме судебного ведомства, слабости судебной репрессии и потворстве министра. Витте не защищал его, хотя понимал, что нападение на министра несправедливо и вызвано происками «окружения»; он «обратился к официальной справочной книжке... и стал искать, кто из сенаторов пользуется

неотъемлемой репутацией правых, которые не могли бы встретить возражений в смысле недостаточной их консервативности, носили бы русские фамилии и прошли бы все должности в судебной карьере», (стр. 162, т. II). Результатом таких поисков было представление императору назначить министром юстиции Акимова, родственного по духу и воззрениям министру внутренних дел Дурново.

По-видимому, Витте не догадался, что его конституционному детищу был нанесен первый серьезный удар, за которым логически последуют новые.

В начале февраля месяца император потребовал увольнения министра земледелия Н.Н.Кутлера, возбудившего опасения крупных землевладельцев, близких ко двору, внесением в Совет министров законопроекта о принудительном отчуждении за выкуп земли из частных владений для наделения крестьян, в виду их тяжелого хозяйственного положения. Законопроект этот Советом министров был отклонен, но случайно попал в руки лиц близких ко двору. Этого было достаточно, чтобы побудить императора Николая II, не вступая ни в какие объяснения с министром, приказать уволить его. Конечно, если бы министерство Витте состояло из общественных деятелей, людей независимых, на такое требование оно отвечало бы коллективной отставкой. Можно даже думать, что царь не решился бы на такое агрессивное требование и не забыл бы так скоро обещаний своего манифеста и более считался бы с правительством, за спиной которого стояло общественное мнение. Но с Витте он уже перестал считаться, хотя Витте продолжал утешать себя тем, что его конституция «отделила вчерашний день от завтрашнего, прошедшее от будущего». Действительность показывала другое: царь убедился, что всякая опасность для него и для династии не только миновала, но что ее вовсе и не было, и что Витте воспользовался замеша-

тельством и совершенно напрасно убедил его сделать ненужные уступки, а потому и нет никакого основания удерживать у власти Витте и его министерство. И царь не теряет случая теперь показать себя со всею грубостью бесхарактерного владыки и дать понять все свое презрение к человеку, в котором более не нуждается. Витте покорно подчинился требованию, но решился обратиться с просьбой, «по примеру прошедшего времени», назначить Кутлера членом Государственного Совета. Царь отказал и на письменную просьбу Витте, не без иронии, письменно же ответил, что «пора последовать примеру западных государств и не назначать отставных министров ни в Гос. Совет, ни в Сенат». Обиженный премьер, уже чужавший свою близкую отставку, в своем объяснении оправдывает свою просьбу тем, что «в западных государствах все эти порядки вытекают из конституционного устройства... у нас же государство правится Самодержавным монархом и потому наша практика была иная». Поэтому он просил назначить Кутлера пенсию, на что царь изъявил свое согласие.

Таким образом, творец конституции отрекся от своего детища, признав, что у нас продолжает «править государством самодержавный монарх», и покорно заменил Кутлера г-м Никольским, «благонамеренным» чиновником и публицистом газеты «Новое Время», сторонником крупного землевладения и защитником «священного права собственности».

С Н.Н.Кутлером я познакомился после его отставки, когда он вступил в качестве члена в партию к.-д. Мне приходилось встречаться с ним во время первой Государственной Думы, еще чаще во время второй Думы, членом которой он был, на вечерних партийных собраниях в Таврическом дворце, куда допускались и бывшие депутаты первой Думы, хотя и не принадлежавшие к составу второй Думы. Но всего ближе я узнал его на заседаниях маленькой партийной аграрной комис-

сии, собиравшейся в моей квартире по вечерам и в которой принимали наиболее деятельное участие, как знатоки крестьянского быта: Н.Н.Черненко, Н.Н.Кутлер и А.А.Корнилов.

Н.Н.Кутлер с молодости посвятил себя государственной службе и, благодаря своим способностям и трудолюбию, быстро сделал служебную карьеру, заняв высокое положение товарища министра внутренних дел, а затем товарища министра финансов. Во всяком случае Витте, при образовании своего делового кабинета, не мог сделать лучшего выбора, предоставив Кутлеру портфель министра земледелия. Но именно это обстоятельство и возбудило против нового министра крупных и очень влиятельных при дворе аристократов-землевладельцев, испуганных проектом Кутлера, внесенным им в совет министров, о принудительном отчуждении за выкуп необходимого количества земель для наделения крестьянам, в виду тяжелого хозяйственного и экономического положения последних.

В правительственных кругах, как и в верхних слоях общества и особенно среди владельцев латифундий, не допускалась и мысль, что в том или в другом виде может быть повторен способ отчуждения помещичьей земли, примененный в 1861 г. при освобождении крестьян. Только отдельные голоса в этих сферах не сомневались, что в таком правильном разрешении аграрного вопроса заключается не только судьба крупного землевладения, но и самого бытия русского государства, в котором 85% крестьян-землевладельцев рано или поздно заявят свои права на эту землю.

Проект Кутлера для самого Витте был неожиданностью. По своим воззрениям он был решительным противником разрешения аграрного вопроса путем принудительного отчуждения частновладельческих имений для увеличения крестьянского землевладения. По словам Витте (т. II, стр. 127) адмирал

Дубасов, пользовавшийся большим в его глазах авторитетом, после командировки своей в Черниговскую и Курскую губернии для прекращения крестьянских волнений, уверял его, что разрешение аграрного вопроса возможно только посредством увеличения крестьянского земельного владения и отчуждения хотя бы части помещичьих имений, уже насильственно захваченных крестьянами, иначе, по мнению Дубасова, крестьяне «отберут всю землю от частных владельцев»; тем не менее Витте остался при своем прежнем мнении. Он был готов на все меры для улучшения быта и экономического положения крестьян, но решительно отрицал именно то, что составляло заветную мечту всего крестьянства — передачу помещичьей земли в его собственность путем принудительного отчуждения. Спустя двенадцать лет предсказание Дубасова сбылось, и крестьянство осуществило свою мечту путем насильственного захвата всей земли не только помещичьей, но и всей частновладельческой вообще.

.....

Первые шаги графа Витте по выполнению принятой на себя задачи естественно состояли в организации министерства и сразу обнаружили неизбежное крушение. Только организацией политического министерства с ясной и определённой политической программой Витте мог занять независимое положение и обнаружить свою силу, опирающуюся на общественные элементы. Организацией министерства из старых чиновников, связанных традициями бюрократии, с полной ясностью обнаружилась слабость Витте, не нашедшего поддержки в общественных кругах и вынужденного опираться на тех самых людей, которые служили старому режиму, гарантировавшему им выгоды, каких новый строй обещать им не мог. Нет сомнения, что положение Витте было немедленно учтено не только «дворцовой камарильей», но и высшей бюрократией,

которые так же мало были расположены в пользу Витте, как и он сам, плативший им весьма недружелюбными чувствами, которыми пропитаны все его воспоминания. В его собственном лагере, среди его поклонников, друзей и даже товарищей по министерству были люди, не сочувствовавшие манифесту 17-го октября. Сам автор манифеста, обер-прокурор Синода, кн. А.Д.Оболенский, спустя несколько дней после 17-го октября, говорил Витте, что считает своё участие в издании манифеста одним из величайших грехов своей жизни (т. II, стр. 32). Наконец, сам Витте обнаруживал свой страх перед ещё не существующей Государственной Думой, несмотря на своё заявление, что «Россия переросла форму существующего строя». Он уже предвидел кровавые сцены в Думе, вызванные неуравновешенными её членами» (стр. 263, т. II).

В таком положении дела было не трудно раскрыть глаза и царю, если он сам не замечал, что Витте не имел никакой опоры в обществе и ищет её в той самой среде чиновников, которые искони составляют орудие самодержавной власти, и что, как только волнение в стране прекратится, возможно будет без особенных затруднений возвратиться к старому порядку.

Такие соображения были совершенно правильны и вполне соответствовали действительности. Они разделялись не только бюрократией и вообще приверженцами старого порядка, но и очень многими членами той общественной группы, которая вела борьбу против него и видела спасение России в новом государственном строе. В этой среде на этом основании возник вопрос о бойкоте Государственной Думы и продолжении борьбы, не останавливаясь перед средствами революционного характера. На почве этого вопроса возникло много горячих споров, но большинство было против бойкота, хотя мотивы большинства не были единодушны. Одни не сомневались, что Россия получила конституцию и что борьба достигла своей

цели, так что бойкот Государственной Думы был бы непонятным противоречием, которое не встретит сочувствия в стране. Другие полагали, что манифест 17-го октября и сопровождающий его доклад Витте не представляют «органического», как тогда выражались, закона, устанавливающего конституционные права и обязанности граждан и права и взаимные отношения властей: законодательной, исполнительной и судебной, и что такой закон может быть издан только учредительным собранием. Поэтому вторая группа не считала нужным бойкотировать Государственную Думу, но под условием, что она передаст издание органического закона учредительному собранию, а сама будет рассматривать законы текущего, а не органического характера. Наконец, третья группа, соглашаясь с тем, что манифест не включает в себе конституционной хартии, создает однако прочную почву для легальной борьбы со старым порядком, почву, какой Россия ещё никогда не имела, и что было бы поэтому безумием отказываться от нового орудия для борьбы общества со старым режимом, который ещё достаточно силен, чтобы защищать себя от противника, не сумевшего оценить всё значение того оружия, которое он уже вырвал из рук самодержавия. Последнее мнение одержало верх, и продолжение борьбы таким образом переносилось в Государственную Думу.

Император Николай II, в своём Манифесте 17-го октября, торжественно обещал установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы.

Тем не менее, все законы, опубликованные в промежутке времени от манифеста до созыва первой Государственной Думы, были изданы без одобрения Государственной Думы и, следовательно, были нелегальны и не могли иметь силы закона. Единственный закон, основанный на пункте 2-м манифеста,

— избирательный, — должен был считаться законным, так как он соответствовал тексту манифеста, возлагавшего на правительство, — «не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Государственной Думе по мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Государственной Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие избирательного права вновь установленному порядку».

Естественно, что привлечение к выборам классов, лишённых избирательных прав, должно было предшествовать выборам в Государственную Думу, и закон, предоставляющий такое избирательное право, не мог подлежать одобрению Государственной Думы.

Когда графа Витте упрекали и справа и слева в недостатках этого закона, он совершенно основательно оправдывался тем, что на основании п. 2-го манифеста его право было ограничено исключительно привлечением к выборам тех классов, которые были лишены избирательных прав; поэтому переделывать избирательные права, установленные законом 6-го августа, он не имел права. К сожалению, он не следовал тому же основанию, которого держался при проведении избирательного закона, во всех многочисленных случаях издания самых важных законов помимо Государственной Думы, спеша провести их до её созыва, и даже не соблюдая старого установленного порядка изданий законов, проводившихся через Государственный Совет. Для издания новых противозаконных законов была учреждена особая Комиссия, состоящая под председательством председателя Государственного Совета из всего министерства, председателей департаментов Государственного Совета и некоторых приглашённых членов Государственного

Совета. Самое учреждение такой законодательной комиссии было совершенно несогласно с манифестом 17-го октября.

Граф Витте в своих Воспоминаниях рассказывает, что ему пришлось прочитать в каком-то русском издании, будто после 17 октября вся законодательная власть должна была быть передана Государственной Думе, а Государственный Совет должен был быть, если не уничтожен, то «кастрирован». Витте сомневался в правильности такого мнения, а также того, что оно вытекает из манифеста 17 октября. А между тем, это мнение, за исключением «кастрации» Государственного Совета, безусловно правильно, ибо никакого другого вывода из манифеста нельзя сделать. Как я уже выше указал, сам Витте держался этого мнения, защищая своё дополнение к избирательному закону 6-го августа. Витте любит ссылаться на свой «доклад», сопровождавший манифест, но при самом тщательном изучении его содержания, нельзя признать за правительством права учреждать какую-то законодательную комиссию для издания самых важных основных законов государства помимо Государственной Думы. В своём докладе Витте исходил из справедливого положения, что корни «русского волнения в нарушенном равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего общества и внешними формами его жизни. Россия, пишет он, переросла форму существующего строя. Она стремится к строю правовому на основе гражданской свободы».

Эта мысль, по существу, совершенно верная, отвечала действительному настроению всей России, вероятно поразившему его по возвращении из Америки. Но по свойству своего ума и характера Витте воспользовался им, чтобы импонировать им и произвести впечатление на воображение царя. В действительности же он не придавал никакой цены ни настроениям, ни идеям, если они не вытекали из материальных интересов,

которые были для него единственным двигателем прогресса. Поэтому, он не придавал никакого значения тем самым настроениям русского народа, которые красноречиво излагал в своём докладе царю. Бюрократ по воспитанию, по мировоззрению, по вкусам и связям и службе, Витте на весь мир смотрел с бюрократической точки зрения. П.Б.Струве приводит поучение Витте, преподанное им управляющему Дворянским банком князю А.А.Ливену, не скрывавшему своих конституционных воззрений: «Поверьте, если бы наш Государь был другого образа мыслей, то я бы первый стал говорить, как Чичерин и Градовский, но я понимаю себя, как приказчика моего Государя, а его взгляды безусловно абсолютно-монархические. Подумайте, сколько можно сделать полезного. Нужно уметь служить своему Государю». И Витте служил ему не как гражданин России, а так типичный приказчик: т. е. льстил в глаза и обманывал за глаза; добивался всяких милостей и считал себя всегда обиженным; добился высших степеней бюрократической иерархии и графского титула, но будучи уволен от премьерства, написал свои Воспоминания, в которых заплатил царю самой чёрной неблагодарностью и изобразил его в самых отвратительных чертах.

И к русскому народу и к русскому обществу Витте подошёл не как гражданин своей родины, а как царский приказчик. Государственная Дума представляется в его воображении, как сборище людей, пьянеющих от власти, лишённых разума и чувства патриотизма, способных погубить конституцию, которую придётся спасти вооружённой силой. Он был убеждён, что права Государственной Думы должны быть очень ограничены и строго регламентированы, и продолжал так думать даже спустя несколько лет после первой Государственной Думы, когда писал свои Воспоминания и мог сравнивать её деятельность с деятельностью правительства и Государ-

ственного Совета, к составу которого сам принадлежал. Чтобы вполне оценить взгляды Витте и отношение его к русской «конституции», я приведу мнение человека, авторитет которого в оценке событий русской истории и современной жизни можно считать бесспорным. В письме В.О.Ключевского к А.Ф.Кони, приведённом в книге последнего «На жизненном пути», Ключевский пишет: «Я был вынужден признать два факта, которых не ожидал: это — быстрота, с какой сложился в народе взгляд на нее (на первую Государственную Думу), как на самый надежный орган законодательной власти, и потом бесспорная умеренность господствующего настроения ею проявленного. Это настроение авторитетного в народе учреждения умереннее той революционной волны, которая начинает нас заливать, и существование Государственной Думы, — это самую меньшую цену, что (чем) может быть достигнуто бескровное успокоение страны». Так думал Ключевский, один из наиболее образованных и сведущих русских людей о роли Государственной Думы в благоустройстве страны в то время, как непризванный автор русской конституции считал, что вмешательство Государственной Думы в законодательство и управление «при существующих условиях было бы бедствием и имело бы последствием понижение мирового влияния России»; — и это говорилось после Японского поражения!

С такими воззрениями граф Витте принялся за незаконное законодательство в тех видах, чтобы ограничить роль Государственной Думы заранее, до её созыва, когда, по его мнению, будет уже поздно. 20-го февраля 1906 г., за два месяца до созыва Государственной Думы, манифестом было объявлено о преобразовании Государственного Совета и Государственной Думы 6-го августа. О Государственном Совете никто не думал, и вообще издание законов до Государственной Думы, после манифеста 17 октября, было полной неожиданностью. Тотчас

возник вопрос в кругах, стоявших левее партии к.-д., о бойкоте Государственной Думы, об отказе от выборов в Государственную Думу и о разных мерах возобновления борьбы в виду нарушений обещаний данных в манифесте 17 октября. Даже в партии к.-д. левое крыло очень горячо отстаивало бойкот Государственной Думы, но очень значительное большинство решительно восстало против такой тактики, так как было совершенно очевидно, что возобновить борьбу не на думской почве, а вне её — невозможно и поражение неизбежно. Мы не сомневались, что для того, чтобы вести борьбу, надо прежде всего укрепить положение Государственной Думы, как единственной всероссийской почвы, на которой возможна легальная борьба с правительством, успевшим за 4 месяца значительно укрепить своё положение, нанеся два поражения революционным группам, вступившим в борьбу с правительством на нелегальной почве: арестом совета рабочих депутатов в Петербурге, во главе с Хрустальевым-Носарем, и разгромом революционного восстания в Москве Семеновским гвардейским полком, под командой генерала Мина. Двойное поражение революционных элементов не могло не ослабить борьбу и в Государственной Думе, дав правительству уверенность в силу армии, на которую оно могло опираться. В виду такого положения, первая Государственная Дума должна была выработать весьма осторожную тактику, которой она и держалась неуклонно.

Выше я уже говорил, что для приспособления старых учреждений к новому строю Витте создал особую комиссию, под председательством Сольского, из трёх председателей департаментов Государственного Совета, некоторых особо приглашённых членов Государственного Совета и всех членов нового министерства; в этой комиссии самая влиятельная роль принадлежала Витте, как он сам говорит, благодаря его влия-

нию на Сольского и на министров. С её помощью реорганизацию Государственного Совета и Государственной Думы, учреждённой по закону 6 августа, было не трудно провести. Департаменты Государственного Совета остались на старом положении, а Общее Собрание Государственного Совета превращено в Верхнюю Палату, состоящую из лиц, назначаемых ежегодно государем в числе равном числу членов по избранию от дворянства, земства, духовного сословия и университетской профессуры. Позднее прибавлены представители от торговли и промышленности. Председатель Государственного Совета назначается непосредственно государем. Государственному Совету принадлежит право, как и Государственной Думе, законодательной инициативы, но законопроекты, вносимые правительством, первоначально предлагаются Государственной Думе, из которой поступают в Государственный Совет. В случае согласия Верхней Палаты, принятый ею закон поступает на утверждение верховной власти и, по утверждении ею, становится законом. Законопроект, по которому соглашение Палат не произошло, считается отвергнутым. Вся эта процедура имеет общепринятый характер в конституциях государств западной Европы. Но существенное различие заключается в организации личного состава Государственного Совета, который представляет непреодолимый тормоз для самого малейшего улучшения законодательства и проведения законов безусловно необходимых, если они противоречат интересам влиятельных классов или поддерживаются рутиной старого порядка. Ни один такой закон не может быть проведён Государственной Думой, так как он встретит непреодолимое препятствие в Государственном Совете, благодаря его составу. Почти весь состав, по назначению государя, представляет сплошную половину, повинующуюся беспрекословно дворцовой камарилье, перед которой даже правительство бессильно,

так как все они находятся под страхом не получить назначения в следующем году. Немногим лучше элемент избранный. Представители дворянства и духовенства, — за малым исключением, — элемент реакционный; представители губернских земств, по меньшей мере на половину, склонны поддерживать правые партии и только маленькая группа академическая даёт, если не сплошь, то большинство прогрессивного направления. Таким образом, огромное большинство не менее 3/4 голосов представляют самые реакционные мнения. Любопытно, что «самый влиятельный» член комиссии, реорганизовавшей Государственный Совет, говорит, что «правая часть Государственного Совета (а эта часть и назначается по преимуществу в состав Верхней Палаты) являлась большей частью принципиальным противником Государственной Думы, а потому, раз Государственная Дума сказала «белое», эта партия Государственного Совета уже потому самому склонна сказать «черное» (стр. 253).

Во что выродилась такая законодательная Палата, т. е. Государственный Совет, я приведу выдержку из 3-го тома воспоминаний А.Ф.Кони, члена Государственного Совета, касающуюся М.М.Ковалевского, также члена Государственного Совета, представителя академической группы и одного из крупнейших европейских учёных, специалиста по государственному праву.

«Возражая против замены закона местными обязательными постановлениями, пишет А.Ф.Кони, Ковалевский сказал: «Государственные пользы и нужды обдумываются и решаются органами законодательной власти и не должны затем снова оцениваться и рассматриваться как открытый вопрос, семьюдесятью или восьмьюдесятью администраторами. Целость и единство Империи требуют, чтобы закон, действующий в Петербурге, считался законом и в Ялте, и в Вологде. В этом

состоит различие закономерного строя и строя революционного. Только необыкновенным смешением понятий можно объяснить призывы к отступлению от законов в интересах мнимого спасения государства, как это делалось в эпоху террора и коммуны».

— «Прошу, резко перебивает председатель Государственного Совета Акимов, не упоминать ни о французской коммуне, ни о терроре».

— Я только с осуждением, заметил Ковалевский.

— Если вы желаете говорить по вопросу, — раздраженно продолжал председатель, — то оставайтесь в рамках, в которые он вложен: высокое собрание не нуждается в лекциях.

— Совершенно подчиняюсь распоряжению председателя...

— Покорнейше прошу подчиниться безусловно моему распоряжению. Не угодно ли продолжать!

— Позвольте привести слова, сказанные Бенжаменом Констаном о строгом исполнении закона...

— Вы опять продолжаете свое? Если вы не подчинитесь моему распоряжению, я вас лишу слова.

— Я ссылаюсь на общеизвестный авторитет...

— Пререканий нет, Максим Максимович, я допускаю полную свободу слова, но в пределах и порядке мною указанных», (стр. 89-90; подчеркнуто мною).

Можно ли себе представить более живую и яркую картину законодательного собрания, в котором председатель останавливает европейского учёного, представителя науки, как школьника, и поучает, что он может говорить и что ему воспрещается, хотя бы это касалось фактов, установленных наукой! Что можно ожидать от «высокого собрания», допускающего без

протеста такое отношение председателя к «свободе» прений этих законодателей?

С немалым успехом то же Совещение, выделенное из состава старого Государственного Совета и соединенное с полным составом министерства, превратило совещательную булыгинскую Думу в законодательную. Не знаю, умышленно или неумышленно (трудно допустить последнее в работе опытных юристов Совещения) из положения о выборах в Государственную Думу, утверждённого 6 августа, Совещение перенесло в положение о выборах в Государственную Думу, опубликованное 20 февраля, статью 7-ю, пункты а, в и е, изменив лишь её нумерацию. По пункту а — статьи 7-й, избирательного права лишены «подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие за собой лишение или ограничение прав состояния, либо исключение из службы, а равно за кражу, мошенничество» и т. п. «когда они судебными приговорами не оправданы»; по пункту в избирательного права лишены «состоящие под следствием или судом по обвинениям в преступных деяниях, означенных в пункте а; наконец по пункту е избирательного права лишаются — «исключенные из среды обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежали».

Таким образом, каждый избиратель, пользующийся в своей среде влиянием, может быть лишён избирательного права, если правительство того пожелает, так как весь аппарат власти находился в его руках, а в политической борьбе всегда найдется предлог для предъявления обвинения в политическом, если не преступлении, то проступке, квалификация которого зависит от прокурора. По миновании надобности, по окончании выборов, обвинение может быть прекращено без дальнейших последствий. Но может быть и передано в суд с сословными представителями, который может оправдать, но может и не

оправдать, а назначить минимальное наказание в виду явного преувеличения обвинения, и в то же время принимая во внимание требование правительства. В этом случае, неоправданный судом подсудимый выходит из суда навсегда лишённым политических прав вообще и в частности — избирательных прав, а суд передаёт власти оружие, которым оно навсегда освобождается от своего противника, приговорённого к политической смерти.

Именно так поступил преемник Витте — Столыпин, разогнавший первую Государственную Думу, поручив министру юстиции И.Г.Щегловитову, расстрелянному спустя двенадцать лет большевиками, лишить политических прав всех депутатов, составлявших оппозицию правительству и подписавших, так называемое, Выборгское воззвание. Задача была нелегкая: во-первых, число депутатов, обрекаемых на политическую смерть, превышало 160 человек; во-вторых, преступление было совершено в Выборге, на финляндской территории, где, в силу конституции финляндской, действия такого рода не считались преступлением, а по российским законам не могли поэтому быть наказуемы и русским судом, а в третьих, в руках правительства был только печатный экземпляр воззвания, отпечатанный в Выборге, и потому могло быть преследуемо лишь лицо, избличённое в распространении воззвания на русской территории.

Однако все эти препятствия были обойдены и устранены Щегловитовым с ловкостью не столько юриста, сколько человека на всё готового. Дело не ограничилось только судебными приговорами. В июльских Петергофских совещаниях, при обсуждении проекта Булыгинской Думы, великий князь Владимир Александрович поставил в вину дворянскому сословию, что оно не выполнило своей обязанности по отношению к своему государю, на самодержавные права которого посягнули

некоторые дворяне в разных губерниях. Их долг повелевал сделать всё от них зависящее, чтобы удалить таких дворян из своей среды, исключив их из своего сословия. «Счастливая» мысль великого князя, кажется, единственного члена императорской фамилии, которому автор русской конституции посвятил в своих Воспоминаниях строки, исполненные почтения и похвал его уму, по-видимому была принята к сведению и воспроизведена в «Положении о выборах в Государственную Думу». Как указано мною выше, лица, исключённые из обществ и из дворянского сословия, утрачивают навсегда избирательные права и обрекаются на политическую смерть. Таким способом, граф Витте заранее подготовил перестраховку легального права правительства пожизненно устранять своих политических противников, если не с помощью суда, то по постановлению сословных собраний, исключаяющих из своего состава неугодного члена. Такой план перестраховки не остался мёртвой буквой. Напротив, этим воспользовались самые реакционные элементы дворянства. Их старанием самые выдающиеся члены первой Государственной Думы, как С.А.Муромцев, бывший председателем Государственной Думы, В.Д.Набоков, кн. Петр Дм. Долгоруков и некоторые другие были первыми жертвами холопства дворянства. Они ничего не прибавили к наказанию по суду, но проявили своё собственное ничтожество и навлекли на себя Немезиду. В тверское дворянское собрание было внесено некоторыми дворянами предложение об исключении меня и моего покойного брата Михаила Ильича из тверского дворянства. Ни я, ни брат мой не поехали защищаться и никого не просили о защите, но недавно скончавшийся Геннадий Дмитриевич Скарятин взял на себя нашу защиту. По рассказу лиц, бывших в зале и слышавших речь Скарятина, она была во всех отношениях образцовой и велико-

лепной, и предложение большинством депутатского собрания было отвергнуто.